Мих. Старицкий

МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ

Твори у восьми томах

Видавництво художньої літератури
„ДНІПРО"
Київ — 1965

МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ

Том п'ятий

КНИГА ПЕРША

БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Трилогія

Видавництво художньої літератури
„ДНІПРО“
Київ—1965

Упорядкування *І. І. Стешенко*

Примітки *В. У. Олійника*

Редактор тома *М. Д. Бернштейн*

КИЇВСЬКА КНИЖКОВА ДРУКАРНЯ № 4

Перед бурей

Исторический роман из времен Хмельниччины

I

Безбрежная, дикая степь мертва и пустынна; укрылась она белым саваном и раскинулась белою скатертью кругом, во всю ширь глаза; снежный полог то мелкою рябью лежит, то вздымается в иных местах небольшими сугробами, словно застывшими волнами в разыгравшуюся погоду. Кое-где, на близком расстоянии, торчат из-под снега засохшие стебли холодка, будяков, мышия или вырезываются волнистые бахромки полегшей тырсы и ковыля; между ними мелькают вблизи легкие отпечатки различных звериных следов. А там дальше, до конца-края, однообразно и тоскливо бело. Серое, свинцовое небо кажется от этого мрачным, а конец горизонта еще больше темнеет, резко выделяя снежный рубеж. Ни пути, ни тропы, ни звука! Только вольный ветер свободно гуляет себе по вольной, не заполоненной еще рукою человека степи да разыгрывается иногда в буйную удаль — метель.

Ничтожен кажется человек среди этой беспредельной нелюдимой пустыни! Чернеющая, неведомая даль щемит ему сердце тоскою, низкое небо давит тяжелым шатром, а срывающиеся вздохи уснувшей на время метели леденят и морозят надежду; но на широком лоне этой раздольной в размахе степи-пустыни воспитался и дерзкий в отваге сын ее — запорожский козак; вольный, как ветер, необузданный, как буран, бесстрашный, как тур, он мчится по этому безбрежному — то белому, то зеленому — морю, и любо ему переведаться своею выкоханною силой и с лютым зверем, и с татарином, и со всяким врагом его волюшки; ничто ему не страшно: ни железо, ни вьюга, ни буря, ни самая смерть, а страшна ему лишь неволя, и ей-то он не отдастся вовеки

живым; не поймать его, как буйного ветра в степи, и не сковать его, как бурного моря...

По этой дикой пустыне поздней осенью 1638 года ехало два всадника. Один из них, рослый и статный, широкий в плечах, с сильно развитою и выпуклою грудью, был одет в штофный темно-малинового цвета жупан, плотно застегнутый серебряными гудзиками и широко опоясанный шелковым поясом, за которым с двух сторон торчало по богатому турецкому пистолету. Сверх жупана надет был на нем кунтуш *, подбитый черным барашком и покрытый темно-зеленым фряжским сукном. Широкие, как море, синие штаны лежали пышными складками и были вдеты в голенища сафьянных сапог с серебряными каблуками и острогами. У левого бока висела кривая в кожаных ножнах сабля. Сверх всей одежи у козака была наопашь накинута из толстой баи бурка-керея с красиво расшитою видлогою, а на голову была надета высокая шапка из черного смушка с красным висячим верхом, украшенным золотою кистью. Лицо у козака было мужественно и красиво: высокий, благородно изваянный лоб выделялся, от синеющих на подбритых висках теней, еще рельефнее своею выпуклостью и белизной; резкими дугами лежали на нем темные брови, подымаясь у переносья чуть-чуть вверх и придавая выражению лица какую-то непреклонную силу; умные, карие, узко прорезанные глаза горели меняющимся огнем, сверкая то дивною удалью, то злобой, то теплясь вкрадчивой лаской; несколько длинный, с едва заметною горбинкой нос изобличал примесь восточной крови, а резко очерченные губы, под опущенными вниз небольшими черными усами, играли шляхетскою негой. Сквозь смуглый тон гладко выбритых щек пробивался густой, мужественный румянец и давал козаку на вид не более 35—37 лет. Под всадником выступал крупный, породистый аргамак **, весь серебристо-белый, лишь с черною галкой на лбу.

Несколько дальше за ним ехал другой путник на

* Кунтуш — верхній одяг, подібний до жупана, який носила шляхта й козацька старшина — з розрізними та відкидними рукавами, так званими вильотами, або й зовсім без рукавів.

** Аргамак — порода швидких і легких у бігу азіатських коней.

крепком рыжем коне бахмате *; с могучей шеи его спадала почти до колен густая, волнистая грива; толстые ширококопытные ноги были опушены волохатою шерстью. На широкой спине этого румака сидел в простом козачьем седле еще совсем молодой хлопец, лет 16—18 не больше. Одет он был сверх простого жупана в байбарак **, покрытый синим сукном и отороченный серым барашком, подпоясан был кожаным ремнем, а на голове у него надета была сивая шапка. У молодого всадника, слева на поясе, висела тоже кривая сабля, а за спиною болтался в чехле длинный мушкет. С первого же взгляда можно было хлопца признать за татарчонка. Смуглый цвет лица, вороньего крыла вьющийся кольцами волос, узко прорезанные глаза и широкие скулы... но в прямом, как струна, носе и тонких губах была видна примесь украинской крови.

Начинало темнеть. Ветер усиливался и срывал снизу снежную пыль, заволакивая темную даль белесоватым туманом. Вдали поднялись тучею черные точки и долетел отзвук далекого карканья.

— Должно быть, батьку, жилье там,— отозвался несколько дрожащим голосом хлопец,— ишь как гайворонье играет.

— Над падалью или над трупом,— строго взглянул в указанную сторону козак,— а то, вернее еще, на погоду: чуют заверюху.

— Куда же мы от нее укроемся? — робко спросил хлопец, оглядывая безнадежно темнеющую мертвую даль.

— А ты уже и струсил? — укорил старший.— Эх, а еще козаком хочешь быть!

— Я, батьку, не боюсь,— обиделся хлопец и молодцевато привстал на седле. — Разве под Старицею [1] не скакал я рядом с тобою, разве не перебил этою саблей вражье копье, что гусарин было направил в кошевого, пана атамана Гуню? [2]

— Верно, верно, мой сынку, прости на слове; ты уже познакомился с боевою славой, попробовал этой хмельной браги и не ударил лицом в грязь,— улыбнулся козак, и глаза его засветились лаской.

---

* Бахматы — подільська порода довгогривих коней.

** Байбарак — кожух з довгими рукавами.

— А чего мне с вельможным паном страшиться? Ведь переправил же под Бужиным [3] в душегубке на тот бок Днепра? И черта пухлого не испугаюсь, не то что!.. А за батька Богдана [4] вот хоть сейчас готов всякому вырвать глаза!

— Спасибо тебе, джуро мой верный,— я знаю, что ты меня любишь, и тебе я верю, как сыну.

— Да как же мне и не любить тебя, батьку! От смерти спас... света дал... пригрел, словно сына... Хоть и татарчуком меня дразнят, а татарчук за это и живым ляжет в могилу.

— Что дразнят? Начхай на то! Разве у тебя не такая душа, как у всех нас, грешных? И мать у тебя наша, украинка, из Крапивной; я сестру ее старшую, твою тетку Катерину, знавал... Славная была козачка,— земля над нею пером,— не далась живой в руки татарину. Да и ты уже крещен Алексием, только вот я все по-старому величаю тебя Ахметкой.

— Ахметка лучше, а то я на Алексея и откликаться не стал бы,— весело засмеялся джура.

Лошади пошли шагом; козак Богдан, как называл его хлопец, о чем-то задумался и низко опустил на грудь голову, а у молодого хлопца от похвалы и теплого слова батька заискрились радостью очи и заиграла юная кровь.

— А у меня таки, признаться, батьку, ушла было тогда в пятки душа, впервые ведь, вот что,— начал снова весело джура, почтительно осаживая коня.— Как спустились мы по буераку к Старице-речке, а за дымом ничего и не видно, только грохочет гром от гармат, аж земля дрожит, да раздаются вблизи где-то крики: «Бей хлопов!» У меня как будто мурашки побежали за шкурой и холод приподнял чуприну... А когда батько гукнул: «На погибель ляхам!» — и кони наши, как бешеные, рванулись вихрем вперед, так куда у меня и страх девался — в ушах зазвенело, в глазах пошли красные круги, а в голове заходил чад... и я уже не чуял ясно, где я и что я, а только махал отчаянно саблей... Передо мной, как в дыму, носились рейстровики и запорожцы, паны отаманы, Бурлий [5], Пешта [6]... мелькали целые полчища латников и драгун, какой-то хмельной разгул захватывал дух и заставлял биться отвагою сердце!..

— Молодец, юнак! — одобрительно улыбнулся козак и, осадив коня, потрепал по плечу своего джуру,— будет с тебя лыцарь... Душа-то у тебя козачья, много удали, только бы поучиться еще да на Запорожье побыть.

— Эх, кабы! — вздохнул хлопец и потом серьезно спросил: — Батьку Богдане, а чего мы помогли тогда нашим, а потом и оставили их? Ведь сказывали, что на них шел еще князь Ярема? [7]

— Все будешь знать, скоро состаришься,— буркнул под нос козак, поправив рукою заиндевевшие усы,— мы и так там очутились случайно, ненароком, не зная, что и к чему,— сверкнул он пытливым взглядом на хлопца.

— Как не знали? — наивно изумился тот.— Да помнишь же, батьку, как в шинке ты подбил запорожцев на герц, чтобы помогли нашим? И не диво ль? Просто аж смех берет,— восторгался при воспоминании джура,— всего-навсего десять человек, а как гикнули да бросились сбоку в дыму, смешали к черту лядскую конницу, а наши пиками пугнули ее... Кабы не ты, батьку, то кто его знает, лядская сила больше была, одолела бы, а ты вот помог...

— Слушай, Ахметка! — ласковым, но вместе с тем и внушительным тоном осадил Богдан хлопца,— об этом, об нашем герце, нужно молчать и никому, понимаешь, никому не признаваться: нас не было там сроду, и баста! — уже повелительно закончил Богдан.

Хлопец взглянул, недоумевая, на батька и прикусил язык.

— А что мы выехали из дому и плутаем по степи, так то по коронной * потребе — понимаешь? — внушительно подчеркнул Богдан.

— Добре, а куда же мы едем, чтоб знать? — тихим, почтительным голосом спросил джура.— После речки Орели третий день ни жилья, ни дубравы, а только голая клятая степь.

— Увидишь, а степи не гудь: теперь-то она скучна, верно, а вот поедешь летом, не нарадуешься: море морем, так и играет зелеными волнами, а везде-то — стрекотание, пение и жизнь: косули, куропатки, стрепета и всякая дичь просто кишмя кишат... А дух, а роскошь, а

---

* Коронна — державна.

воля! Эх, посмотришь, распахнешь грудь да так и понесешься навстречу буйному ветру либо татарину... И конца-краю той степи нет, тем-то она и люба, и пышна.

Между тем в воздухе уже слышались тяжелые вздохи пустыни; ветер крепчал и, переменив направление, сделался резким. На всадников слева понеслись с силою мелкие блестящие кристаллики и, словно иглами, начали жечь им лица.

— Эге-ге,— заметил старший козак, потерши побледневшую щеку,— никак поднялся москаль (северный ветер), этот заварит кашу и наделает бед! И что за напасть! Отродясь не слыхивал, чтоб в такую раннюю пору да ложилась зима, да еще где? Эх, не к добру! Стой-ка, хлопче! — пересунул он шапку и остановил коня.— Осмотреться нужно и сообразить.

Прикрыв ладонью глаза, осмотрел он зорко окрестность; картина не изменилась, только лишь даль потемнела да ниже насунулось мрачное небо.

Он нагнулся потом к снежному пологу и начал внимательно рассматривать стебли бурьяна и других злаков, разгребая для этого руками и саблею снег.

— Ага! — заметил он радостно после долгих поисков.— Вот и катран уже попадается: стало быть, недалеко или балка с водою, или гаек, а то и Самара, наша любая речка. Не журись, хлопче! — закончил он весело, отряхивая снег.

Кони тихо стояли и, опустив головы, глотали снег да вздрагивали всей шкурой.

— Постой-ка! Нужно еще следы рассмотреть,— прошел несколько дальше Богдан и смел своею шапкой верхний, недавно припавший снежок.— Так, так, все туда пошли, где и гайворонье: значит, там для них лаз, там и спрят, значит, туда и прямовать,— порешил козак и вернулся к джуре.

— Ну, вот что, хлопче! — обратился он к нему.— Достань-ка фляжку, отогреть нужно козацкую душу, да и коней подбодрить,— промерзли; нам ведь до полных сумерек нужно быть там, где каркает проклятое воронье.

Хлопец достал солидную фляжку и серебряный штучный * стакан; но козак взял только фляжку, заметив, что душа меру знает.

* Штучный — мистецьки оздоблений.

Отпив из фляги с добрый ковш оковытой горилки, Богдан добросовестно крякнул, отер рукавом кунтуша усы, приказал джуре выпить тоже хотя бы стакан.

— Не много ли, батьку? — усомнился было хлопец, меряя глазами посудину.

— Пустое. Под заверюху еще мало,— успокоил его Богдан,— нужно же запастись топливом. А теперь вот передай сюда фляжку, нужно и коней подбодрить хоть немного. Охляли и промерзли добряче. Да вот еще что, достань-ка из саквов краюху хлеба да сало; побалуем свою душу да и в путь!

Хлеб и сало были поданы, и Богдан, разделив последнее поровну между собою и хлопцем, отрезал для обоих по доброму куску хлеба, а остальную краюху разломил пополам.

Он налил потом стакан водки и, задорно присвистнув, крикнул:

— Белаш!

Благородное животное вздрогнуло, весело заржало и, подбежав к козаку, вытянуло голову и мягкие губы.

— Горилки хочешь? Что ж, и след: заслужил! — ласково потрепал он левою рукой коня по шее, а потом, взявши за удила, раскрыл ему рот; хотя животное и мотало немного головой, но тем не менее проглотило стакан водки и начало весело фыркать да бить копытом снег. Давши такую же порцию и другому коню, Бахмату, Богдан намочил водкою полу своей бурки и протер ею обоим коням и ноздри, и морды, и спины, а потом уже дал каждому по краюхе хлеба.

— Ну, подживились, хлопче,— бодро поправил пояс и заломил шапку Богдан,— а теперь закурить нужно люльку, чтоб дома не журились.

Отвязал он от пояса богато расшитый кисет, набил маленькую трубочку и, пустив клуб дыма, поставил ногу в широкое стремя.

— Ану, хлопче, в седло и гайда вперегонку с ветром!

Козаки сели на коней, пригнулись к лукам своих седел, гикнули и понеслись в мрачную даль, сверля ее по безграничной снежной равнине; слышался среди сближающихся завываний только тяжелый храп лошадей да мерный хруст ломавшегося под копытами снега.

Ветер, усиливающийся ежеминутно, дул им теперь

уже в спину; впереди и по бокам лихих всадников, опережая, неслись вихри снежной крутящейся пыли; мелькавшие сугробы сливались в неопределенную муть, даль покрывалась тьмою, а ветер крепчал и крепчал.

Как ни были неутомимы кони козачьи, но есть и предел для напряжения силы. Метель с каждым мгновением свирепела сильней и сильней, глубокие пласты рыхлого снега ложились с неймоверною быстротой один на другой, образовывая целые горы наносов, по которым уже невозможно было бежать измученным коням; они брели в них по колени, проваливались в иных местах и по брюхо; бока у них тяжело ходили, дымясь, ноги дрожали.

— Нет, баста,— крикнул Богдан и слез с своего Белаша,— не пересилишь, пусть хоть вздохнут, да и мы, кажись, не туда, куда следует, едем. Ветер дул ведь сначала в затылок, а теперь в правую щеку, или он, бесов сын, водит, или мы сбились.

— Ничего не видно,— послышался дрожащий голос хлопца,— бьет и в глаза, и в рот, дышать не дает; я рук и ног уже не чую.

— Пройтись нужно,— подбодрял хлопца козак,— ты не плошай, не поддавайся, а то эта клятая вьюга за́раз сцапает, ведь она что ведьма с Лысой горы...

И козаки, держа за узды коней и перекликаясь, побрели по снегам.

— Не журись, не печалься, хлопче, скоро будет и балка,— покрикивал громко Богдан,— а в каждой балке уже не без лозы и не без вербы... а под ними во вьюгу чудесно, тепло да уютно, и люльку даже закурить будет можна...

Но джура не мог уже двигаться.

— Не могу больше идти,— схватил он за полу Богдана,— сил нет, ноги подкашиваются, лечь хочется, отдохнуть...

— Что ты, дурень? — удержал его за руку Богдан.— Околеешь так; вот лучше что,— остановился он, тяжело дыша и обирая рукою с усов целые горсти снега,— правда, что дальше идти как будто и не под силу; разозлилась здорово степь, верно, за то, что позволяем топтать ее татарам да бузуверам,— не хочет нас защитить, так сделаем мы себе сами халабуду козачью, пересидим в ней погоду — вот кстати и маленькая балочка,— по-

брел он по небольшому уклону в сугробы и остановился у занесенных кустов, затем притянул к себе поникшую голову Белаша, обнял ее и поцеловал в заиндевевшую щеку:

— Ну, товарищ мой верный, сослужи-ка мне службу!

Он распустил подпруги своему Белашу и Бахмату, так как хлопец окоченевшими руками ничего не мог уже сделать, ударил широкою ладонью коней по спинам и как-то особо присвистнул; привычные и послушные козачьи друзья сразу согнули колени и улеглись мордами внутрь. Богдан снял с себя широчайшую бурку, укрыл ею животных, немного приподняв посредине и тем образовав небольшой импровизированный шатерчик. Снег сразу же набил с тылу высокий бугор, под которым у лошадиных брюх и улеглись наши путники.

В закрытой от ветра и непогоды снежной берлоге, обогретой еще дыханием, путникам нашим стало сразу тепло. Мороз, впрочем, и в степи был не велик; но резкий северный ветер пронизывал там насквозь, бил целыми тучами жгучих игл, обледенял лицо, руки и насыпал за шею морозную пыль,— здесь же, напротив, было затишье, и дыру наполнял теплый пар; только за сугробом слышались дикие, визгливые завывания разгулявшейся метели.

— Ты только не дремай, хлопче,— дергал джуру Богдан,— вот хлебни еще оковитой, согреешься... да знай двигай и руками и ногами — не то окоченеют.

— Тут, батьку, тепло,— укладывался кренделем хлопец,— только вот руки подубли.

— Ты их за пазуху... а на тепло не очень-то обеспечайся: обманчиво, одурит; а вот хлебни лучше,— протянул он ему фляжку,— сразу дрожь пройдет, только не спи!

Выпили оковитой и батько, и джура; побежала она по жилам теплой струей и размягчила коченевшие члены.

Кони тоже почувствовали себя недурно: перестали судорожно вздрагивать и, приняв удобные позы, похрапывали от удовольствия.

— Не спи же, не спи! — дергал за плечо Ахметку Богдан.— Да дай сюда руки! — И он принялся тереть до боли, до криков пальцы хлопца.— Вот это и горазд, что кричишь... это расчудесно! — усердствовал Богдан.—

А ноги вот сюда подложи, под брюхо коню, вот так... да обвернись хорошо буркой, а я еще приналягу сбоку.

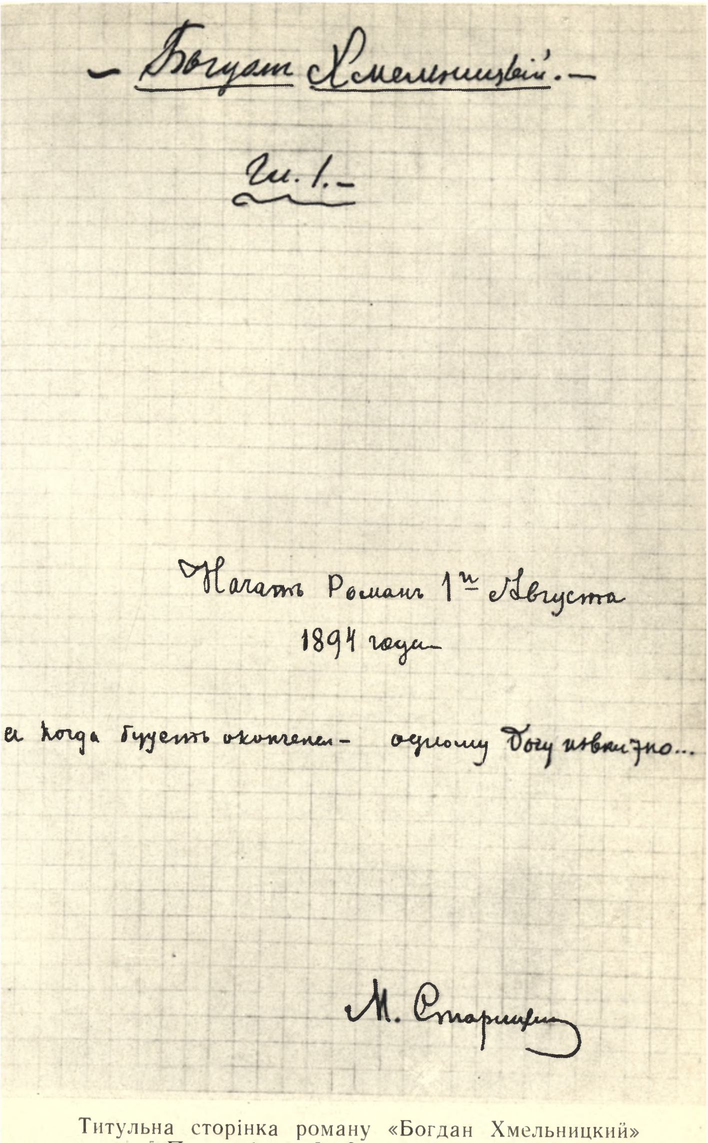
— Хорошо, хорошо...— шептал Ахметка, потягиваясь и чувствуя, как сладкая истома обвивала все его тело.

Долго еще подталкивал Богдан локтем хлопца, прижимаясь к нему; но потом и его руку начала сковывать лень: усталость брала свое... веки тяжелели... мысли путались... Сквозь черную тьму мерцало какое-то мутное пятно, то расширяясь кругами до громадного щита, то суживаясь до точки. Что это? Мерещится ему или в явь? Нет, он ясно видит целую анфиладу роскошных зал, с литыми из серебра сводами, со стенами, разубранными в глазет и парчу, с сотнями тысяч сверкающих каменьев, с зеркальными полами, отражающими в себе сказочное великолепие... «Это, должно быть, палац канцлера»,— мелькает в голове Богдана, и он осторожно идет по этому стеклянному льду и любуется своим изображением. Вот он, опрокинутый вниз, статный, молодой, полный расцветающих сил, словно собрался под венец! Только нет, улыбнулся он, и изображение ему ласково подмигнуло; теперь он красивее, пышнее, нарядней: бархат, парча, златоглав, перья, самоцветы, а с плеч спускается не то мантия, не то саван. За ним такая блестящая свита... Богдан оглянулся; но пышные покои были пусты, и только его королевская фигура отражалась в боковых зеркалах.

Дивится он и не понимает, что с ним? И жутко ему стоять одиноко в этом волшебном дворце, и какое-то сладкое чувство подступает трепетом к сердцу. Из дальних зал доносятся звуки чарующей музыки,— плачут скрипки, жемчугами переливаются флейты. Богдан идет на эти звуки... Прозрачные тени плывут тихо за ним...

Вот и конец залы, ряд мраморных блестящих колонн, а за ними волнуется черная бархатная с серебряными крестами занавесь. Прислушивается он — музыка уже не музыка, а какой-то заунывный стон, бесконечные переливы диких рыданий...

Богдан невольно задрожал и повернулся, чтобы уйти, убежать назад; но, вместо сверкающей огнями залы, за ним лежал теперь гробовой мрак, а ноги словно приросли к полу. «Нет, ты не уйдешь, лайдак! — кричит откуда-то резкий пронзительный голос.— Попался, пся крев, в мои лапы!»



— Богдан Хмельницкий. —

Ч. 1.—

Начатъ Романъ 1-го Августа
1894 года

а когда будетъ оконченъ — одному Богу извѣстно...

М. Старицкий

Титульна сторінка роману «Богдан Хмельницкий» [«Перед бурей»]. *Фотокопія автографа.*

Богдан догадывается, кому принадлежит этот голос, и его охватывает леденящий ужас.

Вдруг занавесь заколыхалась и взвилась,—перед Богданом открылась мрачная комната с тяжелыми сводами; красноватый свет падал откуда-то сверху и ярко освещал высокое возвышение, на котором сидели ясноосвецоные сенаторы; посреди их восседало какое-то ужасное чудовище. Богдан взглянул и задрожал с ног до головы: он узнал его!

Сморщенное, изношенное лицо чудовища было зелено, глаза горели, как карбункулы, во рту двигался раздвоенный язык. Богдан догадался, что это должна быть посольская изба...[8]

— Куда ты, пес, ездил, а? — уставилось в него глазами чудовище; кровавые искры отделились от них и впились в его сердце.— Отвечай, бестия!

Обида глубоко уязвила Богдана. Он порывается обнажить саблю, но рука висит неподвижно, как плеть; он хочет бросить в глаза чудовищу дерзкое слово, но язык его потерял гибкость, одеревенел и произносит оборванным, глухим голосом лишь слово: «Кодак![9] Кодак! Кодак!» Хохочет чудовище, и сенаторы, закаменевшие на своих местах, тоже хохочут, не вздрогнувши ни одним мускулом; но нет, это не хохот... это какие-то дикие, клокочущие звуки.

— Как же ты, шельма,— кричит чудовище,— ехал в Кодак, а попал назад к Старице, к этим бунтарям?!

Богдан чувствует, что под ним шатается земля; но, собрав все усилия, еще надменно спрашивает:

— Кто же меня там видел?

— Позвать! — взвизгнуло чудовище. Страшный визг его голоса ударил плетью в уши Богдана и помутил мозг.

Отворилась потайная дверь и глянула на всех черным зевом; послышалось бряцанье цепей, и из мрачной дыры, вслед за повеявшим оттуда промозглым холодом, начали появляться бледные изможденные фигуры, забрызганные кровью, с отрубленными руками, с выколотыми глазами, с висящими вокруг шеи кровавыми ремнями... Попарно выходили эти ужасные тени и становились вокруг Богдана. И диво! Здесь стояли не только его друзья: Гуня, Острянин[10], Филоненко[11], Богун[12],

Кривонос [13], но и давно сошедшие в могилу страдальцы: Наливайко [14], Косинский [15], Тарас [16].

— А ну, отрекись! — зашипело раздвоенным языком позеленевшее еще больше чудовище.— Друзья это твои или нет?

Какое-то новое жгучее чувство вспыхнуло в груди Богдана: в нем была и страшная ненависть к заседавшим этим врагам, и бесконечная жалость к страдальцам, и отчаянная решимость.

— Да, это мои друзья, мои братья,— произнес он громко и окинул вызывающим взглядом заседающих гадин.

— Досконально! — потерло с змеиным шипеньем руки чудовище.— На кол его!

— На кол! — отозвались глухо сенаторы.

— Что ж, хоть и на кол! — выступил Богдан дерзко вперед.— Всех не пересадишь! А за каждым из нас встанут десятки, тысячи, и польется тогда рекой ваша шляхетская кровь! Вы пришли к нам, как разбойники, ограбили люд, забрали вольный край и истребить желаете наше племя... Но жертвы не падают даром: за ними идет возмездие!

— На кол! На пали! — неистово закричало и забрызгало пеной чудовище, топая ногами.

— На кол! На пали! — зарычали сенаторы.

Вдруг среди поднявшегося гама раздался чей-то мелодический голос:

— На бога, на святую матерь!

Все оглянулись.

В темной нише направо стояло какое-то дивное грациознейшее создание. Ожила ли это высеченная из нежного мрамора статуя, слетел ли в этот вертеп светозарный ангел небесный,— Богдан не мог понять: он сознавал только одно, что такой красоты, такой обаятельной прелести не видел никогда и не увидит вовеки.

Бледное личико ее было обрамлено волнистыми пепельными волосами; тонкие, темные брови лежали изящной дугой на нежно-матовом лбу; из-под длинных ресниц смотрели большие синие очи. Черты лица дышали такой художественной чистотой линий, таким совершенством, какое врезывается сразу даже в грубое сердце и не изглаживается до смерти.

Неизъяснимо-сладкое чувство наполнило грудь Бог-

дана, сжало упоительным трепетом сердце и смирило пылавшую ярость.

— На кол! И ее на кол! — бросилось чудовище к панне.

— Ай! — вскрикнула она и протянула руки к Богдану.

— За мною, братья! Бей их, извергов! — гаркнул он страшным голосом и бросился с саблей на чудовище.

Сорвали мертвецы с себя цепи и кинулись, скрежеща зубами, вслед за Богданом.

Все закружилось в борьбе. Брызнула горячая кровь и наполнила весь покой липкими лужами... Раздалось дикое ржание, вот оно перешло в страшные удары грома: засверкали молнии, упали разбитые окна, и сквозь черные отверстия ворвался холодный, леденящий ветер. Пошатнулись стены палаца и со страшной тяжестью упали на голову плавающего в крови Богдана. Он вскрикнул предсмертным, отчаянным криком и... проснулся.

Богдан действительно чувствовал в голове боль и не мог подвинуть рукой, чтобы ощупать болевшее место; ноги тоже не слушались его и лежали какими-то деревяшками; самочувствие и сознание медленно возвращались.

Неподвижно лежа, заметил только он, что чрез протаявшее от дыхания отверстие проглядывало уже бледное небо и вся их берлога светилась нежным, голубовато-фиолетовым тоном... Белаш, поднявши голову, силился привстать на передние ноги и нетерпеливо ржал; Бахмат протягивал к нему заиндевевшие толстые губы...

Богдан скользил по спине этих знакомых фигур сонным взглядом, не отдавая еще себе отчета: и образы, и впечатления сна переплелись у него в какие-то смутные арабески, в которых дремлющее сознание разобраться еще не могло: то рисовался ему прозрачными, волнующимися линиями чудный, улетающий образ, то проносилось тенью бледневшее уже воспоминание о чудовищном суде и о пекле... Наконец брошенный взгляд на Ахметку заставил очнуться Богдана. Он сделал неимоверное усилие и приподнялся, присел, а потом начал двигать энергичней и чаще руками: оказалось, что они только окоченели, а не отмерзли.

Богдан бросился к Ахметке и начал тормошить его;

последний, защищенный еще лучше от холода, только потягивался и улыбался сквозь дрему.

— Вставай, вставай, хлопче! — тряс Богдан его за плечо.

— А что, батьку? — открыл широко джура глаза и присел торопливо.

— Ну, жив, здоров? — осматривал его тревожно Богдан.

— А что мне, батьку? Выспался всласть...

— А ну-ка, задвигай руками и ногами...

— Ничего... действуют! — вскочил он и сделал несколько энергичных пируэтов.

Нежный потолок шалаша разлетелся и обдал обоих путников сыпучим снегом.

— Да ну тебя... годи! И без того продрогли, а он еще за шею насыпал добра... Ну, молодцы мы с тобой, Ахметка,— ударил он его ласково по плечу,— ловко пересидели ночь, да еще какую клятую — шабаш ведьмовский! Таки из тебя будет добрый козак, ей-богу!

— Возле батька всяк добрым станет...

— Ну, ну, молодец! Славный джура,— притиснул его к груди Богдан.— А, стой, братец, стой...— обратил он теперь внимание на совсем побелевшие уши у хлопца.— Болят? — дотронулся до них он слегка.

— Ой, печет! — ухватился и Ахметка за ухо.

— Неладно... отморозил...— покачал головою Богдан,— вчера бы снегом растереть, а теперь поздно... так и останешься значеный... мороженый...

— Что ж они, отпадут, батьку? — огорчился джура.

— Нет, пустое... только белыми останутся... а загоим-то мы их зараз... Вали эту халабуду, выводи коней... да отряхни и перекинь мне керею!

Вывели из этого сугроба козаки коней, обмахнули им спины от снега и пробегали их взад и вперед.

— А ну, хлопче, разрежь теперь подушку в моем седле,— улыбнулся Богдан,— там у меня хранится такой запас, который только можно тронуть в минуту смертельной нужды... Голодали мы и кони в пути, да нет,— его я не тронул, а вот теперь настал час, выбились из последних сил: смертельная нужда подкрепиться, чтобы двинуться в путь... А и путь теперь не малый: загнала нас заверюха черт его знает куда!..

Ахметка распорол подушку: она была набита отбор-

ной пшеницей, а на самом дне в свертке лежали тонкие ломти провяленной свинины и кусок сала... Богдан им сейчас вытер Ахметке уши.

Дали потом козаки коням по доброй гелетке * пшеницы, выпили сами по кухлику оковитой, закусили свининой и, подбодрившись, отправились в путь.

Небо было чисто; от вчерашних снежных, свинцовых туч не осталось на нем ни клочка, ни пряди. Ветер совершенно упал, и в тихом, слегка морозном воздухе плавала да сверкала алмазными блестками снежная пыль.

Когда Богдан, сделавши несколько кругов, остановился и начал всматриваться вдаль, чтобы выбрать верное направление, солнце уже было довольно высоко и обливало косыми лучами простор, блиставший теперь дорогим серебром, усеянным самоцветами да бриллиантами; на волнистой поверхности и наносных холмах лежали прозрачные голубые и светло-лиловые тени, освещенные же части блистали легкими розовыми тонами, отливавшими на изломах нежною радугой; ближайшие кусты и деревья оврага увешаны были гроздьями матового серебра, а стебли нагнувшихся злаков сверкали причудливым кружевом, унизанным яхонтами и хризолитами. Вся глубокая даль отливала алым заревом, а над этой безбрежной равниной, полной сказочного великолепия и дивной красы, высоко подымался чистый небесный свод, сиявший при сочетаниях с серебром еще более яркой лазурью. Ветер, истомленный дикою удалью, теперь совершенно дремал. В воздухе, при легком морозе, уже чуялась мягкость. Он был так прозрачен, что дальние горизонты, не покрытые мглой, казались отчетливыми и яркими; при отсутствии выдающихся предметов для перспективы, расстояние скрадывалось; только широкий размах порубежной дуги этой площади давал понятие о необъятной шири очарованной волшебным сном степи.

Богдан осмотрелся еще раз внимательнее кругом; в одном месте справа, на краю горизонта, он заметил вместо алого отблеска едва заметный для глаз голубоватый рефлекс.

— Да, это так,— подумал он вслух,— это приднеп-

* Гелетка — мірка, а також дерев'яний посуд відповідного розміру.

ровские горы — верно! Правей держи! — обратился он к джуре, показывая рукою вдаль.— Вон где наш батько Славута!

Хлопец повернул за Богданом и удивился, что его батько ни люльки не закурил, ни пришпорил коня.

А Богдан тихо ехал, свесивши на грудь голову, погрузясь в глубокие думы. Зловещий сон снова вставал перед ним неясными обликами...

«Что-то теперь Гуня,— думалось ему,— уйдет ли от сил коронного гетмана? Позиция у него важная — с одной стороны Днепр, с другой Старица, да и окопался хорошо; а ко всему и голова у моего друга Дмитра не капустяная,— боевое дело знает досконально, не бросится очертя голову в огонь, а хитро да мудро рассчитает, а тогда уже и ударит с размаха. Третий уже месяц Потоцкий [17] о его табор зубы ломает и не достанет, ждет на помощь лубенского волка Ярему, а уж и лют же за то: все неповинные села кругом миль на пять выжег и вырезал до души, не пощадив ни дитяти, ни старца. Ох, обливается кровью родная земля, а небо так вот и горит от пожаров, а спасения не дает. Добре, что Филоненко прорвался, так теперь Гуне подвезено и припасов, и снарядов, и пороху,— отсидится с месяц смело, а как только ростиль пойдет, а она непременно будет, да еще какая после раннего снега — весна вторая,— так и Потоцкий увязнет, и Вишневецкий утонет,— вот этим временем нужно воспользоваться, чтобы подготовить знатнейшую помощь, поширить дело. Эх, кабы одна только решительная удача, и рейстровики пристали б, и посполь-ство *, а то ведь всяк, после таких славных вспышек борьбы, закончившихся кровавою расправой, как с Павлюком [18], Скиданом [19], Томиленком [20],— всяк опасается: страшна и несокрушима ведь мощь вельможной нашей Речи Посполитой; все соседи: и Швеция, и Семиградия, и Молдавия, и расшатанное Московское царство не смеют против нее не то руки, а и голоса поднять,— так как же козакам одиноким с нею справиться? Еще если бы было меж ними единство, если бы единодушно все встали, то померялись бы; а то рейстровые из-за личных выгод, из-за панских обицянок подымают руки на своих братьев, а через то и погибли в нечеловеческих

---

* Посполъство — простий народ.

муках лучшие души козачьи — Лобода [21], Наливайко, Тарас Трясыло, Сулима... Эх, мало ли их, наших мучеников! Может, и мне предстоит скоро или на кол угодить, или на колесо катовое! Ускользну ли?... «Будьте хитры и мудры, как змии»,— иначе против необоримой силы и действовать нельзя... Но трудно, ох, как трудно иной раз бывает и скрыть следы! Уж сколько раз на меня сыпались тайные доносы, подымались подозрения; но господь мой хранит меня во вся дни смятений и бурь,— и козак поднял к ясному небу горящие радостным умилением очи.— Да будет и теперь надо мною десница твоя!.. Многие вельможные паны за меня руку держат... И правда, разве бы я не хотел, чтоб в крае родном был для всех мир? Но зато сколько есть и злобных завистников!.. Находятся же такие, что меня именуют обляшком!.. Дурни, дурни! Не подставлять же мне зря под обух голову, а если отдавать ее, так хоть недаром... Теперь вот надежда на Гуню: смелей можно действовать, sine timore *, рискуя, конечно, с оглядкой.— Богдан нервно вздрогнул; опять пронесся в его голове допрос зверя.— Вздор! — произнес он вслух.— Сон мара, а бог — вира! Поручение к Конецпольскому [22] оправдывает мой выезд, а заверюха — промедление... А вот если бы из Кодака удалось завернуть в Сечь; там ведь только через пороги... при оттепели это плевое дело, а запоздаю обратно — опять та же оттепель да разливы рек виноваты!.. Дома-то на всякий случай Золотаренко [23] предупрежден... Эх, если бы удалось еще поднять хоть с пять куреней да отразить первый натиск, важно бы было! Что же? Все в руце божьей... Мы за его святую веру стоим,— неужели же он отдаст нас на разорение панскому насилию, на погибель? Неужели исчезнет и доблестное имя козачье?»

Богдан почувствовал щемящую тяжесть в груди, словно не мог в его сердце поместиться прилив страшной тоски и обиды. Да, везде теперь, куда ни глянь,— одно горе, одно ненавистничество, и давних светлых радостей уже не видать!

Ему вдруг вспомнилось далекое детство. Словно из тумана вынырнула низкая комната, вымазанная гладко, выбеленная чисто, с широким дубовым сволоком на

* Без страху (*лат.*).

середине. На этом сволоке висят длинные нитки вяленых яблок и груш; от них в светлице стоит тонкий дух, смешанный с запахом меду; где-то жужжит уныло пчела. В небольшие два окна, сквозь зеленоватые круглые стекольца в оловянных рамах, пробиваются целым снопом золотые лучи; вся светлица горит от них и улыбается весело, а сулеи и фляги играют радужными пятнами на лежанке. У окна сидит молодая еще; но согнутая от горя господыня, в атласном голубом уборе — кораблике; с головы ее до самого полу спускается легкими, дымчатыми волнами намитка, или фата; на худых плечах висит, словно ряса, длинный адамашковый * кунтуш, а на коленях лежит кудрявая головка молодого кароокого хлопца. Пани, нагнувшись, гладит сухой рукой по кудрям; солнечный свет лежит ярким пятном на ее бледной щеке, а на кроткие и бесконечно добрые очи набегают слеза за слезой и скатываются хлопцу на шею.

— Дитятко мое! Богдасю мой любый! Уедешь ты далеко, далеко от своей матери, от неньки: кто тебя приласкает на чужбине, кто тебе головку расчешет, кто тебя накормит, оденет? Ох сынку мой, единая утеха моя!

Хлопец упорно молчит, нахмуривши брови; только порывистые лобзания рук и колен у своей дорогой неньки обличают его внутреннее волнение.

— Не давай, коли жалко, меня в бурсу. Не пускай из нашего хутора, из Субботова [24].

— Разве моя воля, сыночку мой, соколе ясный? Целый век прожила в тоске да одиночестве: батько твой, пан Михайло, то в боях, то на герцах, то на охотах, на добычничестве... Ты только, дитя мое дорогое да любое, и был единой мне радостью, а вот и ту отнимают.

Разливается мать в тоске да печали, и сына тоже начинает одолевать горе, а в дверях уже стоит отец, привлеченный вздохами да причитаниями; из-под нависших бровей глядят угрюмые, черные, пронзительные глаза; пышные с проседью усы висят на самой груди; чуприна откинулась назад, открыв широко спереди лоб и подбритую кругом голову.

— Что ты, бабо, хлопца смущаешь? — крикнул он, притопнув ногой.— А ты, мазун, уже и раскис? Что же,

* Адамашковый — з шовкової квітчастої чи візерункової тканини.

тебе хотелось бы век дурнем быть да сидеть у пазухи сосуном?

Заслышав грозный голос отца, хлопец сейчас же оправился и, смотря вниз, угрюмо ответил:

— Я козаком хочу быть, а не дьяком.

— Дурней в козаки не принимают, дурнями только тыны подпирают,— возразил ему батько, а потом обратился снова к жене, что стояла покорно, сдерживая всеми силами слезы: — Ты бы, как мать, должна была радоваться, что в твоем болване принимают лестное участие такие вельможи, как князь Сангушко [25], его крестный батько; ты бы должна еще стараться, чтобы крестник не ударил лицом в грязь, а вырос бы таким разумным да удалым, чтоб в носу им всем закрутило, чтоб всякого шляхтича за пояс заткнул, чтобы и свой, и чужой кричали: «Ай да сотников сын!»

— Изведется он от этой науки,— пробовала возразить мать,— без присмотру, без материнского глазу.

— Э, что с бабою толковать! Правда, сынку,—улыбнулся старый козак,— будешь учиться добре, на злость всем гордым панам?.. Я еще тебя после бурсы и в Ярославль отдам Галицкий, в высшую школу, и в Варшаву свезу, знай, мол, наших! Что ж? Один сын, а достатки, слава богу, есть. А потом и в Сечь, до батька Луга. Таким лыцарем выйдешь, что ну! Атаманом будешь... кошевым!

— Лыцарем хочу быть, тато,— бросился к отцу хлопец,— только вот матери жаль!

И вновь эта давняя жалость и жажда нежной, любящей ласки острою болью отозвались в груди Богдана.

И опять перенесли его думы в далекую юность. Мрачное здание... Стрельчатые, высокие окна... Готические своды... На партах в жупанах, кунтушах и кафтанах заседают молодые надменные лица... За кафедрой стоит в сутане высокая, строгая фигура, с худым, бритым совершенно лицом и пробритою кругло макушкой; широкие, грязного цвета брови сдвинуты, на тонких губах змеится улыбка.

— Единая католическая вера есть только правдивая и истинная вера на свете,— отчеканивает фигура отчетливым, сухим голосом по-латыни,— она только есть спасение, она только возвышает ум и наше сердце, она только облагораживает душу. Верные сыны ее призваны в

мир совершенствоваться, духом возвышаться над всеми народами и властвовать над миром; им только и предопределены всевышним зиждителем власть и господство, им только и отмежованы наслаждения и блага земные сообразно усердию и безусловной преданности святейшему папе и его служителям. Все же остальные народы погружены в мрак язычества, а особливо еретики, именующие себя в ослеплении христианами; они богом отвержены и обречены нести вечно ярмо невежества и рабства...

На парте, прямо против лектора, сидит стройный юноша, с едва темнеющим пухом на верхней губе; глаза его сверкают гневным огнем, щеки пылают от страшного усилия сдержать себя и скрыть боль и обиду; он кусает себе до крови ногти и все-таки, не выдержав, спрашивает лектора дрожащим голосом:

— Как же, велебный наставник, милосердный бог может обречь целые народы на погибель, коли всевышний — «бог любы есть»?

— Тасе *, несчастный! — раздается с кафедры шепот.— Твои ослепленные схизмою очи не могут прозреть божественной истины.

— Еще смеет рассуждать, хлоп! — заметил кто-то презрительно-тихим шепотом сзади.

— Тоже, пускают меж вельможную шляхту схизматское быдло!..— откликнулся сдержанный ропот.

— Снисхождения, благородные юноши, нужно больше к заблудшим овцам,— кротко улыбается, поднявши очи горе, велебный наставник,— величие истины, разливающей благо, само победит непокорного.

У оскорбленного юноши выступают на глаза слезы, но он с неимоверным усилием сдерживает их, бросив на товарищей вызывающий, ненавистный взгляд.

— Да, гордое панство,— заволновался снова козак,— уж такое гордое, какого нет и на свете! Уж коли ясный король почитается только как страж их своеволия, так что же для него козаки? Наша рыцарская доблесть, наши заслуги отечеству ему ни во что! Вельможное шляхетство считает нас такими же хлопами, как посполъство, как чернь... не дает нам прав держать поселян на земле... ненавидит еще нас, как схизматов... хочет стереть с лица земли. А простому люду еще того

---

* Молчи (*лат.*).

хуже! Не за рабов даже, за быдло считает его всесильное панство! Отнимает не только волю, а и последнюю прёдковскую споконвечную землю. Муки, казни, пытки повсюду. И нет краю этой ненависти, а гордости сатанинской — предела! Чтобы добиться ласки шляхетской, нужно отступиться от народа, изменить вере отцов своих и стать гонителем благочестия... Ах, и неужели нельзя найти исхода этой кровавой вражде, нельзя водворить хоть какого-либо мира, порядка? Ведь без нас им не защитить ни границ, ни себя от грабежа и разгрома татарского, а они, безумные слепцы, хотят отсечь себе правую руку! Разумные дальнозорцы, как Лянцкоронский [26], Дашкевич [27] и Дмитро Вишневецкий [28], байда наш любый, тешились козачеством, множили его на славу и силу отечества, а вот через этих клятых иезуитов и пошли на нас гонения со времен Жигмонта, все больше через веру да через алчность панов, которым мы пугалом стали!

Давняя обида опять зажгла давнюю рану и вернула мысль Богдана к действительности; теперь они, эти вельможи, королевичи, еще стали необузданнее и в высокомерии, и в злобе — даже сами себя готовы грызть ради наживы...

«А меня, если бы поймали они в моих заветных желаниях, если бы догадались... о, растерзали бы с адским хохотом, с пеной у рта; но нет, будет же нашим бедам конец, надежда шевелится в груди и крепнет в помощь господнюю вера».

— Батько, смотри! — прервал вдруг у козака течение мыслей Ахметка, указывая пальцем вперед.

Богдан вздрогнул от этого оклика, отрезвился от мечтаний и дум и обвел глазами окрестность.

По диагонали, через взятый ими путь, пролегала хотя и присыпанная свежим снежком, но заметная широкая полоса, сбитая копытами коней, а вдали, на протяжении этого шляха, виднелась какая-то веха; она, словно игла, темнела на фиолетовой ленте, облегавшей уже с правой стороны горизонт; заходящее солнце розовыми бликами выделяло неровности гор.

— Кто бы это проехал по направлению к Днепру?— вскрикнул изумленно Богдан, присматриваясь к следам.— Татары? Нет, копыта у их коней пошире и не кованы... да и чего бы им держать путь к крепости? Наши?

Уходили, может быть... прорвались? Так нет; наши не такою батавой * идут. Кто же это? Что за напасть?

Тяжелое предчувствие сжало сердце козака и побежало холодом по спине; он нахмурил брови, подумал еще с минуту и, крикнув: «Гайда!» — помчался к зловещей вехе.

Белаш летел, отбрасывая задними ногами комья пушистого снега. Черневшая вдали на белом фоне игла видимо увеличивалась и принимала форму булавки; на вершине ее вырезывалось какое-то темное яблоко... Богдан устремил на него встревоженный взгляд и затрепетал, предугадывая роковую действительность... С каждым скачком лошади глаза у козака расширялись от напряжения, и он, наконец, угадал, убедился... Да, это была действительно вздернутая на шесте голова запорожца, еще хорошего Богданова товарища в Сечи, Грицька Косыря. На бледном, замерзшем лице застыла презрительная улыбка; мертвые очи смотрели мутно в безбрежную степь.

Богдан остановился у шеста как вкопанный и снял перед головою своего побратыма высокую шапку; Ахметка сделал то же, осадив за батьком коня.

«Так вот как, друже, встретились мы! — облегли тяжелые думы Богдана.— А давно ли расстались под Старицей? Значит, все погибло: табор разграблен, разбит, и Потоцкий развозит свои трофеи — буйные запорожские головы — по селам, по шляхам да по перекресткам. Несомненно теперь, что прошедший отряд — не какой другой, как лишь польский — гусары либо драгуны... и направляются, вероятно, к Кодаку с радостною вестью, чтобы с этого чертового гнезда громить Запорожье... Конец, конец и мечтам, и нашей замученной воле! Все усилия истощены; истинные герои, славные рыцари или пали на кровавом пиру, или истерзаны на пытках... а народ, несчастный, забитый народ, безропотно, беспомощно пойдет теперь в ярме — орать не свою, а чужую землю...

А друзья — Богун, Чарнота, Кривонос, Нечай?..[29] Спаслись или погибли? Повернуть домой, разведать, помочь им,— кружились вихрем в голове его мысли,— а тут Конецпольский... А, будьте вы прокляты! Помочь,

* Батава — кінний загін.

но как?.. Рвется на куски сердце... Сотня ножей впилась в грудь — и нет исхода... О, это роковое бессилие, этот рабский позор! Да разбить себе башку легче... Только... только недаром!—глянул он свирепо, вызывающе в серебристую даль, и снова прилив отчаяния охватил его.— Неужели же все надежды поблекли и, как листья, развеялись ветром?» — опустил козак голову на богатырскую грудь и уставился неподвижно глазами в широкое стремя. Заходящее солнце, как огромный яхонт, опускалось за алеющую полосу дали и обливало багрянцем контур могучей фигуры всадника и некоторые места торчавшей головы на шесте. Застывшие на ней темно-красные пятна теперь горели под лучами заходящего солнца кровавым огнем и призывали товарища к мести.

Богдан вздрогнул в порыве подступившего острого чувства и, сдвинувши сурово брови, повернулся к Ахметке, а тот стоял в ужасе, вперив глаза в мертвую голову.

— Слезай, хлопче, с коня! — сказал Богдан глухим, надтреснутым голосом.— Выроем вон там, подальше, яму да похороним честно голову доброго, славного козака, положившего ее за край родной, за народ и за веру!

Шагах в пятидесяти разгребли снег козаки и выбили саблями в мерзлой земле глубокую ямку, а потом, повалив шест, сняли почтительно с него голову; с мрачною торжественностью принес ее к могилке Богдан и, поцеловав в занемевшие уста, произнес растроганным, дрожавшим от внутренних слез голосом:

— Прощай, товарищ, навеки! Расскажи богу там, как знущаются над нами паны! — И, перекрестив голову, бережно опустил ее вглубь и засыпал землею, а Ахметка утоптал ее и все место забросал толстым слоем снега.

Молча вернулись козаки к своим коням, молча сели в высокие седла и молча двинулись в путь.

Богдан пустил Белаша вольно и с напряженным челом решал существеннейший для него в данную минуту вопрос: куда ехать? Возвратиться скорее в Субботов, домой, так как там, при разгуле и своеволии победителей, всякая беда может стрястись... но явиться, не исполнивши поручения, опасно: не будет возможности доказать, где находился, а следовательно, не будет возможности и опровергнуть доносы. Но и в Кодак явиться теперь —

так, пожалуй, угодить можно в волчью пасть... Не дернуть ли прямо на Запорожье? Известить братчиков о постигшем ударе и предупредить возможное со стороны врагов нападение? Во всяком случае нужно воспользоваться наступающею ночью, доскакать до Днепра, а там густые лозы да камыши дадут уже пораду-совет... «Гайда!» — крикнул козак и помчался вихрем вперед, а за ним двинулся с места в карьер и Ахметка.

Ночь медленно уже наступала; вся даль покрывалась сизыми, мутными тонами; на лиловато-розовом небе к закату блестел уже светлый серебряный серп, а на темной синеве купола начинали робко сверкать бледные, дрожащие огоньки.

Прошел час, а козаки все еще бешено мчались вперед, изменив несколько первоначальное направление. Местность из совершенно гладкой равнины начала переходить в холмистую плоскость, пересекаемую продольными балками.

Козаки поехали шагом; нужно было дать передохнуть взмыленным лошадям и осмотреть внимательнее местность; но последняя ничего нового не представляла: везде было безлюдно, бесследно, безмолвно; небо только начало крыться каким-то белесоватым туманом; козаки пустили наконец рысцой коней и даже закурили люльки. Показалась впереди глубокая впадина.

— Речка Самара [30], хлопче! Теперь уже все равно, что и дома!

И Богдан направил туда коня; но не успел он еще спуститься в овраг, как вдали, между какими-то темными очертаниями, показались огоньки.

Богдан поворотил коня и шепнул Ахметке: «Назад!» — но уже было поздно: с двух сторон из-за сугробов приближались к нашим путникам всадники и отрезывали отступление.

— Кто едет? — окрикнул ближайший.

— Войсковой писарь рейстровиков,— ответил Богдан.

— А! Козак! Бунтовщик! Берите его, шельму! — крикнул наместник драгунский.— И того, и другого лайдака!

Ахметка было выхватил из ножен саблю, но Богдан остановил его.

— Брось, сопротивляться не к чему; мы королевские слуги, нас тронуть не посмеют.

— Если пану угодно меня арестовать,— поднял голос Богдан,— то вот моя сабля; но я думаю, что посол коронного гетмана, а следовательно и Речи Посполитой, есть неприкосновенная особа и для врагов, а не то что для своих же сограждан.

— Ах, он быдло! Еще о правах заговорил! — подъехал второй всадник.— Дави их всех, собак, сади их на кол! На морозе это выйдет важно; а если у него есть какие бумаги — отнять.

— Нет только здесь, в этой проклятой степи, никакого дерева, чтобы вытесать кол, вот что досадно! — осмотрелся кругом всадник в драгунском ментике с откидными рукавами.

— Так отрубить головы и псу, и щенку, да и концы в воду,— заметил подъехавший третий,—а то надоело по морозу ехать дозором.

— Да, пора бы до венгржины *,— подхватил первый.

— У князя Яремы ее не потянешь,— вздохнул второй,— ни вина, ни женщин! Разве у пана Ясинского.

— Найдется, панове! — кивнул головой первый наместник.— Только скорей!.. А ну, слезай с коня и подставляй башку, хлоп!

Ахметка, бледный, с искаженными чертами лица, дрожал, как осиновый лист; но Богдан спокойно сидел на коне, ухватясь за эфес сабли. Простившись мысленно со всем ему дорогим и поручив богу грешную душу, он решился дорого продать свою жизнь.

— Опомнитесь, панове,— попробовал было он еще в последний раз образумить безумцев,— ведь ясновельможный гетман Конецпольский не потерпит насилия над своим личным послом и отомстит своевольцам жестоко.

Подъехавшие вновь всадники при этом имени несколько смутились и осадили коней назад, но запальчивый и подвыпивший пан наместник вспылил еще больше.

— А, сто чертей тебе в глотку с ведьмой в придачу! Еще грозить вздумал! Долой с коня! Рубить ему, собаке, и руки, и ноги, и голову! — уже кричал, размахивая саблей, драгун.

Но любитель кола приостановил это распоряжение.

— Нет, брат, жаль так легко с ними покончить: на

---

* Венгржина — вино; горілка.

кол посадить интереснее; я уже для этой потехи пожертвую дышло от моей походной телеги.

— А коли на кол, на палю, так согласен; тащите их к табору!

У Богдана мелькнула теперь, хотя и слабая, надежда на спасение, а потому он и допустил повести свою лошадь за повод; Ахметка и не думал уже о сопротивлении, а тупо коченел на седле.

II

Табор был недалеко за снежным, высоким сугробом. Два жолнера поспешили отцепить дышло от крайнего воза и начали из него приготовлять колья. Слух о поимке козаков распространился быстро по табору, а предстоящая казнь привлекла любопытных. Но между одобрительными отзывами послышались и такие: «Что же, панове, не в диковину нам этих псов мучить, а заставить бы их лучше показать прежде дорогу, а то мы из этой проклятой степи и выбраться не сможем!»

— Да, так; пусть покажут дорогу! — спохватились и другие.

В таборе поднялась суета.

Пленники сидели все еще на конях, окруженные увеличивающейся толпой. Наместник с товарищами завернул в палатку подкрепиться венгржиной, а жолнеры приготовили два кола, вбили их в мерзлую землю и ждали дальнейших распоряжений. Наконец подбодренный наместник крикнул из палатки:

— Тащите с седел быдло! Сорвать с них одежду и в мою палатку отнесть, а их, голых, на кол!

Но не удалась бы палачам над козаками такая потеха; Богдан уже выхватил было правой рукой саблю, а левою кинжал, как вдруг прибежавший гайдук прекратил готовую вспыхнуть последнюю смертельную схватку.

— Ясноосвецоный князь требует немедленно взятых пленных к себе и гневен за то, что ему о них не доложено! — крикнул он громко.

Наступило молчание; смущенная толпа мгновенно отхлынула, и у храброго наместника зашевелилась чуприна.

— Ведите их, отобравши оружие,— распорядился он уже пониженным тоном,— а я сам объяснюсь.

Богдан с достоинством отдал свою саблю и пошел за гайдуком вперед, а Ахметку повели жолнеры.

Походная палатка князя Иеремии Вишневецкого отличалась царственною скромностью; зимний полог ее был покрыт грубым сукном и подбит лишь горностаем, а сверху замыкала его золотая корона. У входа на приподнятых полах были вышиты чистым золотом и шелками великолепные княжеские гербы (на красном фоне золотой полуторный крест и на красном же фоне всадник); там же у входа водружена была и хоругвь, при которой на страже стояли с саблями наголо латники.

Обнажив голову перед княжьей палаткой, Богдан вошел в нее с подобающею почтительностью и с некоторым волнением: его как-то коробило предстать пред грозные очи уже прославившегося своею необузданною лютостью магната, а вместе с тем и желательно было ближе увидеть доблестного, храброго воина, красу польских витязей.

В глубине обширной палатки, освещенной высокими консолями в двенадцать восковых свечей, на походной складной деревянной канапе, покрытой попоной, сидел молодой еще, худой и невысокий мужчина; по внешнему виду в нем с первого взгляда можно было признать скорее француза, а не поляка. Продолговатое, сухое и костлявое лицо его было обтянуто плотно темною с желтыми пятнами кожей, придававшей ему мертвую неподвижность; над выпуклым, сильно развитым лбом торчал посредине клок черных волос, образуя по бокам глубокие мысы; вся же голова, низко остриженная, была менее черного, а скорее темно-каштанового тона. Из-под широких, прямых, почти сросшихся на переносье бровей смотрели пронизывающим взглядом холодные, неопределенного цвета глаза, в которых мелькали иногда зеленые огоньки; в очертаниях глаз и бровей лежали непреклонная воля и бесстрастное мужество; правильный, с легкораздувающимися ноздрями нос обличал породу, а нафабренные и закрученные высоко вверх усы вместе с острою черною бородкой придавали физиономии необузданную дерзость; но особенно неприятное впечатление производили тонкие, крепко сжатые губы, таившие в себе что-то зловещее.

Молодой вождь был одет в простую боевую одежду. Сверх кожаного, из лисьей шкуры, с шнурами, камзола надета была дамасской стали кольчуга, стянутая кожаным поясом; на плечах, вокруг шеи, лежал тарелочкой холщовый воротник, от белизны которого цвет волос казался еще более черным; у левого бока висела драгоценная карабела *, а ноги, обутые в желтые сафьяновые сапоги, тонули в роскошной медвежьей шкуре, разостланной у канапы; огромная голова зверя с оскалившейся пастью грозно смотрела стеклянными глазами на вход.

Возле князя на небольшом складном столике стоял золотой кубок с водою. Два молодых шляхтича, товарищи панцирной хоругви, в дорогих драгунских костюмах, Грушецкий и Заремба, стояли почтительно позади. Там же водружены были и два бунчука.

В лице и во всей фигуре Иеремии Вишневецкого разлито было безграничное высокомерие и презрительная надменность. Он вонзил пронзительный взгляд в вошедшего козака и молчал. Богдан, застывши в глубоком поклоне, с прижатою у груди правой рукой и с несколько откинутой с шапкою левой, стоял неподвижно и из-под хмурых бровей изучал зорко противника.

Длилось томительное молчание.

— Кто есть? — наконец прервал его сухим и неприятным голосом Вишневецкий.

— Войсковой писарь, ясноосвецоный княже,— ответил с достоинством и полным самообладанием козак.

— Откуда, куда и зачем?

— Из Чигирина в Кодак, с бумагами к ясновельможному пану гетману.

— Доказательства?

— Вот они, ваша княжья милость! — подал ему Богдан с поклоном пакет.

Вишневецкий сломал восковую печать на пакете, предварительно исследовав ее опытным взглядом, и внимательно начал просматривать бумаги.

— Однако девятый день в пути. Разве Чигирин так далеко? — ожег он козака зеленым огнем своих глаз.

— Два раза вьюга сбивала с дороги, и кони из сил

---

* Карабела — шабля з вигнутим лезом.

выбились,— ответил тот спокойным тоном, совершенно овладевши собой.

— Пожалуй, возможно,— согласился князь,— нас тоже она ужасно трепала и загнала проводников без вести. А вацпан знает путь? Может провесть и нас тоже в Кодак?

— О, степь, ясный княже, мне отлично знакома, и Кодак отсюда должен быть недалеко.

— О? Досконально! — вскинул на Грушецкого и Зарембу князь глазами и заложил ногу на ногу.— Так войсковой писарь егомосць,— пробегал глазами он по строкам,— а, Хмельницкий... Хмельницкий? Знакомая фамилия... Да! Какой-то Хмельницкий убит, кажись, под Цецорою [31], при этой позорной битве, где безвременно погиб и гетман Жолкевский.

— Это мой отец, ясный княже, Михаил Хмельницкий. Я сам был в дыму этой битвы, позорной разве по измене или трусости венгров, но славной по доблести и удали войск коронных. Как теперь вижу благородного раненого гетмана: бледный, обрызганный кровью, с пылающим отвагою взором, он крикнул: «Нам изменили, но мы умрем за отчизну, как подобает верным сынам!» — и ринулся в самый ад бушующей смерти. Мой отец желал удержать его, принимал на свой меч и на свою грудь сыпавшиеся со всех сторон удары. Я был тут же и видел, как за любимым гетманом бросились все с безумной отвагой и ошеломили отчаянным натиском даже многочисленного врага; но что могла сделать окруженная горсть храбрецов? Она прорезала только кровавую дорогу в бесконечной вражьей толпе и полегла на ней с незыблемой славой. Я помню еще, как мой отец, изрубленный, пал, открыв грудь благородного гетмана, а дальше стянул мне шею аркан, и я очнулся в турецкой неволе...

Богдан проговорил это искренним, взволнованным голосом, воскрешая врезавшуюся в память картину, и, видимо, даже тронул стальное сердце князя-героя. В его взгляде исчезли зеленые огоньки.

— В неволе? — переспросил Вишневецкий.— Где же и долго ли?

— Два года. Сначала в Скутари, а потом в Карасу-базаре [32]. Меня выкупил из неволи крестный отец, князь

Сангушко; хлопотал и канцлер коронный, ясновельможный пан Оссолинский [33].

— Вот что! Так пан писарь был при Цецоре и сражался за славу нашей отчизны? Завидно! Но стал ли бы он и теперь с таким же пылом сражаться за ее мощь?

— За мою родину и отечество я беззаветно отдам свою голову,— сказал с чувством, поднявши голос, Богдан.

— К чему же здесь родина? — прищурил глаза Вишневецкий.

— Родина есть часть отечества, а целое без части немыслимо,— ответил Богдан.

— Вацпан, как видно, силен в элоквенции *. Где воспитывался?

— Сначала, княже, в киевском братстве, а потом в иезуитской коллегии.

— То-то, видно сразу и в словах, и в манере нечто шляхетское, эдукованное, а не хлопское. Я припоминаю и сам теперь пана,—переменил он вдруг речь с польского языка на латинский,— встречал в Варшаве у великого канцлера литовского Радзивилла и даже, помнится, за границей.

— Да, я имел честь быть по поручениям яснейшего короля в Париже,— ответил тоже по-латыни Богдан.

— По поручениям личным или государственным?

— Найяснейший король свои интересы сливает с интересами Посполитой Речи.

— Дай бог! — задумался на минуту Вишневецкий и потом, как бы про себя, добавил: — Во всяком случае, это доказывает доверие к егомосце и короля, и сената, что заслуживает большой признательности.

— Клянусь святою девой, что эта сабля...— ударил в левый бок по привычке Богдан и, ощутив пустоту, смешался и покраснел.

— А где же твоя сабля? — спросил, изумясь, Вишневецкий.

— Арестована, ясный княже.

— Кем и за что?

— Княжьим подвластным... для приспособления меня к колу.

— Вот как! Без моего ведома? Подать мне сейчас

---

* Элоквенция — красномовство (*лат*).

саблю пана писаря! — крикнул по-польски князь, и Заремба бросился к выходу.— Да доложить мне,— добавил он вслед, — кто там без меня дерзает распоряжаться?

Через минуту влетел Заремба и, подавая князю саблю, сообщил, что распорядился пан наместник Ясинский и что он хочет объясниться.

— Поздно! Исключить его из хоругви! — сухо сказал, рассматривая саблю, князь Ярема.— Добрая карабела, дорогая и по рукоятке, и по клинку.

— Для меня она бесценна,— заметил Богдан,— это почетный дар всемилостивейшего нашего короля Владислава [34], когда он еще был королевичем, за мои боевые заслуги под Смоленском и под Москвою [35].

— Так храни же эту драгоценность,— передал князь саблю Богдану,— и обнажай ее честно на защиту отчизны против всех врагов, где бы они ни были.

— Бог свидетель,— поцеловал Богдан клинок сабли, дотронувшись рукой при низком поклоне до полы княжьего кунтуша,— я обнажу ее без страха на всякого врага, кто бы он ни был, если только посягнет на нашу свободу и благо...

— Свобода Речи Посполитой незыблема! — перебил Иеремия, возвысив свой голос, зазвучавший неприятными высокими нотами.— Бунтовщики теперь уничтожены; гидре срезана голова, и я размечу все корни козачества — этого безумного учреждения моего безумного предка... Я размечу, прахом развею,— ударил он по столу кулаком,— и заставлю забыть это проклятое имя!.. Но я и вельможи, карая изменников, вместе с тем с особенным удовольствием желаем отличить, наградить и выдвинуть верных короне и отчизне сынов, желаем лучшие роды преданнейших слуг возвысить даже и до шляхетства, если, конечно, они поступятся своею дикостью и заблуждениями... Надеюсь, что пан писарь, при своей эдукации, потщится заслужить эту честь.

Богдан ответил глубоким поклоном, не проронив ни одного слова.

— Еще только остается разгромить и уничтожить это волчье логовище — Запорожье,— продолжал Вишневецкий, отхлебнув из кубка воды,— тогда только можно будет спокойно уснуть.

— Тогда-то, осмелюсь возразить, ясноосвецоный кня-

же,— вздохнул Богдан глубоко,— и не будет ни на минуту покоя: орда безвозбранно будет врываться в пределы отечества, будет терзать окраины, обращать в пепел панские добра и, в конце концов, дерзнет посягнуть и на самое сердце обездоленной Польши.

— Мы воздвигли твердыню Кодак, и неверные азиаты не посмеют переступить этот порог,— надменно сказал Вишневецкий.

— Твердыня имеет значение лишь для своих, а низовья Днепра и границы в широкой степи беззащитны,— убедительным тоном поддерживал Богдан свою мысль.— Только буйные шибайголовы запорожцы, сыны этой дикой пустыни, могут противостать быстротой и отвагой таким же диким степовикам.

— А мою карабелу и мои хоругви вацпан забывает? — раздражаясь, брязнул саблею князь.— Об эту скалу,— ударил он рукою в свою грудь,— разобьются все полчища хана.

— Да, ясноосвецоный князь — единый Марс на всю Польшу; так неужели же знаменитейший вождь и сын славы, имя которого может потрясти и самую Порту, согласится стать только сторожем для спокойствия завидующих ему магнатов?

— Вацпан не глуп,— прищурился и искривил улыбкою рот Вишневецкий,— но пора; мы отдохнули довольно... В поход! — крикнул он, и Заремба полетел передать распоряжение.— Надеюсь, ты и ночью не собьешься с пути? — обратился он к Богдану.

— Пусть ваша княжеская милость будет спокойна,— поклонился козак.

— Ну, ступай и распорядись,—ударил его по плечу дружески Вишневецкий,— а когда благополучно возвратимся, то я предлагаю тебе у себя службу.

— Падаю до ног за честь, ясный княже! — приложил к сердцу руку Богдан и, наклонив почтительно голову, вышел из палатки.

Весь лагерь был в суете и движении; палатки укладывались, в телеги запрягали коней, драгуны подтягивали подпруги у седел, гусары строились, пушкари хлопотали возле арматы... Все снималось с места торопливо, но без крика и замешательства, а в строжайшем, привычном порядке.

Не успел Богдан сесть на своего Белаша и ободрить

Ахметку, как раздался крик вскочившего на коня князя: «Гайда!» — и все войско стройно двинулось за ним.

Богдан должен был ехать впереди, между приставленными к нему латниками. Все последние события совершились так быстро, что он еще не мог ни разобраться в мыслях, ни оценить своего положения, ни уяснить, отчего у него в груди стояла тупая, давящая боль? Одно только поднимало в нем силы: сознание, что пока от кола он ушел.

Вдруг, проезжая мимо обоза, он увидел козаков, прикованных к повозкам цепями; между ними он узнал и своих двух товарищей по многим сечам и по последней — Бурлия и Пешту. Облилось кровью от жалости сердце козака, а вместе с тем и сжалось от подступившего холода.

— Ба! Смотри, Хмель здесь! — отозвался Бурлий.

— Верно, он — и в почете! — прошипел Пешта.

— Вот так штука! Ловкач! — засмеялся первый.

— Удеру и я ему штуку! — крикнул второй.

Ни жив ни мертв ударил Богдан острогами коня и вынесся с отрядом вперед... Несколько мгновений он не мог прийти в себя, пораженный этой новой, неотвратимой опасностью; но движение окружавших его войск, стук конских копыт, шорох оружия заставили его скоро вернуться к действительности, и весь ужас его положения встал перед ним с новой силой.

Что делать?.. Что предпринять?! Сквозь скрип телег и стук конских копыт до слуха Богдана доносилось мерное позвякивание цепей, и этот мрачный, зловещий лязг, словно погребальный колокол, аккомпанировал движению его мыслей. Он знал, без сомнения, какая участь ожидает завтра его братьев, друзей; он знал, что весть о его появлении в лагере Вишневецкого, не в цепях, а на свободе и даже с некоторым почетом, облетела уже всех пленников и что все товарищи объясняют это его изменой. «Но те, все остальные,— думалось ему,— пусть... пусть кричат, и бранят, и проклинают!.. Хотя это и тяжко, ох, как тяжко; но, пожалуй, на руку: такой взрыв негодования будет лучшею рекомендациею для Яремы. Но если Пешта и тот вздумают исповедаться перед смертью да рассказать, какой неизвестный воин помог и Гуне, и Филоненку? А!» — передвинул Богдан

шапку и почувствовал, что волосы начинают у него на голове шевелиться.

Умереть так рано и так глупо, смертью позорной, бесславной... и это ему, когда он чувствует в груди столько энергии и силы, когда у него еще столько жизни впереди! Необоримое желание жизни охватило все его существо... Нет, он должен выгородить себя!.. Но как? Не шепнуть ли Яреме, чтоб покончил с опасными пленниками скорее? Что значит день жизни... не лишние ли мучения? «Но нет, нет! Retro, satanas, retro, satanas! * — прошептал он поспешно, крестясь под кереей.— О, до каких зверских мыслей может довести это бессильное, униженное состояние! Однако надо же решаться на что-нибудь: время идет, и рассвет недалеко... Уйти? Нет, мне не дадут сделать и шагу... А может быть, удастся спасти,— сверкнула у него надежда,— хотя тех двух? Попробовать, но как? Единый господь, прибежище мое и защита!» — задумался Богдан и начал исподволь замедлять шаги своего коня и отставать к обозу. Люди сидели и дремали в седлах, так что маневров его не заметил никто; наконец, после томительного получаса Богдану удалось поравняться с одной из первых телег.

— Ты тут, Пешто? — тихо обозвал он одного из сидевших в возу.

Опущенная голова поднялась, и на Богдана взглянула пара узких и косо прорезанных глаз: взгляд этот был полон затаенной ненависти и презрения.

— А что, брат-зраднык,— громко произнес он,— полюбоваться приехал, как товарищей на кол сажать будут?

И Богдан заметил в темноте, как блеснули желтые белки Пешты и тонкие губы искривились под длинными усами.

— Тише, молчи! — прошептал Богдан.— Сам попался... чуть на кол не угодил... Пощадили, чтоб указал дорогу... Едем в Кодак... все сделаю, чтоб спасти... Надеюсь; только молчи, ни слова!

— А как сбрешешь, обманешь? — переспросил Пешта.— Смотри, погибнем мы, так и тебе не уйти.

На других телегах, которые медленно двигались в

* Назад, сатана! *(лат.)*.

темноте, не слышали переговоров Богдана. Под мрачным и низким небом они тянулись на фоне белесоватого снега смутною, громыхающею цепью; кое-кто из козаков сидел, опустивши голову, кое-кто лежал, а кое-кто, прикованный цепью за шею, шел за телегой... Не раздавалось ни стонов, ни криков, ни воплей, а какое-то холодное, молчаливое равнодушие царило над ними... Казалось, что это тянулась перед ними не прощальная, последняя ночь, а медленно разворачивалась их безрадостная, горькая жизнь, такая же мрачная и суровая, как эта холодная, темная степь.

Богдан тихо вздохнул.

— А что пан делает здесь? — раздался у него за спиной неприятный и резкий голос Ясинского.

Богдан вздрогнул, но ответил спокойно:

— А бунтарей хотел посмотреть.

— Удивляюсь пану; я думаю, он видел их ближе и чаще, чем мы, а может, нашлись и соратники?

— Пан шутит, конечно, как шутил и с колом,— уязвил его, овладевая собою Хмельницкий,— ведь я не так глуп, чтоб подъезжал для улики, если бы таковые тут были,— ведь иначе и меня бы исключили сейчас из хоругви!

— У, сто двадцать чертовских хвостов и пану-ехиде, и всем вам в зубы! — прошипел ему вслед Ясинский, закусывая ус.— Погоди, уж я тебя выслежу, доеду!

Между тем ночь близилась к концу. Фигуры всадников вырезывались яснее и яснее; посветлело и свинцовое, низко нависшее небо. Предрассветный холод пробирал до костей. Лица казались грязными и желтыми. Сырой, противный ветер подымал гривы лошадей и пробирался под плащи и в рукава. Кое-где среди всадников слышалось короткое проклятие... а там, в конце обоза, раздавался все тот же однообразный, томительный лязг.

— Ясноосвецоный князь требует к себе пана,— раздался около Хмельницкого голос молодого оруженосца.

Богдан выехал из толпы, пришпорил коня и через минуту почтительно остановился подле князя.

— Ну, что же, вацпане,— обратился к нему в полуоборот Вишневецкий,— скоро ли до Днепра?

— Как ехать, ясный княже? — поклонился Хмельницкий.

— По-яремовски.

— Через час ваша княжья милость остановится на берегу.

— А скажи мне, откуда ты степь так хорошо знаешь? — спросил его как-то отрывисто Вишневецкий, бросая из-под бровей стальной взгляд.

— По поручениям ездил не раз.

— Но... конечно, вацпан и в Сечи бывал, и с дяблами якшался?

— Не был бы иначе козаком, ясный княже.

— Люблю, кто говорит правду смело.

Князь продолжал двигаться вперед; за ним в почтительном расстоянии следовал и Хмельницкий, приближаясь при разговоре и отставая при молчании.

Теперь, при совсем уже рассветшем небе, эти две фигуры выделялись совершенно ясно. Рыжий, сухощавый арабский конь князя нервно выступал впереди,— казалось, он ежеминутно готовился подняться вперед; сам всадник выражал признаки живейшего нетерпения; он то подергивал рукою вверх опускавшийся от сырости ус, то бросал по сторонам пытливые взгляды. Белый конь Хмельницкого выступал спокойно и величаво; осанка всадника дышала такою же уверенностью, лицо, казалось, застыло в сосредоточенном выражении, но в глазах, в глубине, горел такой острый и жгучий огонь, что если бы холодный взор Иеремии встретился с ним, он бы позеленел от злобы. Эта холодная зимняя ночь запала в душу Богдана, и ему казалось, что звук козацких оков будет звучать в ней теперь навсегда.

— А! — спохватился вдруг Иеремия.— От Кодака далеко ль до Сечи?

— Сухим путем, пане княже, в обход — дня два, а то и больше,— приблизился Богдан, сдавив шенкелями коня,— дорог нет... овраги... горы... болота... А если Днепром, через пороги, то десять часов только ходу.

— Сто дяблов! Это бешеная скачка по бешеным волнам.

— Да, бешеная и опасная... и то только в половодье, а в прочее время года она почти невозможна: подводные скалы и камни на каждом шагу сторожат дерзкую чайку.

— Пекельное место! Оттого его, верно, черти и выбрали?

— Но эти черти могут быть страшны для врагов Посполитой Речи, а не для отечества.

— Надеюсь, теперь не страшны,— зло засмеялся князь скрипучим, сухим хохотом,— я сбил им рога.

— Они могут быть преданы, клянусь, пане княже,— душевным голосом пробовал тронуть князя Богдан,— сердце козачье признательно и благородно...

— Лживо, вероломно! — перебил Вишневецкий.

— Если и бывали такие печальные случаи, ясный княже, то козаки в этом брали пример у своих вельможных наставников.

— Что-о? — вскипел князь.

— Ваша княжеская милость простит... Я груб, быть может, и не умею прикрасить правды притворной лестью; но почему же все козачество и весь наш народ не поверит никаким клятвам каноников, ни их целованью креста, а поверит лишь одному слову князя Яремы? Потому что князь Ярема никогда в жизни его не ломал, потому что его слово и на земле, и у бога — святыня!

— Таким и должно быть шляхетское слово! — сказал торжественно мягким тоном Ярема, польщенный и покрасневший даже от удовольствия. Слова козака помазали его душу нежным, душистым елеем, и у него промелькнула невольная мысль: «Однако мне не приходило в голову, что между хлопами могут быть такие ценители!»

— Но таково ли оно у других вельможных панов,— ясноосвецоный князь хорошо знает... потому-то, хотя всяк из нас трепещет при имени князя Яремы, но зато за одно его ласковое слово всяк отдаст и жизнь... Пусть попробует ваша княжья милость оказать милосердие, и он приобретет таких верных слуг, каких ему не купить за деньги.

— Может быть; твоя прямота мне по сердцу; но пощадить этих гнусных хлопов, бунтовщиков и изменников — это невозможная жертва.

— Рим только тогда окреп в своем величии, когда начал щадить плебеев,— тихо и вкрадчиво вставил Хмельницкий.

Вишневецкий угрюмо молчал и всматривался в яснеющую даль, где виднелись уже сизою лентой в тумане луга. Хмельницкий не спускал с него испытующих глаз; надежда начинала шевелиться в душе.

— Нет, этих мерзавцев... это рабское племя... servum pecus истребить нужно,— буркнул как бы сам себе

Ярема,— да и может ли из этих гадюк выбраться преданный?

— Ваша княжеская милость может убедиться... Я головой ручаюсь за Бурлия, за Пешту,— начал было Богдан, но прикусил язык, заметив зловещее выражение глаз у Яремы.

Не долго, впрочем, продолжалось грозное молчание. Вишневецкий обернулся назад и крикнул:

— А ну, гайда по-яремовски!

Этому приказу обрадовался Хмельницкий; он без слов вонзил остроги в бока коню и быстро помчался вперед.

Начинал падать мелкий дождик; снег покрывался тонкою, блестящею корой, которая проламывалась под копытами, но, несмотря на трудность движения, Белаш нес своего хозяина все вперед и вперед.

— Племя рабов! Племя рабов! — слетело несколько раз со сжатых уст Богдана.— Но если встанут рабы — горе патрициям тогда!

Уже глаз его различал между сизых и белых тонов темную полосу реки, уже начали направо и налево попадаться торчащие камни, путь становился неровным, обрывистым и требовал большой осторожности при движении,— а вот и крутой спуск. Богдан поехал шагом и через несколько минут остановился на обрывистом берегу. У ног его развернулась величественная картина. Могучая река, сдавленная каменными берегами, делала в этом месте резкий поворот на юг и с диким ропотом билась о заступавшие ей преграды. Там, вверху, где за коленом она сливалась с горизонтом, виднелось поле вздувшегося, посиневшего льда, здесь же клокотали и вздымались холодные, серые волны, стремясь бешено на юг; неуклюжие льдины сталкивались друг с другом, и их зловещее шуршание доносилось ясно до слуха.

На противоположном берегу угрюмой реки вырезывалась на выдававшемся скалистом берегу такая же угрюмая, как свинцовые волны, и такая же мрачная, как нависшее небо, каменная громада. Богдан сразу узнал крутой берег, но это выросшее на нем каменное страшилище?.. Откуда оно? Как появилось? Как посмело усесться здесь на пороге к их вольной воле?

Конечно, он слыхал не раз об этой воздвигнутой

вновь твердыне; но вид ее здесь, воочию, поразил его до глубины души.

Молча стоял Богдан как окаменелый,— и глаза его не могли оторваться от грозных стен: они подымались, словно из воды, волны набегали и бились о них, но плеском своим не достигали их подножья; только клочки грязной пены и спутанных водорослей покрывали скалистые берега этой твердыни. Грозный четырехугольник острым ребром врезывался в пучину и мрачно смотрел своими бойницами на оба колена реки; громадные, темные четырехугольные же башни подымались над ним высоко и сурово господствовали над окрестностью; флаги их, теребимые ветром, кичливо развевались над массой бушующей воды, а издали, с юга, доносился глухой, угрожающий рокот,— это ревел Кодацкий порог.

Прискакал и князь Иеремия; он осадил своего коня и также застыл в восторге; но не широкая картина пленила его, а мрачные башни-твердыни.

— Ну, что,— обратился он, наконец, к Богдану,— залюбовался вацпан фортецой?

— Заслушался рева порогов, ясноосвецоный княже,— ответил Богдан.

— Ха-ха-ха! — коротко усмехнулся Вишневецкий.— Все пороги твои перед этим порогом — ничто! — показал он рукою на крепость.— Попробуй-ка, вацпан, мимо пройти.

Богдан молчал.

— Однако,— вскрикнул Вишневецкий,— как нам переправиться?

— Через Днепр здесь невозможно, ясный княже, а, полагаю, вверх за милю, у старой Самары, или паромом, или, быть может, по льду.

— А! Двести перунов! Тащиться кругом, когда здесь рукою подать!

— Другого способа не вижу,— заметил Хмельницкий,— здесь паромов нет, а как же переправиться возам, войскам, армате?

— Ну, обоз... но я? — нетерпеливо и резко воскликнул Вишневецкий.— Неужели здесь не сыщется ни одной дырявой лодки?

— Я поищу; смею уверить княжью мосць, что, если хоть одна притаилась здесь, я приволоку ее сюда!

Богдан слез с коня, отдал его Ахметке и спустился вниз.

Приблизился и обоз и, получив приказание, отправился вверх по берегу Днепра.

А Иеремия все стоял, ожидая появления Богдана. Через несколько минут показался последний в сопровождении деда-рыбака.

— Я привел к вашей княжеской милости вот дида-рыбалку; у него есть здесь у берега два челна: один — негодная душегубка, а другой — небольшой дубок на три гребки, человек на двадцать; но дид говорит, княже, что в такое время и в такой ветер безумно опасно перерезать Днепр у самого носа порога.

— Так, так, вельможный пане,— кивнул головою и дед с длинными седыми усами и одним лишь клоком серебристых волос на совершенно обнаженном черепе,— сердит сегодня наш дид, аж пенится да лютует.

— Почему? — усмехнулся Иеремия, обратясь к Хмельницкому.

— Порог ревет,— понизил голос Богдан.

— Ревет? И думает испугать Иеремию? — вскинул тот на Богдана холодные, надменные глаза и крикнул громко и неприятно: — Гей, хлопцы, готовьте дубок!

— Ой пане,— закачал головою старый рыбак,— как бы беды не приключилось! Ведь тут нужно на весла таких сильных да опытных рук, какие вряд ли у пана найдутся, а на корму нужно знающего да крепкого человека, с немалой отвагой.

— Ах ты, старый пес, хамское быдло! Чтобы у князя Яремы не было таких храбрецов? А, я покажу тебе!.. Гей,— обратился он к подъехавшим латникам и драгунам,— кто из вас сядет на весла со мной в лодку? Мне нужно отважных силачей.

Всадники смешались, начали перешептываться, указывая на клокочущую стремнину, и нерешительно топтались на месте.

— Ну! — крикнул, побагровевши, нетерпеливо Ярема.— Я жду, или их нет?

Выехали вперед шесть всадников; вид их был поистине богатырский и вселял доверие к их силам; за первыми шестью двинулись смело и остальные, но Вишневецкий остановил их грозным жестом.

— Назад! Не нужно и поздно! — презрительно крик-

нул он и начал осматривать шестерых.— Ты и ты, да товарищ панцирной хоругви на весла! — указал он на двух здоровенных жолнеров и на пана Зарембу.— Коня к обозу,— соскочил он с седла,— и за мною к этому дубку! А вацпан, вероятно, не желает дразнить свой порог? — обратился Вишневецкий к Богдану, прищурив глаза.

— Напротив, я хотел предложить княжьей милости быть рулевым,— поклонился Богдан.— Где пройдет князь Иеремия, там безопасны все пути.

— Так,— сжал брови Вишневецкий и, протянув величественно руку в ту сторону, откуда доносился глухой рев Кодака, произнес резко и злобно: — Клянусь своим патроном, мы сметем всю эту сволочь, как буря сметает придорожную пыль!

— Я бы просил мосци князя,— заметил сдержанным голосом Хмельницкий,— не слишком отягчать дубок.

— Нас поедет только пятеро,— кивнул князь головою,— да вот шестого захватить нужно — этого старого пса! Взять его и выбросить за борт посредине! Едем!

Молча двинулись все за князем к Днепру, поручая души свои единому господу богу.

Когда челн стоял у берега, расстояние до Кодака казалось недалеким, но когда отчалил дубок и смелые пловцы очутились среди рвущихся, бушующих волн, Кодак показался таким далеким, а Днепр таким бесконечно широким, что холодный ужас сжал не одно сердце. Не испытывали страха только два человека: князь Иеремия и Богдан.

Иеремия стоял на носу. Его короткий серый плащ развевал ветер; руки были скрещены на груди. Лица его не было видно; он стоял спиною, но по уверенной и беспечной осанке видно было, что опасность пути даже не приходила ему на ум.

Богдан сидел на корме, опираясь на весло. В бесстрашном взоре его горел мрачный огонь; у ног козака помещался дед и подслеповатыми глазами равнодушно смотрел в темную бездну. Громадные льдины ежеминутно грозили опрокинуть челн, и требовалась редкая смелость и уменье, чтобы лавировать среди них и вместе с тем подвигаться вперед. А снизу доносился грозный рев, и, казалось, он подавал дружеский голос Богдану, и этот голос твердил козаку все одно и одно: «Спусти

челн, отдай мне мою добычу... я ваш верный друг... я вам помогу...» — и от этой мысли кровь приливала к лицу козака, и в голове раздавался неотвязный шум. Да, видеть ужас смерти на этом холодном, бледном, бесстрастном лице, услыхать этот металлический голос с жалким воплем о помощи и крикнуть ему надменно: «Ты, что народы сметаешь, неужели не можешь порогов смести?» О, за такое мгновенье можно полжизни отдать! Но сам он? Эх, раз мать родила, раз и умирать в жизни... да может еще и смилуется батько... «Но прочь, прочь, безумные мысли,— провел Богдан рукою по лбу,— они достойны лишь юноши, а не зрелой козацкой головы! Одним несдержанным взмахом порвать сразу так долго возводимое здание и утерять навеки доверие шляхты... Нет, нет! Пока здесь крепок рассудок — в ножны мой гнев!»

Между тем двигаться дальше становилось все опаснее и опаснее. Ветер крепчал; льдины взбирались одна на другую, волны подымались и падали с глухим и затаенным ревом, и седая щетина подымалась на них. Лодка шаталась и трещала, гребцы оказались хотя и сильными, но совершенно неумелыми людьми. Весла подымались и опускались не разом, перескакивали, путались: не получая равномерных и верных толчков, лодка двигалась какими-то зигзагами. Кроме того, с каждым ударом разъяренной волны покидало гребцов и мужество. У одного из них от неумелого усердия переломалось весло.

— Нас сносит,— крикнул он, полный ужаса, держа в руке круглый обломок.

— Нет силы бороться с течением! — крикнул другой.

И в тоне того крика храброго жолнера было столько ужаса, что сам Иеремия обернулся. Действительно, у выбившихся из сил гребцов весла выпадали из рук: один только Заремба, зажмурив глаза, все еще старался грести, но течение с неудержимою силой уносило челнок вниз. Кодацкая крепость оставалась уже высоко за ним.

— Клянусь святым папой,— крикнул Иеремия,— нам угрожает гибель! Вацпане, что это значит? — обратился он к Богдану, сжимая брови, хватаясь за эфес.

— Течение сносит, устали гребцы,— коротко ответил Богдан.

— Я их вышвырну за борт и сам сяду на весла! — двинулся, пошатнувшись, Иеремия.

— Напрасно, ясный княже: здесь отвага не пособит горю.

— Но что же делать?

— Напрячь все силы и хладнокровие,— прищурил глаза Богдан, налегая на весло; но, несмотря на все усилия, ему не удавалось повернуть лодку: вода за кормою и пенилась, и вставала грозной волной.

Благодаря последним усилиям рулевого, они еще держались на одном уровне; но каждое мгновенье течение грозило снести их, как соринку, вниз на порог.

— Нет, сносит, сносит! — позеленел Вишневецкий, и желтые пятна на щеках его стали белыми.— Спускайтесь вниз... к берегу... мы бросимся вплавь! — крикнул он, скидая панцирь на дно.

— Стой, княже! Погибнешь! — раздался вдруг металлический голос Хмельницкого. Он стоял во весь рост, передавая диду рулевое весло. Шапку его сорвал ветер; лицо было бледно; на лбу между бровей легла глубокая складка; глаза из-под черных ресниц горели отважным огнем. Во всей осанке его было столько гордой смелости и силы, что Иеремия не узнал в нем того дипломата-козака, который так почтительно разговаривал с ним. Прекрасен был козак в это мгновенье, и Вишневецкий невольно воскликнул в душе: «Король!» — и в то же самое мгновенье в глубине ее шевельнулась какая-то смутная вражда.

А голос Богдана раздавался, между тем, коротко и резко:

— Гребцы, долой! Пересесть на корму! На весла пусти!

Этот уверенный, могучий голос, казалось, ободрил гребцов. Весла дружно поднялись в воздухе и упали в лодку. Передовые гребцы перешагнули к корме. Богдан распахнул свой кунтуш, одним движением сбросил его на дно челна, поднял глаза к свинцовому небу, перекрестился широким козацким крестом и опустился на переднюю скамью.

— Ну, батько Славута, не выдавай! — крикнул он громко и поднял весла.

Как крылья могучей птицы, широко взлетели длинные весла и с шумом упали на кипящую поверхность

реки. С силою откинулся козак, затрещали гребки, вздрогнул дубок, и покачнулись все от короткого толчка. Еще и еще раз поднялись и ударили по кипящей воде весла; не брызги, а седая пена клочьями полетела с них,— и дубок со стоном двинулся вперед.

— Гей, пане Зарембо,— раздался снова зычный голос Богдана,— на вторую гребку! Наляжь!..

Ветер рванул высокую волну и обдал ею гребцов.

— Добре! — раздался одобрительный крик деда с кормы.— Добре, козаче, так добре, что аж весело!

— Гей, кто там, распахните мне грудь! — махнул Богдан головою ближайшему жолнеру.

От чрезмерных усилий на лбу у Богдана выступили капли крупного пота, могучая грудь подымалась сильно и тяжело, но лицо было бледно и спокойно, а голос, и сильный, и резкий, как звон металла, раздавался сквозь рев бури, сквозь грозный шум Кодака...

Из крепости, между тем, заметили бесстрашных пловцов. На широких валах столпились изумленные воины, следя за отчаянною борьбой челнока... Порывы ветра доносили к ним ободряющие крики Богдана; из глубины пенящихся волн раздавалось уверенно и смело: «Гей, пане, наляжь!» Вот налетела волна, скрылся на мгновенье челнок и снова взлетел на ее вершину. Прошло несколько тягостных минут, и лодка перелетела бурную середину реки и понеслась наискось к Кодаку.

Когда дубок ударился носом о кручу и Иеремия вышел на берег, его встретила там целая процессия.

Подъемные ворота замка были спущены. Впереди всех стоял старик наружности видной и величавой. Седая борода обрамляла полное и свежее лицо; из-под седых бровей глаза глядели разумно и гордо. На брови была надвинута соболья шапка со страусовым пером; кунтуш, подбитый соболями, спускался с плеч. За магнатом стояли отдельно еще две фигуры, обратившие на себя внимание прибывших. Одна из них была в одеянии ксендза; на голове ее была обыкновенная черная, иезуитская шляпа с широкими полями. Возраста этой личности нельзя было определить, потому что хотя в жидких черных волосах, выбивавшихся из-под шляпы, не виднелось седины, но желтая кожа, покрывавшая худое, бритое лицо, была вся в морщинах. Нос иезуита напоминал нос птицы, а глаза, быстрые и желтые, пытливо рас-

сматривали из-под полей широкой шляпы новоприбывших гостей.

Другой спутник магната был средних лет и среднего роста мужчина, в сером суконном кафтане; белый воротник лежал вокруг его шеи; в руке он держал серую шляпу с таким же пером. И по лицу, и по костюму в нем можно было сразу признать иностранца. За ними стройною стеной стоял гарнизон крепости, с комендантом во главе.

— Te, Deum, laudamus! * — напыщенно воскликнул иезуит, воздевая к небу руки, когда нога Иеремии коснулась земли.

— Приветствую тебя, победителя победителей! — обратился к Вишневецкому седой магнат и остановился на мгновение: магнат заикался и выговаривал слова с трудом.— Отныне ты стал победителем не одних только смертных, но и грозных стихий!

Иеремия надменно поклонился, обнажил голову и ответил коротко и сурово, показывая на Богдана:

— Но ныне победа принадлежит по праву не мне, а ему.

Все оглянулись и увидели стоявшего во весь рост в лодке могучего козака; лицо его пылало от жара, а глаза горели гордым огнем.

III

В чистой комнате комендантского дома ярко горели в очаге сухие огромные дрова. Несмотря на дневную пору, в ней не было светло, потому что небольшие, узкие окна, пробитые почти под потолком, пропускали немного мутного света; зато отблески громадного пламени играли на серых стенах, и живительная теплота огонька наполняла всю комнату. Убранство ее также было сурово и строго, как и внешний вид комендантского дома. Неуклюжие дубовые стулья с высокими дубовыми спинками, усаженными медными гвоздями, стояли вокруг стола. Несколько кабаньих и лосьих голов да несколько кривых сабель и гаковниц-пищалей ** украшали серые

* Тебе, боже, хвалимо! *(Лат.)*.

** Гаковница-пищаль — довга рушниця з гаком біля приклада, на дерев'яній підставці; використовувалась переважно у фортецях.

каменные стены. Небольшая компания сидела у стола. Во главе всех помещался вельможный магнат, великий коронный гетман, главнокомандующий и вместе военный министр Конецпольский. Шапки теперь не было на его голове, и седые волосы волнисто падали кругом, обрамляя высокий и умный лоб; хотя лицо было все в морщинах, но щеки гетмана покрывал сомнительно тонкий румянец, а борода его была тщательно завита и надушена. Гетман спокойно поглаживал ее, больше слушая, чем говоря. Князь Иеремия сидел вполоборота, закинувши ногу за ногу, и нетерпеливо подкручивал вверх свой черный ус.

Остальные собеседники сидели почтительно и молчаливо; это были — шляхтич в иноземной одежде — француз Боплан [36], иезуит и пан Гродзицкий, комендант Кодака. Со стола были убраны все блюда, и только металлические кувшины да высокие кубки стояли на нем.

Разговор велся горячо.

— Так,— говорил отрывисто Иеремия,— козаков мы разбили,— мало! — уничтожили, стерли с лица земли! Все же справедливость отдать им надо: подлы, изменчивы, но дерутся, как дикое зверье! Победа досталась не дешево. Если б не мои гусары, не знаю, не сидел ли бы теперь гетман Потоцкий у Острянина на колу? — Вишневецкий понизил голос, и лицо его искривила презрительная гримаса: — Вечно пьяный, разрушающийся старик!

— Однако,— заметил Конецпольский,— пан гетман польный храбр и свою доблесть свидетельствовал не раз.

— Так, пан гетман храбр,— усмехнулся гадливо Иеремия,— но только с женщинами, а доблесть свою выказал лишь в том, что выжег все села в окрестности на семь верст и тем самым лишил нас фуража и припасов.— Князь отбросил голову.— Ха-ха! За такую храбрость я и хорунжего не хвалю! Под Голтвою,— продолжал он,— они нагоняют Острянина. Открыли огонь, заготовили план двойного нападения,— и что же думает коронный гетман? Поляки разбиты, во всем войске громадный урон, семь хоругвей и две немецких роты уничтожены в лоск.

Иеремия остановился, окинувши всех присутствующих коротким взглядом.

— А мне доносили совсем иначе,— заговорил запинаясь гетман.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся резко и презрительно Иеремия, отбрасываясь на спинку своего стула.— Доносили!.. Я панству скажу еще лучше! Острянин ушел. По дороге к нему спешил Путивлец [37], ведя вспомогательное войско и припасы. Перехватывают его, осаждают, принуждают к сдаче, рубят головы всем до единого — и все-таки не решаются ударить на беспомощного Острянина! А?! — вскинул он снова на всех свои свинцовые глаза и ударил тяжелою рукой по столу.— Иеремию зовут! Гетман без Иеремии не решается открыть битвы.

— Не знаю, чему дивится княжья мосць: мужество князя известно по всей Польше,— заметил сдержанно Конецпольский.

— И не только в Речи,— вставил иноземец,— но и в других государствах.

— И мы оправдали эти слухи! — самодовольно усмехнулся князь, прикасаясь к кубку губами.— Только что прибыли в обоз, сейчас и двинулись на Острянина. Узнаем, что к нему тянутся еще вспомогательные войска. Рассылаем повсюду ватаги. Гетману удается наскочить на отряд Сикирявого [38]. Ну, и что ж думает панство? Гетман оказывается таким вежливым магнатом, что хлоп отбивается от поляков и в глазах его уходит к Острянину.

Иеремия промолчал мгновенье и продолжал снова с возрастающим ядом в словах:

— Но мы, тысяча дяблов, мы не были так милосердны! Другой отряд натолкнулся на нас. Загоняем в болото и затем вытягиваем каждого хлопа по одиночке и режем, как добрый повар цыплят.

— Да, князь-то кулинар известный,— вставил с едким смехом гетман.

Усмехнулись и присутствующие, а князь продолжал, воодушевляясь все больше:

— Под Жовнином настигаем его... Оказывается — становится табором. Начинаем битву, успех на нашей стороне. Что ж делает гетман? Ха, лучшего предводителя нельзя было избрать! Три хоругви, три его лучших хоругви, попадают в козацкий табор; полковники сомкнули круг, и они остаются там... в западне. Кто выручай? Иеремия! И, клянусь честью,— вскрикнул он,

тяжело опуская кубок на стол,— мы их выручили; но это досталось нам не легко. Два раза налетал я на табор, и дважды отбивали меня козаки; но в третий раз собрал я все свои силы и ударил в самое сердце. Не выдержали они, расчахнулись; врываемся в табор и выводим польские хоругви назад.

— Хвала достойному рыцарю! — воскликнул Конецпольский.— Твое здоровье, княже! — добавил он, подымая высоко полный кубок.

Князь чокнулся своим.

— Да будет трижды благословенно небо за то, что посылает отчизне такого сына! — с пафосом произнес иезуит.

Все кубки потянулись к князю. Когда поднявшийся звон и заздравные восклицания умолкли немного, гетман снова обратился к князю:

— Однако продолжай, пане княже: твой рассказ интересен.

— Так, настаиваю назначить решительную битву; момент прекрасный... в лагере хлопов беспорядки... смена атамана. Гетман не согласен, решается выждать. Мои воины теряют терпение. Чего ждем? Подкреплений, которые ведет осажденным Скидан. Наконец, перехватываем его, уничтожаем, и все-таки битва не назначается! А на следующий день новый атаман, хлоп Гуня,— тысяча и две ведьмы ему в зубы,— вскрикнул Иеремия, ударяя кулаком по столу,— уходит на наших глазах. Да как уходит? Такому отступлению поучиться и нашим панам. Словно еж, поднявший тысячу игл. Бешенство охватывает меня. Решаюсь действовать сам. Мои драгуны узнают, что к Гуне приближается Филоненко, ведет много сил. Поджидаем его и встречаем на берегу Днепра добрым фейерверком из мушкетов и пушек. Но прорывается, шельма! Какой-то дьявол тайно помогал ему. Уходит из моих рук... Ну, если бы я нашел только этого доброчинца,— сверкнул Иеремия глазами,— о, посидел бы он у меня на колу! Осаждаем козацкий лагерь, томим их штурмами, налетами и, разгромивши вконец, заставляем сдаться и тем кладем восстанию конец.

— Слава, слава вельможному князю! — зашумели присутствующие, наполняя снова высокие кубки.

— Во всех тех слезных бумагах, которые хлопы при-

сылали нам, они просили возвращения старых прав и водворения греческой веры. Гетман сказал: victor dat leges! * А я скажу: пока жив князь Иеремия, этому не бывать никогда! Бунтовщиков не защищают законы! Греческой схизме не торжествовать.

— Сын мой,— поднялся иезуит, простирая руки над князем,— благословение господне на тебе! Ты — истинный сын католической веры.

— Так, отец мой,— ответил с диким восторгом князь, и лицо его засветилось какою-то фанатическою ненавистью.— Клянусь, что по крайней мере в моих владениях схизме не бывать!

— Но мосци князю обратить их не удастся,— возразил Конецпольский.— Хлопы упорны и за свою схизму держатся больше, чем за свою жизнь.

— О,— поднял глаза к потолку иезуит,— пан гетман прав: обратить заблудших схизматов тяжело и трудно, но зато какая победа для неба, какая награда на небесах!

— И оно так будет! — крикнул Иеремия, подымаясь с места.— Будет, именем своим клянусь!..

Между тем из другой, менее парадной избы комендантского дома раздавались также военные крики и заздравные тосты; там, по приказу гетмана, комендант крепости угощал начальников княжеских хоругвей и Богдана. За дубовым столом, обильно уставленным яствами и винами, сидела веселая компания. Из подозрительного козака Богдан сделался в глазах их преданнейшим героем. Все наперерыв старались показать ему свое расположение и восторг перед его отвагой. Пили за здоровье коронного гетмана, за здоровье князя, за славу Речи Посполитой и за здоровье спасителя козака. Но больших усилий стоило Богдану скрывать свое волнение. Однако ни по его веселой улыбке, ни по удачным и тонким ответам никто бы не мог судить о том, какая тревога терзала сердце козака; а в голове его неотвязно, неотразимо стояла все одна и та же грозная мучительная мысль: еще час-другой — и пленных ввезут в замок, и, если ему не удастся вырвать тех двух из рук князя, он пропал навсегда.

Когда пирующие совершили достодолжные возлия-

---

* Переможець дає закони! *(Лат.)*

ния Бахусу [39] и некоторые из них уже успели заснуть на лавках, Богдан вышел незаметно из избы в широкий проезд, который разделял дом коменданта на две половины. Из парадной хаты слышался резкий голос князя: «О, если бы я знал, какой это «доброчинец» помогал Филоненку, посидел бы он у меня на колу!» Эту фразу ясно услышал Богдан; невольная дрожь пробежала по телу козака, и он вышел поспешно на замковый двор. Кругом небольшого пространства, занимаемого двором, подымался высокий земляной вал, увенчанный зубчатою каменною стеной; она была настолько широка, что четверка могла свободно проехать на ней. Вдоль всего вала пробиты были в стене узкие амбразуры, и неуклюжие медные пушки просовывали в них свои длинные жерла. Под валами с внутренней стороны устроены были длинные и низкие здания: конюшни, склады пороховые и помещения для гарнизона.

По четырем углам крепости подымались четыре грозные башни, сложенные из серых каменных глыб. Каждая из них делилась на четыре яруса; из узких бойниц вытягивались все те же зеленоватые жерла пушек. Часовые стояли у подъемных мостов, на башнях и на валах.

Грозно глядели на Богдана бойницы и башни; грозно подымались неприступные валы и зубчатые стены, и все это, казалось, говорило надменно: «Довольно, оставьте! Вам уже не подняться никогда!»

Несколько минут Богдан стоял неподвижно, погруженный в свои тревожные думы: «Здесь своя жизнь на волоске,— правда, услуга князю дает еще надежду; но если он не захочет помиловать? Если Пешта и Бурлий... А! — провел Богдан по голове, словно хотел прогнать из нее эти ужасные мысли.— А там-то, там что теперь делается? Лютует Потоцкий: казни, муки, кары... Несчастный люд в когтях этого изверга... А товарищи — Богун, Кривонос, Нечай, Чарнота? Ах, поскорее бы выбраться отсюда туда... в Чигирин...»

Громкий голос, раздавшийся над самим ухом, заставил его очнуться.

— Ба,— услыхал он,— да никак это ты, сват Хмельницкий?

И дородный, щеголеватый шляхтич весело опустил руку на его плечо.

Богдан вздрогнул от неожиданности: но, взглянув на шляхтича, также постарался вызвать на своем лице улыбку.

— Сват Чаплинский! [40] А ты каким образом здесь, в Кодаке? Какой бес дернул тебя колесить по степи в этакую непогодь?

— Я с гетманом; состою в свите его ясновельможности... Однако Фортуна [41] и Виктория [42], как я слышал, думают, кажется, избрать тебя своим возлюбленным! Но,— подмигнул шляхтич бровью,— двум женщинам, сват, угодить тяжело! Сто тысяч чертей! Такая услуга князю! Теперь проси только милостей: Иеремия скупиться не любит!

— А каких мне милостей? — гордо усмехнулся Богдан.— Хвала богу, все имею, добра на козацкую душу хватит.

— Верно, счастье, счастье тебе, сват,— ударил его снова по плечу Чаплинский; но завистливое выражение мелькнуло на мгновение в его глазах.— Что и говорить, знают тебя все, на всю округу, да и гетман, сказывают, доверяет тебе много своих дел.

— Благодарение богу, довелось совершить несколько маловажных услуг его ясновельможности, и он, дай бог ему век здравствовать, не забывает меня.

— О так, так! — воскликнул с преувеличенным чувством шляхтич, подымая к небу зеленоватые, выпученные глаза.— Его милость коронный гетман — первый рыцарь нашей отчизны! — воскликнул он умышленно громко и затем, переменивши сразу голос, продолжал веселым и фамильярным тоном: — Однако что же мы стоим с тобою, сват, на холоде? Я тебя затем и искал, чтобы угостить славным медком, какого ты вряд ли отведывал. А, думаю, вкуса к нему пан писарь не потерял с тех пор, как стал приближенным Фортуны? Ведь женщины и вино так же неразрывно связаны между собою, как объятия и поцелуи. Ха-ха! — разразился он самодовольным смехом,— и как второе порождает первое, так и первое ведет ко второму,— ergo *, будем счастливы для того, чтобы пить, и будем пить для того, чтобы быть счастливыми...— и, не дожидаясь ответа

* Отже *(лат.)*.

Богдана, шляхтич подхватил его под руку и пошел по направлению к одной из замковых изб.

Когда кубки были уже два раза осушены и подняты, пан Чаплинский откашлялся, отер свои торчащие усы бархатным рукавом кунтуша и обратился с заискивающею улыбкой к Богдану:

— Да, так ты, сват, вошел теперь в милость и дальше пойдешь. Чем Фортуна не шутит? Она ведь женщина, а законы писаны не для них. Еще и наказным гетманом [43] станешь.

— Бог с тобою, сват,— усмехнулся Богдан, расправляя усы,— куда нам, бесправным козакам: это вам, пышной шляхте!..

— Хе-хе,— кивнул головой Чаплинский,— какой ты там, пане свате, козак? Знаю я тебя, знаю! Да ты только шепни теперь князю Яреме и нобилитацию получишь. Да вот я хотя и шляхтич, да еще такого высокого герба, а — рыцарское слово — нет у меня лучшего друга, как ты...

«Хитрая лиса!» — подумал Богдан и ответил вслух:

— И ты в этом не ошибаешься, сват,— нет той услуги, которую я бы не оказал тебе.

— Во-во-во! — вскрикнул шляхтич с оживленным лицом.— Словно был со мною в пекле! Я только что хотел просить тебя помочь мне в маленьком деле.

— Жалею, что оно небольшое.

— Тем лучше: ловлю товарища на слове. Вот видишь ли, у гетмана много новых пустошей, так я бы хотел того, дозорцей... Ну, а ты, сват... того... при случае замолви вельможному слово за меня...

— Тысячу слов для друга,— протянул Богдан Чаплинскому руку.

— Ну, а я тебе, сват, тоже услужу когда-нибудь в деле, знаешь, manus manum *,— подмигнул Чаплинский и, потрясши руку Богдана, наполнил снова оба кубка,— ну, а теперь выпьем еще, сват!

Богдан чокнулся со своим уже развеселившимся шляхтичем и произнес вскользь небрежным тоном:

— Эх, досада мне, пане свате, такая досада, что, кажись, коня своего любимого отдал бы, чтобы избавиться от нее...

---

* Рука руку... *(Лат.)*

— А что там сталось? Какая досада?! Edite, bibite *, да и все тут! — стукнул Чаплинский кубком по столу.

— Вот видишь ли, среди пленных князя попались два товарища моих, людей наших, знаешь... уж как они, сердечные, в лагерь Гуни забрались — дивиться надо. Только князь, накрывши их сетью, решил прикончить всех. А мне эти два — во как нужны! Думаю просить за них князя. Так не скажешь ли ты тоже за них словечко? Верные люди, ручаюсь за них головой!

— О, всенепременно!.. Рос с ними, жил с ними, козаков подлых вместе локшили, слово гонору, как честный дворянин! — заговорил уже заплетающимся языком Чаплинский.

Вдруг двор крепости наполнился сильным шумом; раздался сухой грохот колес по замерзлой земле и звон железных цепей. При этом звуке в глазах Богдана мелькнул какой-то затаенный огонек, мелькнул на мгновенье и угас.

— Что это? — изумился Чаплинский.

— Пленные князя,— ответил Богдан.

— А, бунтари! — покачнулся Чаплинский, подымаясь со своего места и опрокидывая деревянную скамью.— Любопытно взглянуть на это быдло. Пойдем!

Ничего не ответил Богдан на эти слова и, только надвинувши шапку, быстро прошел вперед.

В сенях к ним присоединилось еще несколько гетманских и княжеских поручников.

На широкий двор одна за другой въезжали телеги с закованными пленниками. На некоторых из них были едва наброшены свитки, и сквозь разорванную рубаху то там, то сям виднелась красная, мерзлая грудь; другие сидели просто в одних лишь рубахах, синие, окоченевшие, с цепями на руках. Кое-где виднелась обмотанная тряпками голова или окоченевшая нога. Среди первой повозки лежал умерший по дороге, не снятый с воза козак. Его незакрытые, застывшие глаза с каким-то широким ужасом глядели на свинцовое небо. Товарищи сбились на возу в кучу, стараясь не прикоснуться к его мертвому, холодному телу.

Замковая прислуга и гарнизон разместились на ва-

---

* Їжте, пийте *(лат.)*.

лах замка; насмешки и остроты раздавались со всех сторон.

— Фу ты, ветер какой пронзительный! — сказал Чаплинский, кутаясь в свой кунтуш.— Дует, словно бравый драгун в трубу. И к чему это князь брал столько пленных?

— Хотели выпытать у них кое-что,— ответил молоденький хорунжий,— но ведь эти хлопы упрямы, как бараны: у них скорее вырвешь язык, чем лишнее слово.

— Совершенное быдло! — бросил презрительно Чаплинский.

По мере того, как въезжали повозки, возрастали шутки и остроты.

Шум въезжающих повозок услышан был и в парадном зале комендантского дома.

— Это что за шум? — изумился Конецпольский.

— Мои пленные,— ответил Иеремия,— последние остатки козацких войск.

— О, не последние! — возразил гетман.— Они, говорят, собрались теперь на Запорожье в чрезвычайном числе.

— На Запорожье? Об этом-то именно я и хотел переговорить с гетманом,— перебросил Иеремия ногу за ногу и начал говорить, подкручивая свой тонкий ус.— Время теперь удобное, хлопство мы разгромили; покуда они еще не успели оглянуться, надо разбить их главное гнездо; со мною отборные силы... драгуны, гусары, армата. Так! Для этого я и спешил в Кодак, чтобы предложить пану коронному гетману соединиться и двинуться вместе на них.

— Как? — изумился гетман.— Егомосць князь предлагает двинуться на Запорожье сейчас, не дожидаясь весны?

— Мое правило: ошеломлять врага быстротой.

— О нет,— возразил Конецпольский,— опыт мой советует мне всегда брать в друзья осторожность: этот друг не изменяет никогда. Прошу тебя, княже, повремени: в Чигирине мы соберем сеймик.

— А покуда мы будем собирать сеймы и решать давно решенные дела,— едко перебил Иеремия,— хлопы снова сплотятся воедино, и снова возгорятся бунты?

— Последнее поражение не даст им поправиться скоро, да и, главное, отправиться теперь на Запорожье с войском нет никакой возможности.

— Почему?

— Водою нельзя, сухим путем еще того хуже. Надо дожидаться весны.

— Великому гетману передали, вероятно, неверные слухи,— порывисто заговорил Иеремия, покручивая свою острую бородку,— насчет этого мы получим сейчас самые верные известия... Гей, позвать мне пана писаря! — скомандовал он.

Через несколько минут Богдан в сопровождении Чаплинского вошел в комнату. Чаплинский остановился у порога, а Богдан прошел вперед.

— Поднести вацпану кружку вина! — скомандовал Иеремия.

Слуга наполнил кубок и подал его пану писарю.

Богдан поднял его высоко и произнес голосом звучным и громким:

— Здоровье его величества, всей Речи Посполитой и ее оборонцев!

Все наклонили головы; но тост, казалось, пришелся не по душе.

Выпивши и передавши слуге кубок, Богдан поклонился и вручил Конецпольскому пакет и письмо.

— А, рейстровые списки! — произнес гетман, сломал восковую печать, просмотрел лист, пробежал письмо глазами и обратился весело к Богдану: — Ну, я рад видеть тебя, вацпане; рад услышать о том, что мой воин принес такую услугу князю, и рад тем паче, что мужество твое не ослабело!

Хмельницкий поклонился.

— Присоединяюсь к мнению князя,— произнес громко и небрежно Вишневецкий,— вацпан показал сегодня свою отвагу и, надеюсь, он покажет нам ее и при более важном случае.

— Осмеливаюсь возразить его княжьей милости,— произнес Богдан, и брови Иеремии неприязненно сжались при этих словах,— осмеливаюсь возразить,— продолжал Богдан спокойно,— что более важного случая в своей жизни я не предвижу, ибо может ли сравниться уничтожение даже целого неприятельского войска со спасением славнейшего защитника отчизны?

Чело Иеремии разгладилось; высокомерная улыбка пробежала по лицу.

— Вацпан находчив,— вскрикнул он весело,— и вовремя напомнил об услуге: Иеремия в долгу не останется и не забудет награды.

Какое-то насмешливое выражение мелькнуло на минуту в глазах Богдана, но он ответил спокойно:

— Похвала таких доблестных рыцарей — лучшая награда для козака; но в этот раз я позволю себе обратиться к княжеской милости с одной просьбой.

Богдан остановился.

— Проси,— произнес Иеремия высокомерно, отбрасываясь на спинку своего кресла.— У князя Иеремии хватит власти, чтобы удовлетворить твою просьбу.

Богдан сделал несколько шагов вперед.

— Среди пленных яснейшего князя попались два верных, покорных козака — Пешта и Бурлий; я их знаю, я могу поручиться за них, как за верных слуг отчизны и короля, и хотел бы просить князя об освобождении их.

— Верных слуг! — холодно усмехнулся Вишневецкий.— Как же это они очутились в одной шайке с бунтовщиками?

— Они торопились сообщить князю о приближении Филоненка и были сами схвачены им в плен и приведены в козацкий стан.

— Почему же они до сих пор молчали об этом?

— Говорили; но никто не донес их слов до княжеских ушей.

— А кто и теперь поручится за справедливость их?

— Я,— ответил Богдан, отступая назад.— Вот этою головой.

— Если мое скромное свидетельство может что-нибудь значить для его княжеской милости, то я прибавляю тоже,— говорил, кланяясь, Чаплинский,— что у этих двух верных рыцарей, кроме наружности, нет ничего общего с быдлом.

Иеремия молчал.

— Что же, княже? — вступился и Конецпольский.— Хмельницкого я знаю: бунтовщиков он не станет защищать.

Иеремия смерил Богдана взглядом с ног до головы и произнес сквозь зубы:

— Я не люблю прощать; но дал тебе слово, а слово Иеремии — закон: твои козаки свободны... Пане Заремба,— обратился он к одному из своих офицеров,— передать мой приказ!

— И ваша княжеская милость найдет в них самых верных, преданных слуг,— поклонился Богдан; лицо его осталось спокойно, тогда как в груди вспыхнуло целое пламя жизненных сил: снова свободен, безопасен! И сколько славных лет, сколько дел впереди! О, скорее бы из этого Кодака! Скорее бы в Чигирин, на Украйну! Пока у козаков умные головы на плечах, еще погибло не все!

— Однако к делу,— прервал его размышления Вишневецкий.— На Сечь теперь добраться возможно?

— Одному человеку, но войску никогда.

— Как? Мои гусары!

— Законы природы для всех равны: до весны в Запорожье не проникнет никто.

— Вот видишь ли, княже, потому я и прошу тебя еще раз: отложи свои планы на время, едем вместе со мной, сделай мне честь, посети мой дом. Письмо от сына заставляет меня еще поторопить свой отъезд, и я надеюсь, что, собравшись в Чигирине, мы решим, когда и как назначить поход.

— Хорошо,— ответил коротко Иеремия.— Пусть будет так. Я еду с паном гетманом, но под одним условием, что этим мы только откладываем разгром Запорожья, а так или иначе оно погибнет, ибо уже ударил его смертный час.

Громадное, обуглившееся полено обвалилось в очаг, и целый фонтан огненных искр поднялся кверху, наполнив комнату красноватым светом, и на фоне этого зарева вырезалась вдруг перед князем черная фигура козака, с плотно сомкнутыми устами, с бровями, сжатыми над переносицей, и в этом огненном сиянии она показалась Иеремии зловещею и мрачною, и спокойный вид ее поднял в душе князя беспричинный, непонятный гнев...

Конецпольский продолжал доказывать:

— Не вижу даже и причины так опасаться Запорожья; с тех пор, как построена эта твердыня, поверь, княже, об нее сломают зубы дикие волки!

— Однако они уже раз ее порешили,— усмехнулся

едко Иеремия.— Мне помнится, что козак Сулима раз уже сжег Кодак.

— Но старый Кодак не имеет ничего общего с этим.

— Осмелюсь доложить княжеской светлости,— произнес и иноземец,— твердыня выстроена по всем последним образцам. Она может выдерживать осаду стотысячного войска, и без измены взять ее нельзя никогда.

— Князь еще не видел крепости,— продолжал Конецпольский.— Но если он осмотрит все укрепления, то переменит свое мнение,— ручаюсь в том.

— Охотно, охотно! — согласился Иеремия.— Но,— здесь князь остановился, точно его голову осенила какая-то блестящая мысль, и вдруг все его бледное лицо осветилось злобной улыбкой,— но она не вполне закончена,— произнес он медленно, отчеканивая каждое слово,— и не имеет угрожающего вида.

Некоторое молчание последовало за словами князя,— до того они показались присутствующим неприятными и необъяснимыми.

— Несогласен с князем,— с досадою проговорил Конецпольский,— и если б терпело время, я предложил бы князю заставить своих драгун штурмовать крепость, и, бьюсь об заклад на сотню турецких коней, они остались бы под стенами вплоть до самой весны.

— Крепость неприступна,— повторил снова Боплан.

— А я все-таки остаюсь на своем,— также медленно отчеканил Иеремия, наслаждаясь всеобщим недовольством,— и если пан коронный гетман позволит мне, я хочу указать и исправить ошибку.

— Весьма рад,— холодно произнес Конецпольский,— но боюсь, что затея князя задержит наш путь.

— О нет,— с надменной улыбкой поднялся князь,— Иеремия не заставляет себя ждать никогда!

Присутствующие молчали, досада на чрезмерную гордость князя наполняла все сердца.

— Я только отдам приказание,— и Иеремия направился было к двери, но, заметивши Богдана, остановился, и снова дьявольский огонек вспыхнул в его свинцовых глазах.— Пан писарь,— обратился он к нему,— я нахожу, что пощада двух козаков слишком малая награда для тебя,— следуй за мной!

На узком заднем дворе крепости, заключенном в треугольном выступе стены, все было приготовлено к казни.

Посредине стоял толстый дубовый пень; от него вел желоб для стока крови; на пне лежал блестящий и тяжелый бердыш. Громадного роста жолнер, с зверски-идиотским лицом и сдавленною сзади рыжеватою головой, расхаживал по двору. Стул для князя покрыт был медвежьею шкурой. С серого неба падал едва заметный, мелкий, холодный снежок.

Дубовые ворота, сделанные в средине комендантского дома, распахнулись надвое, и, окруженные гарнизоном, появились пленные. У некоторых из них были так сильно отморожены ноги, что они не могли идти и их тащили жолнеры.

Иеремия бросил на них полный презрения и ненависти взгляд; но ни взгляд князя, ни блеск тяжелого бердыша, казалось, не произвел на них никакого впечатления: они шли и останавливались безучастно и понуро, свесивши чубатые головы на грудь. Некоторые из них кутались в дырявые свиты, точно хотели согреться хоть в последнюю минуту жизни.

— Начинай! — подал знак князь, вытягивая ноги на медвежьей полости.

Жолнеры стали в два ряда.

Пленных установили по порядку. Палач приподнял бердыш, провел рукою по его острому лезвию и, точно пробуя силу своей руки, тряхнул им в воздухе несколько раз. Стальная молния блеснула и угасла. Пару передних пленных развязали и сняли с них цепи.

— Вести по одиночке! — скомандовал хорунжий.

Двое жолнеров подошли и хотели схватить под руки первого козака; но он оттолкнул их с силой и, расправивши могучие плечи, крикнул молодым, ожившим голосом:

— Покуда ног не отбили, сам сумею пойти!

Отступились жолнеры; козак сделал несколько смелых и твердых шагов; взгляд его скользнул по бердышу и поднялся к серому небу; он осенил себя широким крестом и склонил было уже голову, как вдруг раздался резкий крик со стороны князя:

— Стой! Спросить его в последний раз!

Козака подняли. Хорунжий подошел к нему.

— Гей, хлопе, послушай, ты, кажется, еще молод,— начал он.— Я спрашиваю тебя в последний раз, скажи

нам: куда скрылся Гуня? Кто главные зачинщики бунта? Много ли еще осталось бунтарей и где они?

Молодое лицо козака было истомлено и бледно; в глазах, завалившихся и окруженных черною тенью, горел последний лихорадочный огонь жизни. Козак поднял голову и усмехнулся, и усмешка эта была так ужасна, что хорунжий отступил назад. Казалось, козак собирался сказать свое последнее слово и вложить в него все презрение, всю ненависть, всю вражду...

— Ты хочешь знать, куда скрылся Гуня? — заговорил он голосом, дрожавшим от ненависти и презрения, словно натянутая струна.— Не знаю; но знаю, что он вне вашей погони и скоро налетит к вам снова черным орлом! Ты спрашиваешь, кто главные зачинщики восстания? Искать их тебе не трудно: вот они! — протянул он руку, указывая на князя.— И много осталось их еще там! — указал он на север.

— Молчи... пся крев! — крикнул хорунжий, хватаясь за саблю; но козак продолжал еще громче:

— А на третий вопрос твой ответить мне еще легче: кипит мятежом вся Украйна! И ты, княже, прими мой последний совет: не езди темным лесом — за каждым деревом таится вооруженный козак; не ходи над ярами — в каждом из них сотня сидит; не спи в своем замке, потому что всюду, теперь или позже, а они отыщут тебя, и всюду месть их обрушится на твою голову!

— Руби! — закричал Иеремия шипящим голосом, подымаясь с места и опуская руку вниз.

Сверкнул в воздухе бердыш, раздался короткий с мягким хряском стук, и покатилась отрубленная голова с временной плахи к княжьим ногам. Веки ее судорожно вздрогнули, короткий взгляд омертвелых глаз остановился еще раз на Богдане и угас навсегда. Иеремия оттолкнул от себя мертвую голову концом сапога, а хорунжий подхватил ее за длинный чуб и, потрясая нею перед пленными, крикнул резко:

— Кто хочет сознаться, говори: князь обещает жизнь!

Но молчали упорно козаки.

— Рубить их без пощады! — махнул рукой Иеремия... И потянулись пленные чередой.

Каждый из них, подходя, подымал глаза к свинцо-

вому небу, крестился широким крестом и спокойно опускал удалую голову на дубовый пень.

Безмолвный и бледный стоял Хмельницкий; глаза его не отрывались от окровавленного пня, а рука сжимала эфес сабли все сильней и сильней. От этого запаха свежей, дымящейся крови дикое, зверское желание пробуждалось в его душе... Вырвать топор у палача, расправить могучие плечи и вонзить холодное железо в этот холодный, надменный княжеский лоб... Да, это счастье... а дальше что?.. Сложить также покорно голову на плаху... под этим беспросветным небом, в этой зловещей тишине... Нет, нет! Терпение! Пусть натягивают тетиву, чтоб взвилась стрела грозней и сильней!

— Кажется, пану писарю это зрелище не по вкусу? — обратился к козаку Иеремия, поворачивая холодные, оловянные глаза.

— Напротив, я благодарен ясному князю,— ответил Богдан, и голос его показался ему самому незнакомым, так глухо и мрачно прозвучал он,— вид этих трупов закаляет во мне козака.

От разлившейся лужи крови подымался теплый, сырой пар; худые, полудикие замковые собаки жадно лизали ее, тихо рыча друг на друга и подымая кверху жесткую, сбившуюся шерсть; топор стучал коротко и тупо; мелкий, белый снежок посыпал склоняющиеся головы; ветер злобно трепал на башнях кичливые флаги; за стеною ревел и стонал взбунтовавшийся Днепр...

Когда жолнеры подтащили к плахе последнего козака с отмороженными ногами, Иеремия поднялся с места и, подозвавши к себе знаком хорунжего, сказал ему несколько тихих слов.

— Убрать эту падаль,— показал он затем на кучу трупов,— и через полчаса в поход!

Коронный гетман, комендант Гродзицкий, Боплан и свита уже поджидали князя для осмотра Кодака. Князя повели по всем кладовым и складам оружия, по всем подпольям и башням, наконец, поднялись на валы. Валы эти со стенами не представляли прямой линии, напротив, они выступали между башнями острым треугольником вперед, так что, в случае осады, гарнизон замка встречал осаждающих перекрестным огнем из башен и из бойниц стен. И гетман, и Боплан, указывая

князю на все эти последние ухищрения, расхваливали ему неприступность Кодака. Но молчал на все Иеремия, и только саркастическая улыбка кривила его надменное лицо.

Конецпольский нахмурился, а этого, казалось, только и ждал Иеремия.

— А где же Хмельницкий? — спросил недовольным голосом гетман, останавливаясь на валу.

— Он в хате с освобожденными козаками,— низко поклонился Чаплинский, выскакивая вперед.

— Позвать сюда! А освобожденные едут с нами. Выдать им из обоза коней.

Поспешно, желая показать побольше усердия, спустился Чаплинский с вала, задевая и толкая жолнеров по пути.

— Когда думает выехать пан писарь? — обратился к Хмельницкому гетман, когда тот почтительно остановился перед ним.

— Управившись, ясновельможный гетмане...

— Нет, поедешь с нами, ты мне нужен теперь... есть дела по маетностям.

— Но, ваша ясновельможность, я думал дополнить списки теми реестровыми, которые прикомандированы были сюда, наконец, мои кони устали, человек истомился в пути...

Но гетман оборвал его сурово:

— Пустое! Списки успеешь! Пану дадут коней из моего обоза, и сегодня же, сейчас, ты выступаешь с нами в путь.

Бессильная злоба охватила Богдана. Все должно рухнуть, все порваться должно! Ехать с ними? Это три... четыре... пять дней проволочки... гетман может задержать еще в Чигирине... А тем временем Потоцкий не ждет... Богун... Кривонос... товарищи, братья!! Можно было б спасти... перепрятать... но теперь — погибло все! О боже, да неужели же нельзя этого избегнуть? Два дня свободы, только два дня, и многое может свершиться, многое можно предотвратить! Он стоял как окаменелый на месте, не зная еще, на что решиться, что предпринять...

А внизу, во дворе крепости, уже строились войска Иеремии, укладывались слуги гетмана, приготовляли громоздкий гетманский рыдван.

— Я попросил бы ясновельможного князя осмотреть еще северную башню,— обратился к Иеремии Боплан.

— О, с удовольствием! — согласился Иеремия, пропуская гетмана вперед.

Богдан взглянул по направлению удаляющихся магнатов и вдруг заметил в одной из амбразур северной башни знакомое черномазое лицо. Сделав вид, что он следует за свитой вельмож, он незаметно приблизился к узкому окну.

— Ахметка, стой, не шевелись! Слушай, что я тебе буду говорить! — зашептал Богдан, не поворачивая головы к амбразуре и делая вид, что глядит на широкий Днепр.— Не пророни ни единого слова, минуты не ждут!

— Что случилось, батьку? — прошептал Ахметка, взглянувши на бледное, взволнованное лицо Богдана.

— Молчи! Несчастие!.. Не поворачивай ко мне головы,— говорил Богдан отрывисто и тихо,— гетман велит мне ехать с собою. Скажись больным, выкрадись, убеги из крепости. Я могу замешкаться с ними... Скачи что есть духу в Субботов... не жалей коня... Упадет, купи другого... Передай Золотаренку и Ганне...[44] Ох, да они уж это сами знают, что гетман разбил Гуню, что Потоцкий лютует, безумствует в бешеных казнях. Друзья наши в опасности... пусть сделают, что возможно... подкупят... перепрячут... спасут. На деньги! — говорил он сбивчиво, торопливо, развязывая дрожащими руками черес * и высыпая в пригоршни Ахметке кучу золотых,— пусть берут еще дома... пусть ничего не жалеют... Торопись... Помни,— исполнишь мое поручение, будешь мне сыном по смерть! Но я вижу, Иеремия выходит из башни... Уходи, только не сразу, поглазей еще по сторонам.

— Ну что, мой княже,— остановился Конецпольский, окидывая самодовольным взглядом башни и валы,— неужели же и после всего этого ты скажешь, что крепость не грозна и не испугает врагов?

— Д-да,— покачнулся Иеремия с насмешливой улыбкой,— крепость хороша; но я остаюсь при своем.

— В таком случае, князь превосходит всех не толь-

* Черес — шкіряний пояс, у якому носять гроші.

ко в военном искусстве, но и в инженерном,— с плохо скрываемым неудовольствием ответил Конецпольский,— я право удивляюсь,— едко прибавил он, опираясь на дорогую трость,— почему бы мосци князю самому не заняться постройкой крепостей.

— О нет, у меня еще есть настолько отваги, что в это бурное время такое мирное занятие,— подчеркнул Иеремия,— мне не по душе! Но исправить чужую ошибку могу с удовольствием,— потер он весело руки,— и с дозволения пана коронного гетмана я отдам приказ.

Иеремия хлопнул три раза в ладоши, и вдруг на всех валах, на всех вершинах башен показались враз, точно по мановению волшебства, жолнеры князя с длинными шестами в руках. На вершинах шестов наколоты были какие-то странные шары. Богдан взглянул и догадался сразу.

Несколько ударов топора — и ряд шестов утвердился правильною аллеей на стенах.

— Ну, что? — самодовольно обвел Иеремия рукою все крепостные валы.— Не прав ли я был? А? Скажи-ка, пан инженер? Вот видишь, и воин может указать ошибку!

— Признаюсь, князь остроумен,— кисло ответил Конецпольский.

— О, за указание ясноосвецоного князя я благодарен его светлости навсегда,— склонился, обнажая голову, Боплан.— Князь сказал последнее слово,— нам остается только восхищаться.

И действительно, восторженные восклицания посыпались со всех сторон.

— Великолепно! Досконально! — выкрикивал, раскачиваясь от грузного смеха, дородный хорунжий.— Сады Семирамиды [45] в сравнении с этой аллеей — ничто!

— Ха-ха-ха! — раздался другой голос.— Я нахожу, что для этого падла князь сделал даже слишком высокую честь!

— Вознес их превыше всех! — покатился от смеха и пан Чаплинский, протискиваясь ближе вперед.

Новые шутки и остроты панские покрыли его голос.

Неподвижно торчали на шестах козацкие головы. Смерть уже покрыла их лица сероватым, безжизненным оттенком. Глаза их были закрыты, сомкнуты губы.

Длинные чубы свесились вниз. Величавое спокойствие смерти уже разлилось на их застывших чертах. Казалось, они слушали все эти панские шутки так равнодушно, так безучастно...

Богдан догадался сразу, к чему рубил Иеремия головы, но ни самая казнь, ни эта жестокая шутка не ошеломили его так, как одно маленькое и, казалось бы, незначительное для козака происшествие. Когда жолнер прошел мимо него с отрубленною козацкою головой, Богдан поднял глаза и с ужасом узнал в ней лицо первого молодого, смелого козака. При вбивании шеста в землю голова покачнулась; чтобы утвердить неподвижнее, жолнер ударил по ней топором, и вдруг тяжелая капля полузастывшей крови медленно выплыла на лоб, тихо скатилась по мертвому лицу и упала на руку Богдана.

Кто знает, прикосновение ли этой холодной капли крови, точно вопиявшей о мщении, или долгое молчание, или бессильная злоба, но все это пробуждало в душе Богдана властней и властней долго сдерживаемую бурю... Холодная капля расплывалась на руке в кровавое пятно, казалось, оно жгло насквозь его руку, и глаза козака глядели все мрачней и мрачней.

Перед ним разливался стальной, нахмуренный Днепр. На западе небо прояснилось и нежные розовые полосы пробились среди поредевших облаков, в воздухе стало тихо, пахнуло теплом. Там далеко, на юге, виднелась гряда серых, покрытых пеной камней. Вдруг среди свинцовых волн реки Богдан заметил какие-то странные предметы, плывущие вниз. Зорко взглянул он в ту сторону и узнал их. Это были трупы казненных козаков; они плыли вниз по течению, распростерши мертвые руки, направлялись так бесстрашно, так равнодушно туда, где бушевал грозный порог.

«Плывите, плывите, печальные вестники,— тихо прошептал Богдан, чувствуя, как сжимает ему сердце чья-то невидимая, но могучая рука.— Плывите, беззащитные братья, и если не я, то несите хоть вы запорожцам кровавую, смертную весть».

А гетман с князем также залюбовались открывшимся видом, и вся свита умолкла, боясь прервать торжественную тишину.

Князь горделиво скрестил на груди руки; лицо

гетмана было величественно и спокойно. Вся широкая сероватая равнина, и Днепр, и пороги казались такими беззащитными, такими подвластными с этой грозной вышины.

Наконец гетман прервал молчание.

— Позвать сюда старшин реестровых! — повелительно скомандовал он.

Тихо и почтительно поднялись на вал один за другим молчаливые старшины и остановились перед гетманом. Богдан присоединился к ним.

— Да,— отозвался, наконец, князь,— сознаться должен: крепость недоступна. Ты превзошел себя, пан инженер,— проговорил он свысока, протягивая Боплану руку.

— Я сделал, что мог,— скромно склонился тот,— что было в человеческих силах.

— Ну, и на этот раз они оказались велики,— милостиво произнес гетман, также протягивая Боплану руку.— Прими мою благодарность: ты оправдал мои надежды.

— О,— вскрикнул Боплан,— клянусь честью, небо подтвердит нам их! И легче было упасть иерихонским стенам, чем стенам Кодака!

Козаки стояли строго и сурово, и ни одна улыбка не кривила их мрачных, покорных лиц.

Гетман выждал мгновение и, когда утихли восклицания, обратился к козакам, указывая рукою на грозные укрепления, на строящиеся внизу войска и на широко распростершуюся у ног их безлюдную даль.

— Ну, что, панове козаки, как нравится вам Кодак?

— Да еще с этими бунчуками на челе? — презрительно усмехнулся Ярема, указывая на ряд срубленных голов.

Козаки молчали. Никто не проронил ни слова. Мрачно молчал и Богдан.

— Что ж молчишь ты, пан писарь войсковый? — медленно, наслаждаясь впечатлением своих слов, обратился к Хмельницкому гетман.

И вдруг преобразился Богдан.

И долгое молчание, и холодная сдержанность в одно мгновенье слетели с него. Он стоял перед гетманом уверенный и могучий, с огненными глазами, с величест-

венно заброшенною головой. Презрительная усмешка осветила его лицо.

— Manu facta, manu destruo *,— гордо ответил он.

Это длилось всего одно мгновенье. Богдан снова овладел собою, но было уж поздно: зловещим ударом колокола прозвучало надменное слово.

Гетман смерил Богдана глазами и, не произнесши ни слова, повернулся и прошел вперед. За ним двинулась вся свита. Лицо князя осветила злорадная улыбка: казалось, ответ Богдана пришелся ему по душе.

— Гм,— произнес он многозначительно,— пан писарь не боязлив!

Гетман сделал несколько шагов, остановился и произнес небрежно, не оборачивая к Богдану головы:

— Пан писарь может остаться в Кодаке.

Сначала эти слова обрадовали Богдана: он, значит, свободен и может лететь... Но это было только мгновенье, а следующее принесло ему сознание, что гетман разгневан, что он не простит обиды...

Ошеломленный стоял Богдан. Злоба, досада за свою несдержанность бурно охватили его. Страшное опасение гнева гетмана и последствия своих слов мучительно зашевелились в его душе.

А между тем со двора уже выкатил рыдван гетмана, проскакал и Иеремия в сопровождении своих драгун, последние жолнеры арьергарда выступили со двора.

Рассуждать было некогда... Быстро спустился Богдан со стены... Будь что будет дальше, а теперь он свободен, и пока еще в руках эта свобода, надо лететь поскорее в Субботов... сделать все возможное... «А там,— решил поспешно Богдан,— поручим себя еще доселе не изменявшей Фортуне: довлеет-бо каждому дневи злоба его!»

Быстро спустился Богдан со стены. В глубине двора он заметил коменданта крепости, горячо разговаривавшего с каким-то драгуном; лица этого последнего он не мог рассмотреть, так как тот стоял к нему спиною. Разговор велся тихо, однако до слуха Богдана долетели несколько раз слова «заговор» и «король». Богдан не обратил на это внимания: он вспомнил, что дал Ахметке распоряжение немедленно ехать, а потому торопился

---

* Рукою створене, рукою руйную *(лат.)*.

найти его поскорее, чтобы сообщить ему, что и сам поскачет немедленно с ним. Но, проходя торопливо мимо коменданта, он вдруг был неожиданно остановлен им.

— Прошу пана снять свою саблю и вручить ее мне!

— Что? — произнес Богдан, отступая.— Я не понимаю пана...

— Именем короля и Речи Посполитой, я арестую пана и панского служку! — ответил спокойно комендант.— Всякое сопротивление будет напрасным, потому и приказываю пану отдать мне саблю и беспрекословно следовать за мной. А вы,— обратился он к двум дюжим жолнерам,— свяжите мальчишку и бросьте в башню!

— Хорошо! — проговорил Богдан, задыхаясь от гнева.— Пан чинит насилие, и за такое насилие пан ответит коронному гетману не далее завтрашнего дня!

— «О, о том, что будет завтра, не спрашивай, друг, никогда!» — продекламировал за его спиной чей-то насмешливый голос.

Богдан оглянулся и увидел злобное, искаженное торжествующею улыбкой лицо Ясинского.

IV

Недалеко от Чигирина, в шести верстах не более, живописно раскинулся по пологому берегу Тясмина поселок Субботов. Речка, извиваясь капризно, льнет к седым вербам, обступившим ее с двух сторон, и прячется иногда совершенно под их густыми, нависшими ветвями, сверкая потом неожиданно светлым плесом; опрятные белые хатки, кокетничая новыми соломенными, золотистыми крышами, разбегаются просторно под гору и выглядывают игриво из-за вишневых садкив. Дальше, за пригорком, виднеется синий купол церкви с золотым крестом и четырехугольная, на колонках, верхушка звоницы, а ближе, за длинной греблей и мостиком, на широком выгоне, стоит заезжая корчма. Строение отличается от прочих хат и величиною, и широкою въездною брамою, и высокою, крытою тесом крышей. Над брамой прилажена нехитрая вывеска: на одном пруту качается привешенная пустая фляжка, а на другом — пучок шовковой травы. Широкий въезд ведет в довольно просторный крытый двор и разделяет здание на две не-

ровные половины: направо от брамы неуклюже торчит узенькая дверь от арендаторского жилья, полного подушек, бебехов, жиденят и разящего запаха чеснока; налево же открывается более широкая дверь в обширную, но грязную комнату, составляющую и приют для проезжающих, и ресторан, и местный сельский клуб.

Закоптелые стены во многих местах ободраны до глины, а то и до деревянных брусков, которые кажутся обнаженными ребрами; потолок совершенно черен; двери притворяются плохо, а над ними висит излюбленная картина, изображающая козака Мамая, благодушно распивающего оковыту горилку под дубом, к которому привязан конь. Вдоль стен тянутся широкие лавы (скамьи), возле которых расположены столы. Две бочки стоят на брусьях в углу; в одной из них в верхнюю втулку вставлен ливер (род насоса без поршня для втягивания жидкости ртом). Через узкие, но довольно высокие окна с побитыми и заклеенными бумажками стеклами проникает мало света, отчего помещение кажется еще более мрачным.

Наступал уже вечер, а посетителей никого еще не было; только в самом углу за стойкой сидел хозяин заведения Шмуль с своею супругою Ривкой и, тревожно прислушиваясь и оглядываясь назад, вел на своем тарабарском языке таинственную беседу.

— Ой, худо, любуню, вей мир *, как погано! Слух идет, что паны козаков разбили, совсем разбили, на ферфал! **

Побледнела Ривка и всплеснула руками, а потом, подумавши, заметила:

— А нам-то что? Какой от этого убыток?

— Какой? А такой, что, того и смотри, или козаки, уходя, разорят, или паны, гнавшись за ними, сожгут... Ой, вей, вей!..

— Почему ж ты, Шмулик мой, думаешь, что сюда они прибегут? Тут всегда было тихо... а пан писарь войсковой такое лицо.

— Но, мое золотое яблоко, что теперь значит пан писарь? Тьфу! И больше ничего! Что он может? И разбойники-козаки на него начхают, и вельможное панство

* Горе мені *(євр.)*.
** Пропало! *(Євр.)*

на табаку сотрет... И задля чего эти козаки только бунтуют? Сидели бы смирно, и все было бы хорошо, тихо, спокойно — и гандель бы добрый был и гешефт отменный... А то ах, ах!

— Да что ты, Шмулик-котик, так побиваешься? Если козаки свиньи, то им и худо, а если сюда наедут паны, то нам будет еще больше доходов; паны ведь без нашего брата не обойдутся.

— Хорошо тебе это говорить, а разве не знаешь, что для пана закона нет: что захочет — давай, а то зараз повесит,— что ему жид? Меньше пса стоит...

— А разве хлоп лучший? Та же гадюка!..

— То-то ж! Так я думаю, любуню, вот что: и дукаты, и злоты, и всякое добро запрятать... закопать где-нибудь в незаметном месте, чтоб не добрались... и то не откладывая, а сегодня ночью... Ах, вей-вей!

— Так, так, гит! * Вот тут забирай деньги,— начала она суетливо отмыкать ящики и вынимать завязанные мешочки; Шмуль торопливо их принял в укладистые карманы своего длинного лапсердака, повторяя шепотом: «Цвей, дрей, фир...» ** В корчме уже было темно.

Вдруг скрипнула дверь, и в хату вошли в кереях с видлогами (род бурки с капюшоном), звякая скрытыми под полами саблями, какие-то люди, страшные великаны, как показалось Шмулю, и непременно розбышаки.

— Ой! Ферфал! — вскрикнул Шмуль и прилег на стойку, закрывая ее своими объятиями, а Ривка от перепугу как стояла, так и села на пол.

Пять фигур между тем остановились среди хаты, не зная в темноте, куда двинуться; прошла долгая минута; слышалось только тяжелое дыхание вошедших, очевидно, усталых от далекой дороги.

— А кто тут? — раздался наконец довольно грубый голос.— Коням корму, а нам чего-либо промочить горло...

— На бога, панове! — дрожащим голосом взмолился Шмуль.— Я человек маленький... бедный! Меня и муха может обидеть! У меня и шеляга за душой нет... чтоб я своих детей не увидел!..

— Да что ты, белены облопался, что ли? — с досадою

---

* Гит — добре *(євр.)*.

** Цвей, дрей, фир — два, три, чотири *(євр.)*.

прервал его тот же голос.— С чего ты заквилил, жиде? Говорят тебе, дай коням овса и сена, а нам оковитой.

— За́раз, за́раз, ясновельможные паны козаки,— оправился Шмуль, успокоившись несколько насчет своих гостей,— тут все такие слухи... думал — паны, шляхта... Гей, любуню, зажги каганец панам козакам, а я сейчас опоряжу их коней... Да наточи доброй оковитой кварты две... Прошу покорно, паны козаки,— кланялся часто Шмуль, сметая рукою со стола пыль и грязные лужи.

Вспыхнул мутным светом каганец и осветил грязную облупленную хату. Козаки уселись за дальний стол, не снимая шапок и керей, и закурили люльки. Ривка, со страхом присматриваясь к ним, поставила на стол большую медную посудину с водкой и несколько зеленоватых стаканов.

— Чабака или тарани прикажете, панове? — спросила она, поклонившись.

— Тарани,— отвечал младший.

Первый, окликнувший Шмуля, уселся в самый угол и, проглотив кряду три стакана горилки, склонил голову на жилистые руки и задумался. Длинные, полуседые усы его спустились вниз и легли пасмами на столе; правое ухо дважды обвил черный клок волос — оселедец; из-под нахмуренных, широких, косматых бровей смотрели остро в глубоких орбитах глаза и метали иногда зеленоватые искры. Суровое, загорелое, в легких морщинах лицо казалось вылитым из темной бронзы; наискось на нем зиял от правой брови почти до левой стороны подбородка широкий, багрового цвета шрам, свернувший на сторону половину носа, за что и прозвали козака Кривоносом. Этот шрам, уродуя лицо, придавал ему какую-то отталкивающую свирепость. Другой же, младший, с правильными, красивыми чертами лица, был совершенным контрастом своему соседу и производил впечатление родовитого весельчака-пана; только в темно-синих глазах его светилась не панская изнеженность, а отвага и непреклонная воля. Ему весельчаки, юмористы-товарищи, вероятно, в насмешку за белизну дали прозвище Чарноты.

Остальные гости прятались как-то в тени, но догадаться было не трудно, что все они принадлежали к козачьему сословию и даже к старшине: это было видно

и по красным верхам с кытыцями их шапок, и по кунтушам кармазинового — ярко-малинового цвета, выглядывавшим из-за керей, и по дорогому оружию. Каждый из козаков молча наливал себе стакан водки, подносил под нависшие усы, опрокидывал, потом, причмокивая и сплевывая на сторону, затягивался люлькой, пуская клубы дыма; один только белый Чарнота занялся, между прочим, таранью, а другие и не дотронулись.

Послышались под окнами шаги и бодрые голоса; дверь отворилась, и в хату шумно и бесцеремонно, как в привычное пристанище, вошло несколько поселян, они запанибрата поздоровались с Шмулем и потребовали себе меду и пива, а иные горилки.

Шмуль, обрадованный, что подошли свои и избавили его от сообщества сам на сам с молчаливыми таинственными гостями, подбодрился и веселей забегал от бочки к столу и от стола к бочке; он с усилием, так, что даже пейсы тряслись, вытягивал ртом из ливера воздух, вследствие чего прибор наполнялся жидкостью; быстро вынув его из бочки, Шмуль затыкал нижнее отверстие ливера пальцем, подносил его в таком виде к столу и наполнял требуемым напитком стаканы.

— А что, как, панове, умолот хлеба? — полюбопытствовал Шмуль.

— Добрый,— ответил ему, крякнув, приземистый поселянин в серой свитке и с бельмом на глазу,— пшеница выдает с лишком семь мерок, а жито аж девять.

— Ай, ай, гит! — зацмокал губами корчмарь.

— Что и толковать, земли здесь целинные, жирные,— как отвалишь скибу, так аж лоснится,— заметил другой в какой-то меховой курточке.

— Важный грунт,— поддержал и третий, уже пожилых лет,— нигде во всей округе таких урожаев нет, как на низинах нашего пана писаря Хмеля: сегодня я сбил копы две овса, так верите, чтоб меня крест убил, коли не будет семи корцев.

— Гевулт! — затряс пейсами Шмуль.

— Та дай боже пану Хмелю век долгий; не обманул: и грунты оказались добрячими, и сам он хорошим козаком.

Кривонос толкнул локтем Чарноту и подмигнул одним глазом соседу.

— Такого пана поищи, вот что! — поддержал ста-

рик.— Живет наш Хмель с нами, подсусидками *, так дай боже, чтобы другой старшина хоть в половину так обходился: пала ли у тебя шкапа — возьми господскую на отработок, нет ли молока деткам — иди в панский двор смело, к Ганне.

— Уж эта Ганна! — засмеялся лупоглазый с бельмом.— Просто идешь, как в свои коморы, и баста!

— Заболеет ли кто на хуторе — уже она там: ночь ли, день...— продолжал старик.

— На что и знахарки — такая печальница-упадница,— кивнули головами и другие селяне.

— Антик душа! — мотнул бородой даже Шмуль и побежал в свою половину к Ривке, куда заходили и бабы.

— Кто это — Ганна, человече добрый?—отозвался с дальнего угла Кривонос.— Жинка этому вашему Хмелю?

— Нет, козаче, не жинка,— ответил старик,— а родичка будет, сестра хорунжего Василя Золотаренка, коли знаешь,— из Золотарева,— вон что на Цыбулевке, мили за четыре отсюда. Она еще панна, живет тут при семье, детей писарских досматривает, господарюет, а жинка Богданова, дочка Сомка, без ног лежит уже почитай лет пять: после родов перепугалась татар.

— Вон оно что! — протянул Кривонос.

— Что же этот пан писарь большие чинши берет за божью-то, предковскую землю? — вмешался в разговор и Чарнота, прищурив лукаво глаза.

— Какие там чинши? Эт! — махнул рукою Кожушок.

— Грех слова сказать,— закурил люльку пучеглазый и молодцевато плюнул углом рта далеко в сторону.— Двенадцать лет ни снопа, ни гроша не давали, а теперь платим десятину, да и то в неурожайные годы льгота.

— Верно,— подхватил и Кожушок, заерзав на скамейке и подергивая плечами.— И бей меня божья сила, коли на его земли не переселятся со всех околиц, потому — приволье.

— По-божьему, по-божьему, козаче,— мотнул головой и старик, отдирая зубами кожку с хвоста копченой

---

* Подсусидок — безземельний селянин, що живе у чужому домі.

тарани.— Такой чинш можно век целый платить, не почешешься. Ведь прийми в резон, что лес на постройки отпустил даром.

— А он, небойсь, заплатил за него, что ли? — заметил злобно Кривонос.

— Хотя бы не заплатил, так заслужил — и батько его, Михайло, и сам он! — старик бросил на пол обглоданный хвостик и утер полою усы.— А это, брате козаче, все равно: уж не даром же, а за послуги отмежевал ему покойный Данилович[46] такой ласый кусок. А нашему пану Богдану еще король подарил все земли за Тясмином — за три дня на коне не объедешь.

— Про большие услуги Хмеля слыхали, и следует за них наградить его; только вот что мне чудно, что благодарят-то чужим добром...

— Что-то мудрено,— уставился на Кривоноса старик.

— На догад бураков, чтобы дали капусты,— захохотал пучеглазый, а за ним и другие.— Только вот не к нашему батьку речь: таких панов дидычей подавай нам хоть копу,— и заступник он наш, и советчик... А что земля, так ее, вольной, без краю!

— Вон оно что! — протянул и старик.— Только как ни прикинь,— своя ли старшина наделила, взял ли сам займанщину, а коли уже приложил к земле руки, то, значит, она твоя.

— Так, стало быть, и ляхи, эти чертовы королята,— сверкнул глазами Чарнота,— коли рассеялись на наших родовых землях и приложили к ним свои плети, так уже и дидычами-властителями стали? Увидите, сколько вольных этих земель паны вам оставят.

— Не об них речь...

— То-то, что не об них! — ударил Кривонос кулаком по столу так, что стаканы все подскочили с жалобным звоном.

— Стой, разольешь! — подхватил с испугом Чарнота медную посудину и присунул к себе под защиту.

— Вот это-то и горько, и больно,— зарычал Кривонос,— что всяк из вас, как только добрался до теплой печи да до бабы, так и плюнул сейчас на весь свет: что ему родной край? «Моя хата скраю — ничего не знаю!» А вот увидите скоро, как ваша хата скраю! Легко смотрели, когда сюда исподволь заползали вороги наши клятые и по вере, и по пыхе, и по панству,— прошипел Кри-

вонос,— а теперь вот, как они раскинули кругом паутину да вбились в силу, облопались нашего добра,— так и старых господарей вон... и ничего не поделаешь! Эх! — заскрежетал он зубами и отвернулся.

Все как будто сконфузились и притихли.

— Что и толковать, козаче,— тихо отозвался, наконец, старик,— вороги-то они наши точно, да как справиться?

— А вот как,— схватился Чарнота и взял стоявший в углу веник,— смотри, старина, по прутику-то как легко ломается... хрусь да хрусь! А ну-ка, попробуй переломить все разом... а? То-то! — швырнул он веник под печку.

Почесали затылки поселяне и одобрительно покачали головами.

— Хе-хе-хе! Ловко! — почесал затылок себе лупоглазый.— Только вот, пока мы надумаемся собираться в веник, так нас поодиночке и переломают.

— И добре сделают! — зашипел яростно Кривонос.— Так и след! Когда другие подставляли за вас свои головы, так вы сидели за печкой или возились с бабьем,— ну, а теперь и танцуйте! Дождетесь, гречкосеи, что вас самих запрягут паны в плуг... Помните мое слово, дождетесь!

— Храни бог, козаче,— встряхнул седым оселедцем дед.— Оно точно, что паны укореняются в нашей земле... и про наших даже слух идет, а про ляхов и толковать нечего... да что против них поделаешь? За ними сила, а сила, говорят, солому ломит. Конечно, шановный добродий прав, что кабы все разом супротив этой силы... Да, выходит, слаб человек: и до земли его тянет, и до своего угла, и до покою... Потому-то и сидит в закутку, пока не доймут, не дошкулят...

— Эх, народ! — ударил Кривонос по столу кухлем.— А еще христїане! Братья гибнут... враг сатанеет... зверем пекельным стает, над всем издевается, знущается, всех терзает, а они...— козак отвернулся, склонил на руку голову и начал дышать тяжело.

Все замолчали, подавленные правдой этих слов.

— Ой, так, так,— засуетился после долгой паузы Кожушок,— что и говорить — подло: всяк вот только за себя...

— Да что ж ты, брат, против силы? — уставился на

Кожушка пучеглазый.— Паны со всех сторон так и лезут, так и прут...

— Что-о?! — вскрикнул задорно Чарнота.— А вот, хоть бы по прутику ломать эту силу: завелся панок — трах! — и нема... приползла гадина — трах! — и чертма!

— Ага,— переглянулись значительно поселяне,— этак-то... оно конечно... способ добрячий.

— Да мы не за панов, чтоб им пусто было,— начал было пучеглазый, но, увидя входившего жида, замялся.— А мы за своего Хмеля, потому что, козаче, душа человек... одним словом — друзяка, и шабаш!

— Так что на него и положиться можно? — спросил Чарнота, подмигивая Кривоносу.

— Как на себя, как на свою руку! — ответили все.

— Ну, а где же он теперь, дома?

— Кажись, нет,— отозвался Кожушок.

— А куда же посунул?

— По войсковым, верно, делам.

— Ой ли?

— Да разно говорят...— замялся, косясь на деда, пучеглазый.

— Мало ли что брешут, не переслушаешь,— нахмурился дед,— а что дома нет, так правда: я сегодня сам был во дворе.

— Неудача,— шепнул Кривоносу Чарнота.

— Благоденственного жития и мирного пребывания,— загремела вдруг у дверей октава и заставила всех обернуться.

У порога стоял в длинной свите, подпоясанный ремнем, среднего роста, но атлетического сложения новый субъект, очевидно из причта; красное угреватое лицо его было обрамлено всклокоченной бородой грязно-красного цвета, а на голове торчала целая копна рыжих волос; большие уши и навыкат зеленые глаза придавали его физиономии выражение филина.

— А! Звонарь из Золотарева! Чаркодзвон! Вепредав! — послышались радостные восклицания из кружка поселян.

— Аз есмь! — подвинулся грузно к своим знакомым звонарь и, поздоровавшись, провозгласил громогласно: — Жажду!

— Гей, Шмуле,— засуетился Кожушок,— наливай приятелю в кухоль полкварты.

Шмуль прибежал сразу на зов и поднес с приветливою улыбкой звонарю требуемую порцию.

— Во здравие и во чревоугодие,— произнес тот торжественно и, не переводя духу, выпил весь кухоль до дна.

— Эх, важно пьет, братцы,— не удержался от восторга Чарнота,— чтоб мне на том свете и корца меду не нюхать, если не важно; таких добрых пияков поискать теперь! Почоломкаемся, дяче: с таким приятелем любо! — встал он и, обняв звонаря, поцеловался накрест с ним трижды.

— А что, дяче, не выпьешь ли и со мной для знакомства михайлика? *

— Могу, во вся дни живота моего,— крякнул звонарь.

— Го-го! Не выдаст! — загоготали селяне.— Только не на пусто... капусты бы, соленых огурцов...

— Тащи все сюда, жиде! — крикнул Чарнота, любуясь новым знакомцем.— Вот фигура, так надежная! Фу-ты, какая ручища!.. Этакою погладить пана-ляшка, так останется доволен!

— Что там пана? — пожал пучеглазый плечами.— Он вепря кулаком успокоил!

— Что ты?

— Ей-богу! Взял я его раз выгонять зверя, он так с голыми руками и пошел... Только где ни возьмись одинец да ему прямо под ноги; шарахнулся дяк в сторону да как лупанет его кулаком в голову, так кабан заорал только рылом.

— Молодец! И такой лыцарь только в звоны звонит?

— Луплю во славу божию,— икнул звонарь,— но могу лупить и во славу человеческую...

— Чокнемся же, брате,— передал ему кухоль Чарнота, и оба приятеля, прильнув губами к посудине, не отняли их, пока не осталось и капли горилки.

— Лихо! Пышно! — послышались одобрения со всех сторон.

---

* Михайлик — велика чара.

— Вот выискал-таки Иван товарища себе,— заметил Кривонос,— этот, пожалуй, выдудлит бочку.

— Нет, пане отамане,— покачал головою, глотая капусту, звонарь,— человек-бо есть не скотина, больше ведра не выпьет.

Расходился Чарнота, увлекшись обнаруженною у звонаря способностью к доблестным подвигам, и подсел уже совсем к кружку новых знакомых; появились на столе и огурцы, и капуста, и тарань, коновки пива и меду,— и пошел пир горой; жидок только бегал по корчме и потирал руки; полы его лапсердака развевались, что крылья вампира, а пейсы игриво тряслись. Возгласы, хохот, заздравицы стояли таким пестрым шумом, в котором трудно было разобрать слово; некоторые начинали уже петь, другие перебивали, пока не возгласил звонарь зычным голосом «вонмем» и, откашлявшись, начал:

Ой, ударю в звоны я
Да возьму колодiя!

А собеседники подхватили:

Звоны мои — бов та бов,
А я — до ляхов панов!

Звонарь пьяным голосом запевал, размахивая бутылкою, словно камертоном, а хор все с большим и большим ожесточением подхватывал «звоны мои — бов та бов», варьируя последнюю строфу различными вставками.

А Кривонос, подвинувшись к своим товарищам, не обращал внимания на стоящий в корчме гвалт и что-то горячо говорил, ударяя по столу кулаком. В сдержанном голосе, клокотавшем злобой, прорывались иногда то проклятия, то угрозы, то брань:

— А этот Гуня? Ежа бы ему против шерсти в горлянку! Сдаваться! Да еще кому? Собаке бешеной! Вот и сдались,— лихорадка им всем! Сам-то удрал, а вы теперь и целуйтесь. А! — кусал он до крови кулак и метал из своих глаз искры...

— Да ведь несила была держаться,— вздохнули товарищи.

— Можно было... с голоду не пухли... конины вволю... а о табор наш поломал бы зубы не то что пропой-

ца Потоцкий, а и сам дьявол Ярема — этот антихрист проклятый, перевертень, обляшок, иуда!.. Вот теперь, когда распустило, и потанцевали бы у меня ляшки: я ихних гусаров и драгонию загнал бы по брюхо в грязь да и сажал бы потом паничей, как галушки, на копья.

— Да, теперь бы с ними справиться легче.

— То-то! Но пусть моя мать мне на том свете плюнет в глаза, пусть батько вырвет мне ус, пусть моя горлица, мои дети... если я не отомщу этой гадине!.. Ух, поймать бы мне его — вот уже натешился бы, так натешился!

— Трудновато... длинные у него руки,— покачали головой собеседники.

— Бог не без милости, козак не без доли! — произнес с затаенной отвагой Кривонос.— А тут вот что: Ярема будет возвращаться в Лубны... нужно устроить,— понизил он голос до шепота и начал уже сообщать что-то на ухо. Товарищи слушали его напряженно, перегнувшись совсем через стол, и то утвердительно кивали чупринами, то разводили руками.

— Братия, вонмем! — перервал вдруг пение звонарь.— Я обогнал на гребле псалмопевца Степана с бандурою; как мыслите, не запросить ли его сюда, песнопения ради?

— Эх, да и дурень же ты, пане звонарь! — укорил его, покачнувшись, Чарнота.— Как же ты не сказал этого раньше? Да без бандуриста и бенкет не в бенкет. Тащи дида сюда на первое место.

— А так, так! — подхватили другие.

— Да я... со духом, как обухом! — рванулся к двери звонарь и наткнулся на какую-то сгорбленную фигуру.

— Да он здесь налицо, братие,— окликнулся звонарь.— Вот сюда, сюда, диду, к свету.

— Давно уже нет для меня этого божьего света,— вздохнул дед, ощупью идя за звонарем.

Чарнота вскочил навстречу и, приветавшись с бандуристом, усадил его на скамеечке почти среди хаты, а вошедший за ним поводырь незаметно и робко улегся за печкой в углу.

— Чем же вас потчевать, диду? — порывались один за другим поселяне.— Може, повечерять хотите или подкрепиться огнистой?

— Нет, спасибо вам, детки, не лезет мне кусок в

горло, а окаянной душа не принимает... Разве вот немного медку — промочить горло... потому что через меру горько.

Старец с белой как молоко бородой тяжело вздохнул и поднял вверх свои серебристые ресницы, и открылись вместо глаз глубокие, зажившие раны.

И благородные черты страдальческого лица, и согбенная фигура дряхлого старца, и переполненный скорбными тонами голос произвели на подкутившую компанию сильное впечатление и заставили всех сразу присмиреть и притихнуть.

— А може б вы, старче божий, спели нам... наставили бы святым словом,— попросил тихо Чарнота, поднося ему в руки налитый медом стакан.

— Спеть-то можно, отчего не спеть, мир хрещенный, люд благочестный,— отхлебнул он несколько глотков влаги и отдал обратно стакан,— наступают-бо такие времена, что и песня замрет, и веселье потухнет, и только разнесется стон по родной земле да разольются реками слезы.

Тяжелый вздох послышался в ответ на эти пророческие слова.

Дрожащими руками дотронулся старец до струн, и заныли они тоской-жалобой, зазвенели похоронным звоном.

А старец, поднявши голову и устремив куда-то свои незрячие очи, запел дребезжащим голосом, напрягая чаще и чаще свою костлявую, обнаженную грудь:

Земле Польська, Україно Подольська!
Та вже тому не год і не два минає,
Як у християнській землі добра немає,
Як зажурилась і заклопоталась бідна вдова,
Та то ж не бідна вдова, то наша рідна земля!

С каждой фразой сильнее и сильнее звучал голос; в нем слышались жгучие слезы, трепетавшие в безрадостных звуках. Поникнув головами, сидели и слушали поселяне и козаки эту жалобу-песню; она отзывалась стоном в их мощных грудях и пригибала чубатые головы.

Кривонос же при первых звуках народной думы, словно ужаленный в самое сердце, встрепенулся и встал, сняв свою шапку. Опершись одною рукою на стол, а другую сжавши в кулак, он закаменел, подавшись впе-

ред и понурив свою бритую голову с длинным клоком волос. Вся его мощная фигура, готовая броситься на врага, выделялась мрачно в углу. Из-под сдвинутых косматых бровей сверкали дико глаза; но в этих вспышках огня можно было подметить накипавшую злобу и превышающее меру страдание.

А старец вдохновенными словами-рыданиями рисовал картину наступивших от польских панов угнетений: и что земли-грунты отбирают, на панщину, на работу, как скот, гоняют, что не вольно уже ни в реках рыбу ловить, ни зверя в лесу бить, что издеваются над вольными козаками не только паны и подпанки, но даже и жиды.

Тож ляхи, мосцивії пани,
По козаках і мужиках великі побори вимишляли:
Од їх ключі одбирали —
Та стали над їх домами господарями:
Хазяїна на конюшню одсилає,
А сам із його жоною на подушки злягає...

Заскрежетал зубами Кривонос и, сжавши в кулаки руки, двинулся на один шаг вперед. А в дверях никем не замеченный стоял уже новый посетитель — молодой красавец козак. Статная, гибкая фигура его резко отличалась от всех присутствовавших; дорогой, изящный костюм лежал на нем красиво и стройно; черты лица его были благородны и дышали беззаветной отвагой; орлиный взор горел пылким огнем.

А голос старца возвышался до трагизма и пророчествовал страшную долю:

Ой наступають презлії страшнії години,
Не пізнає брат брата, а мати дитини;
Нехрещені діти будуть вмирати,
Невінчані пари, як звірі, хожати...
Ой застогне Вкраїна на многія літа...
Та чи й не до кінця світа?

Оборвал дед аккорд и склонил на грудь дрожащую голову.

Наступило тяжелое, могильное молчание; все были подавлены и потрясены думой... Вдруг пьяненький Кожушок, вероятно, желая перебить удручающее впечатление, робко попросил старца:

— А что-нибудь бы веселенькое...

Все даже вздрогнули и отшатнулись, как от чего-

то гадливого, а стоящий у дверей козак энергически вышел вперед и возмущенным, взволнованным голосом вымолвил:

— Будь проклят тот, кто запоет отныне веселую песню; радость и смех изгнаны из нашей растерзанной родины... стон только один раздается у матери Украйны... Пой, старче божий,— бросил он в руку деда червонец,— пой только такие песни, какие бы рвали наше сердце на части и превращали слезы в кровавую месть!

— Богун! — крикнул Кривонос и заключил юнака в свои широкие объятия.

V

Роскошная усадьба у войскового писаря пана Хмельницкого! На отлогом пригорке стоит шляхетский будынок. Высокая крыша его покрыта узорчасто гонтом, играющим на солнце золотистыми отливами ясени; на самом гребне крыши и по ребрам ее наложен из того же гонта зубчатый бордюр; посредине ее, со двора, далеко выступает вперед наддашник над ганком — крылечком, а с другой стороны к саду — такой же наддашник, только поднятый выше, прикрывает небольшой мезонин; наддашники заканчиваются плоским зашелеванным отрубом с окошечком и поддерживаются толстыми колоннами; последние опираются на широкие террасы — рундуки, огражденные по сторонам точеною баллюстрадой. Дом не высок, но обширен; стены его обвальцованы и обмазаны глиной так гладко, что и с штукатуркой поспорят, а выбелены — словно снег блестят и виднеются даже с чигиринского замка. На крыше возвышаются две фигурных белых трубы. Окна в доме небольшие и при каждом двухстворчатые ставни; ставни и наличники окрашены в яркую зеленую краску, а по ней мумией проведены красные линии и кружки, изображающие, вероятно, цветы; на колоннах, тоже по зеленому фону, искусно выведены мумией хитрые завитушки, а баллюстрада вся выкрашена ярким суриком. Внизу, кругом дома, идет широкая завалинка, блистающая желтой охрой с синим бордюром вверху... Да, таким будынком можна б было похвастать и в Чигирине!

Двор у пана писаря широкий, зеленый. В центре его

вырыт колодезь; сруб над ним затейливо выложен из липовых досок; вблизи сруба стоит высокая соха, а к верхней распорке ее привешен на поршне длинный, качающийся рычаг — журавель, с прикрепленным к нему на висячем шесте ушатом — цебром. По краям двора стоят хозяйские всякого рода постройки — амбары, сараи, стайни, людские хаты и кухни; все они выстроены по-старосветски, прочно, из дубовых бревен; крыши на них крыты мелким тростником под щетку, с красивыми загривками и остришками; одна только рубленая комора покрыта, как и дом, гонтом. Направо за коморой и амбарами возвышается и господствует над всеми постройками широчайшая крыша клуни, доходящая почти до самой земли; вокруг нее рядами стоят длинные скирды и пузатенькие стожки всякого хлеба, отливая разными оттенками золота,— от светло-палевого жита до темно-красной гречихи. Первый двор обнесен решеткой с вычурными воротами, а кругом всей усадьбы вырыт широкий и глубокий ров, с довольно порядочным валом, огражденным двойным дубовым частоколом; это маленькое укрепление замыкается дубовою же, окованною железом брамой — необходимая осторожность для тех смутных времен.

Но не этим славится усадьба Хмельницкого, а славится она дорогим и роскошнейшим садом, заведенным еще покойным отцом Богдана, Михайлом... И сад этот вырос на чудо, на славу,— такого до самого Киева не было слышно! И чего только в этом саду не родилось! Яблоки всяких сортов — белые, нежные папировки, сочные с легким румянцем ружовки, большие зеленоватые оливки и темно-красные широкие цыганки; груши чудного вкуса — и краснобочки, и плахтянки, и бергамоты, и зимовки, и глывы... А сливы какие — зеленые, желтые, красные, сизые... а терен, а черешни, а вишни, а всякая еще мелкая ягода?.. Господи! И не сосчитать и не перепробовать всего!

Раскинулся этот сад широко по волнистым пригоркам и надвинулся кудрявою зеленью к речке. Перед будынком лежит небольшая полукруглая площадка; на ней посредине высоко поднялся вершиной и раскинулся просторно ветвями могучий столетний дуб; вокруг него разбросаны нехитрые цветники — просто гряды со всевозможными простыми цветами: царской бородкой, гво-

здиками, чернобровцами, зарей, аксамитками, горошком и обязательными кустами собачьей рожи, высоко подымавшей свои унизанные алыми и розовыми цветами стебли. Все гряды окаймлены бордюрами из барвинка, любистка, канупера и непременнейших васылькив. Справа и слева обнимают цветник кусты роз и сирени, а вдоль стены у будынка стоит рядком кудрявая и нарядная, в красных гроздьях, рябина. За площадкой уже, к левой части будынка, понадвинулся высокой темной стеной целый гай — отрубной лесок, к которому примкнул разведенный сад. Прихотливыми группами выступают впереди ветвистые липы, за ними прячутся светлые, широколиственные клены, между которыми темнеют мрачные, раскидистые дубы, а над волнистыми вершинами лесной шири особняками вырезываются вверх — то стройный, кокетливый явор, то светлый, радостный ясень. От этого задумчиво шумящего леса веет мрачною глушью и дикою прелестью, а разбегающийся широко и просторно сравнительно низкий, фруктовый сад производит впечатление отрадной, резвящейся юности. Темными коридорами врезываются в лес проезжие дороги; от них змеятся тропинки по густняку, а по саду протоптаны тоже немного шире тропинки, без всякой симметрии и плана, а просто по прихоти и хозяйским потребностям,— то к пасеке, помещающейся на южном склоне, то к сушне, то к огородам, то к Тясмину; некоторые из этих тропинок обсажены кустами различных ягод, а другие вьются между густым вишняком и высоким терновником. Только в самом низу, у реки, идет широкой дугой природная тенистая аллея; с одной стороны окаймляют ее высокие, грациозные тополи, а с другой, приречной,— мягкие контуры задумчивых ив, перемешанных с вечно дрожащей осиной и стыдливой калиной.

После дикой шутки природы, нагнавшей в первых числах октября неслыханную для южных стран зиму, наступило вдруг бабье лето: возвратилось тепло, растаял безвременный снег, и оживилась прибитая холодом зелень. Стоял теплый роскошный день, один из тех дней, какими дарит нас иногда осень. Солнце склонялось к закату, обливало розовым светом сад и мягкие дали и рдело на сухой верхушке осокора, поднявшейся властно над всеми деревьями гая; теплые лучи его трогатель-

но ласкали и грели, как прощальные поцелуи возлюбленной.

На широкой ступени крыльца сидела молодая девушка, нагнувшись над лежавшим у нее на коленях хлопчиком лет четырех. Ее наклоненная головка особенно выдавала сильно развитый лоб, на котором характерно и смело лежали пьявками,— как выражается народ,— черные брови. Чрезмерно длинные, стрельчатые ресницы закрывали совершенно глаза и бросали косую полукруглую тень на бледные щеки. Темные волосы еще более оттеняли матовую бледность лица; они были зачесаны гладко и заплетены в одну косу, что лежала толстой петлей на спине, перегнувшись через плечо на колени; в конец ее была вплетена алая лента. На строгих чертах лица девушки лежала привычная дума и делала выражение его немного суровым; но когда она поднимала свои большие серые глаза, то они лучились такою глубиной чувства, от которой все лицо ее озарялось кроткою прелестью.

Хлопчик в синих шароварах и белом суконном кунтушике лежал с закрытыми глазами; красноватые веки его сквозили на солнце, а личико было золотушно-зеленого цвета.

Из отворенных дверей слышится молодой голос, читающий какую-то славянскую книгу; его поправляет почти через слово другой — старческий, хриплый.

— «И ре-че он, бысть мне во спа...ние»,— раздается в светлице.

— Не «во спание», а «во спасение»,— досадливо вторит ему другой,— не злягай, паничу, и не сопи... слово титла зри и указку держи сице... ну, слово, покой, аз — спа...

— Да я уже намучился... глаза, пане дяче, слипаются.

— Ох, ох, ох! — вздыхает, очевидно, «профессор»,— рачительство оскудевает... нужно будет просить вельможного пана о воздействии посредством канчука и лозы... Хоть до кахтызмы окончим.

И снова раздается тоскливое и сонное чтение.

А из-за двора доносится стук молотильных цепов, скрип журавля у колодца и какая-то ругань. Тучи голубей, сорвавшись откуда-то, шумно несутся со свистом над садом и, сделав в воздухе большой круг, снова

устремляются назад, вероятно, на ток. На цветнике, между гряд, ходит девочка лет десяти и, собирая семена, поет песенку; детский голосок звучит ясно, а в словах особенно выразительно слышится: «Выступцем, выступцем!» На девочке баевая зеленая с красными усиками корсетка и яркая шелковая плахта.

— Галю! Царская бородка высыпалась! — повернула она к девушке свое огорченное личико.

— А я тебе говорила, Катрусю [47],— подняла голову та,— что высыпится: нужно было собирать раньше.

— Галочко, что же делать? — чуть не плачет Катря.

— Не огорчайся: я тебе привезу из Золотарева, сколько хочешь.

— О? Вот спасибо! Я на тот год везде ее насею... Как я тебя, Галю, люблю! — подбежала она вдруг и обняла Ганну. Да, это была та самая Ганна Золотаренковна, о которой отзывались с такой похвалой поселяне.

— Геть,— заплакал мальчик, отстраняя ручонками девочку,— геть к цолту!

— Юрочко! [48] Гай-гай, так сердиться! — строго покачала головой Ганна.— Если ты посылаешь Катрю, так и я пойду с ней туда.

— Галю! Я не бу-ду! — уже всхлипывал мальчик, обнимая ее колени и пряча в них головку.

— Ну, не плачь же и никогда не бранись,— погладила она его по белокурым жидким волосикам.— Катруся — твоя сестра, тебе нужно любить ее. Ну, полно же, полно, не капризничай! Вот смотри, как Катруся побежала собирать семена. Когда придет весна, мы бросим их в землю, а бозя прикажет солнышку пригреть — вот они и станут рости, как и ты.

— А я вылосту,— улыбается уже хлопчик,— лоскази мне, люба цаца, казоцку.

— Ну, слушай!

В это время с визгом и криком выбежали из гаю мальчик и девочка. Девочка лет восьми бежала впереди, вся раскрасневшись и растопырив ручонки; на лице ее играли страх и восторг; она постоянно озиралася назад, улепетывала, изображая татарина, и кричала во всю глотку: «Ай, шайтан! Козак, козак!» А мальчик, вылитый портрет девочки, гнался за ней с азартом и подгикивал: «Гайда! Не уйдешь, голомозый!» Он держал в левой руке лук и стрелы, а в правой — собранный в пет-

лю шнурок; останавливаясь на мгновенье, метал он стрелу, и при промахе пускался догонять девочку снова.

— Попал, в ногу попал! — крикнул он.— Падай, Оленко[49], ты ранена, ты мой бранец!

— Нет, Андрийко[50], не попал! — возражает, убегая, Оленка, хоть у нее от стрелы уже синяк на ноге и страшная боль.

— Так вот же тебе! — с ожесточением пускает стрелу Андрийко и попадает девочке в спину.

— Ой,— ухватилась та за ушибленное место и присела.

— Андрийко! — с испугом встала Ганна, обнаружив свой стройный и высокий рост, и пошла быстро к игравшим,— как же не грех тебе так ударить сестру?

— А почему она не падала? — надувши губы и смотря исподлобья, буркнул Андрийко.

— Да для чего же ей падать?

— Я ее ранил в ногу, так она и должна была упасть,— убежденно доказывал он,— я бы тогда ее в плен взял, а если она начала удирать, то я должен был добить ее... татарина.

— Фу, как не стыдно подражать нашим ворогам!

— Я ее оттого и убил... Дид говорит, что нельзя татарина живым пускать... а то он убьет,— тут кто кого.

— Да зачем же играть в такую злую игру,— гладила Ганна по головке Оленку и вытирала слезы на ее глазках,— вот и обидел сестру, а ведь вы близнята, должны бы сильно любить друг дружку!..

— Я нехотя,— потупился в землю Андрийко.

— Да, нехотя... а вот хорошо еще что в спину, а если бы в глаз? Нельзя играть в то, где один обижает другого.

— Я не настоящими стрелами, это только очеретяные, смолою налепленные,— оправдывался хлопец.

— Все равно, тоже больно бьют.

— Так я буду накидывать арканом, а стрелы и лук кину,— видимо желал помириться Андрийко.

— Мне уже не больно,— бросилась целовать Ганну Оленка,— совсем не больно, Галюню... Будем играть, Андрийку!

— Ну, ну,— повеселел тот,— а то я нехотя... Отбегай же вперед!

— Осторожнее только,— поправила ему Ганна чуп-

рину и пошла обратно к террасе, где ее на ступеньке все ждал Юрко.

— А я, Галю... не плякал,— улыбался он, болтая ножками,— а казоцки ждал.

— Вот и молодец, запорожский козак,— уселась Ганна.

А близнята, подхватив себе еще две пары детей, неслись с звонким смехом и радостным криком через бурьяны, через гряды снова в темный гаек.

— Я тебе расскажу про недобрую козу,— начала Ганна.— Жил себе дид та баба, и был у них внучек хороший, хороший, послушный, а хозяйства всего-навсего — только коза. Жалеют все эту козоньку: поят, кормят, гулять посылают; а козонька ме-ке-ке да ме-ке-ке... жалуется, что ее голодом морят. Вот раз дид посылает ее...

— А что себе думает панна Ганна,— прервал рассказ незаметно подошедший дед,— что у нас ульев нема?..

Седая борода деда спускалась до пояса, а из-за широких желто-белых нависших бровей еще светились огнем черные очи.

— А для чего ж вам, диду, теперь ульи?

— Хе, для чего? Для роев,— усмехнулся дед, покачав головою,— вот тебе, панно, и диво! Господарь наш, продли ему господь веку, все козакует, а мы тут ему господарюем; вот солнышко пригрело, а муха божья и взыграла, да сегодня нам аж пять ройков прибыло...

— Так поздно? — изумилась Ганна.

— А что ж ты думаешь, панно моя люба, если поздние, так ни на что и не нужны? Как бы не так! Не такой дид, чтобы им рады не дал. Так-то, моя крале! Вот мне и нужно новых штук десять ульев, да не вербовых, а липовых... Хе, для такой пышной силы липовых!

— Есть у меня, диду, еще пять ульев, на чердаку.

— А цто зе дид сделал? — дернул за рукав Ганну Юрко, укладываясь на ступеньке.

— Постой, родненький мой, я вот только...— хотела было встать Ганна.

— Что дид сделал, козаче? А вот собрал, медком накормил... Хе! Да ты уже никак спишь? Чем козак гладок? Наелся и на бок! То-то,— продолжал словоохотли-

вый дед,— поздние! И поздние, и ранние — все нужны: вот ты ранняя у меня, а стóишь, може, сотни поздних, а я вот поздний, древний, а еще, если гукнут клич, так мы и за ранних справимся... Ого-го! Еще как! — потряс он кулаком.

— Где уж вам! — улыбнулась Ганна.

— Ты с дида, крале, не смейся,— понюхал дед табаку из тавлинки,— заходил это ко мне человек божий, дак говорит, что вы, диду, избрали благую часть, что у вас тут любо да тихо, как в ухе, а там, говорит, на Брацлавщине, стоном стон стоит, паны захватывают в свои руки предковечные степи, отнимают от наших людей дедовское добро... Налетит, говорит, с ватагою пан — и только пепел да кровавые лужи остаются от людского поселка.

— Боже правый! — всплеснула руками Ганна.

— То-то, моя жалобнице! Так если бы сюда, на нашу краину, налетели такие коршуны-лиходеи, как ты думаешь, крале,— я усидел бы в пасике? Ого-го! Да коли б на дида не хватило кривули, так я с косой бы пошел... с уликом... Думаешь, не пошел бы? Ого!

— Верю, верю, диду,— взглянула на него ласково Ганна,— а вот у меня души нет за дядька Богдана...

— Э, панно,— мотнул бородой дед,— за дядька не бойся, не такой он... Козачья душа у Христа за пазухой...

Дед направился к калитке, а Ганна повернулась и увидела, что на пороге светличных дверей стоит престарелый «профессор» старшего сына Богдана, Тимка [51].

— Ясновельможная панно,— жаловался он, держа на широком поясе сложенные руки,— с юною отраслию славного рода вельможного панства познания идут зело неблагопотребно.

Сморщенное, как печеное яблоко, лицо жалобщика с клочковатой бородой и торчащей косичкой было крайне комично.

— А что, ленится разве Тимко?

— Смыкает зеницы, дондеже не воспрянет от бремени науки.

— Я, отче Дементий, попрошу его,— улыбнулась Ганна.

— «Наука потребует дрюка»,— рече Соломон мудрый,— поклонился низко «профессор»,— впрочем, если

панская ласка, то просил бы сырцу малую толику и свиного смальца.

— Идите к Мотре, она все выдаст.

«Профессор» с низким поклоном ушел, а Ганна обернулась к Юрку и увидела, что головку его поправляла уже сутуловатая, почтенного вида старуха, в длинной, повязанной вокруг очипка и лица белой намитке, концы которой спускались сзади до самого долу, и в темного цвета халате — особого рода женской верхней одежде, почти исчезнувшей ныне в народе.

— Бабусю-серденько,— обратилась к ней Ганна,— а что это Мотря приходила еще за харчами, прибавилось молотников, что ли?

— Какое молотников,— вздохнула старуха,— со всех концов, дальних даже мест, сбегается люд — то погорелый, то от виселиц и канчуков, то сироты...

— Матерь небесная! — побледнела Ганна и порывисто встала.— Отнесите Юрка, а я пойду распоряжусь... Всех нужно устроить, пригреть.

— Да вот они и ждут тебя.

— Боже! Спаси нас! — произнесла дрогнувшим голосом панна и под наплывом горьких тревог и тяжких предчувствий тихо пошла в людскую, наклонив низко голову. «Там, в углу Сулы,— думалось ей,— теперь напряглись все наши силы, там кладут головы за волю борцы, там льется кровь за родную землю, и что же сулит нам судьба? Может, это предвестники ее бесчеловечного приговора?»

Прошел час. В саду утихли веселые крики детей и на току мерные удары цепов. Катря два раза относила в свою светлицу мешочки. Солнце начало близиться к закату.

Отворилась широко дверь на террасе, и две дюжих девки с плечистым парнем внесли туда на топчанчике (род дивана) больную жену Богдана [52]; несмотря на средние годы, она выглядывала совсем старухой.

— Вот так, вспоперек поставьте,— попросила тихо больная,— да, да... добре теперь, спасибо вам, идите, любые.

Несчастная страдалица приподнялась на локте и жадно начала вдыхать живительный воздух. Лицо ее, изможденное, желтое, болезненно напрягалось при поднятии запавшей грудной клетки; подпухшие глаза блуж-

дали кругом, словно спеша всмотреться и насладиться еще раз знакомыми, родными картинами. А они были действительно хороши.

Несмотря на позднюю осень, природа еще стояла в пышном уборе, хотя и поблекшем, но не лишенном элегической прелести. С террасы открывался широкий простор. Высокий, могучий, несколько дикий гай и более правильными группами рассаженный сад лежали у ног полуобнаженные, но переливали еще поредевшими волнами разноцветной окраски — от темной бронзы дуба до яркого золота клена и серебра явора; между этими волнами были вбрызнуты и кровавые пятна. Красно-бурыми лентами алели теперь меж полуобнаженной гущиной усеянные листьями тропинки. Слева сквозь просеку в сизом тумане белыми пятнами и шпилями виднелся город; прямо внизу, далеко между деревьями, играл в кайме из осоки Тясмин, а направо к запруде, у водяных мельниц, разливался он широким водным пространством. Сквозь косые лучи солнца сверкала радужным дождем и белой пеной вода, спадавшая с мельничных высоких колес; а за мельницами, вдали, разноцветными плахтами лежали сжатые нивы, окутанные синеющими лугами... Нежною красой и раздольем веяло от этих мирных лугов и полей, от этой резвой игриво-шумящей реки, от этого задумчивого гайка и от светлого, обнявшего землю высокого неба,— чарующей прелестью и тихой лаской ложилась эта картина на душу и отгоняла от нее мятежные бури и грозы...

Умилилась и больная.

— Боже, как тепло и чудесно! — отрывисто шептала она.— Пожелтел мой садик, как и я... только он все же пышный, а я... уже и руки сложила...— провела она рукой по глазам.— Вон яблони, что я с Богданом садила... Какими они были тогда прутиками, а теперь ишь как подняли, раскинули ветви... А я... верно, в последний раз садочком любуюсь...

С шумом вбежала Катря и припала к матери.

— И мама вышла погулять?

— Не вышла, доню, а вынесли,— улыбнулась больная.

— Мамо, мамо,— издали закричали близнята, несясь взапуски на террасу.— Гляньте, как нас причесала Галя!

— Славно, славно! — обняла своих деток больная.— А где же ваша Галя?

— А вот! — ухватилась Оленка за сподницу поднимавшейся уже на ступеньки Ганны.

— Вот, вот! — бросился в объятия и Андрийко.— Галю, любочко, серденько! — ласкались и обнимали ее детки.

— Любят они тебя,— умилилась пани, глядя на эту сцену,— да и что мудреного? Ведь ты для них что мать родная... да еще и поищи такой матери на белом свете...

— Что вы, титочко, вам так кажется,— конфузилась от этой похвалы Ганна,— люблю я их всей душой — это верно...

— И мы Галю любим... вот как! — развела руками Оленка.

— И любите, детки,— продолжала больная, и глаза ее заблистали слезами,— она для вас вторая мать: бог посетил меня да и пожаловал, послал в утешение Галю... Она вас до ума доведет...

— Ах, куда мне! — покраснела уже совсем Ганна и, чтобы замять разговор, обратилась к близняткам: — Ну, гайда в светлицу, там уже подвечирок вас ждет.

С шумом бросились детки к дверям, толкая друг друга; Катря тоже побежала с ними.

— Не слыхала ли ты, Галю, чего-либо про Богдана? У меня просто душа холонет... Такие времена — и ни чутки, ни вести...

— Не тревожьтесь, титочко,— удержала тяжелый вздох Ганна, а сама почувствовала, словно нож ее ударил под сердце,— верно, по войсковым делам... Бог милостив!

— А все-таки куда б он уехал? Не сказал ли хоть тебе?

— Нет, ничего... мало ли мест? Не знаю...— Но в глубине души Ганна знала, где мог быть Богдан: там, где орлы-белозорцы,— там и он! Он даже намекнул ей; но она его тайны не выдаст... Только теперь, когда чуются какие-то смутные вести, а на небе собираются тучи, она трепещет и боится объяснить себе этот трепет.

— Ох, всем-то нам тяжело,— простонала тоскливо больная,— а ему-то, бедному, и подавно: бегай, хлопочи, подставляй голову, а утехи никакой! Ведь он еще молодой и здоровый, а вот довелось вдовцом быть, черне-

цом: что я ему? Ни мать детям, ни жена, ни хозяйка... а колода только никчемная, да и все! Хорошо, что тебя бог послал...

— Титочко,— подошла и поцеловала руку Богданихи Ганна,— к чему такие печальные думки? Еще выздоровеете...

— Нет, моя квиточко,— погладила она по щеке Ганну,— не вставать мне... а жить так — калекой, колодой — эх, как тяжко и нудно! Сама я себе надоела... Свет только заступаю. Когда бы господь смиловался да принял меня к себе... и мне бы легче было да и всем.

— Господи! Да что же вы такое, титочко? — всплеснула Ганна руками, и из очей ее брызнули слезы.

— Я обидела тебя?! Серденько, рыбонько! — прижала она к своей груди Ганну.— Я тебя так люблю, и его, и всех... я от щырого сердца, из любви, без всякой думки, жалеючи,— вздохнула она и добавила: — Скажи, однако, чтоб внесли меня: пора!

Ганна подошла к черному крылечку, отдала приказание прислуге, а сама быстро удалилась в темную липовую прогалинку и, усевшись на пне, дала волю слезам. Она сама не знала, почему они, крупные, катились и катились из глаз. Или ей бесконечно жаль было беспомощной страдалицы, пережившей давно свое счастье, или ей было больно, что та самоотверженно уступала свое место другой, или ей страшно было за Богдана, за родину?

Обрывочно и бурно на нее налетали думы, но разобраться в них она не могла; она чувствовала только, что любит здесь всех, а Богдана боготворит и верит в его могучую силу. Она знала, что в молитвах своих о близких первым всегда поминала его... Да, как от тревоги по нем болит ее сердце, как оно приросло здесь ко всему, прикипело!...

Ганна сидит, сцепивши на коленях руки, и смотрит в темнеющую глубину леса. Лицо ее, бледное, словно мраморное, как бы застыло; на нем палевыми и лиловыми пятнышками лежат тени от листьев, и только на длинной реснице дрожит жемчужиной слеза.

Вдруг лицо ее вспыхнуло... побледнело, и она вся двинулась вперед и застыла в порыве...

Перед ней стоял Богун. Темная керея падала кругом его могучей и статной фигуры; шапка была надвинута

низко на черные брови и придавала необычайно красивому лицу энергию и удаль; но выражение его не предвещало ничего доброго. Весь пожелтевший сад горел теперь червонным золотом под огненными лучами заходящего солнца, и на этом ярком фоне темным силуэтом стоял перед Ганной козак. Она хотела броситься к нему, хотела задать ему тысячу вопросов; но мрачный вид козака поднял в ее душе страшное предчувствие: боязнь истины сжала ей горло. Ганна хотела сказать слово, и слово не шло у ней с языка. Богун видел, как побледнела при виде его Ганна, как расширились ее глаза, как занемела она вся, протянувши к нему руки... У него почему-то особенно дрогнуло сердце, и он не решался заговорить. Прошло несколько минут тяжелого молчания. Наконец, Ганна овладела собой.

— Жив? В плен взят? Убит? — едва смогла она выговорить несколько рвущихся слов.

— Не знаю, панно; я сам спешил к тебе расспросить о нем.

— Боже! — всплеснула Ганна руками.— Но ведь он был там? Был?

— Да, и оказал нам рыцарскую услугу, а потом...— остановился он.

— Потом? — перебила его Ганна, сжимая до боли руки.

— Он исчез неприметно... уехал... говорят, к Днепру.

При этих словах Ганна почувствовала вдруг, что с груди у нее точно камень свалился, и страшная слабость, такая слабость, что Ганна должна была снова опуститься на пень, охватила все ее существо.

— Матерь божья, слава тебе, слава тебе! — прошептала она упавшим голосом, чувствуя, как набегают ей на глаза теплые слезы,— значит, спасся, уехал в Кодак...

Наступило снова молчание, наконец Ганна отерла глаза и обратилась к Богуну, еще смущенная за свои слезы:

— Прости мне, козаче, минутную женскую слабость; страх за Богдана, за нашего оборонца... вызвал слезы на эти глаза... Но скажи мне, отовсюду доходят тревожные слухи... Что случилось? Каким образом ты здесь? Как наши бойцы? Снята ли осада?

— Увы! — горько вырвалось у козака.— Там погибло все...

Ганна схватилась рукою за голову и отшатнулась назад. Упало страшное слово, и никто не решался прервать наступившего оцепенения. Наконец Богун заговорил горячо и бурно:

— Да, погибло все... Но не приди этот дьявол Ярема, клянусь тебе, панно, не стоял бы я так перед тобою... Про Голтвянскую битву ты, верно, слыхала. О, как разбили мы польного гетмана! Надо было видеть, как бежали обезумевшие от страха ляхи! Под Лубнами наш гетман снова дает им битву. Бой длился целый день; победа клонилась на нашу сторону, и если мы не победили, то только через рейстровых козаков. Будь трижды проклят тот день и час, когда довелось мне это увидеть! — вскрикнул он, сжимая руку.— Братья шли против братьев! И мужество их, иуд проклятых, казалось, возрастало еще больше при виде братней крови!

Ганна тихо простонала и закрыла руками лицо.

— Но бог справедлив,— продолжал еще горячее козак,— и не дал им в руки победы! Мы двинулись дальше, ожидая отовсюду вспомогательных войск, а польный гетман Потоцкий послал к Яреме. К нам шел Путивлец... Ты знаешь его, панно,— славный был, верный козак, и доблести великой, и тяжелой руки. Его настигает Потоцкий, окружает со всех сторон. Долго сражались козаки, долго отбивались — один на двадцать врагов! Но видит Путивлец — несила ни пробиться, ни устоять... Он пишет к польному гетману и просит пощады. Гетман дает рыцарское, гоноровое слово — всех отпустить безнаказанно, если упадет его, атамана голова! О панно... ты же его знаешь, славного Путивльца... Он собирает на раду всех и решает сам предать себя в руки гетмана ради братьев. Все хотят умереть вместе, разом... но он требует, что для борьбы, для родины они должны купить себе жизнь... и пошел! Да, если б ты видела, как заплакали кругом козаки, прощаясь со своим батьком,— слезы не перестали б до самой смерти орошать твои очи! А гетман,— сам сатана устыдился бы такой подлости, пусть не знают дети его счастья, пусть сын его не увидит рыцарской славы вовеки,— как он свое гоноровое, гетманское слово сдержал! Когда покатилась славная голова Путивльца и козаки положили оружие, гетман велел окружить жолнерами беззащитных бойцов... и выбил, слышишь, панно, выбил копьями всех до единого!

Сдавленный крик послышался со стороны Ганны; но Богун не слыхал его и продолжал все горячей и горячей.

— Приходит к нам Иеремия, волк дикий, чующий носом козацкую кровь, и союзников наших всех перехватывает... Ранен Скидан... Погиб Сикирявый... Бордюг! Мы уходим, панно, но не бежим, нет, а идем такой оборонной рукой, что ляхам не удается приблизиться к нам. О, если б ты видела, как от бешенства Ярема бледнел, получая отовсюду железный отпор! Но мы окапываемся, становимся табором около Старицы... Поляки открывают штурм: сам Ярема ломает крылья своих гусар о наши возы. С пеною у рта бросается он с тяжелою гусарией и стремительною драгонией на наш табор; но сколько не налетал этот дьявол, а прорваться и разорвать наш лагерь ему не удалось. Тогда они выстроили громадные валы и втащили на них пушки; ядра их стали достигать до средины нашего табора. Мы сузили его и окопались валами. Они давай томить нас штурмами, но мы их перехитрили: ночью отряд отчаянных удальцов вырвался из лагеря... Мы смешались с рейстровыми и узнаем польский военный пароль... Бросаемся к их окопам. «Есть ли «язык»?» — спрашивает нас часовой. «Есть,— отвечаем мы,— больше, чем надобно вам»,— и кидаемся к их пушкам... Тревога поднимается во вражьем стане; но, клянусь, пока они прибежали, мы заклепали их пушкам затравки навеки!

Лицо козака загорелось молодой удалью, и нельзя было не заглядеться на эту могучую красоту.

— Но что делает от бессильной злобы сам польный гетман? — продолжал он, заскрежетав зубами.— Будь он проклят, собака, на веки веков! Посылает войска и на семь верст в окружности выжигает все до тла, вырезывает без сожаления всех — стариков, женщин, неповинных детей... Зарева от пожаров стоят перед нами... Простой народ бежит к нам в табор и приносит вопли и стоны неповинных людей.... А мы,— вскрикнул он, встряхнувши так сильно молодое дерево, что листья посыпались кругом,— мы не можем броситься из табора и растерзать этого страшного пса, эту шипящую гадину на тысячи кусков!

— Боже, боже! — вырвалось у Ганны со слезами.— Ты же видишь все и молчишь...

— Да, панно,— продолжал Богун,— этот зверюка

с аспидом Яремой разлили потоки неповинной крови, но нас не сломили. Они открыли самую свирепую осаду: к нам не допускали никого, а к ним все прибывали и прибывали свежие запасы и войска; от ржания их коней у нас не слышно было голоса друг друга. В таборе поднялся голод; его увеличивали прибывавшие массы люду, спасавшиеся от убийц и грабителей. Эти несчастные в конце концов нас погубили. На все просьбы и уступки Гуни — он только молил за козачьи права и за пощаду невинных — эти псы отвечали лишь усиленными штурмами, и клянусь честью козацкой, что каждый штурм им дорого стоил и не давал ни пяди земли! Но голод одолел не нас, а эту несчастную непривычную голытьбу. Она начала роптать, что дальнейшее сопротивление — безумство, что оно вызовет лишь бо́льшую месть, и просила, требовала, чтоб мы сдались на вельможную милость. Мы возмущались, сопротивлялись, но черная рада так и порешила. Не отстоял своей воли на ней Гуня: побоялся, очевидно, измены, выдачи старшин, а потому, кто рискнул своею буйною головой прорваться сквозь цепь врагов, тот не подчинился раде; остальные же сдались на панскую милость.

Козак замолчал. Молча стояла и Ганна, с лицом бледным, как бы за одно мгновение похудевшим, с глазами, широко раскрытыми, глядящими с ужасом в темнеющую даль.

С дальних болот подымался сероватый туман, тишину прерывал только тоскливый стон ночной птицы; тихо падал с ветвей влажный отяжелевший лист.

— Что делать? Что делать? — слетело едва слышно с побелевших губ Ганны.— Неужели погибло все?

— Нет,— вскрикнул Богун, энергически хватаясь за саблю, и глаза его сверкнули молнией,— им не согнуть нас! Мы ищем Богдана... посоветоваться... написать петицию к королю. Покуда еще осталась хоть капля козацкой крови, борьба будет идти не на жизнь, а на смерть!

— На смерть! На смерть! — лихорадочно подхватила за ним Ганна, поднимая к небу руки.— И бог от нас не отступится!..

По широким ступеням крыльца поднялись Ганна с Богуном в будынок. Просторные сени делили его на две отдельные половины: налево помещались горница и

писарня пана Богдана, направо была светлица и покои самой пани с обширною при них хатой, в которой долгими зимними вечерами при свете каганцов дивчата и молодицы собирались прясть, мережить сорочки, ткать полотна и ковры. Ганна распахнула дубовую одностворчатую дверь и вошла в большую горницу.

Налево от двери в большой печи, имевшей нечто среднее между очагом и грубкой, пылал веселый огонь. Печка вся была обложена зеленоватыми изразцами, на которых были разрисованы яркими красками всевозможные бытовые картины: панна в колымаге, дивчына с прялкой, козак на бочке и целое собрание диковинных, никогда не бывалых птиц, рыб и зверей. Белые стены комнаты до половины были обвешены коцями (узкими и длинными ковриками), а между окон висели длинные персидские кылымы (ковры). Сами окна были небольшие, поднимавшиеся половиной рамы вверх; но все стеклышки в них были отделаны в круглые оловянные гнезда; над окнами висели шитые белоснежные рушники. Вдоль стен шли длинные резные дубовые полки; серебряные кубки, фляжки и тарелки живописно красовались на них. Свет огня играл на блестящей посуде яркими пятнами и придавал комнате еще более нарядный вид. У стен стояли широкие липовые лавы со спинками, покрытые красным сукном; такие же маленькие дзыглыки или ослончики (деревянные табуреты), обитые тоже красным сукном, стояли вокруг стола. Весь передний угол занят был дорогими иконами; шитые полотенца, венки из сухих цветов окружали их. Большая серебряная лампада освещала темные лики святых красноватым светом. Под иконами стоял длинный гостеприимный стол, покрытый белою скатертью; хлеб и соль лежали на нем.

Через длину всей комнаты, под чисто выбеленным потолком, посредине тянулся толстый дубовый сволок — балка с вымереженным красивым узором. Посреди него снизу вырезан был старинный восьмиугольный крест, а под ним стояли слова: «Року Божого, нарожения Христова 1618, храмину сию збудовал раб божий Михаил Хмель, подстароста Чигиринский». С одной стороны сволока было вырезано большими славянскими буквами: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых», а с

другой стороны стояло: «Да благословит дом сей десница твоя».

И на Богуна, и на Ганну пахнуло сразу теплом, уютностью и радостью жизни. Двое близнецов сидели на корточках у каминка, подбрасывая сухие щепочки и дрова; их личики раскраснелись от жара, и веселый смех наполнял пышную светлицу. Небольшая дверь в соседнюю горенку была открыта; из-за нее виднелась широкая, обложенная белыми подушками кровать; на ней лежала жена Богдана, приподнявшись на локте, стараясь следить за живительным огоньком. Подле нее прикурнула Катря, а в ногах, подперши щеку рукой, сидела приходившая к Ганне старушка.

Богун снял шапку и керею, поклонился иконам, а Ганна обратилась громко к Богданихе, стараясь придать своему голосу веселый тон:

— Титочко, посмотрите-ка, я вам гостя привела.

— Кого, кого? — всполошилась больная и, увидев Богуна, вскрикнула радостно: — А! Иван! Иди, сыну, сюда!

Богун перешагнул через порог, склонившись под низкою дверью. В этой маленькой комнатке было затхло и душно: всюду торчали засунутые за сволок сухие пахучие травы; пучки их висели и по стенам, и подле икон; там же теплилась и лампадка; большие сулеи и маленькие бутылки стояли на окнах. Пахло мятой и яблоками.

Богданиха приподнялась на локте к нему навстречу, а Богун склонился к ее руке.

— Ну, как вам, титочко? Давно не видел вас...

— Что обо мне, сыну! — перебила его прерывающимся голосом больная.— С богом не биться... А вот что с Богданом, не слыхал ли ты? Душой вся измучилась. Сердце за него мое перенылo.

— Благодарите бога, титочко, с Богданом благополучно: он в Кодаке... Вернется, верно, с Конецпольским.

— Матерь божья, царица небесная! — подняла больная глаза к темному лику, крестясь исхудалой рукой.— Ты услышала мою молитву! Ганно, голубко... акафист бы завтра отслужить!

— Хорошо, титочко,— ответила Ганна, останавливаясь в дверях.

— Ну, а ты присядь, мой голуб,— обратилась больная к Богуну, указывая на ослончик возле себя,—

присядь... Ты издорожился, верно... Да расскажи нам, что там с нашими козаками? Вести худые отовсюду спешат... Ты, верно, знаешь?.. Скажи?

— И вести худые спешили недаром! — мрачно понурившись, ответил Богун.— Погибло все, сдались козаки... Потоцкий и Ярема разгромили табор.

Тихий женский плач наполнил комнату. Никто не утешал никого. Старуха плакала, покачивая головой, и маленькая Катря рыдала, прижавшись к матери; даже близнятки со страхом прильнули к Ганне, вытирая кулаком глазки. Никто не говорил ни слова; казалось, покойник лежал на столе. Наконец, больная отерла глаза и обратилась к Ганне:

— Что ж, Ганнуся, на все божья воля... Будем его милости просить... А ты приготовь людям добрым вечёрю... Идите, детки, идите, милые,— проговорила она ласково, кладя детям на голову руки,— вечеряйте на здоровье, покуда еще есть хоть кров над вашею головой.

Подали на стол высокие свечи в медных шандалах, появилась незатейливая, но обильная вечеря и пузатые фляжки меду и вина. Богуна усадили в передний угол; дети и старуха нянька уместились по сторонам. Дверь скрипнула, и в комнату вошли еще три обитателя: старый дед-пасечник, а за ним козак среднего роста, необычайно широкий в плечах. Одет он был очень просто; лицо его было угрюмо и некрасиво; узкие глаза смотрели исподлобья; брови поднимались косо к вискам; сквозь рассеченную пополам верхнюю губу выставлялись большие лопастые зубы. За козаком вошел и молодой, лет тринадцати хлопчик, старший сын Богдана, Тимко, ученик знакомого уже нам «профессора». Лицо мальчика было не из красивых, совершенно рябое от оспин и веснушек, с светло-карими, смотревшими остро глазами.

— Ганджа! [53] — изумился Богун при виде вошедшего козака.— Каким родом из Сечи?

— Дал слово Богдану... доглядать семью, хутор,— ответил тот хриплым голосом и затем прибавил, бросая на него исподлобья угрюмый взгляд: — Все знаю... Не говори ничего...

Богун вздохнул тяжело и отвернулся; его взгляд упал на молодого хлопца, что неуклюже стоял возле стола, словно не в своей одеже.

— Тимош? Ей-богу, не узнал,— обнял Богун покрасневшего хлопца.

Ужин начался в мрачном молчании. Ганджа ел много и скоро, пил и того больше; из остальных почти никто не прикасался ни к пище, ни к питью.

— Нужно в частоколе переменить две пали,— не подымая головы, обратился к Ганне Ганджа,— осматривал, подгнили две совсем.

— Ну что ж, там есть дерево.

— Не годится... нужно дуб... срубить в гае.

— Тут жалко, а в кругляке?

— Далеко... нужно зараз.

— Там, от рова, есть как раз такой,— угрюмо заметил Тимко.

— Жалко, Тимосю.

— Не срубим — еще жальче будет,— коротко возразил Ганджа, выпивая свой кубок.

— О господи, господи, господи! — прошептала старуха, покачивая головой.

Снова наступило молчание, прерываемое только тихими стонами больной.

— Да еще мне с коморы... пищалей,— снова обратился Ганджа,— нужно раздать...

— И мне, Ганно, и мне,— оживился дед,— даром, что я старый, а еще постоять сумею... Ого-го! Будут они знать, мучители проклятые! — дед задрожал и смахнул с глаза поспешно слезу.— Я им, псам, ульями рассажу головы!

Все молчали.

Андрийко уронил ложку; все переглянулись, и опять — то же суровое молчание.

— Ганджа,— обратился к нему Богун,— я остаюсь на ночь в хуторе.

— Добре,— взглянул на него многозначительно Ганджа,— но при людях не ходи.... Разосланы батавы... хватают.

— Проклятие! — прошипел Богун, ударяя кулаком по столу.

Настало молчание да так и не прорвалось до конца вечери.

— Дай мне, Ганно, ключ от погреба,— заявил Ганджа, уже подымаясь от стола,— выкатить пороху бочонок, свинца...

— Я с дядьком пойду,— сказал не то с просьбой, не то заявил лишь Тимош.

Ганна молча согласилась, молча сняла ключ и молча передала через Тимоша Гандже; тот нахлобучил на брови шапку и вышел в сопровождении деда и хлопца.

Помолилась старуха на образ и, взявши за руки детей, хотела их увести, но маленький Андрийко заартачился.

— Я не пойду спать... я не пойду до лижка... я к козакам хочу.

— Что ты, блазень? Спать пора... И то засиделся,— проворчала коротко старуха.

— Не хочу! — упорствовал капризно Андрийко.— Тимка пустили, и я пойду оборонять. Галю, Галюсю,— подбежал он к Ганне,— пусти меня к дядьке Ивану ляхов бить!

— А их же как оставишь одних? — вмешался Богун, погладив хлопчика по голове.

— Да, нас некому защищать здесь,— улыбнулась и Галя.

— Так я,— подумал несколько хлопчик,— останусь здесь, возле тебя, а все-таки,— упорно он топнул ногою,— все-таки, бабусю, спать не пойду... Я буду целую ночь стеречь Галю... Вот только захвачу лук и стрелы.

— Ишь, что выдумал,— начала было няня, но Галя подмигнула ей бровью.

— Оставьте его,— сказала она,— он козак,— и когда хлопчик побежал за оружием, добавила: — Он уснет сейчас... Я его принесу.

Няня, покачав головой, вышла. Две черноволосых девушки убрали со стола вечерю, оставив Богуну лишь фляжку да кубок.

Ганна подвинула к огню высокий дзыглык, а вернувшийся с луком и стрелами Андрийко уселся на скамеечке у ее ног. Лицо ее было печально и бледно, но ни тени страха не отражалось на нем; Богун склонил голову на руку и, казалось, думал о чем-то горько и тяжело; огонь от каминка освещал их. Так тянулись мучительные безмолвные минуты.

— Что ж,— произнес наконец Богун, подымая голову,— снова беги отсюда... Являйся лишь по ночам, как пугач, сторонись света божьего и добрых людей!

— Куда ж ты, козаче, поедешь? — подняла на него Ганна свои глубокие серые очи.

— На Запорожье, панно: одна у меня родина, одна матерь, один приют! — с горечью воскликнул козак.

Ганна молчала, рука ее задумчиво скользила по волосам уже дремавшего ребенка.

А Богун продолжал с возрастающей горечью:

— И нет у меня, панно, на целой Украйне теплого своего кутка... Вот я гляжу на тебя и вспоминаю: была ведь когда-то и у меня мать, гладила и она когда-то так головку малого сына... Только не помню я ни батька, ни матери... Убили ляхи... Все отняли, псы проклятые,— и радость, и волю, и права!

Красивая голова козака опустилась на грудь.

— Где же ты вырос, козаче, и как? — тихо спросила Ганна.

— Не знаю, кто привез меня на Запорожье, панно, только вскормили меня братчики-сечовики... Не пела надо мной мать нежных, жалобных песен — звон оружия да сурмление запорожских труб привык я слушать с детской поры! Не чесала мне ненька, не мыла головки — чесали мне ее терны густые да дожди дробные. Не сказывала родная мне тихих рассказов — ревел передо мною Славута-Днипро! Не ласку женскую слышал я с детства, а строгий козацкий наказ!

— Зато они научили тебя, козаче, той беспредельной отваге,— с чувством произнесла Ганна,— которая вознесла тебя между всех козаков.

— Так, панно, так! — вскрикнул Богун, подымаясь с лавы, и глаза его загорелись молодой удалью, и неотразимо прекрасным стало отважное лицо.— Они научили меня не дорожить жизнью и славу козацкую добывать. С тех пор нет страха в этой душе. Люблю я лететь в чайке под свистом бури, чтоб ветер рвал парус на клочья и мачтой ралил по седой вершине волны. Люблю я мчаться степью вперегонки с буйным ветром... Люблю лететь в толпу врагов впереди войска, гарцевать на кровавом пиру, смерти заглядывать в очи и дразнить безумной отвагою смерть...— Богун остановился и перевел дыхание; грудь его высоко подымалась.

Бледные щеки Ганны покрыл легкий румянец; она засмотрелась на козака; Андрий, склонивши голову, спал у ее ног.

— Вот видишь ли, козаче, душа твоя вся в войсковой справе,— тихо сказала Ганна; но Богун перебил ее горько:

— Так, панно... Но близких нет у меня никого.

— Ты говоришь о близких...— поднялась стремительно Ганна.— Что близкие люди, когда вся Украйна протягивает к вам, к тебе руки? Что женские и детские слезы, когда слезы тысячей бездольных рвутся к вам с воплями?

— Клянусь богом, ты говоришь правду, Ганно,— вскрикнул козак, не отводя от девушки своих восторженных глаз,— но есть ли где на целом свете такое чудное сердце, как у тебя, Ганно?

— Разве я одна? — вспыхнула Ганна.— Всякий должен положить сердце за родину...

— Да! Ты права,— поднял козак к иконам глаза,— все это сердце — для родины, вся кровь до последней капли будет литься на погибель иудам врагам!.. Но в эту минуту,— заговорил он более тихо, подходя к Ганне,— когда мне надо бежать отсюда, скрываться в пустынных ярах, бросаться в новую сечу,— в эту минуту, Ганно, нет у меня любящей руки, которая обняла бы козацкую голову, положила бы на нее благочестивый крест!..

Богун стоял перед Ганной, и его отважное и закаленное в боях лицо было грустно в эту минуту, а глаза глядели печально и мягко.

Ганна тихо подняла на него свои серьезные влажные очи.

Вдруг в дубовые ворота ограды раздалось несколько дерзких поспешных ударов... Ганна вздрогнула и застыла на месте... Богун обнажил свою саблю... Раздался короткий топот. Кто-то поспешно взбежал на порог. Распахнулась дубовая дверь: на пороге стоял Ахметка, бледный, измученный, с комьями грязи на жупане и на лице.

— Спасайте! — крикнул он прерывающимся голосом.— Батько схвачен... Заключен в Кодаке!

VI

У коронного гетмана, каштеляна Краковского, Станислава Конецпольского, в его старостинском замке, в Чигирине, идет великое пирование. Гости размещены по достоинствам в разных покоях, а самая отборная знать собралась в трапезной светлице. Комната эта была отделана с чрезвычайной роскошью, для чего приглашены были гетманом знаменитые волошские мастера. Довольно обширная комната о трех высоких стрельчатых окнах вся отделана дубом да ясенем, да еще заморским, диковинным деревом; высокий потолок крестами пересекают частые, мережаные дубовые балки; образовавшиеся между ними квадраты блестят полированным светлым ясенем с причудливыми резными бордюрами, фестонами и рельефными наугольниками, а посредине каждого квадрата висит искусно вырезанная из розового дерева виноградная гроздь. Стены тоже выбиты ясенем, так гладко, что пазов даже незаметно, и отливают они нежно-палевым мрамором. Вверху вдоль стен лежит широким бордюром барельеф из темного дуба, изображающий гирлянды фруктов, перевитые виноградной лозой. По стенам на ясень наложены из дорогого ореха продолговатые медальоны, украшенные сверху гербами; на медальонах художественно изображены мозаикой из цветного дерева охотничьи сцены. Между этими медальонами торчат головы лосьи, косульи, кабаньи. Пол искусно выложен в узор разноцветными изразцами. С потолка спускаются две люстры, выточенные тоже из дуба, а в четырех углах стоят медвежьи чучела с свечницами в лапах. На дверях и окнах висят тяжелые штофные занавеси бронзового темного цвета.

Посредине трапезной светлицы стоит длинный стол, накрытый пятью белоснежными скатертями, подобранными фестонами так искусно, что все они бросаются сразу в глаза и дают гостям знать, что обед будет состоять из пяти перемен. На столе блестит всякая серебряная и золотая посуда затейливых форм с барельефами шаловливых похождений богов; посредине в вычурных хрустальных сосудах пенится черное пиво и искрится оранжевый легкий мед, а между ними вперемежку стоят золотые кувшины с тонкими длинными шейками; они изукрашены пестрой, в восточном вкусе,

эмалью и наполнены настоянной на листьях, корнях, травах и специях водкой. Вин еще нет: в старину подавались они уже после обеда, вместо десерта.

В люстрах зажжены восковые свечи; у медведей в лапах горят тоже свечницы, а на столе стоят еще три массивных золотых канделябра со множеством зажженных свечей. Пламя их колеблется, трепещет на полированных стенах, лучится в золотых кувшинах и кубках и сверкает алмазами в гранях хрусталя.

За столами, на дубовых стульях с высокими спинками, увенчанными резными гербами, восседает именитое, титулованное панство, а вокруг столов шумно суетится многочисленная прислуга, за которой наблюдает почтенный согбенный дворецкий. Возле каждого вельможного пана стоит за спиной еще по одному приближенному клеврету, а под столами и между прислугой шныряют собаки — и густопсовые, и волкодавы, и медвежатники.

На среднем, господарском месте сидит сам хозяин, выглядывающий теперь еще более моложавым и свежим; по правую руку от него почтеннейшее место занял князь Вишневецкий, а по левую — патер Дембович, худая, желтая фигура в черной сутане. За князем сидит молодой щеголь, князь Любомирский[54], далее — тучный, средних лет, князь Корецкий[55], комиссар запорожских войск Петр Комаровский[56] и инженер Боплан; за патером сидят: серьезный и симпатичный воевода пан Калиновский[57], пожилых лет, с слащавою улыбкой черниговский подкоморий Адам Кисель[58], изрытый оспой Чарнецкий[59], ротмистр Радзиевский[60] и другая вельможная шляхта, удостоенная почетного места за этим столом. Теперь одежда на всех сотрапезниках играет яркостью цветов венецианского бархата, турецкого блаватаса, московского златоглава, блистает золотом, искусным шитьем, сверкает драгоценными камнями на запястьях. Шум стоит необычайный в этом трапезном покое: паны спорят, бряцают оружием; слуги толкаются, роняют посуду и ругаются вслух; собаки рычат и грызутся за брошенные куски со стола.

На столе вовсе нет наших современных горячих щей, борщей, супов и т. д., а навалено грудами на серебряных полумисках и мисках всякого рода и приготовления мясо, медвежьи и вепрьи окорока, поросята,

маринованная буженина, отварная в острой чесночной подливке баранина, воловьи языки под сливами, курятина под сафоркою и сало. Гости тащат руками облюбованные куски на свои тарелки и распоряжаются ими при помощи ножа, исключительнее — пальцев; недоеденные куски бросают собакам, а излишние передают своим клевретам.

— Что же это, дорогие гости мои, вельможное панство, келехов (чар) вы не трогаете? — приветливо обращается ко всем гостеприимный хозяин.— «Век наш круткий, выпием вудки».

— Правда, правда! — отозвались кругом.— За здоровье ясновельможного пана гетмана и каштеляна! — поднялись келехи вверх.

— И за ваше, пышное панство,— улыбается всем хозяин и опоражнивает солидную чару.— Что же князь не делает чести моим поварам?

— Да я, ясновельможный пане Краковский, плохой едок... А его гетманская мосць не знает еще, какой результат последует в сейме на петиции козаков?

— Вероятно, откажут.

— А нам на сеймиках нужно подготовить...

— Конечно... Но отведай, княже, вепржинки,— подложил два куска Конецпольский,— поросятина сама себя хвалит... А ваша велебность?

— Я занялся буженинкой, ясновельможный гетмане: не о едином-бо хлебе...

— А пан подкоморий что же так плох? — обратился хозяин и к Киселю.

— Внимание ясновельможного пана гетмана дороже для меня всех снедей,— ответил тот сладко,— подобно источнику в пустыне, оно насыщает душу величием чести, а сердце — преданнейшими чувствами к ясной мосци...

— Спасибо, пане; однако нельзя же обижать и утробу.

— Она, ваша ясновельможность, не будет забыта: в гетманском замке обилие неисчерпаемое, а панское гостеприимство и щедроты известны на всю корону.

Вишневецкий поморщился от таких хвалебных гимнов хозяину и, бросив презрительный взгляд в сторону Киселя, обратился к Любомирскому, кормившему в это время собаку.

— Отличная борзая! Где его княжья мосць добыл такого?

— У одного мурзы, княже; пес берет волка с налету... по силе и по быстроте не имеет соперника.

— Но...— откинулся назад Вишневецкий и подкрутил ус,— князь не знает еще моей псарни... А любопытно, что взял за пса мурза?

— Пустое — двадцать хлопок на выбор.

— Ай, ай,— покачал укорительно головой Конецпольский,— такое пренебрежение к прекрасному полу!

— Прекрасный пол? Ха-ха! — разразился смехом князь Любомирский.— Пан гетман обижает наших дам, называя так подлое быдло.

— Князь еще молод, и в этом случае опытность, конечно, за мной: булка может приесться, и взамен ее изредка кусок ржаного хлеба превкусен... Неправда ли, панове?

— Правда, правда! — оживились многие, а патер, вспыхнув, скромно и невинно опустил долу очи.

Шум, крики, хохот и плоские остроты перемешались со стуком стульев и звоном стаканов.

Конецпольский задумался; Кисель вздохнул, а Радзиевский, пожав плечами, обратился тихим шепотом к соседу.

Первая скатерть была снята, а на чистую вторую принесены были и расставлены рыбные блюда: в серебряном массивном корыте, на пряном гарнире, лежал угрюмо осетр; в позолоченных фигурных лоханках пышилась и парилась стерлядь; на полумисках, в сладкой красной фруктовой подливке, оттопыривали важно бока коропы; на больших сковородах нежились в подрумяненной сметане караси, а на изразцовой длинной доске лежала огромная фаршированная по-жидовски щука.

— Ясное панство,— угощал радушный, любивший и сам покушать, хозяин,— обратите внимание на это чудовище,— указал он на осетра,— из Кодака гость; теперь у меня их ловят там и в бочках сюда доставляют живьем.

— Попробуем, попробуем,— раздались голоса,— этого козацкого быдла!..

— Присмирело небось, ударившись о кодацкие стены,— заметил комиссар Комаровский.

— О, certainement! * Они отшибут хвост,— добавил самодовольно Боплан.

— А бесхвостые попадают в гетманские бочки,— сверкнул зелеными глазами Чарнецкий.

— И служат лишь для утучнения шляхетских телес,— подмигнул Любомирский на Корецкого, уписывавшего осетра.

— Ха-ха-ха! Браво, браво, княже! — загремело кругом.— Великая за то слава коронному гетману, пану хозяину!

Кодак составлял гордость и больное место для гетмана, а потому с особенно ласковою улыбкой поблагодарил он за доброе слово пышных гостей; но надменному Вишневецкому это хвастовство Кодаком не понравилось; пятнистое лицо его искривилось злобной улыбкой, и он, прищурив высокомерно глаза, едко заметил:

— Не выловить Кодаку осетров, пока не явлюсь на Низы я с своими баграми и неводом!

— Княжья удаль и храбрость известны,— мягко ответил хозяин.— Но Марс [61] теперь к нам не взывает, а взывает лишь Бахус... И этого веселого божка нам нужно почтить, пышное панство, тем более, что и век наш не длугий, то и выпьем по другий... За здоровье моего почтенного гостя и славного рыцаря, ясного князя Вишневецкого! — поднял он келех.

— Виват, виват! — зашумела шляхта и полезла чокаться с князем; но тот отвечал холодно, не осилив еще вспыхнувшей злобы.

Сняли слуги вторую скатерть и уставили стол третьей переменой блюд. Появились в глубоких мисках и чашах разные соусы, паштеты, каши, пироги, вареники, бигосы и крошеное в кваске сало.

За третьей скатертью следовала уже главная перемена — жаркие; здесь уже фигурировала больше всякого рода дичь: лосина, сайгаки, зайцы, дрофы, стрепеты, утки и гуси. Все это было искусно зажарено и изукрашено диковинно хитро. К жаркому поданы были целые вазы разных солений и маринадов.

И третья, и четвертая перемены были так лакомы для гостей, что они приберегали особенно для них свой

* Звичайно *(франц.)*.

аппетит, поддерживая его специальными настойками, и таки одолели, наконец, все и молча теперь отдувались, обливаясь потом.

Из дальней светлицы доносилось уже нестройное пение:

Сидела голубка на сосне,
Запела голубка по весне:
Ох, ох!
Кто не любит князь Яремы,
Его жонки Розалемы,
То пусть бы издох! *

Сняв четвертую скатерть и убрав всю посуду, слуги поставили среди стола огромные золотые жбаны и хрустальные кувшины, наполненные старым венгерским, дорогим рейнским, золотистою малагой, а между ними разместились скромно украшенные вековым мохом и плесенью бутылки литовского меду. Поставив перед каждым гостем еще по два золотых кубка, слуги наконец совершенно удалились из этой светлицы; один лишь дворецкий остался у дверей для выполнения панских желаний.

— Ну, мои дорогие гости, теперь и до венгржины,— налил Конецпольский соседям и себе кубки.— Еще дедовская, из старых погребов... Сделаем же возлияние румяному богу. Эх, подобало бы сии жертвоприношения творить совместно с усладительницами нашей бренной жизни; но я здесь по-походному, в пустыне, в халупе, и лишен очаровательных фей...

— Я, напротив, этому обстоятельству рад,— заметил сухо Ярема,— вино и женщины, панове, у нас становятся, кажется, единственным кумиром, и я боюсь, чтоб ему в жертву не была принесена наша отвага и доблесть!

— Вовеки, княже! — брязнули в некоторых местах сабли.

— Да хранит ее бог! — попробовал патер вино и одобрительно почмокал губами.

— В моих погребах лучшее,— шепнул Любомирский Яреме.

— Притом Марс любовался Венерой [62],— поднял гетман свой кубок,— и от этого его меч не заржавел.

---

* Польська пісенька того часу.

Так за красоту, панове, и за мужество, за этот вечный прекрасный союз!

— За них, за них и за наш добрый, веселый гумор! — раздались вокруг голоса.

— И за наше добродушие и врожденную истым шляхетским родам милость! — добавил Кисель.

— Великую истину изрек пан,— одобрил Киселя молчавший до сих пор Калиновский.

— Тем паче,— заключил Радзиевский,— что ласка Фортуны располагает к кичливой гордыне и злу.

Конецпольский сочувственно наклонил голову; остальные крикнули «виват» и осушили весело кубки.

Поднялся говор и смех, а вместе с тем и хвастовство друг перед другом оружием, погребами, конями и псами.

— Рекомендую вашим вельможностям и малагу,— угощал радушный, приветливый гетман,— масляниста и ароматна... Отведайте, ваша велебность... Теперь ведь мы можем предаваться с полным душевным спокойствием земным радостям, ибо, благодаря его княжьей мосци, гидре мятежа срезаны головы...

— Не все, ваша мосць, пан Краковский: есть еще одна голова на Запорожье, и повторяю тысячу раз вам, панове,— застучал ножом по столу князь Ярема, подняв до резких нот голос,— пока эта голова не отсечена, не знать короне покоя. Змий этот мятежный живуч, у него на место отрубленных голов вырастают новые...

— Плетями их, канчуками собьем,— отозвались некоторые из подвыпившей шляхты,— как с лопуха листья!

— Ха-ха! Как вы самонадеянны,— презрительно засмеялся Ярема,— воображаете козака клочьем... Да у этих собак такие волчьи зубы, что и медведей изорвать могут. Мало ли пролито через них благородной шляхетской крови, в пекло бы их всех, к сатане в ступу! Так это хваленое добродушие,— ожег он Киселя стальным, злобным взглядом,—нужно по боку, к дяблу, а поднять следует желчь, пока она не смоет с лица земли этих шельм!

— Dominus vobiscum *,— произнес набожно патер и прибавил, нагнувшись к гетману,— малага действительно отменна, ей позавидовали бы и в Риме.

— Смыть, разгромить и прах развеять! — забряцали саблями многие.

---

* Господь з вами (*лат.*).

— Veni, vidi, vici *, и баста! — крикнул кто-то из юных.

— На погибель быдлу! — поддержал и князь Любомирский.

В соседней светлице поднялся шум; послышались брань и угрозы. Дворецкий, по знаку гетмана, выбежал, захватив надворных атаманов, охладить разгоряченные головы.

— Мое мнение на этот счет мосци князь знает,— с достоинством поднял голос гетман, и все притихли.— Я глубоко убежден, что козаки — да, что козаки! — наше храброе войско и уничтожать их — значит... значит — себе обрезывать крылья. Следует сократить, покарать, зауздать, поставить наших верных начальников, что я и сделал,— указал он на Комаровского, который при этом поклонился.— Но Запорожье — это... это наш пограничный оплот.

— Я размечу это чертово гнездо! — дернув стулом, синея и нервно дыша, крикнул Ярема.

— И этим бы причинил князь несчастье отчизне,— загорелся огнем и Конецпольский.— Нельзя истребить нашу лучшую пограничную стражу... да... лучшую. Она еще сослужит нам службу, а разметать — это... это открыть татарам всю нашу грудь.

— Построить другой Кодак на месте их гадючьего гнезда,— шипел Ярема,— третий, четвертый...

— Если бы князю удалось заковать даже Днепр,— снисходительно улыбнулся Конецпольский,— то какими... какими цепями перегородит он Буджакские степи? [63]

— Моими гусарами, драгунами,— с пеною у рта уже рычал князь.

— До первой погибели в пустыне,— процедил гетман.

— Верно, как бога кохам,— присовокупил Калиновский,— наши не могут переносить пустынных лишений, а граница так беспредельна... Враг прорвется везде.

— И тогда, княжья мосць,— заметил, отдуваясь, Корецкий,— все наши благодати обратятся лишь в одно воспоминание.

— Никогда! — ударил по столу рукой князь.— Я за

* Прийшов, побачив, переміг *(лат.)*.

свою шкуру не боюсь и отстоять ее сумею... Только у страха глаза велики...

— Не у страха, мосци княже,— заметил сдержанно гетман,— а у благоразумия.

— Родные братья,— даже отвернулся Ярема.

— Не безумная отвага и ненависть,— уже дрожал Конецпольский,— созидает царства... созидает и упрочает благо... Нет! Здесь нужны не запальчивость, а проницательность и благоразумие... Ведь князь и вы, шляхетные панове, не должны забывать, что ведь это... это не завоеванная страна, а перешедшая добровольно... вместе... Литва и она... И эти козаки и хлопы тут, до нас, были у себя хозяевами.

— Да продлит бог век его гетманской мосци,— сказал с чувством Кисель.

Послышался и сочувственный, и неприязненный шепот.

— Гетман, кажется,— прищурил Иеремия глаза,— к своей булаве желает присоединить и трибунскую палицу.

— Я, княже, не заискиваю у плебса,— гордо ответил гетман, побледнев даже под румянами,— но... но... не одному врагу, но я и правде привык смотреть прямо в глаза... Да, хозяевами были, это нам нужно помнить и в наших же интересах действовать осторожнее, не раздражать... Мятежников мы усмирили, но корня мятежа — нет! Он кроется именно в том, именно... что вот они были хозяевами. Мы несем сюда свет и жизнь, и потому владычество должно принадлежать нам; но мы должны помнить, да... помнить, что они были хозяевами, а потому...— заикался все больше и задыхался гетман,— а потому и им должны оставлять крохи, успокоить строптивых, усыпить, обласкать и поднять надежных, верных нобилитировать, да... да исподволь приручать, избегая насилия.

— Политика вельможного гетмана,— улыбнулся одобрительно патер,— весьма тонка и остроумна; она рекомендуется и нашим бессмертным Лойолой [64]; но она медлительна, а в иных случаях...

— Это смерть! — оторвал князь Ярема.

Одобрительный в пользу гетмана говор снова притих; но Конецпольский продолжал смело:

— Иначе мы истощим силы в «домовой» борьбе, и

если задавим козаков, то... то... татары, Москва... нахлынут, и... и... защищать будет некому.

— Разве, кроме этих собак, нет под вашими хоругвями храбрецов? Если нет, так у меня их хватит на всех! — ударив себя в грудь, гордо обвел рукою Вишневецкий собрание.

— Никто не сомневается в ваших храбрецах, княже,— задыхался совсем Конецпольский,— но это... это... не дает пану права сомневаться и в наших!

Все смутились и замолчали. Князь Ярема почувствовал себя тоже неловко и с досады крутил свою бородку.

— В войне с дикими ордами, позволю себе заметить и я,— начал Кисель тихим, вкрадчивым голосом, воспользовавшись общим молчанием,— берет перевес не храбрость, а знание врага, изучение всех его уловок и хитростей,— так сказать, полное уподобление природы своей природе врага. Такое уподобление, панове, приобретается не сразу, а десятками лет... Как пересаженное с полуденных полей древо гибнет среди чуждой ему пустыни, так гибли бы непривычные к степям новые воины... И сколько бы пало жертв, дорогих для отчизны! А между тем сыны этих степей — козаки...

— Да, вот их и подставлять под удары татарских сабель и стрел,— прервал Любомирский,— а не шляхетных рыцарей польских!

— Почаще бы их, именно, в самый огонь! — зарычал Чарнецкий.

— Досконально! Кохаймося! — послышались крики, и более разгоряченные головы полезли чокаться кубками и обниматься.

— Да, кохаймося! — поднял кубок Кисель.— Пусть будет меж нами мир и любовь, пусть они породят у нас кротость и снисхождение к побежденным... к меньшей братии... Она за это воздаст нам сторицею. Теперь открывается, вельможное панство, новая Америка... В недрах этих земель, не ведавших железа, кроются неисчерпаемые животворные силы... И если эти пространства заселятся нашим трудолюбивым народом, то широкими реками потечет к нам млеко и мед.

— Вельможный пан прав — эта мысль должна руководить всеми нами! — дружно заговорило шляхетство, затронутое в своих интересах.

— Оно озабочивает меня,— заметил Конецпольский,— а равно и корону.

— Разумеется, теперь нужно вельможной шляхте захватывать пустоши,— отозвался Чарнецкий,— и заселять их хлопами.

— Пся крев! — вскрикнул снова Ярема, теряя самообладание.— Расплаживать этих схизматов? *

— О, sancta veritas! ** — всплеснул патер руками, сложив их молитвенно.— Неверные схизматы не могут быть ни гражданами, ни охранителями Речи Посполитой, матери верных святейшему престолу сынов, носительницы благодатного святого католицизма,— не могут, ибо они в глубине души, пока не примут латинства, враги ей и могут продать ее всякому с радостью.

— Еще бы! — отодвинулся с шумом от стола Ярема.

— Велебный отче! — обратился Кисель к патеру, взволнованный и оскорбленный.— Называя всех схизматов неверными сынами отечества, вы оскорбляете бóльшую половину его подданных и оскорбляете невинно! — возвысил он голос.— Во мне горит и чувство личной обиды, и чувство любви к великому отечеству, которое вы желаете разодрать на два стана. Я ручаюсь седою головой, что вражды этой между народами нет, а создают и разжигают ее служители алтаря кроткого и милосердного бога.

Послышались глухие, враждебные возгласы: «Ого, схизмат!»

— Да, я схизмат, я греческого благочестия сын,— окинул смело глазами всех черниговский подкоморий,— и не изменю, как другие, вере моих предков.

При этом слове, как ужаленный, вскинулся князь Ярема, ухватившись за эфес сабли.

— Не изменю! — почти вскрикнул Кисель.— Но я люблю искренно нашу общую мать Речь Посполитую, люблю, может быть, больше, чем вы! Да, я ей желаю мира, спокойствия, процветания, блага. Как солнце одно для земли, так и бог един для вселенной; как солнце одинаково светит для добрых и злых и всех согревает, так и творец небесный есть источник лишь милосердия

---

* Схизматы — так католики називали православних.
** Свята істина! *(Лат.)*

и любви. Как же мы можем призывать всесвятое имя его на вражду и на брань против братьев?

— Ради спасения заблудших овец,— смиренно возразил патер,— и ради снискания им царствия небесного...

— Не заботьтесь, велебный отче, о чужих душах: пусть каждая сама о себе печется!

— О, слепое упорство! — воздел высоко патер руки и опустил на грудь отяжелевшую от вина голову.

— Панове! — воскликнул взволнованным голосом Кисель.— Святейшие иерархи молятся о братском примирении христиан, а мы насилием сеем, на радость сатане, злобу. Из великой мысли братского единения церквей создаем варварскую, ненавистную тиранию.

— О́гнем и ме́чем! — схватился с места, ударив о пол саблей, Ярема; удар был так бешен, что ближайший кувшин с малагой упал, разлив по скатерти драгоценную влагу.— Довольно я здесь наслушался кощунств над моей святой верой и обид величию моей отчизны!

Сдержанная злоба теперь вырвалась из удил и с пеной и свистом вылетала сквозь посиневшие губы; по лицу у Яремы бегали молнии, глаза сверкали фанатическим огнем, рука была готова обнажить меч. Все непроизвольно отшатнулись от стола; некоторые ухватились за сабли, и только головы немногих лежали уже бесчувственно на столе.

— Конечно, панове, вам дороже всего своя шкура,— побагровел Вишневецкий, причем пятна на его лице сделались синими,— оттого вы и слушаете искушения, а я вот клянусь,— поднял он правую руку,— или все церкви в своих маетностях обращу в костелы, или пройдусь о́гнем и ме́чем по схизматам, приглашу вместо них на свои земли поляков, немцев, жидов; но ни один схизматский колокол не зазвонит в моих владениях!

— И за сей подвиг отпустит святейший отец * все грехи твои, княже,— провозгласил с умилением патер, поднявши очи горе.

А князь порывисто продолжал. В религиозном экстазе его стальной голос смягчился, и в сухих глазах заблестела влага.

— Теперь, сломивши врага, позаботимся сначала,

* Святейший отец — папа римський.

панове, не о своей утробе, а о благе великой нашей католической церкви, которая одна только может сплотить нашу отчизну. Отбросим же личные выгоды и соблазны, а употребим все наши усилия для расчищения путей в дебрях схизмы, чтобы могли по ним проникнуть из Рима лучи и озарить светом заблудших; тогда только водворится золотой мир, тогда только отдохнет наша отчизна.

— Благословенно чрево, родившее тебя, княже,— сказал с пафосом патер, воздев набожно руки.— Сам святейший отец преклонился бы перед священным огнем, пылающим в твоем доблестном сердце. Да будет оно благословенно вовеки! — возложил он руки на склоненную голову Вишневецкого.

— Клянусь! — произнес тот дрогнувшим голосом, обнажив драгоценную саблю.— Это сердце и меч принадлежат лишь моей вере и отчизне, которую с ней я сливаю, и я не остановлюсь ни перед чем для торжества их славы.

— Amen! — заключил торжественно патер.

Настало тяжелое молчание. Все были подавлены грозною минутой и не заметили, как тревожно из комнаты вышел дворецкий.

Иеремия тяжело опустился на стул и, склонив голову на руку, устремил куда-то пронзительный взгляд. По лицу его пробегали судороги: он страдал, видимо, от пожиравшего его внутреннего огня.

Длилась минута тяжелого молчания. Дикий, мрачный, но искренний фанатизм князя упал на всех неотразимою, подавляющею тяжестью и разбил игривое настроение; не разделявшие такой демонской злобы во имя Христа были огорчены этою выходкой, а разделявшие находили ее во всяком случае неуместной и расстраивающей общее веселье... Все чувствовали себя както неловко и желали отделаться от гнетущего замешательства...

Вошел дворецкий и доложил, что какая-то панна настоятельно желает видеть ясновельможного гетмана.

— Меня? — очнулся и удивился гетман.— Панна?

— Это любопытный сюрприз,— улыбнулся князь Любомирский.

Послышался сдержанный смех. Все лица сразу оживились, обрадовавшись случаю, могущему восстановить

утраченное расположение духа, и случаю при том весьма пикантному.

— Да ты сказал ли этой панне, что я теперь занят и никого по делам не принимаю? У меня такие дорогие гости,— искусственно раздражался Конецпольский, желая подчеркнуть особое свое уважение к сотрапезникам.

— Сказывал, ваша гетманская милость; но панна просто гвалтом желает явиться к его мосци.

— Что такое? — растерялся даже Конецпольский.

— Не смущайтесь, ваша мосць, пане Краковский. Мы не помешаем... Ведь правда, ясное панство,— подмигнул ехидно всем Любомирский,— мы можем на некоторое время отпустить пана гетмана в отдельный покой, для приятных дел службы. Обязанность, видимо, неотложная! Ну, а мы здесь, панове, совершим возлияние богине Киприде [65], да ниспошлет она и кудрям серебристым...

— Долгие годы сладостной жизни! — подхватило большинство развеселившихся вновь собутыльников.

— Благодарю, пышные гости,— улыбнулся Конецпольский таинственно и самодовольно, покрасневши даже кстати, как ему показалось.— Но здесь я предвижу, так сказать, не шалость проказника божка, да... а нечто другое, и в доказательство я приму при вас эту панну... Введи просительницу сюда,— отдал он приказание дворецкому.

— Браво, браво! — встрепенулись многие и начали молодцевато приводить в порядок костюм, оружие, волосы и усы.

— Это десерт нам, панове,— потер себе хищно руки Корецкий.

— Благовестница — блондинка, непременно блондинка,— заметил, поправляя костюм, весь залитый в бархат и золото, ротмистр,— с небесного цвета глазами и ангельским взором,— divina, caelesta *.

— Слово гонору,— возразил, подкручивая усики, бледный шляхтич с заспанным лицом,— шатенка, мягкая, сочная, как груша глыва.

— Нет, пане, на заклад — блондинка!

— Шатенка, як маму кохам, на что угодно.

---

* Божественна, небесна (*лат.*).

— Стойте, панове,— вмешался князь Любомирский,— я помирю вас: ни то, ни другое, а жгучая брюнетка с украденным у солнца огнем — таков должен быть выбор ясновельможного гетмана.

— Браво, браво! — захлопал Корецкий.— За неувядаемую силу Эрота [66] и за торжество вечной любви!

— Виват! — поднялись кубки вверх с веселым хохотом и радостными восклицаниями; последние заставили вздрогнуть и дремавшего уже было патера.

В это время дворецкий остановился на дверях, отдернув портьеру, и на темно-бронзовом фоне появилась стройная женская фигура, с чрезвычайно бледным лицом и огромными выразительными глазами; из-под черных ресниц они теперь горели агатом, а в выражении их отражалось столько тревоги и скорби, что игривое настроение небрежно разместившейся группы оборвалось сразу.

— Чем могу служить панне? — привстал вежливо Конецпольский и сделал пухлою рукою жест, приглашающий ее сесть.— И с кем имею честь...

— Я сотника Золотаренка сестра... Живу теперь в родной мне семье войскового писаря Богдана Хмельницкого,— промолвила та отрывисто, высоко вздымая стройную грудь и жмурясь немного от сильного блеска свечей; она стояла неподвижно, как статуя, не заметив гетманского жеста или не желая воспользоваться его приглашением.

— Золотаренко... Золотаренко...— почесал себе переносье гетман.— Помню: из Золотарева? Да, так, так. Ну, я слушаю панну.

— Простите, что я перервала ваш пир,— несколько оправилась Ганна,— но меня сюда привели...— запиналась она,— возмутительная несправедливость и грубое насилие, что творится в славной Речи Посполитой над доблестными гражданами и верными вашей гетманской милости слугами...

— Где? Что? Над кем? — спросил встревоженный гетман.

Князь Ярема тоже очнулся и остановил на бледной панне свой взгляд. Гости переглянулись и присмирели совсем.

— В Кодаке, над войсковым панским писарем: тотчас после отъезда вашей гетманской милости Богдана

Хмельницкого арестовал комендант и бросил связанным в подземелье, как какого-либо неверного поганца или как пса! — уже громче звучал ее голос, и в нем дрожало струной чувство оскорбленного достоинства.

— За что? По какому праву? — спросили разом князь Ярема и гетман.

— Ни по какому и ни за что! — ответила, одушевляясь больше и больше, панна Ганна.— И сам комендант не сказал дядьку причины, да и не мог; разве вельможный пан гетман и ясный князь не знает этого доблестного лыцаря? Он предан отчизне и шляхетному панству... Скажите, пышные панове, я обращаюсь к вашему гонору!

Большинство одобрительно зашумело; только весьма немногие прикусили язык и молчали.

— Удивительно! Это какая-то злобная интрига,— продолжал гетман,— но правда ли? Мне что-то не верится, чтоб без моего приказа... да, именно, без приказа... и мой же подвластный на моего, так сказать, слугу наложил руку! Ведь это, это...

— К сожалению, истинная правда.

— Да кто ее принес?

— Ахметка, слуга Богдана; при нем связали пана писаря и повели в лех... А Ахметка, которого хотели было бросить в яму, как-то ушел и прискакал сюда сообщить о злодейском насилии над его паном.

У Ганны дрожал уже голос, а на глазах блестели слезы: сердечное волнение и тревога боролись, видимо, с мужеством.

— Значит, правда! — возмутился уже и Конецпольский.— Но какая дерзость, какая наглость! Без моего ведома.

— Предполагать нужно что-нибудь экстренное,— вмешался Чарнецкий,— и, вероятно, пан Гродзицкий не замедлит сообщить вашей гетманской мосци причины.

— Положим, но, однако, все-таки,— отрывисто и заикаясь, соображал Конецпольский.

Но Ганна перебила его, испугавшись, что замечание Чарнецкого успокоит гетманскую совесть и заставит ожидать получения от Гродзицкого разъяснения.

— Я знаю, ясновельможный гетмане, эти причины: мне Ахметка передал их... Пан Ясинский, бывший войсковой товарищ у ясноосвецоного князя, уволенный его

княжескою милостью за самоуправство, которое хотел он учинить над Богданом, теперь мстит за свою отставку: взвел коменданту на дядька какую-то нелепую клевету, а тот захотел показать свою власть... Обласкал Ясинского, а вашего войскового писаря связал и бросил на муки.

— Да, я подтверждаю гетманской мосци,— вскипел задетый Ярема,— что Ясинского я вышвырнул из своей хоругви за наглое нарушение дисциплины и превышение власти... Я не за хлопов-схизматов,— перевешай он тысячи их, не поведу усом,— а за дисциплину и подчинение: это первые условия силы войска. А этот Ясинский, при бытности моей в лагере, без доклада осмелился было сажать на кол, и кого? Служащего в коронных войсках гетманского писаря... И без всякой причины, без всякой, говорю пану, а с пьяного толку, как удостоверился я лично. Удивляюсь и весьма удивляюсь, каким образом гетманский подчиненный дает приют у себя изгнанным мною служащим?

— Я этого не знал,— смешался неловко гетман,— это, конечно, дерзко... да, дерзко! Разве Ясинский скрыл...

— Конечно, вероятно, скрыл... Кто же может знать? — начал было снова защищать коменданта Чарнецкий.

— Неправда, пане! — вскрикнул Ярема резко, повернувшись на стуле.— Если Ясинский и промолчал, то все мое атаманье об этом болтало: мое распоряжение подтянуло их всех! А Гродзицкий это в пику... Мы, стоящие наверху,— обратился снова к гетману князь,— должны уважать распоряжения один другого, иначе мы допустим в войсках такую распущенность и разнузданность, что их будут бить не только козаки и татары, а самые даже подлые хлопы!

— Конечно, мосци княже, конечно,— поспешил словно оправдаться пан гетман,— этому Гродзицкому влетит... а Ясинский нигде в моих полках не будет.

Князь Ярема поблагодарил гетмана гордым наклонением головы. У Ганны глаза заискрились радужною надеждой при таком благоприятном для нее расположении духа владык. Она ступила шаг вперед и дрожащим от радости голосом прибавила:

— Неужели великий и славный гетман замедлит

протянуть свою мощную руку верному слуге, придавленному заносчивым своеволием и черною местью врага?

Красота и сила экспрессии всей фигуры просительницы, ее лучистые, сияющие глаза, пылающие от волнения щеки в этот миг делали панну просто красавицей и приковывали к ней взоры восхищенных зрителей.

Конецпольский тоже залюбовался и сразу не смог ей ответить, а Ганна, переведя дух, продолжала, увлекаясь до самозабвения:

— Разве долголетней службой отечеству не доказал Богдан своей преданности? Разве он был уличен когда-либо в измене, предательстве или лжи? Разве бескорыстием и правдой не заслужил себе веры? Разве не оказал своим светлым умом многим и многим услуг? Разве бесчисленными бедами, испытанными им при защитах отчизны, не купил он защиты себе? Разве он, отважный и доблестный, не нес своей головы всюду в бой за благо и честь великой Речи Посполитой? Разве он запятнал чем-либо славный рыцарский меч, дарованный яснейшим крулем за храбрость? И вот, у него теперь этот славный меч отнят, а сам борец связан, опозорен и ввергнут в адское место, где холод, и голод, и мрак подорвут насмерть его силы, полезные для отечества и для вас, вельможная и пышная шляхта!

Ганна оборвала речь и стояла теперь, трепетная и смущенная, сама не сознавая, как она отважилась столько сказать? Пра́вда, у нее, во все время пути к Чигирину, толпились тысячи мыслей про заслуги Богдана для отчизны, про его значение для родины, про его великие доблести, про его высоко одаренную богом натуру, про то уважение и любовь, которые все должны, обязаны ему показывать, благоговеть даже перед ним и беречь его как зеницу ока,— все это вихрем кружилось в ее голове, жгло сердце, окрыляло волю, но вместе с тем подкрадывался к ней и ужас, что она ничего не сумеет, не сможет сказать, что ее засмеет панство, и она, пожалуй, еще разрыдается, и только. Эти два течения мыслей поднимали в ней страшную, мучительную борьбу, которая под конец нашла себе исход в одной короткой, безмолвной молитве: «Господи, утверди уста мои! Укрепи меня, царица небесная! Открой им сердца!» С молитвой она вошла и в эту светлицу, ис-

полненную разнузданного и грубого веселья насыщенной плоти. Страшный блеск ослепил ее, неулегшийся хохот оледенил кровь, и она, бледная, закрыв ресницами очи, только шептала молитву... И вдруг после первых, пламенем скользнувших минут, у нее радугой засияло в душе, что господь услышал мольбу, смирил гордыню врагов, открыл их сердца, и она дерзнула перед этим пышным собранием словом, и слово это само как-то вылилось в сильную речь.

А речь действительно произвела на всех неотразимое впечатление.

— Досконально! Пышно! — после долгой паузы послышались робкие хвалебные отзывы с разных сторон.

— Демосфен [67], до правды, панове, Демосфен! — отозвался до сих пор молчавший Доминик Заславский [68], обозный кварцяного войска, средних лет, но дородства необычайного, конкурирующего с паном Корецким; Заславский до сих пор был занят сосредоточенно и серьезно насыщением своего великого чрева, и только появление и речи панны Ганны могли разбудить его пищеварительное спокойствие.

— Illustrissime! * — не воздержался от похвалы и патер, старавшийся в истоме приподнять красные веки.

— Все это сильно потому,— подчеркнул ротмистр Радзиевский,— что справедливо и искренно, от души!

— Я это подтверждаю,— отозвался, наконец, и князь Ярема. Его гордую душу всегда подкупала отвага, а здесь она, в чудном образе этой панны, была обаятельна.— Этот писарь Хмельницкий умен и храбр несомненно.

— Да, да, князь совершенно прав,— заволновался и Конецпольский,— это доблестный воин и полезный, так сказать, а... весьма полезный для нас человек,— в это время в голове Конецпольского мелькнули необозримые плодородные пустоши,— я его лично знаю: и преданный, испытанный. Таких именно нужно защищать и отличать. Я к другим тоже строг и желаю затянуть удила строптивому и бешеному коню... да, затянуть, но преданных нужно поощрять.

— Да наградит бог ясновельможного пана гетмана,— произнесла восторженным голосом Ганна; у нее

* Чудово! *(Лат.)*

на дне души трепетала радость, а глаза застилал какой-то туман.

— Не беспокойся, панно,— ответил ей Конецпольский.— Отважное участие в судьбе писаря, панского родича Богдана и похвально, и трогательно. Я напишу наказ и с первою оказией пошлю в Кодак.

— На бога! — прервала речь гетмана Ганна, всплеснувши руками и застывши в порывистом движении.— Не откладывайте вашей благодетельной воли ни на один день, ни на час... Злоба и зависть не спят: они злоупотребят своим произволом, не остановятся, быть может, даже перед пыткой, перед истязанием, и тогда гетманское милосердие опоздает.

— Она права,— заметил Ярема.— Раз самоволец Ясинский допущен и обласкан, то всего можно ожидать.

— Я их скручу,— ударил по столу кубком пан гетман,— и немедленно же.

— Молю ясновельможного пана,— добавила Ганна,— дайте мне сейчас гетманский наказ: я его поручу надежным рукам и пошлю немедленно.

— Хорошо,— улыбнулся ласково Конецпольский, тяжело подымаясь со стула,— хотя и неприятно мне оставить на время моих пышных гостей, но — ce que la femme veut, Dieux le veut! *

За замковою брамой, во мраке осенней, непроглядной ночи, двигалась нетерпеливо и порывисто какая-то тень; она останавливалась иногда у массивных ворот, прислушиваясь к долетавшим звукам разгула, и снова, ударив кованым каблуком в землю и брякнув саблей, продолжала двигаться вдоль высоких зубчатых муров. Невдалеке где-то ржали и фыркали кони.

— Перевертни! Вражье отродье! — раздался наконец звучный, хотя и сдержанный молодой голос.— И как рассчитывать на панскую милость! Да они смердящему псу сострадать скорей будут, чем нашему брату! Нет на них упования! Вот только на что единая и верная надежда! — потряс говоривший с угрозою саблей.— Эх, только бы собрать удальцов юнаков!.. Свистну посвистом, гикну голосом молодецким, и полетим

* Чого хоче жінка, того хоче бог! *(Франц.)*

тебя, Богдане наш любый, спасать... Костьми ляжем, коли не выручим, а уж и ляжем, то недаром! Только время идет. Каждая минута дорога... Они еще ее там задержат... Проклятие! Скорей туда! А если хоть тень одна обиды... то попомнят псы Богуна! — и он стремительно бросился к браме и начал стучать эфесом сабли в железную скобу ворот.

В это время послышался приближающийся топот нескольких лошадей и показались в темноте бесформенные силуэты всадников. Богун остановился и начал вглядываться в непроницаемую тьму. Послышался тихий крик филина; Богун откликнулся пугачем.

— Ты? Ганджа? — спросил он тихо у приблизившегося всадника.

— Я самый,— ответил тот хрипло.

— А еще кто?

— Семеро надежных... Коней четырнадцать... и твой... и припасы...

— Спасибо, добре! Значит, и в путь?

— Конечно. Тут и дед управится с селянами, а там беда: вон кто в неволе! Тысяча голов за ту голову!

— Так, сокол мой, так! А тут вот панну Ганну, кажись, задержали ироды, выходцы из пекла... Пойдем, брат, спасать!

— Вмиг! Готов! — соскочил Ганджа с лошади и стал вместе с Богуном стучать в ворота.

Наконец форточка в них отворилась, и привратник впустил козаков в браму, но вторых ворот во двор не отпер, а послал оповестить пана дозорца, так что козаки очутились взаперти, досадуя на свою непростительную оплошность.

Между тем со стороны города подъехала к браме повозка; из нее выскочил знакомый нам хлопец Ахметка, а за ним встала и другая кряжистая и объемистая фигура.

— Гей, паны козаки! — обратился Ахметка к стоявшим вдали всадникам.— Здесь пан Богун и дядько Ганджа?

— Тут были,— послышался ответ,— да пошли, кажись, в браму.

— Ладно. Так подождем, пока выйдут.

— Аминь! — раздалась и покатилась октава.— Но бдите да не внидите в напасть!

Звонарь и Ахметка подошли ближе к воротам и остановились в ожидании.

— Так выросла, пане дяче, ваша дочечка Оксанка? — заговорил тихо Ахметка.

— Выросла, хлопче, зело; все тебя вспоминает, как купно с ней созидал гребли, млиночки...— рокотала октава.

— Да мне вот не довелось с полгода быть там,— засмеялся хлопец,— а то ведь прежде, бывало, часто езжал и гостил... привык очень к детке, как к сестренке родной, ей-богу! Передайте ей, что Ахметка соскучился... гостинца привезет... в черные глазки поцелует...

— Да, вот гостинца... подобало бы: она дитя малое, так гостинца бы надлежало...

— Не приходилось в городе бывать... А что, у нее волосики все курчавятся?

— Суета сует!.. Вот гостинца бы...

— Стойте, пане дяче,— вспомнил Ахметка,— хоть купить не купил, да купила добыл... Так вот передайте моей любой крошке три червонца.

— Велелепно! — сжал дьяк золото в мощной длани.

— Только, пане дяче,— замялся Ахметка,— передайте ей, а не Шмулю...

— Да не смущается сердце твое...

— Нате вам лучше для этой надобности еще дукат.

— Всяк дар совершен,— опустил дьячок в бездонный карман четыре червонца,— а ты славный хлопец... и восхвалю тя вовеки. И Оксане скажу, чтобы всегда помнила и любила,— истинно глаголю, аминь!

Зазвенели ключи, отворились ворота, и из них вышла Ганна в сопровождении Богуна и Ганджи; она держала бумагу в руках, и в темноте, по быстрым, энергическим движениям девушки можно было заметить ее возбужденное состояние.

— Спасла! Господь мне помог! Он сохранил для нас это сердце, и вот где спасение! — махала она радостно бумагой и прижимала ее к груди.

— Если ты, панно, могла своим словом пробить эти каменные сердца, то ты всесильна! — сказал восторженно Богун.

— И колдуну такая штука не по плечу,— крякнул Ганджа.

— Не я, панове, не я... а заступница наша пречистая

матерь: ей я молилась, и моя грешная молитва была услышана,— значит, еще не отвратили небесные силы от нас очей, а коли бог за нас, так и унывать нечего!

— Правда, святая правда! — с чувством промолвил Богун.

— Панове, нужно спешить,— заторопилась Ганна,— и лететь туда, не теряя минуты. Кому доверить бумагу, кто повезет?

— Я,— отозвался твердо Богун,— дай мне, панно, ее, и скорее голову мою сорвут с плеч, чем вырвут эту бумагу.

— Лучшего хранителя не найти,— передала Ганна пакет,— но неужели по степи пан лыцар поедет один?

— Нет, со мной едет Ганджа и пять козаков.

— И я еще с паном лыцарем еду,— отозвался, гарцуя уже на коне, Ахметка.

— Да куда тебе,— возразил Богун,— взад и вперед крестить степь, не слезая с коня и без отдыха, ведь просто свалишься.

— Что-о? — вскрикнул Ахметка.— Чтобы я оставил на других своего батька, когда он в опасности? Никогда! Ахметка с радостью издохнет за батька, а его не покинет!

— Дай мне твою голову, любый,— подошла Ганна и, обнявши, поцеловала наклоненного хлопца в чело.— Да хранит бог твое золотое сердце и да наградит тебя за твою преданность и любовь!

— А меня панна не поблагословит? — спросил тихо Богун, наклонив свою буйную голову.

Ганна подняла глаза к беззвездному небу и тихо коснулась устами козачьей удалой головы.

VII

Недаром хвастался инженер Боплан, что его кодакских твердынь не проломить неприятелю таранами: не пропустят эти грозные башни ни одного удальца, какая бы храбрость не окрыляла его, дерзкого, и не выпустят из своих каменных объятий ни одной заключенной в них жертвы.

В мрачном подземелье совершенно темно; из двух скважин, прорезанных в глубокой продольной выемке, что под самыми сводами, едва проникают мутные

проблески света, да и те теряются между черными впадинами и выступами неотесанных каменных глыб. Сидящему узнику не видно за страшною толщиною стен этих световых скважин, а потому и в самый яркий день даже привыкший к темноте глаз едва может отличить вверху кривизну грубых линий и темно-серые пятна, а в пасмурные дни или под вечер все в этой яме-могиле покрывается непроницаемым черным покровом; такая зловещая тьма живет только под землей, в ее недрах, и смертельною тоской сжимает даже бесстрашное сердце. В этом жилище мрака и злобы могильный холод и едкая сырость пронизывают до костей тело, проникают мокрою плесенью в легкие, замораживают мозг, замедляют биение сердца и, отгоняя от узника далеко надежду, погружают его в глубокое отчаяние.

Сидит Богдан в этом смрадном подвале и не сознает, сколько уплыло времени с того момента, когда за ним, скрипя и звеня, замкнулась железная дверь... наконец, окоченевшие члены потребовали хоть какого-либо движения. Он встал и ощупью попробовал определить границы своей могилы; дотронулся рукою до стены и вздрогнул: грубые, острые камни покрыты были студеною слизью и какими-то наращениями — не то грибами, не то плесенью; протянутая другая рука достала до мокрых камней противоположной стены. За Богданом подымались высеченные из камня ступени и вели к железной, находившейся высоко над ним двери; впереди, куда-то вглубь, шел этот узкий простенок. Упираясь руками, Богдан осторожно ступил вперед; ноги его вязли в мокрой и липкой глине... еще шаг, другой, третий... и узник уперся грудью в каменную стену; последняя была особенно мокра, во многих местах по ней просто сочилась вода; в бессильной злобе ударил он кулаком по неодолимой преграде и простонал; но звук в этом гранитном гробу сразу умер; только долго простояв неподвижно, узник начал различать в немой тишине какие-то неясные звуки,— словно что-то постоянно шуршало и изредка лишь обрывалось в коротком, отрывочном стуке. Долго прислушивался Богдан и, наконец, догадался: за этой толщей саженной бежал сердитый Днепр и скользил своими пенистыми водами по врезавшейся в его русло твердыне, а стучали капли воды, срывавшиеся с высокого свода.

Богдан тронулся с места; сапоги его чавкнули и с усилием высвободились из глины, что их засосала; он направился снова к железной двери, где было сравнительно суше, и уселся на самой верхней ступени, опершись спиной о железную дверь и свесив на грудь отягченную мучительными думами голову. Тело его пробирала лихорадочная дрожь... но Богдан ничего этого не чувствовал.

«Да неужели же так,— огненною ниткой мелькали в его буйной голове мысли,— придется пропасть козаку, как собаке, без покаяния, без причастия, не учинивши ни славного, бессмертного подвига, ни добра обездоленной родине? И от чьей руки? От панского лизоблюда, от пропойцы! И как это все быстро обрушилось на мою голову — без передышки, без отдыха! Сколько дел — и каких дел! — с рук сходило, а тут... хотя бы за что-либо путное — за спасение ли друзей или за разгром злодея-врага,— так и не жаль бы было принять всякие муки, а то за дурницу и по напасти бессмысленных сил! То чуть не замерз в ледяную сосульку в раннюю, всегда теплую осень, то этот заклятый обляшек чуть не посадил на кол, а вот снова доехал и бросил живого в могилу... А-а! — ударил он головой о железную дверь; шапка сорвалась и покатилась по ступеням в глубокую яму.— И не вырвешься отсюда, и голоса не подашь друзьям,— не долететь ему из этих проклятых муров! А тот собака смеется теперь наверху с дурнем за кухлем мальвазии над козаком-лыцарем, попавшим в западню, и знают, шельмы, что безнаказанно могут держать здесь меня месяцы, пока не дойдет до гетмана весть; да и то — чего ждать? О, проклятое бессилье и адская злоба, куда вы заведете наш край? Если рубят здесь для потехи головы козаков и старшин, если надо мной, все же известным и заслуженным лицом, могут совершаться такие насилия, то до каких же пределов они могут дойти над безоружным и беззащитным народом? Кто за него голос возвысит? Ах, бесправные мы все, обездоленные судьбою, забытые богом!» — опустил Богдан на руки голову, сжав ими до боли виски.

Погруженный в тяжелую думу, не чувствует узник, что по рукам у него и по шее ползут какие-то мелкие твари и жгут своими тонкими жалами тело. Болезненные уколы повторяются все чаще и едче, а узник мрачно,

неподвижно сидит, не обращая на них никакого внимания; глубокая сердечная боль заглушает страдания тела. Наконец наглые отряды хищников осмелились до того, что с шеи полезли на лицо, на лоб, на глаза... Богдан вздрогнул, смахнул с лица непрошенных гостей, ударил рукой по руке и по шее, с отвращением отряхнулся и спустился ниже; но мокрицы, сороконожки, пауки, клещи и всякая погань последовали тоже за своей жертвой и произвели снова атаку... Началась борьба с невидимым, но многочисленным врагом... тело стало гореть лихорадочно. Зуд вызывал конвульсивные движения и подергивания.

«А! Чертова тварь! Вражья погань! — заскрежетал зубами Богдан.— Мало козаку лиха, так тебя еще принесло! Чтоб вас врагам нашим всем по пояс! Не доставало еще такой позорной смерти — быть заживо съеденным всякою дрянью... Эх, и я-то хорош! Подчинился покорно воле этого обляшка: думалось, что закон поспешит мне на помощь, а теперь вот ищи его у мокриц. Выхватить было саблю да распластать этих мерзавцев, по крайней мере хоть умер бы по-козацки»,— двинулся Богдан порывисто в грязь к дальней стене и начал энергически отряхиваться.

«Вот только что добре,— утешился несколько он,— разогрела здорово тело подлая тварь, так что можно теперь холод стерпеть и здесь отдохнуть,— сюда ведь по лужам не полезет эта дрянь,— а когда окоченеешь, то снова отправиться к двери... да, это даже не дурно — хоть развлечение».

Но что это? Уж не шорох слышится в этом месте, а какой-то протяжный, унылый гул: не старый ли, родной Днепр затянул грустную жалобу, что ему, вольному от веков, стесняют могучий бег новые, не богом воздвигнутые пороги, что в эти гранитные глыбы замуровывают его славных сынов, удалых козаков, которых он так любил качать на своих бешеных волнах? Да это не жалоба, а задавленный, печальный стон... Только он чуется не со стороны Днепра, а как будто из соседнего подвала... Богдан приложил к внутренней стене ухо и замер. Явственно, чрез гранитные массы, долетали к нему человеческие стенания: какие-то узники, конечно, собратья его, а быть может, даже и друзья, мучительно, невыносимо страдали, и как велики, как ужасны

должны были быть их страдания, если они могли стоном поднять железные, закаленные груди! А может быть, это последняя борьба молодой задавленной жизни? Или пытка?.. «Быть может, Ахметку, моего верного джуру, моего любого сына, терзают? А! — схватился за голову Богдан и рванул в бессильной злобе свою честную чуприну.— Слушать... и не смочь разбить эту стену, не смочь схватить за горло злодеев? Да есть ли большая пытка на свете?» Богдан сжал кулаки; ногти вошли ему в тело... выступила кровь... но он боли не слышит, он весь обратился в слух... Проходят минуты, часы — и ни стона, ни звука не повторяется: в непроглядном мраке стоит тишина смерти...

Наконец Богдана снова пробрал сырой холод и вызвал лихорадочную дрожь; он очнулся от оцепенения, сделав несколько энергических движений, решился снова для циркуляции крови пойти к двери.

— Да что же я за дурень у господа бога? Позабыл даже через эту напасть про козачью утеху, про свою люльку? Вот она, моя родная! — нашел он у пояса сбоку кисет и на коротеньком, изогнутом чубучке солидных размеров деревянную, отделанную в серебро с бляшками и висюльками трубку; набив ее махоркой и взяв в зубы, начал Богдан высекать из кремня кресалом огонь; снопами сыпались искры из-под его рук и на миг освещали опухшее лицо, колеблющиеся усы и горящие злобой глаза. Наконец, трут загорелся, и через несколько мгновений козак с наслаждением уже втягивал струю крепкого дыма и выпускал его целые клубы носом и ртом, сплевывая по временам на сторону. Забытая было люлька доставила теперь козаку столько отрады, что на время курения предоставил он погани на растерзание свое тело, и только когда она уже ему допекла через меру, прикрикнул: — Ах вы, ненасытные твари, ляхи! Небось полюбилась козачья кровь? Только уж я теперь вам, собачьим сынам, приготовлю угощение, не тронете больше козачьего тела! — Богдан, добыв из чубука и из трубки табачной гари, вымазал ею себе шею, лицо и руки: средство оказалось радикальным,— ни одна тварь не преодолела махорки...

Выкурив еще одну трубку, Богдан почувствовал полное удовлетворение своих желаний, а вместе с тем и некоторую наркотизацию мозга; крепкая голова его,

конечно, не закружилась, но ее повил какой-то сладкий туман, разлившись по всему телу истомой. Богдана начала клонить дрема, но сердечная боль не давала ему настояще уснуть, и только иногда на мгновение облекались его думы в туманные образы.

«Как-то несчастная семья моя живет теперь в хуторе? Ведь если и там воцарится такое бесправие, то грабителей и насильников можно ждать ежедневно... И кто теперь при разгроме козачьей силы удержит хищническую наглость врага? Конецпольский... Да защитит ли он? Ко мне-то гетман благоволил,— я ему нужен... но ведь со мной могут здесь и прикончить? А без меня...» — вздохнул Богдан и посунулся в угол; там показалось уютнее, спокойнее. Что это? Больную его жену вытаскивают грубо из светлицы? Неподвижные ноги ее бессильно тянутся по земле... Бледное, желтое лицо искажено мукой отчаяния... глаза устремлены к образу... протянутые руки просят защиты... И никто, никто не спешит на помощь; окна побиты, ветер воет... Какой-то труп путается под ногами, не дает двинуться... Кто это? Знакомые черты... только мрак какой налегает кругом... Как больно сжимается сердце!.. За дверью слышится крик... Больную ли истязают или бьют беззащитных детей? Нет, это молодой звонкий голос; звуки его льются дивной мелодией, пронизывают насквозь сердце Богдана и удесятеряют его боль... Этот голос знаком ему, знаком!.. Богдан вспоминает и не может вспомнить, где он слышал его и когда?.. Но вот черная стена тюрьмы светлеет, становится прозрачной... Голос раздается все ближе... И вдруг перед Богданом выступил из черной стены в сиянии голубых лучей чудный женский образ невиданной красоты! Богдан приподнялся и замер от волнения,— он узнал его: это был снова тот образ, что явился ему во сне в снежной степи. Вот он протягивает к нему руки, он улыбается ему своими синими влажными глазами...

— Ангел небесный или сатанинское виденье! — вскрикнул Богдан вне себя.— Все равно, кто бы ни посылал тебя,— отвечай, что возвещаешь ты мне?!.. Спасение или смерть?

Но виденье загадочно улыбается, манит его нежной рукой и исчезает в голубом сиянии.

— Стой! Не уходи! Ответь! — вскрикнул Богдан,

срываясь с места, и чуть не полетел вниз головой по ступеням.

Минутное забвение сном прошло, оставив по себе только нестерпимо едкое чувство...

Сидит опять Богдан и смотрит угрюмо в слепые глаза этой ночи. «Снова сон, тот же ужасный сон,— плывут в его голове мрачные мысли...— Что он вещует? Старые люди говорят, что господь открывает во снах свою волю? Да, это верно... Вот уже часть этого страшного сна и сбылась: он попал в тюрьму. Кто знает, быть может, и другие, кроме Пешты и Бурлия, ведали про его участие в восстании Гуни и донесли об этом коменданту... Так, так... иначе и не может быть! Разве посмел бы без такого тяжкого обвинения арестовать его так дерзко Гродзицкий и бросить в этот ужасный мешок? Быть может, не сегодня-завтра придется ему, Богдану, явиться на суд, а затем достаться в руки ката (палача)?» — И перед Богданом снова встала ужасная картина зловещего сна, и у него пробежала по спине неприятная дрожь...

«А что-то делается там, в Субботове? — и снова его мысли обратились к беззащитной семье.— Верно, паны уже и расправились со всеми! Что церемониться с бунтарем?! А товарищи, а люд?! Эх, кабы воля! Быть может, еще возможно б было спасти что-нибудь?! А он здесь сидит, прикованный, без воли, без надежды... И кто знает, не бросили ль его сюда на всю жизнь?! Нет, нет! — поднял голову Богдан.— Довольно! Кто выдержит дольше такую муку?! Лучше уж сразу погибнуть или прорваться на волю, на свет! — Лихорадочные мысли закружились в его голове: — Нечего ждать правосудия и спасения... Он осужден... Это очевидно... Что же томиться здесь?.. Разбить эту дверь, выкрасться ночью... перерезать стражу... и перебраться вплавь на тот берег Днепра...» — Богдан рванулся с места и снова упал на каменную ступень...

— Да где же моя сила козачья? Ужели и силу мою арестовали, как волю? — вскрикивает он с ужасом; но силы прежней уж нет... Пробует козак встать и не может: словно свинцом налиты его члены... голова даже как-будто не держится, а падает все на грудь... или навалились на нее всею тяжестью думы?.. Э, нет! Расправься, козак, обопрись о камень ногой, понажми

богатырским плечом в железную дверь,— авось подастся, и через нее ты уйдешь с своею вольною волюшкой и понесешься по быстрым водам старого деда Днепра к орлиному гнезду твоих удалых и бесстрашных друзей.

Богдан вскочил и почувствовал страшный прилив сил... и — о чудо! — не устояла железная дверь под его натиском,— погнулась и растворилась немного... только железные болты пока еще удерживают, но он их вырвет из каменных гнезд... В образовавшуюся в дверях щель врываются лучи радужного света, они несут с собой и аромат, и тепло, и какую-то трепещущую, юную радость... а там, в ореоле этого блеска, стоит и светится чудный образ ее: она снова улыбается, протягивает к нему руки... Богдан собирает всю силу, напрягает ее — и болт, вылетевши, звенит.

Богдан проснулся... Да, это было только видение; но вот действительно-таки звякнуло железо, упал с лязгом болт, отворилась тяжелая дверь, и на пороге явилась в мутном свете бледного дня сутуловатая фигура с ключами. Богдан окликнул ее; но сторож не удостоил узника ни единым словом и, молча поставив на пороге кувшин с водой и краюху черного хлеба, запер железную дверь. Несколько мгновений еще слышались его удаляющиеся шаги, а потом снова улеглось мертвое, давящее душу молчание... Потянулась опять мучительная ночь, наступил снова день, подобный ночи,— однообразный, безразличный и бесконечно томительный... И начало исчезать даже время в этой мрачной могиле.

Когда Ясинский передал Гродзицкому, что Хмельницкий изменник, что он участвовал даже в битвах повстанцев против правительства, то Гродзицкий страшно обрадовался возможности отомстить дерзкому козаку, осмелившемуся так выразиться надменно о Кодаке, его крепости; теперь он имел предлог схватить козака и потешить на нем свою волю. Сгоряча он и распорядился кинуть Богдана в самый худший мешок, где узник, несмотря на свое атлетическое сложение, не мог выдержать больше месяца... Но по мере охлаждения горячности подкрадывалась к коменданту и робость: не оболгал ли просто Богдана Ясинский, так как последний не давал ему в руки никаких доказательств. А Хмельницкий был не простой козак, с которым бы можно было

без всяких оснований распорядиться: и коронный гетман, и канцлер, и сам король его знали, да к тому же занимал он и пост войскового писаря, т. е. принадлежал к старшине генеральной. Ясинский же упирался только на то, что слыхал об измене от пленных князя Вишневецкого; но пленные были все казнены, а когда комендант заявил, что и у него в подвалах сидит несколько захваченных беглецов из-под Старицы, то Ясинский взялся допросить их, и вот, несмотря на его усердие, ни одного не оказалось между ними доносчика: ни пытка, ни подкуп, ни обещание свободы пока не действовали; это озлобляло еще больше Ясинского, а Гродзицкого приводило в смущение,— теперь ведь неудобно было и выпустить Хмельницкого,— ведь с ним не потягаешься потом на свободе, голова-то у него, черт бы ее взял, здоровая, да и фигура заметная... Уж он как оплетет, так не выкрутишься! Досадовал на себя за свою опрометчивую поспешность Гродзицкий, а еще более досадовал на Ясинского и ломал голову, как бы выпутаться из этого неприятного положения. Ясинский все еще не терял надежды, что добудет свидетеля, а в крайнем случае, советовал допросить подобающим образом и Богдана, записать по собственному желанию его показания и казнить.

— Что пан мне толкует? — раздражался Гродзицкий.— Разве я имею право казнить писаря без утверждения гетмана? А может быть, он не поверит да захочет сам допросить подсудимого, тогда наши все фигли и лопнут.

— Да я бы его просто задавил,— советовал Ясинский,— и вышвырнул бы труп через люк прямо в Днепр. Пусть там ищут: утонул, да и баста. Кто узнает?

— Знаю,— мрачно ответил Гродзицкий,— сам бы распорядился, да пан, верно, забыл про его джуру? Удрал ведь и не догнали... А если удрал, то сообщит всем, что я арестовал Хмельницкого.

— Да, это оплошность.

— Дьявол привратник! Я ему залил уже сала за шкуру. Но и с панской стороны тоже оплошность — голословно оговаривать и подводить меня.

— Я пану коменданту сказал правду,— выпрямился гордо Ясинский,— а чем же я виноват, если у этих дьяволов-схизматов ничем не вытянешь слова?

Время шло. Обстоятельства не изменялись, а еще ухудшались; уже другую неделю сидит в яме писарь, а ему не сообщают ни причин его ареста, ни самого его не допрашивают; это уже было явное нарушение прав чиновного узника и превышение комендантской власти. Ясинский перемучил много народа, а «языка» не добыл и все лишь кормил обещаниями; нужно было на что-либо решиться, допросить мастерски Богдана, а то и прикончить. Во всяком случае Ясинский прав, что живым выпустить Богдана опасно, что на мертвого и свалить можно все что угодно, и показания всякие записать. А казнен торопливо потому-де, что боялись побега... или, еще лучше,— во время побега убит. Семь бед — один ответ!

Отворилась наконец у Богдана в подвале железная дверь; вошел в нее сторож и объявил узнику, что его требуют в соседнюю темницу к коменданту на суд.

— Слава тебе, господи! — перекрестился большим крестом узник и вышел в полукруглый и полутемный коридор, показавшийся Богдану после ямы и сухим, и теплым, и светлым.

Наверху его ждали четыре тяжело вооруженных латника; у двоих были факелы в руках. За сторожем двинулись факельщики, за ними узник, а два латника замыкали шествие. Богдана ввели в довольно просторный подвал, с полом, выложенным каменными плитами, и с мрачными, тяжелыми сводами, опиравшимися на четыре грубых колонны. За колоннами свешивались с потолка толстые крючья и блоки; у колонн были прикреплены цепи; дальше под стеной стоял какой-то станок с колесом, на нем висели две плети, а под ним лежали грудами гвозди, клещи, молоты, пилы; в углу у какого-то черного очага дымилась неуклюжая жаровня. При колеблющемся свете факелов Богдану показалось, что и крючья, и цепи, и пол были красны и пестрели в иных местах засохшими темными лужами. Пахло кровью. Вследствие отвычки от света и мутное пламя факелов показалось Богдану чересчур резким, и он закрыл от боли глаза; потом уже, освоившись со светом, он заметил в углу четыре зловещих фигуры, а за столом у противоположной стены сидящего коменданта с Ясинским.

— Тебя, пане писарь,— обратился к подсудимому

комендант дрожащим от внутреннего волнения голосом,— обвиняет пан Ясинский в государственной измене, что ты вместе с бунтовщиками сражался против коронных войск. Что скажешь в свое оправдание?

Богдан бросил на Ясинского презрительный взгляд и отступил гордо на шаг.

— Если в этом деле является доносчиком пан Ясинский, то он должен дать доказательства...

— И дам! — злобно вскрикнул, подпрыгнув на стуле, Ясинский.

— У меня они имеются,— улыбнулся ехидно Гродзицкий.— А теперь я у писаря спрашиваю, может ли он доказать, где в последние две недели бывал?

— Могу,— ответил спокойно Богдан.— Безотлучно находился в канцелярии коронного гетмана в Чигирине и составлял рейстровые списки, чему может свидетелем быть весь город, а за четыре дня до прибытия сюда выехал, по требованию ясновельможного пана гетмана, в Кодак и два дня задержан был вьюгой в степи, что известно ясноосвецоному князю Иеремии Вишневецкому.

Гродзицкий взглянул на Ясинского и шепнул ему злобно:

— Дело совсем скверно: меня подвел пан!

Ясинский покраснел до ушей и ответил громко:

— Он врет, лайдак! Ему верить нельзя! А где находился раньше за месяц?

Богдан смерил его высокомерным взглядом и ничего не ответил.

— Ну, что же молчишь? — обрадовался Гродзицкий замешательству подсудимого.

— Доносчику отвечать я не стану,— промолвил наконец подсудимый, подавив поднявшуюся в груди бурю.— А панской милости скажу, что раньше этого я два месяца безотлучно находился при коронном гетмане, объезжал с ним его брацлавские поместья.

Этот ответ окончательно обескуражил Гродзицкого, и он, не скрывая своего смущения, громко заметил:

— Значит, одно недоразумение. Что же это?

— Пан забывается... при шельме,— нагнулся к нему и шептал на ухо Ясинский.— Если у этого пса такие свидетели, то выпускать его живым невозможно.

Комендант слушал шипенье, но ничего не мог

взвесить: страх уже держал его в своих когтях властно и толкал на всякое безумие; бешенство овладевало рассудком.

— Ведь эти прислужники верны пану и сохранят тайну? — спросил тихо Ясинский, указав глазами на палачей.

— Умрут, а не выдадут,— ответил Гродзицкий почему-то убежденно.

— Так вышли, пан, латников, а мы здесь распорядимся по-семейному.

Когда удалились латники, то Ясинский крикнул палачам:

— Приготовьте дыбы! *

«А! — сверкнуло молнией в голове у Богдана.— Неужели решились покончить? Хотя бы продать себя подороже этим извергам! — оглянулся он и увидел, что два палача опускали блоки, а другие два уже приблизились к нему. Несколько дальше, налево, лежал полупудовый молот.— Эх, кабы его в руки! Потешил бы хоть перед смертью удаль козачью!»

— Неужели вельможный пан,— попробовал Богдан выиграть время, незаметно подвигаясь к молоту,— решится на такое насилие? Ведь коронный гетман отомстит,— я ему нужен, и пан напрасно рискует собой через этого цуцыка!

Словно ужаленный, вскочил Ясинский и бросился, замахнувшись рукой, на Хмельницкого; но тот одним движением руки так отшвырнул его, что пан отлетел к столу, как бревно, опрокинул табурет и упал навзничь, ударившись головою о стену.

— Связать пса! — крикнул, обнажив саблю, комендант.— И на дыбу.

Богдан бросился к молоту; но четыре палача не допустили: два повисли на руках, один на шее, а один охватил ноги. Покачнулся Богдан, но устоял, не упал.

— Эх, подвело только голодом,— вскрикнул он,— да авось бог не выдаст! — встряхнул Богдан руками, и оба палача полетели кувырком; державшийся за ноги сам отскочил, боясь удара в темя, один только повисший сзади давил за шею.

---

* Диба — дерев'яний прилад для катування.

— Пусти, дьявол! — ударил его в висок Богдан кулаком, и тот покатился снопом замертво.

— Бейте чем попало! — махнул саблей Гродзицкий.

Богдан бросился к молоту и нагнулся схватить его, но ему кинулись снова на спину три палача; он выпрямился, отбросил борцов, но из скрытой двери подскочили новые силы...

Вдруг растворилась неожиданно железная дверь и на пороге шумно появился Богун, держа в руках лист, на котором висела большая гетманская печать.

Через час смущенный и сконфуженный комендант Кодака пан Гродзицкий провожал Богдана с товарищами его — Богуном и Ганджою. Богдан, держа своего Белаша под уздцы, шел рядом с Гродзицким, а товарищи шли в некотором расстоянии позади. Комендант упрашивал радушно, даже подобострастно, своего узника подвечерять в его скромной светлице чем бог послал, не лишать его этой чести.

— Прости, пане писарь, за невольно причиненную неприятность. Сам знаешь — дело военное. Крепостной устав очень суров,— оправдывался Гродзицкий.— Если мне доносят о государственной измене, я обязан был задержать: долг службы, не взирая ни на лицо, ни на звание... Вельможный пан это сам хорошо знает.

— Но для чего же пану нужно было меня посадить не в тюрму, а в мешок? — ожег его взглядом Богдан.

— Не было другого помещения,— смешался Гродзицкий.

— Его бы швырнуть! — буркнул Ганджа.

— Рука чешется! — сдавленным голосом ответил Богун.

Слова Богуна долетели до пана Гродзицкого и заставили его испуганно оглянуться.

— Если и так,— не глядя на коменданта, промолвил Богдан,— то почему же меня держали там десять дней, не предъявляя ни обвинений, ни причин моего ареста?

— Я ждал от этого негодяя Ясинского доказательств: он меня все водил,— неестественно жестикулировал комендант,— пан писарь может свою обиду и убытки искать на этом клеветнике... Я сам помогу пану, слово гонору!

— Спасибо,— улыбнулся злобно Богдан,— я уже видел панскую помощь: любопытно бы знать, по какому поводу пан приказал палачам своим меня вздернуть на дыбу, когда я доказал свое alibi? *

— А! — гикнул Ганджа и выхватил до половины из ножен свою саблю.

— Что ты? Очумел? — удержал его Богун.

Комендант, услышав за спиною угрозу, быстрым движением выскочил вперед, оглянулся и потом, несколько успокоившись, примкнул к Богдану и начал перед ним шепотом извиняться:

— Прости, пане писарь, за вспышку: ты сам ее вызвал, угостив кулаком Ясинского так, что тот отлетел кубарем на две сажени. Славный удар,— стал даже восхищаться Гродзицкий,— разрази меня гром, коли я пожелал бы такого испробовать! Теперь-то и я рад, что этот облыжный нападчик разбил себе в кровь голову, а тогда я заблуждался, вспылил... errare humanum est **.

Богдан смолчал, презрительно прижмурив глаза. Они уже были у брамы.

— Так пан писарь решительно отвергает мое хлебосольство? — еще раз попробовал грустным голосом тронуть Богдана Гродзицкий.— Это не по-товарищески... Что ж? Мало ли что? А рука руку... Когда-нибудь и я отблагодарю.

— Спасибо, вельможный пане товарищ,— язвительно ответил Хмельницкий,— за хлеб и за соль... Я на них и отвык-то, признаться, от панских потрав, да и есть отучился... А обиды свои я сам в себе прячу, а другим их, пане, не поручаю.

— По-рыцарски, шанованный пане, по-рыцарски! — протянул было руку Гродзицкий, но Богдан, якобы не заметив ее, снял только усиленно вежливо шапку и, промолвив: «До счастливого свидания!» — вскочил на коня и быстро въехал на опущенный мост.

Товарищи проехали по мосту раньше. Богдан нагнал их, спустившись уже с горы, и, придержав лошадь, поехал с Богуном рядом.

— Скажи мне, голубь сизый,— обратился он к нему с радостным чувством,— каким образом спасение яви-

---

* Довести alibi *(лат.)* — довести, що звинувачуваний був у іншому місці в той момент, коли відбувався злочин.

** Людині властиво помилятись *(лат.)*.

лось? Меня это так поразило, что ничего и в толк не возьму... Знаю только одно, что если б ты опоздал хоть на крохотку, то я бы висел уж на дыбе, а может, лежал бы истерзанным на полу.

— Изверги! Душегубцы! — вскрикнул Богун.— Ну, счастье их! — потряс он по направлению к крепости кулаком.— Господь отвел! А уж я было поклялся в душе искрошить этих двух жироедов, если волос один...

— Спасибо, спасибо вам, друзи,— протянул Богдан своим друзьям руки,— но все же, как тебе поручил наказ гетман и как он сжалился, как спас меня?

— Спас тебя, пане Богдане, не гетман, а ангел — это его чудо: только такое святое, горячее сердце могло смутить гордыню панов и разогреть им состраданием души... Только она, прекрасная и великая...

— Да кто же, кто?

— Ганна Золотаренкова.

— Она? Галя? Чудная это душа и золотое сердце,— сказал Богдан с глубоким чувством.— Но как, каким образом?

— Как? Сама полетела ночью в Чигирин на пир к Конецпольскому и вырвала у него эту защиту.

И Богун в пламенных и сильных словах описал подробно славный подвиг отважной и свято преданной девушки.

— Да, это десница божия надо мной и над бедною семьей моей,— поправил быстро Богдан запорошившуюся ресницу и набожно поднял к небу глаза.— Но кто же ей сообщил о моей беде? — прервал наконец минуту безмолвной молитвы Богдан.

— А вот кто! — показал на Ахметку Богун; хлопец стоял за углом с козаками и не был прежде виден, а теперь очутился лицом к лицу.

— Ахметка! — вскрикнул Богдан.— А я и забыл про него... Так память отшибло!.. Только узнал от дьяволов, что ушел... Сыну мой любый,— раскрыл он ему широко объятия, и Ахметка с криком: «Батько мой!» — бросился к Богдану на грудь и осыпал его поцелуями.

— Ахметка дождался батька! — смеялся и плакал в исступленной радости хлопец.— Ахметка никому не даст батька! Пусть Ахметку разрежут на шашлыки, пусть его кони изобьют, изорвут копытами, а Ахметка батька не бросит... Ай батько мой! — то отрывался, то

снова припадал хлопец и целовал Богдану и шею, и грудь, и колени.

— Да, тоже сокол,— кивнул головою Богун,— а сердце у хлопца такое,— что черт его знает, да и только... И ўдали, что у запорожца! Славный юнак, и еще лучшим лыцарем будешь! — ударил по плечу хлопца Богун и обнял по-братски.— Хочешь со мной побрататься?

— Да разве я дурень, чтоб не хотел? — смеялся гордый и счастливый хлопец.

— Так и побратаемся. Ей-богу, побратаемся — и кровью поменяемся, и крестами!

— А что, панове,— прервал Ганджа,— сразу ли двинемся в путь или подночуем у Лейбы?

— Лучше, друзья, подночуем,— отозвался Богдан,— а то я в той чертовой яме десять дней не ел и не спал. Сначала утешала хоть люлька, а уж когда и тютюн вышел, так я порешил пропадать, да и баста!

— Разве у меня в черепке этом,— ударил себя по шапке Ганжда,— гниль заведется, чтоб я им, собакам, не вспомнил!

— Да и у меня самого, брат, надежная память,— улыбнулся Хмельницкий.— А что, Ахметка, может, передали мне из дому что-либо из одежи?

— Целую связку, вот за седлом,— ответил весело хлопец.

— Чудесно,— потер руки Богдан,— тащи это все за мною к Днепру; выкупаюсь — и к Лейбе, а вы распорядитесь там, панове, вечерей.

— Ладно,— ответил Богун,— только не поздно ли, батько, затеял купанье? Ведь смотри — сало идет.

— Пустое! — засмеялся Богдан.— Вместо мыла будет!

Передав козацких коней, Богдан с Ахметкой спустились с обрывистой кручи к Днепру. Старый Дид [69] бурлил у берегов водоворотами; рыхлые, мелкие льдинки, точно потемневший снег, прыгали, мчались и кружились на далеком пространстве, производя какой-то особенный шорох. Наступали сумерки; заря догорала; легкая дымка облаков светилась бледно-розовою чешуей, переходя в нежные лиловые тона; на противоположной части неба из-за черепичных крыш и пригорка подымалась пожарным заревом медно-красная, надутая и как будто приплюснутая луна.

Богдан быстро разделся и ринулся стремительно в воду; с шумом и брызгами разлетелась грязно-белого цвета масса воды и скрыла под собой богатырское тело козачье. Через минуту Богдан вынырнул и, фыркая да отбрасывая движением головы нависавшую на глаза чуприну, покрикивал весело:

— А! Славно! Добрая вода! Горячая, не то что! А ты, сынок, не попробуешь ли? — подзадоривал он Ахметку.— Дида не бойся: он силы придаст!

Ахметка секунду простоял в нерешительности; по спине у него пробежала дрожь: но он бы скорей размозжил себе голову, чем дал бы повод назвать себя трусом, да еще и кому — батьку! Моментально, с ожесточением даже сорвал с себя хлопец одежду и, зажмуря глаза, бросился в воду; резкий холод ее просто ожег ему тело и захватил сразу дыхание. Вынырнувши, он только судорожно заметался и отрывисто стал покрикивать: «У-ух! Ой-ой!»

— Ха-ха-ха! — рассмеялся Богдан.— Припекло небось с непривычки жигалом (раскаленным железом). А ты не держись на одном месте, а вот попробуй против воды поплыть, поборись-ка с Дидом — мигом согреешься! — и Богдан мерными, широкими, могучими взмахами начал резать набегавшие волны и, извиваясь телом, подвигаться вперед.

Ахметка же, несмотря на все свои усилия, оставался все на одном и том же месте и не мог преодолеть быстроты течения.

— Нет, еще не справишься с Дидом,— смеялся Богдан,— и то гаразд, что на месте держишься. Ей-богу, молодец! Ну, однако, на первый раз годи, вылазь!

Выскочили на берег купальщики и почувствовали живительную теплоту в воздухе, несмотря на легкий морозец; тела их, как яркий кумач, горели и дымились паром. Богдан, надевши все совершенно чистое, новое и облекшись в коротенький любимый его байбарачек на лисьем меху, закурил с наслаждением люльку и быстрыми, бодрыми шагами двинулся с Ахметкой под гору, по направлению к корчме Лейбы, что стояла на самом конце поселка, на полугоре над Днепром.

А в корчме уже за широким столом сидели козаки и ждали Богдана. На столе стояли фляжки и кухли, лежало два больших ржаных хлеба, несколько паляниц,

вяленый верезуб, чабак и куски сала, а на огромной сковороде шкварчали на мягкой сочной капусте целые кольца колбас; мудрый жидок Лейба хотя и морщил нос от вкусного запаха, но держал у себя для пышных гостей все трефное *.

— Горилки! — сказал, войдя в хату, Богдан.

— Да, оно теперь после купанья важно! — налил Ганджа почтенных размеров кухоль и поднес Богдану; остальные тоже себе налили, а Богун — и своему нареченному побратиму Ахметке.

— Нам на здоровье, а ворогам на погибель! — крикнул Богун и, опорожнив кухоль, выплеснул на потолок оставшиеся капли.

Богдан молча опрокинул еще кухоль водки, и молча же уселся за стол, и начал с необычайным аппетитом истреблять все поставленное. Остальные козаки тоже не отставали от батька. Окончивши вечерю и выпивши еще кухля два пива, Богдан послал на лаве керею и, попросив лишь разбудить себя пораньше, сразу отвернулся к стене и заснул, да с таким богатырским храпом, что в соседней комнате вздрагивала жидовка со страху, а жиденята метались в бебехах и вскакивали с перин.

Козаки разошлись все по разным местам на ночлег, и в корчме еще остались только Богун да Ахметка; последний тоже моментально заснул у печки. Один лишь Богун ворочался на лаве и не спал. Несколько раз перевернулся беспокойно козак: нет сна, а думки все не унимаются!

— Да что это со мною, уж не наворожил ли кто? — проговорил он сам к себе и, присевши на лаве, задумался.

Луна, поднявшись высоко, теперь задумчиво смотрела с неба на землю и мягким фосфорическим светом обливала окрестность. Внизу, обрызганный зеленоватыми блестками, сверкал чешуей Днепр и мрачно катил в серебряную мглу свои холодные воды.

Богун смотрел на эту широкую фантастическую картину и не видел ее: думы его летели далеко отсюда, к берегам болотистой извилистой речки, к роскошному тенистому саду, к уютной светлице. Правда, любил он

---

* Трефное — їжа, заборонена іудейською релігією.

бывать в Субботове и бывал уже там издавна. После суровой сечевой жизни так приятно было отдохнуть у батька Богдана в этом уютном, родном уголке. Много козаков собиралось там потолковать, посоветоваться, осушить кубок, два. И всем у хозяина находилось и ласковое слово, и привет, а хозяйка уж не знала, чем бы еще угостить дорогих гостей; но с некоторых пор этот уголок стал ему еще дороже, а с каких, когда и почему — козак не знал, да и не думал о том. Знал он только одно, что года четыре тому назад поселилась у Богдана сестра значного лейстровика Золотаренка; сперва он вовсе не знал ее, а потом обратил внимание на бледную девушку, которая молча, с затаенным восторгом слушала их козацкие рассказы и думы кобзарей. Она была молчалива, скромна, не жартувала, как другие дивчата, и, казалось, не замечала никого. Случай как-то привел его разговориться с нею, и Богун поразился той силой страстной, горячей любви к родине, которая таилась в этом, по-видимому, тихом существе. С тех пор козак стал постоянно заговаривать с Ганной, рассказывал ей сам о своих морских походах и пригодах войсковых, и все это жадно впивала в себя дивчына, а Субботов становился все дороже и дороже козаку... Ни вольная воля, ни удалые, славные набеги, ни товарищеская широкая жизнь не захватывали уже так, как прежде, всей его души. Часто Богуну казалось, что ему не хватает чего-то в жизни, и туга начинала прокрадываться не раз в сердце козака... Он пользовался всяким случаем, чтобы заехать в Субботов; здесь у Богдана было все то, чего не было от роду у Богуна: теплый родной угол, любящая семья... Правда, со времени этого восстания давно он не был в Субботове, да и не имел времени много думать о нем,— такие были месяцы, что выбили все думки из головы,— но последний геройский поступок Ганны переполнил каким-то небывалым восторгом все сердце козака-славуты; да, много видал он дивчат на своем веку, а такой не видал: сестра козацкая, королевна!

Вот он видит ее освещенной огнем камелька, ласкающей головку заснувшего хлопца... Да, такая должна быть мать! В сердце козака дрогнула какая-то нежная струна. Хорошо иметь кого-нибудь на свете, к кому можно было бы склонить так доверчиво и нежно

усталую голову, к кому можно было бы прижаться так горячо, как к матери родной! Хорошо было бы знать, что там, где-то далеко за широкими степями, тоскует по тебе, думками за тобою летает, молится о тебе родная душа! «Ишь чего, ласки заманулося безродному козаку!» — горько улыбнулся Богун и, присевши на лаве, приложился лицом к холодному стеклу... Месяц стоял уже в самом зените и освещал широкую безграничную даль, перерезанную могучей рекой. Богун невольно засмотрелся на величественную картину.

— Эх, и чего тебе еще, козаче, бракует? — вырвался у него глубокий вздох.— Степь широкая, Днепр могучий, воля вольная, есть еще и сила, и померяемся с ляхом! А тут вот сосет что-то за сердце да и сосет! — Богун беспокойно взъерошил свою черную, вьющуюся чуприну.— Вот бросили, например, дьяволы Богдана в тюрму, и полетела она к самому гетману, страх, смущение забыла и выхлопотала спасенье! И не то что к гетману, на край света б полетела, все муки бы приняла... А за ним некому и вздохнуть!.. Хоть сейчас посади его на кол Потоцкий, никто б и не заплакал, разве только товарищи помянули б добрым словом за кружкой вина. А она? Ганна?.. И перед Богуном встала снова Ганна, такая, какою он видел ее в последний раз: гордая, отважная, как королевна, с лицом бледным, с сверкающими темными глазами, с гетманским приказом в руках.

— Сокол — не дивчына! — вырвался в его душе горячий возглас.— Сестра козацкая, королевна! Вот с такой можно и в сечу рядом идти, да и голову за нее с улыбкой сложить! — И всю ночь казалось ему, что среди дальней серебристой мглы встает дивный образ, с огненным сердцем и хрустальной душой, и властно влечет к себе его душу.

Только перед утром забылся он тяжелым сном, и приснилось ему, что лежит он на берегу синего моря, на желтом песке, с простреленной головой; из головы кровь бежит, а чьи-то нежные руки держат ее на своих коленях и ласково и нежно колышут. Он видит над собой темные, печальные глаза и слышит — знакомый голос поет ему тихую, колыбельную песнь, кровь вытекает капля по капле из раны его, но он не хочет пошевельнуться... Он узнал этот голос, и от звуков его так тепло

и сладко становится в его душе, а жизнь уплывает тихо и спокойно с каждой каплей крови...

Рано утром встали козаки, начали убирать коней, а вместе с тем разбудили пана писаря и Богуна.

— Слушай, друже мой любый,— подсел к нему Богдан,— мне вот нужно скорей к Конецпольскому, объяснить ему правильно свое дело, а то ведь и этот враг лютый поторопится с своей стороны понаплесть,— спать не будет, свою шкуру станет спасать... да и, кроме того, самому гетману лично я нужен, так стало быть по всему мне нужно спешить в Чигирин... А между тем нужно настоятельно и немедленно известить запорожцев, что им угрожает беда: Вишневецкий хотел было сразу пойти и разгромить Запорожье, да Конецпольский удержал его до весны.

— Ишь, ироды,— закипятился Богун,— что задумали! Вырвать у нас сердце из груди? Ну, добро! Пусть они придут в гости к матери Сичи и к батьку Лугу, уж так угостим, что и опохмеляться не будет охоты!

— Вот для того-то, друже, и нужно известить братчиков, чтобы приготовили непрошенным гостям угощение, а то нападут врасплох... Да вот не знаю, кого бы надежного послать туда, чтобы не только одну голую весть передал, а и поруководил радою, и нас известил о их решении. Хочу попросить Ганджу,— теперь вот бог меня домой донесет,— я и сам там управлюсь,— только вот одного его мало: нужно и на Конских Водах побывать, и на Базавлуке, и на Чертомлыке [70], и на Великих Плавнях,— вон оно что!

— Так что же тут, батьку, и думать! — даже изумился Богун.— Я с Ганджой поеду и все дело там оборудую: приготовим уж встречу! — звякнул он эфесом сабли в ножны.

— И впрямь, коли ты, сокол, поедешь, так лучшего посланца и не нужно,— обнял Богуна Хмельницкий,— у меня просто камень свалился с груди.

— А что ж? Так бы и допустили их к Запорожью? Не бойсь, Богдане, еще не один дьявол поламает о него зубы, пока осилит! Ну, да мешкать нечего! Я вот сейчас распоряжусь лошадьми, да и гайда в путь!

Богун вышел поспешно из хаты, чтобы разыскать Ганджу и других козаков. Он давал торопливо распоряжения, осматривал лошадей; но через несколько

времени горячее возбуждение, охватившее его при словах Богдана, начало ослабевать, и место его заняло какое-то грустное раздумье: итак, снова в Сичь, все дальше и дальше от Чигирина, да и не думай теперь скоро вернуться туда: всюду насадил своих шпигов Потоцкий... «Э, да что это я,— даже вспыхнул Богун,— что мне Субботов, что Чигирин, когда разбито все козачество, когда тысячи казней творятся теперь по всей Украйне, когда задумывают разгромить все Запорожье и стереть все козачество с лица земли. Нет, пока не освободится от извергов земля родная и вера, пусть проклят будет тот, кто допустит в свое сердце хоть одну-другую мысль! — сжал козак свои черные брови и направился решительным шагом к корчме.

— Готово, брате! — объявил он, входя в светлицу.

— Ну, вот и гаразд,— ответил Богдан,— сядь же, выпьем на дорогу, да и разъедемся каждый по своим делам.

Пришел Ганджа. Богдан объявил ему о новом поручении, и козаки, выпив на дорогу по кухлю черного пива с черным же хлебом, поджаренным в сале, стали собираться в путь.

— Ну, что же от тебя переказать там дома, друже? — спросил Богдан Богуна, когда они уже вышли из корчмы и готовились вскочить на оседланных коней.

— Что ж, передай всем поклон да скажи товарищам, чтоб торопились на Сичь, да и Ганне тоже поклон передай.

— А славная она у нас, брате! — положил ему Богдан руку на плечо.

— Что и говорить,— тряхнул головою козак,— нет на всем свете такой! — Козаки обнялись, попрощались, лихо вскочили на коней и, пожелав друг другу доброго пути, разъехались в разные стороны.

VIII

Туманное осеннее утро. Сквозь огромное венецианское окно в кабинете коронного гетмана, застекленное разноцветной мозаикой, пробивается холодный, бледно-радужный свет; он скользит по стенам, обитым темно-красным сафьяном, блещет на серебряных украшениях

и золотых безделушках, лучится в хрустальных флаконах и теряется в пушистых турецких коврах. Тяжелая драпировка темно-зеленого штофа, подхваченная у самого верха гербами, падает по сторонам окна до самого пола, на котором, во всю ширину и длину, лежит пестрый персидский ковер. Высокий, в готических сводах потолок расписан мастерски арабесками *, среди которых пляшут в соблазнительных позах нимфы [71]. На одной стене под портретом короля Владислава IV висят две дорогих гравюры лейпцигской работы, изображающие: одна — битву под Хотином [72], другая — Люблинскую унию [73]. Противоположная стена от верху до низу увешена драгоценным оружием разного рода. Из угла, ближайшего к двери, выдвигается далеко вперед высокий изразцовый, с фигурными дашками камин. На огромном, широко открытом очаге его еще тлеют червонным золотом угли. По обеим сторонам входной двери стоят огромные, вычурно инкрустированные шкафы красного дерева. Вдоль стен тянутся низкие турецкие диваны, обитые зеленым штофом адамашком; по ним разбросаны расшитые золотом и шелками подушки. Кроме двух громоздких кресел, в комнате стоит еще там и сям несколько низких табуретов, отделанных в восточном вкусе. Но чудо всей обстановки составляет стоящий посреди комнаты гигантский письменный стол. Он вырезан и выточен из черного моченого дуба. Четыре льва поддерживают массивную верхнюю доску с бесчисленным количеством ящиков и потайных закоулков. На ней с двух сторон возвышаются какие-то башни, поддерживаемые кариатидами; между ними тянутся, в виде перекидных мостов, полки для книг; самая доска обита ярко-красным сафьяном; борты ограждены серебряной баллюстрадой, а все ящики и верхушки башен изукрашены различными серебряными фигурками.

В огромном кресле, с высокой спинкой и массивными ручками, обитом по темно-зеленому сафьяну серебряными гвоздями, сидел в меховом шлафроке ** гетман Конецпольский. Утром, до полного туалета, лицо его

---

* Арабески — особливий вид орнаменту, що складається з геометричних фігур, стилізованих квітів, листків тощо.

** Шлафрок — халат *(нім.)*.

выглядело изношенным, старческим; оно все было покрыто сетью мелких, разбегающихся морщин и отливало сухой желтизной; слезящиеся глаза глядели устало и вяло; вся дородная фигура егомосци как-то сгибалась осунувшись. Перед ним в подобострастной позе стоял знакомый нам пан Чаплинский и с трепетом ожидал слова от ясновельможного гетмана. А гетман все пересматривал какие-то бумаги и планы, лежавшие перед ним грудами на столе, и молча прихлебывал из золотого ковша гретое на каких-то кореньях вино. Иногда он бросал бумаги и тер себе с досадою лоб, иногда, облокотившись на руку, глубоко задумывался и потом снова начинал рыться в бумагах, но все молчал.

Чаплинский с тревогою в сердце следил за переходами выражений на ясновельможном лице и переминался бесшумно с ноги на ногу. Его приземистая, несколько ожиревшая фигура, очевидно, нуждалась в опоре. Несмотря на туго стянутый широким шалевым поясом стан, живот у пана уже солидно округлялся и постоянно нарушал равновесие, отчего сцепленные вверху вылеты щегольского кунтуша качались сзади, словно маятник. Белобрысое, скуластое лицо пана, с раздвоенным носом и грязно-голубого цвета глазами, производило неприятное впечатление, хотя и не могло быть отнесено к некрасивым; особенно отталкивали от него выпуклые, линялые глаза, носившие выражение презрительного нахальства. Голова пана Чаплинского, сдавленная спереди и сильно развитая в затылке, привыкшая наклоняться назад, теперь была сильно выдвинута вперед и с вытянутым раздвоенным носом изображала лягавую собаку на стойке. С непривычки такой пост казался Чаплинскому очень тяжелым и оскорблял его литовскую гордость. Там, среди родных лесных дебрей и зеленых прозрачных лесов, он привык держать себя никому не подсудным царьком, все преклонялось и падало перед ним; задавленный издавна рабочий люд гнул спину и безропотно трудился на пана, как быдло. Ни перед кем не приходилось пану Чаплинскому стоять, даже перед богом в костеле он сидел на удобном диване... а здесь вот стой, как лакей. Но что делать? Нужно перетерпеть пока. Там, в родной Литве, и скучно, и бедно, а здесь вон какие богатства кругом, как весело прожигается жизнь! И неистощимы они, эти бо-

гатства, всякому шляхтичу доступны,— приди, бери и владей, а владыкою-то над ними, расточителем благ — пан гетман коронный, так сто́ит и перетерпеть, чтобы пить полной чашей радости жизни. И Чаплинский стоит, переминаясь с ноги на ногу, и робко ждет решения своей участи.

— Да, да,— заговорил наконец Конецпольский, словно жуя что-то и присмакивая губами,— панский проект увеличения доходности имений чересчур,— как бы сказать? — смел и рискован, да и, кроме риска, должен сознаться, не совсем мне симпатичен, потому что... именно, идет совершенно в разрез моим планам, моей, так сказать, политике, которую я хочу провесть.

Чаплинский побледнел, не понимая, в чем он сделал такой промах. Ведь он, кажется, красноречиво и ясно доказал на бумаге, что можно почти удесятерить в каждом гетманском поместье доходы.

— Панские цифры,— как бы угадывая мысли Чаплинского, продолжал Конецпольский,— льстят человеческой алчности, но и в этом отношении они ошибочны: увеличение доходов должно опираться, да... опираться, пане, не на отягчении труда поселян... не на отягчении... Да, не на ограблении, так сказать, его, а на привлечении новых рабочих сил, на превращении пустынных пространств в плодородные нивы,— отхлебнул гетман глоток вина и закурил трубку.

— Это само собою, ясновельможный пане гетмане,— пробовал пояснить свой взгляд Чаплинский,— но здешние хлопы так разбалсваны, что почти не хотят знать никакого чинша, платы за владение землей... для наших рабочих в Литве и эти, намеченные мною, повинности показались бы просто благодетельною льготой.

— Жалею о панской Литве,— улыбнулся, выпуская струйку благовонного дыма, гетман.— Я бы не захотел там быть не только на месте рабочего, но даже и на месте пана. Рабство никогда не возвеличивало держав, а служило всегда для них гибелью, если пан знаком хоть немного с историей... Н-да, возрастание богатств при рабстве фальшиво... да, именно фальшиво... На тысячу нищих один богатеет. А я говорю, пане, что если бы эта тысяча тоже по-людски жила, то и этот

один был бы богаче, а главное, заметьте, пане, имел бы тысячу защитников, а не тысячу врагов... Да, именно врагов. Это мое крайнее, так сказать, мнение. Если, к несчастию, не все его разделяют, то могу сокрушаться... Да, сокрушаться и предвидеть горе; но от моих подчиненных и в моих личных делах я желаю подчинения и моим мыслям... и подбираю людей...

— Его гетманской мосци воля,— для меня святой, ненарушимый закон,— приложил Чаплинский руку к сердцу и низко нагнул голову,— светозарный блеск ясновельможного разума... для меня будет... солнцем! — говорил он трогательно, а сам думал: «А черт бы тебя побрал, старый дурень, с твоими хлопами! Через это клятое быдло только стой и выговоры здесь слушай!»

— Ну там солнцем или месяцем, то мне все равно, а держаться моих планов я требую.— Конецпольский даже поднялся с кресла и начал ходить тяжелыми шагами по кабинету.— Я вот и хочу доказать всем моим примером... так сказать, убедить, что и при благоденствии населения доходы маетностей не упадут, а увеличатся. Заметьте, пане, при благоденствии, это очень важно... Это... это великая идея! — воодушевлялся старик, и бритые щеки его загорались малиновыми пятнами.— Если бы все были просветлены,— запнулся он и взглянул подозрительно на Чаплинского; последний стоял в набожной позе и, подняв очи горе, якобы молился за общее просветление.— Да, так сказать, именно,— остановился у стола гетман и облокотился о башню спиной.— Вот пан сказал, что само собою о заселении пустошей будет заботиться... а я скажу, что при предлагаемой паном системе не только не прибежит ко мне ни одна собака, а и сидящие уже прочно селяне поразбегутся... Да, именно, разбегутся... и вместо вот этих,— трепал он по бумаге рукой,— богатейших цифр, получатся обновленные пустоши.

— Этого никогда бы не было, ваша ясновельможность,— заступился за себя горячо Чаплинский.— Если бы эти хло... хло... хлопотливые поселяне заартачились, так я бы вашей гетманской милости пол-Литвы притащил, только бы свистнул...

— Что мне в твоих литвинах, пане? — махнул гетман рукой.— Что они здесь грибы собирать или лыко драть станут? Только местное, коренное население... так

сказать, именно коренное... знает, как обходиться с своею родною землей.

В это время приподнялась тяжелая занавесь, и на пороге появился гайдук. Он возвестил гетману, что прибыл и дожидается панских распоряжений войсковой писарь.

— Хмельницкий? — обрадовался гетман.— Вот кто меня понимает! Пусть войдет! — а потом, спохватившись и переменив сразу тон, он заметил Чаплинскому: — Я отпускаю пана на время, пока сниму допрос.

Чаплинский низко поклонился и смиренно вышел, проклиная в душе этого шмаровоза (мужлана) Хмельницкого, которому так верил гетман; но, встретясь с ним за порогом, заключил его сразу в объятия и промолвил голосом, полным слез:

— Благодарю всевышнего, что услышал мои молитвы!

Богдан вошел в кабинет, поклонился почтительно и произнес искренним голосом:

— Благодарю ясновельможного пана гетмана за великую милость, вырвавшую меня из рук самоуправцев-насильников, посягнувших было на мою жизнь!

— Рад, рад, весьма рад,— ласково улыбнулся Конецпольский,— у пана, впрочем, была по этому делу такая защитница, такая чудесная, так сказать, обаятельная, что всех моих гостей очаровала, я и подозревать не мог... Кроме вообще, так сказать, прелести, еще благородство сердечного огня и сила слова, да, именно благородство и сила.

— Гетманская милость всегда правы,— ответил спокойно Богдан,— и если бы у наших властителей была хоть сотая доля вашего разума и вашего сердца, то нам бы жилось, как у Христа за пазухой.

— Да, да! Это верно! — вспыхнул заревом от прилива удовольствия гетман.— Спасибо за доброе слово: пан меня понимает. Меня вот наши называют и потворщиком, и чересчур мягким, да, мягким, а твои козаки называют жестоким; но это не так, это, так сказать, ложь! Я строг и всегда преследую своевольный, мятежный дух; его нужно оградить, так сказать, прочными гранями, и я стоял за ограниченное число козаков и давил восстания, но никогда не думал обращать осталь-

ных в рабов... Да, никогда не думал! — Он опорожнил в волнении свой ковш до дна.— Меня ни там, ни здесь не понимали. Этот своевольный сейм не уважил даже данного мною слова и казнил прощенных мною Сулиму, Павлюка и многих старшин. Разрази меня гром, это подлость! Да, ломать, так сказать, шляхетское гоноровое слово — подло! Все это двинуло меня еще дальше. Эх, если бы больше было теперь настоящих людей, а то... Да, именно!.. Но скажи мне откровенно; по правде, неужели только по голословному доносу этого княжеского наглеца,— нужно признаться, что там особенно воспитывается дух насилия и, так сказать... (у гетмана в голове блеснуло воспоминание о двух больших родовых поместьях, отнятых этим Яремой путем грубого насилия и наезда; хотя это дело и было погашено каким-то вынужденным примирением, но в сердце гетмана вечно жило неудовлетворенное озлобление),— да, так неужели по одному лишь наговору, как мне передала панская родичка, осмелился и мой Гродзицкий так поступить с моим слугой?

Богдан смутился только на одно мгновение; но, быстро поборов в себе вздрогнувшее волнение, двинулся на шаг вперед и ответил с полным достоинством:

— Истинным поборником государственной правды и блага я считаю ясновельможного пана коронного гетмана и нашего найяснейшего круля, и этой правде я не изменял и не изменю никогда; но, быть может, многие считают эту правду кривдой, а поборников ее — неверными сынами отчизны... тогда я, конечно, изменник и достоин казни. В этом же последнем случае, клянусь, что Ясинский оклеветал меня из мести и не дал никаких доказательств.

— Я тебе верю, пане, и желаю всегда верить, а эти будут у меня помнить, особенно выскочка князя Яремы — Ясинский. Но вот,— забарабанил он по столу пальцами,— я получил еще кое-какие заметки о прежних твоих участиях... не открытых... но доказывающих, так сказать, твой строптивый дух... Да, строптивый... Поистине, бог одарил тебя и умом, и эдукацией *, и доблестями... Да, доблестями, но жаль, что на твоем

---

* Эдукация — навчання, виховання (*лат.*).



М. П. Старицький. *Фото початку 70-х рр.*

пути вечно встречаются... так сказать, непонятные овражки, через которые нужно перескакивать...

— Эти все овражки, ясновельможный гетмане, копают мне враги.

— Но, но... не все,— погрозил ласково гетман,— у пана таки сидит где-то гедзь... вот хоть бы твой ответ в Кодаке.

— Его гетманская милость простит мне его великодушно: эту невольную несдержанность вызвали шутки князя Иеремии.

— Да, эти шутки и мне не понравились: я враг всякой военной тирании... Да, вот почему и враг тоже ваших стремлений — все, так сказать, население обратить в военный лагерь... Я за мирное развитие; но об этом после,— набил он себе снова трубку.— Что бишь? — потер себе открытый лоб гетман.— Да, так видишь ли, пане, в силу этого общего говора, а главное, в силу же своих собственных постановлений,— замялся он, заботливо раскуривая трубку,— я оставить пана в числе генеральной старшины не могу... До поры, до времени,— смягчил он пилюлю,— а перевожу снова в должность сотника Чигиринского полка... Этим, так сказать, покрываются все прежние подозрения и восстановляется в полной, так сказать, доблести имя сановного пана, которое, я надеюсь, будет вельможным...

— Нет пределов моей благодарности гетманской милости,— поклонился, прижмурив глаза, Богдан и, гордо выпрямившись, откинул назад голову, не скрывая некоторой доли пренебрежения.

— Только не думай,— продолжал гетман, пронизав Богдана испытующим взглядом,— что это наказание... Это, так сказать... это — необходимость... Доверие я к тебе имею и много рассчитываю на тебя... Не выпьешь ли с дороги моей настойки, пане? — налил гетман стоявший на столе другой кубок и предложил Богдану.— Для желудка полезна, верь.

— За здоровье ясновельможного пана гетмана и за успех его благих для нас пожеланий! — поднял Богдан кубок и, выпивши, поставил на стол.

— Спасибо! — кивнул головою гетман.— Дело вот в чем. У меня, как ты знаешь, погиб, так сказать, мой прежний дозорца старостинских имений; черт ему подал мысль угодить под кабаньи клыки... Так я вот ищу

нового... Чарнецкий мне рекомендовал литвина одного, Чаплинского... Тут он мне и проекты, и все... Как пан о нем думает?

— Я его мало знаю; но он, кажется, предан гетманской милости... и уродзоный шляхтич, значит, должен быть благородным и честным.

— Черт ли мне в его преданности! — резко заметил гетман.— Толку мне нужно, вот что! Да!.. А то понаписывал проектов, удесятеряет доходы на счет шкуры моих поселян... А я, пан знает, этого терпеть не могу. Я за мирное развитие...

— Да, это пан Чаплинский по своей литовской мерке,— злобно усмехнулся Хмельницкий,— хочет нас мерять... Угодить, видно, думал гетманской милости...

— Хорошо угодил бы, как литовский колтун,— отставил с досадой чубук гетман и откинулся в кресле,— разогнал бы всех поселян, да и баста! А ведь пан знает, что вся моя политика... так сказать, заветная мысль — привлекать, привлекать и привлекать... Если бы осуществить... да, осуществить ее, то я бы перетащил сюда на эти плодороднейшие поля даже всех из Московщины... и вот тогда бы гикнул от Черного до Балтийского моря.

— Великая мысль! — воодушевился Богдан.

— Да! Так вот не может ли пан стать у меня дозорцей, не лишаясь сотничества? Тогда бы, так сказать, поработали...

— Благодарю гетманскую милость за честь и доверие,— наклонил голову Богдан,— всего себя отдаю в распоряжение ясновельможной воле; но мне, в интересах же планов пана гетмана, неудобно быть дозорцем, потерять между своими влияние... Я лучше буду этим влиянием способствовать...

— Да, пан прав и благороден на слове... Но ты не откажешься руководить этим делом, так сказать, тайно, давать советы, указывать пути, направлять, надзирать, проверять?

— Весь к панским услугам,— приложил Богдан руку к груди.

— Ну и отлично, я очень доволен... Только при таких условиях я соглашусь на Чаплинского, чтоб он, так сказать, был под панским дозором... Да,— засмеялся

весело гетман, протягивая Хмельницкому руку,— дозорца под дозором. Согласен?

Хмельницкий молча с подобающим уважением и низким поклоном пожал пухлую руку гетмана, а Конецпольский велел кликнуть к себе Чаплинского.

— Вот что, пане,— обратился к вошедшему Чаплинскому гетман,— я согласен иметь пана дозорцем в моем старостве, мне вот Хмельницкий ручается.

Чаплинский, отвесив низкий поклон гетману, кивнул трогательно головой и Хмельницкому, хотя в душе никак не мог простить такого оскорбления своей панской гордости. Хам — поручитель? Но радость за назначение на должность превозмогла теперь обиду и заиграла хищническим инстинктом в его глазах.

— Так вот,— привстал гетман,— во всех распоряжениях, во всех, так сказать, мерах по хозяйству прошу обращаться к пану,— указал он на Хмельницкого,— как к опытному и знающему хорошо и край, и местное население. Я ему верю, как себе, и оставляю его здесь своим глазом... Ну, задерживать вас, господа, больше не буду. А особенно тебя, пане,— улыбнулся он приветливо Хмельницкому.— Перетревожилась, верно, семья и ждет не дождется.

Хмельницкий и Чаплинский поклонились молча и вышли. Чаплинский шел рядом с Хмельницким и долго не произносил ни слова: так взбесило его решение Конецпольского, подчиняющее его, вельможного шляхтича, потомка знаменитого рода Чаплич-Чаплинских,— и кому же? Какому-то хамскому отродью! И теперь вот придется перед ним кланяться, унижаться, подносить отчеты к подписи. Проклятие! Если бы не ожидание баснословных богатств, то плюнул бы он им обоим в глаза, а тут...

— Не смущайся, пане свате,— угадал его мысли Хмельницкий,— я согласился на каприз гетмана ради твоей же пользы; иначе он мог бы впутать в это дело другое, неприятное для пана лицо. А я панскую услугу в Кодаке помню и, кроме пользы, никакой помехи свату не сделаю, и всякие недоразумения улажу. Сам с советом не навяжусь, а если о нем пан попросит — не откажу. Вообще же сват на меня может опереться смело.

— Спасибо, спасибо! — обрадовался такой постановке вопроса Чаплинский. Хотя неприятное впечатление

бессмысленного гетманского приказа не изгладилось в нем от этих слов Хмеля, а наоборот, великодушие хлопа взорвало его еще больше,— но чувствуя, что Конецпольский доверяет и благоволит этому шмаровозу,— он поспешил изобразить на своем лице дружественную улыбку и продолжал радостным голосом: — Век помнить буду и твою, пане, поруку, и твое дружеское отношение... Я знаю, что рука руку...

— Нет, пане свате,— ударил Богда́н слегка по плечу Чаплинского,— корысти никакой мне не нужно, а я искренно дам тебе совет и окажу услугу, где надо: со мной можно жить, не державши камня за пазухой.

— Спасибо, спасибо! — обнял Богдана Чаплинский.— Ко мне прошу на келех, попробовать нашего старого литовского меду.

— Сейчас не могу, прости, пан: лечу к своим.

— Да, да, не смею удерживать, а жаль, угостил бы. А то я и к пану заеду: я ведь тут новый человек, не знаю ни страны, ни порядков, так сват меня бы наставил.

— С радостью! Прошу, прошу! — подал Богдан руку и, вскочивши на Белаша, которого держал под уздцы Ахметка сейчас же за брамой, махнул еще раз шапкой и пустился галопом в Субботов.

Радостно билось сердце Богдана. Какой-то новый прилив жизненной силы поднимал ему грудь. Знакомые места неслись с улыбкой навстречу, раскрывали свои дружеские объятия; речка, извиваясь змеей, шептала что-то веселое и игривое.

«Да! Спас господь и привел увидеть снова родные места! — мелькали у Богдана отрывочные мысли.— У Конецпольского все обошлось благополучно, даже в какое-то особое доверие я попал. Значит, чист и невредим, а теперь — или умри в своем гнезде тихо, или снова дерзай на борьбу! Эх, кабы не терзали моей родины, коли б ее, несчастную, оставили хоть при малом куске хлеба, сел бы я камнем в своем любимом Субботове да отдохнул бы и душой и телом! Умаяли уже меня и годы, и беды, сердце изнылось, кости болят. Покою бы и мирного счастья... Эх, как бы желал я в эту минуту тихой пристани, которая укрыла бы меня от бурь и от гроз!»

Вот и Субботов, и млыны, и храм св. Михаила, а

вон за брамой и будынок, и сад. Богдан снял шапку и осенил себя широким крестом.

Отворилась настежь въездная брама, и пасечник-дед первый встретил Богдана. Обнял старика Богдан и спросил, не слезая с лошади, благополучно ли дома?

— Все слава богу,— махнул шапкой дед,— тебя как господь милует?

— Хвала ему, милосердному,— жив, как видите, и невредим! — уже крикнул через плечо Богдан деду, пустив рысью коня.

Еще издали на Чигиринской дороге заметила дворовая челядь Богдана и, собравшись в немалом количестве, с радостным нетерпением ждала своего батька. На ганку толпились Богдановы дети: Андрийко и Тимош несколько раз взлазили вверх по колонне, чтоб высмотреть отца; девочки, с горящими от волнения и восторга глазками, бегали то к больной матери в комнату, то на рундук, то к первым воротам. Одна только Ганна, бледная, застывшая в порыве восторга, неподвижно стояла у колонны, приставив руку к глазам и вперив свои очи в светлую даль. Казалось, душа ее не была здесь, в этом трепетном теле, а носилась там вдали, возле всадников, возле стройного, едущего на белом коне козака.

Едва въехал Богдан в свой двор, как полетели вверх шапки, раздались радостные крики и десятки рук протянулись: и поддержать коня, и помочь соскочить, и обнять своего батька. Насилу освободился Богдан от этих дружественных приветствий и поспешил к крыльцу. Здесь на него набросились дети и повисли на груди и на шее.

Ганна все стояла неподвижно. Радость сковала ей члены; восторженные глаза ее дрожали чистой слезой. Богдан заметил ее, быстро взошел на крыльцо и, раскрыв широко руки, промолвил тронутым голосом:

— Спасительница моя!

— Ты наш спаситель! — вскрикнула Ганна и припала к нему на грудь.

На другой вечер все двери и окна в доме Богдана были тщательно закрыты.

В комнате его, вокруг небольшого стола, покрытого турецким ковром, тесною группою сидели козацкие старшины. Желтоватое пламя двух восковых свечей,

что горели в высоких медных шандалах *, освещало их смуглые лица, отчего они казались еще мрачней и желтей. За ними оно не достигало глубины комнаты, потонувшей во мраке, и только кое-где тускло отсвечивалось на блестящих дулах рушниц. В комнате было тихо и мрачно. Не видно было на столе ни кубков, ни фляжек. Сурово глядели иконы из почерневших от времени риз.

В конце стола сидел сам хозяин; голова его была так низко опущена, что нельзя было видеть лица. Направо от него угрюмо склонил голову на руку Кривонос, за ним Нечай опустил свою львиную чуприну. С другой стороны поместились старый Роман Половец и Чарнота. Остальные лица терялись в тени, и только иногда сверкали оттуда, словно волчьи глаза, желтые белки Пешты.

Густые тени совсем сбежались на потолке. Казалось, какой-то тяжелый, могильный свод повиснул над освещенным столом.

— Нет, братья, нет,— говорил седой Роман Половец [74], и голос его звучал так уныло, словно отдаленный звон надтреснутого колокола,— бороться нам нечем... войско наше разбито... армата (артиллерия) отобрана... ни старшины, ни головы.

— Вздор! — крикнул Кривонос, ударяя рукой по столу.— Не все пропало! Разбито войско, да не все! Сколько бежало, сколько скрывается по темным лесам!

— В Мотроновском лесу ищут грибов более десяти сотен! — вставил Чарнота.

— В Круглом лесу сот пять или шесть! — отозвался кто-то в тени.

— А в Гуте наберется и больше! — добавил другой.

— Так не все сдались? — спросил удивленный Богдан.

— Какое! На Запорожье ушло тысячи две!— вскрикнул Нечай.

— Да дайте мне только время,— продолжал, воодушевляясь, Кривонос,— я соберу вам десять, двадцать тысяч. Дайте мне только разослать своих молодцов!

— Головы нет... старшина разбежалась! — раздались из глубины тени чьи-то несмелые голоса.

---

* Шандал — свічник.

— Выберем голову. Старшина найдется,— перебил уверенно Кривонос.— Да разве уже между нами не найдется зналого человека? Дрова сухие, братья! Огниво не трудно отыскать!

— Конечно, осмотреться вот между нами,— послышался сиплый голос Пешты, и желтые глаза его многозначительно окинули весь стол.

— Выбрать-то можно... Да что из того? Последние силы отдать... и к чему? Чтоб увидеть новое поражение? — безнадежно махнул рукою Роман Половец.— Мало ли мы их видели, братья?

— Так,— вставил угрюмо Пешта, и насмешливая улыбка искривила его лицо.— Били нас довольно! Можно было б и годи сказать. И под Кумейками, и под Боровицею...[75]

— Молчи, Пешта! — перебил его Кривонос.— Молчи, не напоминай прошлого! Или ты думаешь, что эти победы не зарубились на сердце? — ударил он себя кулаком в грудь.— Кровавым рубцом здесь зарубились! Били! А почему же прежде никто не бил козаков? Почему теперь бить стали? Потому, что реестровые изменяют, братья на братьев встают!

— Стой, друже,— перебил его Половец,— пошли же с Павлюком рейстровые, а вышло что?

Богдан поднял глаза и медленно прибавил вполголоса:

— Пошли, да не все.

Но Половец не слыхал его слов.

— Да что говорить о прошлом,— продолжал он,— вспомним, что случилось теперь? А уж не гетман ли был Острянин, не молодец ли был Гуня? И сердце козачье, и могучая рука!

— Проклятье ему! — закричал Кривонос, поднимаясь с места, и багровые пятна покрыли его лицо.— Зачем он сдался? Он... он погубил все дело! Теперь оттепель, все кругом распустило... Жолнеры их падали от голода. Да если б он только выдержал доныне, посмотрел бы я, как погарцевали б у меня в этом болоте ляхи! А! Пусть не знает он, собака, счастья вовеки,— прохрипел Кривонос, сжимая кулаки,— своей сдачей погубил он все дело!..

— Постой, брат, постой: тебе разум злоба застилает,— протянул Половец руку, как бы желая остановить

слова Кривоноса.— Ты валишь всю вину на Гуню, а сам знаешь не меньше моего, что устоять было нельзя. Смотри, я стар, но вот эту последнюю кормилицу — правую руку — я отдам на отсечение за Гуню! Он был храбрый, честный козак.

— Ну, одной храбрости-то мало,— угрюмо буркнул Пешта.

Но Половец продолжал, воодушевляясь все больше:

— Как он стоял за наши права, как он оборонялся! Сам Иеремия удивлялся ему. Да, он бы отдал за нас свою буйную голову, но к сдаче принудила его сама рада!

— Рада! — тонкие губы Кривоноса искривились в какую-то безобразную, злобную усмешку.— А зачем он этой черни напустил полный табор?

— Как? Своих бы отдал на поталу (истребление)? — с изумлением вскрикнул Нечай.

— Братьев на растерзанье Потоцкому? — ужаснулся Половец.

— А что же, ушли они от него, га? — крикнул Кривонос, опираясь руками на стол, и перегнулся в их сторону.— Толпами, как мурашня, налезли в табор, а потом первые кричали о сдаче! Голод, вишь, одолел их! Ну, а теперь попухнут небось от панской ласки! Землю научатся грызть! — рвал он слова, как бы желая вылить в них всю кипящую в нем злобу.— Да, если б не они, мы полегли бы все один подле другого, табор бы взорвали, а не предались бы ляхам!

— То-то,— процедил сквозь зубы Пешта, бросая из-под бровей угрюмый взгляд,— все тянутся в козаки, а как на греблю, так и некому, а мы одни подставляй спины!

— Через них-то, пожалуй, и потеряли навеки все права,— послышался густой и жирный голос Бурлия, и его одутловатое лицо с узкими, подплывшими глазами и тупым лбом выплыло на минуту из тени.

— Пора бы и нам одуматься, а то и шкуры не хватит,— заметил несколько смелее Пешта,— атаману-то кошевому и заботиться об интересах коша, своих, близких людей, а чернь имеет топоры и косы, пусть борется сама за себя.

— Сама за себя,— медленно повторил Нечай, бросая на Пешту исподлобья презрительный взгляд,— а

разве они молчат, не встают? Разве не бегут в Сичь, в козачьи ряды?

— Не в козачьи боевые ряды, а в козачьи списки, чтоб привилеи раздобыть,— прошипел Пешта.— А в козачьи ряды за хлебом бегут и потом первые молят ляхов о пощаде.

— А! И кого же? Ляхов! — заскрежетал Кривонос зубами.— Да я бы за каждую придуманную ляхам муку перенес бы сам по две, а не поклонился бы и не пощадил бы ни одного!

— Всех не перемучишь,— ответил Бурлий,— а вот как они обрежут права... Теперь уж, на мой разум, и «Куруковских пунктов»[76] нечего ждать.

— Ни пяди меньше! На длину своей сабли не отступлюсь от них! — крикнул Нечай, бросая свою кривую саблю на стол.— Мы их кровью своей, головами своими заработали и уже не отдадим назад! Мало нас? Найдем помощь! Я был у донцов, они протянут руку... а не попустим своих прав!

— Не пойдут донцы все, а несколько сот удальцов что помогут? — откликнулся убитым голосом Половец.

— Не попустим! — злобно добавил Пешта,— а много ли их осталось? Когда мы со второю просьбой на сейм посылали, какой получили ответ?

Все молчали, а Пешта продолжал еще злобнее:

— А уж много ли просили мы? А после Кумейского поражения, вспомни, какой присяжный лист был написан нами и какие на Трахтемировской раде[77] получили мы права? Уничтожили Миргородский и Яблоновский полки, уменьшили нас на тысячу двести душ, чайки сожгли.

— Не каркай, ворон! — крикнул запальчиво Чарнота, и голубые глаза его метнули беглый взгляд из-под сжатых бровей.— Не удастся Нечаю донцов, так я им татар приведу, поклонюсь спиной и невере.

— И ничего не добьешься,— крякнул Бурлий,— а не лучше ли нам своих бы требований посбавить?

— А что же, и впрямь,— поддержал хриплым голосом Пешта.— Что нам осталось? Бунтами ничего не поделаем, все равно — сила солому ломит, а за каждым бунтом идут новые утеснения. При согласии же ляхи делают уступки. Вспомните: за Сулиму нам прибавили

тысячу человек, а при разумном кошевом,— подчеркнул он,— можно выторговать и больше.

— Не то и всех нас повернут ляхи в рабов,— тихо добавил Бурлий.

— Умереть, умереть! — простонал про себя Половец, и его тихий стон упал на всех, словно удар похоронного колокола.

Наступило тяжелое молчанье.

Богдан сидел молча, опустивши голову, и, казалось, не принимал никакого участия в разговоре; палец его чертил на столе какие-то странные узоры, глаза были опущены вниз, и только иногда, на мгновенье, впивался он ими в лицо говорившего.

— Не бывать этому! — крикнул Кривонос громовым голосом, нарушая молчанье, и поднялся во весь рост.— Покуда стоит наше Запорожье,— ударил он эфесом сабли по столу,— спасением души своей клянусь, не бывать этому вовек!

— Не бывать! Не бывать! — подхватили Нечай и Чарнота.

— Не бывать! — раздались голоса из густой тени.

— Да, покуда стоит,— заметил Богдан тихо, но веско,— а стоять осталось ему недолго.

— Ну, это мы еще посмотрим! — отчеканил медленно Чарнота, сверкая своими голубыми глазами и отбрасывая красивую голову назад.— В степь душманам-ляхам я не посоветую двинуться: на карачках полезут.

— Так думаешь, друже? — усмехнулся Богдан.— Однако с тех пор, как польские войска перешли левый берег, они уже не боятся степей!

Все замолчали. А Богдан продолжал:

— Я был у коронного гетмана. Меня он сместил с войскового писаря в сотника. Но дело не в панской ласке,— в голосе Богдана прозвучала гордая и презрительная нота,— я за ней не гонюсь, а дело в том, что когда уж и меня подозревают,— понизил он голос,— то не ждать добра. Ярема стоит на одном — разметать Запорожье, уничтожить народ наш рыцарский дотла! На гетмана возлагать больших надежд невозможно,— нет зверя хитрей старой лисы! Со мной говорил, нападал на Ярему, уверял, что стоит за козаков, а сам думает только о своих поместьях. Он хлопов не уничтожит: не

то некому будет его землю пахать; но козаки ему не очень-то нужны... Хотя и говорит, что никого не желает обращать в рабов, да это все только сказки. А вот что еще сейм запоет из-за нашего восстанья?..

Остановился Богдан; но не прервалось угрюмое молчание.

Тогда заговорил старый Половец:

— Все это правда, ох, какая тяжкая правда, братья! — и голос его звучал в наступившей тишине так жалобно и бессильно.— Задумали нас совсем уничтожить ляхи. Еще когда зимою мы на сейм ездили, все послы как один требовали у короля стереть нас с лица земли... Нет, не бывать уже на Украйне счастью! Не видать моим старым глазам козацких побед! Убейте меня, друзи, здесь, на этом месте, чтоб не видели очи мои смерти родины дорогой!

И старец зарыдал, всхлипывая по-детски и трясясь седой головой. Тяжелый стон вырвался из многих грудей и замер в тоскливом молчанье.

— Что делать? — раздался из глубины чей-то робкий голос и умолкнул. Ответа не дал никто.

— Порадь, посоветуй, Богдане,— отозвался еще кто-то тихо.

Богдан поднял глаза, обвел все собрание, вздохнул и не ответил ничего.

Кривонос сидел, опершись на руку. На лице его, безобразном и мрачном, лежал теперь такой отпечаток отчаянья и горя, словно он стоял у раскрытой могилы единственного сына. Он и не слыхал робкого вопроса, он и не видал ничего.

— Что делать? — блеснул желтыми белками Пешта и поднял уже совсем смело свой хрипучий голос.— А вот моя добрая рада — покориться!

Все вздрогнули и как-то отшатнулись от стола.

— Да, покориться,— крикнул он еще смелее,— пора перестать дурнями быть и подставлять за чужую шкуру свои плечи! Если пойдем в союзе с ляхами, то нам, старшине, только польза будет. И увидите еще, сколько перепадет!

— Молчи, Пешта! — крикнул Кривонос, срываясь с места и заглушая все голоса.— Или я тебе заклепаю горлянку! Нам запродавать себя за ласку ляхам?

Нам идти кланяться на мир и на згоду? Будь проклят тот и в детях, и в потомках, кто послушает такого совета!

— Да ты постой,— начал было оправдываться Пешта, увидя, что промахнулся с своим предложением.

— Молчи! — брякнул кривой саблей Кривонос.— Мир!.. Да в чем, в чем твой мир? Сколько тебе сребреников сунут за эту измену? Оставят, быть может, три тысячи рейстровых, да заставят целовать шляхетскую дулю? Что ж ты выиграл, иуда, за то, что продал Сулиму? И от кого ты ждешь пощады? От этих зверей кровожадных, для которых не придумает достойных мук и сам кошевой-сатана в пекле? Разве ты не видел, какую дорогу устроил тебе гетман Потоцкий от Киева до Нежина, посадивши на колья всех возвратившихся повстанцев? И ты говоришь о мире? Будь проклят ты, Пешта, навеки, что завел о нем речь!

Желтые глаза Пешты бросили адски злобный взгляд на Кривоноса, но шумные крики не дали ему говорить.

— Не быть миру! Не быть миру! — раздалось со всех сторон.

— Мертвых назад из могилы не носят! — опустил Нечай на стол свою тяжелую руку.— Меж нами и ляхами вовеки мира нет!

Пламя свечей от поднявшегося шума беспокойно заколебалось, и разорвавшиеся тени тревожно заметались по сторонам.

— Нечем бороться, нечем. Армата наша отобрана,— начал было Половец, но Кривонос перебил его воодушевленно:

— Не бойся! Покуда у козаков есть сабли в руках, еще не умерла козацкая мать! А если уж и суждено всем нам полечь, так продадим, по крайности, жизнь свою дорого, так дорого, чтобы и цены не сложили довеку проклятые ляхи!

— Будем биться, как бились доныне! Сам митрополит благословляет нас! — раздалось в разных углах.

— Да и что смерть! — покрыл все голоса голос Чарноты.— Мокрый дождя не боится! Уже хоть допечем до живого тела ляхам.

А черные окна и двери угрюмо, зловеще глядели на разгоряченных старшин.

— Так,— заметил Богдан.— Умирать нам учиться не

у кого, и залить сала за шкуру сумеем! Да только какая от этого польза нам, и нашей вере, и женам, и детям?

Замечание было сказано тихо, но все воодушевленные крики вдруг замерли в один момент.

— А коли так,— вскочил с молодою удалью Чарнота,— так дурни мы, что ли, чтобы смотреть на ляхов? Заберем своих жен, и детей, да тютюн, и горилку и уедем в московские степи — много там вольных земель!

— И то! — раздались несмелые голоса.— Дело!

— Эх! — вскрикнул бесконечно горько Кривонос, ударяя себя в грудь со всей силой.— Что себя даром тешить, братья? Не уйти нам никуда отсюда! Знают, псы проклятые, чем держать нас,— и вдруг в суровом голосе Кривоноса послышались слезы,— ведь нет во всем свете другой Украйны, как нет другого Днепра! — выкрикнул он как-то неестественно громко и упал головою на стол.

Все замолчали кругом. А черные тени нависли еще ниже над освещенным столом.

Тогда поднял голову Богдан.

— Товарищи мои и братья,— начал он,— дозвольте к вам речь держать.

— Говори, говори! Мы пришли тебя слушать! — раздалось сразу в нескольких концах стола.

И все оживилось, все заволновалось кругом, точно одно только слово этой умной головы могло указать всем выход, найти путь ко спасению. Один только Кривонос еще лежал головой на столе, и его длинный оселедец извивался по нем, словно гадюка, да Пешта бросал украдкой в сторону Богдана алчный, завистливый взгляд.

— В нужде нашей великой,— продолжал Богдан,— осталось нам одно: не покориться ляху, как советовал Пешта, а усыпить врага хитростью и победить его разумом... «Будьте мудры, как змии»,— говорится в писании...— Богдан обвел всех присутствующих взглядом и, понизив голос, продолжал дальше: — Выставить в поле против в десять раз сильнейшего нас врага последние наши силы — безумно; безумно потому, что мы забыли про другую цель. Какой у нас единый оплот и Украйне, и защитникам ее — козакам?

— Запорожье! — крикнули дружно несколько голосов.

— Верно, друзи, оно у нас и батько, и матерь! — поднял голос Богдан.— А в это ведь сердце желают ударить.

Кривонос медленно поднял голову и впился глазами в лицо Богдану.

— А в это ведь сердце желают ударить,— продолжал Богдан.— Так не отдать его на растерзание, а защитить до последнего издыхания!

— Костьми ляжем! — крикнуло большинство голосов, и оживленные глаза загорелись надеждой.

— Так вот вам, братья, моя первая рада: все силы, какие остались и какие прибывать будут, сосредоточить на Запорожье, и если весною вздумает нагрянуть Иуда с Потоцким, то встретить их так, чтоб шаровар своих не унесли назад.

— Разумное слово! Богдан — наш батько! Слава! Слава! — зашумели ожившие голоса.

— Стойте, друзи, еще потерпите немного... Для чего козаки нужны Речи Посполитой?

— Для защиты границ,— ответил весело Чарнота и подмигнул как-то бровью.

— Верно! — кивнул головою Богдан.— А когда еще совсем без нас обойтись Польша не сможет?

— Когда поднимется война с Турцией,— досказал Нечай.

Кривонос только медленно переводил глаза с одного на другого и разгорался зверскою радостью.

А Богдан продолжал еще дальше:

— За что же Турция объявляет Польше войну?

— За то, что козаки не дают ей покоя, шарпают прибрежные города,— как-то лихорадочно ответил Нечай, приподымаясь на месте.

Богдан улыбнулся многозначительно.

— Война, значит, в наших руках, братья... И что мешает нам,— понизил он еще голос,— когда начнется война, повернуть оружие и требовать своих прав меч...

Но Кривонос не дал ему окончить.

— Друже, Богдане, батьку мой! — крикнул он с искаженным от бешеного восторга лицом и задохнулся от волнения.— Бог вдохнул тебе в голову эти мысли, за одно это слово в рабство пойду навеки к тебе!

— Постойте, постойте, друзи,— остановил Богдан поднявшийся шум,— первое наше дело удержать теперь от дальнейших действий ляхов: нам надо время, чтобы окрепнуть в силах, а для этого надо показать им, что мы покорились совсем, чтоб сам сейм удержал дикое стремление Яремы. Для этого я вижу одно, и вот моя третья рада: послать послов с просьбой на сейм. Когда же сейм отринет просьбу, я сам поеду к королю. Ему война на руку, братья; он стоит за нас... мы ему нужны. А тем временем, пока будут собирать сеймы,— усмехнулся Богдан,— да новые ординации нам составлять, действуй, кто как может! А кто не владеет оружием, звони в колокола!

— Слава! Слава! Просьбу, просьбу! — закричали кругом.

Полный зависти взгляд Пешты остановился на мгновенье на Богдане.

Кривонос отбросил назад свой длинный оселедец и поднялся с места; лицо его было так жестоко и ужасно в эту минуту, что даже товарищи отшатнулись от него.

— Пишите, дурите их, вражьих сынов! А эта рука,— протянул он красную, жилистую, поросшую волосами руку,— будет до самой смерти только саблю им на погибель держать! Покуда я жив, не будет им от меня пощады! Душу черту продам, а не умру, покуда кровью их черной не захлебнусь! Братья, дайте мне только время, и когда покроет новая зелень поля, клянусь вам,— крикнул он глухо и дико, хватая медный подсвечник,— пусть согнет меня первый татарин в сече, как я сгибаю этот шандал, если я не покажу проклятым ляхам, как умеет умирать козак!

— Так, брате, так! — схватились Нечай и Чарнота.— Веди нас на море! Всю Сичь подымем! Окурим козацким дымом турецкие города!

— Идем, братья! — ударил Кривонос по сабле.— А ты, друже,— обратился он к Богдану,— пиши жалобы, дури их покорным прошением и дай нам только время зазвонить во все колокола!

Когда умолк поднявшийся шум и были выбраны послы на сейм, Богдан развернул большой лист бумаги, придвинул к себе чернильницу, очинил перо и начал писать:

«Видячи вокруг нас невозможные кровопролития и обиды, слезно и покорно просим вашу милость, пана нашего милостивейшего, оказать нам милосердие и отпущение грехов».

Лица присутствующих, освещенные желтым светом, сдвинулись вокруг стола.

Снова стало тихо и угрюмо в полутемной комнате; только скрип гусиного пера нарушал напряженную тишину.

А между тем в окнах верхнего покоя видится слабый свет. Ганна не спит. В ее маленькой горенке перед старинными, потемневшими иконами теплится лампадка. В небольшие окна смотрит с холодного неба полная луна и рисует продолговатые узоры окон на белом полу.

Перед иконой на коленях стоит Ганна; полная луна освещает ее. Лик с темного образа глядит на нее так ласково и печально, и в этом бледном лунном свете сама Ганна кажется печальною иконой, сошедшею с висящего полотна.

Она одна во всем доме знает о том, кто собрался у Богдана, кто и зачем. И каждый шум, каждый шорох, долетающий снизу, пробегает по ее телу жгучим огнем.

— О боже великий, всемогущий, вселюбящий! О боже, боже мой! — шепчет Ганна, прижимая к груди тонкие руки, и ее огромные, расширившиеся очи кажутся черными алмазами на бледном лице.— В моей бедной душе нет слов для молитвы, но по милосердию своему услышь, о, услышь меня! Вдохни им в душу и бодрость, и надежду, и смелость! Укажи им путь ко спасенью нашей бездольной отчизны, нашей поруганной веры, наших братьев, детей! Боже, великий боже! Милости и любви твоей нет границ: ты поднял Давида на Голиафа[78], ты Юдифи[79] дал смелость, ты вывел из египетской неволи израильский народ[80]. Пошли же им святого духа, спаси и помилуй нас!

И Ганна шепчет, шепчет слова молитвы; глаза ее впиваются в образ, а крупные слезы тихо катятся одна за другой по бледным щекам.

— Или до твоего надзвездного престола не долетают стоны и рыдания нашего бедного народа, не доле-

тают звуки наших цепей? Почто же не преклонишь ты к нам ухо твое? Все отымают у нас: и землю, и душу, и волю! Но ты ведь всемогущ, боже, от дыхания твоего вздымаются моря, зажигаются в небесах звезды... Дай же нам силы, защити от мучений: в тебе одном упование наше, в тебе наша жизнь! Ты — одна всесильная любовь, боже; ты смотришь кроткими очами на землю с небес, ты не ведаешь мщенья; но если мы чем согрешили перед тобою, если жертва для искупленья нужна, о боже! — простерлась Ганна перед иконой и захлебнулась в слезах.— Спаси нашу несчастную родину и возьми, возьми мою жизнь!..

IX

За рядом сильных душевных потрясений, утомивших и крепкие нервы закаленной козачьей натуры, ослабленный несколько организм потребовал отдыха. Родное гнездо окружило Богдана и всеми удобствами жизни, и сердечным теплом, и он почувствовал себя здесь словно в тихом, желанном прибежище после испытанных бурь; ему так захотелось окунуться в мирную жизнь, отогнать тяжелые думы, заглушить боли сердца и забыть этот возрастающий на Украйне стон, хотя бы насильно уснуть на малое время душой, пока не ворвется вопль в этот уютный, огражденный от бурь уголок... И Богдана все тешит и радует, все получает в глазах его новую и дорогую цену: несколько тяжелый и мрачноватый дом кажется ему роскошным, веселым дворцом, обнаженный и уныло шуршащий сад — райским эдемом, холодная и скучная теперь речонка — блестящим и пышным потоком... А хозяйские, полные всякого добра амбары и коморы, а красивые золотистые скирды, а добрые кони и круторогие волы — все это тешит его сердце отрадой... А эти радушные, улыбающиеся ему лица подсусидкив — глаза их горят искреннею дружбой, сердца их открыты... А его дорогая семья: детки, больная жена — он уже привык к ее недугу и не смущается, что она в постели лежит,— как они его любят, как спешат предупредить все желания, рвутся один перед другим угодить... А этот ангел небесный, посланный с неба,— Ганна?.. Господи! Да неужели от этого

рая оторваться нужно и ринуться вновь под холодные дожди, под леденящие метели, в густые камыши, в непролазные терны, на голод и холод, на страшные смертельные муки?

Тешится Богдан всем, радуется довольству селян, любуется ростом своих владений, ласкает семью и пьет полную чашу утех привлекательной жизни шляхетской; его душевной гармонии мешает только установиться одна беспокойная нота, и отделаться от нее нет у него сил: то притихая немного, то напрягаясь до боли, звучит она, ноет тоской и дрожит разъедающей горечью... Ну что ж, дал он и совет товарищам козакам; кажется, придумал самое разумное, что только можно было, да что из этого разумного-то выйдет? Нет, нет, себя не обманешь! На просьбу козацкую сейм не посмотрит, а король если б и захотел что сделать, не сможет ничего. Обрежут еще больше права, сократят реестры... дело знакомое. А дальше?! Положим, удалось бы им поднять войну с Турцией... На время войны ляхи дали б им льготы и обещали бы в будущем золотых вольностей целый сундук! Да что себя тешить детской надеждой: окончилась бы война — и снова установились бы старые порядки... Им ли, горсти козаков, покорить лядские силы? Нет, нет! Вот, если б весь народ поднялся, если б... И чувствует Богдан смутно, в глубине своей души, что все эти полумеры не поведут ни к чему, что надо стряхнуть с плечей своих все пута и глянуть судьбе прямо в глаза. Но чувствует и то Богдан, что стряхнуть эти пута — все равно что перерубить гордиев узел,— и с досадой, с упорством старается он заглушить эти мысли новыми впечатлениями; но нет, не умолкают они, а стоном проникают глубоко в сердце.

Переменился даже Богдан. Привычная веселость его как будто совсем отлетела; улыбка стала реже освещать лицо; выразительные глаза, вспыхивая огнем, туманились сразу налетавшей тоской. Никто не замечал этого, одна лишь Ганна в минуты глубокой задумчивости Богдана не отводила от него глаз, желая проникнуть в самую душу его: она чуяла, что дядько страдает, и угадывала в этом страдании отражение великого народного горя...

Под давлением гнетущих невзгод, скрытный вообще у Богдана характер стал совершенно замкнутым. Угрю-

мый и молчаливый, он не делился ни с кем своими думами и изредка говорил лишь с одной Ганной; и прежде она занимала в семье центральное место, завоевывая у дядька и любовь к себе, и особое уважение, а теперь, после своего подвига, она стала на почетную высоту. Богдан с трогательным чувством заводил иногда с ней речь, преимущественно о детях, о семье, о хозяйских мероприятиях. Хотя эти беседы и переходили часто с будничных вопросов на дружеские теплые темы, но все-таки мало проскальзывал в них внутренний мир глубокой души Богдана. Ганна, впрочем, была счастлива и такой долей доверия, ее сердце радостно трепетало и воодушевлялось священным огнем.

Раз как-то обойдя свое хозяйство, пришел особенно мирно настроенным в свою светлицу Богдан. Понижение его в должности, с войскового писаря вновь на сотника, казалось ему теперь просто благополучием: оно не заставляло его торчать в Чигирине, в канцелярии, а давало возможность проживать паном в своем излюбленном хуторе. Закурив свою верную люльку, Богдан с наслаждением прилег на лавке; глаза его упали случайно на висевшую на стене и запыленную совершенно бандуру; снял он бережно утешительницу козачьего горя, стряхнул с нее пыль и начал настраивать долго молчавшие струны. Сначала послышался робкий, жалобно дребезжащий звон, а потом звуки окрепли, стали стройными и рассыпались в беглых аккордах. Богдан был отличный бандурист и в душе музыкант; затрепетали струны, и полились протяжные думы и игривые шумки. Звуки долетели и до бабинца и отразились на всех лицах семьи необычайной отрадой; более смелые члены ее рискнули приотворить даже дверь отцовской светлицы, а остальные поместились в сенях и слушали с наслаждением роскошные родные мотивы. Богдан не замечал своих скрытых слушателей, а отдался весь музыкальному настроению; из певучего инструмента вылетали и могучие, и нежно-печальные звуки... И странно: величавые думы, полные торжества и победы, звучали и в мажорном тоне какою-то широкою печалью, а игривые, бешеные танцы кипели минорными, хватающими за душу звуками,— словно и дикое веселье этого забытого счастьем народа было лишь порывом отчаяния от накипевших страданий и слез. Увлекаясь все больше,

Богдан начал и подпевать своим звучным и сильным голосом; сначала тихо, а потом смелее и громче раздались по светлице поэтические слова:

Ой, из широкой степи, из раздолья,
Вылетала орлом наша воля...

В думе говорилось дальше про подвиги козака, про его удаль, про его вольное погулянье, а потом по этой же самой степи он едет, качаясь в седле, но не хмель его расшатал, а тяжелое горе, от которого даже и конь клонит голову; недоля та не проста, а неодолима: перерана степь, спутаны ноги коню, и вонзилась стрела в сердце козачье. Козак умирает среди степи и сзывает вольных орлов тризну править по белом теле козачьем.

Гей, слетайтесь до ранней денницы,
Вы, орлы, мои вольные птицы;
Помяните меня о полночи,
Клюйте смело козацкие очи!

Могучим и страстным голосом пропел Богдан эти строфы и вызвал у всех потрясающее впечатление; звуки его голоса, поддерживаемые бандурой, тянули к себе слушателя неотразимою силой; дети, сами того не замечая, очутились уже среди светлицы; Ганна стояла у дверей в немом восторге, с орошенным слезами лицом и устремленными на Богдана глазами. А у Богдана у самого набегала на ресницу слеза и двоила лады на бандуре. Он повернулся и, заметив неожиданных слушателей, сразу ударил по струнам и переменил грустную песню на веселый танцевальный мотив.

Коли б мені лиха та лиха,
Коли б мені свекрухонька тиха!

— Гей, детвора! — крикнул он под звон бандуры.— Сади «Горлицу»!

Ой, дівчина-горлиця,
До козака горнеться,
А козак — як орел,
Як побачив, та й умер!

И пустились Тимко с Катрей в огненный, увлекательный танец, а Богдан им подгикивал да поддавал жару и прибауткой, и голосом.

Сразу веселое настроение овладело всеми; послышался ободрительный говор и смех, растворилась шире хозяйская дверь, показались в ней головы новых слушателей и послышался в сенях мерный топот девичьих закаблуков и звон козацких подков...

Только поздно Богдан уснул, упоенный сладкой минутой мирной радости и тихого семейного счастья, уснул с мутным сознанием, что это для него недосягаемый рай.

Проснулся утром Богдан и был поражен иссиня-белым отблеском на потолке и на стенах, наполнившим комнату веселой игрой света. Бодро он схватился с постели и заглянул в окно, угадав сразу причину этого явления: на деревьях и на полянке лежал легким покровом только что выпавший снег. С молодым жизнерадостным чувством прошелся Богдан по двору и саду, вдыхая полною грудью свежий, слегка морозный воздух, и, вернувшись, с удвоенным аппетитом принялся за свой утренний завтрак — гречаные вареники со сметаной, как вдруг вошел к нему в дверь, низко кланяясь и отирая заиндевевшую бороду, его орандарь Шмуль, вошел и остановился у дверей, ожидая покорно, пока поснидает пан господарь.

— А что скажешь, Шмуль? — обратился к нему Богдан, утолив первый голод.

— Ко мне, вельможный пане,— оглядывался таинственно Шмуль,— приехал Абрумка, хороший честный жидок, мой родич.

— Ну, а мне что? Хоть бы и два родича,— брал ложкою вареник Богдан, кидал его в густую сметану и потом, повернувши раза два, отправлял, придерживая усы, в рот.

— Он, вельможный пане, из-под Бара, из Войтовцев, коли знаете! Хорошую имеет аренду, и жена у него антик, и девятеро детей.

— А пусть он их себе на шею повесит! Эк, с чем пришел!

— Он до меня и до вашей мосци на раду приехал.

— На какую раду? Еще, хвала богу, жидовским рабином не был,— закурил Богдан люльку.

— Видите, вельможный пане, ему предлагают хороший гешефт: мы с ним делали рахубу. Ой, какой сличный гешефт! Только он опасается, боится,— подошел

Шмуль близко и, облокотившись руками на стол, склонился к Богдану, словно желая сообщить интереснейшую секретную вещь.

— Какой там гешефт? — пустил Богдан Шмулю в нос густую струю едкого дыма.

— Фу! — закашлялся в полу жид,— крепкий тютюн! Добрый тютюн!.. Фе! Но я имею для егомосци еще лучший антик! Так вот, пане добродию, что ему предлагают в аренду,— хлопскую церковь!

— Что-о? — откинулся Богдан и вынул изо рта люльку.— Как? Я не расслышал.

— Отдают в аренду ему, говорю, церковь. Пан отдает хлопскую церковь.

Богдан впился глазами в жида и нагнулся в угрожающей позе; новость до того была дерзка и нелепа, что Богдан почитал своего жида спятившим с ума, и только.

— Да ты что, белены облопался или тебе Ривка гугелем мозги отшибла? — крикнул он грозно.

— Далибуг, вельможный пане,— отскочил Шмуль в испуге, и пейсы у него два раза подпрыгнули,— я не вру... Он мне божился... Это цестный жидок... Просто отдает пан в аренду, как корчму: заплати рату, а сам получай себе деньги с хлопов за требы, стало быть — за крестины, за похороны, за службу...

— И ты этому паршивому своему родичу не вырвал языка? Где он? — поднялся Богдан.

— Ой пане ясновельможный... Он ничего... совсем... ничего.

— Он взял эту церковь в аренду?

— Нет, пане, боится... Оно выгодно... по рахубе...

— Ах вы, сатанинское отродье! — наступал Богдан.— Уже и за рахубу? Да ведь разве вам не жаль своих голов? Ведь так или иначе, а будет расправа за такое вопиющее дело, и первых перебьют вас!

— Конечно, вельможный пане, и я говорю то же... и я говорю то же Абрумке... а он на это: что пан, мол, заспокаивает, будто теперички и жолнеров и кварцяных войск довольно... и еще панских надворных команд... что теперички, говорит, ни козаки, ни хлопы бунтовать не смеют, потому что, звиняйте, добродию, им шкуру сдерут...

— Врут, ироды! Не сдерут! — ударил Богдан так

по столу люлькой, что она разлетелась вдребезги, а жид в ужасе отскочил и присел у порога.— Если ты хоть подумаешь когда об этом,— подошел он к жиду, побагровев от кровавой обиды и сжав кулаки,— то лучше тебе было и на свет не родиться... Скажи это и Абрумке, и всем жидам. Если хоть один из ваших пейсатых польстится где-нибудь на такое безбожное дело, то сотрем все ваше племя с земли!.. Знай ты, иуда, что вот пусть только Абрумка возьмет дотронется своими нечистыми руками до церкви, то из тебя и твоих жиденят дух вытрясу! — схватил Богдан побледневшего, как полотно, Шмуля за шиворот, приподнял и потряс на воздухе.

— Ой, гвалт! Рятуйте! Вельможный пане! — повалился Шмуль в ноги Богдану.— Никогда в свете!.. Всем закажу! Чтобы я не переступил...

— Вон! — несколько успокоившись, топнул ногою Богдан и вытолкнул обезумевшего жида за двери.

Остывши от вспышки и взвесив хладнокровно все обстоятельства, Богдан остановился на том, что такое мероприятие со стороны панов невозможно, что это было бы чудовищным, неслыханным на всем свете насилием, что не обезумели же они, не осатанели вконец.

Пошел Богдан к священнику, отцу Михаилу, потолковать об этих слухах; хотя и батюшка нашел их невероятными, но тем не менее в душе сотника шевелилось сомнение, из глубины ее вставали призраки ужасов и тяжелым предчувствием ложились на смятенное сердце.

Был вечер. Словно гигантский рубин, догорало заходящее солнце. Ярко-красные лучи его окрашивали пурпуром верхушки высоких яворов, присыпанных слегка снегом, и отсвечивались нежным розовым отблеском на белых покровах нижних ветвей; они играли багрянцем и на выходящих в сад окнах Богдановой светлицы, горели кровью на дорогой чеканке гаковниц и на струнах висевшей бандуры.

На низком турецком диване, упершись локтями в колени и склонив на руки буйную голову, сидел в глубокой задумчивости Богдан. Он был так погружен в свои думы, что и не заметил, как тихо вошла к нему Ганна и остановилась возле дверей, вся проникнутая новым

приливом печали дорогого всем батька. Стройная фигура ее, освещенная лиловыми полутенями, казалась теперь легкой, воздушной... Длилось молчание; наконец невольный, глубокий вздох Ганны заставил вздохнуть Богдана и поднять глаза.

— Ганна, любая моя, я и не заметил тебя... А что? — окликнул он ее мягким, уныло звучащим голосом.

— Я...— смешалась как-то Ганна,— хотела спросить дядька, нельзя ли хоть здесь приютить людей... Вот в двух рабочих хатах, что за гумном?

— Каких людей? — встрепенулся Богдан, и какая-то тревога сверкнула на миг в его взоре.

— Говорят,— подошла ближе к столу Ганна,— в дальнем хуторе, в байраках и в лесу появились целые семьи людей... И дети между ними... А теперь вот холодно. и вот-вот зима.

— Семьи с детьми? Как дикие звери? — схватился взволнованный Богдан и направился к двери.— Нужно немедленно туда поскакать и разведать.

— Не тревожься, дядьку, я уже распорядилась, послала Ахметку, а самому теперь ехать туда не к чему: ведь верст восемь отсюда; пока доедешь, будет ночь.

— Пожалуй, и так, а завтра утром рано поеду... Когда Ахметка вернется?

— Да к ночи, верно; я ему наказала, чтобы детей и хворых с собой забрал... так, может, и запоздает.

— Спасибо тебе, дорогая, что так распорядилась. А как ты думаешь, Галю... Сядь вот здесь, потолкуем... Откуда это беглецы? Из-под Старицы ли? Так нет... там детей быть не могло.

— Я сама так думаю, что нет, и по времени не выходит... Может быть, в дальних от нас селах начались уже такие притеснения, что народу невмоготу стало терпеть, вот он и уходит.

— Да, это вернее всего, и это зло коли началось, то неминуче разольется по всей Украйне.

— Неужели же против этого зла бороться нельзя? — вздрогнула Ганна и остановила на Богдане свой пытливый взор.

— К несчастию, без народа борьба невозможна... я в этом глубоко убежден,— сказал печально Богдан,— хотя многие думают не так, вот и твой брат; но пора

уже нам призвать на помощь к мужеству разум: против грубой силы нужно выставить хитрость, против наглого нападения — тайный подкоп, против пьяного своеволия — трезвый, братский союз... Нужно и в своих требованиях быть умеренными и к невозможному не стремиться: нельзя же стране быть без рабочих рук... Всякому свое: рыцарю — меч, купцу — весы, а пахарю — рало. И в писании сказано: ина слава солнцу, ина — месяцу и звездам.

— Но ведь наш народ всегда был свободен, и земля — его родовое добро, а шляхта отымает и хочет вольный люд обратить в своих подданных.

— Так пусть же этот люд тоже стоит за себя,— закурил Богдан люльку,— а то на Запорожье бегут, еще охотнее идут на льготы к панам, а как козаки за себя и за них несут головы, то их и не видно.

— Что ж? Пока льготы держат паны, пока хорошо живется, так что ж им волноваться? Наш народ любит землю, хлебопашество.

— Нет! — раздражительно начал Богдан, закинув ногу за ногу.— Коли считаешь, что земля твоя собственность и что сам ты не запродаешь никому своей воли, так стой на своем и не беги на приманки, а коли бойцы поднимают мечи, так становись все до одного в их ряды: или костьми ляжь, или врага сокруши,— вот это я понимаю.

— Но ведь таких голов, как у дядька, нет больше на Украйне,— с глубоким чувством заметила Ганна.

— Что ты, любая! Украйна не бедна головами, да только все врозь идет... Оттого-то нас и одолевают, да и народ все до сих пор сносит... Значит, мало еще ляхи ему сала за шкуру залили; когда припекут его больше, тогда или подымется он, если богом призван жить на свете, или покорится совсем рабской участи, если он обречен на погибель!

— Неужели же нужно желать еще мук нашему несчастному люду? Разве без этих слез невозможно спасенье? — заломила Ганна руки и безнадежно склонила голову.

— Невозможно,— сурово и мрачно сказал Богдан,— и они дождутся, что шляхта затянет в ярмо им шеи и обратит в волов подъяремных, и это настанет, потому что некому будет отразить насилие.

— Как, дядьку? — всплеснула руками Ганна, и глаза ее открыл ужас.— Такая страшная доля грозит нашей родине?.. И неужели у нее не найдется защитников?

Богдан положил люльку, обвел мрачным взглядом всю светлицу и свесил голову, потом промолвил упавшим голосом:

— Думаю, что нет, и эта мучительная дума сосет мне сердце, точит силу,— вздохнул он и потер рукою лоб, словно желая выдавить оттуда неотвязную мысль.— Здесь вот у меня собирались, думали, гадали, да путного-то ничего не придумали... Сил-то у нас настоящих нет, чтоб померяться с Польшей. Удальцов, что с улыбкой, с весельем понесут жизнь свою в самое пекло, таких лыцарей, каких и на целом свете нет, таких у нас наберется немало, да что они смогут? Честно, со славою лечь, а народ-то останется все рабом и только стоном в песне будет поминать их славное имя!

— Нет, такого ужаса быть не может! — стала Ганна и, сложив набожно руки, подняла к старинному образу, озаренному лампадкой, строгий, почти суровый взгляд.— Этого он, распятый за нас, не допустит!

— Ему-то, всесильному, все возможно: и светила, и звезды падут, и восстанут по единому слову, но, видно, мы прогневили милосердного, и отвратил он от нас свое око.

— Милости и любви его нет границ,— тихо, с глубокою верой промолвила Ганна.

— Все это так, мое золотое сердце, да только богу молись, а сам непрестанно трудись, на бога уповай, а сам не плошай!.. Теперь же, что́ без пастыря стадо овец? — говорил Богдан, и в голосе его дрожала такая теплота, такая сердечность, что у Ганны встрепенулась душа и легкий румянец проступил на бледных щеках.

— И потерпим, но не упадем в покорном бессилии! — вскрикнула девушка, и глаза ее засветились и потемнели.— Защитник и борец у нас есть!

— Кто, кто, Галю?

— Наш первый лыцарь Богдан!

— Дорогая моя! — вспыхнул Богдан.— Ты не умеешь льстить, но тебя ослепляет твоя привязанность, твое дивное сердце... Куда мне?

— Нет! — воодушевилась еще больше Ганна.—

К чему сомнения? Голова нашего батька не должна клониться от дум, а должна смотреть гордо и смело в глаза нашей доле; я верю, глубоко верю, что господь тебе даст и мощь, и разум, и доблесть, что его десница на твоем челе,— уже почти бессознательно, вдохновенно говорила она, и голос ее звучал властно.— Вся Украйна на тебя только и смотрит и в тебе греет надежду; она преклонится перед твоим словом, и, когда ударит час, то все пойдут за тобой, и даже у слабых горлиц вырастут орлиные крылья!

Вся фигура девушки, энергично наклоненная вперед, с поднятой рукой и пылающим взором, дышала силой и красотой; на чело ее упал последний луч догоравшего солнца, словно пророческое вдохновение, слетевшее с небес.

X

Поднятая буря в едва успокоившемся сердце Богдана вскоре снова притихла: с одной стороны, сообщение Шмуля не подтверждалось никакими посторонними слухами, с другой — кричащие нужды беглецов приковывали к себе все внимание господаря и заставляли его с утра до ночи хлопотать вместе с Ганной об этих несчастных. Наконец, перепуганный Шмуль начал потом отпираться и молоть такой вздор, что Богдан счел его самого изобретателем проекта новых аренд и успокоился. Жизнь снова потекла на хуторе так тихо и спокойно, как воды глубокой реки по мягкому руслу.

Богдан весь отдался хозяйственным заботам и чувствовал, как этот новый прилив деятельности и окружающая его любовь с каждым днем усмиряли и исцеляли его душевные боли; он мог бы считать себя даже счастливым, если бы этот мирный труд не нарушался неумолкающими мыслями о будущем да криком голодных, стекавшихся к нему ежедневно. А их являлись целые толпы. Это были жалкие, оборванные люди, с заросшими лицами, всклокоченными волосами. Женщины были измождены и худы, дети все казалися слепленными из какого-то прозрачного желтого воска, с одутловатыми щеками и большими животами, мешавшими им ходить.

Когда морозным утром Богдан выходил на крыльцо, они уже толпились кругом, жалкие, голодные, заворачиваясь в рваные свитки.

— Господи! Что делать мне с вами? — спрашивал Богдан, окидывая сострадательным взглядом дрожащую толпу.

— Что хочешь, батьку, только не гони: умрем тут, все равно идти нам некуда! — стонали жалобные голоса.

— Да откуда вы все? — изумлялся Богдан.

— Из табора Гуни! — раздавалось из некоторых углов.

— Почему же не идете назад, к своим владельцам? Коронный гетман прощает всех.

— Эх, батьку Богдане! — выступил из толпы старый, седой дед.— Ведь сам ты добре знаешь, какое гетманское прощенье! От добра люди холодной зимой из теплой хаты не побегут... Истребил наше жилье и добро Потоцкий, ограбил последнее, чего не мог забрать — пожег. Хлебом лошадей кормил, а людей, что вернулись назад на свои насиженные гнезда, на пали сажать велел, канчуками до смерти засекал. Сколько наших померзло в глубоких оврагах! — махнул дед рукою, утирая рукавом подслеповатые глаза.— Вот сколько этих сирот подобрали мы,— указал он на группу детей, испуганных, грязных, с окоченелыми руками, с глазами, опухшими от слез. Грудных-то побросали, пусть уж замерзают на материнской груди,— все равно им не жить! А там у господа бога им, невинным ангеляткам,— задрожал голос деда,— теплый приют. Не гони нас, батьку, прими хоть за харч! — сбросил он шапку и низко поклонился перед Богданом, а за ним обнажились все всклокоченные головы, и послышался робкий плач женщин да тоскливый писк детей.— Верными слугами до самой смерти будем! — Голова старика затряслась, и красные глаза заслезились.— Ой поверь, батьку, не легко кидать насиженные гнезда в такие года!

— Диду, да разве у меня может быть такое в думке — отгонять своих кровных людей? Только вот горе, что девать-то вас некуда,— отворачивался в сторону Хмельницкий,— полон весь двор, все жилья, даже у подсусидков...

— Есть, дядьку, есть куда! — раздавался за ним каждый раз дрожащий голос. Богдан оглядывался и ви-

дел бледную Ганну.— Мы поместим их в сараи, в коморы, дядьку,— говорила она, запинаясь от волнения,— нельзя же так выгнать этих людей!

— Хорошо, моя ясочко, хорошо,— ласково улыбался ей Богдан,— веди их, накорми да выдай хоч кожухов, а мы уж там придумаем, что делать.

Но, однако, придумывать было довольно трудно, потому что уже и двор Богдана был переполнен, и у каждого подсусидка ютилось по два, по три бедняка, а приток их не уменьшался. Теперь приходили уже беглецы с северной Украйны; они приносили страшные известия о новых и новых зверствах панов, об утеснениях унии. Каждое такое известие мучительно пробуждало боль, засыпавшую было в душе Богдана. Однако надо было придумать, что делать с народом, и мысль эту подала Ганна. Она предложила Богдану заселять пришлым народом земли, подаренные королем Владиславом по ту сторону Тясмина. Богдан с живостью ухватился за эту мысль. Закипела в хуторе торопливая работа. Поселенцам отпускался лес для новых построек, деньги и хлеб; подсусидки помогали им в работах. Как оживились эти желтые, изможденные лица, принимаясь за постройку нового жилья! Холод мешал, но от этого беды было мало. Им улыбалась новая, счастливая, тихая жизнь. И хатка за хаткой вставали в балках маленькие поселки. Повеселевший Богдан ездил ежедневно осматривать возникающие постройки, гати, дороги и вечно шумящие млыны. Все было исправно, все было в ходу, на мертвых пустошах кипела новая жизнь, и это доставляло большую радость домовитости Богдана.

Как приятно было в морозный зимний денек скакать в коротеньком кожушке на верном Белаше, осматривая свои именья! Кругом расстилалась необозримая снежная равнина; кое-где чернели редкие, сквозные леса, в небольших балках ютились поселки; кусты и деревья, окружавшие хаты, гнулись теперь еще ниже под тяжестью нависшего снега. Сами хаты с их снежными, низкими кровлями казались белыми грибками; но голубоватый дым, подымавшийся ровным столбом к небу, давал знать о хлопотливой жизни, кипевшей в хуторах. И Богдан приподымался в стременах и, окидывая взглядом всю окрестность, с гордостью чувствовал, что все это — дело его стараний, его рук.

О послах на сейм не было ни единой вести. И в эти минуты мысли о положении Украйны, казалось, засыпали в нем. Вид этих пригретых, спасенных людей наводил сладкий покой на его душу, и так хотелось Богдану удержать его подольше, навсегда!

Как приятно было возвращаться домой быстрым галопом! Уже издали подымали навстречу Богдану свои важные головы высокие скирды на току. Несло навстречу дымом жилья. В морозном воздухе слышался резкий лай собак. Нежный, розовый отблеск падал на снежные кровли. В высоком небе загоралась холодная, блестящая звезда, а из окон будынка смотрели красноватые, теплые огоньки; там дожидала его ласковая, любящая семья.

Когда же вечером убирали со стола вечерю, гасили свечи и вся компания собиралась у огонька подле грубки, дед с Богданом начинали длинные розмовы о битвах, о сечах, о морских походах, о взятии турецких городов. И тихо становилось в полутемной светлице, только весело потрескивали в грубке дрова. Перед иконой светилась лампадка, да иногда вспыхивала короткая люлька Богдана и освещала его воодушевленное лицо.

Дед помнил еще Лободу и Наливайка. С каким восторгом говорил он о них!

— Ге-ге-ге, детки! — начинал он всегда свои рассказы.— Это еще давно-давно было, когда проклятой унии не выдумывали паны и ксендзы.— Когда же дело доходило до последней битвы Наливайка, до того, как его зарубили в таборе сами взбунтовавшиеся козаки,— голос деда обрывался; он угрюмо отворачивался в сторону и добавлял, вздыхая глубоко: — Эх, славный же был козак! И собою хорош был, да так же хорош, что ни одна дивчына, ни одна баба забыть его не могли! Молодец был! Какое золотое имел сердце! Каждому было у него ласковое слово, веселый привет! А уж что храбр...— но здесь дед только махал рукою и добавлял тихо: — Не видать мне таких козаков!

Богдан рассказывал о страшной Цецорской битве, о старом гетмане Жолкевском, о том, как он, Богдан, из турецкого плена бежал. И говорилось об этом так легко у теплого, родного камелька, и казались все эти минувшие грозы старыми сказками седой старины. Когда же Богдан вспоминал о Смоленской битве, он снимал доро-

гую саблю с драгоценной рукояткой и, положивши ее к себе на колени, обнимал за плечо Тимоша и говорил, указывая на нее:

— Помни, Тимош, ты у меня старший в роде; эта сабля достанется тебе,— помни, что отец заслужил ее честно из рук самого королевича; ты будешь носить ее, и ты должен быть достоин ее. Слушай меня и расскажи об этой битве и детям, и внукам — пусть перейдет ее слава из рода в род.

А Тимош сжимал свои черненькие брови, и от гордого волнения слезы выступали у него на глазах.

Детки засыпали под долгие рассказы, под убаюкивающий вой ветра в трубе; одна только Ганна сидела, затаив дыхание, с побледневшими щеками, с глазами, широко глядящими в глубокую темноту. В окна бился мягкий снежок. Из большой сенной комнаты доносилось тихое пение и журчанье веретена. А в раскрытые двери, приподнявшись на своей постели на локте, глядела на освещенную огнем печки группу больная жена Богдана; головки детей теснились подле батька, Юрась спал на коленях у Ганны, дед мерно покачивал своей седой головой. И тихие слезинки, одна за другой, падали с пожелтевших, поблекших щек ранней старухи. О чем плакала полумертвая женщина? О том ли, что ей скоро придется расстаться с этой уютной, теплой жизнью и нырнуть в какую-то холодную, неведомую, вечную тьму? Нет, она благодарила творца за эти счастливые минуты, озарившие ее недолгие дни.

И тихое счастье развивалось над домом Богдана, и, казалось, кровавое горе не заглядывало и не заглянет сюда никогда.

Ахметка между тем не раз и не два летал по поручению Ганны в Золотарево, к ее брату, и заворачивал всегда к дьячковой хатке. Такие порученья стал он изобретать и сам, предлагая охотно свои услуги Ганне. Последняя, улыбаясь, всегда соглашалась с ним и доставляла тем Ахметке необычайную радость. Не зная с детства ни матери, ни отца, ни родных, он привязался всем сердцем к сиротке, что также одиноко росла в маленькой хатке. Отец обращал на нее мало внимания: он больше звонил то в чарки, то в колокола... И росла себе маленькая Оксана почти без всякого призора, потому что старая баба, помогавшая дьяку в его несложном

хозяйстве, заразилась у своего хозяина пагубною страстью к вину и большую часть времени спала на печи. Сиротка Оксана также привязалась к Ахметке,— как радовалась она его приездам! Он один привозил ей гостинцы, он один ласкал ее...

Быстро соскочил Ахметка с коня, привязал его к плетню и направился к покосившейся хате. Ранние зимние сумерки спускались уже над селом; лиловые тени тянулись по снегу. В той стороне, где скрылось солнце, еще алела яркая багровая полоса, но в окнах хатки не видно было света, и вся она имела такой жалкий, запустелый вид. Ахметка вошел в сени, стукнул в двери, но ответа не дал никто. Он распахнул низкую дверь и вошел в хату. В хате было темно и холодно. Тоскливые темные сумерки почти совсем сгустились по углам. Все было бедно и неопрятно. У раскрытой печи на припечку лежала выгребенная кучка холодного пепла и черных угольков; несколько пустых горшков стояли тут же. Из запечья раздавался чей-то сонный храп. У занесенного морозными узорами оконца сидела девочка лет десяти, кутаясь в теплую юпку. Личико ее прижалось к стеклу; она так углубилась в свои думы, что и не заметила вошедшего Ахметки. Последний подошел, сел с ней рядом на лаве и тихо позвал девочку:

— Оксано!

Девочка вздрогнула, обернулась; но при виде Ахметки все ее личико осветилось детской радостью, и с криком: «Ахметка!» — она бросилась к нему и уцепилась руками за шею.

А это было прелестное маленькое личико с немного вздернутым носиком, большими карими глазками и тоненькими, как шнурочек, черными бровями. Щечки ее были похожи на персик,— такие же алые, с нежным пушком.

— Ах, как я рада, Ахметка, мой любый цяцяный! — говорила она, гладя его ручонками по щекам.— Так скучно без тебя!

— Родненькая моя, нельзя Ахметке каждый день ездить,— целовал он ее в головку и гладил по волосам.— А ты все одна сидишь?

— Все одна,— печально говорила девочка,— тато редко бывает дома, а как вернется красный, то сердитый такой, а баба все спит.

— А к подружкам почему не побежишь на село? Поиграла бы с ними.

— Босой холодно, а вот в такой юпке и не побежишь, да и детвора меня гоняет,— сказала она, наклонив головку.

— Так ты все, моя бедненькая, вот так и сидишь?

— Сижу да жду Ахметку.

— У, моя любая! — поцеловал он ее звонко в пухлую щечку.

— А то я еще сижу и все думаю,— улыбнулась и бросила на Ахметку из-под длинных ресниц кроткий взгляд Оксана.

— О чем же ты думаешь, дурашечка? Вот хоть бы и теперь, когда я вошел?

— О чем? — забросила девочка головку и продолжала печальным голосом: — Думала о том, как бы мне пойти далеко в ту сторону, где садится солнце; там бы я вышла на край неба и пошла бы все по нему, голубою гладкою дорогой до самой середины, посмотрела бы на месяц и звезды, на землю оттуда. Там так тепло и светло, а здесь так холодно, так темно, Ахметочка! — проговорила она жалобно, обвивая его шею ручонками.— Скажи мне, можно эту дорогу найти?

— Что ты, что ты, Оксано,— погладил ее по головке Ахметка,— если пойдешь на заход солнца, так никогда и назад не вернешься! До конца света ногами не дойти, только на черном коне с белою гривой можно доехать.

— А где такого коня можно добыть? — сверкнула Оксана глазенками.

— Не знаю где. А тебе разве не жалко бы было и батька, и Ахметки?

— Жалко,— ответила Оксана,— только я б и его, и тебя видела оттуда сверху... ведь солнце видит всех нас... А баба говорит, что и матуся на нас сверху смотрит... вот я б увидела и ее.— Девочка помолчала и затем прибавила тихо, прижимаясь к плечу Ахметки: — Ахметка, а у тебя мама была?

Ахметка обвил рукою шейку девочки.

— Была, Оксано.

— А ты ее помнишь? — говорила Оксана, заглядывая Ахметке в глаза.

Лицо Ахметки приняло суровое выражение.

— Не помню,— ответил он.— Ее татарин увез, рассказывал мне батько Богдан, а когда наши разграбили улус, татарин не мог забрать ее с собой и убил, а сам бежал и меня бросил. Батько Богдан подобрал меня и привез домой.

— А! Так ты татарчонок? — уже совсем весело рассмеялась Оксана, лукаво взбрасывая глазками на Ахметку.

— Не вспоминай об этом, Оксано,— нахмурил брови Ахметка,— моя мать была козачка.

— Ну, не буду, не буду,— зачастила девочка, заметивши недовольное выражение лица своего товарища, и ухватила его ручками за щеки,— не буду, Ахметка... Ну ж, не хмурься, а то я заплачу.— Но когда Ахметка уже улыбнулся и приласкал ее, она все-таки спросила потихоньку, едва смотря на него из-под опущенных ресниц: — А правда ли, что татаре родятся, как собачки, слепыми и не видят целых девять дней?

Личко ее было так комично в эту минуту, что Ахметка не мог рассердиться и отвечал рассмеявшись:

— Не знаю, голубка, да, верно, брехня!

— А правда ли, Ахметка,— продолжала Оксана уже смелее, опираясь к нему ручонками в колени и засматривая в глаза,— правда ли, что за морем живут черные люди и ходят головою вниз, а ногами вверх?

— Не знаю,— усмехнулся Ахметка,— старые люди говорят.

Но Оксана проговорила печально, надувши губы:

— Что ж ты ничего не знаешь, а еще козак! Нет уж, лучше я уйду по голубой дороге на небо, там бог и ангелы живут: у них тепло и светло, они едят на таких золотых блюдах вот такие,— широко она развела руками,— золоченые вареники.

— Ах ты, бедная дивчынка! — рассмеялся Ахметка.— Да ты, верно, и не вечеряла, а я тебе и гостинца привез от панны Ганны, да забыл отдать.

Ахметка быстро выбежал из хаты и вернулся с мешочком в руках.

— Вот тебе сыр, сваришь себе завтра варенички, хоть не золоченые, а гречаные; они вкусней золотых будут. А вот и маслице свежее. Да постой, есть ли у вас картофель?

— Есть, Ахметка, там в коморе ссыпан,— обрадова-

лась Оксана, смотря на свежее масло и хорошо отдавленный творог.

— Ну, так я затоплю сейчас в печке,— весело говорил Ахметка, потирая руки,— мы спечем картофель и устроим такую вечерю, что и гетману хоть куда!

Когда веселый огонек вспыхнул в печке, затрещали и зашипели дрова, Ахметка отгреб горячую золу, побросал в нее картофель, затворил дверь, чтобы не дул ветер, и, придвинувши лавку, уселся с Оксаной перед печкой.

— Как тепло, как хорошо! — говорила Оксана, улыбающаяся, раскрасневшаяся от огня, протягивая зяблые ручонки к огоньку и следя за картофелем, спрятанным в горячей золе.— Ахметка, расскажи мне хорошую-хорошую сказочку!

— Да я, голубко, не знаю.

— Нет, ты не хочешь, не хочешь! — надула девочка губки.— Ты знаешь все. Скажи мне, правда ли, что перед рождеством на свят-вечер Христос летает над землею и смотрит, что делают детки на земле, и если кто увидит Христа и попросит его о чем, он его просьбу всегда и исполнит?

— Правда! — уверенно ответил Ахметка.— Он летит на большой-большой звезде с золотыми лучами, и все звери в лесах собираются на одну долину, чтоб увидеть его.

Между тем ароматный запах печеного картофеля распространился по всей хате.

— Готов, готов картофель! — захлопала в ладоши Оксана.

Ахметка стал его осторожно вытаскивать палочкой. Когда картофель немного остыл и Оксана утолила свой первый голод, Ахметка вытащил из кармана связку сушеных яблок.

— А вот тебе, Оксано, еще и на закуску. Ну, не правда ли, гетманская вечеря?

— Ахметочка, любый мой, как я тебя люблю! — крикнула Оксана, прижимая связку яблок к груди и цепляясь хлопцу за шею руками.— Слушай, Ахметка,— говорила девочка уже серьезно, грызя своими белыми, как у молодой мышки, зубками сушеные яблоки и подымая на него серьезные глазки.— Ведь правда, когда я выросту, ты женишься на мне?

Молоденькое лицо Ахметки с едва пробивающимися усиками вдруг покрылось все густым румянцем; он отодвинулся от девочки и бросил на нее косой взгляд.

— Ты не хочешь, ты не хочешь! — вскрикнула Оксана, заметивши движение Ахметки, и на глазах ее показались слезы.

— Оксано,— заговорил Ахметка, беря ее руку и стараясь подавить проснувшееся вдруг непонятное волнение.— Ты это правду говоришь? Ты хочешь пойти за меня?

— Конечно,— вскрикнула радостно Оксана.— А за кого ж мне пойти, как не за тебя?

— Так помни же, Оксано,— проговорил уверенно Ахметка,— и жди меня: когда я сделаюсь запорожским козаком, я приеду и возьму тебя.

И дети вдруг сделались серьезны и замолчали, держа один другого за руки... А красные, догорающие дрова освещали их молодые задумавшиеся личики теплым, живительным огоньком...

XI

Однажды, когда Богдан, веселый и счастливый, возвращался из своего обычного объезда, Ахметка сообщил ему, принимая от него коня, что какой-то бандурист пришел во двор и дожидает Богдана в его покое.

Неприятное, тупое предчувствие шевельнулось в его душе. Поспешно бросил он на руки Ахметки поводья и быстрыми шагами взошел на крыльцо.

Вошедши в свою комнату, Богдан заметил с изумлением бандуриста, сидевшего к нему вполоборота. Он был огромного роста, необычайно широк в плечах и, несмотря на длинную, седую бороду и изумительно рваные лохмотья, покрывавшие его тело и почти закрывавшие лицо, держался ровно и бодро.

Богдан сделал несколько шагов и остановился перед незнакомым стариком.

— Будь здоров, батьку Богдане, пошли тебе, боже, век долгий, много счастливых дней! — заговорил тот нараспев старческим голосом, подымаясь к нему навстречу.

Непонятное смущение еще более завладело Богдановой душой.

А старик, казалось, заметил это,— в глазах его мелькнул веселый, насмешливый огонек, и, не давши Богдану прийти в себя, он подошел к двери быстрыми и твердыми шагами, запер замок и, повернувшись к Богдану, крикнул весело:

— Га-га, друже! Славно, значит, я оделся, когда и товарищи не узнают! А я по тебя!..

— Нечай! — отступил Богдан и оцепенел.

«Так, значит, снова,— горько мелькнуло у него в голове,— пускайся в путь под бури, под грозы, под страшные буруны! И не ведать тебе, козаче, ни отдыха, ни покоя, не свить тебе до смерти родного, теплого гнезда!..»

Как и куда исчез странный бандурист, не знал никто во дворе, но резкую перемену, происшедшую в Богдане после его посещений, замечали решительно все. Словно под тенью нависшей грозовой тучи, исчезла вдруг вся его оживленность, вся энергия. Его уже не интересовали ни новые поселки, ни хозяйственные заботы: он ходил сосредоточенный, молчаливый, почти мрачный. При каждом неожиданном посетителе или стуке на лице его появлялось выражение тревоги. Вечером, у огня камелька, он уже не рассказывал о пережитых бедствиях и битвах, а сидел молча, сдвинув черные брови, потупив глаза в раскаленную груду пылающих углей. И в эти минуты лицо его, красивое и гордое, казалось суровым и жестоким, а в глазах вспыхивали зловещие, мрачные огоньки. Да и сиживал теперь в кругу семьи Богдан редко, большей частью он оставался на своей половине один, требуя к себе большую фляжку и кубок; в это время никто не решался нарушить его покой.

Словно какое-то гнетущее предчувствие нависло над всем домом. Не стало слышно ни песен, ни шуток; когда говорили, то старались говорить тихо, даже дети присмирели совсем. Ганна и ходила, и делала все, как прежде, но душой ее овладевала властней и властней безотчетная, безысходная тоска. Оставалась ли она одна в своей светелке, развертывала ли пожелтевшую библию или четьи-минеи *,— всюду перед ней вставали картины ужасов, разливающихся по родной земле, и среди всех

* Четьи-минеи — збірники житій святих, досить поширені у давнину, використовувалися для читання як художня література.

этих слез, и воплей, и стонов вставал, как колосс, всегда один неизменный образ, гордый, величавый и сильный. Ганне казалось, что от одного его голоса разорвется нависшая тьма, от одного взмаха его могучей руки исчезнет вся нечисть, облепившая родной край... Ганна старалась уйти от него и не могла. Она искала людей, боялась оставаться одна, но и там, и всюду стоял он перед нею.

Однажды под вечер Богдан велел позвать к себе в комнату Ганну. Затрепетала Ганна невольно и почувствовала, что ее сердце сжалось томительно тоской. Она вошла и тихо остановилась у дверей.

— Подойди сюда ближе, сядь подле меня, Галю! — обратился к ней мягко Богдан.

Ганна вся вспыхнула, сделала несколько шагов и опустилась невдалеке от Богдана на низкий диван.

— Да как же ты змарнила, голубко! — произнес Богдан, взглянув на ее измученное лицо.— Тяжело тебе, бедняжка, жить у нас.

— Как можно,— хотела возразить Ганна, но оборвалась на слове и только низко опустила голову на грудь.

— Тяжело, сердце! — вздохнул Богдан.— Все ты у нас: и хозяйка, и мать моим детям, и друг мне.

— Дядьку! — только могла выговорить Ганна в порыве глубокого чувства и, поднявши на него свои просветлевшие глаза, смутилась вся.

— Вот я для того и призвал тебя, чтобы поговорить о тебе,— начал Богдан тихо, беря ее за руку,— потому что ты мне, Галю, все равно что родная дочь.— Рука, которую он держал, слегка вздрогнула. Богдан остановил на Ганне испытующий взгляд и продолжал дальше: — Скоро, видно, придется нам расстаться, а увидимся ли все скоро и как увидимся — ведает один бог.

— Как? Дядько хочет оставить нас снова? — вскрикнула Ганна и подняла на Богдана испуганные, опечаленные глаза.

— Не хочет коза на торг, а ведут! — усмехнулся Богдан, овладевая собою.— Но дело теперь в тебе, моя горличка. В наше бурное время тяжело жить девушке без крепкой и верной опоры. А какая опора в жизни может быть крепче и надежнее любящего мужа!

— Дядьку, дядьку, что вы? — перебила его Ганна, стараясь освободить свою руку.

— Нет, Галю,— продолжал Богдан, удерживая ее,— так богом создано, так и должно быть. «Не довлеет человеку единому быти»,— говорит нам писание. Ты уже вошла в лета, а может быть, через затворничество у нас не ищешь своей доли. Как это ни тяжко нам, а тебе пора зажить своей семьей. И есть такой человек,— смущенно продолжал Богдан, стараясь заглянуть Ганне в лицо,— я его знаю. И лыцарь славный, и собою хорош, а уж как любит тебя!.. Что ж молчишь, Галю? — продолжал он, наклонясь к ней и не замечая, как побледнело ее лицо, как губы ее задрожали и крупные слезы быстро закапали из глаз.— Или застыдилась, квиточка? Скажи мне только одно слово: ведь люб он тебе?

— Не надо, не надо мне никого, дядьку! — вскрикнула вдруг Ганна с рыданьем и, вырвавшись от него, быстро выбежала за дверь.

Богдан хотел было броситься за нею и остановился в изумлении, не понимая, что в его словах могло так обидеть и огорчить это тихое, кроткое существо.

Настала ночь, а Ганна все еще не могла успокоиться. Она сидела на своей постели, заломивши руки, то вглядываясь в светлый сумрак горящими глазами, то снова захлебываясь в слезах. Да что же, что же могло в словах Богдана так невыносимо тяжко обидеть ее? Предлагала она себе в сотый раз один и тот же вопрос: «Что? Что?» И возмущенные ответы бурно лились из души: «В такую минуту, когда смерть грозит тысячам, говорить мне о муже? Мне говорить? Могу ли я о том думать? Ах, так оскорбить меня! За что, за что? Чем заслужила я?» И при одном воспоминании о словах Богдана горькая обида с новой силой вставала в ее душе. Да, но почему же, когда другие говорили ей то же, почему же не оскорблялась она? Потому, что они ей чужие, потому что они не знают ее! Но брат ведь ей тоже не чужой, ведь он ей самый близкий...— с какой-то резкой, раздражающей болью допытывала сама себя Ганна: почему же ему могла она ответить коротко и просто, что не любит никого и замуж не пойдет никогда? «Не любит никого»,— медленно, вслушиваясь в слова, произнесла Ганна и отбросила с лица опустившиеся на

лоб волосы. Да, да! И он должен был знать это лучше всех! Почему? Потому что он знает ее, знает, чем занята ее душа, знает, что для любви в ней места нет! Ганна невольно поднялась с постели. Что-то мучительно глубоко шевельнулось в ее сердце при этих словах.

— Нет, нет! — тряхнула она с усилием головою, и лихорадочные мысли понеслись в ее голове, стараясь заглушить проснувшуюся боль,— он не должен был говорить этого! Как к отцу, как к матери привязалась она к нему, а он,— губы Ганны снова задрожали,— так легко, так спокойно хотел устранить ее! Да неужели же сожаления и жалости не было в его сердце? Нет, он... кажется, говорил... что тяжко... но все же, все же сватал...— Ложь! Ложь! — вскрикнула Ганна, перебивая сама свои мысли и сжимая горящую голову.— Да ведь и отец, и мать больше любят своих детей, а думают об их судьбе, и дочери без обиды уходят из отцовского дома и строят свое молодое гнездо! Почему же ее обидело это так тяжко? Почему? Почему? — с нетерпением допрашивала себя Ганна, закусывая губы и сжимая до боли руки. И снова мысли ее возвращались к словам Богдана и описывали тот же круг. Уже перед светом заснула она, измученная, взволнованная каким-то странным чувством до глубины души. Рано утром ее разбудила старуха нянька и сообщила, что из Золотарева прискакал гонец и принес известие о том, что пану Золотаренку кабан повредил ногу на охоте, и хотя рана неопасная, но пан просит Ганну навестить его.

Ганна до чрезвычайности обрадовалась этой возможности выехать из Субботова и стряхнуть с себя все эти чувства, мысли и сомнения, которые опутали ее здесь, как муху паутина. Наскоро одевшись, она отправилась к Богдану.

Она вошла в его комнату, бледная, с оттененными еще болезненною тенью глазами.

— Ну, как тебе, моя горличко?

— Спасибо, уже совсем хорошо,— ответила, опустив глаза, Ганна.— Я к брату поехать хочу.

— К брату? Зачем? — изумился Богдан.

— Так,— и по лицу Ганны разлился слабый румянец.— Известие получила, на охоте кабан ему ногу порвал.

— Пустяк! Царапина, я слыхал. Разве у него без

тебя не найдется кому перевязать? Заживет! Через два дня козака у нас откалывать будет.

— Нет, дядьку,— тихо, но твердо ответила Ганна,— мне нужно поехать: я бабу с собой повезу.

— Ну, делай как хочешь! Только дай я посмотрю на тебя! — Богдан взял ее за руки и подвел к окну.— С чего ты, голубко, такая печальная стала? Не обидел ли тебя кто?

— Нет, никто... За братом соскучилась,— проговорила Ганна и, чувствуя, как задрожали губы, быстро отвернулась.

— Ну, коли соскучилась, неволить не буду,— погладил ее Богдан по темной головке и с недоумением покачал головой.— Поезжай. Я сам наведаюсь скоро, нужно кое о чем с Иваном переговорить.

— Так я велю лошадей закладывать,— перебила его Ганна, все еще не поворачивая головы.

— А может, после обеда? — остановил ее Богдан; но Ганна молчала.— Так торопишься нас покинуть! — грустно заметил он.— Ну, делай, как знаешь сама. Да вели взять мой старый байбарак (особого покроя шуба, род бекеши) на ноги — холодно.

Ганна хотела что-то ответить, но вдруг плечи ее задрожали, и, быстро повернувшись, она вышла за дверь.

В сенях она встретилась с Ахметкой. Хлопчик был одет уже по-дорожному и засунул за кушак пару пистолетов.

— А ты куда собрался, Ахметка? — удивилась Ганна, окидывая его взглядом с ног до головы.

— Как куда? — изумился в свою очередь мальчик.— Панну поеду провожать.

— Так боишься за меня? — улыбнулась Ганна.— Ну, поезжай, там и дьякова хата близехонько.

Ахметка немного смутился, но, тряхнувши весело головой, заметил:

— А я уж велел и лошадей подавать.

Ганна отворила дверь и, войдя на женскую половину, прошла прямо к больной.

— Кидать нас собралась, Галочко, надолго ли? — жалобно заговорила больная, приподымаясь на постели.— Ох, как мы тут без тебя останемся? Детки плачут за тобой.

И в самом деле, дети, собравшиеся подле матери,

казалось, только и ждали этого слова. С громким рыданием уцепились они со всех сторон за Ганну, повторяя все как один: «Ганнусю, не уезжай, не кидай нас!»

— Видишь, они к тебе, как к матери родной,— горько усмехнулась больная, и Ганне показалось, что по лицу ее скользнула печальная тень.— Не оставляй их, Галочко!

— Титочко, да ведь я ненадолго, я ведь вернусь,— старалась Ганна успокоить детей.

Но больная подняла на нее грустные и какие-то необычайно проницательные глаза и промолвила тихо:

— Вернешься? Когда? Быть может, уже не застанешь меня.

— Что вы, что вы, титочко? — наклонилась Ганна к ее руке.— Поздоровеет брат, я сейчас и назад вернусь.

Больная обняла ее за голову и, прижавши к своей груди, тихо шепнула:

— Бедная моя, хорошая моя!

Ганна чувствовала, что еще несколько мгновений, и она потеряет присутствие духа. Она перецеловала поспешно всех детей, быстро оделась, вышла на двор и села в сани вместе со старухой знахаркой.

Сильно рванули лошади и быстро понеслись вперед. За ними двинулись два всадника: Ахметка еще с другим козаком.

Мелькнули первые ворота, вторые — и сани вынеслись на необозримое пространство, покрытое сверкающею, как сахар, белою пеленой.

Ганна взглянула в ту сторону, где остался хутор и поселки. Они стояли, все осыпанные блестящим снегом с обындевевшими, словно сказочными деревьями; легкий дымок из труб подымался молочными полосами к ярко-ярко-синему небу. Все это имело праздничный, торжествующий вид; но от того блеска красные круги заходили у Ганны в глазах. Ганна закрыла глаза и прижалась к деревянной спинке саней. Лошади несли дружно; комки мягкого снега, вырываясь из-под копыт, осыпали снежною пылью сидящих в санях. Изредка только в балках виднелись признаки хуторов, но чем дальше ехали, тем безлюднее разливалась кругом безбрежная степь. Тупое, гнетущее чувство овладевало Ганной все властней и властней. С каждым шагом лошади уносили ее от того места, в котором сосредоточилась вся ее

жизнь... Зачем же она покинула Субботов? Зачем? Ганна сжала свои тонкие руки и с тоской оглянулась назад. Но там уже ничего не было видно, кроме яркого неба и сверкающего снега...

Время шло; сани плавно неслись вперед, и их мерное покачивание начинало мало-помалу убаюкивать Ганну; она закрыла глаза и, сама того не замечая, погрузилась в воспоминания о всей своей протекшей жизни.

Вот уже пять лет, как поселилась она в Субботове. Какая она была тогда еще маленькая девочка! Было ли ей и четырнадцать лет? В детстве своем Ганна видела мало веселого. Отец редко бывал дома, козаковал все больше, а мать томилась без него, боялась, плакала. И Ганне не хотелось идти ни к подругам, ни на улицу; она все сидела подле матери, прижимая ее худую руку к своим губам. В церковь они ходили постоянно и постоянно служили молебны о рабе божием Николае до тех пор, покуда во время восстания Сулимы не принесли матери печальную весть. Что ж, громко мать не тужила! Она всю жизнь жила, ожидая того...

Молебны заменились панихидами; но бедная женщина тихо и безропотно таяла день за днем. Где же был брат? Он учился на Сечи войсковой справе (военному искусству). Ганна одна ходила за больной матерью, считала ее последние дни, но считать ей пришлось их недолго. Вскоре мать умерла на ее руках.

Девочку взял дальний родич и закадычный друг ее отца Хмельницкий.

Сначала Ганна дичилась в их доме... О, как это давно уже было! Жена Богдана не лежала тогда, как теперь. Она была бойкая, и веселая, и радушная хозяйка; все у ней в доме кипело, все в хозяйстве шло своим чередом. Дядько редко когда бывал дома, разъезжая все по войсковым справам, а когда возвращался домой, то очень ласкал сиротку. Богдану понравилась маленькая серьезная девочка с большими печальными глазами; он часто разговаривал с ней, научил ее читать, и девочка оказалась и умной, и сообразительной. Богдан часто говорил с ней, и она поражала его своими серьезными, не по-детски вдумчивыми ответами. А она? Боже мой, боже мой, как она привязалась к доброму дядьку! Для нее он казался богом, и, слушая его, она от дорогого

дядька не могла глаз оторвать. Да и титка полюбила ее. Какое это было тихое и услужливое существо! Везде она старалась помочь кому-нибудь в доме, и когда титка начала прихварывать, все хозяйство перешло к ней в руки. Так пролетело два года, и Ганна сделалась взрослой дивчыной; но девичьи грезы ее не тревожили. Ни на вечерницы, ни на улицу она не ходила, и из козаков, посещавших постоянно дом Богдана, ни один не затронул ее души. Она любила их всех, а особенно Богуна, потому что видела в них защитников родины, а положение края было известно ей с юных лет. Когда они собирались у Богдана, она прислушивалась к их разговорам с замирающим сердцем, с потрясенной душой, и никто не обращал внимания на худенькую девочку, забившуюся в уголок; а у этой невзрачной девочки целый героический мир разрастался в душе. То ей казалось, что она летит в битве вместе с этими козаками, то ей казалось, что она стоит в Варшаве перед самим королем, и какие горячие речи говорит она ему! Боже, она видит, как слезы выступают на его добрые глаза! Он тронут, он верит ей, он понимает положение ее родины, и он изменит все и спасет всех. Но чем старше делалась девочка, тем реже освещали ее головку такие пылкие мечты, а задумчивая грусть навещала ее все чаще, пока не подружилась с нею совсем. В церкви, стоя перед образами, Ганна молилась богу о ниспослании спасителя ее стране, и чем мрачнее становилось кругом, тем яснее вставала в душе ее мысль, что спаситель есть, что он недалеко. И наконец Ганна узнала его! Это случилось с нею тогда, в тот вечер, когда она сидела с Богданом, когда он говорил ей о будущности страны: словно божия молния, осветила эта мысль ее душу, да и сожгла навсегда.

Ганна прижала к груди руки и оглянулась кругом: короткий зимний день уже близился к вечеру. На западе тянулась нежная розовая полоса, но солнце еще не опускалось.

— Уже и до Золотарева осталось немного! — обернулся к ней Ахметка, указывая нагайкой вперед.— Верст пять, не больше!

— Как скоро! — вырвалось у Ганны, но радости не было в этом восклицании.

А Ахметка между тем нетерпеливо вглядывался в

белую линию горизонта, стараясь различить поскорее дымари золотаревских хат. За пазухой у него лежал тщательно завернутый сверток, и в нем заключалась пара хорошеньких червоных черевичек (красных башмачков) с медными подковками, которые он купил в Чигирине. Черевички были маленькие и аккуратненькие, как и ножка, для которой предназначались они. Со времени последнего разговора с Оксаной Ахметка стал как-то серьезнее относиться ко всему. По отношению к девочке он чувствовал на себе словно отцовские обязательства. Каждый раз, как он бывал в Чигирине, он непременно покупал что-нибудь Оксане: то плахточку, то платок, то черевики. И девочка принимала все это с восторгом и, цепляясь Ахметке за шею, повторяла по несколько раз:

— Ахметка, ты и когда женишься на мне, то также все куповать мне будешь?

— Ну, а кто ж тебе купит, дытынко, если не я? — улыбнулся маленький козачок, чувствуя сам, как от этих забот он растет и мужает с каждым днем.

— Ну да, конечно! — отвечала Оксана, делая серьезную мину.— А баба говорит, что чоловик (муж) только бить должен жену, и говорит, что боится умереть, потому что и на том свете встретится с чоловиком и что он и там начнет ее товкты.

— Нет, нет, голубко! — успокаивал ее Ахметка.— Бог на том свете не позволяет драться. Вот если кто в пекло попадает... там... ну, там черти бьют...

— Бр-р!.. Ахметка, я боюсь попасть туда! — прижималась к нему Оксана.— А скажи, куда ляхи после смерти попадут? — с любопытством вскидывала она на него свои темненькие глазки.

— В пекло! — отвечал решительно Ахметка, нахмуривая при этом брови.

— А если там будет тесно? — допрашивала Оксана.— Ляхов, Ахметка, много,— покачивала она с сожалением головой.

— Хватит места на всех! Мы им дорогу прочистим! — сурово отвечал молодой козачок.

— Дай-то бог,— вздыхала Оксана, складывая на коленях руки,— потому что если их там всех не примут, то они опять на Украйну вернутся,— погано будет тогда!

Между тем на горизонте начали смутно обрисовываться снежные кровли и вершины дерев. Кучер подобрал вожжи, размахнулся рукой, гикнул, и лошади понеслись вскачь.

— Золотарево! — крикнул громко Ахметка, оборачиваясь к Ганне; но Ганна не слыхала его крика. Она сидела укрывшись в санях.

Солнце склонялось к закату; легкие тени спускались кругом. Ганна глядела перед собою тусклыми глазами и не видела ничего. Ей казалось, что нет у ней в груди ни души, ни сердца. Смертельная, безысходная тоска мертвым саваном облекала ее.

Ворота при въезде были раскрыты настежь. Лошади понеслись по узеньким уличкам, разбрасывая пушистый снег по сторонам. Но, к удивлению своему, путники не заметили ни любопытных бабьих лиц у окошечек, ни детских фигурок, повисших на плетнях, только дружный лай остервенившихся собак встречал их отовсюду. Казалось, вся деревня вымерла. Однако странный шум, доносившийся издали, не подтверждал этого предположения.

Завернувши в несколько узеньких и кривых уличек, сани выскочили на обширную площадь и остановились сразу.

— Отчего стали? — спросила Ганна, приподымаясь: но не нужно было ответа, чтобы понять все.

Вся широкая площадь была сплошь занята шумящим народом, преимущественно бабами, стариками и детьми. Возле старенькой деревянной церкви и деревянной колоколенки стояла кучка польских всадников. На колокольне, широко упершись ногами в помост, стоял красный от гнева дьяк. Его рыжие, всклокоченные волосы разметались кругом, голова с низким лбом, налитыми кровью глазами и раздувшимися ноздрями была нагнута вперед, широкие кулаки сжаты, и весь он напоминал остервенившегося быка, готового ринуться вперед. За ним, вся дрожа от холода и страха, стояла босоногая Оксана, с громкими слезами цепляясь за рясу отца.

— Пропустите! Пропустите! — крикнула громким голосом Ганна, подымаясь во весь рост в санях.

Громкий ли, повелительный голос Ганны или вид разгорячившихся лошадей повлиял на толпу, но только

она шарахнулась, и лошади вынесли к колокольне. Подле нее стояли простые сани, запряженные двумя парами волов: небольшой отряд из восемнадцати вооруженных всадников с толстым паном экономом во главе окружал колокольню. Толпа здесь казалась еще более рассвирепевшей. Крики и угрозы оглашали воздух, сжатые кулаки и палки подымались вверх. Всадники стояли еще в нерешительности.

— Да бейте их, песьих сынов! — кричал побагровевший пан эконом.— Чего стали? А того схизматского пса прогнать с колокольни канчуками!

— Не подходи! — кричал дьяк.— Не тронь звона, я его сторож! Головы вам всем размозжу, а звона не дам!

Двое из всадников спешились и полезли было на колокольню, но дьяк с такой силой оттолкнул их, что жолнеры покатились кубарем; один из них ударился головой о выступ, и густая струя крови залила ему все лицо.

— А, так вот ты как, пся крев, лайдак, гевал, схизмат проклятый! — весь вспыхнул пан эконом, сжимая кулаки.— Попробуешь же ты у меня кошек* и дыб. Достать его оттуда пиками! Связать пса и вместе со звоном бросить сюда!

Шесть всадников спешились снова и уже готовились было взлезть на звоницу, когда раздался громкий, взволнованный крик Ганны:

— На бога, стойте! Стойте, говорю!

Появление ее было столь неожиданно, что и всадники, и пан эконом на мгновение опешили.

— Стойте! — крикнула Ганна, стоя во весь рост в санях.— Я сестра Золотаренка! Скажите, в чем дело? Он уладит все.

Но первое впечатление прошло: пан эконом оглянулся на девушку и, заметивши, что ее сопровождают всего только два козака, ответил с наглым смехом:

— А мне что до того, хотя бы панна была не только его сестрой, но и маменькой? Я приехал взять то, что принадлежит пану Дембовичу, и с этою наглою сволочью сумею распорядиться и без панской руки!

— Не отдадим звона! Не попустим! Церковь наша! — раздались угрожающие крики, и толпа прихлынула еще ближе.

---

* Кошка — канчук з трьома хвостами на кінці.

— Пусть только сунется! — рявкнул дьяк, засучивая рукава и обнажая красные мускулистые руки.

— Остановитесь, стойте, слушайте! — кричала Ганна, простирая руки то ко всадникам, то к толпе.— Земля принадлежит пану Дембовичу, но не колокол: колокол принадлежит церкви, а теперешний пан Дембович — католик.

— Да уж, конечно, плюнул на хлопскую веру! — подбоченился пан эконом, глядя на Ганну наглыми, презрительными глазами.— И без права мог бы он взять все, что стоит на его земле. Но если панна хлопочет о праве, то тем более звон принадлежит ему. Отец егомосци построил эту церковь и звон повесил; теперь же сын его, пан Дембович, поставил в Глинске костел и звон велел туда перевесить, а хлопство,— разразился он громким смехом,— может сзывать в свою церковь, лупя в котлы!

— Молчи, ляше! Наша церковь! Не отдадим звона! — раздались еще грознее крики в толпе.

— Постойте, панове! Не может этого быть! Не может! — говорила Ганна взволнованным голосом, стараясь заглушить крики толпы.— Если покойный благочестивый пан Дембович дал колокол церкви, то дал его навсегда. Но если его наследник, забывая все божеские законы, хочет отобрать его, то стой, пане! Мы отдадим ему деньги, а колокола не тронь! Ты видишь, как горячится толпа? Оставь, не возбуждай бунта! Поедем к брату, он...

— Гей, панно,— крикнул эконом, сжимая нагайку,— проезжай своею дорогой, не мешайся в мои дела! Вывезти сани отсюда! — крикнул он одному из всадников.

Подскочил было тот к лошадям, но в то же мгновение получил такой удар кнутовищем по лицу, что с громким криком отскочил в сторону.

— Так вот как? — заревел эконом.— Связать бунтарку и собак!

Несколько человек бросились и окружили сани, но козак и Ахметка обнажили сабли.

— Заходи из-за спины! Вали их! — кричал эконом, размахивая нагайкой.— А вы достаньте того схизматского пса, свяжите его по рукам и по ногам!

У саней завязалась борьба; толпа крестьян с вилами и цепями отбивалась от жолнеров. Но скоро неко-

торые из них повалились, получив сабельные удары. Зато козак и Ахметка действовали так ловко карабелами, стоя на возвышении саней, что два смелейших жолнера, приблизившихся к саням, упали без слов.

Баба-знахарка, соскочивши с саней, юркнула куда-то в толпу. Одна Ганна стояла во весь рост с руками, протянутыми вперед, как бы не замечая окружающей ее опасности. Грудь ее высоко подымалась, глаза не отрывались от колокольни. А атака там усиливалась все больше. Первый жолнер, взобравшийся на колокольню, получил такой удар кулаком по голове, что тут же упал замертво, другой схватил было звонаря за руки, но тот оттолкнул его и ударил ногой; жолнер покачнулся, потерял равновесие и покатился вниз по ступеням.

— Собака! — зарычал эконом.— Зажигайте звоницу со всех сторон!

Часть жолнеров с огнивом и с трутом бросилась было к колокольне, но бабы и старики с дрекольями и цепами оттеснили их.

— Слезай, собака! Стрелять буду! — задыхаясь от злобы, кричал эконом.

— Стреляй, пес,— зарычал сверху дьяк,— а от звона не отступлюсь!

Пан эконом поднял пистолет и прицелился. Дьяк стоял неподвижно, ухватившись рукой за язык колокола и заступая собою Оксану.

Пан эконом спустил курок, но в это мгновение Ахметка, прорвавшийся сквозь толпу, наотмашь ударил его кулаком по плечу; вздрогнула у пана рука, пуля взвизгнула и, не попав в дьяка, ударилась в колокол... Жалобно зазвучал колокол, и больно задребезжал его тихий, печальный звон.

— Плачет! Плачет! — заплакала навзрыд Оксана.

— Стонет, братцы! Помощи просит! — крикнул кто-то из толпы.

Ганна побледнела еще больше и занемела.

— Все на звоницу! — скомандовал эконом.

Осаждавшие сани бросились к колокольне; со всех четырех сторон поползли на нее вооруженные люди.

Между толпой и осаждавшими завязалась борьба.

Однако, как ни храбро сражались козак и Ахметка, перевес был на стороне жолнеров. Уже двое из них достигли колокольни. Сильны были кулаки дьяка, но про-

тив сабель трудно было им устоять. Еще одного удалось ему спихнуть с колокольни, но двое уже подымались наверх. Тогда в одно мгновение вырвал дьяк из-за пояса нож и, схватив одной рукой за язык, поднялся на мускулах, перерезал другой веревку, на которой был подвешен язык, и с этой двухпудовой мащугой бросился на осаждающих сверху. Попятились жолнеры, и один из них упал с раздробленною головой.

— Не подходи! — рычал осатаневший дьяк, размахивая своей двухпудовой гирей.— Всем головы раздроблю!

Снова зарядил пан эконом пистолет, но Ахметка, следивший за ним, подкрался сзади, и удар в этот раз был удачнее. Правда, теплая шапка предохранила череп пана, но он, ошеломленный, опрокинулся в седле; выстрел грянул, и пуля попала лошади в шею... рванулась лошадь и понесла. Тучное тело пана скользнуло и грянулось на землю, но нога осталась в стремени. Как обезумевшая, неслась лошадь вперед, увлекая за собою тело своего господина. Несколько жолнеров бросились перехватить коня, другие же, не заметившие этого происшествия, продолжали осаждать колокольню. Но страшен был теперь дьяк, размахивавший своей гирей, да, к тому же, из деревни подоспело еще несколько козаков.

После недолгой борьбы жолнеры бросились в бегство. Шести из них, уложенных гирей дьяка, уже не было видно нигде.

— Панове братья! — говорила Ганна, дрожа от волнения и с ужасом оглядывая трупы, лежащие кругом.— Это так не пройдет вам: Дембович отомстит за все. Приходите во двор на раду к брату, я к пану писарю за советом пошлю. Тут затевается что-то страшное, не то не посмел бы он такое святотатство затеять!

Победившие крестьяне стояли теперь молчаливо и угрюмо, образуя возле саней тесный круг.

— А раненых ко мне во двор всех несите,— продолжала с тем же горячечным волнением Ганна.

Знахарка, заметивши благоприятный исход дела, также вернулась и уже спокойно сидела в санях. Между тем Оксана продолжала все еще жалобно плакать.

— Девочка! Бедная! Снимите ее, принесите сюда! — обратилась Ганна к одному из окружающих; но Ахметка уже предупредил ее желание. Перевязавши наскоро

полученную им при сражении рану, он бросился на колокольню.

— Ахметка, Ахметка! — закричала девочка, бросаясь к нему и обвивая его шею красными, замерзшими ручонками.

— Голубка, ты босая! — вскрикнул Ахметка, заметивши ее посиневшие ножки.— Что ты сделала, бедная дытына! Да ведь теперь на тебя пропасница, а то й огневица может напасть! Идем, идем! — говорил он торопливо, беря ее на левую руку и завертывая ножки в полу своего жупана.

— Нельзя, нельзя, Ахметка,— со слезами говорила Оксана, протягивая к колоколу руки.— Мы защищать его должны. Батько сказал, что бог нам поручил его, а они придут и опять стрелять в него будут, а он снова будет стонать и плакать.

— Не бойся, не бойся! — успокоил ее Ахметка.— Теперь они не скоро вернутся. Да мы оставим подле церкви вартовых. В случае чего, они сейчас нам дадут знать.

Осторожно спустился Ахметка со своею ношей по ветхим и скользким от крови ступенькам звоницы и подошел к саням.

— Бедняжечка! — вскрикнула Ганна, забывая совсем свое личное горе при виде бедной девочки: действительно, вид последней был до чрезвычайности жалок. Маленькая, худенькая, она вся дрожала от холода и страха; по лицу ее одна за другой катились слезинки и застывали на промерзших щечках; с головы скатился платочек, и растрепанные волосики разметались кругом. Со страхом прижималась она к Ахметке, повторяя:

— Ахметка, Ахметка, не оставляй меня!

— Бедняжка, бедняжка! — говорила Ганна.— Заверните ее в этот байбарак, положите сюда! Да поедемте скорее: ее надо отогреть, она замерзла совсем.

Оксану завернули в просторную шубу Богдана. Так как у кучера оказалось сильно поврежденным плечо, то один из крестьян сел на козлы, и путешественники шажком двинулись вперед.

Вскоре двор пана Золотаренка наполнился ранеными. Рана у самого пана оказалась весьма ничтожной, но все же он не мог встать с постели. Ганна со знахаркой перебегала от одного раненого к другому: тому давала горячую пищу, тому перевязывала рану. Лицо ее совер-

шенно изменилось и преобразилось; ни тени грусти не было на нем; щеки ее покрыл легкий румянец, глаза горели от прилива энергии и силы, движения были легки, ловки и нежны. Казалось, Ганна не ощущала никакой усталости, и к кому бы она ни подходила, всякий чувствовал облегчение от ее умелой и нежной руки.

Более тяжело раненые были оставлены здесь же, в теплой хате, более легких отправили по домам. Оксану отогрели и оттерли. Червоные черевички, купленные Ахметкой, пришлись чрезвычайно кстати и привели девочку в такой восторг, что она на некоторое время совершенно забыла о своем горе. Она то и дело рассматривала свои красные ножки и, налюбовавшись черевичками, бросилась Ахметке на шею.

Однако беззаботная радость ее продолжалась недолго.

— Ахметка, а где же тато? — спросила Оксана, и голос ее задрожал.— Они хотели пиками убить его. Может, уже и убили?

— Не беспокойся, деточка, не такой тато, чтобы ляхам в руки дался... Он спрятался где-нибудь в яру, чтоб им на глаза не показываться. А вот как настанет темная ночь, он и вернется назад.

Но темная ночь настала, а дьяк не вернулся, и никто даже не мог сказать, куда и как скрылся он. Долго поджидала Оксана батька, но усталость взяла свое: девочка заснула у окошка с безмятежною улыбкой на лице.

Только поздно вечером, покончивши со всеми хлопотами и оставшись одна в светлице, почувствовала Ганна, как она страшно устала. Но это была физическая усталость, зато на душе ее было легко и светло. Она сама не знала, что совершило в ней такой переворот, но только чудо это она чувствовала в себе, и оно-то разливало в ее душе тихий, божественный мир. С той минуты, когда Ганна услыхала тоскливый призывной стон колокола, она ни разу не вспомнила о своем личном горе. Вся эта ужасная сцена, эти стоны, крики, кровь раненых и угрозы потрясли ее до глубины души, и страшное горе охватило ее всю. Зная хорошо положение края, Ганна предчувствовала в этой наглой, своевольной проделке предвестие грядущих бед... И перед этим грозным, неотвратимым горем какими ничтожными казались ей личные боли ее души!

На утро Ганна отправила гонца к Богдану, сообщая ему о случившемся и прося поскорее прибыть на совет. Гонцу было также поручено разведать стороной, не известно ли кому, куда скрылся пан дьяк. Ахметка со своей стороны бегал уже два раза на село, узнавал у дьяковой бабы, не приходил ли ночью дьяк? Но перепуганная насмерть старуха не видала никого.

Оксана плакала, закрывая лицо красными ручонками, и вздрагивала узкими плечиками. Странное дело, девочка, почти никогда не видавшая ласки от грубого и часто пьяного отца, чувствовала теперь к нему такую детскую нежность и жалость, и так хотелось ей увидеть снова это красное, поросшее рыжеватыми волосами лицо и услыхать знакомый, рокочущий голос.

— Оксаночко, не плачь! — утешал девочку Ахметка.— Покуда батько вернется, я попрошу панну Ганну, чтобы она взяла тебя, и ты будешь с нами жить.

— Нет, нет, нельзя, Ахметка! — говорила Оксана, отнимая руки от лица и смотря на него серьезными глазами.— Тато говорил, что бог нам поручил звон, что мы должны сторожить его... Я не могу оставить его...

Несколько раз проходила через хату к раненым Ганна, и вид детей, сидевших в углу, взявшись за руки, навевал тихое чувство на ее душу.

К вечеру прибыл гонец из Субботова и сообщил, что пан писарь вельми встревожен и назавтра прибудет в Золотарево.

— Прибудет... Встревожен... Спаситель наш! — прошептала Ганна, сжав руки, и счастливая улыбка осветила ее лицо.— Обо всех нас печется, для всех находит слово и совет!

Тщетно ожидая второй день возвращения батька, уснула маленькая Оксана; утешились раненые; уснул и сам господарь. Тихо стало в угрюмом золотаревском доме. А на сердце Ганны становилось все яснее и яснее. Восковая свеча в низеньком шандальчике нагорела. Ганна сидела у стола, склонивши голову на руку... Вдруг скрипнула дверь.

— Панно Ганно! — раздался робкий голос Ахметки.

— Что тебе, милый? — ласково спросила Ганна, подымая голову.

— Дело плохо выходит, панно: дьяка-то нигде нет,— тихо заговорил Ахметка, приближаясь к столу.— Наш

гонец, которому вы наказывали разузнать стороной о дьяке, говорил, что нигде никто ничего о нем не слыхал. Я сам вот отыскал в байраке Ивана Цвяха и Гудзя, вот которые первые-то сопротивляться начали... так они говорят, что дьяк с ними не был... словом, никто его не видал... Должно быть, его прикончили ляхи.

— Царство небесное, вечный покой! — перекрестилась набожно Ганна, подымая к образу глаза. И тут же ей представилась маленькая фигурка девочки, мерзлые ножки и заплаканные глаза.

Ахметка замигал веками и продолжал нерешительно:

— Оно правда, что отец не много печалился о девочке, да все же отец был... Мне завтра чуть свет в Субботов скакать надо, я и то просрочил целый день... То хоть хатка у бедняжки была, а теперь вот...— Ахметка неожиданно остановился и угрюмо уставился глазами в противоположный угол.

— Ахметка, милый, какой ты славный хлопец! — подошла к нему Ганна и ласково положила ему руки на плечи.— Не бойся. Разве я могу оставить девочку? — говорила она задушевным голосом, любовно глядя ему в глаза.— Она сестрой мне будет и останется у нас.

— Панно Ганно! Довеку... всю жизнь... никогда не забуду! — вскрикнул дрожащим голосом весь вспыхнувший хлопчик и бросился к Ганниной руке.

— Хороший ты, Ахметка! — подняла Ганна обеими руками голову хлопца и, взглянув ему долгим взглядом в глаза, тихо сказала: — Оставайся всю жизнь таким!

Настало утро, серенькое, зимнее утро. Все небо затянулось ровным, белесоватым облаком. Вновь подпавший снег покрывал всю землю светлою пеленой. Белый матовый отблеск наполнял комнаты. В печах трещала солома. Все было тихо и спокойно. Казалось, настал какой-то праздник. Ганна чувствовала этот тихий праздник и в своей душе. Она сидела у небольшого оконца в светлице. В глубине комнаты на обитом ковром топчанчике сидела и Оксана. На ней была темно-синяя корсетка, головка была тщательно причесана, но личико девочки выглядело серьезно и печально: нижняя губка была оттопырена, тяжелый вздох часто вырывался из ее груди. Маленькие пальчики неумело держали иголку с

красною ниткой, которая то и дело непослушно вырывалась из рук. У ней была работа: она вышивала.

Вот уже с обедней поры сидит у своего окошечка Ганна; ей не работается: она ждет Богдана.

Белый пухлый снежок летал в воздухе и падал на белую землю тихо и бесшумно... И печальное, тихое чувство наполняло все сердце Ганны.

Раздался тупой стук копыт о замерзлую землю. Ганна вздрогнула и почувствовала, как вся кровь отхлынула у ней от сердца. Всадник подскакал к крыльцу.

— Что это? Богдан? Один? Без козаков? — почти вскрикнула Ганна, и ее сердце забилось мучительно-торопливо в груди.— Да нет же, нет, это не он! Это гонец! Несчастье? Случилось что?

Как вихрь, как буря, пронеслись и сожаление, и ужас в ее голосе.

Ганна выбежала из комнаты и бросилась в сени. Двери распахнулись. Весь осыпанный белым снегом, скользя на снежном полу коваными сапогами, вошел молодецкий козак.

— Лист (письмо) панне от пана писаря! — произнес он звонким, молодым голосом.

Прислонилась Ганна к дверям; желтая бумага задрожала у ней в руках.

«Любая нашему сердцу горлычко! — писал ей Богдан.— Не привел меня бог повидаться с тобой и с не меньше дорогим нашему сердцу братом твоим. Пан коронный гетман требует всех на Маслов Став[81], на раду, а оттуда — куда придется: об этом ведает один бог. Прошу тебя, не гаючи часу, возвращайся в хутор наш; оставляю жену и детей без единого призора. За сим препоручаю вас всех господу нашему богу и всех святых ласке. Писано в Субботове. Року божого 1638. Децембрия 1-го. Писарь его крулевской милости войска козацкого реестрового, рукою власною».

— Уехал... куда, насколько — сам не знает... Она не увидит его! О господи! — простонала Ганна, и вдруг словно яркая молния прорезала все ее мысли: в одно мгновение ей стало ясно и то, отчего так обидели ее слова Богдана и отчего ее охватила теперь такая смертельная тоска.

Дикий, смертельный ужас наполнил все ее сердце... Ганна пошатнулась и побледнела... Желтая бумага

выкатилась из ее рук. «Да будет так! — пронеслось в ее голове, и лицо ее стало неподвижно и мертво.— Твою, господи, руку вижу во всем!»

XII

Длинной, но довольно узкой полосой разлился Маслов Став между двух стен грабового леса; к югу он расширяется в большое круглое озеро, за которым вдали виднеются легкие очертания какого-то палаца или замка, а к северу тянется длинным ледяным паркетом и сливается с светло-зеленым, холодным горизонтом. Тесной группой обступили деревья покрытое зеленоватым льдом озеро. Густым, мохнатым инеем осыпан дремучий и седой лес. Меж кудрявыми белыми вершинами чернеют изредка отряхнутые птицами прутья. Не шелохнется отяжелевшая под инеем былинка, не задрожит разубранная матовым серебром ветка... Сквозь молочный туман, застилающий небо, глядит, словно око совы, холодное солнце... Тихий, как зачарованный, стоит в своем сказочном уборе безмолвный, таинственный лес...

Из широкой просеки, упиравшейся прямо в озеро, выехали два всадника. У старшего длинные усы и вихрастые брови заиндевели от инея, у младшего усики серебрились тоже. На головах у них были медные шлемы с крылышками; на латах за плечами такие же латунные крылья; руки и ноги до колен были закованы в блестящую сталь; у лошадей голова и грудь тоже были покрыты широкими бляхами. Издали всадники казались средневековыми рыцарями, но по чрезвычайно пышному и излишне обильному вооружению сразу же в них можно было признать польских, его королевской милости гусар.

— Фу-ты, черт побери меня со всеми потомками! — буркнул сердито старший, который был подороднее своего спутника, останавливая у опушки коня и окидывая взором все ледяное пространство,— здесь, что ли, велено строить войска?

— Так точно, пане ротмистре,— ответил младший,— по берегам узкого рукава: тут внизу на льду и станет между нами это быдло, а против него на широком озере еще нужно поставить артиллерию.

— Знаю и дивлюсь таким предосторожностям с горстью безоружных,— проворчал с досадою ротмистр,— мне только неизвестно, это ли самое место?

— То самое... это и есть Маслов Став.

— А чтоб им всем бестиям завалиться в этом ставу,— сердито продолжал браниться старший, выезжая на середину пруда,— когда мне через них в этакую стужищу да в такой одежде трясти по снегам свое благородное тело.

Младший, лицо которого, молодое и розовое, представляло смешной и поразительный контраст с посеребренными инеем усами и бровями, бросил искоса насмешливый взгляд на «благородное тело» своего спутника и заметил, похлопывая руками:

— Ну, зато нам в замке поднесут по доброму келеху, а хлопству этому на Масловом Ставу шиш с маслом.

— Славно сказано, пане-товарищ, клянусь своим патроном, славно... Хоть наш литовский мед лучше венгржины...— вскрикнул старший,— только я думаю,— разразился он смехом,— его милость пан коронный гетман пожалеет и масла для этих банитов!..* Одначе забивай, пане, значок: солнце поднялось высоконько, а наш гетман, сам знаешь, любит точность.

Пан поручник слез с коня и в несколько ударов забил в лед длинную и острую пику, к концу которой привязан был красный с белым значок.

Вскоре из просеки стали показываться всадники по два, по четыре в ряд. Вооружение их отличалось такою же роскошью и излишеством. Сверх медных и серебряных лат всадники перевязаны были накрест драгоценными алыми, розовыми и голубыми шарфами. Слева к седлу прилажен был палаш, а справа — длинная и узкая шпага с круглым тяжелым эфесом. Кроме того, каждый держал в правой руке красивый бердыш ** с длинною рукояткой; к левой же руке к локтю прихватывалось ремнем огромнейшее копье, утвержденное в левом стремени. Лошади под всадниками, чрезвычайно красивые и породистые, выступали гордо и величаво, изгибая свои красивые шеи и слегка вздрагивая тонкою

* Б а н и т а — вигнанець, поставлений поза законом *(польськ.)*.

** Б е р д ы ш — вид стародавньої зброї, має форму сокири із закругленим лезом на довгому держалні.

кожей. Но, несмотря на угрожающее вооружение, пышное войско решительно не имело грозного вида; казалось, что это собрались вельможные дворяне на роскошный бал или на королевский турнир.

Всадники, прибывая все более, размещались равномерно по двум берегам и вытягивались параллельными, блестящими линиями вдоль узкой полосы льда. Гусары стояли у опушек, а за ними уже в лесу помещались многочисленные слуги. Прямо против этого узкого рукава выехали четыре орудия и снялись с передков; по обеим их сторонам разместились музыканты с длинными, завитыми рогами и серебряными литаврами.

— А вот, кажись, и козаки, пане ротмистр! — указал молодой гусар на вершину узкого рукава става.

Действительно, с той стороны леса подвигалось чинно и стройно козацкое войско. Сначала показалось малиновое знамя, затем выехали довбыши с бубнами и серебряными литаврами в руках, за ними ехали козаки, державшие бунчуки, перначи и камышины, а за этими уже на некотором расстоянии двигалась по шести в ряд козацкая старшина, а за ними простые рейстровики, по два от каждой сотни.

Одетые в гладкие синие жупаны, в смушевых шапках с красным верхом и золотою кистью, они подвигались темною и молчаливою массой. Их немногочисленное оружие казалось ничтожным перед блеском и пышностью польской гусарской сброи. К поясу каждого козака прицеплена была кривая сабля, за поясом торчали пистолеты, мушкеты висели за спиной. Лошади их выступали спокойным, привычным шагом, слегка поматывая роскошными гривами.

— А это кто впереди едет, пан-товарищ? — спросил ротмистр, поворачиваясь к своему собеседнику.

— Вон тот, на вороной лошади, неказистый из себя?

— Да!

— Это их старшо́й, Ильяш Караимович[82], нынче ведь, после Павлюцкого бунта, гетманов им обирать запретили.

— А, сто куп ихней матери дяблов в спину, а не гетмана! — ругнулся пан ротмистр, выпячивая вперед свои богатырские усы.— Слышим мы все в великой Литве, как у вас о козаках с великим страхом толкуют, а как

погляжу я на эту голую рвань, так, кажись бы, и покрыл их своею рукой!

Пан-товарищ смерил взглядом широкую руку пана ротмистра, но ответил, покачавши головою:

— Не говори так, пане: ты их в бою не видал.

— Однако строится хамье ловко! — произнес уже с некоторым удовольствием пан ротмистр, продолжая наблюдать за козаками.

— Ге! Что это? Если б ты увидал их, пане ротмистре, в битве,— махнул рукою товарищ,— любо-дорого посмотреть!

— Коли молодцы, так люблю! А это кто, пане, видишь, вон там, впереди рядов, за полковниками на белом аргамаке едет? Славный конь! Клянусь святым Патриком, трудно и отыскать такого!

— Вон тот? — переспросил товарищ, смотря по направлению руки ротмистра.— За ним джура на гнедом коне едет?

— Тот, тот!

— А!.. Кажись, их писарь войсковой Богдан Хмель.

— Гм! Ловко! — удивился пан ротмистр, поведши мохнатою бровью.— Смотрит гетманом, и собою хорош, и посадка важная, да и конь... Об заклад бы побился, что он не хлопского рода.

Между тем раздавшийся за ними шум заставил разговаривающих обернуться.

— В строй! Стройся! — крикнул ротмистр, обращаясь к гусарам.

Лошади и люди зашевелились и застыли блестящими неподвижными колоннами.

Из лесной широкой просеки с противоположного конца медленно спускался на озеро пан коронный гетман Станислав Конецпольский. Поверх лат на пане гетмане был наброшен короткий меховой кафтанчик, вместо шлема на голове его была бобровая шапка с прикрепленным бриллиантовым аграфом белым страусовым пером. Лицо гетмана, подрумяненное морозцем, смотрело свежо и торжественно. Рядом с гетманом на сером скакуне ехал польный гетман Потоцкий. Лицо его, изношенное, дряблое, даже на холодном воздухе казалось безжизненным: зеленоватые осунувшиеся щеки, тонкие, синие, завалившиеся губы с редкими, словно вылезшими усами производили отталкивающее впечатление.

Серые волосы гетмана были коротко острижены; на подбородке клочками торчала седоватая, также коротко остриженная борода. Круглые, выцветшие, зелено-серые глаза гетмана глядели из-под сросшихся бровей холодным, злобным взглядом. Когда гетман улыбался, губы его некрасиво кривились, а глаза глядели тем же тусклым, мертвым и злобным взглядом. Рост польного гетмана был весьма ничтожный, и даже когда он сидел на коне, этот недостаток сразу бросался в глаза.

За обоими гетманами на небольшой лошадке ехал, окруженный блестящею свитой, молоденький сын коронного гетмана.

— Пан гетман, пан гетман! — пронесся кругом шепот, и все замолчали.

Вельможное панство ехало осторожно по льду и остановилось позади артиллерии.

Тихо и бесшумно обнажились перед ним козацкие головы.

Потоцкий выехал несколько вперед, окинул довольным взглядом своих гусар и потом, скользнув прищуренными глазами по козакам, позеленел от злости.

— Это что за парад? — закричал он.— Куда это собралось мятежное хлопство? На войну, что ли? На конях и при полном вооружении слушать свой приговор! Долой с коней! Долой с коней! — скомандовал он, подскакавши к козакам, и белая пена выступила на его тонких губах.

Какая-то тревожная волна пробежала по козачьим рядам и затихла. Молча, нагнувши серые и седые чуприны, слезло козачество с коней; старшины передали своих в последние ряды, где одному козаку пришлось держать под уздцы до десяти коней.

Потоцкий, отдав приказание, отъехал из предосторожности к гусарам и кликнул к себе пана ротмистра.

— Заряжены ли у пана ротмистра пушки? — спросил он сухо.

— Картечью набиты, ясновельможный гетмане,— ответил, преклонив обнаженную саблю, пан ротмистр.

— Ладно. Пусть пан ротмистр немедленно распорядится, чтобы кони этой сволочи,— указал он рукою,— были отведены немедленно вон туда, за лес.

Ротмистр отсалютовал саблей, повернул лошадь и

поскакал в галоп к задним козачьим рядам исполнить приказание гетмана.

— А что там? В чем остановка? — спросил коронный гетман у пана Потоцкого.

— Предосторожности, пане коронный,—скривился тот.

— К чему? — пожал плечами Конецпольский.

— Этим псам верить нельзя,— прошипел Потоцкий и отъехал немного вперед.

Вдали, за козацкими рядами, по узкому рукаву пруда заезжали уже в лес десятка два всадников с лошадьми.

Потоцкий, видимо, не удовольствовался этим и вновь подозвал к себе пана ротмистра.

— Что это они с мушкетами? — визгливо крикнул он.— Сейчас велеть им снять и отнести к лошадям!

Ротмистр подскакал к козачьим рядам и гаркнул:

— Мушкеты с плеч долой!

Вздрогнули пешие козаки и окаменели.

Гетман Конецпольский, недовольный выходкою Потоцкого, выехал на коне вперед и заметил польному гетману:

— К чему раздражать и издеваться?

— К тому, пане коронный, что их следовало бы всех на кол.

— Для этого есть высшая власть,— отрезал Конецпольский и, обернувшись, скомандовал: — Ударить в бубны и литавры!

Козацкие довбыши ударили в бубны и замолчали.

— Вы сделали преступление, подобного которому не было на свете от века веков,— грозно начал пан коронный гетман, обращаясь к козакам,— вы не только многократно подымали руки на вашего законного государя, на войска и на ваше отечество — Речь Посполитую, но вы... вы... одним словом, задумывали даже соединяться с нашими исконными врагами, татарами и турками! Вы — гнилые члены государства, и вас следовало бы обрубить совсем, чтобы не заразились здоровые...

Пан коронный гетман запнулся, а Потоцкий подхватил резким крикливым голосом:

— За ваши вечные, подлые измены вы сами подписали собственною кровью свой смертный приговор. Вы в бою утратили орудия, хоругви, камышину, печать, все знаки, данные вам королем, все вольности, все права!

— На вашу петицию прислал вам милостивый ко-

роль и сейм свой снисходительный ответ,— прервал пан коронный гетман поток издевательств Потоцкого и сделал знак рукой.

Два герольда * на черных конях, в черных бархатных кафтанах с длинными черными перьями на шляпах, выехали вперед и затрубили в трубы. Из свиты гетманов отделился всадник на белом коне, весь в белой одежде и, выехавши впереди герольдов, развернул длинный пергаментный лист с тяжелою государственною печатью, прикрепленною на шелковом шнурке.

— Вы достойны были бы все до единого казни,— прошипел Потоцкий,— но наш милостивый король захотел вас тронуть милосердием,— искривил он свои тонкие губы,— и удостоил вас ответа.

— Читайте декрет! — скомандовал коронный гетман, покосившись неприязненно на егозившего в седле Потоцкого.

Всадник на белом коне снял с головы серебряный шлем и, приподнявши бумагу, начал читать громким голосом, разнесшимся далеко над замерзшим озером:

— «Мы, ласкою божою Владислав IV, король польский, великий князь литовский и русский...»

При первых словах декрета гетманы почтительно приподняли над головами своими шапки, а гусары обнажили сабли, преклонивши вниз их клинки. В середине на ставу было по-прежнему тихо и безмолвно, только глаза всех козаков с надеждой и уверенностью устремились на длинный лист.

— «Долго Речь Посполитая смотрела сквозь пальцы на все ваши своевольства, но больше сносить их не станет,— читал всадник, и каждое его слово звучало отчетливо и громко, словно удар стали по меди.— Она и сильным монархам давала отпор и чужеземных народов подчиняла своей власти. Поэтому, если вы не останетесь в послушании королю и Речи Посполитой, сообразно новой, данной вам ординации, то знайте, что Речь Посполитая решилась не только прекратить все ваши своевольства, но истребить навсегда и имя козацкое».

Меж козаками произошло легкое движение, и снова все замерли неподвижной стеной.

---

* Герольды — урядовці, що прилюдно оголошували королівські укази.

— «Вы сами лишили себя всех своих прав и преимуществ,— читал дальше белый всадник,— и навсегда утеряли право избирать себе старшину. Вместо гетмана, которого вы прежде себе избирали, вам дается комиссар из шляхетского звания — пан Петр Комаровский».

Глубокий вздох вырвался из множества грудей и пронесся над толпой.

— А жаль молодцов! — буркнул себе под нос грозный ротмистр, отворачивая свое суровое, усатое лицо от пана-товарища.— Славные, видно, удальцы!

— Удивляюсь пану ротмистру,— шепнул тихо розовый пан-товарищ,— жалеть этот сор! Пан ротмистр собирался же раздавить их всех своею могучей рукой? — усмехнулся он, приподнявши тонкие, закрученные усики.

— Что ж, будет война, и пойду, и раздавлю! — проворчал сердито пан ротмистр.— А теперь жаль, потому что славные молодцы. Смотри: слушают свой смертный приговор и не пошевельнутся! Ты, пане-товарищ, послужи еще с мое, тогда поймешь, что воин воину — брат!

Пан-товарищ бросил из-под бровей на пана ротмистра насмешливый, презрительный взгляд и подумал про себя: «Старый литовский дурак!»

— «Полковников из вашего звания вы больше получать не будете!» — читал белый всадник.

— Положи бунчук, булаву и печать! — крикнул Потоцкий хриплым от накипевшей злобы голосом Ильяшу Караимовичу, который стоял впереди.— Полковники и старшина, положите ваши знаки! Отныне вам дадутся другие начальники... Только сотники и атаманы остаются пока на своих местах.

Тихо склонилось малиновое козацкое знамя и опустилось на чистое стекло льда. Рядом с ним легли бунчуки. Положил Ильяш возле него печать и булаву. Бесшумно подходили козацкие старшины, и один за другим складывали свои перначи и заслуженные знаки.

— Экая шваль!— бросил сквозь зубы польный гетман, беспокойно поворачиваясь в седле.

Ничего не ответил на такую выходку коронный гетман, но по лицу его пробежало едва сдерживаемое недовольное чувство.

Наступило тягостное молчание, меж козаков не слышно было ни стона, ни слова... Они молчали, склонив угрюмо головы, и только холодный ветерок, пробе-

гая над ледяным пространством, приподымал иногда их длинные чуприны.

Конецпольский сделал чтецу знак рукой, и тот снова продолжал свое чтение:

— «Вам назначены полковники из шляхетского звания [83], а именно: в Переяславский полк — Станислав Сикиржинский, в Черкасский — Ян Гижицкий, в Корсунский — Кирило Чиж, в Белоцерковский — Станислав Ралецкий, в Чигиринский — Ян Закржевский».

— Постой, пане, посмотри, что случилось там? — тихо спросил пан ротмистр, указывая на группу стеснившихся козаков.— Мне что-то глаза изменили, не могу разобрать!

— Старик вон тот, козак седой... расплакался,— небрежно ответил пан-товарищ,— приятели его уводят в глубину.

Пан ротмистр больше не расспрашивал; он только отвернулся в сторону, досадливо поправляя свой крылатый шишак.

— «Роман Пешта и Иван Боярин отрешаются от своих полковничьих должностей,— читал дальше белый всадник,— писарь же войсковой Богдан Хмельницкий понижается в чин сотника чигиринского».

При этих словах по лицу пана коронного гетмана пробежало какое-то тревожное выражение, но известие прошло спокойно. Писарь войсковой не сморгнул и бровью; лишь под усом его на одно мгновение мелькнула высокомерная, презрительная улыбка.

— «Что же касается верного нам доселе пана Богуша Барабаша [84],— гласило далее в декрете,— то его повышаем в чине...»

Глухой, зловещий гул прервал чтеца. «Зрада... Зрада!» — зашумели кругом козацкие голоса, и все повернулись в сторону пухлого, но бодрого еще старика в полковничьем наряде.

— Тихо! — раздался резкий и надменный крик пана польного гетмана.— Ни слова! Молчать и слушать королевскую волю.

Зловещий ропот пробежал еще раз по толпе и умолкнул.

Снова лица козаков стали угрюмы и суровы.

— Читай! — скомандовал коронный гетман, и чтец продолжал:

— «Вместо Трахтемирова назначается вам войсковым городом Корсунь. Уменьшается число реестровых до четырех тысяч. Дети павших в битве не получат никогда наследия отцов и не будут вписаны в реестры. Что же касается оставления за вами ваших грунтов и земель, то об этом будем еще думать на сейме. Если же вы и после этого нашего декрета бунтовать вздумаете,— строго кончался наказ,— то обещаем вам и совсем стереть вас с лица земли».

Среди козаков послышался какой-то неясный говор, головы наклонялись к головам, и недобрый шум побежал по рядам.

— Разойтись всем немедленно! — грозно поднял голос пан польный гетман, выезжая вперед и забрасывая кичливо голову: — Объявить всем нашу волю! И буде кто только осмелится подумать не согласиться — размечу!

— Панове! — перебил угрозы польного гетмана и обратился ко всем Конецпольский.— Милосердие нашего великого короля всем известно. Вам остается только безропотно покориться, и тогда, быть может... я даже ручаюсь...— запнулся гетман,— так сказать, вы можете ожидать какой-либо милости. Мы же, с своей стороны, всегда стоим за мир, и если вы того заслужите... одним словом... будем ходатайствовать за вас.

— Пан коронный гетман балует эту сволочь! — сказал презрительно Потоцкий, подъезжая к коронному гетману.— С нею говорить без нагайки нельзя...

— Я в нагайке, пане гетмане, не нуждаюсь,— пожевал губами Конецпольский и, круто повернувши разговор, обратился к гетману и к свите: — Прошу панство откушать ко мне. А тебя, пане ротмистр,— кивнул он суровому литовцу,— прошу наблюсти, чтоб не было того... понимаешь... чтоб разошлись козаки без шума.

Пан ротмистр поклонился, а гетманы, давши лошадям шпоры, в сопровождении свиты, двинулись быстрым галопом через озеро по просеке назад.

— Славные молодцы! — вздохнул пан ротмистр, обращаясь к товарищу.— А боюсь, как бы не обошлось без схватки!

— О нет,— усмехнулся тот,— пан ротмистр еще этой сволочи не знает. Они хитры, как старые лисы: здесь будут как каменные стоять, разойдутся без ропота, а там, погоди, через два-три месяца и вспыхнет новый бунт.

И действительно, точно в подтверждение слов пана-товарища, чинно подвели козакам коней. Раздалась короткая команда, вскочили на коней козаки, в одно мгновение выстроились и в боевом порядке двинулись вперед. Вскоре последний козак скрылся за деревьями леса. Только куча бунчуков, камышин и полковничьих знаков осталась на том месте, где стояли войска. Распростертое, словно сраженный воин, лежало на ледяном полу малиновое козацкое знамя.

— Ну, что ж со всем этим делать? — сказал пан ротмистр, бросив угрюмый взгляд на оставленные, сиротливые клейноды, и, выругавшись крепко, прибавил с досадой: — Черт бы побрал весь свет и меня вместе с ним!

— А что же? — ответил товарищ.— Велеть забрать все в гетманский замок, и, поверь, пане ротмистр, для них найдется шляхетская рука!

Тихо и молча, понуривши головы, выезжали из лесу большими и малыми группами козаки.

У опушки леса, на перекрестке двух дорог, сидел огромного роста, слепой бандурист и пел дрожащим голосом грустную думу. Многие из козаков подъезжали к нему, чтобы бросить медный грош в его деревянную чашку.

— Волчий байрак! Домовына! — шептал отрывисто подъезжающим бандурист... и продолжал думу...

XIII

Настала ночь. В глубине оврага, окаймленного со всех сторон нависшим лесом, было совершенно темно. Едва белели в непроглядном мраке лапастые ветви елей, устало опустившиеся под нависшим снегом. Словно души мертвецов, носились в темноте пухлые хлопья снега и бесшумно падали на белую холодную землю.

— Пугу! — раздался протяжный крик пугача.

Сова, сидевшая в дупле, беспокойно зашевелилась и, помигавши несколько раз своими круглыми желтыми глазами, перелетела на ветку, но не ответила на крик.

— Пугу! — раздалось снова уже ближе, и через несколько минут из противоположной глубины леса под-

нялся такой же унылый и протяжный крик ночной птицы.

Вспугнутая сова поднялась тяжело, захлопала крыльями и отлетела в глубину леса.

— Пугу! — раздалось еще ближе.

— Пугу! — ответил протяжный голос уже совсем невдалеке. Через несколько минут в вершине оврага, в том месте, где он суживался и нависшие деревья почти сходились совсем, раздался короткий сухой треск; большая ветка обломилась и с шумом покатилась вниз. За нею вслед оборвалось что-то тяжелое и грузное.

— Фу-ты, черт тебя побери с твоей матерью! — выругался свалившийся снежный ком, подымаясь на ноги и отряхивая с байбарака снег.— Стонадцать ведьм тебе в зубы! Бес его знает, куда я забрел, чуть ли не к медведю в берлогу! Хоть бы зажечь что, осветить...— Свалившееся в овраг существо начало с ожесточением шарить во всех карманах. После нескольких минут поисков кресало и огниво были найдены; посыпались короткие искры, и вскоре осветилось склоненное лицо Кривоноса с раздутыми губами и ощетинившимися усами, старательно дувшее на трут в толстом жгуте из клочья, пропитанного смолою и серой, которого запасливый козак держал всегда полный карман. Наконец Кривонос ущемил жгут в какую-то расщепленную ветку и поднял свой факел над головой. Красновато-синий огонь осветил все пространство. Это было мрачное и угрюмое ущелье. Справа и слева по крутым отвесам спускался ко дну смешанный лес. Сквозь нависшие глыбы снега едва проглядывала темная зелень елей; дубы и грабы стояли заиндевевшие, неподвижные. В конце эта глубокая щель закруглялась и врезывалась вглубь, словно пещера; несколько полувывернутых с корнем дерев, свалившись с одного берега на другой, прикрыли ее сверху ветвями. Теперь все пространство между ними было засыпано толстым слоем снега, образовавшим довольно глубокий и прочный свод. Кривонос зашел внутрь, поднял факел и осветил это фантастическое помещение; серебро стен и плафона загорелось роскошным фиолетовым отблеском. Кривонос остался даже доволен.

— Ишь, как славно,— мотнул он головою,— только чтоб тому в горлянку ведьмы хвост, кто выдумал дорогу сюда: глушь такая, что пока продерешься, пар шесть

очей выколешь, а пока слезешь в этот палац, так и четырех ног не досчитаешься!

В том месте, где ущелье суживалось, круто спускалась сверху едва приметная, извилистая тропинка, на которую не попал Кривонос; казалось, никто посторонний не мог никоим образом ни попасть сюда, ни узнать о существовании этой дикой трущобы. На узенькой тропинке показалась старческая фигура Романа Половца. Он шел осторожно, сгибаясь под нависшими ветвями, ощупывая себе путь суковатою палкой.

— Ге, да ты, брат, уже и фонарь засветил,— обратился он к Кривоносу, спускаясь вниз и проходя в пещеру.— Только скажи мне, брат, какою ты дорогой шел, что голос твой слышался мне совсем с другой стороны?

— Какою дорогой? Кратчайшею, матери его хрен! — ответил сердито Кривонос.— Заблудился было... а тут ведь тебе темень такая, хоть выколи око, ну, так просто и скатился в овраг сторч головой, хорошо еще, что разостлана снежная перина, да и кости железные — выдержали!

— Однако здесь совсем как в хате, можно бы, брате, нам и костерчик разложить: теплей бы было, да и светлей.

— Оно бы хорошо, да как бы только польские дозорцы на огонек наш не наткнулись.

— И, что ты,— махнул рукою Половец,— здесь как в могиле: и свету некуда вырваться! Кроме козаков, никто этого оврага и в жизнь не найдет. Уж сколько мне лет, а при моей жизни ни одна польская собака не вынюхала сюда и следа!

— Да уж коли вы, диду, обеспечаете, так мне и подавно,— потер Кривонос руку о колено,— тут вот и сухого валежника под ногами довольно.

Через несколько минут посреди пещеры запылал яркий костер.

На тропинке у входа в ущелье послышался шорох. Кривонос и Половец подошли и стали по сторонам. Показалась суровая козацкая фигура.

— Гасло? * — коротко спросил Кривонос.

— Волчий байрак... Домовына! — ответил так же

* Гасло — пароль.

коротко новоприбывший и безмолвно прошел в глубь ущелья к костру.

Показались на тропинке еще две тени и, опрошенные, тоже пробрались к костру. В ночной тишине раздавался только скрип шагов по снежной тропинке да тихие ответы на запрос Кривоноса: «Волчий байрак... Домовына...»

Подле костра уже и сидела, и стояла, и волновалась порядочная группа людей.

— Что это Хмеля нет до сих пор? — тихо проговорил Кривонос, бросая волчий взгляд на Романа.— Не вздумал ли дать тягу в свои хутора?

— Что ты, что ты? — возмутился старик.— Хмель не из таких, да вот, кажись, и идет он.

Действительно, на тропинке показались снова две плотные и высокие фигуры, но на этот раз это оказались Пешта и Бурлий. Они о чем-то тихо разговаривали, но, заметивши Половца и Кривоноса, переглянулись и замолчали совсем.

— Гм...— покачал им вслед головою Половец,— значит, припекло, когда и Пешта, и Бурлий решились сюда придти.

— Не люблю их — собаки! — мрачно прохрипел Кривонос, бросая в их сторону недоверчивый взгляд.

Между тем у костра волнение было уже в полном разгаре. Среди шума, крика и проклятий явственно вырывалось только одно восклицание, повторяемое на тысячу ладов:

— Смерть ляхам! Смерть Потоцкому!

— Ге-ге,— тихо заметил Пешта, наклоняясь к Бурлию.— Рой гудит... Кто только сумеет маткою стать?

Бурлий крякнул, бросивши исподлобья хитрый, многозначительный взгляд. А Пешта, передвинувши на голове шапку, направился со своим спутником уверенными шагами к той группе, где громко говорил о чем-то, сильно жестикулируя руками, его знакомый козак.

— Пешта! Вот голова, братцы! — встретил он появление Пешты радостным голосом.— Вот кто порадит нас, что теперь предпринять?

— Да что тут предпринимать! — гневно и нетерпеливо закричали сразу несколько голосов.— Небось все слыхали, какой декрет прочитали нам эти дьяволы! Ведь это смерть! Верная наглая смерть!

— А коли умирать, так показать и палачам до пекла дорогу! — подхватили другие.

— Н-да! — протянул многозначительно Пешта.— Что правда, то правда: такого декрета еще козаки и не слыхивали от роду.

— А ведь были восстания и раньше, да никто не смел таких ординаций нам давать! — кричал запальчиво более молодой козак, выступая вперед.

— Ляхи-то и прежде обрезывали нам права, а теперь задумали нас уничтожить! — ответил Пешта.

— А что же лист, что мы посылали через послов?

— Гм,— перебил его Пешта,— он, может быть, и напортил,— и, помолчавши, прибавил загадочным тоном: — Его-то, по-моему, и не следовало писать!

— Да как же так? — раздалось сразу несколько насмешливых голосов и умолкло.

— А потому, что я и тогда говорил,— начал уже увереннее Пешта,— да что поделаешь? Ведь у нас не думает никто! Один скажет, а все уж за ним, как бараны, бегут! Говорил, не к чему писать. Перед ляхами унижаться, перед сенатом ползать в ногах! Говорил, что такое смирение только докажет ляхам, что пропала вконец козацкая сила, что ляхи воспользуются этим и проявят над нами неслыханную дерзость,— на мое и вышло.

Словно тяжелый молот, упали эти слова на буйные головы и ошеломили сознанием, что совершена ошибка, повлекшая за собою позорную смерть. Наступила грозная пауза.

У входа по тропинке показались две человеческие фигуры.

— Они, кажись? — обрадовался Кривонос.

— Они,— кивнул головою Половец.

Действительно, приближался Богдан в сопровождении Ганджи.

— Отчего так опоздал? Народ бурлит...— окликнул его Кривонос.

— Коронный гетман задержал, едва вырвался!

— Ну, иди же. Там Пешта пришел,— шепнул Половец.

Богдан подошел к костру и, никем не замеченный, стал с Ганджой в глубине, за выступом обвала, в совершенной тени.

— Кой черт советовал писать жалобные листы? — поднялся раздражительный голос с одной стороны.

— Советовал-то человек добрый,— так же медленно ответил Пешта, и двусмысленная улыбка пробежала по его лицу.— По крайности, он всегда на добро козакам думает, да не всегда с его рады добро выходит. Ну, что же,— вздохнул Пешта и, глянувши куда-то неопределенно вперед, прибавил: — На дида бида, а баба здорова!

— Ах он чертова кукла! Расшибу! — прошипел было и бросился со сжатыми кулаками Ганджа.

— Стой! Ни с места! — остановил его тихо Богдан и оттянул за себя в самый угол.

— Да какой же это дьявол! Кто эти листы придумал? — закричало сразу несколько голосов, и часть толпы, услыхавши все возрастающий шум, понадвинулась к тесной группе.

— Кто ж, как не Хмель! — раздался чей-то голос в толпе.

— Это его панские штуки! — подхватил другой.

— Нарочно затеял, чтобы ляхи, набравшись смелости, и войска свои стянули сюда, и раздавили нас, как мух! — кричал уже третий, проталкиваясь к костру.

— Что вы, что вы, панове! — остановил толпу Пешта.— Хмель думал, как лучше. Он ведь знается с ляхами, думал, что потрафит. Не его вина, коли прогадал.

— А коли так, так не совался бы в козацкие справы, сидел бы со своим каламарем за печкой! Через него мы должны такую поругу терпеть! — вопил уже в исступлении молодой козак, взобравшись на пень и ударяя себя в грудь руками.— Чего мы ждем? Кого мы ждем? Какие тут рады? Бить ляхов, доказывать им, что нас паскудить нельзя! Уже коли они нас паскудить желают, так разорвать их, псов, на тысячу кусков!

— Смерть ляхам! — закричали кругом.

И этот зловещий крик покатился по ущелью, бурей промчался мимо Кривоноса и Половца и заставил шарахнуться стаю волков, собравшихся из любопытства в ближайшей трущобе.

Вокруг Пешты образовалась уже довольно большая толпа. Второй разведенный костер освещал их красные исступленные лица. Один только Пешта стоял посредине, спокойный и даже насмешливый, переводя от одной группы к другой свои желтоватые белки.

— Так,— сказал он громко,— играться бумагами больше, братья, не будем.

— Душа, козак! Молодец, брат! — раздались восклицания в толпе.

— Только ведь сами руки никогда не бьют, панове,— продолжал Пешта,— надо к ним и голову разумную, и сердце неподкупное прибавить!..

— Верное слово! Атамана, атамана! — закричала толпа, и к этому крику пристали уже и все остальные.

— Только выбрать, панове, оглядаючись, чтоб и голову имел разумную и бывалую, чтоб ни с кем не снюхивался, да за двумя зайцами не гонялся бы, да чтоб и войсковой справы не бегал,— заметил Пешта.

А Бурлий добавил, будто про себя:

— Такого и не сыщешь среди нас!

— Как нету? А Хмель? — закричало два-три голоса в задних рядах.

— В затылок тебе Хмель! К черту! Мы не перьями, а мечом им отпишем! — раздалось из передних рядов.

— Богуна! Вот козак, так козак! Нет ему равного нигде! — закричал кто-то из середины.

— Богуна, Богуна! — подхватило множество голосов.

— Да, козак славный,— согласился и Пешта,— и храбрый, и честный. Только молод еще, братья, а в нашей справе надо не смелую руку,— все вы, братья, смелы, как орлы,— а нам нужно рассудливую голову.

— Правду, правду говорит! — отозвались голоса.

— А и главное,— продолжал Пешта,— что его теперь здесь нет: ведь он в Брацлавщине.

— Верно! В Брацлавщине! — подхватили другие.

— То-то ж, пока мы за ним посылать будем, нас здесь на лапшу посекут ляхи. Ждать нам некогда.

— Некогда! Некогда! — перебили его шумные голоса.

— Бить ляхов! Смерть Потоцкому!

И снова знакомый голос наэлектризовал толпу. Крики, проклятия слились в один бесформенный рев.

— Народ горит,— заметил Кривонос Половцу, бросая взгляд по тому направлению, где узкое ущелье расширялось в грот и где освещенная огнем двух пылавших костров волновалась разгоряченная толпа,— а нет еще Нечая и Чарноты!

— Расставим и проверим сторожу,— заметил Половец.

В глубине узкой тропинки послышалась удалая песня: «Гей, хто в лиси, озовыся!» И из-за деревьев, сдвинувши шапку на затылок и широко распахнувши жупан, показался Чарнота.

— С чего это ты, с чего ты запел? — набросился на него Половец.— Или хочешь посзывать всех польских дозорцев?

— Некого! — ответил бесшабашным тоном Чарнота.— Двое из них встретились мне на дороге. Не хотелось мне оказать ляху услугу, да что было делать: пришлось даровать им вечный покой!.. Да еще и снежную могилу насыпать, чтоб не отыскали друзья. А остальные все пируют в замке, от огней побелела даже черная ночь.

— Пируют, дьяволы, на наших грудях,— мрачно заметил Кривонос.— А тебе оттого так и весело стало, что ты и песню затянул?

Лицо Чарноты вдруг стало серьезно.

— Ты этого, брате, не говори,— произнес он тихо.— Я, быть может, только горилкой да вольною песней и душу козацкую спасаю.

И, как бы сожалея о вырвавшихся у него прочувствованных словах, Чарнота круто повернулся и широкими шагами направился к пылавшим в глубине кострам.

— Славный козак! — посмотрел ему вслед Половец и пошел вместе с Кривоносом расставлять сторожу, ворча себе под нос: — Не ровен час... береженого, говорят, и бог бережет.

У узкого входа в ущелье поставили двух козаков. Шесть других отошли дальше и образовали цепь вокруг оврага.

Приближение Чарноты заметили и в толпе.

— Чарнота, Чарнота идет! — зашумело ему навстречу множество голосов.— Огонь-козак! Его обрать атаманом! Он проведет и в самое пекло!

— Верно, верно! — загудели козаки.

— Н-да! — повел бровями Пешта.— Провести-то проведет, да выведет ли обратно? Пожалуй, там всех и оставит.

— Молодец на фокусы,— тихо вставил Бурлий,— а нам надо голову...

Еще один путник приблизился к спуску. Это был слепой бандурист. Он шел уверенно и смело, и даже та палка, которую он держал в руке, не служила ему опорой в пути.

— Все? — спросил бандурист у Кривоноса.

— Кажись, все,— ответил тот и, бросив последний взгляд на правильно расставленных вартовых, или часовых, повернул вместе с Половцем к оврагу.

Между тем крики в толпе принимали все более и более угрожающий характер.

— Атамана! Атамана! — кричали кругом.

— В чем дело, братья? — спросил тревожно бандурист ближайших козаков.

— А, Нечай! Нечай пришел,— закричало сразу несколько голосов,— и он, братове, козак не последний!

Но из группы Пешты раздались более громкие голоса:

— Атамана, атамана обирать!

— Своего, а не ляшского! Кого б только? — замялись и затихли вдруг голоса.

— А что ж это я не вижу здесь нашего Хмеля? — обратился тихо к Чарноте Нечай.

— Да, его еще нет здесь,— оглянулся кругом пристально Чарнота,— я уже искал его.

— Как нет? А Кривонос сказал, что все в сборе,— изумился Нечай.

— Верно, обознался,— заметил Чарнота и прошелся снова от костра до костра.

— Нечая! Пусть Нечай нас ведет! — раздалось в одном месте.

— Чарнота! — откликнулось в другом.

— Пешта, Пешта! — загомонели сильней голоса в центре.

— А про Хмеля забыли? — крикнули разом Чарнота и Нечай.

— Обойдется и без него! Бумаг нам писать уже не нужно! Годи! Годи! — поднялись раздраженные крики со стороны козаков, окружавших Пешту.

— На кой черт? Что он за гетман такой? Все товарыство в сборе, а его нет! — загалдели со всех сторон.

— Нет, панове,— возвысил голос Пешта, замигав, словно сова, своими желтыми белками.— Хмеля нужно подождать: я сам подаю голос за Хмеля. Он все-таки

в великой чести у ляхов, так, может, и за вас доброе слово замолвит, да и не так достанется всем за избрание: ведь вот меня и Бурлия, да еще кое-кого совсем вон, за хвост, стало быть, да в череду, а Богдан все-таки остался сотником... а вскоре, может, и полковником будет.

— Ну,— усомнился Бурлий,— разве поцелует папежа в пятку? [85]

— Так что ж это? Продает он нас, что ли? — закричали кругом несколько голосов.

— Торгуется! — процедил сквозь зубы Пешта, и хотя это слово было произнесено не громко, но оно упало на ближайших словно искра в бочку пороха.

— Долой Хмеля! Изменников не надо! Пешта атаманом! Бить ляхов и ляшских подножков! — заорали кругом.

— Кто против Хмеля? — крикнул Чарнота, выбиваясь вперед и разбрасывая толпу.— Кто обзывает его изменником? Ну, выходи, померяемся силой! Эта рука и эта грудь,— ударил он себя кулаком по груди,— ручаются за него!

— Правда, правда! — раздались в задних рядах одинокие голоса.— Он — честный козак!

— Не только честный — первая голова! — гаркнул Нечай.

— Если он умеет ладить с панами, так вы готовы на него горы вернуть,— продолжал Чарнота, горячась все больше и больше.— Тут клевещут из зависти, а вы развесили уши.

— Да что ты тут разговариваешь? — послышались в ответ разгоряченные голоса.— Какого нам черта в его раде?.. Чтоб снова предложил листы писать? Обирайте атамана! Долой Хмеля! Пешту, Пешту! — кричали с одной стороны.

— Брехня, брехня! Хмель славный козак! — заревели с другой.

— Ну, заварилась каша,— шепнул тихо Пешта, наклоняясь к Бурлию,— а мы что? Наше дело сторона! — усмехнулся он злобно и стал прислушиваться к крикам толпы, отпуская иногда два-три метких слова и разгорячая тем еще более обезумевшие от отчаяния головы.

— Поспешим: там что-то неладное,— тревожно за-

торопился Кривонос, спускаясь в овраг и поддерживая Половца под руку.

— Ох, не Пешта ли? — качал головою Половец.

Издали картина представлялась чем-то сверхъестественным и страшным. Гигантские костры, расположенные в двух концах ущелья, подымали целые снопы яркого пламени и раскаленных искр. В этом ярко-красном свете пурпуром горели нависшие снежные своды, а свисшие над ущельем громадные дубы и сосны казались вылитыми из раскаленной меди. Дикими и ужасными вырисовывались разгоряченные, темные лица козаков, а общий крик, слившийся в какой-то дикий гул, наводил на душу суеверный подавляющий страх.

— Хмель идет! Хмель идет! — крикнул Нечай, махая над головой шапкой.— Вот кого обрать атаманом, вот голова!

— Нет, нет, это Кривонос! — отозвался кто-то при входе.

— Его атаманом! — крикнули дружно одни.

— Кривоноса! — подхватили другие.

— Пешту, Пешту! — раздались голоса из глубины.

Но все эти возгласы покрыл снова один бешеный крик:

— Смерть ляхам! Смерть Потоцкому! Рубить, жечь!

Кривонос несколько раз пытался было говорить, но дикие, необузданные крики совершенно заглушали его голос.

Наконец ему удалось взобраться на довольно широкий и высокий пень и, поднявшись значительно выше толпы, он закричал насколько мог громким голосом:

— Слова, братья, прошу!

На мгновенье воцарилась тишина.

— Братья, от крику ничего не будет,— начал Кривонос.— Мы собрались здесь раду держать, а не ругаться, как перекупки на базаре.

— Снова раду затеяли,— заметил ехидно Пешта, обращаясь к окружающим козакам.

— Раду? Довольно! Листов нам больше не надо! Слезай! Довели уже своими петициями до краю! — раздались голоса из задних рядов.

— Да что вы, дьяволы, не узнали, что ли, Кривоноса! — гаркнул Кривонос уже с такой силой, что жилы

надулись у него на лбу.— Я пишу свои петиции не чернилами, а кровью!

— Да это Кривонос! — раздались крики из передних рядов.— Слушайте, слушайте! Он верный козак!

— Рубить ляхов, жечь! — поднялись было неулегшиеся крики, но Кривонос уже заревел, протягивая вперед руки.— Стойте, вражьи сыны! — и все стихло помалу.— Кой черт вам говорит, чтоб их миловать? Милуют они нас, ироды? Нет для меня большего праздника, как топить их в их дьявольской крови!

— Так, так! Молодец! Слава! Веди нас, веди сейчас! — сорвался дружный крик.

— Спасибо, братья! — поклонился Кривонос.— Только... Да, слушайте ж, ироды! — продолжал он далее охрипшим от напряжения голосом.— Вот вы тут избирали атамана и, дякую вам за честь, и мое поминали имя, только, братья, разве это порядок? Разве мы все тут? Разве без наших братчиков-запорожцев можно выбирать кошевого?

— Правда, правда! — отозвались в некоторых местах голоса, и волнение начало упадать.

— Так вот что, братцы,— продолжал Кривонос,— слыхали вы все, как приветствовал нас сегодня польный гетман, и мы им это не подаруем. Порешим же сначала, где бить ляхов, с какого конца их шкварить?

— Решай, решай, друже! — отозвались отовсюду остервенившиеся голоса.— Головами наложим, а помстимся над ними!

— Ух, помстимся же! — оскалил зубы Кривонос и засучил рукава на своих мохнатых руках.— А думка моя такая: в Брацлавщине Богун собрал уже отряд добрых молодцов и ждет подмоги. Кому жизни не жалко, кому не страшно смерти, идите ко мне! Мы им вспомним все ихние наруги и декреты! Мы вымотаем панские жилы, поджарим их клятых ксендзов, насмеемся над их костелами, как они смеются над святыми церквями! Братья, кому нет радости в жизни, идем в Брацлавщину, и я вас туда проведу.

— Спасибо! Слава, слава Кривоносу! — раздались кругом восторженные возгласы.

— Постойте, постойте, братья! — закричал Нечай, подымаясь на пень рядом с Кривоносом.— Не в Брац-

лавщину пойдем, а на восток. Я был у донцов, они обещали нам большую подмогу.

— Что донцы, брат? — возразил Кривонос.— Брацлавщина свободна от войск, а к востоку стянулись все коронные рати.

— Правда, правда! Слезай, Нечай! В Брацлавщину веди нас! Нам нечего терять!

— Постойте, постойте, братья! — начал было один молодой козак, вскакивая на пень, но толпа не дала ему говорить.

— Молчи! Слезай! Умнее не скажешь! — раздалось со всех сторон. И несколько пар сильных рук протянулись к пню, и в одно мгновение козак исчез в толпе.

— Пусть Пешта говорит! Говори, Пешта! — закричали окружающие Пешту козаки.

Пешта поднялся было на пень; но крики и свист, раздавшиеся с противоположной стороны, заглушили его слова.

В это время взобрался на пень Половец и, не имея голоса, чтобы покрыть забурлившую снова толпу, начал махать руками и усиленно кланяться на все стороны, чтобы обратить на себя внимание.

— Половец-дид хочет речь держать! — подняли ближайшие шапки вверх.

— Дети мои, сыны мои,— начал дрожащим от волнения голосом дед,— не то что сыны, а внуки! Стар я, послужил на своем веку моей дорогой Украйне, а все-таки не хочется умирать, не учинивши какой-либо послуги... Не годен я уже на эти походы, дорогой разгублю свои кости... Там, на льду, осталось наше знамя, мы с ним состарились вместе. Так позвольте мне, панове товарыство,— поклонился он с усилием на три стороны,— лечь рядом с ним... Я пойду, полезу, прокрадусь в замок и всажу пулю в лоб этому извергу, этому сатанинскому выплодку, что так насмеялся, наругался над всем, над всем, что у нас было святого...

У старика тряслась покрытая серебряными пасмами голова, по щекам струились слезы. Вся его согбенная фигура, освещенная с одной стороны красным заревом, производила потрясающее впечатление и взывала к отмщению.

— Знамя, братцы, знамя! — вырвался среди толпы стон и заставил всех вздрогнуть.

Наступило грозное молчание.

— Старца не допустят... на кол посадят,— кто-то тихо вздохнул.

— Стойте! — раздался чей-то зычный, удалой голос.

На пне, возвышаясь над всей толпой, стоял Чарнота. Клок белокурых волос вырвался у него из-под шапки, голубые глаза горели воодушевлением.

— Братья, товарищи,— кричал он, хватаясь за саблю,— да мы сейчас, сегодня же можем разметать ляхов!

От охватившего его волнения голос Чарноты прервался на миг, но он продолжал снова с возрастающим огнем:

— Я был возле замка; там идет повальное пьянство. Жолнеры расквартированы далеко. В замке душ полтораста панов да триста солдат. Через два-три часа все будет лежать покотом. Да разве каждый из нас не возьмет на себя по пяти пьяных ляхов? Я беру десять! Зато уж пошарпаем гнилую шкуру Потоцкого, осветим замок, да и посмеемся же, братья, за наш позор, за Маслов Став!

Страшный, исступленный крик не дал ему окончить.

— Идем! — бурей заревело кругом. Сотня рук протянулась к пню подхватить Чарноту. Напрасно пытался говорить Нечай, напрасно кричал Кривонос,— толпа не желала больше слушать никого и ничего. Как поток бешеной лавы, двинулась она к выходу.

Вдруг неожиданно выросла против толпы у входа чья-то мощная и статная фигура.

— Остановитесь! — раздался повелительный крик.

Толпа отхлынула и окаменела...

Стоя в тени, никем не замеченный, Богдан удерживал порывистые движения Ганджи, решась не выдавать своего присутствия и не возражать пока против клеветы и ехидства, поднятых против него завистью. И кого же? Спасенного им же от смерти товарища! Эта черная неблагодарность, впрочем, не так возмутила его, как сочувствие к клевете большинства. Богдану хотелось испить чашу до дна и убедиться, прочно ли к нему доверие товарыства или оно, как мыльный пузырь, может лопнуть от первого дуновения. Из богатого опыта жизни, толкавшей его всегда между всякого рода обществами, Богдан знал, что общее настроение их изменчиво и капризно, что их, как детей, может и увлечь слово,

и повергнуть в тупую тоску, но чтоб бездоказательное, голое слово могло сразу сломить уважение к заслуженной доблести, этого он не ждал, и глубоко оскорбленное чувство сжимало ему горечью горло и заставляло вздрагивать от боли сердце. И чем дальше прислушивался он к спорам и переметным крикам, тем эта боль разрасталась сильней и сильней. Чем-то диким, стихийным веяло от всего этого собрания; казалось, у всех старшин горело только одно неукротимое желание: бить и жечь ляхов, одно только ненасытное чувство мести. Но в этом бурном порыве Богдан видел мимолетную вспышку бессильной злобы за кровавое оскорбление. Это едкое раздражение способно было поднять толпу лишь на какую-нибудь безумную, отчаянную выходку, с единственной целью сорвать злость, опьянить себя местью; но оно решительно отнимало веру в созревшую силу, готовую обречь себя на беспощадную и упорную борьбу. Богдан слушал эту бесформенную, бурливую злобу и решал мучительный вопрос: «Можно ли ею воспользоваться для борьбы, направить на благо для родины ее кипучий поток? Нет, еще не приспел час, еще они не готовы,— выяснилось у него сознание,— нужно еще собирать силы, организовать их, окрылять разумною целью. Много погибло этих сил в неравной борьбе, а потому-то нужно щадить уцелевшие и прививать к ним новобранные. Не дай бог растратить последние силы по-пустому, ради удали или безумной вспышки, а вот этого именно теперь опасаться и нужно»,— соображал Богдан, глядя на возбужденные лица, на огненные глаза... И когда Чарнота начал подбирать толпу, чтобы броситься на замок Конецпольского, у Богдана оборвалась душа, упало сердце. «Безумец! Он поведет их на погибель»,— мелькнуло в его голове, и молнией же сверкнула решимость: остановить, спасти...

Он решил стать грудью против этой толпы, против этого разъяренного зверя, и он крикнул: «Остановитесь!»

Это внезапное появление Богдана и повелительный крик отшатнули, ошарашили толпу; Богдан знал, что это продлится не более мгновенья, а потому и желал им воспользоваться для своих целей.

— Я имею сообщить вам важные новости! — произнес он громко, подчеркивая слова.

— Кто там? Что случилось? Засада? А? — послышались с разных сторон тревожные восклицания.

— Нет! Стойте! Это Хмель! Это писарь Богдан! — раздалось в ближайших рядах.

— Хмель? — крикнул Нечай.— Вот и отлично!

— Опять он! К черту! — забурлили в задних рядах.

— Да слышите ж, глухари, важные вести принес! — крикнул Кривонос.

— Верно, про новое слезное прошение к панам,— вставил тихо Пешта.

— Не нужно прошений! Ведьме на хвост их! — заревела снова и заволновалась толпа.— Смерть ляхам! Рушай!

— Стойте, черти! — гаркнул Кривонос.— Не галдеть! Слышите же: важные вести принес!

— Так пусть говорит! Скорей! Скорей! В замок пора! — не унимались возбужденные возгласы, но любопытство все-таки взяло верх и притишило бурлящую кипень.

— Во-первых, панове,— начал, овладевши собою, Хмельницкий,— я пришел вам сообщить план, как взять замок и по-свойски расправиться с врагами.

— А коли так, говори, говори! — обрадовались разгоряченные головы.— Мы рады тебя слушать.

— Видите ли? А тут что было? Нет, Хмель молодец! — послышались одинокие одобрения.

— Вам заявил и наш славный Чарнота, что напасть нужно не раньше, как часа через два, через три, когда перепьются мертвецки и паны, и гарнизон, а вы хотели, не слушая его, броситься сразу и попали бы прямо в зубы ляхам.

— Правда, правда! — загалдели козаки.

— Значит, братья, во всяком деле горячность вредит,— поднял голос Богдан,— а в военных справах найпаче. Вам Чарнота еще не все сообщил, так как он шел только около брамы, а внутри, на дворище замка, не был... Ведь правда?

— Да, не был... Это точно, пане Богдане,— ответил Чарнота.

— Ну, а я вот был там внутри и в самом замке и все осмотрел,— овладевал все больше и больше вниманием толпы Хмельницкий.— Вокруг замка расставлена артиллерия, внутри двора стоит триста гусар гарнизо-

на, на стенах вартовые, а кругом разъезжают патрули, хотя действительно остальные войска расквартированы версты за три.

— Так что ж это, значит, по-твоему, и добыть их нельзя? — поднялись недовольные голоса.

— Подвести, значит, нас хотели? — вырвалась у кого-то угроза.

— Да правда ли еще? — усомнился кто-то вдали.

— Что это правда, в том вы убедитесь сами, когда пойдем,— продолжал Богдан,— а подвести вас не мог и думать наш доблестный лыцарь Чарнота,— дай бог всякому такое честное сердце! Сгоряча только ему показалось, что можно легко ляхов перебить, а и погорячиться-то, братцы, можно, коли у каждого из нас кровью на них сердце кипит.

— Верно, верно! — раздался одобрительный говор кругом.— Добре говорит: видно, что голова!

— Только и эти идолы,— продолжал Богдан,— хитрые, да и боятся нашего брата здорово, как черт ладана. Разве неправда? Такую горсть нас собрали, а войск своих, и латников, и драгунов навели страх! Пить-то засели в замке, а обложились и гарматами, и гаковницами, и залогами и по степи снарядили разъезды.

— Дьяволы! — раздался общий крик негодования, но в нем уже не слышалось первого бешеного порыва, а скорее звучала тоска.

— Но я сумею добыть их, товарищи,— почти крикнул Богдан,— хотя бы у них была и тысяча рук!

— Любо! Хвала! — раздались голоса. —Веди нас, веди!

— Слушайте, мои друзи и братья,— продолжал Богдан,— я передам тому, кто поведет вас, мои разведки, мои соображения, мои планы, и сам подчинюсь ему,— ведь нужно выбрать доводца найчестнейшего, незапятнанного никаким подозрением, кому бы вы безусловно верили, уважения к кому не подорвала бы никакая низкая клевета,— у Богдана от подступившего чувства волнения и боли оборвались слова.

— Тебя... тебя, Богдане, просим,— поднялись не совсем еще дружные голоса.

— Мы тебе верим! — крикнул Чарнота, а за ним подхватили и Кривонос, и Нечай, и Ганджа: — Верим, как себе!

— Верим! — отозвались глухо углы.

— Спасибо вам, братья,— поклонился Богдан,— только и это ваше слово вылетело сгоряча, простите на правде! Разве искренне можно верить тому, кто в продолжение двадцати лет не доказал ничем ни своей доблести, ни любви к Украйне? — в голосе Богдана звучали горькие ноты.— Хотя под Цецорою я и бился в рядах, так то за наше общее отечество против басурманов; хотя под Смоленском я первый взлез на вал и вырвал у неприятеля знамя, так это опять-таки, может быть, ради получения сабли в награду; хотя под Москвою надо мной разорвало бомбу и ранило осколком вот в эту грудь, так это, вероятно, я ее подставлял для того, чтобы похвалиться перед панами. Хотя я вот с друзьями моими Нечаем и Кривоносом да с честными лыцарями и сжег Синоп, да два раза пошарпал еще Трапезонт и Кафу [86], да вызволил сотни три невольников, покативши славой до самого Цареграда,— так и это было делом ехидства, чтоб украсть доверие себе у славного товарыства.

— Что ты, батьку, клеплешь на себя? — послышался из середины растроганный голос.

— Да если б это не ты сам на себя взводил такую напраслину, так я бы тому вырвал язык изо рта! — брязнул саблей Кривонос.

— Слава Богдану, а клеветникам трясця в печенку! — раздались восклицания.

— Хотя я... дайте досказать, товарищи, мои думки, много их столпилось, давят! — продолжал Богдан приподнятым голосом, дрожавшим какою-то скорбной волной.— Давно это было, лет тридцать назад; вскоре после наших славных морских походов... Помните, какой заверюхой закружились над нами ляхи, какая на нас гроза поднялась отовсюду? Так вот с Михайлом Дорошенком [87] да Половцем мы разбили под Белою Церковью поляков. Ну, так они хотели тоже уничтожить, истребить козаков, да я отправился с Дорошенком к коронному гетману и успел убедить его постоять за нас в сейме,— и дело кончилось Куруковским договором.

— Что и толковать! — пробежал говор между сомкнутыми рядами.

— Верно,— не прерывал речи Богдан.— Нам три года ляхи не платили жалованья; я с Барабашом

отправился хлопотать к королю и выхлопотал его. Поднял, вопреки моему совету, восстание Павлюк, я ему сообщал через Чарноту все сведения относительно движений и сил кварцяного войска. Кто дал возможность Скидану уйти от преследования ляхов? Я, это знает Нечай! Кто провел Филоненка к Гуне? Я, это известно большинству здесь стоящих.

За каждым вопросом Богдана, словно рокот несущегося прибоя, возрастали глухие, одобрительные возгласы, смешанные с угрозами, направленными в сторону Пешты.

— Служил-то я родине моей и преславному козачеству, как мне казалось, щыро и честно, не жалеючи живота, а вот говорят почтенные люди, что все это делал я из корысти, чтоб добыть себе панскую ласку, и я должен этим почтенным, заслуженным людям верить. Только вот не знаю, как это привязать к панской ласке, что меня в Каменце держали раз месяца три в тюрьме, в Кодаке потом сидел в яме и, если б не Богун, висел бы на дыбе, в стане Вишневецкого чуть не угодил на кол, да и теперь вот наказан-то один я! Ведь полковники сменены не по личной вине, а по ординации, потому что сейм постановил давать эти места лишь католикам, да и то от короны, а меня понизили по моим личным у панской ласки заслугам. Моим друзьям, Бурлию и Пеште, можно смело голосоваться и быть выбранными во всякую, кроме полковницкой, должность, а мне уже своего каламаря, как ушей, не видать... Но говорят мои почтенные друзья, что это для меня повышение, награда, и я должен им верить!

— Врут они, врут! — раздались уже грозные возгласы, и загоревшиеся гневом глаза метнули молнии в глубину ущелья.

— Клеветники подлые, гадюки! — поднялись вверх кулаки во многих местах.

— Мы тебе верим! Ты лыцарь и голова! — перекатывалось волной.

— Стойте, любые братья, не горячитесь! — продолжал Богдан увереннее, воспламеняясь все больше и больше и предвкушая уже победу; глаза его горели благородным гневом, движения были величавы, вся мощная и статная фигура выражала гордость, сознание собственной силы и достоинства, неотразимо влиявшего

на толпу.— А проверьте холодным разумом мои слова, и вы увидите, что я прав: Запорожье у нас теперь единственный и последний оплот, как это вам всем хорошо известно, а вот из Кодака хотел было броситься немедленно на Низ Ярема, да мне удалось удержать его... Он, впрочем, решил, собравши больше арматы, разгромить его с Конецпольским. Наши горячие головы хотели было ударить на панские хутора и потешиться местью; но я был убежден — и клянусь богом, всем сердцем моим,— что горсти не справиться с коронными силами, что пропадут даром наши лучшие лыцари и что нужно выиграть время на собрание и укрепление сил для борьбы. Ведь Польша может легко выставить и кварцяных, и надворных войск с посполитым рушеньем [88] двести тысяч и больше, а мы, изнеможенные и разбитые, что́ можем противопоставить этой чудовищной силе?.. Лишь свою беззаветную храбрость и удаль, да к ним еще и кровавую обиду в придачу. Небо беру в свидетели, что я это считал и считаю истиной... Но говорят честные, преданные родине люди, что я все выдумал для обмана, из-за корысти, и я должен им верить!

Толпа мрачно молчала, подавленная силой истины и упрека.

— Говорил я это и Тарасу, и Павлюку, и Степану [89], чтоб не отваживались с горстью, а собрали бы исподволь, да такую уж силу, чтоб сломила гордую Польшу... Да что с горячими, удалыми головами поделаешь? Летят вихрем-бурею, не считая врага, а спрашивая лишь, где он? Ну, и что ж? Много славы и неслыханной отваги проявили они, заставили заговорить о себе целый свет, заставили содрогнуться в ужасе Польшу... а в конце концов все-таки подавили удальцов и обрезывают с каждым годом наши права.

Послышался тяжелый вздох сотни грудей, словно вздохнула пастью пещера.

— Я упросил, я убедил товарищей моих дорогих воздержаться от необдуманных и неравносильных схваток,— продолжал Богдан, и в его тоне уже слышалась гордая самонадеянность,— не раздражать, а усыпить врага мнимым смирением и слезными прошениями, чтобы тем временем собрать силы. Да! Я взял на себя этот грех! Никто из нас, помните, друзи, не придавал этим прошениям никакой цены и не ждал от них

пользы... Но, как мне кажется,— да поможет нам во всяком деле господь! — наши старания не только не пропали марно, а принесли пользу, и большую даже, чем я ожидал...

— Как? Что? — насовывались задние ряды.

— Тише! Слушайте! — останавливали шум передние.

— Говори, батьку! — крикнул кто-то.

— Да вот,— продолжал Богдан, окидывая победным взглядом толпу; вокруг него доверчиво теснились знакомые, близкие лица, и он чувствовал уже всем своим замирающим сердцем, что эта стоголовая толпа была у него в руках.— На Запорожье за это время собрались уже добрые силы, Богун собрал отряды на Брацлавщине, Нечай успел присогласить донцов, у Кривоноса live пособраны тоже ватаги.

— Да, да! Это правда! — отозвались ободренные голоса.— Так и унывать нечего! Хвала Хмелю!..

— Нет, братья, не хвала,— вздохнул Богдан,— а позор! Я сам сначала был рад за себя, тем более, что получена еще неожиданно добрая весть. Но говорят верные и преданные люди, что через мое прошение постигла нас кара, что я торговался и продавал, как Иуда, моих братьев, и я должен верить этому позору!

— Ложь! Клевета! — вырвался бурею крик.— Кто пустил? Кто осмелился?

— Стойте, братья! — скинул шапку Богдан.— Я не могу не верить,— ведь это говорил благодарнейший и преданнейший мне человек, это говорил тот, которого я спас от смертной казни, у палача вырвал из-под топора!

— Зрадник! Иуда! — заревели в одном конце.

— Подать его! На расправу! — поднялись кулаки в другом.

Пешта давно уже бледнел и дрожал, предвидя налетавшую грозу и чувствуя, что у него нет средств защититься от занесенного над головою удара: и досада, и злоба, и зависть жгли ему сердце, мутили желчь и искривляли судорогами лицо, но когда взрыв негодования поднялся и овладел всею массой, то чувство ужаса пересилило у него все ощущения, осыпало спину морозом и проняло лихорадочною дрожью. Видя безысходную гибель, Пешта решился на отчаянный шаг — от-

дать себя под защиту им же оклеветанного и поруганного Богдана.

Он быстро подошел к нему и с глубоким поклоном сказал:

— Прости меня, благородный товарищ, не в том, что я усомнился в твоей честности,— за нее я сейчас отдам свою голову,— а в том, что я тоже поверил, будто твои искренние советы не дали добрых плодов... Что ж? Человек-бо есмь! Горе затуманило и меня, как и всех пришибло... А коли человек в тоске, так ему черт знает что лезет в голову! Каюсь, вот перед всем товарыством каюсь и у него тоже прошу о прощении.

— Ишь, какой лисой! А что брехал? — засмеялся кто-то в толпе.

— Проучить бы ирода! — зашипели в двух местах грозно.

Но Богдан уже был удовлетворен: он торжествовал, завистник и клеветник был уничтожен, а потому с благородною снисходительностью он протянул Пеште руку.

— Успокойся, Пешта! Я хочу верить, что ты теперь говоришь искренне; мне больно было бы убедиться, что я целую свою жизнь и думал, и действовал не на пользу, а во вред безмерно любимой мною стране... Но если вы все иначе думаете, то мне остается только всего себя и все свои силы отдать на служение моей родине и моей найдорожшей семье — славному и честному товарыству.

— Слава, слава Богдану! Молодец! Лыцарь! Батько! — посыпались приветствия со всех сторон.

— Веди нас на ляхов! — подхватили снова горячие головы.

— А вот еще, панове,— поднял вверх лист бумаги Хмельницкий, желая отвлечь толпу от вновь готового вспыхнуть азарта,— знайте, братья,— продолжал он окрепшим, громовым голосом,— декрет, прочитанный на Масловом Ставу, был продиктован лишь сеймом, король же особо через канцлера Оссолинского пишет нам.

— Король? Сам король? — зашумела, заволновалась толпа.

— Бумага? Читай, читай! — раздались отовсюду радостные голоса.

Пешта провалился куда-то в тень, Бурлий тоже

затерялся в толпе, а Богдан продолжал уже говорить властно, поднявши над головою пергаментный лист:

— Панове! Король просит передать вам, что тот декрет подписан насильно его рукой, что душою его найяснейшая мосць — наш, что в нас только он и видит опору, но не может ничего сделать, потому что сейм обрезывает ему волю. Король жаждет войны, так как она даст ему в руки целое войско и позволит увеличить и наше число; когда же он станет на челе войск и крепкой рукой обопрется на нас, тогда мы сотрем кичливую голову сейма и получим новую ординацию от нашего короля.

Богдан остановился на мгновенье; фигура его, освещенная кровавым заревом догоравших костров, была величественна и влекла к себе сердца обаянием таинственной силы.

— Друзья! — вырвал он из ножен драгоценную саблю.— Вот письмо Оссолинского! Король поручает нам поднять войну. Он советует нам пошарпать турецкие границы и вызвать Турцию. Деньги на чайки и на поход мы получим!

— Слава, слава! Хай жые! — раздались восторженные крики, а в ином месте приподнялись десятки рук с шапками, в другом — засверкали клинки.

Недавнего тупого отчаяния, позорного унижения и дикой злобы не было и следа; глаза у всех горели энергией и надеждой, лица дышали отвагой, движения кипели удалью и силой!

— За короля! Мы за него, а он за нас! — стоял уже гвалт.— А ты, Богдан, ты будешь нашим атаманом!

Последний возглас ошарашил Богдана, как удар палаша: он его ждал и страшился. Сам того не замечая, Богдан связал себя и поставил в безвыходное положение. Броситься с ними на Запорожье, самовольно удалиться от службы, принять участие в походе, сжечь за собою все корабли... О, это было бы еще слишком рано, слишком рано!

Холодный пот выступил у Богдана на лбу, а все козачество между тем единодушно восклицало:

— Слава Богдану! Ты наш атаман! Веди нас, веди!

— Панове братья! — поклонился, сняв шапку, Богдан на три стороны.— Спасибо вам за великую честь, которой, быть может, я и не стóю, только не будем го-

рячиться, а обдумаем лучше и серьезнее все... Тут не все мы и в сборе... Нельзя нарушать наших старых обычаев и прав... есть ведь люди и постарше меня. Обсудим целым кошом, на чем рада станет... А то сгоряча опять бы не сделать какого промаха. Ведь вот, примером, мой приятель и опытный лыцарь пан Кривонос хотел же сейчас, зимою, по снегам, отправиться в поход,— коней, вместо подножной травы, кормить снегом.

— Да, да,— засмеялись весело все.

— Поймал, брат, точно! — почесал Кривонос, улыбаясь, затылок.— Эк, угораздило с запалу!

— Значит, моя рада такая, коли моего глупого слова послушаете...

— Глупого? Соломона заткнет за пояс! — мотнул головою Чарнота.

— Говори! Как не послушаться? — замахали шапками все.— Теперь ли, после ли, а атаман ты наш, да и баста!

— Так вот что, братья: и Кривоносу, и Богуну, и Нечаю, и всем, по-моему, стянуть силы на Запорожье, укрепить его на всякий случай, снарядить чайки: одна часть ударит морем на турок, а другая суходолом — на татарву, чтобы затянуть басурманов в войну.

— Любо! Любо! На Запорожье рушать! — загалдели все, трепля друг друга по плечам и оживляясь задором.

— И ты с нами на Запорожье! — положил руку на плечо Богдана Нечай.

— С нами, с нами вместе! Не отступимся от тебя! — теснились к нему козаки.

— Панове друзи! — попробовал еще отшутиться и проверить настроение толпы Богдан.— А замок забыли? Может, пойдем брать его?

— К дьяволу замок! Не до жартив, коли такое дело! — воспротивились все.

— Это так! — махнул шапкой Чарнота.— За час до этого я не знал, где бы разбить башку свою поскорей, а теперь для такой справы поберегу и ноготь.

— Да, пожалеет тот, кто умер раньше,— поправил ус Кривонос,— а я пожалею, что у меня не четыре руки. Так завтра же до света, Богдане, на Запорожье!

— Я б после... Не распорядился дома...— замялся Богдан.

— Слушай, Хмеле,— строго взглянул ему в глаза Кривонос,— уж коли по щырости, так по щырости; на свое сотничество начихай, а послужи Украйне: ты и для укрепления Сечи необходим, и для похода, и для всего,— одна ты у нас голова, на тебя у всех и надежда.

— Что же, Богдане? Ужели у тебя дело в разлад идет со словом? — устремились на него взоры всех.

Краска ударила в лицо Богдану.

— Нет, братья, нет! — произнес он, отбрасывая голову, и протянул руки ближайшим.— Бог видит, нет в моих мыслях лукавства! Дайте мне только одну минуту... распорядиться...

— Мы верим тебе, брате! — произнесли разом Кривонос, Нечай и Чарнота.

В стороне Богдан заметил Ганджу.

— Брате,— заговорил он поспешно и тихо,— сложилось так все, что должен я ехать на Запорожье. Вернусь ли когда, не знаю сам. Одна к тебе просьба: исполни, друже, слова не пророни! Скачи в мой хутор; присмотри за моими; передай Ганне, что ей одной я поручаю семью. Скажи, чтобы помнила, чтобы молилась! Да вот еще: я напишу три слова коронному гетману. Помни, от этой записки зависит многое, тебе ее поручаю, постарайся передать только ему в руки.

— Все передам, все сделаю, брате,— ответил угрюмый Ганджа.

Богдан сжал ему руку, подошел к Кривоносу и Чарноте, снял с головы высокую шапку и, поклонившись всему козачеству, произнес голосом твердым и громким:

— Панове, едем! Я ваш!

— На Запорожье! — как один голос раздался восторженный крик множества голосов, и сотня обнаженных сабель взвилась над его головой.

XIV

Морем разлился Днепр и неудержимо несет свои мутные воды; кружится водоворотом у круч, режет песчаные берега, бросается боковою волною на потопленные острова и мчится бурно серединой. На огромном водном пространстве мережатся то сям, то там верхушки верб и осин: в иных местах низкорослый верболоз и

красно-синяя таволга, унизанные изумрудною зеленью, колышутся волнами, словно засеянные на воде нивы; изредка, в одиночку, угрюмо торчит из воды своею обнаженною чуприной либо дуб, либо явор, а там дальше — синева разлитых вод сливается с туманною далью.

Только правого, более высокого берега не одолеть разгулявшемуся Днепру; обвил буйный многие острова своими пенистыми волнами, да не осилит гранитных глыб: гордо они выставили свою каменную грудь против стремнины и защищают любимцев своих козаков-запорожцев. Издавна уже поселились те на этих диких гнездах орлиных и оживили удалью глушь, а теперь пестрою толпой копошатся на берегу наибольшего острова. Все они заняты усиленной работой — постройкой флотилии чаек. Ласковое весеннее солнце обливает яркими лучами и одетую в нежный наряд природу, и кипящую пестрою картиной на берегу жизнь. Словно муравьи, рассыпались запорожцы, разбились на разные группы и хлопотливо работают, снуют по берегу и по лугу: одни выдалбывают для оснований чаек громаднейшие стволы столетних лип, другие пилят ясень и берест на доски, третьи смолят и паклюют оконченные, сбитые чайки, некоторые по колени в воде тянут веревками бревна на берег, а иные на легких челнах ловят их по Днепру. Во многих местах на берегу пылают и дымятся костры: здесь в котлах кипятят смолу, там кашевары готовят обед, а вон, под лесом, парят для обручей лозу. Шум, говор и гам стоят в воздухе, и разносятся далеко эхом перебранки; крики заглушаются стуком топоров и молотов из длинного ряда кузниц; из ближайшего острова доносится треск падающих деревьев. По временам прорезывает весь этот гам или зычный крик с острова: «Лови! Переймай!» — или удалая, затянутая могучим голосом песня.

По одеже группы пестрят живописным разнообразием: между серыми из простого сукна свитками краснеют во многих местах и дорогие жупаны, и бархатные кунтуши, и турецкие куртки, между синими жупанами яркими пятнами белеют шитые золотом и шелками сорочки... А на самом припеке в живописных позах лежат и покуривают люльки совершенно обнаженные козаки, блистая своим богатырским, словно из бронзы вылитым телом. Издали весь этот копошащийся люд

кажется тучей красненьких, весенних жучков, прозванных в Малороссии козачками.

В северной части, внутри острова, растет лесок вековых дубов, ясеней, грабов, а ближе к самой круче Днепра кучерявится уже светлою зеленью более молодая поросль кленов. Здесь под присмотром опытного старого чайкаря Верныдуба рубятся тонкие и высокие деревья на мачты, а в леску небольшая кучка козаков рубит величественный ясень под корень. С трех сторон врезывается сталь секир в его мощную грудь; при каждом ударе влажные белые щепки летят в сторону, дерево вздрагивает и издает короткий, глухой стон; зияющие раны проникли уже глубоко внутрь и скоро коснутся сердцевины.

— Проворней, братцы, проворней! — командует седоусый козак Небаба [90], заведующий рубкой.— Через десять дней поход, а нам еще нужно четыре чайки построить. Гей! — взглянул он на ясень,— полезай там, который из новых, молодших, да закинь веревку за ветви: нужно, братцы, валить дерево вон в ту сторону; там способнее будет отесывать, а то, гляди, чтоб оно не шарахнуло в гущину, тогда, кроме лому, ничего путного не выйдет.

— Да, оно как будто бы действительно норовит на гущину гепнуть,— глубокомысленно соображал, вонзив топор в ясень и раскуривая свою люльку, мрачный, средних лет запорожец, весь испещренный шрамами, Лобода.— Сюда, ко мне как будто и накренилось, и уже трохи хрипит... должно, скорую смерть чует,— присматривался он, поднявши голову к вершине,— качает уже, братцы, качает... А что же не лезет никто?

Переглянулись недавно прибывшие Иван Цвях и Гузя, почесали выбритые затылки, повели плечами, а лезть не решились.

— Что же вы, гречкосеи, чухаетесь, а лезть не лезете? — прикрикнул на них седоусый Небаба.

— Да боязно,— несмело ответил Гузя,— вон где высоко начинаются голья... Вскарабкаться-то можно,— а вот как вместе с деревом шлепнешься, так только мокрое место останется.

— Ишь, отъелся на хуторах галушками, так и вытрусить их не хочет,— ворчал дед.— Коли уходил от ляшского канчука к братчикам, так не затем, чтобы не-

житься, а затем, чтобы закалить свою силу и удаль, чтобы приучить себя ежедневно смотреть на курносую смерть, как на потаскушку, и презирать ее, вот что! А то мокрое место! Сухенькое любишь? Перину тебе подостлать, что ли?

— Полезу я,— отозвался средних лет запорожец, с благородными чертами лица, легший было под ясенем отдохнуть и покурить,— ведь я тоже не из давних.

— Нет, что ты, Грабина,— остановил его Небаба.— Лежи: не пристало тебе, при твоих летах, по деревьям царапаться,— ты и так уже заслужил отвагою славу... А вот эти молодые лантухи...

— Да я не то,— оправдывался сконфуженный Цвях.— Оно, конечно, кто говорит, только вот, если подумать, как будто... а оно, конечно, плевать! Ну все же, если бы кто легкий полез, чтоб, стало быть, дерево выдержало. Вон, примером, хоть он! — указал храбрец на молодого хлопца, бежавшего веселою припрыжкой к кленовому леску.

— Да, это верно! — заметил Лобода, выпустив люльку изо рта.— Гей! Морозенко! — махнул он рукой.— Стой, чертов сын! Куда ты? Слышишь, Олексо? Го-го! Сюда!

Хлопец, услыхав крик, остановился и повернулся к кричавшему: это был наш знакомый Ахметка, немного возмужавший, окрепший, но с таким же беспечно детским выражением лица и приветливою улыбкой.

— Кричат, а ему как позакладало!

— Да я не привык еще добре к вашему прозвищу,— оправдывался подошедший хлопец.— Вот если бы кто крикнул: «Ахметка», так я за двое гонов почул бы.

— Э, пора, хлопче, забывать тебе твою татарщину! — строго заметил дед.— Ты хрещеный, у тебя есть святое, а не поганское имя, а прозвище, коли его товарыство дало, должно быть для тебя дороже, чем королевский декрет.

— Диду, да нешто я не дорожу? — вспыхнул Олекса.— Карай меня бог! Это мне тогда спервоначалу было стыдно, что за отмороженные уши такую кличку дали, а теперь все равно — Морозенко так и Морозенко!

— Так и горазд! — подтвердил дед.— Ты уже и с ползапорожца, и господь тебя не обидел ни умом, ни отвагой: станешь славным лыцарем, добудешь себе

столько славы, что и прозвище твое станет на весь свет славным.

— Спасибо, диду, на ласковом слове,— поклонился Морозенко.— А что мне почтенное товарыство прикажет?

— А вот полезай на этот ясень да забрось веревку за вон тот сук! — показал дед рукой.

— Давайте! — схватил Олекса веревку, перебросил петлю через плечо и, как кошка, покарабкался вверх. Ясень слегка заскрипел и начал заметно качаться верхушкой.

— Не выдержит,— угрюмо заметил Лобода, усевшись прямо под деревом и смакуя люльку,— ишь, как его шатает ко мне! Хлопче, с другой стороны! Слышишь, Морозенко, с другой стороны залезай, не то пришибет!

— А ты-то сам чего сидишь? — заметил дед.— Башки не жаль, что ли?

— Да, как раз на тебя, Лобода, качает дерево,— заметил и лежавший в стороне Грабина.

— Эх! Вставать не хочется! — потянулся сладко козак и прилег навзничь, подложив под голову руки.— Успеем еще, коли что! Чему быть, тому не миновать: виноватого смерть найдет везде.

Грабина при этом слове вздрогнул и почувствовал, что острая льдинка вонзилась ему в сердце: какой-то ужас мелькнул у него в голове и заставил подвинуться дальше.

Вдруг раздался сухой треск; массивный ствол сразу осел, и не успел бы увернуться фаталист, как его раздавила бы страшная тяжесть; но верхушка дерева, описав дугу, ударилась при падении о соседние деревья, скользнула в сторону, и ствол, изменив направление, неожиданно навалился на ноги Грабины, а потом и на грудь. Благодаря только тому, что верхушка ясеня запуталась в ветвях, дерево не навалилось сразу всею тяжестью, но с каждой минутой верхушка, ломая ветви, садилась, и страшная масса надавливала все больше и больше богатырскую грудь; а хлопец Олекса успел во время падения соскочить и счастливо отделался только несколькими царапинами.

— Братцы! Кто в бога верует! Давит!.. Грудь трещит!.. Суд божий! — отрывисто, глухо стонал запорожец; лицо его посинело, глаза выпучились, из открытого

рта показалась кровавая пена. Одна рука была прижата деревом вместе с люлькой к груди, а другая, свободная, судорожно царапала землю.

— Гей! Ко мне! — крикнул повелительно дед.— Подставляй плечи под ясень! Вот сюда, поближе к нему! Эх, угораздило же его, несчастного! Совсем в стороне был, поди ж ты! Молчи, авось выручим!

Все подскочили к деду, подперли плечами оседавшее дерево и, укрепившись жилистыми руками в колени, начали расправлять спины, силясь приподнять хоть немного бревно.

— Ну, разом! — командовал дед.— Гай-да! Гай-да!

Напряглись четыре недюжинных силы, крякнув разом; но дерево не только не приподнялось вверх, а заметно еще опустилось. Новая команда — новое напряжение. Выступил на подбритых лбах пот, налились кровью на висках жилы; но все напрасно: очевидно было, что им не одолеть ужасающей тяжести.

— Братцы! Рятуйте или добейте! Невмоготу! На груди зашито...— стонал все тише и тише придавленный запорожец, а потом только начал хрипеть.

— Эх, дойдет! А ну еще, хлопцы! — просил уже дед дрогнувшим от жалости голосом.— Славный, братцы, козак, душа добрая, жалко!

Но все соединенные усилия были тщетны; неотразимая смерть приближалась.

— Гей! Сюда, го-го! — махнул рукою Олекса, завидев невдалеке идущего запорожца.

— Ради бога, скорей! — крикнул и дед.

Все оглянулись. К ним, широко и неуклюже ступая, спешил подбритый и с огненным оселедцем широкоплечий козак.

— Сыч! Сыч! — крикнули обрадованные козаки.— Помоги, дружище!

— Подсоби, любый! — взмолился с надеждой и дед.— Пропадет ведь козак ни за понюх таба́ки!

На одно мгновенье остановился лишь Сыч, взглянул на придавленного, смерил глазами дерево, расправил плечи и пробасил:

— Место!

Морозенко вздрогнул от этого голоса,— до того он ему показался знакомым,— и оглянулся; но перед ним стояла только широчайшая спина.

Товарищи пустили Сыча вперед. Упершись плечом и укрепив прочно ноги, теперь уже он скомандовал:

— А ну, ра-зом!

Что-то треснуло: или сломилась ветка, или у кого-либо ребро; но дерево дрогнуло и всколыхнулось запутавшеюся вершиной.

— Ну, сугубо! — крякнул Сыч, захвативши много воздуху грудью и напрягши свою колоссальную силу; ноги у него вошли ступней в землю, дерево почти въелось в плечо; товарищи тоже не пожалели последних своих сил...

Раздался более сильный хруст; ветви ясеня выпростались из смежных ветвей, и огромный ствол его стал тяжело и медленно подниматься.

— Рушил! Идет! — весело крикнул Олекса и, схвативши полено, уперся им тоже повыше в колоду.

— Брось это, Олекса! — крикнул ему, задыхаясь, дед,— беги скорей к Грабине, да оттяни его, коли можно...

Хлопец бросился к полумертвому запорожцу. Ясень был приподнят над ним, и Олексе удалось немного оттянуть потерявшего сознание козака, но ног еще дерево не пускало.

— Трошечки еще вверх! — крикнул Олекса, стараясь выдвинуть несчастному ноги. Наконец после нескольких усилий ноги были освобождены, и Морозенко отволок Грабину подальше на пригорок.

— Что он, дошел? — спросил запыхавшийся дед, присев над запорожцем, а тот лежал бесчувственно и безвладно, с бледным, посиневшим лицом и с запекшеюся на губах кровью.

— Нет, еще грудь подымается,— заметил Олекса, поддерживая голову козака,— а вот не раздавило ли ног?

Глянул дед: они были от колена почти до ступни облиты сочившеюся кровью и багрово синели. Приблизился с товарищами и Сыч.

— Добрые сапоги из красного сафьяна добыл! — покачал головою дед.— Только посмотреть надо, не разбита ли вконец ему грудь?..

Осмотрев со знанием знахаря тщательно и грудь, и ребра, и позвоночник у придавленного Грабины, дед приступил и к осмотру ног: оказалось, что ребра и го-

лени были целы и только содрана была до костей кожа.

— Ну, еще счастливо отделался,— вздохнул успокоенный дед,— крепкая у собачьего сына кость, дарма что панская! У кого из вас, братцы, есть горилка? — обратился он к козакам.

— Имамы ко здравию! — рявкнул Сыч так, что Олекса снова вздрогнул.

— Запасливый из тебя выйдет козак! — улыбнулся дед.— А и товарищ-друзяка такой, что дай бог всякому!

— Верно! — отозвались некоторые, ударив Сыча ласково по плечу.— А уж силища, так черт его и видел такую!

Дед влил в открытый рот раздавленному несколько глотков водки, и через несколько мгновений тот глубоко вздохнул, открыл глаза и обвел мутным взглядом своих друзей, еще не хорошо сознавая, что с ним случилось и где он находится.

— Приди в себя, друже,— погладил Грабину дед по чуприне.— Напугал как! Ведь словно мешок с творогом нагнетило...

— Где люлька? — произнес полусознательно первое слово Грабина, все еще мутно глядя.— Цела ли?

— Ишь ему, вражьему сыну, про что! — усмехнулся дед.— Цела, цела! Ты бы хоть про свою голову спросил, цела ли?

Но Грабина не обратил внимания на слова деда и только хриплым голосом крикнул:

— Водки!

— Пей, пей, сердечный! — подал ему дед флягу.— Отдышись, любый, ведьмы б тебя драли! И ведь задарма, зря придавило тебя: тот вон под самым ясенем вывертался, и пронесло, а этого черт знает где хватило... такая напраслина!

— Не напраслина, диду, ох, не напраслина! — простонал Грабина и уже ясными глазами обвел своих товарищей.

— Ну, пошел! — махнул дед рукою.— А ну-те, хлопцы, смочите-ка порох горилкой да разотрите его в мякоть... Да нет ли у кого холстины либо онучи?

Морозенко, не задумавшись ни на минуту, оторвал оба рукава от своей рубахи и подал их деду.

— Молодец Олекса, любо! — одобрили козаки и, весело рассмеявшись, стали готовить запорожскую мазь.

Дед тоже ему приветливо улыбнулся.

— Побеги, голубчик Олекса, в куринь мой да принеси еще сюда поскорей мою торбинку с лекарствами; она у меня над моим топчаном висит.

Олекса бросился бежать к кошу, а дед положил на рукава мазь, смочил ее еще раз крепкой водкой и приложил к зияющим на ногах ранам.

— Щиплет как будто,— поморщился немного Грабина и попросил набить и закурить ему люльку.

— Ничего, пустяк: пощиплет и припечет,— утешал его дед, бинтуя крепко-накрепко ноги,— полежишь немного и выходишься.

— Что-о? — поднялся Грабина и сел, устремив на свои ноги дикий взгляд.— Братчики пойдут в поход, а я, как свинья, буду отлеживаться? Да если их раздавило совсем, так я их отсеку к дьяволу саблей!

— Не вертись! — закричал дед.— Стал бы я и возиться, коли б отдавило совсем! И то скажи спасибо Сычу, что помог колоду поднять, без него бы тебя раздавило, как клопа.

— Сыч? Брате мой! — протянул к нему руку Грабина.— Коли только потребуешь, моя жизнь к твоим услугам!

— Чего ради? — засмеялся Сыч.— Мне и свой живот в тяготу... Разве вот, если утолишь жажду сугубо, возблагодарю тя вовеки!

— Утолю!.. Вот помоги только мне встать, подведи, голубе,— опираясь на Сыча, пробовал подняться Грабина,— и вас всех, товарищи-друзи, прошу... вспрыснуть клятый ясень!

— Пойдем, пойдем! — оживились козаки. Даже дед, увидев, что Грабина стоит на ногах и двигает ими, хотя и хромая, рассмеялся радостно.— А чтоб тебя! Уж и напьюсь же я здорово!

— Только, братцы, запросите кто и нашего наказного атамана Богдана Хмеля,— обратился к друзьям Грабина.

— Покличем, покличем,— засмеялся Небаба,— пусть полюбуется новым приятелем.

Богдан уже четвертый месяц сидит в Запорожье. Сначала он отправился туда, подчинившись воле боль-

шинства, имея целью: во-первых, укрепить правильными валами и батареями Запорожье по последним требованьям фортификационной науки, в которой он один изо всех козаков и был только сведущ; во-вторых, исполнить тайное желание короля, переданное ему гонцом от канцлера Оссолинского,— соорудить флотилию чаек и организовать морской набег на прибрежные города Турции, и, в-третьих, по исполнении всего, отправиться к королю лично и молить его принять участие в судьбе козаков и отстоять хотя бы их последние права от насилий обезумевшего в ненависти панства.

Богдан рассчитывал, что все это будет совершено им в течение месяца, а тогда он от короля выпросит и для себя оправдательные документы. Вследствие таких соображений, его самовольная отлучка казалась ему не столь рискованной, и он, поручив Гандже досмотр его семейства и добра, передал еще через него письмо Золотаренку, прося последнего почаще навещать Субботов, а если можно, то и совсем туда переселиться до его возвращения; Ганне он написал тоже несколько строк, извещая, что его зовет к служению долг и что неизвестно, когда он возвратится на родину, а потому он и просит ее заменить детям мать, а за него лишь молиться. Гандже он при том наказал строго скрыть от всех место его пребывания и только при особенно верной оказии извещать его, буде случилось бы какое несчастье; про него же, на всякий случай, пустить какой-либо отводной слух.

Но потом, приехавши в Сечь, Богдан сразу увидел, что все предположения его были построены на песке и что раньше весны, а то, пожалуй, и лета, нечего и думать о возвращении: прежде всего суровая зима замедляла страшно земляные работы, а потом и чаек в наличности оказалось так мало, что для морского похода пришлось почти все новые строить, наконец, на одной из сечевых рад его было выбрали кошевым атаманом, и когда Богдан, поблагодарив товарыство, решительно отказался от этой великой чести ввиду многих резонных причин, а главное — предстоящих у короля ходатайств, то товарыство избрало его временным наказным атаманом в морском походе, от чего уже не было возможности отказаться Богдану; кошевым же избран был, вместо него, Пивторакожуха. На той же раде и решено

было, что Пивторакожуха с Кривоносом, при первом же наступлении весны, отправятся на помощь татарам в Буджацкие степи, чтобы совместно ударить на Каменец, а он, Богдан, с тремя тысячами запорожцев, на пятидесяти чайках, при полноводии понесется по морю к берегам Анатолии.

Примирившись с обстоятельствами, Богдан весь отдался новым обязанностям и заботам. Кипучая запорожская жизнь, полная и тревог, и волнений, и буйной удали, и бесшабашного разгула, приняла давнего, закадычного товарища снова в свои дружеские объятия и закружила его голову в угаре своих бурных порывов. Ежедневный усиленный труд от зари до зари поглощал у Богдана почти все время; гульливые общественные трапезы да неминучие кутежи отнимали остаток его даже у отдыха и богатырского сна, а для дум и сердечных волнений его уже совсем не хватало. Правда, при переезде с места на место иногда выплывала из глубины души у Богдана тревога за свое пепелище, за родную семью, за богом ниспосланную ему Ганну, но какая-либо неотложная забота сразу отрывала его от дорогих дум и погружала в злобу шумного дня. Богдан смутно чувствовал только среди суеты и разгула, что у него глубоко в груди гнездится тупая, досадная боль: иногда она выражалась ясно в тоске по своим близким и кровным, а иногда облекалась в туманный образ, мелькнувший пророческим сном в его жизни,— однако сознание долга и высокий критический момент судьбы его родины подавляли эту боль и заставляли Богдана еще больше отдавать всего себя служению родине, отгоняя прочь всякие ослабляющие энергию думы.

Впрочем, с каждым днем, при наращении торопливой работы, эта тоска и боль все больше уходили вдаль, а все душевные силы Богдана поглощались предстоящей грозой, и, наконец, в последнее время он, отрешившись от тоски и тревоги, отдался с давним молодым увлечением будущему походу, который предполагался через неделю после выхода из Сечи Пивторакожуха, а он был назначен на послезавтра.

Хотя приходившие в Сечь беглецы и передавали много ужасов относительно увеличивающегося с каждым днем панского гнета и наглости ксендзов-иезуитов, но от Ганджи Богдан не получал за все время никаких

известий, и это, по их уговору, значило, что дома все обстоит благополучно, а потому и личные дела Богдана не давали повода к тревоге.

Морозенка встретил Богдан и задержал расспросами про Грабину; известие о несчастье с ним страшно взволновало атамана: он недавно сошелся с этим горемыкой Грабиною, и таинственная судьба его, о которой намекал новый приятель, и интриговала Хмельницкого, и влекла к нему его сердце... Да и вообще Грабина был отважный, славный козак. Когда Морозенко, успокоив своего батька и порывшись в дедовском коше, нашел, наконец, эту знахарскую аптеку в торбинке, то компания уже подходила к знаменитому кабаку на Пресичье [91] и требовала у жида в большом количестве всяких напитков: теперь уже шумела целая толпа, так как приглашен был к выпивке всякий встречный. Героем дня, конечно, был Сыч: он не только выказал чудовищную силу, но и спас доброго товарища от неминуемой смерти; все за него пили заздравицы, обнимались с ним и братались. Олекса присоединился к честной компании,— его страшно интриговал Сыч; после долгих усилий ему удалось-таки пробраться вперед.

Взглянул, наконец, в первый раз на него пристально Сыч и оторопел; глаза у него заискрились радостью, и он, разведя руки, бросился к хлопцу и прижал его к своей мощной груди:

— Ахметка! Ахметка! Любый, голубь мой! Чадо мое!

— Дьяк! Звонарь! — обнимал и целовал Сыча хлопец.— Так вот где вы? А я слухаю — Сыч да Сыч... и в толк ничего не возьму: голос как будто ваш, а обличье не то...

— А! Без брады и куделицы? Что же, и так важно! Зато вон какой оселедец!

— Расчудесно!.. Только признать трудно... а тем паче...— порывисто говорил хлопец, глядя с восторгом на Сыча,— что там все уверены, что дьяка замучили за дзвон ляхи.

— Чертового батька! Не пщевати * им! Я сейчас же сюда и посунул... и Сычом стал...

— Да как же я не встречал дядька? Мы здесь всю зиму.

---

* Не пщевати — здогадуватись (*старослов'янськ.*).

— Хе, чадо мое! Я зараз же отправился с добрыми товарищами на веселое погуляньице... Навестили и татарву, и ляхву, побывали и в каторжной Кафе... даже освободили кое-кого из бусурманской неволи,— указал он на одного, обросшего бородой, бледного, изможденного козака.

— Что, Сыч? Нашел родича? — обратилось к нему несколько бритых голов.

— Кого? Олексу Морозенка? Славный хлопец! Удалой будет козак! — одобрили другие.

— Так ты уже Морозенком стал? — спросил Сыч.

— Мороженый, мороженый! — захохотало несколько голосов.

— Ну, значит, за батька и за сына теперь выпьем! — загалдели ближайшие.— Гей, шинкарь, лей оковытой!

— Да он и чадо мое и не чадо,— начал было Сыч.

— А разве не радостно такого за отца иметь? — с восторгом вскрикнул Олекса, и глаза его загорелись каким-то загадочным счастьем.— Так пусть так и будет — тато.

— Аминь, чадо мое! — провозгласил Сыч.— Значит, «ликуй и веселися, Сионе!» — и, обняв своего нареченного сына, он осушил сразу кухоль с полкварты.

Олексу тоже заставили выпить.

Когда компания отхлынула и окружила подошедшего к Грабине Богдана, то Сыч, отведя в сторону хлопца, спросил у него дрогнувшим от волнения голосом:

— А Оксана моя... Что с ней?

— Не бойтесь, тату,— вспыхнул и покраснел почему-то до ушей хлопец,— она в надежных руках: Ганна Золотаренкова взяла ее в Субботов... Оксанка теперь у батька Богдана.

— Господи! Милость твоя на нас! — произнес растроганный Сыч и утер кулаком набежавшую на ресницу слезу.

А бледный невольник козак рассказывал, между прочим, окружившим его товарищам, как ему удалось бежать из татарской неволи:

— Эх, доняла, братцы, эта неволя! Да не так неволя, не так каторжный труд, не так цепи и голод, как одолела, мои друзи, тоска по краю родном, по дорогом товарыстве да по церквям божьим... Уж и тоска же, тоска! Сердце точит, крушит, словно ржавчина сталь...

И поднял бы на себя руки, так проклятые ироды и за тем зорко следят. Ну, вот нас гоняли на работу к какому-то паше, а там у него во дворе жила старая цыганка...

Грабина в это время стоял возле Богдана, слушал от Небабы рассказ про свое спасение и весело чокался с приятелем кружкой. Вдруг до его слуха долетело слово «старая цыганка», и точно электрическим током ударило по всем нервам: что-то вздрогнуло у него болью в груди, всколыхнуло мучительно сердце и бросилось кровью в лицо... Он попросил Богдана подвести его ближе и начал прислушиваться к рассказу невольника.

— Глаза, знаете, у нее черные как уголь,— продолжал рассказчик,— нос горбатый, а лицо — и не разберешь... Вот уж и не знаю почему, братцы, чи она заприметила, что я норовлю в реку броситься, чи она, может, что и другое на думке имела, только подходит ко мне и говорит: «Не ищи смерти, козаче: я знаю, что тебе здесь не сладко... сама испытала — чуть не замерзла в степи... Так я тебя вызволю: я у этого паши в большой чести... Меня всяк слушает». Как услыхал я, братцы родные, это слово, так такою радостью взыграла душа моя, что вот... стыдно сознаться, а зарыдал, как дитя малое, как баба, и кинулся в ноги...

Но Грабина уже больше не слушал: он изменился в лице и стремительно хотел было броситься к рассказчику, но ноги у него подкосились, силы изменили... и он бы, наверное, грохнулся оземь, если б не подхватил его Богдан.

— Что с тобой, друже? Вишь, побледнел как, что крейда...— затревожился он, поддерживая Грабину.— Гей, кто там? Воды скорей дайте! Да пойдем в мой куринь... Отдохни!

— Проведи... Невмоготу... Что-то подкатило под сердце... Вот словно огнем осыпало,— шептал отрывочно Грабина, глотая воду из черпака...

— Что мудреного! Из такой олийныци вытащили, что ну!..— улыбался любовно Богдан, ведя под руку своего нового побратыма,— немудрено, что и огневица может приключиться макухе...

Богдан уложил Грабину на своем топчане и прикрыл кереей, так как начинал пронимать его лихорадочный озноб.

— Когда ты отправляешься, Богдане? — спросил Грабина его дрожащим голосом, постукивая зубами.

— Да вот дня через два думал, после кошевого...— ответил Богдан, устремив на больного тревожный, сочувственный взгляд.

— Разве вместе нельзя... чтоб раньше?

— Хотелось бы и мне... да вот две чайки задержат... Хотя, положим, и без них обойтись свободно...

— Еще бы! У нас чаек с пятнадцать есть здоровых, что байдары... А куда думаете?.. В Кафу ведь завернете?

— Навряд... не по пути... да как-то и не приходится...

— На матерь божью! На святого бога!.. На все силы небесные молю тебя...— приподнялся судорожно Грабина и припал горячим лицом к Богдану на грудь: — Молю тебя, не пропусти Кафы... в первую заверни...

— Да что тебе в ней? Успокойся... Сосни!

— Слушай, мой друже... Вот меня разбирает огневица... Кат его знает, куда она меня выкинет... Так вот тебе я доверяюсь... Я ведь, знаешь, из знатной шляхты... Обо всем я тебе... после подробно... А у меня есть дочь... ангел небесный... Каштановые курчавые волосы... шелк — не волосы... Синие, как волошки, глазки... Личико... Ох, мой голубе, мой брате,— нет такой другой доньки на свете!

— Вот что, друже!..— изумился Богдан, тронутый до глубины души признанием своего побратыма,— а ты мне про своего ангела и не говорил ни разу...— и у Богдана промелькнул бессознательно молнией в голове когда-то им виденный сон,— так где же она?

— Не знаю, не знаю... пропала без следа... с цыганкой... Везде искал — ни слуху ни духу... а вот сейчас невольник из Кафы сказал, что его спасла цыганка... и цыганка точь-в-точь такая, как моя... Я сердцем чую... Я уверен, что и моя Марылька там...

— Там, в Кафе?

— Там, там... Она еще почти дитя... лет четырнадцати, пятнадцати... но ее, верно, продали... О, ради всего святого,— не мини Кафы... ради спасения души...

— Ну, успокойся же,— обнял Грабину Богдан,— даю тебе козацкое слово вместе с кошевым вырушить и там уже устроить, как и что... Одним словом, вызво-

лим... а ты постарайся уснуть да набраться силы, чтобы не остаться здесь...

— Засну, засну,— радостно, по-детски улыбнулся Грабина,— одно твое слово меня на свет подняло...— и он закрылся кереей...

XV

Торжественно звучит колокол в запорожской церкви, стоящей на главной площади. Плавные звуки медленных ударов дрожат, откликаются эхом в лугах и тают в прозрачной синеве загоревшегося радостным сиянием утра. В небольшой деревянной о семи куполах церкви стоит войсковая главная старшина и деды, а на погосте вокруг и на обширной площади никого не видно. В разноцветные узкие окна врываются в церковь снопы ярких лучей и светлыми, радужными столбами стоят в волнах сизого дыма. Перед местными иконами горят в высоких ставниках толстые зеленые свечи, окруженные сотней маленьких, желтых; огни их, при блеске яркого утра, кажутся красными удлиненными искрами, плавающими в дымке ладана и дробящимися на серебре и золоте дорогих риз.

Загорелые, мужественные лица молящихся обращены к ликам святых; в серьезном, сосредоточенном выражении устремленных к небу очей светится теплое, благоговейное чувство. Разных теней оселедцы и подбритые кружком чуприны, от серебристых до черных, склоняются низко, осеняясь широкими, медлительными крестами. Впереди перед царскими вратами стоит недавно выбранный кошевой запорожского войска Грыцько Пивторакожуха; голова его с дерзки отважным выражением лица, смягченным немного пылающей краснотой носа, кажется сравнительно с коренастым туловищем небольшой и чересчур низко посаженной на широких плечах. Справа рядом с ним стоит наказной атаман Богдан; и ростом, и стройной фигурой, и благородством осанки он выглядит при своем соседе богатырем паном; глаза его от умиления влажны и светятся тоскливой мольбой. За Богданом стоит еще наказной атаман, почтенный Небаба, за Небабою — среброволосый старец Нетудыхата, а за ним отважный, молодой еще и

черный как смоль, с огненными глазами, Сулима. Налево от кошевого стоит наш старый знакомый Кривонос; его искалеченное лицо, озаренное теплым светом огней, не отражает теперь дикого ужаса злобы, а умиляется надеждой и радостью; за Кривоносом светлоусый красавец Чарнота, с беспечною удалью во взгляде, стоит словно жених под венцом, а за ним молодой еще, но не по летам угрюмый козак Лобода. За старшиною разместились во втором ряду знаменоносцы со знаменами и значками, а за ними уже начальники отдельных частей.

Блистающий дорогим облачением священник выносит евангелие в тяжелом, украшенном самоцветами переплете и, раскрыв его, кладет на ближайшие склоненные головы. Тихо, но выразительно и отчетливо раздается слово божие под сводами храма, проникает в закаленные в битвах сердца и наклоняет все ниже долу чубатые головы. Когда же, поднявши голос, закончил чтение служащий пресвитер вечными словами спасителя: «Больше сея любви никто же имать, аще душу положить за други своя»,— то все козачество, как один, поверглось ниц перед престолом бога любви и занемело в безмолвной молитве.

На набережной не было видно теперь и следа суеты и недавнего беспорядка. Все было прибрано к месту, а посредине широкого побережья была даже выстрогана и посыпана песком квадратная площадка, на которой стоял накрытый белою вышитою скатертью стол; на нем искрилась фигурчатая серебряная ваза, а по бокам ее стояли с восковыми свечами массивные позолоченные шандалы. У самой пристани на легкой волне качались привязанные в ряд пятьдесят чаек; они были выкрашены, или, лучше сказать, вымазаны какою-то смесью из смолы с блейвасом, отчего и отбивали иссиня-сероватым цветом, подходящим к тонам воды; только новые весла и тростниковые крылья [92] у чаек блистали золотистым отливом.

На каждой чайке сидели уже у весел гребцы и стояли на местах рулевые, на коротких мачтах белели сложенные откидные паруса, а на бóльших ладьях блестели утвержденные на носу небольшие фальконетные пушки.

По трем сторонам площадки выстроены были три отряда запорожских войск. Меньший из них, обращенный фронтом к Днепру, стоял в глубине; налево, перпенди-

кулярно к нему, стоял удлиненным четырехугольником, касавшимся даже Днепра, трехтысячный полк, вооруженный мушкетами, саблями, бердышами, а направо, параллельно последнему, тянулись густые массы голов, покрытых бараньими шапками с выпущенными алыми верхами, с лесом торчащих над ними мушкетов и копий; за этими массами виднелись вдали привязанные к походным мажам * целые табуны оседланных коней. Последний, наибольший отряд казался и наиболее нарядным; между темными цветами пестрело много ярких красок кунтушей и жупанов; на втором же, предназначенном к морскому походу, преобладали серые тона свиток, а третий, остающийся дома, был одет в будничную, простую одежду и, кроме сабель, с которыми не расстается козак, не имел больше никакого вооружения.

Тихий, сдержанный говор тысячеголовой толпы, словно гул колоссального роя пчел, стоял в мягком воздухе, напоенном весенней душистой влагой; но в этом говоре не прорывалось ни брани, ни шуток, а слышались лишь деловые опросы или отрывочные, последние распоряжения.

Морозенко хлопотал на атаманской чайке и суетливо спешил окончить упаковку припасов и необходимых вещей при походе. Осмотрев отделение боевых запасов, обитое тщательно войлоком и толстою жестью, в котором сложены были бочонки с порохом, мешки с пулями и небольшие ядра, проверив и в отделении харчей обвязанные паклей большие бочонки с пресною водой, Олекса перелез узким простенком между этими чуланчиками в самый нос чайки, где под чердаком (особая приподнятая палуба) устроена была для батька наказного атамана каюта; помещение было крохотное, низкое, узкое, с одним небольшим окошечком в самом остром углу.

Олекса притащил сюда еще раньше несколько мешков, набитых песком, что держались для баласта на чайках, и теперь, сложив их к стенке, устлал кереями и покрыл сверху мягким турецким ковром; при этой импровизированной канапе прибил он к полу какой-то обрубок пня, что должен был заменить стол, вколотил несколько гвоздей в стену, на которых развешал запасное

* М а ж а — мажара, великий віз.

оружие и одежду, да уставил на полку необходимую утварь; потом, оставшись доволен устроенным помещением, отправился еще в противоположный нос чайки сосчитать сложенное там холодное оружие: толстые с железными массивными наконечниками багры, тяжелые бердыши, короткие копья, запасные ятаганы *, абордажные крючья и веревочные с цепкими кошьими лапами лестницы.

Когда Морозенко осматривал оружие и медную пушку, хорошо ли она прикреплена и уставлена, то его внимание привлекла небольшая группа козаков, собравшихся прямо против чайки; в группе шел оживленный не то разговор, не то спор, который при общем молчании казался даже очень шумным. Прислушался Олекса и узнал знакомый голос придавленного на днях ясенем козака Грабины; заинтересовавшись, в чем дело, хлопец выскочил из чайки и примкнул к увеличивающейся толпе.

Грабина, поддерживаемый под руки, с забинтованными, искалеченными ногами, умолял козаков, чтобы его взяли на какую-либо чайку, что он не останется дома бездельничать, в то время когда честное товарыство будет проливать за веру и за родину кровь.

— Примите, братцы, меня,— кланялся он непокрытым челом и почти со слезами просил: — Чем же я виноват, что мне клятое дерево ноги отшибло? Ведь бревно на то и зовется бревном, что по глупости не может понять, как козаку ноги нужны. Видно, уж на то было попущение божие! Так за что же мне, братцы, две кары?

— Конечно, с вола двух шкур не дерут,— заметил сочувственно один из слушателей.

— Так-то оно, так,— вставил другой,— а може, бог нарочито ему ноги перебил, чтоб не ехал на море?

— С чего б же это пришло богу в голову не пускать козака бить басурманов? — возразил третий.

Толпа одобрительно загудела.

— Именно,— обрадовался аргументу Грабина,— забраковали меня Кривонос и Пивторакожуха... Ну, положим, что на коне, в седле с этакими бревнами труд-

---

* Ятаган — крива гостра з двох боків шабля або кинджал такої форми.

но, уж как это ни обидно, а правду в мешке, как шила, не утаишь; но в чайке, любые друзи, совсем мне свободно — и штурпаки эти протянуть есть где, и вывернуться даже можно, как свинье на перине.

— Что и толковать,— заметил первый,— в чайке, как в зыбке, лежи себе, люльку покуривай, а волна только качает да баюкает, что твоя мать.

— Ну, вот, вот! — подхватил восторженно Грабина.— Именно, как родная мать! Возьмите меня, братцы, с собою!.. Тяжко у меня на душе... Тянет меня... Вот жизнь бы отдал эту зараз, чтоб побывать в тех городах, где наши невольники... несчастные... В общем труде, за общее дело, за святое, братцы... и душе-то, и сердцу легче станет; какой бы камень ни был навален на них, а и они от радости словно подымаются вверх... А я вам все-таки стану в помощь, чем смогу, на гребке сидеть буду, сторожем хоч в чайке останусь, когда товарыство будет гулять... душою издали буду делить вашу славу... Возьмите, братцы, меня с собою!

— Взять, конечно, взять! — загалдели одни.

— Конечно, он славный козак, добрый товарищ! — подтвердили другие.— Полгода как с нами, а лыцарем поди каким стал!

— Верно,— согласился более пожилой запорожец,— только, по-моему, все-таки нужно сказать наказному, так водится... А то без его воли как будто не того, тем более, что я сам слыхал, как он говорил, что Грабину нужно оставить на попечение Небабы, и тот тоже... что-то про ноги сумнительно.

— Да это он из ласки, из жалости ко мне, братцы,— заволновался Грабина, видя, что последнее замечание может повредить в его деле,— вот чтобы я отлежался, как баба, пока не залечатся эти клятые ноги! Панове товарыство! Да разве ж пристало козаку обращать внимание на такую рану? Да нешто я баба? Не знаю, чем я заслужил такую обиду!

— Нет, ты не баба! Это брехня! Зачем зневажать козака? — загудела толпа.

— Так и возьмите меня, братцы, припрячьте,— взмолился, наконец, Грабина,— пока выйдем в море, а там уж пусть батько меня хоть утопить велит, не поперечу и словом!

— Иди, Грабина, в нашу атаманскую чайку,— ска-

зал решительно Олекса,— там я тебя спрячу в каюте, и концы в воду.

— Молодец, Морозенко! Любо! — крикнули весело козаки кругом, а Грабина со слезами на глазах бросился и обнял Олексу.

Тот с помощью еще одного козака бережно свел его на чайку и уложил на устроенной канапе, прикрыв еще на всякий случай кереей.

Вдруг раздались частые удары большого колокола, а за ними зазвенел в воздухе радостный перезвон и заставил правильнее сомкнуться козачьи ряды. Говор сразу утих, и в наступившей, величественной тишине послышалось со стороны майдана стройное пение святого псалма: «Помощник и покровитель бысть мне во спасение». Вскоре показалась на отлогом берегу и торжественная процессия. Впереди козаки несли большие кресты и хоругви, за ними следовал главный хорунжий, держа в руке запорожское знамя, малиновый полог которого, украшенный золотой бахромой и кистями, тихо развевался на древке; за ним несли бунчуки — на длинных ратищах прикрепленные вверху под золотым яблоком конские гривы; за бунчуками следовали еще прапоры и значки; далее шел клир; за клиром непосредственно кошевой и наказной атаманы несли две большие иконы, а за ними уже шествовал в полном облачении и с крестом в руке священник отец Михаил; шествие замыкала запорожская старшина.

Процессия прошла между лавами запорожского войска и остановилась посредине на выстроганной площадке. Началось водосвятие и напутственный молебен. Благоговейно, с обнаженными чупринами, широко крестясь, слушали молитвословие и пение запорожцы. Закаленные в боях их сердца умилялись теперь и воодушевлялись глубокой верой в святость предстоящего подвига; души их проникались поэтическим восторгом, что они несут головы за святую веру, обнажают меч на гонителей благочестия. Когда клир запел: «Взбранной воеводе победительная», то десять тысяч голосов подхватило эту песнь богородице, а с батарей загрохотали орудия. Могучий, величественный хор, аккомпанируемый грохотом орудий, всколыхнул потрясающе воздух, и понеслись колоссальные звуки во все стороны, и откликнулись на них и луга, и гай, и далекие скалы порогов. Тогда отец

Михаил начал обходить ряды войск и кропить их святою водой, а за ними и флотилию чаек; в заключение он окропил знамена и всю старшину, подходившую поочередно к кресту; а клир в это время пел: «Тебе бога хвалим, тебе господа исповедуем!» И трубили медные трубы хвалу, и гудели стоном котлы между взрывами артиллерийских громов.

Кончилось служение; разоблачился священник; все атаманы разместились у своих частей; знамена заняли свои места. Вышел кошевой Пивторакожуха и, поклонившись на все четыре стороны, сказал зычным голосом:

— Панове товарыство, славные рыцари, козаки-запорожцы! Вчера мы перед походом бенкетовали и пили за здравье друг друга, и за нашу несчастную, разоренную Украйну, и за униженную врагами благочестную веру; сегодня же, после службы святой и нашей молитвы, наступило строгое, походное время, время воздержания и поста, а потому бражничать уже будет: обнимитесь на прощанье,— господь единый ведает, встретитесь ли снова друг с другом?..

Торжественно и чинно двинулись друг к другу стоявшие по бокам лавы; строй, обнявшись со строем, проникал к следующему, пока не переместились два войска в различные стороны; тогда третья часть, остающаяся в Запорожье, выстроенная в глубине, фронтом к Днепру, подошла по очереди к походным войскам и, продефилировав, возвратилась на прежнее место. Во время этих эволюций сошедшиеся вожди — Пивторакожуха, Хмельницкий и остающийся в Сечи с частью козаков наказной атаман Небаба — держали последнюю раду.

— Когда же вас ждать со славным товарыством назад, мои друзи? — спрашивал Небаба.

— Моя задача,— ответил Богдан,— налететь молнией на тот или другой побережный город турецкий, раскурить с их полымя люльку, поживиться добром, освободить пленных невольников и, не давши очнуться басурманам, возвратиться мигом домой. Так если господь нам поможет в святом деле и пофортунит доля, то я надеюсь за три недели управиться и быть тут.

— Добре,— одобрил наклонением головы сивоусый Небаба.

— А куда решил, брате, ударить? — полюбопытствовал кошевой.

— Да думка побывать в гостях в Трапезонте: давно не были там,— ответил Богдан,— по дороге, конечно, пошарпать встречные галеры да завернуть еще, назад либо туда едучи,— запнулся он и вспыхнул невольно,— и в Кафу: там ведь наших невольников сила!

— Что сила, то правда! Только стой, брате! — почесал затылок Пивторакожуха.— Как же это выйдет? Я иду к татарам на згоду, как союзник, а ты будешь разорять их, как враг?

— Да,— покачал головою Небаба,— оно выходит с одной стороны добре, а с другой как будто и не горазд.

— Успокойтесь, товарищи,— усмехнулся Богдан, овладев собою,— нападать на Кафу я и не думаю, сам ведь политику понимаю, а пошлю чайки две-три в сумерки к набережной, где работают в цепях наши братья, выхвачу сколько удастся невольников — да и гайда в море назад: тут не будет ни грабежа, ни обиды, а просто выйдет частная удаль либо родичей, либо друзей.

— Да, так хорошо! — мотнул кошевой шапкой.

— Так совсем добре! — усмехнулся Небаба.

— А я, братцы, не знаю заранее, где и очутиться смогу и когда принесет бог назад,— рассуждал кошевой,— отправляюсь на Буджацкие степи к Карай-бею, а оттуда куда двинемся — неизвестно; если вот удастся и твоего приятеля, пане Богдане, Перекопского бея уговорить, то рушим на Каменец, а если нет, то посмычем соседних магнатов, погладим ксендзов и жидов, погуляем в панских маетностях и добре в конце концов напьемся горилки,— заключил кошевой.

— Прийми в резон, пане кошевой, вот что,— закуривая люльку, говорил Небаба,— ведь нас тут, на Запорожье, остается одна только горсть; если прибудет даже сюда сотня-другая беглецов от панской ласки, то ведь, сам здоров знаешь, что этот народ, пока не окурится добре пороховым дымом, мало надежен... А тут того и гляди — по половодью через пороги нагрянет либо собака Потоцкий, либо Иеремия... Ведь обещались навестить, так мне самому с горстью,— хотя, спасибо Хмелю, и важно обсажена валами да гарматами Сечь,— как-то будет неподручно.

— Не беспокойся,— сплюнул в сторону кошевой, насунувши шапку,— тьфу! Как горилка запахла!.. Слушай, у меня расставлена сторожа до самого Кодака; сразу, коли что заметят войска, зажгут друг за другом вехи, и нам будет здесь того же дня известно про ворога; а отсюда я расставлю таким же порядком сторожу вплоть до Буджака. В Кодаке нет готовых байдар или дубов, способных переправить через пороги войска, так прежде, чем вздумают ляхи что-либо, хотя бы плоты снарядить,— я со всеми силами буду дома.

— Оно-то горазд,— затянулся дымом Небаба, притаптывая пальцем золу и подавая кусок зажженного трута Богдану, набившему себе тоже походную люльку,— коли тебя, батьку, застанут еще в Буджаке, а коли ты уйдешь отсюда, так тогда и ищи ветра в поле!

— Что ж бы я запил, что ли, в походе, чтоб выкинул такую штуку? — обиделся даже Пивторакожуха.— Я стоять буду в Буджаке и с места не тронусь до тех пор, пока Богдан не вернется назад к вам с похода; а с его силами да с твоими можно отстоять Запорожье не то что от Потоцкого, а и от куцого черта!

— А коли так, то расчудесно, совсем-таки добре,— обрадовался Небаба.— Однако уже солнце подбилось высоко, греет... и козаки твои, пане кошевой, садятся на коней. Ну, обнимемся ж, друзи, и дай бог каждому удачи, и славы, и счастливого поворота в родное гнездо!

Все обнялись, подошли еще раз под благословение отца Михаила и возвратились к своим частям войска.

Богдан подошел к своей части и увидел стоящего в его рядах дида Нетудыхату.

— Диду! — удивился он.— И вы с нами?

— А что же, сынку, с вами, с вами,— улыбнулся он, прищурив слезящиеся с красными веками глаза.— Еще под твоей рукой послужить хочу, расправить старые кости да и по морю соскучился, стосковался... Ведь мы с ним жили, как рыба с водой, а сколько лет, так и начала не увидишь за далью.

— Правда, диду, знает вас море, да и вы его добре знаете,— промолвил теплым голосом наказной,— только не вам быть у меня под рукой, а мне у вас уму-разуму набираться, вот поэтому-то я вас и прошу поместиться на моей чайке: мне больше чести, а вам больше покою.

— Спасибо тебе, сыне атамане, за ласку,— тронулся

предложением дед.— Сяду, сяду, а то я хотел было к Сулиме, тоже просил... И, по правде сказать, тому нужно в товарищи более спокойную голову, а то ведь сам молод, сердце — как молния, голова — как огонь! Вспыхнет, что порох, а уж как загорелся — лезет зря хоть и в самое пекло!

— К нему посадите Зачхайноса, он почтенный и опытный лыцарь и с морем бороться умеет... да и его десяток будет первый за нами... А вы, диду, таки ко мне, милости просим! — ласково улыбнулся Богдан.

— Добре, добре! — кивал головою дед.— Мне какие сборы? Весь тут!

Между тем войско Пивторакожуха было уже все на конях, и они нетерпеливо мотали тоже чубатыми головами и били копытами землю. Богдан стал во главе своего отряда и снял шапку:

— Панове товарыство, славные лыцари, друзи мои! Вы почтили меня лучшею честью, какая достается человеку, почтили меня высоким доверием своим, подчинив себя на время похода моим распоряжениям, моей воле,— за это еще вам приношу сердечное, щирое спасибо и торжественно клянусь, что хранить буду это доверие как зеницу ока, и если будет господня воля на то, напрягу все силы мои, все желания, чтобы оправдать перед вами, товарищи, это доверие, чтоб вырвать с вами у фортуны побольше победы и славы... А разве этого трудно достичь с такими удальцами-лыцарями, каких не было и нет на белом свете!

— Добре говорит,— пронеслось сдержанно по передним рядам.

— Как горохом золотым сыплет! — откликнулось в задних.

— Не удивим мы друг друга,— воодушевлялся Богдан, и голос его звенел, словно колокол,— если со смехом и песней бросимся в зубы хоть самому черту, если для святого дела не пожалеем никого и ничего в мире, если для товарыства откажемся от всякой утехи, если для друга вырвем своими ж руками из груди свое сердце, потому что со смертью мы побратались давно, жизнь свою ценим не дороже корца горилки, а товарыство так любим, как ни одна волчица своих волчат.

— Эх, важно! — не удержался Нетудыхата, и одобрительный гул пронесся по всем рядам.

— Так вот что,— продолжал Богдан.— Не к храбрости вашей веду я теперь речь, а к напряжению особенного внимания в этом важном и для нас, и для всей Украйны походе; не на погулянье идем, не на боевую потеху, а на совершение великой услуги нашему королю, за которую он и нас, и все козачество, и посполььство наградит вольностями и защитит от коршунов ляшских. Этот поход может вызвать войну, а война наддаст королю силы, а вместе с ним и нам... Так, стало быть, друзи, нам в походе надобно заботиться не о добыче, а о том, чтоб наиболее нанесть вреда изуверам и ужасом потрясти берега Анатолии, чтоб он докатился до самого Цареграда и разбудил бы на коврах падишаха!

— Добре, добре, пане атамане! — уже криком загремели ряды.— Веди нас куда знаешь, головы положим за батька и за святую веру!

— Слушайте же моего наказу,— надел Богдан шапку.— Каждый чайковой атаман должен блюсти, чтоб на чайке был строжайший порядок, чтобы смены гребцов шли правильно, чтобы водки или чего-либо хмельного не было на чайке ни капли, чтобы плыли по три чайки в ряд, а во главе каждых девяти чаек плыла бы чайка куренного, которому все девять чаек да его десятая и подчиняются безусловно; общие распоряжения буду подавать я со своей чайки или выстрелами, или через куренных атаманов. Все куренные атаманы, панове Сулима, Чарнота, Верныгора и Догорыпыка, должны осмотреть, чтобы на их чайках было достаточное число всяких запасов и, по крайней мере, хоть по два пивня, да чтобы их держали живыми, а не искусились для кулиша резать. Плыть без отдыху до Густых Камышей, что за полмили до Очакова [93], нужно быть там завтра к вечеру. Бревен с собой не брать: теперь рвать протянутых у Очакова цепей не придется, переберемся через косу, влево подальше, а бревна только замедлят нам ход. Ну, друзи,— окончил Богдан,— занимай всякий на своей чайке места, осмотрите оружие, боевые припасы и, предав себя воле божьей, памятуйте, что в наших руках защита святой веры и нашей угнетенной Украйны. С богом же, братья! — перекрестился он, и весь его отряд, осенив себя крестом, чинно двинулся к лодкам.

Вскоре все чайки были наполнены козаками и выстроены в надлежащий походный порядок; верхушки

шапок алели, словно рассыпанный по ладьям мак, а вычищенные дула мушкетов сверкали стальною щетиной; приподнятые над водою весла казались светлыми крыльями, готовыми по мановению унести козаков далеко от родины.

Грянул залп орудий с крепостных валов Запорожья; а вот второй, третий; повторило их эхо в сотне перекатов и смолкло. Раздалась громкая команда вдали, и заколыхались высокие пики в конных рядах, засурмили трубы, забили литавры, и стройные колонны двинулись вгору, только земля задрожала под стуком несметного числа крепких и широких копыт.

Богдан махнул шапкой, и на его атаманской чайке грянул пушечный выстрел. Взвились паруса; гребцы опустили весла в светлую воду и, дружно качнувшись, взмахнули ими и замерли на мгновенье; чайка вздрогнула и скользнула на сажень вперед. Еще взмах и еще. Засверкали брызги, алмазами рассыпались по синей волне, и полетела чайка, как белая, крылатая птица. За атаманской двинулись правильной цепью другие. С далекого, убегающего берега замахали на прощанье шапки. На атаманской чайке раздалась стройная, хоровая песня:

Гей, не знав козак, не знав Сохрон, як слави зажити,
Гей, зібрав військо, військо запорізьке та й пішов турка бити!

И понесли козаков чайки на бури, на грозы, на рев разъяренных валов, на смех бешеной смерти...

XVI

На заметенные снегом степи, на потонувшие в сугробах хутора, на опушенные инеем леса разом и дружно прилетела весна. Она примчалась с теплым, западным ветром, который вдруг охватил всю уснувшую степь.

Странный сухой шум, наполнивший воздух, привлек наконец внимание Ганны. Она сидела в своей горенке у окна с работой в руках. Это был драгоценный покров к плащанице, который она вышивала золотом и серебром. Целыми днями сидела Ганна над этой работой с тех пор, как возвратилась из Золотарева домой; и в то время, когда пальцы ее плавно скользили по белому аксамиту, мысли ее все неслись неудержимо к Богдану.

Богдана Ганна в Субботове уже не застала; письмо, привезенное Ганджою, звучало так странно, так непонятно, что еще более увеличило смущение ее души. Сколько раз казнила она себя в душе за то, что так малодушно бежала тогда из дома, что, благодаря своей женской слабости, не попрощалась с ним, а теперь, быть может, и не увидится никогда... Ведь вырвать того чувства из глубины своего сердца она не могла,— Ганна это видела и сознавала сама, и все оправдания, все минутные обманы казались теперь ей такими же призрачными, такими летучими, как туман, как дым... Своим возмужавшим женским сердцем она чувствовала, что любит его на всю жизнь. Но теперь это чувство не вселяло ей такого ужаса: о нем ведь не узнает никто и никогда... Оно и умрет вместе с ней!

Возрастающее народное горе умеряло остроту ее горя; вечные хлопоты, вечные заботы мимоволи отвлекали ее... Ганна и свыклась, и примирилась с ним. «Каждому свой крест, каждому свой крест,— шептала она,— только бы он был счастлив, только бы он был жив!» Но ни вести, ни слова не долетали в Субботов из внешнего мира. С тех пор как уехал Богдан, ни один козак, ни один путник не заходил в хутор, да и трудно было сообщаться с ним: зима стояла такая снежная, какой не запоминали и старожилы. Короткие зимние дни мелькали в тихом уголке однообразно и бесцветно. Правда, два раза приезжал посланец от коронного гетмана узнать, не вернулся ли пан писарь, но этот приезд порождал еще большее беспокойство. Больная жена Богдана тихо плакала, Ганна делалась еще молчаливее, а Ганджа и брат хмурились недовольно и мрачно. Брат часто наведывался в Субботов; он прежде хотел было переселиться туда и совсем, но, видя, что все там идет благополучно, решил только наезжать для присмотра; притом же у него самого было много каких-то таинственных и странных дел, в которые он не посвящал Ганну, а только иногда сообщал Гандже несколько никому не понятных слов. Так тянулись грустные дни вплоть до самого марта.

Странный шум, привлекший внимание Ганны, не прекращался. Ганна поднялась к окну: со всех ветвей деревьев быстро и торопливо падали куски инея и льда, небольшие ветви, сломанные от непривычной тяжести,

падали вместе с ними на землю. Ганна подняла окно и высунула голову. Свежий, влажный ветер пахнул ей в лицо. На западе вечно серое, безоблачное небо прояснилось, и нежные золотые полосы протянулись над горизонтом. В воздухе пахло мягкой сыростью.

— Тает, — тихо прошептала Ганна, — прилетела весна!

От свежего, непривычного воздуха у ней слегка закружилась голова, и темные круги заходили в глазах. Она прислонила голову к оконной раме да так и замерла у окна. Внизу на дворе раздавались веселые крики: дети барахтались в снегу, ставили млынки на журчащих ручьях, били в ладоши и зачинали своими детскими неумелыми голосами веселые веснянки. Стая ворон громко каркала, хлопая своими серыми крыльями; неугомонные сороки весело стрекотали, скача по двору и перелетая с места на место. А Ганна глядела неподвижным взглядом туда, на запад, где ширилась нежная золотая полоса, повторяя все один и тот же мучительный вопрос: «Господи, где он, жив ли, здоров ли?» Наконец свежий холод дал себя почувствовать... Заря потухала... В комнате собирались уже вечерние сумерки... Какая-то томительная тоска проникла вместе с ними в забытый уголок... Ганна закрыла окно, бережно сложила свою работу и тихо вышла из комнаты.

Какая тишина кругом! Вон из девичьей только доносится легкое жужжание веретен; дивчата прядут; они и не поют теперь; песни как-то замирают в этой тоскливой тишине.

Ганна остановилась на середине деревянной лесенки. Ведь это было еще только в филипповку, когда она пришла к Богдану сказать о прибывающем народе, а он посадил ее подле себя и стал говорить с ней так ласково, так тепло. Да, помнит она, еще тогда солнце садилось и освещало его воодушевленное лицо. И казался он таким прекрасным и сильным, и верилось, что все злое минет, а свобода и правда воцарятся кругом... А теперь? Какой унылый, безмолвный стоит этот дом! Не оживит уже он его своей песней удалой, не наполнит былыми рассказами вечернего сумрака... Да и вернется ли, и когда? Быть может, уже сложил свою буйную голову на чужой стороне. И ветер подымает темные волосы, мелкие дожди моют козацкое тело, орлы очи

клюют. «О боже, боже! — сжала Ганна руки.— Нет, господь не допустит этого, господь наш покровитель, защитник наш». Ганна спустилась и прошла в комнату хозяйки.

Больная лежала у себя на кровати. Катруся сидела у нее в ногах, держа миску с маковниками на коленях. Старуха нянька стояла у стены.

— Ганнуся, голубка,— обрадовалась больная при виде входящей Ганны,— что это тебя не видно совсем, забываешь меня?

— Тороплюсь, титочко, покров свой окончить, к плащанице хочется поспеть.

— Ты б велела дивчатам помочь, а то мучишь себя по целым дням, не станет и глаз.

— Нет, титочко, я уж сама хочу... обещание дала.

— Ну, шей, шей...— вздохнула больная.— Может, господь и сглянется на нас.

Наступило молчание. На темном потолке все яснее вырезывался яркий угол, освещенный лампадкой.

— Ганнуся, хочешь маковника? — протянула Катруся миску Ганне. Ганна взяла, откусила кусочек и положила маковник назад.

— На дворе, говорят, тает,— заметила больная, приподымаясь на локте.

— Тает, пани, шибко тает,— заговорила старуха, покачивая головой,— еще с ночи одлыга началась...

— Весна идет! — из груди больной вырвался сдавленный вздох.— Может, как дороги протряхнут, хоть весточку о Богдане получим!

Снова все замолчали. Говорить было не о чем. Слышно было, как капали капли со стрех.

— Видела я сон сегодня, Ганнусю, и, кажется, хороший сон, вот и баба говорит, что добрый...

— Добрый, добрый сон, уже это верно,— закачала та утвердительно головой.

— Мне самой так сдается,— продолжала больная слабым голосом,— да я еще за ворожкой послала, она всякий сон умеет разгадать. Видишь ли, Ганнусю, снилось мне, что иду я садом, и такие это хорошие цветочки кругом... только я не топчу их, а осторожно ступаю, и где ступлю, там не гнется и трава. Вдруг, вижу, летит в небе ястреб, догоняет малую птичку... Так и вьется бедная птичка, а он-то вот-вот настигнет ее... Взяла я

это небольшой камушек, размахнулась им и попала ястребу в сердце; перевернулся он в воздухе и упал наземь! А птичка спустилась ко мне на плечо и начала так ласково да весело щебетать...

— Добрую весть сон вещует... уж это как бог свят,— уверенно подтвердила баба.

— Дай-то бог, дай-то бог! — произнесли разом и Ганна, и больная.

— А что, не слыхать ничего кругом? — снова обратилась она к Ганне.

— В церкви говорил вчера панотец, что слухи все недобрые ходят... Говорят, церкви отбирают, да кто его знает, у нас такого не слыхать... Вон и пан Дембович в Золотареве колокол назад отдал.— Ганна помолчала и затем начала несмело: — А я, титочко, задумала одно дело... хочется мне к великодню в Лавру на прощу сходить.

— Голубка, да далеко ведь...

— Что ж, титочко, помолиться хочу, может, господь услышит мою молитву... Только вот не знаю, как вы...

— Что мы! О нас не думай, управимся как-нибудь... И дид, и Ганджа, да и пан-брат твой... Ох, если бы ноги мои были здоровы, на край света, кажись, ушла бы, чтобы господа за него молить! — Больная замолчала, и маленькие слезинки показались у ней на щеках.— А ты иди, голубко,— ласково положила она руку Ганне на голову,— может, что в Киеве узнаешь, а то завяла, совсем завяла ты у нас...

Всю ночь не унимался ветер, а на другое утро мягкий, солнечный свет наполнил комнату Ганны, и потянулись ликующие, весенние дни...

Однажды, когда Ганна сидела наверху у раскрытого окна своей комнаты, кончая работу и прислушиваясь к веселому шуму и гаму, долетающему со двора, она вдруг увидела несколько нарядных всадников, въезжающих к ним во двор. Сердце Ганны забилось мучительно и тревожно, кровь отхлынула от головы. Она высунулась в окно, не смея двинуться, не смея крикнуть. Впереди ехал молоденький юноша, очевидно, поляк, с едва пробивающимся пушком над верхней губой. Одежда его была чрезвычайно роскошна; дорогой мушкет висел за спиной. В некотором отдалении от него, почтительно склонившись вперед, ехал дородный

пан, с полным надменным лицом, ощетинившимися усами и выпуклыми глазами, в котором Ганна сразу признала пана Чаплинского. За ними ехало еще несколько панов. У всех за спинами висели ружья; четыре великолепных лягаша неслись с веселым лаем вперед. Ганна почувствовала сразу, что этот приезд не может быть не связан с Богданом, и страх перед возможностью узнать истину парализовал ее до такой степени, что она не могла отойти от окна. Вдруг двери поспешно распахнулись, и в комнату вбежала раскрасневшаяся, растерянная Катря.

— Ганно, Ганно, иди скорей! Там приехал сын пана коронного гетмана, спрашивает кого-нибудь. Ни пана Ивана, ни Ганджи во дворе нет.

Вся замирая от непреодолимого волнения, спустилась Ганна вслед за испуганною девочкой вниз.

Вельможные паны сидели на конях у крыльца. Ганна поклонилась низко, широко распахнув двери; от волнения и смущения краска залила ей лицо.

— Что, есть кто дома? — обратился к ней юноша.

— Кроме меня и больной жены писаря, ясный пане, нет никого.

— Как, и вы тут сами живете? — изумился юноша.

— Брат мой, полковник Золотаренко, наезжает к нам,— запинаясь, выговорила Ганна. О Гандже она почему-то не сочла нужным упомянуть.

— Осмелюсь заметить, что такой пышной красе,— усмехнулся пан Чаплинский, выпячивая вперед губу, украшенную щетинистыми усами, и любуясь Ганной,— я бы не советовал без сильного защитника жить.

Все посмотрели на Ганну, а Ганна, не зная, что сказать, чувствуя на себе пристальные, бесцеремонные взгляды панов, смутилась еще больше и опустила глаза вниз.

— Гм... гм...— вставил из свиты другой,— того и гляди, наскачет какой-нибудь черномазый мурза и увезет пышную панну в Перекоп.

— Что ж,— подхватил третий, закручивая молодцевато усики и подымая левую бровь,— за такой красуней я полечу на выручку и в Бахчисарай! [94]

— Постойте, постойте, пышное панство, вы совсем застыдили нашу молодую хозяйку,— улыбнулся юно-

ша,— да так застыдили, что она даже и не просит нас войти, а может, и не желает таких буйных гостей?

— Просить такой чести не смела,— едва овладела собой Ганна,— но если вельможное панство позволит предложить себе добрый келех старого меду — за счастье почту!

— Згода, згода! — весело закричала свита, соскакивая вслед за молодым Конецпольским с коней, бросая поводья на руки подоспевшим конюхам.

— Ого, сколько хлеба у свата? — изумился пан Чаплинский, подымаясь на крыльцо и кинув удивленный взгляд в сторону тока, откуда высматривали рядами важные высокие скирды.— Хотя бы и какому пану — впору!

— Да, пан писарь хозяин известный,— заметил другой, оглядываясь кругом,— какой будынок... гм... какие коморы... даром, что простой козак!

Но когда гости вошли в большую комнату, удивлению их не было границ.

— Да это чистый палац! — вскрикнул пан Чаплинский, останавливаясь на пороге и окидывая все загоревшимися завистью глазами...— Посмотрите, ваша вельможность,— обвел он взглядом липовые полки, уставленные серебряной утварью,— какие драгоценности, какие ковры!

Юноша окинул все довольным взглядом:

— Да, дом делает честь пану писарю.

— Даже бо́льшую, чем он заслужил,— пробормотал себе под нос Чаплинский, сравнивая невольно свою обстановку с этой и замечая, к своему крайнему неудовольствию, что у него не будет и половины того добра, которое собрал себе здесь этот простой репаный козак.

Двери из комнаты пани Хмельницкой тихо растворились. Больная женщина, поддерживаемая двумя старухами, с трудом стояла у своей постели.

— Простите, вельможное панство, почетные, высокие гости, что по хворости своей неотступной не могу я выйти к вам и принять вас по вашему вельможному сану и по моему щирому желанию,— заговорила она тихим, болезненным голосом, кланяясь низко в пояс,— нет моего пана. Как уехал по велению пана коронного гетмана на Маслов Став, так и не возвращался домой;

ох, уж как бы он рад был милостивым панам! Как бы гордился этой высокою честью!

— А мы-то о нем и справиться заехали: мой отец узнать велел, не имеете ли вы какой вести о нем? Не слыхал ли кто, что это с ним приключилось? — спросил юноша.

— Ох боже ты мой, господи! — застонала больная.— Мы ж то надеялись, что пан коронный гетман знает хоть что-нибудь! Несчастная моя доля, горемычная! Видно, недоброе что-то приключилося с ним!

— Н-да, скажу по совести, такой зимою по доброй воле не поедешь где-то в снегах зимовать! — заметил Чаплинский, приподымая свои круглые брови.— Видно, пану писарю бо-о-льшая потреба была.

— Нет, почему же? Под снегом, говорят люди, еще теплей, чем на морозе,— вставил молодой Конецпольский, и хотя эта шутка была довольно некстати, но все сочли нужным разразиться громким смехом.

Больная только всплеснула руками и уронила голову на грудь.

— Да ты ложись, пани,— махнул ей рукой юноша,— нас молодая хозяйка примет.

Двери затворились; в комнату с сеней вошли две дивчины: одна из них несла на серебряном подносе большой, тяжелый жбан, а другая шесть серебряных кубков. С низкими поклонами стали они обходить пышных гостей.

— Ге, да здесь у пана свата настоящий цветник, как я вижу,— вскрикнул весело пан Чаплинский, приподымая плечи и расправляя усы.

— Здесь чудесно! — согласился юный вельможа.— И если молодая хозяйка позволит, можно наведываться...

Ганна молча поклонилась.

— И по дороге как раз,— заметил кто-то.

— Н-да,— добавил Чаплинский,— должно быть тяжело расставаться с таким гнездом; разве уж позовут неотложно на тот свет!

Кубки наполнились.

— Здоровье сына пана коронного гетмана! — крикнули разом все гости, подымая кубки и чокаясь с молодым Конецпольским. Он ответил коротким поклоном и обратился к Ганне:

— Здоровье молодой хозяйки!

Зазвенели кубки, зашумели гости. Из-за закрытой двери доносился тихий, заглушаемый подушками плач. Ганна стояла бледная, неподвижная. Один жбан осушили; она велела принести другой. И в то время, когда развеселившиеся гости один перед другим изощрялись в веселых шутках и легких остротах, в голове Ганны быстро мелькали мысли одна за другой. Они ничего не знают, думают, что его уже нет и в живых! «Господи, да неужели ты, ты мог допустить? — с каким-то невольным озлоблением вырвалось из глубины ее возмущенной души.— Ну, а если так? Что тогда? Буйные наезды панов, обиды, оскорбления; да что о них! Бессилие всего народа: останутся все словно стадо без головы». Ганна уже вырастила в себе убеждение, что без Богдана все должно умереть, а потому с ужасом думала: «Неужели же он может погибнуть безвестно, бесславно в чужой стороне? Нет, нет! Бог его спасет! А если так, а если нет его?! — тихо прошептала про себя Ганна, стискивая губы.— Тогда не жить».

— А любопытно бы было осмотреть будынок и дальше; что на это вельможный пан скажет? — обратился Чаплинский к пану Конецпольскому, окидывая еще раз хищным взглядом всю серебряную утварь и ковры.

— Что ж, я рад, если панна согласна нам показать,— сказал Конецпольский.

Ганна поклонилась и прошла вперед. С каким-то невольным трепетом распахнула она дверь на половину Богдана... Из нежилой комнаты пахнуло затхлым холодком. Сквозь закрытые окна и двери весенний воздух не проникал сюда... Сурово глянули на вошедших увешенные оружием стены...

— Славно! — заметил юноша.— Ай да пан писарь! Такую комнату не стыдно и в наш палац перенести!

— Настоящий арсенал! — проговорил Чаплинский, бросая завистливый взгляд на дорогие мушкеты и клинки.

— По мне, даже опасно оставлять в одних руках такую массу оружия,— отозвался кто-то из свиты,— кто может поручиться за хлопов? Взбунтуются, захватят оружие, а тогда разделывайся с ними.

— Пану свату моему это не опасно,— заметил с притворной похвалой Чаплинский, подчеркивая слова,—

против него хлопы не встанут... они его любят... батьком зовут.

У юноши промелькнуло на лице недовольное выражение.

— Тут еще сад есть? — обратился он к Ганне.

— Есть, ясный пане,— поклонилась Ганна, очнувшись от его вопроса... Она стояла все время на пороге, подавленная нахлынувшими воспоминаниями, и не слыхала замечаний панов. Ганна прошла вперед.

После затхлого воздуха нежилой комнаты всех приятно обдало нежно-теплым воздухом первой весны... В саду деревья все еще стояли обнаженные, но свежая, робкая зелень пробивалась кругом: желтые одуванчики, бледно-голубые фиалки, бледные подснежники выглядывали из травы. Издали из хутора доносилась веселая весенняя песня.

— Гм...— заметил снова пан Чаплинский, оглядываясь вокруг,— да это настоящий парк... Хитрый сват молчал все про свои богатства... не хотел, видно, показать?

Гости прошлись по нескольким аллеям и вышли снова на крыльцо. Лошадей подвели конюхи.

— Так, панно, наказывал всем вам отец,— произнес молодой Конецпольский, вставляя ногу в стремя,— что если узнаете о пане писаре какую весть, присылали бы немедленно в Чигирин.

— Слушаюсь воли пана гетмана,— поклонилась Ганна.

Паны вскочили на коней, сжали их стременами и с громким хохотом, покачиваясь в седлах, поскакали за ворота. Вскоре их нарядные, украшенные перьями береты скрылись за деревьями. Ганна неподвижно стояла на крыльце. Из хутора все ясней доносилась веснянка, видно, дивчата вышли уже за царину. «А вже весна, а вже красна — із стріх вода капле»,— донеслись ясно звонкие, молодые голоса.

— «А вже весна... а вже красна»...— машинально повторила Ганна своими побелевшими губами и вдруг разразилась рыданьями, припав головой к деревянному столбу...

После приезда панов решение идти на прощу вполне укрепилось в Ганне. Мучительная тоска неизвестности достигла такой степени, что Ганна решительно не

могла оставаться больше в этой бездейственной тишине. Неугасимая жажда идти молиться, просить, рыдать у чудотворного образа божьей матери всевладно овладела Ганной. Это была ее последняя надежда. Она твердо верила в милосердие божее и надеялась, что он услышит ее. Когда она сообщила о своем намерении брату, тот старался было отклонить его, приводил ей в довод, что теперь дороги далеко не безопасны, что всюду говорят о волнениях и даже в самом Киеве не безопасно оставаться, указывал на трудности пути... Но на все эти доводы Ганна отвечала упорно и решительно одной фразой, что без ведома господня ни один волос не упадет с ее головы, а если суждена ей смерть, то она найдет ее и за тысячью замков. Наконец порешили на том, что Ганна возьмет с собою подводу и двух козаков. Стали посылать узнавать в соседние селения, когда выступают богомольцы. Ганна начала собираться в путь. От этого решения все точно немного ожили в доме. Сама больная возлагала на него большие надежды. Бочонки с воском, с медом, сувои полотна, сушеные караси и другие домашние продукты предназначались для приношения в Лавру. Каждый из хуторян и домочадцев сносил свои злотые к Ганне, прося помянуть таких-то и таких. Больная просила поставить за здоровье Богдана двухпудовую свечу и повесить к иконе божьей матери со своей шеи нитку дорогих жемчугов. Наконец день выхода был решен.

В ясное, весеннее утро попрощалась Ганна с семьею... Прощание не было печальным. Батюшка пришел нарочито отслужить напутственный молебен. Во время службы Ганна не спускала с иконы глаз. В темном кунтуше, в темном платке, она казалась еще худее, но в глазах, устремленных на образа, горело столько веры, надежды и любви, что и у всех молящихся, взглядывавших на нее, просыпалась какая-то смутная надежда. Молебен окончился; батюшка благословил всех и окропил святою водой. Когда Ганна подошла к кресту, он надел ей на шею ладанку и, целуя по простому обычаю в голову, сказал уверенно и ласково:

— Истинно, истинно говорю вам, не оставлю единого от малых сих.

— Смотри же, Ганнуся, не барись, к проводам будем выглядать тебя! — сказала больная, целуя ласково

голову Ганны, склоненную над ее рукой. Дети веселой гурьбой побежали провожать Ганну за хутор, к тому месту, где поджидала толпа богомольцев, подводы и козаки. Издали на солнце белела уже эта группа своими чистыми рубахами, котомками и намитками.

Преимущественно здесь были все женщины и дивчата, было, впрочем, несколько седых и древних стариков. Присоединившись к богомольцам, Ганна еще раз оглянулась на Субботов: какой он стоял блистающий и светлый, окруженный деревьями с едва заметным зеленым пушком. Ганна поклонилась на четыре стороны и, перекрестившись, отправилась в путь. Брат провожал ее до первой остановки. Он шел рядом с нею, ведя своего коня в поводу.

— Когда же ждать тебя? Хочу выехать в Корсунь навстречу,— говорил он, широко шагая рядом с ней.

— Долго не забарюсь... после велыкодня будем сейчас возвращаться.

— Эх, затеяла ты! Говорят, совсем неспокойно на левом берегу...

— Не беспокойся... мы расспрашивать будем, по глухим селам пойдем.

Брат махнул досадливо рукой, как бы желая этим сказать: «Что уж теперь рассуждать!»

Но Ганна взяла его за руку и проговорила тихо:

— Не бойся, я знаю, что господь не оставит нас.

И эти уверенные слова, казалось, смягчили и растрогали сурового брата.

На высоком кургане, среди безбрежной степи остановились богомольцы на первый привал. Расставили треножник, заварили в казанке кашу, растянулись кругом на зеленой траве.

Ганна стояла осторонь с братом.

— Пора,— произнесла она, обращаясь к нему. Тот сбросил шапку и, крестя Ганну на дорогу, сказал угрюмым голосом, как бы стыдясь своих слов:

— Ты того... осторожнее... я козакам наказал... да и сама... Помни, что нас на свете всего двойко...

Ганна обвила руками загорелую шею брата, и слезы подступили у ней к горлу от этой первой его ласки.

— Ну, с богом, с богом! — произнес он торопливо, вскакивая на коня.— Не барись же, будем ждать...

Под высоким, безоблачным небом веял ласковый,

весенний ветерок; словно зеленое море, разлилась кругом степь безбрежной пеленой. Зеленели убегающей цепью курганы... Видно было, как вдали на одном из них, окруженный стадом овец, стоял неподвижно задумавшийся чабан...

Конь брата казался уже небольшой фигуркой, скачущей вдалеке. Вверху в невидимой вышине разливалась песнь жаворонка; журавли летели длинным ключом. И ничего кругом, кроме этой зелени, да хрустального неба, да ясного солнца, обливавшего всех теплой волной.

Ганна стояла, не отрывая глаз от убегающей дали, и казались ей и она сама, и брат, и эти богомольцы такими маленькими и ничтожными, затерявшимися в этой безграничной ширине. Господи, думалось ей, как хорош твой мир и как мало в нем счастья!

XVII

Первые дни пути богомольцы прошли спокойно и безмятежно. Шли больше степью; поселки попадались редко, отдыхали на зеленых курганах, спали под открытым небом. Ганна чувствовала себя совершенно одинокой; эти богомольцы, идущие вместе с ней, были и бесконечно близки ей, и бесконечно далеки. Ночью, когда усталые все засыпали кругом, Ганна долго лежала без сна, устремив глаза на рассыпавшееся звездами небо. Тихие слова молитвы беззвучно сплывали с ее уст. Она чувствовала себя такою бессильной и малой пред лицом великого бога, глядящего на нее тысячью глаз из этой неведомой таинственной глубины. И горячее плыла ее молитва, и небо казалось ей выше, и степь расстилалась шире кругом. Когда же, пробудясь невзначай, она открывала глаза, над нею, словно мерцающие лампады, горели все те же звезды, и Ганне казались они ангелами-хранителями, стерегущими неусыпно погруженную во мрак землю. И тихий покой разливался в ее душе.

Чем ближе к западу подвигались богомольцы, тем чаще попадались хутора и поселки, но вместе с тем и тревожные вести встречали их повсюду. Глухо и неясно слышалось кругом, что подле Киева неспокойно,

что ксендзы затевают что-то против православных церквей; некоторые советовали совсем не идти, другие — идти больше ночью и окольными путями.

Последнего совета богомольцы послушались: они избегали больших дорог, редко заходили в селения, шли больше лесами, но и все эти предосторожности не могли избавить их от нескольких неприятных стычек, окончившихся, правда, довольно благополучно, благодаря присутствию в обозе двух-трех вооруженных людей. Однако все это сильно задерживало их в пути, и прочане страшно торопились, чтобы к вербному воскресенью попасть хоть в Ржищев, где была церковь. Праздник благовещения был встречен в поле. Обратясь лицом к востоку, прочли тихо богомольцы, стоя на коленях, «Отче наш» и «Богородице дево»,— больше никто и не знал ничего, а Ганна прочла всем вслух евангелие, тем и окончилось короткое богослужение. Зато восходящее солнце освещало величаво молящуюся группу, и жаворонки щебетали кругом.

За два-три дня до Ржищева богомольцев стали поражать все чаще и чаще заброшенные, невозделанные поля. Иногда они встречали пустой, точно вымерший хуторок с выбитыми в хатах окнами и разрушенными службами.

На их вопросы крестьяне отвечали таинственно: народ бежит; кто успел уйти с семьей, тому и хорошо. Многие в лесах попрятались, да голод одолевает, вот и пошли грабежи, а панство и слуги панские разыскивают непокорных хлопов да заодно уже карают и верных слуг.

Жутко становилось Ганне от этих слов и от этих сиротливо заброшенных полей.

Уж солнце клонилось к вечеру, когда усталые путники приблизились к Ржищеву. Сойдя к берегу Днепра, они поторопились умыть лицо, ноги и руки, переодеться во все чистое, чтобы достойно встретить праздник. Большое село широко раскинулось под гору, отступя от берега Днепра. Но, несмотря на вечернюю пору, благовеста не было слышно. Вероятно, уже началась служба,— порешили богомольцы, поспешно направляясь к селу. При входе, как и следовало ожидать, все хаты оказались пустыми. Это окончательно утвердило в них уверенность, что служба уже началась, и богомольцы

торопливо поспешили вперед. Однако, обогнув несколько уличек и выйдя на майдан, окружавший церковь, они были крайне удивлены, увидев, что церковь стоит запертой, возле дверей лежит куча молодой нарезанной лозы, а подле нее толпится народ. Что это? Еще не начиналась служба? — переглянулись беспокойно все. «Батюшка еще не пришел»,— постаралась успокоить взволнованный люд Ганна, чувствуя сама, как сердце замерло у нее в груди; но, подойдя ближе к церкви, они увидели, что седенький старичок священник, в простом сером подряснике, уныло стоит впереди народа, опустив седую голову на грудь и бессильно свесив, как плети, худые и слабые руки. Отец диакон, такой же седой, как и священник, но полный и румяный, стоял тут же; однако лицо его, очевидно всегда веселое и добродушное, было теперь угрюмо, печально, и глаза не отрывались от запертых церковных дверей. В толпе среди молодежи раздавались глухие гневные восклицания; старики же стояли угрюмо и молчаливо впереди. Но больше всего поразила богомольцев совершенно неподходящая к месту фигура. Это была сытая фигура жида, который важно ходил перед церковными дверьми, заложивши руки за спину; при каждом его движении полы длинного лапсердака подпрыгивали, словно хвост какой-то неряшливой птицы, и обнажали длинные ноги, обутые в истоптанные пантофли с грязными тряпками, выглядывавшими из них. Длинные пейсы жида спускались из-под меховой шапки с наушниками до самых плеч, и когда он покачивал нахально и высокомерно головою, то пейсы и седоватая борода его тряслись. Жид ежеминутно то сплевывал в сторону, то сморкался двумя пальцами, не обращая умышленно никакого внимания на церковнослужителей и наслаждаясь сдерживаемым негодованием толпы. В руке его звенела связка ключей.

— Что это? Что это значит? — обратилась Ганна с смущением к одному из стоявших поблизу молодых хлопцев.

— Не видишь, что ли? — прошипел тот, стискивая зубы и указывая кулаком на жида.

— Случилось что? Зачем жид здесь? Отчего заперта церковь? — спросили уже разом и остальные богомольцы.

— Оттого, что мы глупы, слушались дураков, да вот и вышло, что дураков и в церкви бьют! — раздалось сразу несколько голосов.

Этот шум долетел и до жида.

— Но! Пс! Цихо там! — крикнул он, нагло останавливаясь перед толпою, вытягивая правую руку вперед.— Еще чего разговаривать выдумали... бунтари, хлопы! Вы слышали, что сказал мне пан, а? За одно слово обещался перевешать вас всех, как собак?

— Да мы и молчим,— уныло вздохнули старики.

— Иуда проклятый! — прошипели молодые в задних рядах.

— То-то ж... молчать! — сморкнулся жид пальцами и вытер их о полы своего лапсердака,— чтоб ни пары з уст, понимаете? Не то узнаете панского канчука! А коли хотите идти в церковь, так извольте поскорей деньги давать, потому что мне ждать здесь с вами некогда.

Жид снова засунул за спину руки и сделал вид, что хочет уходить.

— Смилуйся, Лейбо,— заговорили разом сбившиеся впереди старики. Жид подпрыгнул и, повернувшись круто на месте, заговорил быстро, протягивая последние слова, сильно жестикулируя руками и прищуривая то правый, то левый глаз:

— И чего мне вас миловать? Га? Скажи, пожалуйста, чего? Что я вам, паны хлопы, делаю? Разве я граблю или мучаю вас? Я делаю то, что мне приказал мой пан, и больше ничего. Земля панская, и все, что на ней, панское, и церковь панская; пан мне отдал все в аренду и велел без платы хлопов в церковь не пускать...

— Да это ж гвалт,— заговорили седые деды,— кто ж в храм божий за деньги пускает?

— Пхе! — усмехнулся презрительно Лейба и оттопырил руки, точно отталкивая от себя что-то гадкое и неприятное,— разве это божий храм? Идите в костел!

— Сам туда иди с балабустою! — крикнул кто-то в толпе.

— Тпху! — сплюнул жид и, как бы не расслышавши слов, продолжал: — Никто вам не мешает идти туда, а если вы хотите в схизматскую халупу идти, так и платите за то чинш, чтобы было на что честным, почтивым людям жить!

— Да ты не смей так про веру нашу говорить! — крикнул диакон, выступая вперед.— Сам король защищал ее...

— И что мне король? — протянул жид, зажмуривая левый глаз и приподымая плечи,— пусть он себе в Варшаве король, а пан в своем маентке сам себе круль! И когда хлопы хотят быть схизматами, так должны за то деньги платить.

Жид снова сплюнул на сторону и прошелся перед всеми.

Батюшка стоял все время молча, опустивши голову на грудь.

— Дьявол проклятый! Собачья душа! — зашептали более молодые, сжимая кулаки. Бабы заплакали.

— Откуда же взять, Лейбо, откуда? Сам знаешь, какой голод,— одни только шкуры остались на плечах, и те б сняли, да ничего не дают за них,— заговорили впереди.

— Пс! — остановился жид, растопыривая с недоумением пальцы и отбрасывая голову назад,— так чего ж вы, паны хлопы, шумите, разве я неволю вас? Нет денег — и не надо; лучше домой идти и сделать чего-нибудь. Разве мало работы есть? Ой, вей! А панотец может и в поле перехамаркать... Спокойной ночи, паны хлопы, спокойной ночи, панотче! — поклонился он насмешливо крестьянам, поворачиваясь снова спиной.

— Да как же нам в такой святой день без службы божьей остаться? — взмолились старики.

— Не откроешь церкви?! — закричали сзади хлопцы.

— Давайте два червонца — и можете там себе свои схизматские отправы служить,— ответил жид, не поворачивая головы.

— Так сдохнешь же, собака! Отвори церковь! — кричали сзади.

— На бога, стойте! Молчите! — бросались к хлопцам бабы и седые мужики.

— Га? Так вы еще так, лайдаки, хлопы? — повернулся вдруг жид.— Забыли панские канчуки, хотите еще? — попробовал было он окрыситься, но вдруг побледнел как стена и затрясся. Перед ним были все бледные, искаженные от ярости лица, и жид почувствовал в одно мгновенье, что толпа забыла уже всякий страх.

— Не дождешься, ирод! Прежде с тебя шкуру снимем! — все крикнули хлопцы и бросились вперед.

— Гевулт! — взвизгнул жид, подхватывая полы своего лапсердака и стараясь выбраться из толпы; но сделать это было почти невозможно: часть толпы бросилась вперед, другая стремилась окружить его. Бабы плакали навзрыд, батюшка несколько раз порывался говорить, но его слабого голоса не слушал никто.

Наконец Ганне удалось с отчаянным усилием прорваться вперед. Опоздай она минуту, жид был бы смят и растерзан.

— Стойте, панове! На бога, слушайте! — закричала она, насколько могла громко, подымая вверх руку с двумя червонцами.— Я даю деньги! Церковь откроют сейчас!

— Есть деньги! Панна дает! — закричали ближние дальним.

— Какая панна? Откуда взялась? — изумились кругом.

Толпа понемногу расступилась. Ганна подошла к жиду. Он стоял мертво-зеленый, вытирая со лба пот и переводя с трудом дыхание.

— Вот деньги,— подала ему Ганна два червонца,— отвори церковь.

При виде червонцев лицо жида оживилось, и он с удивлением взглянул на Ганну.

— Ай, панна, какая сличная панна,— заговорил он, причмокивая губами и покачивая головой,— ой вей! Если б я знал, что здесь панна, я бы сразу церковь отворил, а то из этими гевалами, пхе, гевулт! И чего они с меня хотят? Я бедный жидок, ну, что пан скажет, то я и делать должен. Скажет запри — запру, скажет отпирай — отопру, скажет танцуй в судный день — танцевать буду! А что ж мне, бедному, делать, когда он с меня денег требует? Где ж я их возьму? Ой вей! Хай ему маму мордуе, чем такой гешефт!

— Отпирай же двери скорей,— перебила Ганна жида,— солнце садится.

— Зараз, зараз, панно-любуню,— заторопился жид, громыхая замком,— панна, видно, здалека... может, до меня в корчму заедет... потому что тут неспокойно... Ой вей! Может, панна не знает, а эти хамы все равно что дикие псы,— прошептал он, нагибаясь над ее ухом.

Но Ганна уже не слышала его, она подошла к старичку священнику. «Благословите, панотче!» — склонилась она над его рукой.

Лицо священника было все покрыто мелкими морщинками; седая бородка спускалась на грудь; жиденькие, седые же волосы были сплетены в косичку; во всей его фигуре виднелась старость и дряхлость, и только карие глаза светились еще живым огнем.

— Бог благословит тебя, дитя мое,— проговорил он разбитым, дребезжащим голосом, как бы слышавшимся издалека ей.— Сам он и послал тебя! Если бы не ты, не слыхали бы мы божьего слова в такой великий день.— Батюшка замолчал, пожевавши губами; на глазах его показались слезы.— Разве это в первый раз? Покуда было что давать — давал, да прежде он и меньше правил... а теперь — два червонца... Где их взять? Откуда взять? Прогневали мы бога... настали горькие часы... А дальше что будет? — Старичок замолчал и взглянул куда-то вдаль; глаза его потухли, и на лицо упало мертвенное, безжизненное выражение.

Сердце сжалось у Ганны при виде этого убожества, при виде этой жалкой, беспомощной старости, отданной на поругание, на издевательство жидам.

— Бог милостив, батюшка! — тихо произнесла она.

— Милостив, милостив! — повторил старичок, оживившись.— Его воля на все... за наши грехи... и должны мы все терпеливо нести, ибо он сказал людям: «Мне отмщение, и аз воздам».

Толпа между тем осаждала богомольцев вопросами: кто такая панна, откуда и как явилась сюда?

— А откуда панна прибыла к нам? — спросил Ганну и старенький диакон, уже повеселевший, уже забывший грустное происшествие.

— Я из-под Чигирина, из Субботова, хутора войскового писаря Хмельницкого, полковника Золотаренка сестра.

Старенький священник зажмурил глаза с напряженным видом, как бы желая вспомнить что-то.

— А, помню, как же, знаю... Только, верно, не того, а отца его... Конечно, отца... Отца, так и есть,— заговорил он радостным голосом, и детская улыбка осветила его старческое лицо,— ох, горячий был козак Золотаренко Николай...

Наконец жид распахнул с трудом тяжелые двери. Батюшку и Ганну пропустили вперед, а за ними хлынула и остальная толпа. Вечернее солнце ударяло всеми своими лучами в правое высокое решетчатое окно, и целый сноп этих золотых и червонных лучей протянулся через всю церковь, осветив потемневший иконостас. Иконы глядели из темных позолоченных рам печально и сурово. Воздух в церкви был холодный и затхлый, словно в склепе. Батюшка велел отворить окна; сквозь мелкие решетки ворвался свежий теплый воздух, пропитанный тонким ароматом вишневых и яблоневых цветов. Наконец перед иконами зажглись свечи и лампады. Тысячью свечей осветилась темненькая церковь; каждый из молящихся стоял с зажженною свечой и с пучком вербных ветвей в руках.

На них уже не было сереньких пушистых барашков, а маленькие, липкие листочки покрывали красные прутья...

Царские врата торжественно распахнулись; в глубине засиял престол высоким треугольником семи зажженных свечей. «Слава святей, единосущней и животворящей тройце!» — возгласил батюшка окрепшим голосом. «Аминь!» — ответил ему стройно клир, и вся церковь, словно по одному мановению, опустилась на колени. Служба началась. Торжественная тишина прерывалась иногда только неожиданно вырвавшимся из груди рыданием. Молились горячо. При каждом возносимом кресте глаза с такой страстной надеждой подымались к потемневшим ликам святых, руки с такою глубокою верой прижимались к груди! Батюшка, предшествуемый диаконом, в лучшей ризе своей, с кадильницей в руке, вышел из алтаря; они останавливались перед каждым образом, кадильный жертвенный дым наполнял всю церковь, тихо пел клир, тихий свет разливался кругом от сияющих восковых свечей. Сквозь решетки заглядывали в окна усыпанные белыми цветами яблонные ветви, а сквозь них светилось мягким нежно-розовым сиянием вечернее небо.

«Пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний»,— повторяла Ганна шепотом слова молитвы, не имея силы оторвать глаз от освещенного вечерним светом окна, а из глубины ее сердца подымался сам собою один и тот же вопрос: «Господи, где-то он? Где-то он?

Знает ли, что затевается здесь?» И в тысячный раз горячие молитвы порывались из ее души.

Служба шла своим чередом: пение сменялось чтением. Читал отец диакон медленно, с трудом, но понятно для всех. Когда же на клире запели: «Осанна в вышних», множество голосов подхватили эту песнь, и ветви с зажженными свечами потянулись навстречу батюшке. Пение, шелест и шум ветвей наполнили всю церковь. Восторженное настроение охватило и Ганну. Долго не смолкал шум в церкви, долго подымались, словно лес, ветви над головами, а батюшка ласково улыбался и кропил всех из большой кропильницы святою водой. Алтарь между тем наполнился таинственным сумраком; в высокие окна смотрело уже потемневшее небо. Престол терялся в тени, свечи, горевшие на нем, казались какими-то большими звездами, плавно колеблющимися в таинственной полутьме, а красная лампада над царскими вратами сверкала, словно большая капля горячей крови, повисшая на золоченом своде.

Незаметно летело время среди вздохов и молитв.

— «Слава тебе, показавшему нам свет!» — произнес наконец громко батюшка, и вся церковь склонилась ниц.

— «Слава в вышних богу и на земли мир!» — полилась с клироса величественная, торжественная песнь. И в эту минуту, под звуки великого гимна, тихий мир обнимал в этом бедном храме этих бедных людей. Казалось, все забыли и о прошлых несчастиях, и о нынешних утеснениях, и о неведомых бедах грядущих дней...

— «Яко ты еси един источник живота»,— повторяли шепотом сотни голосов, осеняя себя крестами и прижимаясь лбами к холодной земле.

— Ты, ты один,— шептала и Ганна.— В твоих руках и жизнь и смерть, единый волос не упадет с головы человека без воли твоей... Спаси же нам Богдана, сохрани нам братьев, не дай нам видеть своими очами поругания святыни твоей! — Глаза Ганны горели и туманились, на щеках вспыхивал лихорадочный румянец.

— «Во свете твоем узрим свет!» — раздалось с клироса громко и вдохновенно, и в эту же минуту из глубины алтаря показалась высокая свеча, словно звезда, выплывшая из небесной глубины. Свеча спустилась тихо и плавно по ступеням, а за отцом диаконом вышел

из алтаря и старичок священник... И это большое пламя, колебавшееся над всеми головами, казалось Ганне указанием божиим, где и как искать свет.

Евангелие поднял священник... Большое пламя свечи снова поплыло перед ним и скрылось в алтаре. Священник остановился перед царскими вратами и, обернувшись к народу, поднял тяжелое евангелие над головой. «Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!» — донеслось с клироса замирающим шепотом. Евангелие наклонилось в одну сторону, в другую... Священник, осенив народ большим крестом, скрылся в царских вратах. Молящиеся стали подыматься с колен.

Вдруг Ганну поразил неожиданный шум, раздавшийся при входе; она оглянулась и с удивлением заметила толпу новых лиц, входящих в притвор. Все это были козаки, одетые в красные и желтые жупаны, очевидно, не рейстровики... Ганна скользнула взглядом по их незнакомым лицам и замерла вся от радости и изумления: впереди всех стоял Богун. Да, в этом нечего было и сомневаться: других таких глаз, других таких соколиных бровей нельзя было отыскать по всей Украйне. И он узнал Ганну; она заметила, как, при виде ее, загорелось все лицо Богуна, заблестели глаза; он было рванулся, но место, служба, толпа молящихся сдержали его: он овладел собою, остановился, да так и не отрывал от Ганны до конца службы своих восхищенных глаз. Как ни напрягала своего внимания Ганна, но последние слова службы промелькнули мимо нее, как во сне. Тысячи вопросов, надежд и сомнений пробудились в ней... Вот сейчас от него, от Богуна, она может узнать о Богдане много, много... все! Каким образом он здесь?.. Зачем? Откуда? Ах, это господь послал его, чтобы утишить ее муки.

Старичок диакон погасил мало-помалу все свечи у икон; серый сумрак спустился из глубины купола и повис над алтарем. Одна только красная лампада колебалась тихо у царских врат. Священник вышел уже в своем холстинковом подряснике и, остановившись перед алтарем, прочел краткую молитву и благословил народ.

— «Под твою милость прибегаем, богородице дево»,— запели тихо на клиросе; в молчании опустились все на колени, и старичок священник склонился у цар-

ских врат. Ганне казалось, что она чувствует легкую, спасительную ризу богородицы, раскинувшуюся над коленопреклоненными, бедными людьми... Последние звуки тихой молитвы замерли... Долго не подымались все с колен, как бы чувствуя, что умчался минутный отдых, и там, за этими дверьми, уже ждет их горькая жизнь, полная лишений и утрат.

— Панно, каким родом? Откуда ты здесь? — услыхала Ганна за собою знакомый голос и, поднявшись, увидела подошедшего к ней Богуна.

— В Киев, на прощу иду.

— Одна?

— Нет, со мною валка наших прочан и два козака.

— Два козака? Ганно, да разве ты не знаешь, как неспокойно здесь? Я не пущу тебя одну! Со мною сотня моих козаков... Мы проведем тебя в Лавру и назад.

— Не бойся, пане... мы идем глухими дорогами.

— Не говори так; я знаю, что делается дальше, и одну не отпущу тебя!

— Спасибо,— Ганна нагнула голову и затем спросила тихо: — А отчего и зачем сам ты здесь?

— Тебе могу сказать: ты, Ганно, все одно, что товарищ... Я был на Подолье, комплектовал полки, а теперь перекинулся сюда в Киевщину. Небось сама уже видела, что творится здесь.

Ганна только качнула головой и затем спросила так тихо, что Богун едва смог расслышать ее слова:

— Не слыхал ли чего о пане Богдане, жив ли он, где?

— Все мы под богом ходим... но недели две тому назад, доподлинно знаю, что был и жив, и здоров, так же, как я.

— Господи, боже наш... царица небесная! — зашептала бессвязно Ганна, чувствуя, как счастливые слезы затуманили ей взор, и вдруг перед глазами ее заходили темные круги, и Ганна почуяла во всем своем теле такую слабость, что едва не упала на пол.

Богун схватил Ганну за руки:

— Что сталось с тобой? Ты плачешь? Ты стала белее стены!

— От радости, от счастья! Ох, если б ты знал, как измучились мы! С Маслова Става мы ничего не знаем о Богдане; как уехал, только письмо написал, чтоб мо-

лились о нем,— говорила прерывающимся голосом Ганна, отирая ежеминутно выплывавшие слезы и улыбаясь счастливой, виноватой улыбкой.— Ждали долго, долго, расспрашивали всех, никто не знал ничего, думали, что погиб уже он, или в плену, или убит... Сам коронный гетман решил так... Сколько мы плакали...— Ганна остановилась, как бы сконфузившись, и затем продолжала: — Я и решила в Киев на прощу идти, бога за него, за семью его молить... Вот господь и услыхал мои молитвы и послал мне тебя,— окончила Ганна, обдавая Богуна радостным сиянием своих глаз.

— Эх, да и счастливый же Богдан, когда так молятся за него! —с некоторой горечью заметил Богун, не спуская с нее очарованных глаз.

Но Ганна не заметила его взгляда.

— Как не молиться? Как не молиться? — вскрикнула она.

— И молись, Ганно, молись, только не за него одного, а и за других молись,— проговорил он тихо.

— Я за всех молюсь.— Ганна замолчала и затем заговорила ласково, с тем же возбуждением: — Но ты не сказал мне, где он? Зачем уехал? Когда вернется назад?

К Богуну и Ганне подошел отец диакон и, поклонившись низко, заявил, что панотец просит их обождать его на цвынтаре, чтобы отправиться вместе к нему отужинать. Богун и Ганна вышли из церкви и остановились на цвынтаре. После света темнота показалась почти непроницаемой, хотя звезды и усыпали все небо. Вокруг церкви, между могил, всюду подымались в беспорядке усыпанные цветом фруктовые деревья. Богун и Ганна остановились под развесистой яблоней, недалеко от церковных дверей. В коротких словах рассказал Богун Ганне все, что знал о Богдане и о новом морском походе, заметивши, что все это нужно держать в глубокой тайне. В темноте ему не видно было, как слезы сбегали с ее глаз, как она прижимала к своей груди руки, не находя от радости и счастья благодарственных слов; но своим простым чутким сердцем он чувствовал, что здесь, рядом с ним, творится что-то великое, недоступное его душе...

Какое-то непонятное волнение охватывало и самого Богуна. Эта неожиданная встреча с девушкой, которой равной он не находил во всей Украйне, взволновала его

до глубины души. Расставаясь с Богданом у кодацкой корчмы, Богун порешил было оставить навсегда все воспоминания о Ганне. «Не такие времена, чтобы смущать свою душу мыслями о дивчыне»,— решил сурово козак, заметивши, что мысли эти приобретают над ним все большую силу; но решение это оказалось весьма трудно выполнить. Среди самых кипучих дел, забот и сомнений думка о Ганне не покидала его: она мелькала в его тревожной, лишенной радости жизни, как тихая звезда среди разорвавшихся туч. Не черные брови Ганны, не ее глубокие глаза, не тихий задушевный облик девушки влекли к ней козака-славуту, нет: Богуна восхищала великая сила души, что таилась в Ганне, и горячая любовь к отчизне, проникавшая все ее существо. Он восторгался ею, он не находил ей равной во всем мире, и каждая встреча с Ганной убеждала его еще больше в ее недосягаемой высоте. И вдруг эта дивчына, эта королевна, образ которой не покидал его ни в долгие зимние ночи, ни в бурю на море, ни в разгаре битвы, эта девушка, которую он не надеялся видеть здесь,— рядом с ним! Сердце Богуна билось горячо и сильно...

«И всегда высокая, всегда недостижимая нам, грешным и простым людям,— думал он, не спуская восторженного взгляда с стройной фигуры девушки и с ее бледного, подернутого ночным сумраком лица.— Вот и теперь: что ей Богдан? Дядько, приятель брата, не больше! Но она видит в нем спасителя нашей краины и решается идти молить за него бога, одна, в такие времена, с валкой прочан!.. Какая другая девушка отважилась бы на это? Нет! Другой такой на всем свете не сыскать! Но ведь не один же Богдан думает и трудится для спасенья отчизны? — поднял гордо голову козак.— Эх, заслужить у нее такую любовь, такую веру, да для этого хоть бы и жизнь всю отдать, то не жаль!»

И гордость, и восторг, и еще какое-то новое чувство наполнили всю грудь Богуна; казалось ему, что это новое, неведомое чувство теснит его сердце, затрудняет дыханье, опьяняет мозг. Словно горячий вихрь закружил вдруг все его мысли; все то, чем жил он до этой минуты, улетело куда-то далеко, далеко, и среди этого хаоса стояло только ясно одно сознанье того, что она, Ганна, королевна его, здесь близко, рядом с ним!

Охваченный этим новым порывом, Богун стоял молча рядом с ней, не смея нарушить тишины...

Легкий ветерок, колебля яблонные ветки, то и дело отряхал на них белые, душистые лепестки. Народ между тем выходил из церкви; у каждого в руке среди вербовых ветвей горела зажженная свеча; казалось, какая-то светящаяся река выливалась из церкви широкой волной. Внизу в селении эта река разбивалась на несколько рукавов, и далеко еще мелькали то там, то сям, среди густого мрака, эти слабые, трепещущие огни, казавшиеся спасительными маяками в темном море житейских бед...

XVIII

Через полчаса все уже сидели в хате диакона за ужином.

— Так, так, дети мои коханые! — говорил тихо и печально старичок священник, отодвинув от себя пустую миску и сложивши руки на столе.— Нам жить осталось немного, ох, как уж немного! — Он замолчал и, склонивши голову, глянул куда-то в темный угол комнаты унылыми, потухшими глазами.

Старый диакон взглянул на своего патрона, крякнул и опустил свою львиную голову на грудь. Ганна оглянулась кругом: желтая восковая свеча, горевшая в медном зеленом подсвечнике, слабо освещала комнату. Старик диакон сидел на кончике лавы недалеко от священника. В глубине комнаты, у низеньких дверей стояла старенькая дьяконица, одетая так же просто, как любая из крестьянских баб. Все в комнате было убого и уныло. На столе стояло несколько мисок и оловянный стакан. Кувшин с пивом да краюха хлеба дополняли незатейливое угощение.

— Жизнь для меня, как давний сон, дети,— продолжал снова старичок священник, словно очнувшись от какого-то раздумья.— Вот как вспомню, так перед глазами словно долгая дорога, а вдали как вечерний туман.— Старичок замолчал и пожевал губами.— Никого и нет кругом: все перемерло, все уже там, один еще я остался, да и то уж, чую, скоро отзовет меня господь... Нет у меня ни хаты, ни грунта... Все отнял пан... Да я

что... я не о себе! — улыбнулся он какой-то виноватой, жалкой улыбкой,— если б я один, так не о чем было б и говорить, а вот что люди без слова божьего остаются, так об этом душа болит...

Ганна взглянула в сторону Богуна: он сидел, скрестивши на столе руки, склонивши голову на грудь; лица его ей не было видно, но, и не видя его, Ганна поняла, какой гнев закипал в его сердце под влиянием этих тихих, безропотных слов старика.

— Видишь, козаче,— продолжал батюшка, обращаясь к Богуну,— отдал наш пан и землю, и церковь в аренду жиду... вот тот и запер ее на замок. Когда служба или треба, надо ему деньги платить, чтоб открыл.

— Неслыханное дело! — вскрикнул Богун, сверкнув мрачно глазами,— такого кощунства еще не было у нас!

— Сначала-то он по божьему брал,— вздохнул старичок,— ну и давали, кто мог, тот и давал, а потом все больше да больше стал брать... Были у меня матушки покойницы байбараки аксамитные да намисто доброе, отдал я ему, а на благовещенье... ряса у меня оставалась такая шелковая — тоже отдал, вот теперь,— он взглянул сконфуженно на свой холстинковый подрясник,— так и остался, в чем стою...

Отец диакон проворчал что-то неопределенное и, бросивши на батюшку полный обожания взгляд, покрылся весь багровым румянцем и шумно передвинулся на скамье.

— А сегодня вот, как бы бог не послал тебя, дитя мое,— взглянул старичок на Ганну добрым, ласковым взглядом,— так бы и остались мы без службы божией в такой-то великий день!..

— Как так? — изумился Богун, подымая голову и переводя свой взгляд со старика на Ганну.

— А так, что нам уж нечего было дать, ни у кого ни гроша за душой. Молодые бросились было бить жида, да этим себе еще больших бед натворили бы; на счастье, господь ее нам послал, ну, остановила она их, отдала жиду деньги, и услыхали мы слово божие: не то пришлось бы и так, как диким зверям, праздник встречать.

Богун бросил на Ганну быстрый восторженный взгляд и обратился к священнику.

— И давно это завелись у вас такие порядки? — спросил он.

— Нет, это вот с зимы пошли, после наказа на Масловом Ставу.

— А!.. Тавро проклятое! — заскрежетал зубами Богун.

— Пути господни неисповедимы,— кротко заметил батюшка.— Стали они теснить, заметивши, что обессилел и обнищал народ, а теперь и храмы наши отнимают, поругание, смех отовсюду.— Старик нагнул голову и затем произнес ожившим голосом, подымая вверх вспыхнувшие внутренним светом глаза.— «Предаст же брат брата на смерть и отец чадо», чую я, что мне суждена мученическая кончина, и благодарю за то господа, и жду ее, и об одном только молю, чтобы дозволил мне умереть у моего алтаря.

У дверей послышались тихие всхлипыванья; диакон, как бы нечаянно, провел широким рукавом по глазам. Ганна взглянула на священника: лицо его было тихое и светлое, глаза глядели вверх и точно улыбались чему-то.

— Чего вы, дети мои? — усмехнулся он ласково и приветливо.— Я свое уже прожил, рад, чем могу, славе господней послужить и гнева на врагов своих не храню, ибо господь велел прощать их: не ведают-бо, что творят...

— Одначе и господь возмутился духом и изгнал торжников из храма своего,— буркнул басом отец диакон, не подымая глаз.

— Господь, а не мы,— произнес наставительно старичок,— ему отмщение. Не нам мудрствовать, мы должны покориться воле его...— Но аргумент этот мало подействовал на отца диакона: его возмутившееся сердце трудно было укротить таким смиренным доводом. Он еще ниже наклонил голову и выговорил угрюмо и торопливо:

— Ему отмщение, что же — верно, да ведь не все на господа надеяться, можем подчас расправиться и сами. Я тоже писание знаю. Самсон вот три тысячи филистимлян задавил в храме, и я за вас да за веру всем этим псам ребра перетрощу!

И выпаливши залпом эти возмущенные слова, отец диакон умолкнул сразу и весь осунулся на скамье.

— Отец диакон, отец диакон! — покачал батюшка укоризненно головой.— Нет у тебя смирения, нет!

Отец диакон запыхтел, покрылся снова багровым румянцем, но промолчал.

— Нет, панотче,— поднял Богун голову и заговорил твердым голосом,— простите, что говорю вам так, только, на мою думку, терпеть нам дольше нет сил. Мы не подымаем оружия, мы не на грабеж, не для войсковой славы идем,— мы бороним свою жизнь, свою веру, своих людей! Ты говоришь, панотче, что все в воле господней, что неисповедимы господни пути? Правда твоя! Так не будь же на то воли господней, не подымались бы и мы! Смотри, разве не перст божий выводит нас из тысячи несчастий и бед? Разве не дух божий дает нашей несчастной отчизне силу бороться с могучим и хищным львом? Разве не он выводит на окровавленные нивы все новые и новые полки? Нет, панотче, без божьей помощи не видать бы нам того, что мы видели и что увидим еще!.. Пути господни неисповедимы... Так, панотче, так! Я верую тому. И кто знает, быть может, он и избрал нас, темных и забитых, чтобы наказать людей за злобу и гордыню, чтобы показать на нас силу свою!

— О панотче,— подхватила и Ганна, чувствуя, как снова пробуждается в ней и надежда, и вера под влиянием этих твердых и горячих слов,— за себя можно прощать, но за других, за детей невинных, за осиротелых вдов — разве за них можно прощать? Чем виноваты они? Чем они заслужили такую кару?.. Господь благ и милостив, и эти зверства не от него.

— Господь и сына своего распял на кресте для блага людей,— ответил тихо священник, устремляя на нее светлый и печальный взгляд.

— Но распявшие его прокляты навеки! Проклятье упало и на них и на их детей! Так прокляты и мучители наши, прокляты вовеки гонители веры,— вскрикнул Богун,— и нет к ним снисхождения ни в одной козацкой душе!

— Что значат наши мирские страдания и горести перед великой божьей тайной, которая нас ждет впереди?..

— Живой о живом думает! — перебил старика Богун горячим возгласом.— И покуда мы живы, не позволим ругаться над верой своих отцов!

— Ростовкмачить бы всем им головы! — вскрикнул вдруг отец диакон, приподымаясь на лаве.

— Отец диакон,— остановил его с укоризной священник и, положивши руку на его богатырское плечо, проговорил тихо: — Ты служитель алтаря! — Затем он перевел свои глаза на Богуна и Ганну: — Дети мои, и великие мученики не меньше нас стояли за веру, но безропотно несли свой крест.

— Святые они были, панотче, и нам, грешным, того не понять,— ответил запальчиво Богун.— Да разве бы вы, панотче, молчали, когда бы на ваших глазах резали вашу жену, ваших детей? Да разве бы вы не защитили сирот и малюток? Разве бы вы позволили осквернить святой храм на ваших глазах?!

— Поднявший меч от меча и погибнет,— тихо, но строго произнес старик.

— Да, и погибнет! — вскрикнул Богун,— но кто его поднял? Не мы! На нас подняли, так пусть и гибнут поднявшие его!!

Старик опустил печально голову; его седые волосы рассыпались по плечам и свесились на грудь, руки упали бессильно.

— Не знаю...— прошептал он тихо,— далеко уже ушел я от жизни, много мне непонятного здесь...— Он вздохнул и добавил чуть слышно: — Я знаю только одно: прощать, прощать и прощать...

Вся фигура его была в эту минуту так беспомощна, так жалка, а голос звучал так безропотно и тихо, что Ганна почувствовала невольно, как слезы выступают ей на глаза.

— Панотче! — прижалась она губами к его высохшей, маленькой, желтой руке.— Господь нас услышит, господь помилует нас!

— Помилует, помилует, всех помилует! Кого здесь, а кого там! — поднял старичок вверх глаза.

Все замолчали. Старушка дьяконица вздохнула несколько раз и, отнявши от лица правую руку, подперла щеку левой рукой. Богун задумчиво крутил свой черный ус; диакон угрюмо сопел, и его полная грудь и большой живот тяжело поднимались под холстинковым подрясником, а старичок священник тихо кивал головой, словно вспоминал что-то далекое, далекое, чуждое всем собравшимся здесь...

Наконец Богун поднялся с места.

— Спасибо, панотче, за вечерю!

— Что? За вечерю? Не мне, не мне,— очнулся старик,— а им,— указал он на диакона,— я здесь и сам гость...

— Ну, как-таки можно? — воскликнули разом и толстый диакон, и тощая дьяконица; но батюшка усмехнулся приветливо и, махнувши рукою, прибавил, как бы извиняясь перед гостями,— вот они уж и пойдут у меня, и пойдут!..

— Спасибо и вам, добрые люди,— поклонился Богун в сторону диакона,— за хлеб, за соль и за вашу ласку... А мне дозвольте, панотче, оставить вам вот это,— развязал он ременные тясьмы своего гаманца и выбросил на стол горсть червонцев,— чтобы люди православные без слова божьего не оставались. Покуда,— Богун понизил голос и окончил таинственно,— покуда из старого падла не вырастет новая трава.

— Спасибо, спасибо, мой сыну! — обрадовался старик, и все лицо его приняло детское, светлое выражение, а в голосе задрожали слезы.— Вот и милость господня, господь не оставляет нас! Уж, кажется, как плохо приходится, а смотришь — и поддержит его благая рука. А ты не умеешь смиряться, отец диакон, не умеешь. Что ж, будешь и теперь роптать?

— И от меня, панотче, примите,— доложила Ганна к деньгам Богуна и свои червонцы; но растроганный старичок решительно отодвинул ее руку. — Нет, нет, дитя мое, ты уж и так поистратилась, а перед тобой еще долгий путь; мало ли что может случиться в дороге?

Однако Ганна стояла на своем так твердо, что батюшке пришлось согласиться.

— Бог нам послал вас, и пусть же всеблагий благословит вас за ваше добро,— произнес он, подымая к небу глаза,— теперь услышим и мы «Христос воскресе!». А то я уж давно думаю, чем бы на велыкдень заплатить, нечего и продать, а тут сам господь вас и прислал.

— Стоит об этом говорить, панотче,— поднялся Богун,— слава богу, что есть еще чем помочь.

Он прильнул к старческой, высохшей руке и потом, отвернувшись, произнес смущенно в сторону:

— Я теперь пойду; надо своим хлопцам раду дать,

вы ж, паниматко, не заботьтесь мне стлать постель: ляжем с хлопцами на дворе; нам еще надо коней опорядить, да и завтра пораньше встать.

Богун вышел. Через несколько минут вслед за ним поднялась Ганна.

— Куда ты, дитя мое? — спросил батюшка.

— Пойду пройдусь, панотче, воздухом подышу.

— Ну, иди, иди, голубка, а я тем временем постельку приготовлю, подушечки собью,— зашамкала старушка, распахивая перед Ганною двери.

Ночь раскинулась над землею темным, звездным покровом. Ганна вышла в маленький садик, окружавший дьяконов дом. Ни дорожек, ни куртин не было в нем. Она пошла по мягкой траве, задевая то плечом, то головою за низкие ветви малорослых дерев. Деревья стояли неподвижные, полусонные, раскинувши в томной неге отягченные душистыми розовыми цветами ветви; казалось, они погружались в теплые волны весеннего воздуха, боясь шевельнуться, боясь отряхнуть с себя дивное и тайное очарование налетевшей весенней ночи. От нечаянного прикосновения Ганны ветви их вздрагивали, и тогда на шею, на плечи ее слетали, словно полусонные поцелуи, лепестки душистых цветов. Ганна шла дальше и дальше. Вот и конец небольшого садика; у ног ее крутой обрыв. Там внизу, у подножья его, разметалась, раскинулась, согретая за день солнечной лаской, река. Темное стекло вод неподвижно лежит и тускло блещет стальными изгибами, сливаясь вдали с темным, дымчатым горизонтом. Река не плывет, а дремлет, прислушиваясь в полусне к пробуждающейся кругом жизни. От лучей больших звезд спустились в ее глубину бледные, трепещущие нити. А там, за рекою, смутно темнеют крутые берега, луга и леса. Ганна опустилась на пригорок и забросила за голову руки. Вот мимо нее пронесся со сдержанным жужжанием большой крылатый жук; шевельнулась трава; соловей робко щелкнул вдали... и Ганна чувствует, что нет в этой ночи тишины и покоя, как нет покоя в глубине ее души. Не спит, не спит эта ночь... Она замерла, она притаилась, прислушиваясь к великой, чарующей весенней тайне, непонятной ни Ганне, ни ей.

Там, в той маленькой хатке, осталось страдание, убожество и старость, а здесь перед глазами раскину-

лась так властно, так пышно полная обольстительной тайны весенняя ночь. И Ганна чувствует, что какая-то непонятная, могучая связь устанавливается между природой и ею. Вот в груди ее вспыхнула та же мятежная, безотчетная тревога: и прошлое горе, и нынешние несчастья отошли далеко, далеко. Словно волшебный туман покрыл ее своей теплой пеленой от всего окружающего мира. Жажда счастья, живого, горячего, всесильного счастья, охватывает все ее существо. На глазах Ганны выступают, одна за другой, непослушные слезы... Она чувствует, как душа ее переполнена мучительным, не имеющим выхода восторгом.

— Он жив, он здоров! — вырвался вдруг из глубины ее души горячий, страстный возглас.

Ганна вздрогнула от неожиданности и страха. Этот возглас прозвучал так горячо, так напряженно, как Ганна не могла и предположить. Да, здесь, в глубине ее души, помимо ее воли идет своя жизнь, своя работа, а сознание так сурово докладывает ей все.

— Ах, что уж тут таиться, ведь не обманешь себя! — прошептала она едва слышно.— Сколько мучений, сколько долгих тревожных, бессонных ночей, а теперь? Одно это слово, одно лишь сознание, что там, далеко, за этою темно-синеющею далью, жив он, дорогой, великий, любимый,— и каким прекрасным, каким дивным, неизъяснимо-хорошим кажется весь этот мир! — Ганна сжала руками пылающую голову.— О нет, нет!.. Эти ужасы, эти мучения — это лишь страшные призраки, проходящий кошмар... Богдан вернется... Ах, как хочется верить, что все это минет!.. Ведь не может быть такого зла и насилия на этой дивной земле? Боже мой, боже, он жив, он спасен! — Ганна припала лицом к горячим ладоням рук. Какое-то сладкое оцепенение охватило ее, нежная слабость разлилась по всему телу, и Ганна вдруг почувствовала, как она страшно устала и измучилась душой; руки ее упали бессильно, веки сами собой опустились на подернутые влагой глаза, Ганна прислонилась головой к дереву и занемела. Словно все заснуло в ней: воля, желание, сознание,— одно только воображение неслося вперед без руля и увлекало ее за собой.

Неясные грезы, воплощенные в прекрасные, знакомые образы, бледные и смутные, как мечты,— все сли-

валось, разрушалось и плыло перед нею в каком-то тумане. В ушах ее раздавался мелодичный шум. И казалось Ганне, что какие-то теплые волны убаюкивают ее и несут далеко-далеко в неведомую даль, и среди этого туманного забытья мелькала, как блуждающий огонек, только одна ясная мысль, заставлявшая вздрагивать от счастья ее сердце: он жив, он спасен! Так прошло с полчаса; ничто не нарушило тишины; вдруг неясный глухой шум, донесшийся из глубины обрыва, заставил Ганну очнуться: очарование забытья слетело в одно мгновенье. Ганна вздрогнула с головы до ног и встрепенулась. Странный шум повторился снова; вот среди общего гула она различила ясно повторенное несколько раз слово: «Богун, Богун». Ганна быстро поднялась с места и подошла к краю обрыва; охвативши руками росшее над самым обрывом дерево, она низко склонилась над пропастью и устремила взгляд в ее темную глубину.

Внизу, у подножья горы, теснилась вокруг какой-то высокой стройной фигуры, стоявшей на возвышении, огромная толпа. В темноте Ганна не могла рассмотреть, козаки это или поселяне? Как ни напрягала она своего зрения, но видела только темные силуэты, волнующиеся, теснящие друг друга; только на шапке стоявшей на возвышении фигуры ей удалось заметить какой-то тускло блестящий предмет: золотая кисть... «Богун!» — решила поспешно про себя Ганна и стала прислушиваться. Но до слуха ее долетал только общий шум, слов отдельных она не могла разобрать.

Вот шум пробежал последней волной по рядам и улегся... Как тихо стало кругом. Видно, тот стройный козак начал говорить. Так, Ганна увидела в темноте, как он отбросил керею, как поднял руку. Но что говорит он? Ганна перегнулась еще ниже и напрягла весь свой слух, но слова не долетали до нее. Вот снова взрыв негодования. Глухой ропот пробежал по рядам, и, словно стебли сухого ковыля под порывом ветра, зашевелились, закивали головы в толпе. Но он опять заговорил. Толпа замерла, толпа заслушалась; задние давят передних, рвутся вперед. О чем говорит он с таким воодушевлением? Ганна видит его движения, и от этих горячих движений сердце ее загорается огнем.

— Да это Богун, несомненно он! — вскрикнула она

и затаила дыханье. Вот раздался гневный возглас в одной группе, в другой, поднялись руки здесь и там... И словно вспыхнувшее пламя охватило вмиг всю толпу. Его слов уже не слышно; кругом бурлит содрогнувшееся море. Вот поднялись крики, проклятья. Что это сверкнуло вдруг в воздухе узкой стальной полосой? Это он, Богун, обнажил свою саблю, и один единодушный крик отозвался кругом. Вот снова все стихло, они шепчут что-то друг другу; они расходятся по сторонам.

Ганна поднялась и прислонилась к дереву... Боже мой! Ничто, ничто не дремлет, и жизнь так мучительно, так ужасно напоминает ежеминутно о себе.

Прошло несколько минут, а Ганна все еще стояла, прислонившись к дереву, забросивши голову, с бледным лицом и резкою складкой меж черных бровей. Наконец она сжала руки, отделилась от дерева и решительным шагом направилась к диаконовой хатке.

— Это ты, Ганно? — окликнул ее голос. Ганна оглянулась и увидела входящего в садик Богуна.

— Скажи, что там случилось? Опять насилие? Восстание? О чем вы говорили? Я видела, но не слыхала ничего,— бросилась она к нему.

Богун взглянул на ее взволнованное лицо:

— Слушай, Ганно, скажи мне, откуда ты такая родилась у нас? — взял он руку Ганны, не спуская с нее глаз; но, видя напряженное выражение ее побледневшего лица, он прибавил: — Нового ничего. Тебе я все скажу; ты ведь козачка у нас. Я подымаю народ, даю им помощь, оставляю везде своих козаков, а когда начнется дело, дам им только гасло, и стриха вспыхнет со всех сторон.

— Так, так,— повторяла за ним Ганна, не замечая его взгляда, глядя куда-то в темноту расширившимися глазами.— Вспыхнет все кругом... И лучше погибнуть в полыме, чем...

— Верь мне, Ганно, еще пропало не все! Покуда есть нас хоть горсть на Украйне, не согнуть нас ляхам!

— Не согнуть! Не согнуть! — вскрикнула за ним лихорадочно и Ганна, не отымая своей руки.

— Да,— воодушевлялся Богун все больше и больше,— слово козацкое даю тебе: еще новой травой не покроются степи, а они уж услышат о нас от Варшавы до Днепра. С каждой их напастью пробуждаются в нас

новые силы. С новыми утеснениями еще новая ненависть охватывает весь народ. Спит сытое панство, но мы не спим: кругом, говорю тебе, растет невидимая сила, как растет трава в ночной тишине. Пусть больше не сеют паны хлеба, потому что к жнивам не найдется ни кос, ни серпов. Всю зиму с тех пор, как мы расстались с тобой, я ездил по Брацлавщине и Волыни, перекинулся теперь в Киевщину, и, клянусь тебе, Ганно, не проминули мы ни одной деревушки, ни одного села!

— Брате мой, орле наш! — вскрикнула Ганна.— Бог благословит тебя!

— Не знаю,— проговорил вдруг медленно Богун, смотря на нее долгим, неотрывающимся взглядом,— благословит ли, а до сих пор не благословлял.

Ганна взглянула на него. В глазах его светился какой-то странный свет, и взгляд был так пристален, что Ганна невольно опустила глаза.

— Не торопись, Ганно, погоди, присядь здесь,— проговорил Богун, беря Ганну снова за руку. Они сели на краю обрыва и замолчали. Несколько минут никто не нарушал молчания, наконец, Богун обратился к Ганне: — Расскажи мне, Ганно, как вы жили, как прошла эта зима? Ведь подумай, всю зиму не сидел я и двух дней в одной хате. Кое-когда говорили мне о вас заезжие козаки, а то по месяцам не знал, живы ли вы все? Только думками мучился.

— Что же, пане, до Маслова Става, пока пан Богдан дома был, поселки новые мы оселяли, хлопотали целые дни. Все прибывал народ. А когда он на Маслов Став поехал да не вернулся оттуда, а только письмо нам прислал, так уж и не помню, как эти дни потянулись, как и настала весна... Да что о нашей жизни говорить! Занесло нас было снегом, засыпало инеем так, что не видели и живой души.— Ганна вздохнула и замолчала, охвативши колени руками, и вдруг, уступая непреодолимому желанию высказаться перед кем-нибудь, она заговорила снова тихим задушевным голосом: — Такая мука была, такая грызота! Как мы молились, как с каждым утром ожидали его или гонца! А вечером, когда день проходил и мы снова ничего о нем не знали, ох, Иване, наступали такие томительные ночи без краю, без конца!..

— Счастливый пан Богдан,— вздохнул Богун, сни-

мая с головы шапку и встряхнув темноволосой головой.— Эх, когда б я знал, что будет кто так побиваться за мною,— на край света заехал бы и глазом бы не сморгнул.— По лицу его промелькнула горькая улыбка.— Как ни говори, Ганно,— произнес он,— а козаку тяжко жить на свете, когда нет у него ни одной дорогой и родной души, когда сам он никому не дорог!

В сердце Ганны дрогнула теплая-теплая струна.

— Не говори так, козаче,— ответила она просто и мягко, обдавая его ласковым взглядом своих глаз.— Правда, нет у тебя родной матери и батька, да и у меня их нет, а вот призрела меня семья Богдана; так призреет и тебя. Для нас ты не чужой, ты родной нам, ты близкий нам.

— Ой Ганно, не то, не то! — покачал головой Богун.— Что я для вас и для тебя? Богдану войсковой товарищ, а тебе простой козак, покарбованный славой! Да разве у нас мало таких! Все они тебе близкие, Ганно, и все чужие! — В голосе Богуна прозвучала горькая нота.

— Нет, нет, Иване,— перебила его горячо Ганна и подняла на него свои открытые, лучистые глаза.— Ты не то, что все. Дядько Богдан тебя любит, как сына, и я с детства привыкла любить тебя, как дорогого брата. Ты брат мой, ты друг мой, наш славный зборонец, орел между наших козаков!

— Спасибо тебе, Ганно,— произнес Богун дрогнувшим голосом и взял Ганну за руку...— Вот пойми ты, в первый раз в жизни услыхал я первое ласковое, теплое слово — и душу всю оно мне перевернуло... Ох, да за такое слово,— вырвался вдруг у козака горячий возглас, но он не докончил своей фразы и замолчал, устремивши на Ганну пристальный, жгучий взгляд.

Замолчала и Ганна. Кругом было тихо, безмолвно; не слышно уж было ни робких щелканий соловья, ни шепота ветра, ни шелеста листьев. Все умолкло, уснуло; казалось, можно было услышать, как плыла мимо них тихо весенняя ночь.

Они сидели здесь одни, вдали от всех, в этой чарующей тишине...

Богун глядел на Ганну тем же пристальным непонятным ей взглядом. Какое-то жгучее, необоримое волнение овладевало им все сильней и сильней.

— Эх, Ганно! — произнес он вдруг решительно, расправляя свои богатырские плечи и забрасывая красивым движением чуприну назад.— Скажи мне одну только правду: в те долгие дни и ночи, когда вы так мучились о Богдане, вспоминала ль ты хоть один раз меня в своих молитвах, думала ли о моей одинокой буйной голове?

— Я обо всем думала, я за всех молилась, и за тебя, нашего славного лыцаря.

— Не как за лыцаря,— перебил ее горячо Богун,— а как за Богдана, скажи мне правду, правду, Ганно! — повторил он еще настойчивее.— Молилась ли ты так за меня?

Ганна побледнела.

— Богдан мне второй батько,— выговорила она едва слышно и опустила голову вниз.

Но Богун не расслышал ее ответа:

— Нет, дивчыно, постой, не о том, не о том я пытаю,— продолжал он, горячо овладевая ее рукой,— скажи, был ли в душе твоей страх, что ты не увидишь меня никогда? Что, быть может, в чужой стороне орлы выклевали мне очи, грудь засыпал желтый песок?

Ганна взглянула на него, и вдруг яркая краска залила ей лицо.

— Скажи, ждала ли меня? — продолжал он порывисто, сжимая ее руку и забывая обо всем окружающем.— Ждала ли меня так, как я ждал тебя, как целыми ночами летел к тебе думкой, как не забывал тебя ни в герце, ни в сече, как одну тебя, одну тебя, Ганно,— вскрикнул он и вдруг оборвал свою речь... За спиной Ганны раздался голос старухи дияконицы:

— Панно, голубко, вот где ты, а я всюду ищу тебя.

Чуть солнце показалось над землею, а все уже было готово к отправлению в путь. Богомольцы толпились у ворот отца диакона; козаки Богуна сидели на конях, выстроившись в лавы; две подводы, что Богун велел взять из села для скорейшего передвижения, стояли вместе с Ганниной тут же.

Ганна вышла из низенькой дверцы покосившейся хатки, а за нею вышли и батюшка, и отец диакон, и Богун.

— Прощайте, панотче,— подошла Ганна к старичку и, прижавшись губами к его руке, проговорила тихо: — Благословите меня, панотче; за вашим благословением и бог благословит.

— И он благословит, благословит тебя, дитя мое,— положил старичок руки на голову Ганне,— и счастье тебе пошлет, потому что ты достойна его. Только смиряйся, больше смиряйся и не ропщи против воли его. Все в мире для счастья и правды. Господь посылает нам испытания для нашего же блага.

Старичок поднял глаза к светлому утреннему небу; ветерок сдул седые пряди волос с его лба; на запавших морщинистых щеках выступил чахоточный румянец, а голубые глаза загорелись тихим внутренним светом:

— Вот и мне господь послал радость при самом конце моих дней,— заговорил он снова слабым, ласковым голосом,— прислал мне, старому и дряхлому, тебя для утешения.— Старичок взял Ганнину руку и взглянул на нее теплым, любящим взглядом.— Вот пойми ты: видел я тебя, дитятко, всего один день, а полюбилась ты мне, как родная дочь, потому своих никогда не было, и жалко мне пускать тебя от себя, такой уж я, старый, дурной...— добавил он тихо с виноватою улыбкой, не выпуская ее руки.

— Спасибо, спасибо, панотче, за ласковое слово,— промолвила дрогнувшим голосом растроганная Ганна и, поцеловав руку батюшки, торопливо добавила: — Мы заедем к вам, панотче, на обратном пути, непременно заедем.

Старик улыбнулся печальною, ласковою улыбкой:

— Ох, дети мои, бог вас наградит за это; только вряд ли... Вы молодые, а я что? — Он взглянул на свою тощую фигуру в полотняном подряснике, в стоптанных, простых сапогах.— Сухой лист, морозом прибитый: покуда тихо, он висит, а ветер подул — снесло его и снегом замело.

— Умирае не старый, а часовый,— буркнул отец диакон, нахмуривая седые брови и бросая в сторону батюшки тревожный взгляд.

— Так, так, отец диакон, а кто знает, когда сей ударит час? — Батюшка глянул задумчиво вперед, точно хотел прочесть что-то на ясном лазоревом горизонте. Жиденькие пряди его волос спустились с двух сторон

на грудь, голова наклонилась покорно.— Блюдите, ибо не весте ни дня, ни часа,— прошептал он так тихо и беззвучно, что и сам не слыхал своих слов.

Отец диакон дышал тяжело и грузно, воздух вырывался со свистом из его мясистого носа; он ежеминутно приподымал брови, поводя как-то сконфуженно глазами и взглядывая украдкой на своего патрона.

— Одначе пора ехать,— прервал молчание Богун.— Солнце уж подымается, а нам надо бы пораньше выбраться: тут ведь пойдут все горы да буераки.

— Так, так, сыну,— встрепенулся батюшка,— жаль мне расставаться с вами, дети, да поезжайте, поезжайте с богом скорее, чтоб, храни вас сила небесная, не случилось чего в пути.— Он перекрестил несколько раз Ганну и, приподнявши ее голову обеими руками, поцеловал ее несколько раз в лоб и глаза.— Будь счастлива, любая моя, матерь божья охранит тебя на всяком твоем пути.— Затем он перекрестил склонившегося над его рукой Богуна.— Прощавай, сыну! Блюди свое сердце. Господь одарил его щедротами на утешение братьям и силу вложил в руки твои... Не забывай его... Будь и в гневе справедлив и милостив! — Батюшка возложил руки на склоненную голову козака.— И да поможет тебе бог на все доброе, а от злого да охранит он тебя!

Богомольцы разместились на возах. Ганна взобралась на высоко наложенную сеном и закрытую плахтами подводу и села рядом со старушкой в намитке.

Вскоре богомольцы минули большое село, поднялись вгору и выехали в степь. Богун ехал все время подле Ганны.

Ганна молчала, молчал и Богун.

Лицо его было сосредоточенно и серьезно; видно было, что какая-то глубокая дума не покидала его.

Прерванный вчера так неожиданно разговор с Ганной не выходил из головы козака. В эту ночь Богун и не ложился спать; до самого света проходил он по дьяконовому саду, не будучи в силах подавить охватившего его волнения. Эта встреча с Ганной, вчерашний разговор, ее ласковые слова перевернули все в душе козака-славуты. Богун чувствовал, что теряет над собой всякую волю, что другое властное чувство управляет им и влечет его за собой; он уже не сомневался больше в том, что после дорогой родины эта девушка для него все на

земле; все чувства — любовь, дружба, восхищение, гордость — все слились в душе козака в том глубоком и горячем чувстве, которое влекло его к Ганне.

— Не козаку, не козаку думать о дивчыне,— повторял сам себе Богун, шагая над обрывом и взъерошивая свою черную чуприну, но в душе его мимоволи подымался бурный протест против этих слов. Чему могло бы помешать его чувство? Никогда б ради него не изменил он заветам своей родины! Да он бы отсек себе правую руку, если бы хоть мысль такая появилась в его голове! Ему бы только знать, что Ганна любит, что ждет его, что согласна назвать его своею дружиной... и больше ничего он не просит, и опять понесет свою голову на смерть. Но Ганна, что же думает Ганна? Нет, нет, и не посмотрит она на такого козака,— твердил он сам себе и снова теребил в отчаянье свою чуприну и шагал над обрывом... Но когда первое сиянье зари забрезжило на востоке, решение было уже готово в сердце Богуна.

Возы слегка поскрипывали и колебались; козаки, окружавшие их, перекидывались редкими фразами; конь Богуна ступал неспешно рядом с возом, на котором ехала Ганна.

«Так бы и всю жизнь рядом с тобою, дивчыно моя»,—думал Богун, посматривая на задумчивое лицо Ганны, словно стараясь прочесть в нем ответ на мучивший его вопрос.

— А славные, Ганно, люди у нас! — прервал он наконец долгое молчание.

— Славные, Иване,— проговорила тихо Ганна,— увидим ли мы их еще?

— Вот и поди ты, как господь разбрасывает, словно звезды по небу, добрых людей по земле,— нет, да и встретишься, и согреют тебя чужие люди теплее своих...— Богун наклонил голову и устремил глаза на поводья своего коня. Ганна тоже молчала. Он ехал так близко около воза, что дыхание его коня было слышно ей. После вчерашнего вечера она ощущала какую-то неловкость в его присутствии, и хотя Богун не говорил еще ничего, но она ясно чувствовала, что тот разговор не может остаться неразрешенным, что он должен возобновиться снова, но когда? Ганна боялась этого мгновенья и усиленно отгоняла мысли о нем, успокаиваясь тем, что с ней на возе сидит и старушка.

— Так и тебя, Ганно, словно божью звезду, встретил я в жизни,— произнес тихо Богун, подымая на Ганну глаза.

Ганна молчала, склонивши еще ниже голову.

— Только мелькнешь ты, как звездочка между туч, да и опять спрячешься,— продолжал Богун,— и снова темная ночь обступает козака.

Ганна подняла голову и ответила твердо:

— Не одного тебя, козаче, охватила темная ночь, и не мне ее разгонять. Одному только богу все доступно, и к нему только стремятся теперь все наши помыслы и мольбы.

Богун взглянул на ее серьезное лицо и, пришпоривши коня, проскакал вперед.

Несколько раз в продолжение дня возвращался он к возу, на котором ехала Ганна, расспрашивал ее, удобно ли ей ехать, не выпьет ли она вина, не съест ли чего? То он гарцевал рядом с нею, то громко взгикивал и пускал коня в карьер по зеленой степи. И Ганна невольно любовалась его статной фигурой, как бы приросшей к коню, и удалой посадкой, и дикою скачкой вперегонку с ветром.

Отдыхать остановились только тогда, когда уж край неба залился алым и золотым сияньем. Обставили кругом возы, стреножили коней и пустили в степь. Развели огонек, подвесили походные котелки... Богомольцы расположились отдельно от козаков; размотали бинты на усталых ногах, развязали котомки, вынули хлеб, соль, лук и редьку, и покуда кулишок закипал понемногу на огоньке, стали закусывать и запивать чистой водой. Козаки разлеглись также неподалеку полукругом, обратившись лицами к своему костру; не пели они песен ввиду наступавших страстных дней и истомившего всех долгого переезда по обходным путям, а молча курили свои короткие люльки; иногда кто-нибудь обронял, словно нечаянно, небрежное словцо, и снова тихое молчание охватывало неподвижную, точно из бронзы вылитую, группу козаков.

Богомольцы, проехавши весь день на подводах, чувствовали себя несколько бодрее. Более старые рассказывали о святых печерах. Говорили, что они идут под Днепром на ту сторону и что стены их выложены чистою медью, другие уверяли, что они тянутся вплоть до

московского царства. Говорили о разных чудесах, совершившихся от прикосновения к святым мощам печерским и к телу святой Варвары, покоящемуся в Михайловском златоверхом монастыре. Разговоры велись тихо... Вечер настал сухой и теплый; ни одна струйка тумана не подымалась от земли; звезды горели ярким, сверкающим блеском...

Вдали от богомольцев на разостланных попонах сидела Ганна; руки ее охватывали приподнятые колени, а глаза глядели задумчиво в ту сторону неба, где еще невысоко над светлым горизонтом ярко горела, словно божий глаз, большая, сверкающая звезда. Подле Ганны, опершись на локти, полулежал Богун. Люлька давно уж погасла в его зубах, но козак не замечал этого: глаза его также глядели сосредоточенно вперед.

— Что ж, Ганно, неужели и у вас такие бесчинства насчет этих святотатственных аренд?

— Нет, у нас, хранил господь, такого не слыхать... Это вот тут в первый раз... И у нас пан Дембович тоже было задумал отчаянное дело,— колокол у церкви отнять и перевезть в костел, так люди начали боронить, и дьяк наш Лупозвонский с ними был первый... Поднялась драка; кое-кого убили, кого ранили, а дзвона не отдали; а дьяк так совсем из села пропал,— думаем, убит...

— Царство ему небесное, добрый был человек,— проговорил серьезно Богун, приподымая шапку над головой, и затем процедил сквозь зубы: — У нас пока спокойно... не то б плохо было.

Наступило молчание.

— А расскажи ж мне, Иване, как ты зиму провел? Куда думаешь двинуться из Киева, что слышно между козаков? — поторопилась спросить Ганна, боясь этого молчания.

И Богун начал говорить. Сперва он говорил отрывисто и сухо; но мало-помалу его охватывало все большее воодушевление. Он говорил о своих планах, о морском походе запорожцев и о тех смутных слухах, которые носились между козаков относительно планов и желаний самого короля.

А между тем разговоры богомольцев совсем утихли; подославши под головы котомки, они мирно уснули вокруг костра. Из группы козаков слышался иногда

густой храп; полупотухшие костры еще смутно вспыхивали перебегающим синеватым пламенем. Из степи доносилось тихое ржание стреноженных лошадей. Наконец Богун остановился и, сбросивши шапку, вздохнул полною грудью.

— Так-то, Ганно, многое мы задумали, много и крови уж пролили, а что выйдет из того, ведает один бог...

Они замолчали. Ганна тихо поднялась с места.

— Куда ж ты, Ганно? — встал за ней и Богун.

— Пора, козаче! Вон посмотри, как уже опрокинулся Воз,— указала она на созвездие Большой Медведицы,— скоро и светать начнет, а сам говорил, что с рассветом отправимся в путь.

Однако Богун стоял перед ней, молча опустив голову, как бы собираясь сказать что-то важное и решительное.

Ганна взглянула на него, и тревожное предчувствие охватило ее.

— Прощай! — проговорила она поспешно, поворачиваясь и думая уйти, но Богун остановил ее.

— Ганно,— произнес он взволнованным, но решительным голосом,— подожди: ты не сказала мне вчера, ждала ли ты меня так, как я ждал тебя?

Ганна повернулась к нему. Лицо ее было сильно взволнованно, глаза горели странным жгучим огнем. Сердце у Ганны замерло...

Она хотела сказать что-то, но не нашла ни одного слова, да было уж и поздно останавливать Богуна.

— Прости меня, Ганно, прости меня, грубого, простого козака,— заговорил он горячо и быстро, не сводя с нее глаз,— не умею я говорить панскими, шляхетскими словами, не умею ховаться, не умею кривить душой — люблю тебя, солнышко мое ясное, зиронька моя вечерняя, люблю одну на всей Украйне, на всей божьей земле!

Лицо Ганны побледнело, расширенные, светящиеся в темноте глаза остановились на Богуне с выражением какого-то немого, еще не вполне уясненного ужаса.

— Постой, постой! — проговорила она тихо, хватая его за руку; но Богун не заметил ни слов Ганны, ни ее движения: как Днепр, прорвавшийся сквозь пороги, так мчались теперь неудержимо его горячие, бурные, несдержанные слова.

— Тебя одну, тебя люблю, счастье мое, королевна моя! Ни разу еще в этом сердце козацком не просыпалось кохання, а как увидел я тебя, Ганно, от самого первого разу не могу забыть, не могу думки моей оторвать от тебя! Я знаю, что не простого козака тебе надо: только нет, Ганно, на всей широкой земле такого лыцаря, такого вельможного пана, чтоб подошел к твоей душе. Скажи ж мне, Ганно, одно только слово, любый ли я тебе хоть немного? За одно такое твое слово — умру вот тут от счастья, весь свет переверну!

Ганна стояла перед ним бледная, словно мраморная.

— Не говори, не говори, козаче! — почти вскрикнула она, закрывая лицо руками.

— Я обидел? Я зневажил тебя? — бросился к ней Богун.

Ганна молчала, только грудь ее подымалась усиленно и высоко. Наконец она заговорила медленно и тихо, отнимая руки от лица.

— Нет, нет, мой любый, мой щырый друже, не обидел ты меня; но если б ты знал, брате мой, какая тут в сердце мука, ты бы не говорил этих слов.— Голос Ганны прервался, но она продолжала снова, подымая на Богуна грустные глаза: — Не в такие тяжкие минуты, когда кругом обнимает нас всех беспросветное горе, думать о своем счастье.

— Стой, Ганно! — вспыхнул Богун и поднял гордо голову.— Ты напрасно бросила мне этот упрек. Клянусь тебе, никогда и ни для кого еще не забывал я своей отчизны и не забуду, хотя бы мне сердце проняли ножом. С весильного пира ушел бы я и понес за нее свою голову, если б нужно было, и не задумался б ни на миг. Женой, детьми — да что считать! — всем счастьем своим пожертвовал бы я для нее, если б оно ей мешало... но чем и кому помешать может моя вера в то, что есть у меня на свете дорогая душа? Ведь ничего не прошу я у тебя, Ганно, одного только слова. Одно только слово твое, что я любый тебе,— и я счастлив, и я с отрадой на смерть полечу! — Богун остановился, грудь его подымалась порывисто и высоко.

Ганна слышала это: его жгучее волнение передавалось и ей.

— Прости меня, брате,— заговорила она взволнованным, прерывающимся голосом,— не хотела я упрек-

нуть тебя. Знаю я, что нет во всей Украйне козака, равного тебе по славе и по завзятью, но что ж мне делать, когда нет в моем сердце... такой... любви... ни к кому,— Ганна сжала до боли руки и продолжала: — Одна только думка панует здесь,— думка про то, что ждет нашу отчизну! Ты видел, что затевают наши враги отовсюду, так нам ли думать о своих муках, когда, быть может, вся земля наша слышит слово господне в последний раз? Нет! Нет! — вскрикнула она горячо, сжимая свои черные брови, а лицо ее приняло сурово-жесткое выражение.— Мы должны сломать себя, порвать, потоптать свое сердце! Не про коханье нам думать: нас ждет другая жизнь!

— Так, другая жизнь, Ганно,— подхватил воодушевленно Богун,— и мы будем достойны ее! Но если б ты любила меня... чем бы наше счастье...

— Не до него! Ищи себе другую, Иване-козаче! — перебила его Ганна.— Всякая дивчына за счастье почтет любить тебя. А я?.. Ой нет, нет! — простонала она.— Не может быть никого, слышишь, никого в этом сердце! Счастье не для меня... Ищи себе другую... Бог даст тебе счастье... Люблю я тебя, как брата, как друга, а больше, бог видит, не могу.

— Никогда! Никого! Никого, кроме тебя, Ганно! — вскрикнул порывисто Богун и заговорил горячо и бурно: — Ты одна для меня на всем свете! Ты моя гордость, моя королевна! Как на икону, молюсь на тебя! Не говори, молчи... не шарпай свое бедное сердце! Буду ждать твоего слова год, два, всю жизнь, до загыну и, кроме тебя, Ганно, не хочу никого!

— Ой не жди! Забудь меня! — вскрикнула Ганна с такой мучительной болью, что сердце Богуна все вздрогнуло от сostраданья.— Не жди,— повторила она упавшим голосом и вдруг вся преобразилась.

Слабая фигура ее гордо выпрямилась, глаза блеснули каким-то внутренним огнем, между сжатых бровей легла глубокая складка. Весь образ девушки дышал в эту минуту такой великой энергией и силой, что Богун занемел в восторге.

— Никогда никого не назову я своей дружиной, козаче! — произнесла вдохновенно и сильно Ганна, протягивая вперед руки.— Родине это сердце! Ей и господу — вся моя жизнь!

— Ты святая, Ганно! — вскрикнул Богун, опускаясь в восторге перед ней на колени.

Солнце уж близилось к полудню, когда путники стали приближаться к Киеву. Еще издали виднелись им над кудрявыми, зеленоватыми вершинами рощ, покрывавших горы, золотые кресты печерских монастырей.

Наконец, сделав несколько крутых оборотов, они выехали на широкую, уезжанную дорогу и покатили прямо по направлению высокой горы, на которой расположилось местечко Печеры. Дорога шла почти над самым Днепром. Несколько раз они обгоняли группы богомольцев, тянувшихся медленно по пути, и, наконец, остановились у въездной брамы. Всю гору опоясывала высокая каменная стена с башнями и городнями; вокруг стены тянулся неширокий ров с земляным валом. Проехавши спущенный подъемный мост, путники заплатили мостовое и выехали из-под сырой брамы в местечко. Дорога подымалась прямо в гору; направо и налево тянулись роскошные рощи и сады. Густой белый и розовый цвет, покрывавший теперь все деревья, придавал им какой-то особенно праздничный, весенний вид. Коегде меж них виднелись крыши небольших домиков, потонувших в садах. С удивлением узнала Ганна, что все эти рощицы с хорошенькими домами принадлежат Печерскому и Вознесенскому монастырям.

Наконец они поднялись на гору и поехали широкою и ровною улицей. Справа тянулась вторая стена, окруженная глубоким рвом, ограждавшая монастырь, а слева зеленели все те же сады, из-за которых блеснули высокие купола девичьего Вознесенского монастыря.

Богун подскакал к Ганне.

— Мы сейчас остановимся перед Печерскою башней,— произнес он, не глядя на нее.— Ты подожди меня, Ганно: я зайду в Вознесенский монастырь, повидаюсь с игуменьей,— она мне хорошо знакома,— и попрошу ее дать тебе келью и все необходимое на это время. В самом Успенском монастыре народу много, и тебе пришлось бы терпеть неудобства, а здесь девицы из самых знаменитых фамилий, и тишина, и спокойствие.

— Спасибо, пане! — наклонила Ганна голову.

— Мы ж с козаками и с прочанами приютимся в Успенском монастыре; настоятель меня знает.

Козаки между тем, проехавши еще несколько шагов,

остановились у высоких, кованых железных ворот Вознесенского монастыря. За ними остановились и подводы.

— Вот мы и приехали! — заявил Богун, соскакивая с коня и бросая поводья на руки подоспевшего козака.— Я долго не забарюсь!

Он подошел к небольшой фортке, проделанной в воротах монастыря, и стукнул в нее несколько раз эфесом сабли.

Небольшое окошечко, устроенное в башенке над воротами, отворилось, и в него выглянуло сморщенное, старое лицо монахини, в черном клобуке, с черным покрывалом, сколотым под самым подбородком.

Взглянувши на Богуна, она быстро захлопнула окошечко и скрылась за ним. Прождавши несколько минут напрасно, Богун стукнул второй и третий раз. Наконец после довольно долгих и громких толчков замок щелкнул, и форточка приотворилась немного; за нею показалась фигура монахини в длинной черной одежде, спускавшейся до самой земли.

— Благословен бог наш всегда, ныне и присно! — приветствовал ее Богун.

— И во веки веков! — ответила набожно монахиня, не отнимая сложенных крестообразно на груди рук и только наклоняя голову в черном клобуке.

— Можно ли видеть мать игуменью? — осведомился Богун.

— Не велено богомольцев и козаков впускать,— ответила монахиня, все также не поднимая глаз.

— Да вы передайте только матушке игуменье, что Богун приехал и имеет ей кое-что передать,— она примет меня.

Калитка молча захлопнулась; но через несколько минут послышался снова стук железных задвижек, и на этот раз калитка уже распахнулась совсем. Богун вошел и последовал за монахиней по мощеной дорожке, ведущей к покоям матушки игуменьи, через ярко-зеленый двор.

Ганна встала с подводы и, оправивши на себе одежу, оглянулась кругом. Прямо против нее на противоположной стороне подымалась высокая башня Успенского монастыря. Подъемный мост через ров был спущен, и толпы всевозможных калек и богомольцев то и

дело входили и выходили из-под сводов башни. На верху ее помещалась высокая церковь со множеством окон и куполов. Среди дубовых, окованных железом двойных ворот башни, виднелся большой ящик, в который прохожие опускали свои медяки. У ворот стояла стража, дальше, в некотором расстоянии, поднимались золотые купола славного монастыря и других монастырских церквей.

Богомольцы встали и закрестились на золотые кресты. Толпа нищих, заметив прибытие новых прочан, обступила их со всех сторон. Один из них обратил на себя внимание Ганны. Это был человек с лицом чрезвычайно изуродованным оспой, без бровей, без волос, без бороды, с жиденькими черными усами и всего одним ухом. Он прыгал на костылях, изгибая свое туловище, завернутое в какие-то жалкие лохмотья, и мычал, и бормотал что-то непонятное, протягивая ко всем руку и останавливая на них свои бессмысленные, полуидиотские глаза. Прочане подавали ему кто бублик, кто кусок хлеба. Безобразие его было настолько сильно, что Ганна, чувствуя непреодолимое отвращение, не могла оторвать от него своих глаз, как будто какая-то магическая сила приковывала их к этому уроду. Следя за ним, она заметила невольно, что нищий то и дело бросает исподлобья быстрые, пронзительные взгляды, как бы ищет кого.

Наконец, снова застучали железные задвижки, калитка распахнулась, и на пороге показался Богун. Калитку отперла та же старая монахиня, а за нею стояли две молоденькие послушницы в черных одеждах и меховых шапочках на голове.

Как только Богун показался на пороге, безобразный нищий кубарем подкатился к нему.

— Христа ради, пан козак, пан лыцарь, пан полковник, дай что-нибудь на бедность убогому козаку! — завопил он, протягивая к Богуну искривленную руку.

Богун хотел было пройти мимо, но нищий загородил ему дорогу, продолжая свои выкрикиванья, и крик его был так назойлив, что Богун, думая отвязаться от него, швырнул ему в шапку медную монету.

— Спасибо, спасибо, вельможный полковнику, славный запорожский лыцарь! — учащенно закланялся нищий и, опустивши руку за пазуху, вытащил небольшую

просфорку, сунул ее в руки Богуна и скрылся незаметно в толпе.

Мгновенье стоял Богун, как бы не понимая, в чем дело,— зачем сунул ему нищий просфору? Вдруг неожиданная догадка осветила сразу ему глаза.

— Подожди, Ганно, минуту; я сейчас отдам наказ своим козакам,— обратился он к Ганне, отходя в сторону козаков.

Разломивши просфору, Богун увидал засунутую в нее сложенную вчетверо желтую бумажку. Быстро пробежал ее Богун; лицо его приняло и довольное, и вместе с тем озабоченное выражение.

— Ну, панно,— обратился он к Ганне,— матушка игуменья с радостью принимает тебя. Будь здорова, прощай покуда, мне надо сейчас же уехать в город Подол, а в четверг я надеюсь возвратиться сюда и увидеться с тобой.

Ганна распрощалась с богомольцами, поклонилась Богуну и, последовав за молодыми послушницами, скрылась в монастырском дворе.

Калитка за монахинями тихо захлопнулась, и звякнул тяжелый железный замок.

XIX

Богун быстро вскочил на коня и, отдав козакам приказание следовать за ним, отправился из Печер по направлению к городу Подолу. Миновавши заставу, они въехали в обширную рощу. Деревья уже были покрыты нежною, молодою зеленью, а ясени и дубы еще стояли раздетыми; сочная трава стлалась под ногами роскошным бархатом; между подснежниками желтели уже золотые одуванчики; пахло сырою прохладой и ароматом молодой зелени тополей.

Дорога вилась узкою лентой по холмистой местности; иногда среди расступившихся деревьев сверкал издали Днепр, иногда над зеленою стеной показывался на мгновенье новообновленный блестящий купол св. Софии.

— Хлопцы, осмотрите оружие,— обернулся Богун к козакам,— в лесу много зверя, да и двуногие часто прячутся тут по пущам, чтоб перечистить прочан.

Проехавши небольшое расстояние, Богун заметил с правой стороны дороги высокий, выбеленный столб с золоченою иконой св. Николая, прибитою на верху. От столба вела в глубь рощи извилистая тропинка; она спускалась в овраг и затем подымалась снова в гору, где сквозь деревья виднелись деревянные стены, башни и въездные ворота.

— Пустынно-Никольский монастырь! — обратился Богун к козакам, останавливая на мгновенье коня, и, снявши шапку, перекрестился трижды на икону. Козаки последовали его примеру. Вдруг от столба отделилась фигура безобразного нищего в лохмотьях.

— Ты здесь? — изумился Богун.

— А как же? Ждал славного Богуна, чтоб показать ему куда следует дорогу.

Услышав свое имя в устах неизвестного нищего, Богун взглянул на него внимательнее.

— Ты знаешь меня? Откуда?

— Кто такого славного имени не слыхал, тот и на Запорожье не бывал! — ответил весело нищий, совершенно бросив свой странный голос и бессмысленный взгляд.

— Э, да ты, вижу, не такой дурной, как кажешься! — улыбнулся Богун.

— А может, и совсем разумным сдамся, когда поговоришь со мной,— продолжал также уклончиво нищий.— Ну, да вот в дороге разбалакаемся!

— В дороге? Да как же ты за нами поспевать будешь на своих костылях?

— Зачем на костылях? Разве у тебя не найдется запасного коня?

— Конь-то найдется, да как ты без ног поедешь на нем?

— Об этом не беспокойся! — оскалил нищий белые, блестящие зубы. Он нагнулся, сделал несколько быстрых, неуловимых движений и, поднявшись, схватил костыли под мышки и стал бодро на ноги. Козаки не могли не рассмеяться при виде такого волшебного превращения.

— Э, да ты, вижу, братец, зух! — заметил одобрительно Богун.

— А как на коня сяду, так и ветром не догонишь! — крикнул удало нищий, вскакивая молодцевато на коня.

Отряд двинулся вперед. Богун ехал на некотором расстоянии впереди козаков в сопровождении нищего. Они говорили о чем-то между собою тихо и невнятно. При том же стук копыт о сухую землю, о корни дерев совершенно заглушал эти едва долетавшие невнятные звуки.

Дорога начала спускаться в глубокий и крутой овраг, затем козаки поднялись на гору; отсюда, проехав на плоскогорье густой лес, они ясно заметили блиставшие издали купола св. Софии и Михайловского златоверхого монастыря; еще раз спустились они с длинной горы в глубокий овраг, на дне которого пробегал извилистый полноводный ручей, и, перейдя его вброд, взобрались на высокую гору и поехали мимо стен Михайловского монастыря, по старому городу Киеву.

Вдали бывшего города еще виднелись огромные земляные валы; кое-где на них еще подымались остатки древних стен. Встречались развалины старинных построек, а в противоположной стороне виднелись стены и укрепления св. Софии.

— Эх, славный тут, видно, город был! — вздохнул невольно Богун, оборачиваясь в седле и оглядываясь кругом.

— Да, было, да, видно, сплыло! — проговорил негромко нищий.

— Ну, да еще побачим, чие зверху буде! — бодро возразил Богун и, кивнувши головой, как бы в ответ своим мыслям, пришпорил коня и проскакал скорее вперед к развалинам Десятинной церкви.

Нищий не отставал от него:

— Тут у меня на Кожумяках есть свой человечек,— обратился он к Богуну,— у него можно остановиться, и козаков оставить, да, на всякий случай, переменить и жупан. Оно хоть теперь и беспечно в городе, а все, как увидят запорожских козаков, накинут оком, а это, я думаю, теперь не с руки тебе.

Нищий поднял на Богуна свои пронзительные глаза и добавил:

— Ну, а тогда можно будет и туда отправиться.

— Твоя правда,— согласился Богун.

Они подъехали к развалинам Десятинной церкви, заплатили пошлину у мытницы и, спустившись с горы,

миновали городскую заставу и остановились у небольшого домика в городском предместье.

Через полчаса Богун вышел из-под ворот. На нем был гладкий синий жупан и шапка реестровых козаков. Забросивши голову назад и засунувши руки в карманы, он отправился вдоль по улицам, напевая веселый мотив, на ратушную площадь. Дойдя до нее, Богун бросил внимательный взгляд на ряд каменных лавок, протянувшихся почти через всю площадь, и направился к одной из них, помещавшейся в самом центре, над дверями которой висел кусок красного сукна.

В лавке было довольно много народу. Несколько горожанок в высоких белых намитках рассматривали штуку парчи, разворачиваемую перед ними хозяином, седоватым горожанином, с ястребиным носом и зоркими серыми глазами.

— А что, пане крамарю, есть кармазин? * — спросил громко Богун, останавливаясь в дверях.

При этих словах хозяин вздрогнул незаметно и, бросивши на Богуна пристальный взгляд, спросил, не отнимая от парчи рук, деловым равнодушным голосом:

— А много ли тебе, пане, нужно?

— Да сколько есть, давай, все заберу,— весело отвечал Богун.

— Ну, так проходи в заднюю комнату,— указал купец глазами на низенькую дверь в глубине лавки.— Там покажут тебе.

Богун отворил низенькую дверь и, согнувшись почти вдвое, скрылся за нею.

Маленькая комната, куда направил его хозяин, освещалась одним загрязненным окошечком, пропускавшим слабый желтоватый свет, при помощи которого Богун увидел множество нераспечатанных тюков, наполнявших это тесное помещение почти до потолка. В комнате не было никого. Богун остановился посреди нее и задумался. Последнее событие приводило его в какое-то замешательство. Кто был этот неизвестный нищий, знавший так много, чуть ли не больше самого Богуна? Он назвал его Богуном и узнал в лицо, следовательно, он видел его раньше, так, значит, и он, Богун, видел его,

---

* Кармазин — червоне сукно, з якого запорожці шили жупани.

но где и когда? Да, несмотря на уродливость нищего, сквозь безобразие его проскальзывало что-то знакомое. Богун потер себе лоб, стараясь вызвать в своем воспоминании давние образы, но, несмотря на все его усилия, он не мог припомнить ничего. Но откуда знал нищий и о морском походе, и о том, что говорил Богдан козакам от имени канцлера и короля, и о том, что он, Богун, комплектует новые полки? Уж не подослан ли он каким ляхом, чтоб заманить и уловить его? «Так, так,— заволновался Богун,— возможно и это! Зачем бы он направил его иначе к этому купцу? Зачем направил его купец в эту каморку? Быть может, засада?» — мелькнуло в голове козака, и он схватился за эфес сабли. Но в это время низенькая дверь скрипнула, и в комнату вошел сам хозяин.

Он затворил за собой старательно двери и, подошедши к Богуну, произнес:

— Преславный Богун?

— Он самый,— ответил козак,— но откуда ты знаешь мое имя?

— Знаю, знаю,— усмехнулся хозяин,— есть такие вестники крылатые и передали нам, что ты теперь в Киевщине собираешь народ, только не ожидали мы, что ты сам прибудешь в Киев, ну и, на всякий случай, поставили сторожу.

— Вот оно что,— протянул Богун,— так, значит, ты знаешь, кто этот нищий?

— Доподлинно не знаю, знаю только, что зовет он себя Рябым, да знаю еще то, что такого зналого и расторопного человека трудно где-либо найти; у владыки он правая рука. Однако присядь, козаче,— спохватился он,— что же это мы стоя говорим? — И, придвинувши к окну два больших тюка, хозяин предложил один из них Богуну, а на другой опустился сам.

— В записке написано было, что есть здесь много кармазину? — спросил первый Богун.

— Да, да,— ответил поспешно хозяин,— много здесь перепрятывается их и у нас, и у святого рачителя нашего, ищут только к кому бы пристать; много есть юнаков и среди наших молодых горожан, готовых поднять оружие за святое дело, есть и казна: святое богоявленское братство ничего не пожалеет. Мы ждали только тебя.

— О господи милосердный! Ты не оставляешь нас! — вскрикнул тронутый и восхищенный Богун.

— Так, так, козаче,— господь печется о нас, он не оставляет нас и в самых злых бедствиях; он дал нам нашего неусыпного рачителя и указал нам, что сила наша заключается в нас самих. Не одному козачеству — всем нам до́рога наша святая воля и вера, все хотим разбить лядское ярмо. Зайшлый гетман наш Конашевич-Сагайдачный вписался со всем Запорожьем в наш святой братский «Упис» [95], и мы дали друг другу клятвенное обещанье стоять друг за друга до конца живота... Ведь одной мы матери дети, и все будем стоять за нее, на погибель мучителям латинянам... кто чем может, кто саблей, а кто хоть своим трудом.

— Правда, правда, друже! — отвечал тронутым голосом Богун.— А вот ты до сих пор не сказал, как величать тебя?

— Крамарем.

— Ну, будем же, Крамарю-побратыме, друзьями! — встал Богун, заключая Крамаря в свои могучие объятья.

— Спасибо, спасибо, брате! — отвечал польщенный Крамарь.— Дружба с таким лыцарем славетным — большая честь для меня.

Друзья обнялись и поцеловались трижды по козацкому обычаю.

— Ну, теперь сделай же мне ласку, друже,— заговорил Крамарь,— отведай у меня хлеба-соли, отдохни со своими козаками, всего найдется у меня вдоволь; а вечером и к владыке пройдем, он давно уже ищет увидеть тебя. Да вот еще, захвати ты с собой эту штуку кармазину,— сунул он Богуну под мышку штуку красного сукна,— чтоб еще не подумали чего. Здесь ведь ляхами да ксендзами весь Подол кишит... И иди ты вперед, дворище мое тебе всякий укажет, а я сейчас за тобою. Потолкуем обо всем дома. Береженого, знаешь, и бог бережет.

— Гаразд! — согласился на все Богун.

Был уже поздний темный вечер, когда Богун и Крамарь, пробираясь осторожно нелюдимыми закоулками, дошли до заднего входа в Богоявленский монастырь, выходившего на пустынный берег Днепра. На Богуне теперь надета была длинная мещанская одежда, а тень

от высокой шапки-колпака закрывала почти все лицо; предосторожность эта оказалась не лишней, так как по улицам, несмотря на позднюю пору, везде попадались и польская стража и католические монахи.

Крамарь постучал в калитку монастыря; послышалось чье-то тяжелое шлепанье, и старый монах, посмотревши сперва в маленькое оконце, проделанное в калитке, впустил пришедших в монастырский двор.

— А что превелебный владыка? — обратился к нему Крамарь после обычных приветствий.

— Отдыхает, но вас велел провести к себе,— ответил монах.

— Ну так идем!

Монах пошел вперед, а за ним последовали Богун и Крамарь.

Они вошли в здание монастыря и, проминувши несколько высоких и узких коридоров, остановились у небольших дверей.

Монах откашлялся и, постучавшись в дверь, произнес тихо:

— Благословен бог наш!

— Во веки веков,— ответил из кельи чей-то твердый голос.

— Преосвященный владыко, брат Крамарь с козаком пришли.

— Войдите! — послышалось в ответ.

Монах открыл дверь и пропустил в келью Крамаря и Богуна.

В келье было почти темно; окно выделялось в ней каким-то тускло синеющим просветом. Большая серебряная лампада слабо освещала комнату. Размеры и обстановка ее терялись в этом полусвете, да Богун и не заметил ее: внимание его приковала к себе высокая и величественная фигура владыки, сидевшего у стола.

Хотя Богун и не видал его ни разу до сих пор, но сразу же догадался, что это не мог быть никто иной. Черная одежда владыки спускалась до полу, тень покрывала лицо и всю фигуру владыки, но, несмотря на это, Богун заметил его гордую осанку, его высокий лоб и пристальный пронизывающий взгляд его прекрасных черных глаз.

— Благослови, преосвященнейший владыко! — про-

изнес Крамарь, а за ним и Богун, склоняясь для благословенья.

Владыка поднял руку для крестного знаменья и, произнесши короткое благословенье, обратился к Богуну:

— Сыне мой, приблизься сюда.

Богун сделал несколько шагов и остановился. Владыка не спускал с него пристального взгляда; Богуну показалось, что взгляд этот пронизывает его насквозь.

Наконец владыка произнес медленно:

— Полковник Богун?

— Он самый, ваша превелебность! — ответил Богун.

— Слышал я много о твоих доблестях, козаче! — продолжал владыка.

— Что с этих доблестей! — вздохнул Богун.— Большая ли честь в том, что я жизнью не дорожу! Уж так круто приходится, превелебный владыко, что, кажись, и без битвы рассадил бы ее о камень.

— Да,—вздохнул в свою очередь владыка и опустил голову,— господь посылает нам великие испытания: все знаю я... Но,— выпрямился он гордо и заговорил сурово,— мужайтесь, братья, мужайтесь! Плоть-бо немощна, но дух да пребудет бодр.

— Превелебный владыко! Клянусь тебе, мы не падаем духом! — воскликнул горячо Богун.— Мы все поклялись умереть до одного, а не согнуть под лядским игом шеи, и выполним свое слово!

— Умереть, все едино, что согнуться под игом,— произнес строго владыка,— и даже горше, ибо это значит бросить на произвол ляхов-католиков весь беззащитный народ и всю родную землю. Нет! — стукнул он золоченым посохом о пол.— Сбросить это ненавистное иго и зажить вольно, смело, свободно, как живут все другие народы!

— Но разве мы мало пытались свергнуть его? Сколько восстаний подымали мы, превелебный владыко, сам знаешь, а чем кончались они? Вот и теперь!.. А разве у нас мало лыцарей доблестных и отважных? Каждый несет на смерть со смехом свою голову! Что за козак, что за атаман был Гуня?.. Ну и что ж, не выдержал... разгромили ляхи... Но,— сверкнул козак глазами,— они могут побеждать нас, превелебный владыко, но не согнут никогда, никогда!

— Одной доблести и отваги мало! — произнес медленно Могила, впиваясь глазами в лицо козака, словно желая проникнуть в его внутренний мир.

Глаза козака смотрели смело, отважно, прекрасное лицо его горело благородным воодушевлением; казалось, не могло быть сомненья, что он не задумается ни на один миг отдать за родину всю свою жизнь; но владыка искал в нем чего-то и, видимо, не отыскал того, что хотел.

— О Конашевич! Конашевич! — произнес он тихо, почти не слышно.— Зачем тебя нет со мной!

Наступило молчанье. Владыка погрузился в свои думы.

Богун чувствовал, что какое-то святое чувство почтенья, восторга и преданности охватывает его перед лицом этого великого человека, о делах которого он слышал так много.

Наконец владыка поднял голову.

— Знаешь ли ты писаря Богдана Хмельницкого? — обратился он к Богуну.— Я слышал так много о нем; его любит все козачество...

— И он сто́ит того, превелебный владыко,— воскликнул Богун.— Нет среди нас более отважного сердца, более смелой руки и более разумной головы.

— Так,— наклонил белый клобук владыка,— говорят, он человек великой эдукации.

— О да! Он окончил иезуитскую коллегию... Он пользуется великой силой у коронного гетмана, а вместе с тем и среди козаков.

— Гм...— протянул владыка.— Верю тому, что говорят о его мудрости, но таково ли его сердце? Предан ли он вам?

— Как правая рука человеку! — произнес горячо и уверенно Богун.

— Почему же он до сих пор не восстанет во главе вас открыто?

— Он говорит, что рано еще... говорит, что самим нам нет силы подняться, а думает достигнуть всего с помощью короля.

— Короля? — усмехнулся владыка.— Но король ведь не мог охранить даже своего слова, где же ему охранить весь народ!

— Король хочет затеять войну с Турцией; мы полу-

чили от него тайный наказ и шесть тысяч талеров. А при войне он обещает усилить наши права.

— Все это так,— произнес владыка задумчиво,— но король — католик; нужно нам надеяться только на себя и на себя.

Владыка замолчал; Богун молчал тоже, не смея нарушить тишины. Так прошло несколько минут.

— Что же вы думаете делать теперь? — обратился снова к Богуну владыка.— Помни, козаче, что прежде всего вам надо устраивать и укреплять свою силу.

— О так, владыко, и мы подумали об этом прежде всего. Запорожцы наши, согласно желанию короля, отправились в морской поход; Богдан повел их.

— Я знаю это.

— Ты, святой отче, знал это? — изумился Богун.— Но откуда?

— Я знаю все, что деется у вас и для вас,— произнес владыка,— но дальше, что же делаешь ты?

— Я и другие, выбранные товарыством, собираем людей, комплектуем полки, отправляем их на Запорожье, подготовляем везде восстанье... Владыко, я только предтеча того, кто будет следовать за мной.

— Хорошо, господь благословит все ваши начинанья! — произнес торжественно владыка, подымая к слабо освещенной иконе глаза.— Сядь же сюда, сын мой, и слушай, что я буду тебе говорить.

Уже на ратушной башне давно пробило полночь, когда Богун вышел от владыки. Сердце его билось приливом новой уверенности, гордости и надежды, а в голове толпились драгоценные слова и указания владыки...

Маленькая келейка, куда отвели Ганну послушницы, была вся полна свежего, зеленоватого полусвета, потому что небольшие оконца ее выходили прямо в сад, окружавший келейки со всех сторон. Тени от мелких листочков беспрерывно трепетали по стенам и по полу; в открытые окна заглядывали ветви яблонь и слив, усыпанные нежными розовыми цветами. Воздух был теплый и душистый. В углу, у божницы, убранной свежей мятой, горела яркой звездочкой лампадка. По стенам келейки были размалеваны маслеными красками картины из житий святых. У боковой стены стояла малень-

кая канапка и несколько таких же стульев; у окна — столик, на нем четки, евангелие и псалтырь.

И Ганна чувствовала, как она отдыхает, измученная и душой, и телом, в этой чарующей тишине. Никакие звуки, кроме щебетанья птиц, не долетали сюда; утром же и вечером раздавались мерные удары постового колокола, и тогда Ганна в сопровождении молоденькой послушницы отправлялась вслед за монахинями в церковь. Молилась она горячо и страстно, вслушиваясь в каждое слово евангелия и псалтыря. Возвратившись в келею, она проводила все остальное время или за чтением святого писания, или на коленях, в слезах. Среди всех своих молитв она возвращалась беспрестанно все к одной да к одной: она просила богородицу помочь ей, слабой и бессильной, вырвать навсегда из сердца ту преступную любовь к Богдану, которая так всесильно овладевала ею, а окрылить ее душу высокою любовью к страдалице родине, за которую она отдала бы жизнь. Ко всем ее страданиям примешивалась еще и непокидавшая ее мысль о Богуне... Ганна корила себя за то, что она невольно разбила сердце дорогого ей козака, за то, что она не дала ему искреннего прямого ответа. Укоры эти, принося ей невыносимые страдания, не доставляли никакого удовлетворенья ее измученной душе. Несколько раз ходила Ганна в печеры; по целым часам стояла она на холодном полу, забывая, что деется вокруг нее. Ела она совсем мало, вставала по-монастырски к заутреням и проникалась все больше и больше обаянием религиозного экстаза. И Ганна чувствовала, как вместе с ее тихими слезами мятежное чувство, капля по капле, уплывает из ее души. Ей было так хорошо молиться в своей келейке, прислонившись горячим лбом к холодному косяку аналоя. Когда же она, усталая, измученная, поднимала голову, на нее глядели со стены ласковые и грустные глаза Христа... И казалось ей, что она чувствует подле себя эту ласковую, спасительную руку, и на душе становилось так легко...

За несколько дней, проведенных в монастыре, Ганна как бы позабыла обо всем окружающем, погружаясь в религиозные воспоминания страстных дней все глубже и глубже; жизненные впечатления как бы смыкались над нею с неясным шумом, словно вода над головою утопающего... И если б не ужасное положение ее веры,

ее края, она, казалось, никогда бы не покинула этого тихого пристанища среди бурь и напастей житейских.

Так настал и страстной четверг. Ганна не пошла в Лавру к умовению ног; ей хотелось провести этот день совершенно одной. Но вот солнце опустилось к западной стороне, повеяло вечерней прохладой, протяжно и плавно прозвучал большой успенский колокол, за ним также печально и медленно прозвучали и вознесенские колокола. Двери келеек стали отворяться неспешно, и длинною вереницей потянулись по зеленому двору, одна за другой, монахини в черных мантиях в сопровождении своих молоденьких послушниц.

Церковь уже была полна народа, когда Ганна вошла и заняла свое место в глубине. Перед образами теплились лампады и горели в серебряных ставниках высокие зеленые свечи, окруженные десятками маленьких; большое паникадило блистало полусотней огней, свет разливался широкими полосами внизу, дрожал в окнах и гнал сумрак далеко вверх, в высокий купол, где он ютился вместе с волнами кадильного дыма.

Служба шла долго. Наконец царские врата распахнулись, и показался старичок священник в сопровождении диакона с евангелием в руках. Одна за другой зажглись в руках молящихся свечи, и вся церковь наполнилась ярким мигающим светом. Вот начались чтения евангелий.

Когда оканчивалось одно евангелие, свечи одна за другой быстро гасли в руках молящихся, и церковь погружалась в сумрачный полумрак, словно облекалась в траур.

— Слава! — слышалось с клироса торжественно и печально.— Слава, страстем твоим, господи! — повторяла за хором и Ганна, не отрывая своих горящих, возбужденных глаз от лика Христа. И снова отворяются царские врата, снова выходит старичок священник, открывается большая книга... и то же чтение тихим старческим голосом... И Ганна точно видит, точно переживает все то, о чем повествует дребезжащий голос панотца.

— «Мария же Магдалина и Мария Иосиева зрясте, где его полагаху»,— окончил священник, и вся церковь опустилась ниц. И пред глазами Ганны в тихой полутьме церкви одна за другою проходят картины: вот они

сняли его тело с креста, завернули в белые полотна... Темнеет... Безутешные женщины склонились над его измученным, мертвым лицом... Они не плачут... Они окаменели в своем немом отчаянии... Лиловый, мертвый сумрак упал на их покрытые головы.

Вдруг Ганна почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Она оглянулась и вздрогнула невольно, увидевши себя в полутемной церкви, среди склонившихся кругом молящихся людей. С противоположного клироса глядел на нее Богун; но сам он едва узнал Ганну, до того осунулось и побледнело ее лицо за эти четыре дня. Глаза ее, обведенные черными кругами, казались теперь огромными и черными и глядели так открыто и серьезно, что вся она показалась ему какой-то старинной иконой, глядящей с потемневшего полотна. Глаза их встретились. Но ни женственная краска не вспыхнула на этих бледных щеках, ни нежной приветливой улыбки не показалось на ее лице, глаза не вспыхнули затаенной искрой,— они глядели на него таким глубоким и грустным взглядом, что Богун прошептал невольно: «Господи, откуда ты послал нам ее?» И такой горячий прилив любви и удивления перед этою необыкновенною девушкой охватил сердце козака, что Богуну захотелось неудержимо тут же сейчас сказать, что он любит ее одну во всей Украине, что она ему все: и мать, и сестра, и жена.

Но служба окончилась. Народ стал выходить из церкви. Монахини потянулись одна за другою длинною, черною вереницей. Богун увидел Ганну; она шла вслед за ними. Он хотел окликнуть ее, подойти к ней, но Ганна взглянула на него снова, и лицо ее было так серьезно, так печально, что Богун не решился подойти к ней теперь и только проводил ее глазами вплоть до самых дверей.

В вечер великой субботы к въездной лаврской обороне то и дело подкатывали возы горожан и неуклюжие колымаги панов, окруженные верховыми стражниками; подходили беспрерывно толпы богомольцев и из города Подола, и из Вышгорода, и из других, еще более отдаленных мест. Хотя до всенощной было еще далеко, но двор Печерского монастыря быстро наполнялся народом. Приехал и сам митрополит, превелебный Петр Могила, устроитель братского монастыря и академии,

а равно и возобновитель Софиевского собора; прикатили и подвоеводий, и войт, и бурмистр. Знатные гости были приглашены настоятелем Печерского монастыря в свои покои, другие, что попроще, расположились на дворе. У всех последних были в руках корзины и узелки с пасхами, поросятами, яйцами, предназначенными для освящения.

Целый день в открытые двери собора входили и выходили толпы богомольцев помолиться и приложиться к пречистой плащанице.

Настала ночь, теплая, звездная и душистая. Ударил колокол, и эхо понесло далеко за Днепр протяжный и торжественный звук. Заволновались толпы народа на монастырском дворище и поспешно потекли широкими волнами в храм.

С трудом пробралась Ганна вслед за течением народа в переполненную церковь, но не могла пройти к плащанице и остановилась в сторонке, прислонившись к холодной каменной стене. В церкви было так тесно, что весь народ представлял из себя как бы сплошное целое, так что толчок, полученный у входа в церковь, передавался и стоящим впереди. От множества зажженных свечей чувствовалась невообразимая духота; пахло горячим воском, сапогами, носильным платьем и горячим дыханием тысячи людей. С клироса раздавалось мерное и монотонное чтение «Апостола». То там, то сям слышалось сухое покашливание, вздох или задержанный зевок,— все ожидали того счастливого и торжественного момента, когда наконец «дочитаются до Христа».

Между тем народ все прибывал и, несмотря на невообразимую тесноту, церковь поглощала еще и еще новые толпы людей. Ганна чувствовала себя чрезвычайно слабою: от самого четверга она не ела ничего, кроме хлеба и воды. Ноги ее совершенно подкашивались, она могла еще стоять, только прислонившись к стене. Как ни напрягала она своего слуха, но из читаемого на клиросе до нее доносился только неясный однообразный шум, который сливался у нее с непонятным шумом в голове и в ушах. Ее сильно теснили обступившие со всех сторон горожане и козаки; казалось, что ими совершенно преграждался к ней доступ воздуха. Дыхание ее становилось все чаще и чаще; она подымала голову,

жадно открывала рот, стараясь поймать хоть струйку свежего воздуха, но, кроме горячего, тяжелого дыхания множества людей, к ней не долетало ничего. Толпа совершенно отделила ее от своих богомольцев, и теперь она стояла здесь одна, затерявшись нечаянно среди козаков.

Вдруг новый натиск распахнувшейся толпы притиснул ее совершенно к стене; несколько дюжих спин, подавшись назад, обвалились всею тяжестью на нее. Ганна хотела выскользнуть, хотела двинуться, крикнуть; она открыла рот, но не смогла вздохнуть. Холодный пот выступил у нее на лбу, она инстинктивно вытянула вперед руки, и вдруг пара сильных, мужских рук подхватила ее под мышки и осторожно понесла над сбившеюся толпою...

В церкви произошло некоторое замешательство. «Задавили, задавили!» — раздавалось то тут, то там. А Богун с трудом пробирался со своей ношей к выходу. В проходе его ожидала самая сильная давка; здесь сталкивались два противоположных течения, одни входили, другие выходили, и в этом водовороте трудно было сделать хоть шаг вперед.

Выбравшись наконец из церкви, Богун поставил Ганну на землю и, не отымая от нее рук, спросил встревоженным голосом, склоняясь над ней:

— Не придавили они тебя, Ганно?

— Нет, нет, спасибо тебе, Иване,— проговорила она слабым голосом,— это ничего, так оно — пройдет. Сильно душно было в церкви, я попала как-то меж козаков, они прижали меня, ну, у меня и пошло все колом в глазах.

— Ты змарнила совсем, не жалеешь себя.

— Это так только — сегодня.

— Пойдем же,— взял Богун ее руку в свою,— сядем там, за церковью: ты отдохнешь, а потом можно будет и в церковь войти.

Ганна пошла вслед за Богуном. Ночь стояла такая теплая, звездная, прозрачная. По всему обширному двору Печерского монастыря разместились богомольцы, не вошедшие в церковь; подле каждого стояла пасха с воткнутой в нее свечечкой. Казалось, что второе небо, усыпанное тысячью маленьких, трепещущих звезд, опрокинулось на землю. Только верхние звезды сверкали

такими холодными блестящими лучами, а земные так трепетно теплились красноватым огоньком. Время близилось к полуночи: на колокольне, на куполах начали зажигать огоньки. Богун и Ганна прошли за церковь и остановились на уступе горы.

— Присядь, Ганно; ты едва стоишь на ногах,— обратился к Ганне Богун.

Ганна опустилась.

С горы вниз, вплоть до самого Днепра, сбегали монастырские сады, а Днепр разливался у подножья горы полноводный, широкий, затопляя все острова. Иногда из церкви доносились звуки протяжного, грустного пения. Так дивно тепло было на земле, так торжественно в небе.

— Великое отпевание идет,— вздохнула Ганна.

— Да, а скоро загремит и радостная весть на весь мир,— заметил Богун.— Завтра мы уже и не увидимся, Ганно.

— Как, разве ты так скоро уедешь отсюда?

— Вот только встретить праздник Христов да попрощаться с тобой захотел, а завтра уже в дорогу. Праздник нам на руку: всюду свободный народ. Дела свои я покончил здесь. Да благословит господь превелебного владыку нашего и святое богоявленское братство: многое они сделали для нас! И как не верить, Ганно, в то, что господь поможет нам вырваться из-под лядского ига, когда всюду, везде весь люд только и ждет гасла, чтобы подняться всем, как одному. Нужно только человека, чтобы поднял всех.

— И он будет, будет, Иване! — воскликнула Ганна.

— Будет,— повторил уверенно и Богун.

— Куда ж ты теперь поедешь, Иване?

— Поеду дальше, комплектовать полки и подымать народ. Из Киева вот уже отправил тысячу человек на Запорожье,— повезли и деньги, и оружие: обо всем подумал наш превелебный рачитель... Правду говорит Богдан: теперь мы обессилены... нам надо укрепиться и окрепнуть... Теперь вот я еду дальше. Чем больше у нас будет силы, тем больше будет вера, а чем больше вера, тем вернее победа.

Богун встряхнул головою и заговорил горячо и уверенно: он говорил Ганне о своих планах, мудрых указаниях владыки...

— Счастлив ты, козаче,— вздохнула Ганна,— ты можешь трудиться для нашей отчизны, а я...

— Ты, ты, Ганно,— перебил ее с восторгом Богун,— ты делаешь больше всех нас, ты подымаешь в нас веру, ты указываешь всем нам дорогу.

— Что ты, что ты, Иване,— остановила его Ганна; но Богун перебил ее:

— Нет, постой! Что правда, то правда: когда у дивчыны встречаешь такое чудное сердце, то самому хочется велетнем стать; и стыд и досада на свою подлую душу проймают сердце! — Богун вздохнул, сбросил шапку, провел рукой по голове.— Вот что хотел еще я сказать тебе, Ганно! — заговорил он после небольшой паузы.— Теперь мы расстанемся кто знает на сколько... Прости меня, грубого козака, за те слова, что сказал я тебе...

— Ох Иване, Иване! — вскрикнула Ганна.— Я бы сердце свое для тебя вынула, а ты...

— Спасибо, Ганно, спасибо, сестрице моя,— взял ее Богун за руку,— дозволь же мне думать, что не останусь я чужим для тебя...

— Богуне, друже мой, как брата, как лучшего друга, люблю я тебя! — произнесла Ганна с глубоким чувством, подымая на Богуна полные слез глаза.— Прости меня ты, что без воли потоптала я твое сердце; когда б ты знал...

— Что говорить, Ганно,— ты, моя королевно, не виновна ни в чем,— перебил ее Богун,— захотелось мне украсть для себя только солнце, а солнце светит для всех. Спасибо тебе за ласку твою, за твое доброе слово...— Богун встал и обнажил голову.— Когда увидимся — не знаю, благослови же меня на долгий и тяжелый путь.

Ганна поднялась с места.

— Господь всевышний благословит тебя, защитит от несчастья,— произнесла она, осеняя его голову крестом, и, прижавшись к его лбу губами, прошептала сквозь слезы: — Друже мой, брате мой, прости, прости меня!

— Прощай, Ганно! — произнес торопливо Богун, словно боясь, что его самообладание изменит ему.— Прощай! — поцеловал он еще раз дивчыну: — Ты одна у меня, Ганно, и больше нет никого!

XX

Стройно, словно стадо лебедей, несутся вниз по Днепру запорожские чайки; сильными и верными ударами весел рассекаются желтоватые волны; они пенятся, бурлят и бегут за ладьями; попутный ветер, накренив паруса, ускоряет их бег. Берега мчатся назад, смыкаясь широким кругом в сизую даль и расступаясь впереди безбрежною водною гладью; чем дальше, тем больше понижаются правобережные горы и отходят вглубь, уступая место пышным зарослям-лугам, опушенным первою яркою зеленью, а налево бесконечно тянется по меже главного русла реки линия потопленных кустарников, качающихся на волнах своими красноватыми верхушками.

На передовой чайке, возле рулевого на чардаке, стоит, скрестив руки, наказной атаман Богдан и, посмактывая люльку, зорко смотрит вперед. Впрочем, особая осторожность пока не нужна; они плывут еще в пределах своих козацких вольностей; встречается еще на челноке и свой брат запорожец-рыбалка и приветствует товарыство громко да радостно, желая ему всяких удач; да и песня хоровая не умолкает на чайке, а громкий говор и смех раздаются по реке и разносятся эхом далеко; но вот скоро будет перейден родной рубеж и потянутся чужие, пустынные берега.

Богдан махнул шапкой; остановилась атаманская чайка, замерли поднятые в воздухе весла; подъехали остальные ладьи и стали полукругом за атаманской.

— Панове товарыство! — зычным голосом обратился к ним Богдан, и разнеслось его слово по всем чайкам,— вон за теми лозами, где зеленеют стеной камыши, уже потянутся ворожьи берега вдоль Славуты-Днепра, а потому занемейте как рыбы — чтобы ни крика, ни песни, ни свиста! Даже веслами осторожней работайте! Забирайте между зелеными плавнями налево к Конскому рукаву [96], теперь проплывем чудесно до самого Мурзайрогу, что недалеко от острова Тендера [97], а там, в глубоких и скрытых затоках, переждем до ночи, а ночью, разведавши добре окрестность, перемахнем через Кимбургскую косу [98]. Теперь в половодье переплывем, а то и перетянем чайки, а Очакову покажем, братцы, дулю!

— Покажем, покажем! — отозвались голоса с чаек, и веселый смех перекатился кругом.

— Так слушайте же! За мною гуськом, осторожнее и проворней; следите зорко по сторонам, и если где кто заметит татарский каюк, догнать его и пустить к дидьку на дно, но только без шума. Ну, гайда! Завтра к вечеру непременно нужно быть в Мурзай-роге.

Богдан дал знак рукой; его чайка взмахнула веслами, вздрогнула и понеслась вниз по течению, направляясь к одному из узких коридоров плавней; за нею длинною линией потянулись другие ладьи.

Между тем встревоженный Морозенко пробирался к деду Нетудыхате, что стоял у другого руля на корме.

— А что скажешь, сынку? — заметил его тревогу дед.

— Да что-то неладно с Грабиной,— сообщил тот шепотом,— ног совсем не чует; вот это я заходил к нему, так намогся выйти к гребцам, что будто у него совсем перестали болеть ноги, а как стал на них, так и гепнул. Я его поднимать, да и наступил нечаянно на ногу. Что ж бы вы, диду, думали? И не заметил даже...

— А разве он тут? — изумился дед.

— Напросился,— потупился хлопец.

— Ах он, собачий сын! — вскрикнул дед.— Да ведь я ему настрого приказал, чтоб лежал и не рыпался.

— Я и не знал,— покраснел Морозенко.

— Эх, голова! Ну, пойдем посмотрим, что б такое оно? — затревожился дед и, поручив руль другому опытному козаку, сам пошел за Морозенком в атаманскую каюту.

А Грабина лежал на полу, пробовал все подняться на карачках и ругался.

— Ишь, чертовы ноги, словно обпились литовского меду, не стоят, да и баста, а чтоб вы отсохли, ледачие! Вот, диду, оказия,— обратился он к вошедшему Нетудыхате,— и болеть не болят, только в коленках щемят, а словно не мои ноги: не хотят поднять козака, хоть ты тресни!

— Сам ты виноват,— сердито ворчал дед, нахмуривший нависшие белые брови,— ведь говорил же: лежи в курене, пока не пройдут! Так нет-таки, не послушался, воровски удрал, а теперь и на ноги жалуешься, вот как отпадут к бесу, тогда и будешь знать!

— Да как же так? — заволновался Грабина.— Без ног-то козаку как будто неловко, да если они что, так я себе голову рассажу!

— Ой, скорый какой! — грымнул дед и, бросив взгляд на Морозенка, буркнул под нос: — Подними-ка, положим его сюда, ну!

Морозенко бросился. Они подняли вместе козака и уложили его на походной канапе. Дед начал разбинтовывать ему ноги.

— Ишь, перетянул как, иродов сын! Даже въелось в тело, как же тут не помертветь?

— Да я, диду, чтоб ходить было лучше,— оправдывался Грабина.

— Всыпать бы тебе в спину добрых киев, тогда знал бы! Лучше ходить! Вот и доходился! Не имеет права никто по своей прихоти себя нивечить,— не унимался дед,— всяк товарыству нужен и ему подлежит. Ну, пришибло тебе ноги деревом — тут ты не повинен: божья воля была на то. Может, либо кара тебе за что, а может, наказ, чтоб ты в море не плыл, а ты таки и богу наперекор.

— Я этого не думал,— прошептал Грабина и заметно побледнел; холодные капли пота выступили у него на лбу.

Когда дед с Морозенком разбинтовали наконец ноги Грабине, то хлопец не удержался, чтоб не всплеснуть в ужасе руками, а дед печально закачал головой. Ноги действительно представляли ужасающую картину антонова огня: кровь, запекшаяся на ранах, и обнаженное мясо багровели темною обугленною массой, натянутая в здоровых местах кожа синела, темнея к ступне и переходя на пальцах ноги в черный цвет; вверху за коленями ярко алела вокруг ног порубежная линия воспаления.

— А что? — спросил Грабина, глянувши на ноги, видные ему, впрочем, неясно в сумраке помещения и за тенью двух нагнувшихся над ним козаков.

— Лежи смирно, не рушься! — крикнул дед; но в дрогнувшем голосе его послышались уже не сердитые, а трогательные тоны.— Пойди-ка, Олексо,— обратился он к Морозенку,— да принеси мою торбу; нужно торопиться, а то вишь, что натворил и запустил как!

— Разве плохо? — спросил упавшим голос Грабина.

— Молчи уже,— буркнул, не глядя на него, дед,— все в руце божьей... Захочет он простить тебе блажь, так помилует, а не захочет — его святая воля на все, а против него кто же посмеет?

Тихо стало на чайке. Слышны были только старательно удерживаемые глубокие вздохи Грабины да равномерные, как удары маятников, всплески весел. Наконец прибежал Морозенко с дедовскою аптекой; знахарь послал его принести сырого картофеля.

Дед велел Олексе нарезать его мелкими кружочками, а сам помазал каким-то своим снадобьем ноги больного, обложил их резаным картофелем и слегка забинтовал, наказав строго-настрого больному не только не вставать, но и не двигаться. Он вышел за дверь и позвал к себе хлопца.

— Слушай, не отходи от него, сыну, а коли что, сейчас ко мне; Грабине очень худо, нужно переменять почаще картофель, чтоб жар оттягивал, ты нарежь его побольше, да и батька наказного нужно осведомить.

— Боюсь,— запнулся хлопец,— чтоб наш наказной не разгневался, что без его ведома...

— А ты почем знал? Ведь тебе не было приказано, что не пускай, мол, Грабины?

— Нет, не было.

— Ну, так что и балакать?

Богдана встревожило сообщенное дедом известие о Грабине; сначала он даже рассердился было за его непослушание, но опасное положение больного сменило чувство досады глубоким огорчением; ему было невыразимо жаль потерять товарища и друга, к которому так скоро привязалось его сердце. Богдан поспешил в свою каюту и обратился к Грабине не с грозным, а с трогательным укором:

— Эх, Грабино, Грабино! За что ты, наперекор моей воле, захотел себя в гроб уложить?

— Прости, батьку! Скучно было оставаться лежебоком, понадеялся на каторжные ноги! — вздохнул больной.

— Да ноги, может, и выходятся, а вот лежи только смирно да слушайся дида.

— Я лягу там, к сторонке, а то как же,— запротестовал Грабина,— занял твое место...

— И думать не смей,— даже прикрикнул Богдан,— мне ни на минуту нельзя отойти от руля. Сам знаешь, какие опасные места, пока не выйдем в чистое море. Исполняй все до слова, что прикажет дид... Ведь беда, сам знаешь, непрошенный гость.

— Все, все, батьку! — взволновался от ласкового слова Грабина.

— Ну спасибо! Бувай же здоров, да ходи скорей, а теперь для того-то и нужно вылежаться добре.

Богдан ушел, а взволнованный Грабина обнял Олексу несколько раз, прерывая объятия свои пламенными словами:

— Эх, да и люди ж вы! И батько атаман, и ты, и дид, и товарищи! Вот, как ни противна мне жизнь, а бросать таких людей жалко! Горя-то сколько перенес, греха сколько на душу принял, жизнь как насмеялась и ограбила, а все вот не хотелось бы так-таки и пропасть, не отплативши вам за добро, не поквитовавши свою черную душу, не найдя... ох, Олексо, Олексо! — сжал он хлопцу руку, закусив себе до крови губу и уронив невольную слезу.

Тронутый Олекса стал утешать его, как умел.

— Не тревожьтесь, пане Грабино, бог милостив, все пойдет хорошо. Слава богу, дид налицо, он знахарь — пособит, а и господь на козака с ласкою смотрит; ведь наш брат за его же святую правду кровь свою проливает — значит, милосердный и сглянется... А вот я еще картофлю нарежу, оно и полегчает... Ведь, правда, холодит, кажется?

Грабина только стонал.

Целую ночь ехали козаки, сменяя по очереди гребцов. Узкими и извилистыми каналами неслись они гуськом в темноте между бесконечными нивами густого, тихо качающегося камыша; ловкие рулевые искусно направляли чайки, а недремлющие атаманы зорко следили по сторонам. Но все было тихо и спокойно кругом; подозрительный плеск или шорох не будил козачьей тревоги; только иногда с резким шумом взлетали стада диких уток, приютившихся на ночлег, или доносился из какого-нибудь залива мелодичный звук унылых лягушек. К утру козаки заехали в какое-то

плесо, закрытое со всех сторон, словно озеро, лозами и тростником,— оно было недалеко от острова Васюкова, за которым до Кимбургской косы было часов пять-шесть ходу, не больше. Здесь и без половодья тянулся страшною ширью глубокий днепровский лиман, суженный лишь у Очакова косой. Но теперь, в половодье, он представлял собою почти безбрежное море, разрывавшее в двух-трех местах Кимбургскую косу. Через эти-то проходы Богдан и рассчитывал проскользнуть. Дело, впрочем, было нелегкое и рискованное; во-первых, нужно было воровски пробраться среди массы шныряющих по лиману каюков и галер, а во-вторых, суметь попасть на удобный проход, чтобы не сесть на мель, и, наконец, умудриться на той стороне Кимбургской косы прокрасться через линию сторожевых турецких судов. Вследствие таких опасностей козаки и решались прорываться из Днепра в Черное море только темными, безлунными ночами, каковые наступили теперь.

Богдан распорядился простоять целый день в этих закрытых водах, выслав на стражу еще четыре небольших лодки-душегубки. Потом он подозвал к себе Олексу.

— Слушай, сыну, сослужи-ка товарыству большую услугу.

— Рад, батьку, рад,— ответил счастливый Морозенко,— только прикажи.

— По-татарски балакать ты еще не разучился?

— Нет, что говорят — понимаю, и сам загавкать могу.

— Ну, вот и отлично. Возьми же ты душегубку и поезжай вниз, все на полдень; камышей уже тут осталось немного, да и то уже скоро начнут разрываться, редеть,— запутаться в них нельзя, а за камышами и раскинется перед тобою целое море; теперь, наверное, ни вправо, ни влево берегов нет... Ты смотри вперед и перед собой; за полмили виден будет остров, ну, вот к нему и держи, а минуешь его, так тебе налево потянется узкая, длинная полоса,— это и будет Кимбургская коса; ты поедешь вдоль нее и где заметишь прорывы, там прикинешь примерно, сколько весел они ширины, сколько глубины и как на той стороне: свободен ли от вражьих галер выход?

— Добре, батьку! — встряхнул молодцевато чуприною Олекса, гордый таким поручением.

— А теперь вот что,— продолжал серьезно Богдан,— ты не козак, а татарин-рыбалка из-под Очакова; на случай каких-либо встреч и расспросов так и говори, а еще лучше избегай всяких встреч.

— Слухаю, тату,— улыбнулся Олекса.

— Смотри же, переоденься татарином; там, у меня в каюте, есть всякой одежи достаточно,— выбери, примерь, да в лодку возьми еще для виду какие-либо рыбальские причандалы... Да не забудь прихватить и харчей: ведь на целый день отправляешься.

— Возьму, возьму, все исполню, как велишь.

— Только осторожнее, береги себя, зря на огонь не лезь: ведь знаешь, что мне жалко тебя,— так ты осторожно... помни.

— До смерти! Головы не пожалею, сдохну за батька! — почти крикнул Ахметка, и глаза его загорелись молодой удалью.

— Спасибо! Верю! — обнял его Богдан.— Ну, торопись, начинает уже благословляться на свет... Ну, а как Грабине?

— Кто его знает? — нахмурился Олекса.— Все как будто в одной поре, только вот ступни сильней почернели... душно ему, нутро горит, огневица.

— Пропадет козак,— почесал затылок Богдан,— ну, воля божья! — вздохнул он, а потом, положивши набожно на голову Олексы руки, произнес: — Храни же тебя господь! Будь осторожен и возвращайся непременно назад к вечерней заре.

Олекса бросился в каюту, переоделся в татарскую одежу, взял необходимые припасы и, отвязав душегубку, бодро вскочил в нее и схватил в руки весло.

— А из оружия что прихватил? — спросил у него, перегнувшись через борт, какой-то козак.

— Кинжал-запоясник,— откликнулся Морозенко.

— Стой! Возьми на всякий случай и пару пистолей,— протянул ему пистолеты козак.

— Спасибо! — ответил Олекса и отчалил от чайки. Под ударами весла душегубка понеслась стрелой вниз по течению и скоро исчезла в серой мгле раннего утра.

К восходу солнца Олекса выбрался из лоз и камышей на открытые воды,— выбрался и замер от удивле-

ния, уронивши весло... Любовался он и с берегов Сечи широкой гладью Днепра, могучее которого, казалось ему, нет ничего на свете; и там, в разлив, берега его уходили в туманную даль, а плавающие на далеком просторе острова открывали бесконечную перспективу; но здесь ему слепило глаза не то,— совсем не то; здесь ему показалось, напротив, что он выехал не на безбрежное раздолье, а на край земли, что горизонт не расширялся, а стоял наполовину обрезанным. За этим концом синеющей дуги он обрывался сразу в какую-то бездну, и обрыв этот казался вот тут, недалеко... Ужас сковывал руки направлять душегубку туда... «Потянет эта бездна, и бултыхнешься в пекельную прорву»,— такая мысль охватила Морозенка; но, вглядевшись пристальнее в этот резкий, синий рубеж лежавшего у ног его колоссального зеркала, загоревшегося в одном месте алым огнем, он приметил на самом краю водного обрыва единственное черное пятно, вспыхнувшее теперь в двух-трех местах яркими бликами. Олекса догадался, что это, должно быть, и есть тот самый остров, к которому нужно держать путь. Теперь уже, нашедши точку опоры для взора, он начал улавливать перспективу, особенно когда, как будто для сравнения, появились то там, то сям белые и розовые паруса рыбацких судов. Олекса перекрестился, сотворил короткую молитву при виде величественного, вынырнувшего из яхонтовой глади солнца и налег на весло.

К ранней обеденной поре остров уже был рядом с ним; на противоположной стороне его стояла небольшая галера, а у ближайшей качалось несколько каюков; направо к Очакову также не было заметно каких-либо опасных судов. Минувши остров, Морозенко остановился и позавтракал. Отсюда ему уже стала заметной узенькая полоска песков, желтевшая золотою ниткой на краю горизонта; туда и направил, отдохнувши, свою душегубку козак. Дойдя без всяких приключений до косы, он заметил, что берега ее были совершенно пустынны; только направо виднелась небольшая группа тощих деревьев. Подъехавши к ней, Олекса с радостью увидал, что за деревьями шел вглубь широкий водяной проток, сливавшийся с темною полосой вод, синевших за песчаными кучугурами. Осторожно, приглядываясь к каждому кусту, к каждой отмели, стал подвигаться

Олекса зигзагами по протоку, пробуя беспрестанно веслами дно; оказалось, что оно было везде довольно глубоким, исключая одного места, ближе к выходу, где воды было не больше как на полвесла, ширина же протока была с излишком достаточна для прохода чаек.

Доехавши до противоположного конца протока, Олекса снова был поражен короткостью обрезанного горизонта; это впечатление казалось здесь еще более резким при совершенном отсутствии каких-либо судов на море и при его сгущенной синеве. Еще одно обстоятельство поразило Олексу: несмотря на совершенную тишину, не мутившую даже рябью сонных, лиманских вод, здесь, на море, медленно и бесшумно, словно из глубины, вздымались широкие волны и разбегались по песчаному берегу серебристым прибоем. Полюбовавшись невиданным зрелищем, Олекса повернул назад и заметил, что он сильно устал. Пройдя проток, он остановил свою душегубку у лозняка и принялся за свой полдник. Утоливши голод, Морозенко разлегся в челне, подложивши свитку под голову, и закурил люлечку...

Солнце, перейдя полдень, ласково греет его, нежный ветерок едва, едва колышет ладью... В сладкой истоме лежит молодой козак, свесивши онемевшие руки. Крылатые мысли летают где-то далеко: Золотарево или Субботов мерещатся неясными тонами, а вот ярко выступает образ маленькой Оксанки с черными глазками и ласковою улыбкой...

Проснулся Олекса от сильной качки. С ужасом протер он глаза: солнце уже стояло почти на закате: ветер крепчал и дул с моря, лодка неслась по лиману, в мглистой дали не было видно никаких берегов, коса и остров пропали.

Схватился козак за весло,— к счастью, оно еще лежало в лодке,— и начал грести с отчаянной силой, направляя челн на север. Душегубка летела, рассекая острым, высоко поднятым носом возраставшие волны, ветер дул в спину и помогал юнаку гнать ее. Солнце садилось; сизая мгла превращалась в ползущий по волнам белый туман.

Вдруг лодка ударилась о какое-то препятствие, подпрыгнула, чуть не опрокинулась и запуталась в сети.

— Гей, Махмед! Смотри, что там? — крикнул кто-то по-татарски из тумана.

— Должно быть, большая рыба,— ответил другой голос с противоположной стороны.

Через минуту из тумана показался каюк с четырьмя гребцами и одним рулевым.

— Аллах керим! Тут не рыба, а целый черт!

— Какой? Кто? — подъехал другой больший каюк.

— Откуда ты, дьявол? — спросил рулевой.— Ишь цепь разорвал, шайтан черный!

— А ты не лайся, зеленая жаба,— огрызнулся по-татарски Олекса, махая со всею силою веслом.

— Держи его! — кричал рулевой другому каюку.— Заступи дорогу... Он рвет веслом сети!

— Стой, шайтан! Арканом его! — надвинулся к душегубке другой каюк.

Первая мысль Морозенка была защищаться: двух бы он положил выстрелом, двух кинжалом, но вот беда: лодка запуталась — не уйдешь! Ему улыбнулось даже и умереть в лихой схватке, да вспомнился наказной и товарыство, судьба которого вручена ему самим Богданом.

— Стойте, правоверные братья,— словно взмолился Морозенко,— велик аллах и Магомет его пророк! В тумане нечаянно наскочил; вы помогите распутаться...

— А глаз не было, зевака? — уже менее грозно отозвался рулевой, очевидно, хозяин,— зацепи багром его каюк, тащи!

— А ты откуда, карый? — прищурил он свои раскошенные глазки.

— Из... как его...— замялся Морозенко: он не знал ни одного названия из окружающих мест, кроме Очакова, и потому буркнул: — Из Очакова.

— Как зовут?

— Ахметкой.

— Из какой семьи?

— Из...— тут уже Олекса замялся совсем,— из Карачубесов.

— Врешь! Там таких нет!

— Смотри, хозяин,— обратился к косому другой татарин,— у него и каюк не нашинский, таких у нас нет.

— А вот и гяурский * крест на шее блестит! — крикнул еще кто-то, показывая пальцем.

* Гяурский — від «гяур». Турки і татари називали гяурами всіх немусульман.

— Так вяжи его! Это гяур, шпиг! — крикнул хозяин.— Тащи его! — Олекса выхватил было пистолет, но в мгновение ока аркан упал ему на плечи, затянул узлом руки и повалил его навзничь.

XXI

Несмотря на все старания деда, Грабине становилось хуже и хуже: ноги постепенно чернели; багровые, верхние круги расплывались дальше; жар возрастал во всем теле; в каюте слышался трупный запах.

Больного перенесли на чардак, где ветер хотя несколько мог освежить его воспаленную грудь.

Богдан видел теперь, что положение товарища безнадежно, и, не желая выдать своей сердечной тревоги и муки, подходил к нему лишь украдкой, а сам Грабина, казалось, еще не сознавал этого, хотя и чувствовал, что с ним творится что-то неладное.

— Слушай, пане атамане, друже,— поймал он както Богдана за руку, когда тот, спросивши его о здоровье, хотел было пройти дальше,— что-то мне как будто погано, горит все, словно на уголь.

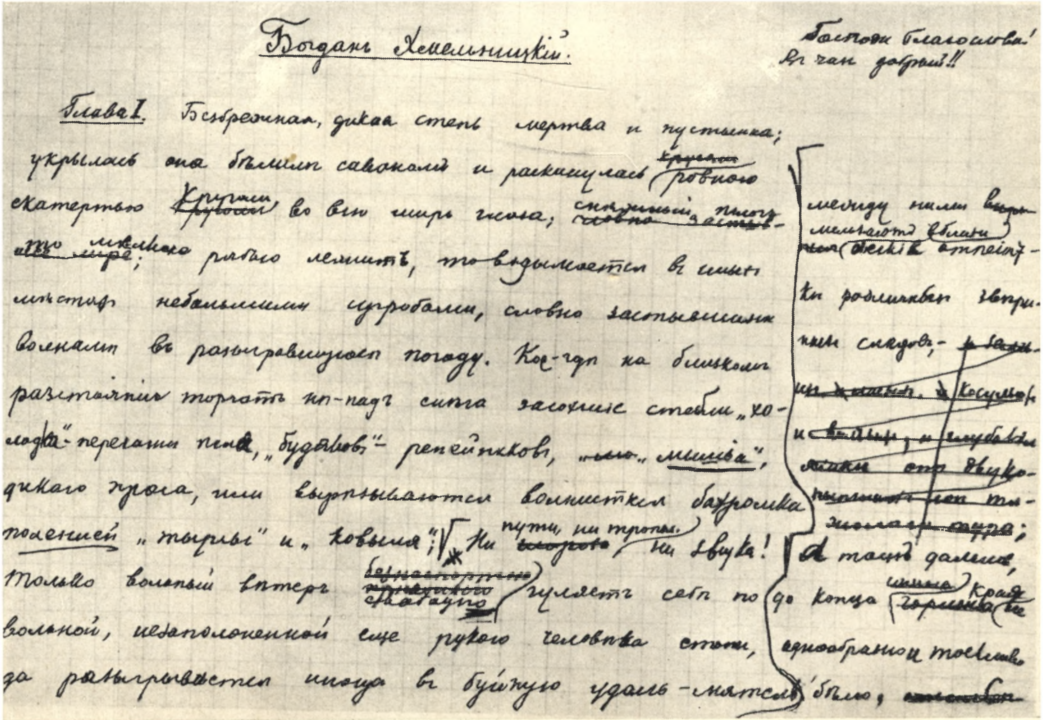
— Господь с тобою, Иване! Нашего брата скоро так не проймешь,— попробовал было отшутиться Богдан, но смех как-то не вышел, задрожал в горле и оборвался спазмой.

— Да мне, пане Богдане, что? — улыбнулся горько Грабина.— Дразнил ведь кирпатую не раз, ну, теперь уж она меня подразнит. Чему быть, того не миновать! А вот только одно больно, тоска гложет, что если...— ему тяжело было говорить; с страшными усилиями отрывал он из глубины сердца слово по слову, и это причиняло ему неимоверные страдания.

— Я говорил тебе тогда... дочь моя... моя Марылька.... Ох, для нее-то и забрался я против твоей воли в чайку... Об ней одной только и думал... ее надеялся спасти... Я грешник... страшный... пекельный... Меня карай, боже! Но она за что — за грехи мои страдает?

Грабина распахнул свою сорочку и начал бить себя с остервенением в грудь кулаком.

— Постой... успокойся, друже! Ты рвешь свое сердце; лучше потом...— попробовал было остановить его Богдан.



Початок роману «Богдан Хмельницкий» [«Перед бурей»]. *Фотокопія автографа.*

Но Грабина продолжал с каким-то лихорадочным усилием:

— Нет, сейчас... все... потом уж будет поздно... Слушай... все равно перед смертью... ближе тебя нет у меня никого на свете... тебе только могу все доверить. Помнишь, вот та цыганка, про которую говорил невольник... моя... наверно моя... Она украла мою Марыльку... Я ее отправил с донечкой к сестре на Волынь. А она, дьявол... ведьма проклятая... мою дочь... мое дитя... в Кафу... в гарем. Ох, найди ее... спаси... согрей! — захрипел он, сжимая руки Богдана.— Погибнет там, в Кафе... Если не сможешь с товарыством, сам заедь... выкупи... денег сколько запросят — ничего не жалей! Ох, я ведь был магнатом, Богдане, да и теперь еще много осталось... Там, в Млиеве... разразился надо мной гром небесный, хотя упал этот гром от руки лиходея, грабителя... Тебе придется, быть может, встретиться с ним, так берегись, друже; этс — рябой, с зелеными глазами Чарнецкий.

— Чарнецкий? Доблестный воин?

— Зверь! Кровопийца! А! — заметался больной.— Душно и тут... В горле печет... Смага на губах... Дай воды!..

Богдан поднес тут же стоявшую кружку, и больной, освежившись несколькими глотками, продолжал говорить, впадая по временам как бы в забытье и прерывая речь тяжелыми вздохами.

— Так вот, хотя и от зверя кара, а по заслугам... Бог ему оттого и попустил... Когда я умру, молись за мою грешную душу... Молись, брате! Вот отщепни... возьми... меня уже не слушают и руки,— с усилием он дергал кожаный пояс — черес, туго стягивавший его стан,— помоги, отщепни... Там зашито две тысячи дукатов, все на нашу церковь!

— Да что ты, друже? — помог ему снять пояс Богдан.— Словно умираешь! Еще бог смилуется.

— Все равно, если его ласка, так тем лучше... Я и всю жизнь на службу милосердному отдал бы, а то пожалею грошей!.. Молитесь все за мои грехи... за такие... ох! — начал он судорожно рвать на себе рубаху.— Есть ли мне прощение или нет? — устремил он на Богдана пылающие, налитые кровью глаза.— Нет ведь, нет? — поднялся он вдруг и сел, дрожа всем телом и вце-

пившись Богдану руками в плечи.— Я все тебе, как на духу...

— Не нужно пока. Будет время,— успокаивал его Богдан; вся эта сцена растрогала его до глубины души и словно сразу сорвала струп с давней раны.— Успокойся, мой голубь.

— Ах, не уходи! — простонал больной и, обессилев, почти повис на руке Богдана; тот уложил его бережно на подушку. Закрывши глаза, бледный, словно присыпанный мукою, лежал неподвижно Грабина и тяжело, со свистом дышал; только по судорожным пожатиям руки, удерживавшей Богдана, видно было, что сознание еще не покидало его.— Ну, так вот что, по крайней мере,— начал он упавшим, едва слышным голосом, после долгой паузы,— друг мой, заклинаю тебя, жив ли я буду или умру,— все равно исполни мою неизменную волю,— и он взглянул пожелтевшими глазами на Богдана.

— Всякую твою волю, богом клянусь, скорее кровью изойду, чем нарушу! — воскликнул Богдан, сжимая в своей руке уже неподвижные пальцы Грабины.

— Расстегни ворот и смотри там, где латка у пазухи,— продолжал Грабина, прерывая речь болезненными, тяжелыми вздохами.— Отпори ее и вынь бумаги: там запрятаны и законные документы о правах моей несчастной, дорогой Марыльки, там найдешь и сведения, где я припрятал и сберег еще много добра. Разыщи его; половину отдашь моей дочери, а половину на всякие послуги для моей новой родины. Я ведь из поляков... Грабовский, и много ей... ой как еще много причинил бед: и грабил, и разорял, и истязал. Так и поверни, брате мой, друже, хоть часть из награбленного ей на корысть. Укоротил господь мой век, не дал мне сподвижничеством загладить мои вины, так поверни ты, и за мою душу отслужи Украйне и богу...

Растроганный Богдан не мог произнести ни единого слова, он отвернулся и прижал к груди голову больного. Потом отпорол осторожно зашитые бумаги и, бережно завернув их в платок, спрятал во внутреннем боковом кармане жупана.

— Вот еще,— начал снова метаться и ломать руки Грабина,— отруби мне ноги, они больше не нужны, на черта их! Только страшная тяжесть, поднять не могу. Через них меня тянет к земле и грудь давит. Что это? —

открыл он вдруг широко глаза.— Небо такое желтое и зеленое, а на нем блестит пятно?..

— Успокойся, это так кажется тебе. Засни! — закрывал Богдан ему парусом свет солнца от глаз.

— Нет! Не уходи еще! — ухватился больной с отчаянною тревогой за какой-то лантух, видимо, теряя сознание.— Вот что: у меня мутится в голове, в глазах. Уж не умираю ли я... Так помни, я забыл... Найди... разыщи мою зарницу... мою страдалицу... Пойди, спаси, пригрей ее, приласкай... защити! Будь ей всем, вместо меня... Тебе ее вверяю!

Больной опрокинулся и захрипел, потерявши совсем сознание.

С ужасом вскочил Богдан, взглянул на это мертвенно-бледное лицо, лежавшее на керее безвладно, с откинутым в сторону длинным пасмом чуприны, и припал ухом к его груди: сердце еще билось, хотя слабо, но учащенно; дыханье в легких становилось покойнее. Призванный дед решил тоже, осмотревши больного, что он пока еще только глубоко заснул и что, господь ведает, может, еще перемогут силы хворобу, вот только ноги портят все дело, а про то кто знает, всяко бывает.

Над спящим мертвым сном козаком устроили еще большую тень и посадили очередную сторожу.

Прошел день. Никто не заглянул в это укромное озеро и не всполошил козаков. Только стада куликов, налетая со свистом на плесо, взмывали, наткнувшись на запорожцев, испуганно вверх и с криком исчезали за ближайшими камышами, да суетливые болотные курочки выбегали иногда по лататьям из лоз и моментально прятались, завидев непрошеных чуждых гостей. Солнце теперь спускалось за лозы кровавым шаром и зажигало багрянцем полнеба.

— На ветер, на погоду...— качал головою дед.

— Да, и на здоровый,— почесал затылок Богдан.

— Может бы, перестоять? — вставил нерешительно атаман другой чайки Сулима, который пришел навестить наказного и осведомиться о здоровье Грабины.

— Нет, не годится, товарищ,— надвинул Богдан шапку на брови,— тут самое опасное положение наше: проведают и застукают, как мышей в пастке. Тут ведь татарва кишмя кишит и рыбаки ихние вот по таким затонам шныряют. А если нам внимание обращать на

погоду, так лучше и в море не рыпаться, а сидеть с бабой за печкой. Нужно ведь перемахнуть через все Черное да встряхнуть тогобочные берега, а то и самому Цареграду нагнать холоду. Так и выходит, что нам и в бурю нужно ехать!

— Конечно,— поддержал и дед,— нужно пользоваться минутой, проскользнуть в море, а там уже байдуже! А вот если сорвется с ночи погода, так нам на руку... никакой каюк не попадется навстречу; вот и теперь их, знать, не видно кругом, иначе б сторожевые чайки нам дали знать.

— Совсем-таки так! — кивнул головою Богдан и закурил люльку.

— А как Ивану? — спросил у деда Сулима.

— Да, почитай, целый день спит, а там кто его знает,— либо выздоровеет, либо дуба даст.

Богдан отошел к корме и, севши на сложенную кольцом веревку, устремил глаза в кровавое зарево, разгоравшееся за уходившим на запад солнцем: «Что-то оно на завтра вещует, где встретит нас, при каких обстоятельствах?» — думалось ему. Смертельный недуг товарища, его завещание, его признание,— все это потрясло душу Богдана.

Кроме того, его уже давно начало тревожить долгое отсутствие Морозенка... «Уж, наверное, что-нибудь да случилось,— повторял Богдан, досадливо подергивая ус,— хлопец еще молодой, неопытный... и надо было мне послать его, да еще на такое опасное дело! Пропадет, бедняга! И все через меня! Да еще, пожалуй, и татар всполошит...» — И Богдан снова принимался упрекать себя, всматриваясь со всем усилием в темнеющую даль.

— А что? — крикнул он наконец громко, встряхнув головою, словно желая отогнать от себя докучливые думы.— Олексы еще нет?

— Нет, не видно, пане атамане,— отозвался красивый и рослый козак,— вон и Рассоха вернулся с самого Лимана, так говорит, что нигде не видно.

— Как не видно? Уже пора бы...— встревожился окончательно Богдан и направился к чардаку, где уже собралась кучка козаков с дедом и расспрашивала обо всем Рассоху.

— Морозенка-то нет,— отозвался к Богдану взвол-

нованный дед,— уж не случилось ли какого-либо несчастья с хлопцем?

— Не дай бог,— ответил встревоженно Богдан,— пловец он отличный, владеет и саблею чудесно, по-татарски говорит.

— Мало ли что? Всяко бывает,— покачал головою дед,— заблудиться-то он не мог — ровная скатерть, а и вернуться давно бы пора, да вот нету! Какое-либо лихо, наверно.

— Будем ждать здесь, надо будет послать разведчиков на челнах,— вздохнул тяжело Богдан.

— Нет, пане атамане, негоже нам стоять, сам знаешь,— возразил почтительно дед,— и место здесь опасное, да и толку мало: коли хлопец только замешкался и опоздал, так мы его по дороге встретим, а когда попал в беду, так уж мы, стоя здесь, не поможем: его, значит, либо убили, либо забрали в полон. Не брать же нам гвалтом Очакова, коли задумали другое дело!

Все кивнули одобрительно головами. Настала минута молчания.

— Ох, правда, диду! — вздохнул наконец Богдан.— Все правда, да жалко хлопца, как сына родного!

— Что ж делать, пане атамане? Все мы под богом, у всех нас одна доля: сегодня с товарыством пьешь и гуляешь, а завтра на суд перед богом. Всех нас одна мать родила — всем нам и умирать, а что Морозенка жаль, так это верно; все его любят, и хлопец моторный, и завзятый юнак. Да еще, впрочем, и тужить по нем не след: может, он и здоровый, и веселый. А вот что рушать нам пора, так пора,— самое время. Разведач сообщил, что на Лимане сколько ока — пусто, а свежий ветер загонит и всякий запоздалый каюк в спрятанку.

Богдан взглянул на небо. Закат уже отливал только золотом, переходящим в лиловые тона, а противоположная часть неба темнела глубокой лазурью. В вышине небесного купола начали робко сверкать первые звезды.

— Да, уже час,— решительно сказал Богдан,— только вот что,— обратился он к своей и соседней чайке,— кто из вас, панове лыцарство, удаль имеет сослужить мне дорогую услугу?

На это воззвание отозвалось смело несколько завзятых голосов.

— Так вот что, панове лыцари,— поклонился им,

сняв шапку, Богдан,— коли мы не встретим Морозенка по пути, то возьмете вы тот небольшой дуб и останетесь проведать про хлопца: найдете — спасете, не найдете — отправитесь к Пивторакожуху в Буджак,— все равно ведь вам, где славы добывать?

— Все единственно! — откликнулись дружно охочие.

— Так спасибо же вам, братцы! А теперь,— надел он шапку и крикнул зычным голосом на все озеро,— рулевые и гребцы, по местам! Двигаться за мною! Чтобы тихо, аничичирк!

Поднялось движение и быстролетная суета; послышались шорох и шум поднимаемых якорей. Через две-три минуты все смолкло и занемело.

Богдан стоял у руля; сняв шапку, он перекрестился широким крестом и крикнул:

— С богом!

Поднялись весла, тронулась атаманская чайка в прогалину; за нею потянулись другие; вода в узких каналах казалась почти черной, и длинные черные тени скользили тихо по ней.

Когда козаки выбрались из лабиринта лимановских плавней на открытый простор темных вод — стояла уже ночь. Между задернутым облачною сетью небом и черною блестящею гладью висела тяжелая мгла. Сквозь нее изредка, то там, то сям, блестели тусклые звезды, ветер крепчал и дул козакам слева, нагоняя лодки ближе к Очакову. Рулевой атаманской чайки должен был с усилием держать курс, указываемый Богданом,— ближе к острову, и держать его без компаса; только изумительное знание вод, да опытная рука, да какое-то чутье могли совершить это чудо в темную ночь.

Чутко прислушивался Богдан и напрягал в тьме свое зрение, надеясь еще заметить где-нибудь в волнах челнок Морозенка, но ничего не было слышно вокруг; слышался только легкий гул ветра да всплески набегавшей на чайки и шуршавшей по камышным крыльям волны; этот шум заглушал осторожные удары гибких весел. Козацкие чайки неслись без парусов, несмотря на довольно сильный боковой ветер, быстро вперед. Было уже около полуночи, и флотилия, по расчету, должна была находиться на параллели острова Васюкова; но его не было видно. Богдан приказал гребцам умерить бег и начал осторожно лавировать, чтобы убе-

диться, не сбились ли с курса? Вдруг невдалеке с подветренной стороны послышался какой-то неясный, но отличный от ветряного гула шум; доносились издали как будто бы звуки людских голосов... Богдан махнул шапкой; сердце у него забилось. «Быть может, Олекса?» — пронеслось в его голове; весла замерли. Первая чайка, остановивши свой бег, начала подаваться от ветра направо; другие, нагнав атаманскую, также остановились и ждали распоряжений.

Не прошло и десяти минут, как неясные звуки стали ясною татарскою речью, и из тьмы, саженях в десяти, не больше, вырезался силуэт небольшого татарского каюка на шесть гребок; выждав немного, не идут ли другие каюки сзади, Богдан махнул рукою, и три передние чайки понеслись вместе с атаманскою в погоню за каюком.

— Живьем их бери! «Языка» нужно! — крикнул Богдан; но татары, завидев козаков, с криком ужаса бултыхнулись прямо в воду и исчезли в волнах.

— Лови хоть одного! — крикнул Богдан, посматривая кругом на черные, с белесоватыми верхушками волны.

— Пошли, верно, черти ко дну! — послышался с другой чайки голос Сулимы.— Не видно ни одного косоглазого аспида... А ну, товарыство, разбегитесь вокруг, не вынырнет ли где черномазый?

Ладьи козацкие зашныряли по всем направлениям, но все было напрасно — татары исчезли бесследно.

Происшествие это произвело на всех крайне неприятное впечатление. Теперь уже не могло быть сомнения в том, что Олекса был пойман и что татары разослали всюду своих разведчиков. Все столпились молча вокруг Богдана, а Богдан стоял на корме, устремив глаза в непроглядную ночную тьму.

В душе его происходила короткая, но тяжелая борьба. Что делать? Неужели же так и бросить на погибель хлопца? Как он привязан к нему! Ведь это он вызволил его из Кодака... да и хороший хлопец... что говорить... все равно что сын родной... Но что же делать? Невозможно же из-за него одного подвергать всех риску и разрушать такое важное для родины дело, единственно могущее принести ей спасенье... Оставить всех? Броситься одному? Никто не пустит, а если бы и пустили,

то без него все погибнет. Что же делать? «Эх, господи! На все твоя воля!» — махнул рукою Богдан и произнес громко:

— Ну, теперь, друзи, нужно торопиться, бо может какая шельма доплывет до острова и даст о нас знать. Так гайда вперед! На весла наляжь! Дружно! С богом!

— С богом! — повторили все окружающие, понявши тяжелую борьбу, происшедшую в душе атамана.— И пусть господь милосердный помилует нас всех! — И чайки, скучившись, чтобы не отбиться в темноте, понеслись вместе с атаманской вперед. На небе давно уже попрятались за тучами звезды, впереди, на дальнем горизонте, сверкали зарницы; ветер крепчал и поворачивал отчасти в тыл козакам. Чайки подняли паруса и понеслись вдвое быстрей. Еще до рассвета успели они долететь до косы. Здесь, за десяток сажней, атаманская чайка, сложив паруса, осторожно поплыла вдоль косы и вскоре при проблеске мутного утра заметила группу деревьев, а за ней поперечный проток, исследованный Олексой. Ветер нагнал в проток еще больше воды, так что теперь все чайки через час, к рассвету дня, беспрепятственно качались уже на темных широких валах Черного моря.

Поздравив товарищей со счастливым переходом, Богдан велел снова поднять паруса, чтобы скорее уйти от опасного берега в открытое море.

Больной почти до полуночи проспал в бесчувственном состоянии, а потом начал снова стонать, и метаться, и просить воды. Даже раза два приходил в себя и сознательно спрашивал, где они теперь плывут. А потом снова погружался в забытье или в дрему. Утром, когда уже легкие чайки начали то взлетать на зыбкие водяные горы, с дробящимися в пену верхушками, то стремительно падать в черно-зеленые бездны, больной, качаясь во все стороны, не мог уже сомкнуть пожелтевших глаз, а, широко открыв их, с ужасом озирался кругом и шептал только: «Страшно!» Иногда он хватался порывисто за грудь, конвульсивно ломал себе руки или вздрагивал, когда его обдавало брызгами налетевшей сбоку волны.

Между тем к раннему козачьему обеду разыгралась настоящая буря. Налетела туча и понеслась низко над морем; ветер завыл и закружил дождевые вихри; засто-

нали волны и со страшными гигантскими размахами начали подымать все выше и выше свои седые вершины. Буря стала и эти вершины срывать, а они, загибаясь, каскадом летели в пучины. Как скорлупа, взлетала чайка на белые горы и падала с них по стремнинам в провалы. Давно уже были убраны паруса на козачьих ладьях; рулевые напрягали все усилия, чтобы лавировать с ужасною волной; гребцы выбивались из сил. Но держаться уже вместе было невозможно чайкам, и они разлетелись, разметались по разъяренному морю.

Богдан теперь правил сам рулем; могучая грудь его вздымалась высоко, глаза горели отвагой, лицо дышало благородным огнем. От времени до времени он подбадривал козаков и могучими ударами весла направлял дрожавшую чайку. Буря давно уже сорвала с него шапку и трепала в клочья жупан, а он стоял неподвижно и твердо и, казалось, вызывал бурю померяться с силой козачьей.

У ног Богдана сидел дед и мрачно поглядывал на море.

— Ишь, рассатанело как! — ворчал он.— Если часа через два-три не перебесится, то всех пустит ко дну!

Но буря не только не думала утихать, а свирепела все больше и больше. Уже начало заливать чайку с боков, и козаки не успевали отчерпывать воду.

Тогда дед поднялся, подошел к мачте и, ухватившись за нее, воззвал ко всем громким голосом:

— Товарищи-братья, верно, есть среди нас тяжкий грешник, и бог через него карает нас всех! Покаемся! Пусть виноватый искупит свой грех и спасет братьев!

Уже и до этого метался Грабина; горячка снова подняла угасавшие было в нем силы и воспалила бредом и отчаяньем мозг.

Услышав призыв деда, обезумевший больной поднялся с горячечною силой одними руками на нос чайки. Бледное землисто-мертвенное лицо, синие губы, широко раскрытые очи и трепавшаяся по ветру чуприна произвели на всех ошеломляющее впечатление. Хриплым, но слышным и в бурю голосом заговорил, застонал этот вдруг восставший мертвец:

— Простите меня, братья, я грешник великий, проклятый небом. Я грабил, терзал людей, губил семейства, позорил честных дочерей, убил мужа сестры моей... Это

кара за тот страшный грех. Простите, молитесь за мою грешную душу!

И прежде чем кто-либо очнулся, он, поднявшись на локтях, перевалился за борт и исчез под обрушившеюся массой зыбкой стремнины.

— Спасайте! — крикнул было ошеломленный Богдан; но через мгновение чайка взлетела уже на другую бурлящую гору, и над ушедшим провалом высились новые пенистые гребни.

— Оставь, пане атамане,— отозвался сумрачно дед,— не найдешь его: море не возвращает своей добычи. Да и без того ему было уже не вставать: до вечера, до ночи, может быть, еще дотянул бы, не дальше, а так хоть укоротил себе муки.

— Да, укоротил,— произнес взволнованным голосом Богдан,— только он в это время не о своих муках заботился, а о своих братьях-товарищах: для спасения их послал он так спешно к богу на суд свою душу. Помолимся ж за нее, друзи!

— Прости ему, боже! — поднял дед руки к мрачному небу, и все перекрестились, сняв набожно шапки и промолвив тихо:

— Царство небесное, вечный покой!

Эта короткая молитва находившихся в пасти смерти людей, их застывшие в суровом мужестве лица, развеваемые бурей чуприны представляли на этой мятущейся во все стороны скорлупе и картину ничтожества человеческих сил, и подъем незыблемого величия духа.

— Гей, батьку, пане атамане,— крикнул через некоторое время молодой козак Рассоха,— дай помощи! Заливает чайку вода!

— Через весло, гребцы, вниз! — крикнул Богдан.— Черпайте шапками, пригоршнями, чем попало! Только бодрее, хлопцы, бодрее! Буря уже поддается!

Половина гребцов бросилась в трюм и рьяно принялась отливать прибывавшую воду; воодушевились энергией и упавшие было духом товарищи: слова атамана подбодрили всех. А ураган хотя и не утихал еще, но зато и не увеличивал своего бешенства; несущиеся тучи становились прозрачнее и светлее; оторванные их крылья не касались уже разбившихся в пену вершин; ветер только стонал, но среди глухого, грозного шума не слышалось уже зловещего визга и свиста.

— Крепитесь, детки! — возгласил дед.— Уже перебесилось море! Помирилось на покойнике! Дружнее только, дружней!

Со всех сторон чайки стала торопливо выхлестываться вода, дробясь о спины и головы гребцов; впрочем, и без того их хлестали срывавшиеся с боковых волн струи, и, промокшие до нитки, они не обращали даже внимания, окачивает ли их снизу или сверху водой.

Богдан глянул кругом и заметил, что море как будто и потемнело, и прояснилось; сначала только вблизи чернели дрожащие бездны и высились темные волны, а вдали дробящиеся брызгами и пеной гребни застилали весь горизонт непроницаемою, белесоватою мглой, словно вихрилась снежная вьюга; а теперь эта мгла делалась как бы прозрачнее, сквозь нее виднелись уже темные силуэты мечущихся друг на друга валов. Но как Богдан ни напрягал своего зрения, а не замечал на вершинах их ни единой чайки.

— Что-то, диду, не вижу я,— обратился он тревожно к Нетудыхате,— ни одной нашей чайки.

— Черное море пораскидает,— мотнул головою старик,— только потопить вряд ли потопит: вот эти крылья не дадут опрокинуться лодке... разве, рассатанев, пообрывает их.

А камышины, прочно прикрепленные к бокам, спасали, видимо, от аварии чайку, они, несмотря на самые отчаянные взлетания, и падения, и скачки, держали постоянно в равновесии лодку и не допускали ее ни накрениться опасно, ни опрокинуться.

— Э, да уже проходит, проходит,— указал дед на дальний горизонт, приставляя одну руку к глазам,— вон синеет на желтой бахроме, словно волошка в жите, синее небо. Не журитесь, хлопцы,— крикнул он весело ко всем,— буре конец! Помните мое слово, не пройдет и часу, как засинеет небо и заблещет на нем любое солнышко!

— Дай-то боже! — отозвались гребцы, взмахивая энергичней веслами.

— Хоть бы обсушило, а то ведь с нас аж хлещет,— заметили другие.

— Зато чистые теперь, выкупались важно! — пошутил и атаман, налегая на руль.

— Правда! — откликнулись все дружным хохотом, и

сумрачное выражение лиц сразу исчезло, глаза оживились огнем, послышался сдержанный говор.

Дед был прав: синие точки на краю горизонта вытягивались в большие светлые пятна; наконец и над головами козачьими распахнулась темная, дымящаяся завеса, а услужливый ветер стал рвать ее больше и больше, унося вдаль отрепья... А вот проглянуло и солнце, осветило взбаламученное грозными волнами море, и оно заблистало темными сапфирами, засверкало в гребнях изумрудами.

— Как думаете, диду,— обратился Богдан, вытирая рукавом сорочки выступивший на лбу крупными каплями пот,— где мы теперь? Куда нас, по-вашему, занесло?

— Да, сдается, гнало нас больше к Крыму,— ответил, подумавши, дед,— ведь ветер сначала бил нам в затылок, значит, гнал нас прямо на полдень, а потом повернул как бы в правую щеку... стало быть, с заходу начал дуть, ну, выходит, и повернул на Крым.

— А как думаете, далеко он, этот Крым?

— Да кто его знает? — почесал дед затылок.— Теперь, почитай, перевалило уже за второй полудень... Если повернуть левее, то скоро, думаю, и берег можно увидеть.

— А где мы теперь?

Дед развел руками.

— До Кафы далеко или нет?

— До Кафы? — изумился дед.— Что ты, бог с тобою, сынку,— куда махнул! Да Кафа ж на другом берегу Крыма! Нужно обогнуть его поза Херсонес [99], тогда только можно попасть в Кафу... до нее ходу дня два-три... если добре гнать... А тебе, сынку, на что Кафа?

— Да нельзя же,— нерешительно начал Богдан,— двигаться через море, не собравши всего товарыства, всех чаек, не оставлять же здесь кого на погибель? А ведь их будет прибивать к берегу... значит, там и собираться,— это раз; а потом, чтобы даром не терять времени, навестить бы Кафу, эту нашу невольничью тюрьму, вызволить наших братьев да и двинуться потом вместе на басурман.

— Не выпадает, пане атамане,— покачал задумчиво головой Нетудыхата,— поверь мне, сыну, на слове...

— Да что вы, диду, говорите...— смутился Богдан.— Я ведь так себе только думаю, а не то, что намерен...

— Так, так, ты ведь, сынку, и сам был другой думки,— прояснел дед,— только вот, по-моему, коли поджидать товарыство, так на этой стороне... Да чайки скоро и сбегутся... только перестанет бурхать, так и начнут вырынать из моря... А собравшись, нужно, не гаючи часу, лететь к берегам Анатолии, чтоб врасплох наскочить... А к Кафе и не рука теперь, и опасно: куда-куда, а в Кафу-то уж наверно дали знать, если хоть одна из тех бритых собак осталась в живых.

— Так, верно! — должен был согласиться Богдан, хотя желание исполнить предсмертную просьбу друга и влекло его в Кафу.

Между тем небо совершенно очистилось и светилось уже чистой лазурью; только на восточном краю горизонта темнели еще клочья разорванной, исчезающей тучи, а запад был весь залит лучами яркого весеннего солнца; они уже хорошо грели в этих широтах, что особенно приятно почувствовали прозябшие козаки.

— Эх, благодать! — отозвался восторженно Рассоха, скидывая свою сорочку.— Тело-то так живее протряхнет.

— А что, братцы,— заметил другой,— славную Рассоха придумал штуку,— скидывай все сорочки с плеч!

— Это правильно, детки,— улыбнулся и дед,— без мокрого скорее согреетесь, а сорочки выкрутите да повесьте на реях; на ветре да на солнце живо высохнут!

Все засуетились, и через две-три минуты на лавках и гребнях сидели уже обнаженные по пояс запорожцы, блистая атлетическими формами своих бронзовых тел. Богдан позволил еще, в подкрепление чрезвычайных трудов, отпустить всем по кухлыку оковитой, и, отогретые солнцем да водкой, гребцы, полные радостного чувства и оживленной удали, принялись вновь за работу с необычайной энергией.

Ветер заметно стихал, и хотя не унявшаяся волна еще грозно ходила по морю, но чайка уже взлетала грациозно, без скачков и метаний, на сверкающие гребни и плавно спускалась в сапфирные глыбы. Богдан, вполне убежденный, что опасность уже миновала, передал рулевому весло и отправился в свою каюту переменить белье и одежу.

Здесь, при виде опустевшего ложа, на котором еще недавно лежал его бездольный товарищ, Богдану ущемила сердце тоска: симпатичный образ безвременно погибшего друга стоял перед ним живым и молил спасти, приютить его дочь... и этот загубленный ангел, этот сорванный цветок становился ему особенно дорог... Но разве он смеет теперь, вопреки интересам страны, броситься разыскивать ее? Ведь вот оставил он в руках татарвы своего дорогого приемного сына, быть может, на верную погибель. А что было делать? Оставил бы и родного, если бы это случилось так. «Нельзя жертвовать всеми для одного»,— повторил Богдан; но, несмотря на всю очевидную справедливость его поступка, сердце его ныло незаглушаемой болью. Одно только давало еще ему некоторое утешение,— это мысль о том, что Олекса прекрасно говорит по-татарски и лицом похож на татарчука. Быть может, помилуют... в плену оставят?.. Только вряд ли! Вернее то, что его или повесили, или уж пустили на дно...

Богдан рванул себя за чуприну, и чтобы избавиться от разъедающих сердце дум, вышел опрометью на палубу.

— А что, не видать еще чаек? — спросил он попавшегося ему навстречу Рассоху.

— Нет, батьку,— ответил тот,— хотя в одном месте что-то как будто мелькает.

Богдан велел умерить бег чайки,— благо уже погода не мешала этому,— и выпалить из пушки. Вздрогнула чайка, грянул выстрел, и через несколько минут почудился среди шумящего моря отзвук такого же выстрела: или это была шутка игривого эха, или другая чайка ответила на атаманский призыв.

— Будем поджидать,— сказал Богдан,— вот-таки бежит одна наша чайка. Авось милосердный бог повернет и остальные. А мы, братцы, подкрепим тем часом, чем бог послал, свои силы; нужно подживиться, выголодались, почитай, добре!

— Да так-таки, батьку атамане,— откликнулись весело некоторые,— что и весла б погрызли!

— Ну, так тащи, Рассохо, из коморы харчи,— улыбнулся смутно Богдан и отошел к рулю на чардак.

Чайка подвигалась вперед плавными широкими скачками. С высоты чардака Богдану было уже ясно вид-

но бегущую к ним другую чайку, а вдали он заметил и третью. Богдан приказал повторить выстрелы через каждые полчаса, а сам зорко следил, чтоб они не привлекли еще и какого вражьего судна.

Пообедали или, вернее, пополудновали запорожцы и закурили люльки. Начались по кружкам тихие разговоры; товарищи делились впечатлениями, рассказывались случаи из давних походов, но господствующей темой бесед была гибель Морозенка и самопожертвование Грабины; с глубокою набожностью вспомнил каждый что-либо доброе о нем и просил бога зачесть ему то на том свете, с трогательным чувством выражал всякий скорбь о погибшем товарище, но о последней исповеди его, о сознанных всенародно грехах никто не проронил и слова, словно этим добровольным забвением товарищество прощало ему все за его добрую душу, за щырое сердце.

И общий приговор решил, что такого доброго товарища наживешь не скоро.

Уже солнце спускалось к закату, уже дальняя зыбь сверкала яхонтами и аметистами, а чаек собралось штук двадцать, не больше; составили военный совет и решили пролавировать в этих местах целую ночь, давая о себе знать время от времени выстрелами, а буде и к утру не соберутся чайки, то, значит, их занесло куда безвести, и они взяли сами другой рейс, а то, может быть, многие и погибли: буря ведь была необыкновенно жестока, могла порвать всю оснастку чаек и пустить их ко дну; тогда утром и нужно будет обсудить, что предпринять? Очевидно, нападать такою ничтожною кучкой на азиатские берега было бы безумно, а потому у Богдана в душе и шевельнулась было вновь надежда относительно Кафы. Теперь же на ночь он направил свою атаманскую чайку не к берегам Крыма, а в открытое море.

Не успело еще солнце погрузиться в море, как Богдан заметил на конце горизонта не чайку, а настоящее морское судно, по всей вероятности, турецкую галеру. Богдан указал на нее рукой и приказал ударить во все весла; чайки понеслись наперерез судну. Богдан знал, что к галере с подсолнечной стороны можно приблизиться чайками совсем незаметно на довольно близкое расстояние,— запорожские ладьи сидели так низко в

воде, что их можно было заметить только вблизи, а потому Богдан и ускорял бег без всякого риску, желая до полных сумерек опередить неприятельское судно, разглядеть его, сообразить силу защиты и приготовиться к нападению в полной тьме, в самые обляги, т. е. во время первого сна, около полуночи.

Парусное судно лавировало против ветра и туго подвигалось вперед, а чайки на дружных веслах неслись стрелою и вскоре, еще далеко до полных сумерек, были впереди судна; теперь оно перед их глазами качалось беспечно на волнах в расстоянии полуверсты, не больше; по типу это была хорошо вооруженная галера средних размеров; она направлялась, по-видимому, от Крыма к Босфору.

Созвав чайки вокруг, Богдан дал следующий приказ: держаться полукругом впереди галеры в одинаковом расстоянии мертво,— чтобы ни шороха, ни звука, ни одной искры, а не то что люльки. Осмотреть хорошо оружие и порох: если отсырел и подмочился, набить пороховницы и мушкеты сухим, оправить кремни и пановки; приладить крючья и лестницы; на чайках оставлять лишь рулевого и десять гребцов,— остальные все в бой. Нападение по первому крику петуха; окружив галеру со всех сторон, дать залп из мушкетов и сразу цепляться баграми да крючьями и лезть на галеру; чтобы у каждого были набитые пистоли, в руках сабли, в зубах запасные ножи.

— Об отваге и упоминать нечего,— закончил Богдан.— У каждого из вас ее вволю, а для успеха дела нужна только осторога для нападения и дружный натиск. Галера — очевидно купеческое судно, а потому нас ждет там богатая и пышная добыча. Ну, с богом, мои друзья, хорошей удачи! — поклонился всем Богдан.

— Спасибо, атамане! — тихо загудело с чаек, и они разъехались широкою дугой под пологом упавшей уже на море ночи. Вскоре ничего не стало видно кругом, кроме загоравшихся на небе звезд да тусклых огоньков на ворожьей галере.

Тишина и темень; ветер к ночи совершенно упал, только по временам слышатся тихие вздохи еще не улегшегося моря; усталые волны уже не мчатся в погоню одна за другой, а лениво подымаются, растут и падают тут же на месте отяжелевшей зыбью; на тем-

ных, вздымающихся массах мелькают и дрожат вблизи бледные искорки отраженных звезд; все однообразно и мрачно, время ползет незаметно.

Стоит на своей чайке Сулима, с тревожным нетерпением смотрит по сторонам, не двигаются ли соседние чайки? Но соседних чаек не видно по сторонам, а только фонари на галере стали яснее и больше: или это от темноты, или галера надвигается... Это бы и на руку, меньше работы для гребцов, да дидько его знает, когда нападать? У него, как на зло, петух на чайке во время бури пропал,— вот ты и угадай!

— И как-таки,— обращается с укоризной Сулима к своему кашевару,— не доглядеть было пивня?

— Да что же с ним, пане атамане, сделаешь, коли взял да и сдох?.. Мы его привязали за ногу, а волна как начала хлестать его да головою о перекладину бить, ну и вытянулся...

— Эхма, а теперь без пивня хоть плачь,— чесал затылок Сулима.— Ты прислушивайся, може, услышишь крик пивня с соседней какой-нибудь чайки.

— Да я прислушиваюсь.

— Стой, тихо! — схватил его за руку Сулима и занемел.

В тишине между всплесками моря слышался не то отдаленный хриплый крик петуха, не то носовой храп с присвистом.

— Пивень? — спросил дрожавший от волнения и подступившего азарта Сулима.

— Сдается, он,— ответил таинственно кашевар.— О, слышь, атамане, как ловко выводит кукареку!

Но Сулима уже не мог ничего ни слышать, ни соображать, иначе он бы легко узнал в этом пивне сладкий храп козака Запрыдуха; сердце его забилось дикой отвагой, глаза налились кровью, и он крикнул не своим голосом:

— За весла! На галеру, гайда!

На соседней чайке крик его поднял такую же тревогу, и она понеслась за Сулимою, другие же чайки, ничего не подозревая, ждали петухов.

Стоя на носу своего байдака, Богдан также услыхал какие-то возгласы и неясный шум весел; но, будучи глубоко уверен, что никто не нарушит его приказа, подумал, что это просто почудилось ему; но торопливо

мелькнувший один-другой огонек на палубе вражьей галеры заставил и его встрепенуться. Вдруг на ней вспыхнули молнии и разразился грохот десятка орудий.

Само собою, что ядра прогули в темноте бесцельно над головами, но последовавший за ними залп из мушкетов у самой галеры показал, что атаку уже кто-то начал, а это заставило Богдана крикнуть зычно:

— За мною вперед!

Сулима же, очутившись с другой чайкой у самого борта и недоумевая, почему опоздали другие, не решился сам, с горстью удальцов лезть на абордаж, а поджидал товарищей; а чтобы обмануть и устрашить проснувшегося врага, начал крутить веремию, т. е. давать залп, убегать лодкой, появляться неожиданно с другой стороны, осыпать палубу пулями, налетать с третьей и т. д. Эти маневры он проделывал так искусно с другим атаманом, что галера, увидав в этих двух чайках целую флотилию, начала отступать. Когда же на помощь подоспели еще три чайки, то Сулима рискнул уже смело атаковать с носу судно. Поднялись багры, вцепились крючьями в ребра галеры, взвились на борты веревочные лестницы и полезли по ним, под прикрытием непрерывного огня из мушкетов, отчаянные головорезы. Но непрошеных гостей галера встретила с остервенением: первые смельчаки полетели все трупами в море; Сулима, раненый, повис безвладно на руках у своего товарища; разъяренные за своего куренного атамана козаки бросились с отчаянным мужеством на галеру, но встретили на палубе жестокий отпор. Отчаянье и ужас придавали отвагу скучившемуся на носу неприятелю, превышавшему численностью горсть нападающих и господствующему своим положением.

Много уже полегло удальцов, много полетело козачьих душ к темному небу; наконец между атакующими кто-то крикнул: «Огня! Жарь их!» — и запылавшие факелы вонзились в деревянные осмоленные бока галеры. Между тем к корме подлетела атаманская чайка; и Богдан без выстрелов уцепился железными когтями за галеру; забросив веревочную лестницу, он первый влез на палубу; за ним вслед вскочил Рассоха, а потом и другие. Татары, смятенные поднявшимся черным дымом, шарахнулись было назад и увидели в тылу у себя на палубе черных шайтанов; с развевающимися чупри-

нами, с кровавыми, широко раскрытыми глазами, с оскаленными зубами, с саблями и бердышами в руках; с диким визгом и хохотом напоминали они собой действительно выходцев из самого пекла; они стремительно ринулись на ошеломленных врагов; последние, не зная, от кого защищаться, стеснились посреди палубы и давили друг друга отступая. Раздались стоны, проклятия, полилась кровь... Оставленные без защиты борты были атакованы всеми силами чаек. И вскоре вся палуба наполнилась запорожцами; они налетели со всех сторон на врагов и с криком: «Бей невиру!» — умерщвляли беспощадно татар и турок; последние и не защищались уже, а, побросавши оружие, молили лишь о пощаде; но ожесточенные запорожцы, особенно сулимовцы, не внимали ничему и истребляли всех поголовно.

А в черных клубах подымавшегося дыма уже начали взлетать змейками блестящие язычки; они обвивались вокруг рей, скользили по парусам и сливались в пряди яркого пламени, которое не замедлило осветить адскую картину людского насилия и жестокости.

Освещенные кровавым отблеском разгоревшегося пожара, окровавленные, закоптелые в пороховом дыму, словно адские тени, носились запорожцы по палубе, настигая и ища своих жертв, а жертвы метались безнадежно, бросаясь с отчаяния в море, но и там настигала их неумолимая смерть. Когда палуба была очищена от неприятеля, запорожцы бросились за добычей в каюты и трюм. Богдан несколько раз пытался остановить эту резню, но за сатанинским гвалтом не было слышно и его зычного голоса.

— Не всех бейте! Оставьте «языков»! — кричал он, побагровев от натуги, но никто не слышал его приказа. Наконец Богдан поднял высоко булаву и рявкнул страшно: — Стой! Згода!

На этот раз атаманский крик был услышан, и все остановились, окаменели.

— Довольно убийств,— возвысил еще голос атаман,— обыскать галеру и доставить мне живых «языков», а может, тут спрятаны где и невольники-братья? Торопитесь: огонь скоро выгонит нас!

— Слухаем, батьку,— отозвались козаки и гурьбою бросились в каюты и трюм.

Вскоре палуба у кормы начала наполняться сносимою козаками добычей; появились тюки с дорогою габою, одамашком и другими материями, выкатились целые бочки дорогого вина, грудою легло оружие, в одну кучу свалили и золотые кубки, серебряную посуду и ларцы, наполненные червонцами. Все под наблюдением деда переносилось отсюда на атаманскую и на другие сподручные чайки, чтобы потом разделить по-товарищески добычу. Торопливее и торопливее бегали по всем закоулкам козаки, отыскивая новые помещения, но живого товара не находили нигде, только и вытащены были из-под опрокинутой бочки два молодых татарчонка; но они не могли сообщить от страха, кто они и куда их везли. Перебранка, топот и стук не умолкали кругом и покрывались лишь шумом гоготавшего пламени, охватившего всю переднюю часть галеры и взлетавшего огненными крыльями с пылавших рей и парусов к кровавому небу.

— Гей, хлопцы, живее,— кричал дед в трюме.— Того и гляди, до пороха доскочит огонь!

— Назад, на чайки! — крикнул повелительно Богдан, стукнув раздражительно булавою.

Многие со скрытою досадой начали вылезать на палубу и, ужаснувшись картины пожара, спешили на свои чайки.

Вдруг где-то под палубой раздался женский крик; он звонко пронзил возрастающий гул огня и впился Богдану в самое сердце... Что-то словно знакомое, родное почуялось ему в звуке этого голоса.

— Кто там? Остановитесь! — бросился он было на помощь, но в это время на палубе появился запорожец с зверским выражением лица; на руках у него билась какая-то молодая красавица турчанка.

— Вот так штучка! — рычал осатанелый козак.— Потешимся, братцы!

Яркое зарево бушующего огня эффектно освещало побледневшее от ужаса личико, полное чарующей юной красоты, и наклоненное над ним, разъяренное обличье зверя.

Богдан взглянул и вскрикнул невольно: в этом прелестном личике он узнал неземное виденье, явившееся ему когда-то во сне в занесенной снегом степи и оставившее неизгладимый след в его сердце. Кроме сего и

описание Грабиной своей дочери почему-то блеснуло перед ним молнией в эту минуту. Золотистые волосы девушки спускались волнами с рук козака до самой земли, синие глаза глядели с каким-то безумным ужасом; все ее стройное, гибкое тело билось и извивалось на его руках.

И жалость к невинному существу, и восторг перед необычайной красотой девушки охватили сразу сердце Богдана. «Спасти, во что бы то ни стало», решил он в одно мгновенье и бросился к Рассохе.

— Ни с места! — крикнул он, грозно подымая булаву.— Ты нарушил главнейший запорожский закон,— за женщину и в мирное время полагается в Сечи смертная казнь, а кольми паче в походе.

— Ну, нет, пане атамане,— возразил дерзко нетвердым голосом Рассоха,— только в самой Сечи не вольно нам возиться с бабьем, а за межой... никто мне не указчик! — и он нагнулся поднять девушку.

— Только порушься! — навел ему Богдан в голову пистолет.

— Что ж это, панове товарыство? — отшатнулся Рассоха и повел вокруг мутными глазами.— Не вольно козаку со своей добычей потешиться? — покачнулся он.— Какой-нибудь... Бог знает кто... и вяжет волю козачью. Да коли так, коли не мне, так и никому! В огонь ее, эту турчанку-поганку!

Богдан спустил курок. Порох на пановке вспыхнул, но подмоченный заряд не выпалил. Бросив в сторону пистолет, Богдан схватился было за другой, а Рассоха обнажил саблю, но дед заслонил собою Богдана и крикнул громко:

— Вяжите, братцы, Рассоху; он пьян и поднял на батька атамана руку!

Толпа бросилась, и, после недолгого сопротивления, Рассоха был повален и связан.

— Отнести его на Лопухову чайку,— сказал, уже овладев собою, Богдан,— так связанным и доставить в Сечь на раду.

— Не такое дело, пане атамане, чтобы вражьего сына до самой Сечи харчевать, не такое, братцы товарищи, не такое! — отозвался дед.— Слыхано ли, братья, чтобы честный козак, не то в походе, а в самой битве мог нализаться так, как свинья, набраться смердючей

горилки до того, что на батька атамана осмелился руку поднять? Да было ли когда, панове товарыство, такое падло меж нами?! Да кто захочет быть вместе с таким иудою?

— Никто! Никто! — заревели кругом козаки.— Погибель ему!

— Смерть! — поднял дед руку.— Он уже и на Сечи был наказан за баб и за пьянство; нет другого приговора, как смерть!

— В море его! — подхватили голоса в задних рядах, и, прежде чем Богдан успел запротестовать, десятки рук подняли обезумевшего Рассоху и выбросили в море — только брызги разлетелись кругом огненными каплями.

— Ах братцы! — вскрикнул, поднявши руку, Богдан.

— Стоит ли, сынку, о таком жалеть? — ответил за других дед.— Наша сила только стоит и держится на нашем законе, а коли мы будем его под ноги топтать, то, значит, пропадать товарыству святому. Собаке собачья и смерть!

— Правда, диду, правда! — загудели вокруг козаки.

— Вот только в придачу кинуть бы ему и эту туркеню! — предложил кто-то в задних рядах.

— Кинуть, кинуть! — загалдели другие.

Богдан побледнел, как полотно, и ринулся к несчастной девушке, что лежала без чувств на полу.

— Стойте, братцы! — поднял он булаву.— Пальцем не троньте! Раз, если она жива,— нам нужен «язык»; ведь вы постарались всех вылущить, и теперь нам неизвестно, от кого и куда уходить; а другое, разве вы не видите, что это и не туркеня, и не татарка, а пленница, и, быть может, даже нашей, грецкой, веры? Быть может, даже дочка погибшего ради нас товарища нашего Грабины.

— Справедливо, сынку,— заметил дед,— за что убивать невинное дитя?

Козаки почесали затылки и молча поспешили на свои чайки, так как бушевавший огонь с каждою минутой захватывал судно и не давал уже возможности оставаться на нем.

Богдан приказал козакам снять бережно панну и поместить ее в своей каюте, а деда попросил, чтоб он помог привести ее в себя, и сам уже последним слез в чайку.

— Гей, отчаливать от галеры подальше! — крикнул он, и, освещенные кровавым заревом, чайки, словно сказочные жар-птицы, рассыпались вереницей по морю.

XXII

Попросивши деда отправиться к спасенной панянке, он остался наверху, на палубе. Непонятное сознание, что такую красавицу,— именно ее,— он когда-то видел во сне, поразило его неприятно, возбудив глубоко внутри какое-то суеверное чувство. Богдан, желая заглушить этот зуд, начал мысленно насмехаться над своей бабской химерой: разве могли черты какого-то туманного видения так врезаться в память,— донимал он себя,— чтоб почти через год можно было узнать в них живое существо? «Ведь это марево только, мечта... Может быть, видел я где-либо панночку, либо ангела на картине, понравилось мне личико и потом приснилось, а я уже и пошел... Эт, сон — мара!» — махнул он рукой, словно желая отогнать от себя эту нелепую мысль; но она неотвязно кружилась в его голове и шептала в уши: «Это она, она — твоя доля. Недаром тебе был послан тот вещий сон,— это предсказание!»

Богдану стало жутко; он рассердился на себя и выругался вслух:

— Черт знает, что в голову лезет... нисенитныця! А впрочем, ну их, этих всех красавиц, к нечистому батьку! — И, нахлобучивши с этими словами на глаза шапку, он стал любоваться чудным зрелищем пожара на море.

Картина была действительно величественна и ужасна. Вся галера представляла теперь гигантский костер, охваченный пламенем; огненные языки, словно чудовищные змеи, вились и взлетали высоко в небо; полог черного дыма, освещенный снизу огнем, висел над ними клубящимся, адским, багровым туманом; целые пряди молний прорывали его по временам, точно ракеты, и рассыпались алмазными звездами; море пылало вокруг кровавым заревом, переходящим вдали в сверкающую рябь; чайки казались красными платками, разбросанными по волнам, а само небо и море, вне освещения, чернели зловещею тьмой.

Богдан поднял флаг и дал знак собраться чайкам.

Когда они стали вокруг, атаман отдал им следующие приказания: немедленно поднять паруса и гнать чайки во все весла подальше от этого костра, ибо он, наверное, привлечет сюда мстителей, а держать путь лучше к Дунаю,— безопаснее, да и ветер дует попутный.

— Да, как будто от Крыма дует,— подтвердил один из атаманов, Верныгора.

— Ну, а если наскочит какой сатана на наш след,— продолжал Богдан,— то сбить его с толку, ударить врассыпную, да только, чтоб не заблудиться самим, держать тогда всем путь по звездам.

— Гаразд, гаразд, батьку! — зашумели с чаек.

— А много ли наших завзятцев легло? — спросил наказной.

— На нашей чайке ни одного,— отозвался дед,— все, слава богу, целы.

— На верныгорской шесть человек убито!

— А на нашей душ девять!

— А на нашей целых двадцать! — крикнули с задних чаек.

— Эх, жалко! — вздохнул Богдан.— Прийми, господи, их души, чтобы и нас добрым словом помянули!

Все сняли набожно шапки.

— Раненых есть довольно,— отозвались с дальней чайки,— а атаман Сулима смертельный лежит.

— Сулима, лыцарь славетный?! Скорее отправляйтесь туда, диду,— вскрикнул Богдан,— дайте помощь, на бога!

— И у нас есть раненые, и у нас, и у нас! — раздались голоса с разных сторон.

— Панове товарыство,— ответил Богдан,— сейчас к вам едет дид-знахарь с ликами и помощниками, слушайтесь его рады; смотрите же, не отставать, а держаться купы. Ну, теперь с богом, гайда!

— Слава батьку атаману! — загудело со всех чаек в ответ.

Атаманская чайка вырезалась вперед; вдруг страшный ослепительный блеск разорвал пополам все небо. Взлетели к звездам потоки огня, донесся потрясающий грохот, и через мгновенье все покрылось непроницаемым мраком...

— Вот и гаразд,— сказал дед,— маяк погас, а в темноте черта лысого выследишь!

Улеглось перекатное эхо, и все стихло кругом; только равномерные удары весел да всплески непослушных волн слышатся в наступившей темноте. Небо снова затянулось каким-то мрачным покровом: ни одной звезды, а на море — ни искры. Стоит Богдан на носу чайки и смотрит в мрачное небо; и снова в душе его поднимается неотходное ощущение, что в этой панночке и в виденном им сне есть какая-то таинственная, фатальная связь...

— А что панночка, Рябошапко? — спросил он небрежно одного молодого козака, посланного им к Марыльке вместе с дедом, заметив его невдалеке.— Привел ли ее в чувство дид?

— Ожила,— что ей? — ответил тот оживленно.— Сидит, забилась в угол и дрожит, как в пропаснице... зубами стучит...

— А дид же что?

— Дид ничего... прыскал на нее водой, от переполоху отшептывал... успокаивал ее...

— И панночка понимала его? Как же он с ней?

— Да он и по-нашему и по-татарскому закидал... а панночка, бедная, смотрит большими глазами, сложила вот этак ручонки... и голоса не отведет; только раз насилу словно всхлипнуло у нее: «На пана Езуса, на матку найсвентшу!»

— Так она, значит, полька, бранка? — вскинулся Богдан.— И может быть... Где дид? — оборвал он торопливо.

— На сулименскую чайку поехал на время.

— Слушай, Рябошапко,— заговорил серьезно Богдан, желая скрыть охватившее его своевольно волнение,— ты повартуй здесь: рулевой опытен и надежен, путь широк, и погода хмурится, но не злится. В случае чего, дай мне знать, хоть стукни, примером, ногою в чардак, а я пойду разведать, кто эта бранка, и допросить ее строго.

— Добре, батьку, будь покоен,— обрадовался козак такому лестному поручению пана атамана.

Богдан взглянул на него несколько подозрительно и, постоявши еще немного, направился неспешно к каюте.

Осторожно спустившись по лестнице, атаман прокрался кошачьими шагами к заветной двери, но перед

нею остановился: непонятное волнение захватило ему дух, он почуял в сердце и жгучее ощущение, и предательскую радость, и суеверный страх. Успокоившись немного, он решился наконец отворить дверь и вошел с непобедимой робостью в это крохотное помещение. Походный каганец освещал его красноватым, мерцающим светом. В углу на канапе, съежившись, прижавшись, как пойманная в западню пташка, дрожала и смотрела на него с ужасом спасенная им от смерти панянка.

На вид ей можно было дать лет пятнадцать, не больше: что-то детское, непорочно чистое сквозило в чертах ее личика и во всей недозревшей еще фигуре, но вместе с тем в ней было уже столько прелести и опьяняющего очарования, что и закаленный в жестоких битвах, загрубелый в суровой жизни козак не мог удержаться от охватившего его восторга и вскрикнул при виде ее: «Красавица», вскрикнул и занемел у порога, не сводя с нее очарованных глаз, словно погружаясь снова в волны давнего, лучезарного сна.

А панянка была действительно поразительно хороша. Бледное, белоснежное личико ее с легким сквозящим румянцем было окаймлено золотыми волнами вьющихся волос; они выбивались капризно из-под малиновой, бархатной, унизанной жемчугом шапочки и каскадом падали по плечам; тонкие темные брови лежали нежными дугами на изящном мраморном лбу; из-под длинных, почти черных ресниц глядели робко большие, синие очи, и в глубине их, как в море, таились какие-то чары,— а носик, и рот, и овал личика дышали такой художественной чистотой линий, такой девственной, обаятельной прелестью, какая могла умилить и привыкшее лишь к боевым радостям сердце. Роскошный турецкий костюм, выдававший кокетливо сквозь шелковые, прозрачные ткани стройный стан панночки, и мягкие линии ее не вполне еще развитых форм дополняли очарование.

Словно околдованный неведомой, таинственной силой стоял неподвижно Богдан и чувствовал, как что-то горячее поднималось в его груди выше и выше, как душный туман заволакивал ему взор и веял зноем в лицо.

Панночка не шевелилась, но смущение козака несколько ободрило ее, и глаза ее засверкали нежным

огнем, а в углах розовых, соблазнительно очерченных губок заиграло нечто вроде улыбки. Длилась долгая минута молчания.

— На бога, на пана Езуса! — прервала наконец его трогательным певучим голосом панна, сложив накрест у груди руки.

Этот голос прозвучал Богдану дивной райской музыкой и заставил очнуться.

— О моя ясная панночко,— заговорил он по-польски,— не бойся: ты в руках верных друзей! Но скажи мне, кто ты? Каким образом, по воле или по неволе ты на турецкой галере?

— Я, шановный пане... Богом посланный мне спаситель,— промолвила трепетно панночка, и звук ее голоса был полон мольбы и горячей признательности,— я из нашего польского края... спасалась во время разбоя, пожара с цыганкой... и нас захватили в неволю... Милосердья! Пощады! — взмолилась она, и две крупные слезы, как две жемчужины, повисли у нее на изогнутых, стрельчатых ресницах.

— Фамилия, как фамилия панны? — заволновался бурно Богдан, пораженный совпадением некоторых фактов и внешности девушки с рассказом Грабины, совпадением, которое бросилось ему в голову и в первую минуту на пылавшей байдаре.— Из какого рода панна? Давно ли из нашего края?

— Я из старого шляхетного рода панства Грабовских да Оссолинских,— начала было с проснувшимся тщеславием панночка; но Богдан прервал ее радостным, взволнованным восклицанием:

— Из рода Грабовских? Дочь Грабины? Моего друга, моего побратыма? Так я недаром предчувствовал? Панну зовут Марылькой? [100] — засыпал он ее вопросами, порывисто подошедши к канапе и взяв ее нервно похолодевшие руки в свои.

Еще шире раскрылись от изумления и радости у панночки глаза, и она, забывши ужас, державший ее в своих когтях, вскрикнула с детским восторгом:

— Да, я Марылька, Марылька! Пан знает моего отца, знает, где он? Пан его друг? О господи, о мой пане найсвентший! Как мы долго и тщетно его искали, как я стосковалась по нем... как я люблю моего несчастного, дорогого татуню! — всплеснула она руками.

— Бедное, бедное дитя! — вздохнул сочувственно, сердечно Богдан.

— Так отца нет? Погиб он? — задрожала она, как подрубленная у корня молодая березка, и, подавшись вперед, с ужасом остановила на нем полные слез глаза.

Богдан понял, что впопыхах несколько проговорился и что истина убила бы горестью это дитя. Он присел возле нее на канапе и, вместо ответа, поцеловал почтительно ее тонкую, словно из слоновой кости выточенную руку.

Эта ласка растрогала вконец панночку и вызвала прилив страшной тоски в ее сиротливой душе; Марылька припала головою к груди своего спасителя и горько заплакала, зарыдала.

— Успокойся, успокойся, мое дорогое дитятко,— начал утешать ее растерявшийся и непривыкший к женским слезам воин, проводя тихо рукою по шелковистым кудрям,— цветик мой, ягодка, не рви своего сердца тревогой... Даст бог, мы найдем отца... Я для него жизни не пожалел бы... он мне друг, брат... и клянусь всем святым,— возвысил он торжественно голос,— что дочь моего побратыма для меня так же дорога, как и ее батько, даже больше...— и он прижал ее головку к груди и поцеловал нежно в душистые, шелковистые пряди.

— Так он жив, мой дорогой татко? — подняла Марылька орошенное слезами личико и взглянула на Богдана таким радостным, признательным взглядом, что теплые лучи его проникли до самых глубоких тайников козачьего сердца и осветили радужным светом его пустынные уголки.— Жив? — допытывалась она, подвигая ближе и ближе свое нежное личико к смущенному, бронзовому лицу атамана.— И пан рыцарь мне найдет его, возвратит? О, как я буду за то благодарна! Как я буду за то пана...— потупилась она стыдливо, не докончив фразы.

— Милое, прелестное создание... ангел небесный...— прошептал с чувством козак, уклоняясь от прямого ответа на ее вопросы.— Я знаю: отец твой недавно, очень недавно был жив и совершенно здоров... он из этого разбойничьего наезда вышел невредимым... так что ж бы ему сталось?.. Успокойся, не тревожься... найдем! Далибуг! Мы самого беса вытащим за рога из

пекла, не то что!.. Осуши ж свои очeнята, зиронько моя! Улыбнись!

Но Марылька уже давно улыбалась сквозь слезы, и, освещенная этой счастливой улыбкой, красота ее казалась еще более ослепительной.

— Расскажи мне лучше все о себе, расскажи мне о всех пригодах и злополучиях, какие перенесла ты в такие ранние годы? — продолжал Богдан, овладевая собою и усаживаясь привольнее на стоявшем у канапы обрубке.

— Что ж, я пану скажу все, что знаю; утаивать мне нечего,— начала Марылька неуспокоившимся еще от волнения голосом, прерывая часто глубокими вздохами свою речь.— Мы из Млиева... Мои родные были очень богаты... я была только одна у них, и меня баловали и берегли как зеницу... Роскошью и любовью окружена я была с колыбели; но мать моя, помню, всегда была печальной и бледной, много плакала, тосковала и чахла. Отец редко бывал дома, разве на пышных охотах... а то больше проводил время в рыцарских пирах и потехах. Мы с мамой почти привыкли к своему одиночеству: она занималась со мною, утешалась своей Марылькой и отводила душу в молитве... а я,— заговорила она игриво, кокетливо,— я бегала по пустынным залам нашего дворца, гуляла в густом-густом и тенистом саду, большею частью одна... и все думала: разные картины приходили мне в голову — из прочитанных сказок, историй, из рассказов мамы и жившего в нашем замке ксендза,— он очень меня любил, и ласкал, и называл все крулевой... Так вот, мне представится что-либо, и я начинаю воображать, что я действительно или могучая волшебница, или знаменитейшая принцесса, или повелительница неверных, или московская царица... и все пышное рыцарство кланяется, весь народ, вся чернь падает в ноги... а я то улыбнусь им — и все расцветут в счастье, то взгляну строго — и все задрожат, поникнув в тоске головой... и так это мне все живо, точно в явь... Когда я играла с девочками и хлопчиками нашей надворной шляхты, то тоже любила карать их и миловать по-крулевски... Только что это я? — спохватилась она вдруг и, вся зардевшись, зажала по-детски рукой себе рот.

— Продолжай, продолжай, моя зиронько, мое солнышко,— отвел тихо Богдан ее руку,— твой лепет так

любо мне слушать, и все малейшие подробности из твоей жизни мне дороги, вот как бы твоему отцу.— Богдан действительно ощущал какое-то неизведанное еще им состояние духа: ему казалось, что поднимаются над ним тихие журчащие, теплые волны и, лаская, лелея, убаюкивают его, словно мать, в детские, светлые, невозвратные годы.

— О мой покровитель, мой благодетель!..— запела вкрадчивым, захватывающим душу голосом панночка.— Я не знаю почему... Я в первый раз вижу пана, а мне тоже кажется, что пан близкий-близкий мне родич, что при нем ничего не страшно, а только хорошо, так хорошо!.. Да, да,— зачастила она, словно сыпя по серебру жемчугом,— я вот сказала, что мы были почти все время с мамой одни... но к нам иногда заезжал мой дядя, рябой-рябой, с зелеными, как у жабы, глазами, которого я страшно боялась... и убегала в сад, чтоб не видеть... да и мама бледнела всегда, когда заслышит, бывало, у брамы его трубу.

— Тоже Грабовский?

— Нет, Чарнецкий... из Волыни.

— Чарнецкий? — переспросил Богдан.— Разумный и отважный пан... Заносчив немного и завистлив, а вояка добрый.

— Не знаю, но по всему было видно, что он страшно злой: я не могла перенесть его взгляда... и мама тоже... он что-то всегда наговаривал на отца, грозил и приставал к маме... и мама всегда долго и безутешно рыдала после его отъезда, становилась бледней и бледней, пока не слегла в постель... Ах, какие тогда потянулись грустные дни и ночи! Я не отходила от постели страдалицы... Мне уже пошел тогда десятый год, и я понимала, что скоро лишусь своей дорогой мамы... И она угасла... угасла тихо, безропотно, не дождавшись даже отца и поручив меня единому богу... Ох, и стала я с того ужасного дня сиротой! — судорожно сжала хрупкие пальцы панянка и опрокинула голову назад, устремив бесконечно печальный взор в какую-то неведомую даль. Во всей ее фигуре сказывалось уже не детское горе, а глубокая скорбь.

Богдан молчал, не прерывая этой тяжелой скорбной минуты, навеянной воспоминаниями, и чувствовал, как в его груди тоже звучала сочувственно унылая нота.

— Ах, отец поздно приехал и застал уже мою мать на столе,— начала снова Марылька, переведши несколько раз дыхание и смахнувши платком нависшую на реснице слезу.— Он обнял меня горячо и поклялся у гроба не покидать меня ни на час и загладить нежной любовью все причиненные прежде страдания... Он сам, видимо, страшно терзался и поседел в одну ночь... А когда подняли гроб в костеле и застонал орган, потрясая печальными звуками реквиума мрачные своды, то с отцом сделался какой-то страшный припадок: он почернел весь, зарыдал, заметался и начал биться головою о крышку гроба, произнося с захлебыванием какие-то непонятные мольбы и раскаяния... «Прости, прости меня! — запомнились мне некоторые фразы.— Ты завяла... ты склонилась к земле... чистая, непорочная... Мое ядовитое дыхание убило тебя... я проклятый землею и небом... нет мне места здесь... нет мне места нигде: за мои дела и пекло меня не примет!»

— Несчастный, сердечный,— тихо, растроганно промолвил Богдан,— он преувеличивал все... я знаю это чудное сердце... а если и было что, так он спокутовал, отслужил втрое...

— Да, отец невыносимо страдал,— продолжала грустно Марылька,— он долго пролежал болен, чуть не умер... а потом, вставши с постели, переменился совсем-совсем, так что никто и узнать в нем не мог прежнего грозного можновладца, и не так изменился он телом, как изменился душой: прежней гордости, дерзости и своевольства не осталось и следа; он стал ко всем добр, щедр и милостив... а ко мне — так и слов нет сказать, как он привязался: жил мною, дышал мною, молился на меня... Весь запас любви, какой был в его источенном муками сердце, он отдал мне и сдержал действительно клятву: не отлучался от меня ни на день. Моя улыбка доставляла ему единственную радость, моя задумчивость погружала его в тугу-печаль, мое недомогание повергало его в ужас... И сколько нежности, сколько теплого чувства проявил к своей сиротке татусь мой, как я его полюбила и за любовь ко мне, и за его страдания... Ах! — Марылька сомкнула глаза и замолчала, подавленная трогательным, щемящим волнением; на побледневших ее щеках легли от ресниц дрожащие тени.— Ах,— очнулась наконец она после короткого забытья,—

это было счастливейшее для меня время. Мы зажили снова затворниками в нашем млиевском замке и зажили душа в душу: отец мне много рассказывал про чужие края, про иноземные страны, про обычаи других народов, много давал мне читать разных книг, и мы коротали незаметно с ним длинные зимние вечера, а летом гуляли и катались по лесам, по полям и по нашим поместьям... Простой люд, хлопы — и те полюбили отца; он запретил жидам и экономам обижать его, строго запретил... При мне раз кричал, что кто тронет пальцем селянина, так он его тронет саблей... и до того стал добрый, до смешного, что раз даже назвал хлопов своими братьями...— засмеялась она.

— О мой дорогой, незабвенный друг,— вздохнул порывисто Богдан,— если б таких золотых сердец было хоть немного среди магнатов, рай бы настал в Украйне и в Польше!

Марылька посмотрела с недоумением на своего собеседника и поняла в его возгласе только то, что он сочувствует искренно ее дорогому отцу.

— Так вот, мой добрый, мой коханый пане,— отблагодарила она заискрившимся взглядом своего нового покровителя, друга отца,— и прожили мы с татком там тихо да счастливо почти четыре года, даже тоска по матери стала терять свою едкость и превратилась в кроткую грусть... В это время почти никто не посещал нас... все считали отца тронутым... только раз заехал к нам этот зверь Чарнецкий; я побоялась выйти и слышала, как он ругался с отцом, как чего-то требовал с угрозой... кричал, что татусь будет банитой,— чуть дело не дошло до убийства... Я закричала, выбежала, бросилась к отцу и своим появлением, кажется, прекратила ссору... по крайней мере, Чарнецкий, разразившись проклятиями, сейчас же уехал. Татусь мне потом говорил, что этот зверь требовал меня за дарование ему покоя. С того времени отец загрустил снова, сделался мрачный, о полночи стал ходить по покоям... Мне слышались часто его протяжные стоны и молящий кого-то болезненный шепот... Я будила свою няню, и мы шли торопливо к отцу, и находили его иногда на коленях, бледного, дрожащего, с невысохшими следами слез на щеках... он тяжело дышал и говорил, что его преследуют какие-то призраки. С тех пор стали появляться в нашем

замке знахарки, гадальщицы, ворожеи... и одна из них, старая цыганка, особенно полюбилась отцу: она умела ловкими предвещаниями, удачными советами, а особенно льстивыми речами и клятвами снискать его полное доверие; я этой старухи сначала страшно боялась, но она одолела и мое отталкивающее чувство то рассказами, то забавами, то угодами; она, наконец, приручила и меня, заверив всех, что души не чает во мне... В последнее время цыганка совсем у нас поселилась; отец ее награждал щедро, посылал на разведки, получал от нее разные сведения и подчинялся ее указаниям...

Марылька замолчала и провела рукой по лбу. Лицо ее становилось бледней и бледней, глаза сосредоточенно глядели в одну точку, словно всматриваясь в развертывающееся перед ней прошлое. Богдан жадно слушал рассказчицу; каждое ее слово падало жгучей искрой ему на сердце и оставляло в нем след: и печальная история его усопшего друга, полная таинственных событий да фатальных невзгод, и судьба его дочери, которую поклялся он умирающему товарищу любить, как свое родное дитя,— все это трогало его душу, захватывало его всего. Время шло; ночь незаметно плыла; чайка все больше и больше качалась...

— Раз, помню,— заговорила снова медленно и с напряжением Марылька, словно ей не под силу было разбудить уснувший, пережитой ужас...— отец мой получил какое-то смутное известие и побледнел весь, зашатался... Мы перепугались... Цыганка прибежала, отшептала прыстрит и начала гадать: раскидывала зерна, жгла зелье, кипятила какую-то приправу и, наконец, сказала, что нужно, чтоб тато собирал войско, потому что непреложная беда у ворот... А татусь ей: «Коли,— говорит,— это то лихо, что поднял на меня лютый мой враг, так если оно созрело на сейме, то мне остается одно из двух — либо подставить свою буйную голову, либо бежать... но все-таки Марыльки своей не отдам: ты спасешь ее...» Цыганка начала клясться и целовать татусю колени, а я бросилась со слезами к нему на шею... А на другой или на третий день... Ой! Ой! Езус-Мария, что случилось? Обступил наш замок Чарнецкий целым войском с гарматами и начал громить его, а местечко жечь... Отец велел запереть ворота, поднять мост и поклялся вместе с нашей командой лечь костьми, а не отдать

своего предковского добра на грабеж... Хотя он был бледен, но в глазах его сверкал прежний огонь горделивой отваги; он торопливо призвал цыганку, дал ей в руки торбинку червонцев да меня и сказал взволнованно, горячо: «У всех единый бог в небе, ты поклялась им спасти мою дочь, так исполни ж свою клятву... настала минута!.. Вот ключ от железной двери в леху, отворишь ее, а там, под землею, ход версты на две до скалы, что в грабовом лесу, где и кони ждут... Скачи ночью в степь, сколько выскачешь, а днем пережди в балке... я вас догоню... а если не успею за день, то вы спешите к порогам Днепра...» Обнял он меня горячо, перекрестил и провел в лех... Земля шаталась от ударов гармат, сверкали издали молнии, небо стало как кровь... ой, страшно! Отец запер за нами тяжелую дверь, и нас сразу окутал могильный мрак, разлучив меня и с отцом, и с родным пепелищем. Матко найсвентша! Нестеты! * — откинулась она в изнеможении, бледная, дрожащая, закрывши руками глаза, и судорожно заколыхалась в рыданье...

Богдан испугался ее истерического плача, стал утешать сиротку и ласками, и обещаньями, но видя, что это не помогает, бросился к мысныку, налил в кубок старого меду и упросил Марыльку, чтоб его выпила. Последняя отхлебнула несколько глотков этой влаги и почувствовала, как она живительной струей побежала по ее жилам. Вскоре у панночки потеплели руки и ноги, на щеках выступил алый румянец, в голове поднялся какой-то сладкий туман... и болезненные ее всхлипывания стали сразу стихать, уступая место какому-то игривому, пленительному веселью...

Марылька улыбнулась сквозь слезы, и ласковыми лучами чудных очей скользнула по красивым чертам мужественного лица, полным и шляхетского благородства, и рыцарской доблести, а потом, словно сконфузясь чего-то, опустила их вниз, покрыв тонкими стрелами своих темных ресниц. Она незаметно отодвинулась от своего покровителя, уселась на ковре, приняв грациозную позу, и только вздрагивающая, не вполне округленная еще грудь выдавала ее не улегшееся волненье. Инстинктивно, смутно сознавала Марылька, что произво-

* Нестеты — на жаль *(польськ.)*.

дит впечатление своею красотой, и это сознание зажигало уже в детском сердце женскую радость, вызывало неведомый еще восторг торжества власти; эти новые впечатления и смущали юную душу, и пробуждали врожденное полячке кокетство. А Богдан в умиленье не отводил глаз от этого распускавшегося цветка и незаметно, невольно упивался сладкой отравой.

— Панночко, дитя мое, богом мне данное! — заговорил он снова, после долгой паузы, положив ее тонкие, прозрачные пальцы в свою железную руку.— Я не могу опомниться от божьей ласки, точно сон это все, дивный, еще детский, хороший сон...

— Ах, пане мой,— пропела серебристым голосом панна,— царица небесная сжалилась надо мною; я ей так горячо, так безутешно молилась! — она подняла свои дивные, с поволокой, синие очи, повитые слезой, и произнесла уже с очаровательной улыбкой: — Но пан мне найдет, возвратит моего родного отца?

— Пока,— вздохнул глубоко Богдан и отвел глаза в сторону,— ничего не могу сказать тебе, квиточка... но бог поможет... Вот, когда освобожусь хоть немного... Да ты, дитятко, не журись: я ведь поклялся отцом тебе быть. Рада ли другому отцу, люб ли тебе — не знаю, ну, а мне названная дочка милее родной.

— Тато! — бросилась порывисто Марылька и поцеловала неожиданно в руку Богдана, потом на его протест отскочила в угол, бросив на него исподлобья и благодарный, и пламенный взгляд.

— Крохотка моя, пташечка моя, не целуй мне никогда рук,— вспыхнул расчувствовавшийся, непривыкший к такой ласке козак.

— Пан — тато мне. А тата нужно любить и шановать,— лукаво улыбнулась Марылька и съежилась, как котенок.

— О, люби меня, моя радость! — с неподходящим к данному случаю пылом воскликнул Богдан.— Не пожалеешь, что приобрела нового заступника... Но как же, расскажи ты мне, доню, как ты попала сюда? Что с тобой приключилось с того дня, как ушла ты с цыганкой?

— Бежали мы целую ночь,— начала снова Марылька,— бежали другую и третью... и остановились в землянке. Татуся все не было,— вздохнула она грустно.—

Так прошло пять дней, мучительных и дней и ночей. Я сначала злилась, а потом рыдала да просила, чтоб меня ведьма добила... есть перестала, даже цыганка испугалась, что я похудею... Вот и говорит, что она пойдет и разыщет провожатого, с которым можно будет добраться до порогов. Как я ни боялась остаться одна в дыре, в той страшной пустыне, а стала даже просить, чтобы цыганка скорей разыскала провожатого... а кони у нас были еще из-под Млиева: они в другой яме стояли. Ушла цыганка, а я сижу одна: страшно, страшно! Запрусь на засов, дрожу вся да «Pater noster» * читаю — просто смерть! Словно зарытая в земле, словно заживо похороненная...

— Голубка моя, любая, коханая! — промолвил Богдан растроганным голосом и сжал ее нежную руку.

— Ай! Так больно, тато! — улыбнулась Марылька и начала махать кистью руки и дуть на пальцы.— Ничего, уже прошло,— успокоила она испугавшегося было козака.— Так вот я и сидела одна. Особенный ужас нападал ночью: кругом подымался и визг, и вой, царапалось что-то,— оглянулась она и тут с суеверным страхом.— Бр-р!.. И теперь морозом всю обсыпает,— прижалась она к Богдану,— а на третью ночь,— качнулась она к самому его лицу и уставила глаза в глаза,— Езус-Мария, какая-то стая прорвалась в заваленный проход и с страшным рычаньем да воем начала царапаться в двери.

— Волки?! — с ужасом вскрикнул Богдан.

— Может быть, а может, что-нибудь и другое,— торопливо закрестилась панна,— я кричу, а они еще больше воют и толкают двери, а потом слышу, что и землю начали рыть... Я кричала и билась, пока не упала наземь, и уж тут не помню, что дальше, только меня разбудил опять-таки стук, но уже другой: стучалась и кричала цыганка. Я отворила и обрадовалась ей, а особенно провожатому.

— Хорош, должен быть, провожатый! — встал взволнованный козак и начал ходить по тесной каюте.

— Татарин,— продолжала панна, следя глазами за своим слушателем,— и очень, очень поганый... Они между собой говорили по-татарски, а я ничего не понимала.

---

* «Отче наш» *(лат.)*.

Цыганка собралась скоро, и мы поехали степью. Ну, едем без отдыха день и другой: все только лужи, что озера, да пустыня. Наконец приехали в какой-то табор: все кибитки та кибитки! Татарин исчез, а мы остались одни, и я с ужасом начала расспрашивать цыганку: куда этот косой черт завел нас? А тут подошел к нам старик в дорогом шелковом халате и начал пристально меня осматривать: глазища у него так и бегают, так и горят... все чмокает губами да бормочет что-то и улыбается, потом начал трогать меня за ноги... я закричала...

— Дьявол! — заскрежетал зубами Богдан и брякнул саблей в ножнах.— Всех их выпотрошить! — даже ринулся было он, испугав своим движением панну.

— Ай! — вскрикнула та.— Успокойся, пане: он поместил меня с цыганкой в какую-то кибитку, где были старенькая и молоденькая татарки, но они на нас страшно сердито смотрели, даже ругались, только я не понимала тогда, ругали гяуркой, а молодая так даже два раза толкнула меня... Я начала плакать, прятаться за цыганку, а та и на них накричала, так что татарки притихли и только глядели змеями исподлобья. Ой,— вскрикнула неожиданно панна и прижалась к Богдану,— мы опрокидываемся, тонем?

— Нет, это качнуло чайку боковою волной.

— Я боюсь моря, боюсь волны! — жалась в ужасе панночка.

— Наша чайка никогда не опрокидывается, никогда, даже в страшную бурю,— успокаивал ее Богдан.— Вот и плавно пошла... А где, скажи, эта самая цыганка?

— Ее сегодня убили!

— Туда и дорога! Ну, а дальше ж что? — остановился перед ней с пылающим взором Богдан.— Все, все говори без утайки.

— Я все и говорю,— взглянула на него с недоуменьем Марылька.— Нас привезли в большой город, я рассмотреть хорошо не могла, закрывали кибитку, только видела вдали море.

— Кафа?

— Да, так мне называли потом этот город... Ну, привезли нас к какому-то дворцу; высокие брамы, узкие, длинные, почти крытые дворы, а потом по розовой мраморной лестнице, по коврам, провели нас в роскошные

покои, непохожие на наши, а совсем другие,— оживлялась Марылька и все больше и больше жестикулировала и схватывалась с места,— окна небольшие, все в разноцветных стеклах; когда солнце заглянет, то такие чудные узоры лежат от них на коврах и на стенах, а ковры какие: как поставишь ногу, так в них вся и потонет, вот до этих пор,— выставила она чудную, обутую в мягкий турецкий чевик ножку.— А стены какие! Все в узорах, да в каменных кружевах, да в каких-то фигурных сводах; кругом низенькие, штофные диваны, атласные подушки, ароматные курильницы...

— И ты в таком восторге от этой тюрьмы? — отступил даже Богдан.— Ну, что ж дальше?

— Дальше? — улыбнулась панна и остановила долгий взгляд на Богдане, а тот, бледнея от нетерпения, не отводя глаз от рассказчицы, ждал ее дальнейших признаний.

— Дальше что?

— Ну, нам подали угощение: разные пирожные, шербет *, померанцы **, ах, какие вкусные шербеты! — всплеснула она в восторге руками.— А потом кофе, только черное, горькое, а потом повели меня в другую комнату и показали целые шкафы нарядов всяких, всяких: и шелки, и адамашки, и шали, и перлы, и самоцветы. Ах! Глаза у меня разбежались. А цыганка и говорит, что старичок все это мне дарит, чтобы я вот сейчас выбрала себе убор, потому что старое мое платье поистрепалось. Ну я и выбрала такое хорошенькое да пышное...

— А дальше-то, дальше? — слышался почти стон в голосе смущенного козака.

— Дальше? Пришел к нам ввечеру тот самый старик еще в лучшем халате; цыганка схватилась и бросилась ему в ноги, а он ко мне. Я оторопела, стою; только дед ничего: смотрит все на меня, улыбается, руки к сердцу прижимает и глазами вот так и водит... смешно... да все к цыганке что-то, а та только кланяется, а потом говорит мне, что вот вельможа наш жалует меня всем, что я, мол, полюбилась ему как дочь,— улыбнулась лукаво Марылька,— что паша просит, чтобы я не тревожилась,

---

* Шербет — солодкий цитриновий напій.
** Померанцы — апельсини.

что меня никто пальцем не тронет, что он пошлет гонцов разыскать, кого мне хочется, но что это можно только весной, а чтобы мне приятней было самой разговаривать, так он-де пришлет учителей учить меня по-турецки, а потом, когда паша уходил, то поцеловал меня в голову и что-то сказал. Цыганка объяснила, что он звал меня и розой, и какою-то звездой, повелительницей...

Старик приходил к нам часто,— продолжала Марылька,— все восхищался и прикладывал руку то к голове, то к сердцу, а потом и учителя начали приходить, такие противные, черные, безусые, безбородые, как бабы, и я училась... а знаешь, тато, что значит: «Силяй айлеким?»

— Знаю: я по-турецки и по-татарски умею.

— Умеешь? Тебя, тато, учили? Вот и отлично,— захлопала она в ладоши,— мы будем разговаривать, и нас никто не поймет.

— Хорошо, хорошо! Ну, а дальше?..

— Что ж дальше? Хоть нас и кормили, и одевали, и холили, а тоска пошла смертная! Я просилась хоть погулять — не пускали, только в закрытом каюке возили иногда да водили гулять в сад, окруженный стеною. Я опять стала плакать и чахнуть в этой тюрьме: такая меня окрыла туга-печаль, такая боль за татусем родненьким, за своей родиной, за горами, за волынскими лесами, за нашими роскошами, привольями... Сердце чуяло, что только там оно может найти искреннего друга, что только ему оно может откликнуться,— брызнула она на своего покровителя искрами загоревшихся глаз и потом добавила совершенно невинно: — Ну, мне стали приводить танцовщиц, показывать фокусы...

И Марылька начала передавать с таким наивным восторгом все эпизоды и случаи из своей кафской жизни, что у подозрительного козака отхлынула совсем от сердца тревога, а, напротив, зажглась и запылала в нем яркая радость: он весь обратился в слух и, безучастный в это мгновение ко всему миру, наслаждался лишь чарующей прелестью, обаятельным голоском да обольстительной игривостью своей новой, обретенной так неожиданно, так чудесно дочки.

Между тем послышался слабый стук. Марылька прислушалась и прервала свои слова.

— Что-то как будто стукнуло или треснуло,— заметила она.

— Где? Что треснуло? — вздрогнул, словно во сне, Богдан, не понявши ясно ее слов.

— На потолке, или это я табуреткой,— засмеялась она,— верно, табуреткой, да, да!.. А потом цыганка открыла мне,— закончила с загадочной улыбкой панна,— что меня ждет новая, блестящая, счастливая доля, что я буду вознесена на такую высоту, что и глянуть страшно, что я буду могучей повелительницей Востока,—и все, все склонится у моих ног, а я, в золоте и брильянтах, буду одним мановеньем руки решать судьбы народов!

— А,— застонал Богдан,— тебя купили у чертовой ведьмы, как товар, чтоб с выгодой потом перепродать в более дорогие гаремы... и это тебя не возмущало? Впрочем, могла ли ты, мое ненаглядное дитятко, знать в этом продажном мире все скверны... И сердце, и помыслы девичьи у тебя чисты, как чиста ясным утром на небе лазурь.

— Понять-то я всего не могла,— опустила она стыдливо глаза,— но мне казалось, что если быть в тюрьме, то лучше уже быть в более пышной. Власть и богатство начинали прельщать меня, а роль повелительницы опьяняла мое воображение... Притом же я, в безысходной доле своей, порешила давно, что моего отца нет больше на свете и что не найдется на моей родине никого, кому бы дорога была заброшенная в тюрьму сиротка, кто бы протянул ей руку помощи... порешила и покорилась с тоской своей участи, утешая себя лишь сказочными миражами... Ну, меня повезли на галере, на нас напали... Остальное знает мой тато...

Опьяненными от восторга глазами смотрел Богдан на свою новую дочку; в груди его бушевала безумная радость, сердце сладостно билось, каждая жилка дрожала от счастья и млела... Сначала он возмутился было приливом нежданного чувства, неподобавшего закаленному козаку, семьянину; но потом оправдал его обязанностями побратыма, клятвой, данной пожертвовавшему жизнью своей товарищу, что он будет любить и жалеть его дочь, как свою, а потом... потом он уже и не стал сдерживать бурного потока, охватившего его огненной лавой.

Марылька почуяла этот зной и зажглась от него,

зарделась вся полымем: на нее самое произвел сильное впечатление статный, полный мужественной красоты рыцарь, с орлиным взглядом, с властным голосом, а его подвиг, его горячее сочувствие, проявившееся к ней, отозвались в ее польщенном сердце благодарной, созвучной струной...

— Ах, тогда было мне все равно,— вздохнула она грустно,— а теперь...— ожгла она атамана взглядом,— теперь... я бы скорее бросилась в море, чем продала свою жизнь,— произнесла она искренно, горячо.

— Деточка моя, счастье мое! — вскрикнул в экстазе Богдан и прижал к мощной своей груди Марыльку, осыпав ее поцелуями; потом, опомнившись и устыдясь своего порыва, отошел сконфуженно в сторону и, открыв крохотное оконце, выставил на свежий и сильный ветер свое пылающее лицо.

Начинало уже сереть; чайку сильно качало. Второй раз послышался слабый стук в потолок, но Богдан, погруженный в себя, не заметил его: он ощущал в груди лишь пламенный ураган, потрясавший все его нервы, все фибры каким-то неизъяснимым восторгом, каким-то сладким угаром.

Наконец Богдану почудился возрастающий шум на палубе, и донеслись оттуда даже крики; они отрезвили его и заставили спешно направиться к выходу, но в это время дверь распахнулась и на пороге показался встревоженный дед.

— Иди, сынку, скорее на пулубу!

— А что там такое? — очнулся Богдан.

— Да что-то неладно: ветер крепчает, вдали показались как будто ворожьи суда... все тебя ищут, ропщут...

— Ропщут?! Чего?

— Да просто подурели, бунтуют... Нашлись приятели Рассохи, гомонят, что козака, мол, бросили в море за бабу, а атаман с ней возится до света...

Побагровел Богдан и бросился на чардак.

Он стремительно выбежал из каюты наверх и остановился на чардаке, окинув всех гордым, вызывающим взглядом. Лицо его пылало от волнения, глаза сверкали мрачным огнем, непокрытая шапкой чуприна трепалась на ветре. При появлении наказного все сразу притихли; но по сумрачным лицам, по опущенным вниз глазам можно было догадаться, что за минуту между товары-

ством шла буря и что буря эта была направлена против него, их батька атамана.

— А что, панове товарыство, чем это вы недовольны? — спросил наконец не дожидая запроса, Богдан.

Вопрос остался без ответа. Козаки хранили упорно молчание, нагнув еще ниже свои бритые с оселедцами головы.

— Что же, панове,— обратился к ним снова Богдан, выждав длинную паузу,— коли есть что, так говорите прямо в глаза, как подобает честному лыцарству, а не поза очи: правда ведь света не боится, а кривда только любит потемки...

Послышался робкий, неясный говор: или мятежные боялись разгневать атамана, или не решались его огорчить; впрочем, между гулом тревожного говора уже слышались отрывистые слова: «Не до часу забава...», «Покарали одного смертью за бабу, а сам атаман...», «Смерть ей, чертовке!» Последняя фраза начала повторяться выразительнее и чаще, грозя перейти в общий крик.

Отлила кровь у Богдана от лица к сердцу, закипело оно оскорблением, гневом загорелись глаза; он поднял надменно голову, сжал в резкую складку черные брови и властным голосом остановил возрастающий ропот.

— Что-о? — почти крикнул он, сложив на груди руки.— Выходите, клеветники, и обвиняйте меня смело в такой гнусности, а не прячьтесь за головы других, как школяры в бурсе! Знаете ли вы, безумцы, чья это дочь, дитя недорослое? Это дочь вашего товарища, не пожалевшего за нас свою жизнь, дочь, блаженной памяти, запорожца Грабины.

— Грабины? — раздался по всей чайке единодушный крик.

— Да, Грабины,— продолжал Богдан, заметивши, какое впечатление произвели на окружающих его слова,— он сам еще в Сечи признался мне в том, что у него дочь есть, Марылька, которую цыганка украла и продала в неволю. Когда он услыхал, что мы без него уйдем в поход, то, без моего ведома, закрался в чайку, надеясь, что мы не минем Кафы, где знал, что находилась его дочь... Перед смертью заклинал он меня и заставил поклясться, что я спасу ее... И вот сам господь, сглянувшись над душой несчастного товарища, посылает нам навстречу его дочь... А вы... вы что хотели сде-

лать? В благодарность за то, что Грабина жизни своей не пожалел ради нас,— вы хотели умертвить его дочь да еще что́ выдумали на невинное дитя!

— Мы не знали, подумать не могли, батьку,— зашумели отовсюду сконфуженные голоса...

— Будем беречь ее, как зеницу ока! Грех, панове, оставить в беде дочь товарища! — поднялся дед, обращаясь ко всем.

— Будем, будем! Живота за нее не пожалеем,— отозвались все горячо.— Пусть она дочкой нашей будет!

— Спасибо вам, дети! — поклонился всем Богдан, обнаживши голову.— От лица покойного Грабины, который уже не может озваться, говорю вам спасибо.

— Что ты, что ты, сыну! — остановил его дед.— За что тут дяковать. Мы все об ней должны подумать, как и он подумал о нас.

— Правда, правда! — отозвались шумно козаки.

— Ну, вот и дело! — повеселел Богдан.— Может, и нам господь за добрый вчынок пошлет свою ласку... Только вы не промолвитесь никто, что батько панночки утонул, а то это известие убьет ее... она наложит на себя руки...— И он стал продолжать свой рассказ.— Так вот, видите ли, панове, я с одного ее слова заметил, что она полька, и пошел допросить бранку. Слово по слову,— она мне и рассказала, что она полька, Грабовского пана дочка, что его преследовали паны за братанье с народом, что сделали наезд, что он спасся на Запорожье, а ее, дочку его, во время разбоя, украла цыганка и отвезла в Кафу, а из Кафы уже доставляли в Царьград, в гарем.

— Ах они, дьяволы! — раздались среди козаков гневные возгласы.

— То-то,— продолжал Богдан,— несчастное дитя жизни себя лишить хотело, а вы-то что...

— Прости, батьку,— обнажились многие головы,— начали мы галдеть, а тут снова буря встает да и ворожьи галеры...

— Какое же у вас доверие ко мне, коли довольно одного пустопорожнего слова, занесенного ветром, чтобы взвесть на атамана пакость.

— Прости, прости, батьку! — завопили все козаки, нагибая чубатые головы.— Это вот Рассохины приятели взъелись на панну, что через нее загинул славный

козак... а уж из-за нее как-то поремствовали и на тебя, батьку...

— Неправда, несчастный Рассоха пострадал не через невинную панну, а через пьянство: оно его довело и до греха, и до смерти.

— И справедливо, — подтвердил дед,— паршивая овца все стадо портит!

— Как же не портит, коли портит! — с азартом выкрикнул черномазый, как цыган, козак.— Вон и приятели его наважились на нашего батька поднять голос... и их бы в море!

— Каемся!.. Прости на слове! — отозвались дрожащими голосами три козака, сидевшие между гребками, внизу чайки.— Хоть и покарай, а прости, батьку!

— Бог вас простит! — сказал торжественно Богдан, успокоившись внутренно за панянку.— Где люди, там и грех... А только помните, братцы, что для Богдана ваша доля и ваше благо — важнее всего на свете!

— Верим, верим!.. Слава атаману! — загалдели со всех гребок козаки, махая шапками в воздухе.

Богдан тоже снял шапку и, поклонившись товарищам, начал осматривать море кругом.

Было уже полное утро; но туман или предвестники бури — низко несущиеся облака — закутывали даль молочной мглой; волны словно курились белым паром, что сначала за ними бежал, потом тяжелее сгущался, а встретясь с соседней струей, клубился, сливаясь в какой-то бесконечный полог, ползущий над морем.

— С какой стороны были, диду, галеры? — спросил наконец у деда Богдан.— Не вижу нигде...

— Да, затуманило,— мотнул головою старик,— а вон там на полудне были видны... штуки три либо четыре...

— Гм! Значит, турецкие...— задумался Богдан.— Оно бы не дурно пошарпать и потопить еще штуки две, да мало нас, а в тумане и не соберешь... По-моему, лучше повернуть прямо на полночь... К тому же и ветер, кажись, стал погожим.

— Правильно, сынку, миркуешь: ветер поможет прибиться нам к берегу и, по моему расчету, к Буджацкому, потому что-то нас здорово отнесло в правую руку.

— Так это отлично! — обрадовался Богдан.— Только как бы нам собрать чайки да сообщить всем нашу дум-

ку? Ведь стрелять из гарматы опасно, как раз привлечешь тем врага...

— Оно-то как будто так... А прото, кто его знает, сыну? — потер рукою лоб дед.— Враг-то все равно прямует на нас, того и гляди, наскочит в тумане, ведь он на парусах прет, а мы на веслах... так все единственно... а гуртом и обороняться легче.

— Пожалуй что и так,— согласился Богдан,— если бы и мы подняли паруса да двинулись наутек, так этим черепахам не догнать бы нас... Эх! — махнул он энергично рукой.— Чому буты, тому статысь, а прикажите-ка, диду, гукнуть раза два из гарматы.

Через несколько мгновений вздрогнула чайка и раздался звук выстрела, глухо исчезнувший вдали. Богдан воспользовался небольшим промежутком времени между вторым выстрелом, проскользнул незаметно в каюту и успокоил Марыльку. Гаркнула и второй раз фальконетная пушка. Богдан уже стоял вновь на чардаке и зорко присматривался да прислушивался кругом; он даже велел остановиться и поднять весла...

Туман налегал и густел все сильней и сильней; с чардака уже трудно было разглядеть и корму в чайке... Послышался плеск... «Свои или галера»? — мелькнула у атамана мысль, и он отдал тихо приказ осмотреть оружие и быть наготове.

Но вот показался острый нос, и чайка, скользнув по волне, чуть не ударилась об атаманскую.

— Наши! — послышался успокоительный говор.

— Чья чайка? — спросил Богдан.

— Сулиминская,— ответил с нее рулевой.

— А как атаману вашему?

— Слава богу!

— А других чаек не видели?

— За нами две ехало.

Вскоре показалось из тумана еще три чайки, а в продолжение получаса — еще три, и потом, наконец, еще одна; больше же не прибывало. Дальше ждать было и бесполезно, и опасно: в тумане чайки неслись куда-то, по воле волн, и можно было ожидать ежеминутно столкновения с галерой, тем более, что последняя чайка принесла известие, что видела ее недалеко отсюда.

— Панове молодцы, лыцари запорожцы! — зычно крикнул Богдан.— Нам мешкать больше нельзя: враг

на носу. Поручим товарищей наших святому богу и заступнице за нас, деве пречистой, а сами поднимем сейчас паруса и на всех веслах двинем за ветром на полночь, к Буджаку.

— Згода,— отозвались в тумане сотни голосов, и чайки, подняв свои широкие крылья-ветрила, понеслись на север, оставляя позади себя крутящиеся ленты сверкающей серебром пены. Гребцы рвали волны изо всех сил, чувствуя за спиной погоню.

Прошло часа два бешеного бега. Время приближалось к полудню. Туман, сгустившись в тяжелые облака, начал медленно подниматься над морем. В узком просвете показалась невдалеке чайка, а вон дальше как будто мелькнула и другая.. Между тем белые облака поднимались все выше да выше и рвались в высоте, пропуская сквозь щели яркие блики лазури, а вот сверкнули, пронизывая их, и золотые лучи, окрасив белесоватые клубы в бронзовые и перламутровые колера, сверкнули, заиграли изумрудами на посиневших волнах и рассыпались искрами по козацким рушницам. Облака, поднявшись выше, словно растаяли и разметались ветром по ярко-голубому простору.

Оглянувшись, козаки увидели за собой не далее как на два пушечных выстрела две галеры; они шли сначала наискось, как бы пропуская чайки, но, заметив их, сразу изменили курс и повернули прямо на козаков. Две другие галеры были в стороне значительно дальше, но тоже, по-видимому, повернули, отрезывая отступление чайкам, по соседству было лишь четыре, не больше, а остальные отбились направо, далеко вперед.

Богдан выкинул на мачте своей флаг, означающий рассыпной строй, хотя и без того все козаки знали единую в этом случае тактику: разлететься во все стороны и заставить галеру преследовать чайки по одиночке. Но едва галера пускалась в погоню за намеченной жертвой, как разлетевшиеся ладьи снова слетались в тылу, словно легкокрылые ласточки за злым коршуном, щипали галеру меткими пулями, а при возможности и бросались в атаку. На этот раз галеры, приметив ничтожное количество чаек, смело двинулись за ними в погоню.

Ладья наказного атамана попробовала было, лавируя в сторону, выйти из линии преследования, но ближайшая галера наметила ее зорко и не выпускала из

курса. Ветер попутный крепчал; выгнутый, что лебяжья грудь, парус накренял ладью на один бок, и она стрелою неслась, разрезывая острым носом встающие волны, а дружные удары весел еще увеличивали ее размеренные скачки. Но галера летела на всех парусах, и хотя расстояние между нею и чайкой на глаз не уменьшалось, но зато и не увеличивалось... Вопрос теперь состоял в том, не изменят ли козакам силы, а главное, ветер! Если они удержат до ночи такое же расстояние, то будут спасены, а если до сумерек приблизится к ним на пушечный выстрел галера, то гибель их неизбежна.

Богдан стоял теперь на корме у руля неотходно, зорко следя за бегом чайки и поворачиваясь все чаще и чаще назад.

Все загорелые, бронзовые лица козачьи были сосредоточенны и серьезны, не слышалось ни прибауток, ни смеху: козаки молча гребли, молча по знаку сменялись гребцы, и молча свободные от гребок осматривали мушкеты и сабли. Богдан тоже угрюмо молчал, перекидываясь лишь изредка с рулевым отрывистым словом; раз только подозвал он к себе Рябошапку и что-то шепотом сообщил ему на ухо.

А панна Марылька по уходе Богдана снова осталась в каюте одна, подавленная наплывом разящих впечатлений, сменивших быстро огонь сказочных грез на холод ужаса, оцепенение отчаяния на трепетный порыв радости. Она лежала на походной канапе в какой-то истоме; глаза ее были закрыты, но потрясенные нервы не могли успокоиться сном, а раздражали болезненно мозг, который напрасно силился разобраться в этом хаосе мятущихся дум. Марылька только чувствовала всем своим существом, что поднявшийся над ней ужас ушел, что вместо него у изголовья стал кто-то близкий, родной, возвративший ей бытие, и от этого сознания трепетало у нее радостью сердце.

Там, в Кафе, Марылька мало-помалу привыкла к своей золотой клетке и начала сживаться со своим горем; в наркотической атмосфере восточной неги и лени физический организм ее развивался словно в теплице, и она, полудитя еще, уже начинала себя чувствовать женщиной, могущей своими чарами опьянять до экстаза других, даже старцев. Шепот страстей начинал бессознательно просыпаться в ее сердце и манить чем-то

таинственным, обаятельным, тем более что праздный ум ее в одиночестве питался лишь фантазиями да волшебными сказками, полными заманчивых, неизведанных наслаждений. Выезд из Кафы, предстоящее ей необычайное положение делали ее сказочною героиней, туманили головку угаром и обольщали ее сердце гордыней, и вдруг — ужас насилия, смерти, неожиданное спасение и воскресшее прошлое с его болями, с его живыми радостями, с его светлым счастьем... и, наконец, этот спаситель, этот благородный, доблестный рыцарь! «Кто он такой? Откуда явился? Кем послан ей на помощь?» — задавала себе вопросы Марылька, вызывая в своем воображении прекрасный образ Богдана. По одежде он, видимо, козацкий атаман, но по разговору, по обращению — настоящий рыцарь. А кто знает, быть может, он и есть какой-нибудь князь или граф. Ведь многие благородные шляхтичи часто ездят на Запорожье, чтоб вместе с храбрыми козаками воевать против неверных... Да... да... ведь он знает отца ее... Откуда б он знал его, если б был простым козаком? И все козаки относятся к нему здесь с таким почтеньем... Да иначе и быть не может: такой красавец, такой рыцарь, разве он мог бы быть простым козаком? Наверное, он славный магнат, известный на всю Польшу! И Марылька снова вызывала в своем воображенье красивое лицо Богдана с его благородными чертами и смелым огненным взглядом. Но при воспоминании об этом огненном взгляде сердце ее начинало биться быстрей, и словно какая-то горячая волна пробегала по всему ее телу. Марылька вспоминала, с каким восторгом остановился Богдан на пороге комнаты, увидевши ее, с какой трогательной тревогой расспрашивал о прошедшем, с каким сердечным порывом клялся заменить ей отца, как целовал ее руку, как испугался при ее рассказе о кафской жизни, как обжигал ее восторженным взглядом своих черных глаз, и при каждом этом воспоминании горячая волна пробегала по телу Марыльки и заставляла биться ее сердце горячей... Да, он послан ей, как избавитель, как спаситель... Он поведет ее далеко, далеко, к какому-то неведомому, но прекрасному счастью...

Какие-то смутные призраки, вызванные разговором с этим красавцем козаком, вставали перед ней; неясные, сладкие мечты зарождались в душе, миражные, неведо-

мые образы то тускнели, то снова выплывали, яркие и прекрасные, перед Марылькой. Глаза ее слипались и снова открывались. Теплота, уютное, спокойное ложе и полная безопасность отгоняли воспоминанья пережитого ужаса и навевали дивные грезы... А чайку между тем покачивало, и эти равномерные движения убаюкивали Марыльку. Образы ее фантазии сливались, принимали все более и более причудливые формы, и среди них являлся неотступно все тот же красавец козак. То перед ней вставал он таким отважным и прекрасным, каким она увидела его на пылавшей галере, то ей казалось, что он любовно прижал ее к своей груди и уносит далеко-далеко по снежной пустыне, то ей мерещилось, что он стоит в порфире *, короне, и она, Марылька, рядом с ним, а вокруг них шумит и кричит восторженно все блестящее лыцарство...

Наконец виденья все потускнели, Марылька свернулась клубочком, как кошечка, и забылась сладким, юным сном. И приснилось ей, что Богдан стоит перед ней на коленях и, охвативши ее голову руками, крепко-крепко прижимается к ее губам. От этого поцелуя какой-то огонь разливается у ней по жилам. Марыльке и жутко, и страшно, и сладко, и сердце замирает у ней в груди...

Дружно гребли удальцы: не изменяла козакам сила, только смены на гребках учащались все больше. Галера была на виду, но чайка заметно выигрывала в беге. Уже солнце, перешедши за полдень, склонялось к рубежу игравшего изумрудами моря; уже этот рубеж начинал зажигаться розовым отблеском, когда заметил дед, что ветер переменил отчасти свое направление и как будто бы стал стихать. Два раза дернул дед за веревку, прикреплявшую полог паруса к чайке, и оба раза почесал себе с досадой затылок. Хотя надутый парус не терял еще красоты своих форм, но по нем пробегали уже струйки какой-то сомнительной ряби, и изредка начинали слышаться тревожные хлопанья.

— А что, диду, стихает? — спросил угрюмо Богдан.

— Что-то похоже,— проворчал дед,— утомилась, спочивать хочет погода... выше еще тянет, чтоб ей пусто

* Порфира — оксамитова, підбита горностаєвим хутром довга керея, яку носили царі і королі.

было, а над водою слабеет... Ишь! — дернул он еще раз веревку.

— Погано,— заметил Богдан,— это им на руку: у них ведь высокие мачты, что звоницы, а у нас... Хоть бы до сумерек дотянуть.

— Да что ж? Часа два осталось, не больше... авось вытянем... лишь бы не улегся ветер с похмелья совсем.

Прошел час. Солнце уже начало окрашивать пурпуром далекий край моря. Огненная дорога протянулась по неоглядной синеющей дали, дробясь на верхушках волн в изумруды, алмазы и яхонты, утопая в далекой пламенеющей бездне. Ветер стихал и стихал. Парус, изморщенный, обвислый, колыхался уныло, издавая слабые звуки шороха, словно хрипы умирающего больного... контур галеры яснел и увеличивался заметно для всех...

Вдруг на носу галеры показалась струя бело́го дыма, и через минуту что-то зашипело вдали и шлепнулось в воду позади чайки, взбив целый фонтан радужной пены... только теперь долетел отдаленный грохот и заставил козаков оглянуться.

— Ишь, уже кашляет! — заметили одни.

— Думала плюнуть, да не хватило духу,— улыбнулись другие.

— А может, и нам, батьку, отплюнуть? — поднялся на ноги черномазый козак, оскалив белые как перламутр зубы.

— Отплюнем небось,— заломил шапку Богдан,— далеко еще, не докинет. А вы, братцы, поналяжьте на весла; ветер нам изменил, да байдуже, и без него справимся: еще какой-либо час — и, хоть бы им повылазило, нас не увидят, а мы еще им, дьяволам, поднесем червоного пивня.

— Любо! Атаману слава! — крикнула вся дружина, и весла начали еще быстрей взлетать над ладьей и дробить в жемчуг темневшие воды.

Но как ни напрягали своих сил козаки, а конкурировать при таких обстоятельствах в беге с галерой было невозможно: последнюю верхними парусами гнал хорошо еще ветер, а чайка, сложив паруса, шла только на одних веслах. Блеснул во второй раз огонь на галере, загудело что-то вдали и резко взбило волну весьма уже близко от кормы.

— А ну, гармаше, гукни теперь и им! — обратился Богдан к черномазому козаку.

Молча последний навел небольшую, с длинным дулом фальконетную пушку и, несколько раз пригибаясь и отклоняясь, проверил прицел и приложил к пановке фитиль: загрохотал выстрел, широкими кольцами побежал белый дым по волне. Затаив дыхание, приставив руки к глазам, уставились козаки зорко в галеру. Вдруг на носу у ней что-то сверкнуло, какие-то щепки полетели кругом и заметались, отскочив назад, черные точки...

— Попало, попало! — крикнули весело козаки.— Молодец, цыган! Спасибо! Вали им еще другую галушку в гостинец!

А солнце уже багровым шаром погружалось в далекие, растопленные червонным золотом воды; еще какие-нибудь полчаса — и козаки уже могли быть покрыты благодетельной мглой. Но галера видимо наседала, пустив, кроме верхних парусов, в ход и весла.

Грянул еще выстрел с чайки; но гаркнула в ответ и галера: ядро с страшным свистом пронеслось над головами козаков, оторвав маковку мачты, и бултыхнулось далеко впереди, в море.

— Ишь, каторжные! — погрозил кулаком дед.— Таки шкоду зробылы!

— Да, близко уже, клятые, пожалуй, не уйти нам до полных сумерек,— процедил сквозь зубы Богдан.— А ну, хлопцы, по два на весла! Нажмите силушку! Солнце спряталось, ползет уже по волнам туман... Только трошечки — и им дуля! — Перебежал меж рядами короткий смех; подсели к гребцам еще козаки, и чайка усиленными толчками начала быстрее скользить.

— А кто, панове-братове, охочий из вас одурить голомозого люлькой? — возвысил голос Богдан.

— Я, я, я! — раздалось со всех сторон.

— Довольно двух: ты, Жук, и ты, Блощица,— указал Богдан рукою на черномазого и на рыжего козаков,— вы в этих фиглях опытны! Возьмите сбитую доску и по короткому веслу да еще по доброй охапке просмоленной пакли, отплывите сейчас далеко в сторону и, когда галера начнет приближаться, закурите люльки, заискрите кресалами, а у нас здесь чтоб и люльки наверху не было,— подчеркнул он значительно.— Галера, заметив огонь, бросится за вами в погоню, а мы тогда

в противоположную сторону, одним словом, «круть-верть — в черепочку смерть».

— Знаем, знаем, батьку! — отозвались охотники.

— Важно! — ободрились все в чайке.

— А коли галера наскочит,— продолжал Богдан,— так вы скорее прячьтесь под ее крутые бока да, прикрепив местах в двух, в трех паклю, зажгите ее... Растеряются небось голомозые, не до вас будет... Ну, а вы тогда нырком да вплавь, душегубка будет настороже.

Торопливо спустили козаки нарочито приспособленную для этого доску, уселись на ней и понеслись незаметною соломинкой в сторону, а на чайке все замолкло и умерло... Сумерки надвигались; но надвигался вместе с ними и грозный силуэт турецкой галеры.

Сумерки сгущались. Прогремел еще один выстрел с галеры, но ядро пронеслось стороной: чайка мертво молчала и пробовала незаметно изменить курс... Вдруг Богдан заметил, что галера начала поворачивать в противоположную сторону.

— Клюет! — сказал он рулевому тихо.— Поворачивай смелей в левую руку, а вы, хлопцы, поналяжьте, только поосторожнее, еще хвылыночку — и ударим лыхом об землю!

— Может, об море! Где тут земля! — захихикал дед, и ближайшие весело улыбнулись, беспечная отвага и удаль подымали бодрость во всех, а риск минуты доставлял едкое удовольствие.

Когда донесся с галеры до козаков треск мушкетов, то чайка была уже далеко в стороне, почти позади неприятельского судна.

— Уж теперь им не до нас! — громко произнес наказной.— Ударьте смелее в весла — и гайда против ветру!

Дружно всплеснули весла, раздался упругий толчок, один, другой, третий,— и чайка понеслась трепетно в лиловую мглу. Силуэт галеры тонул вдали, расплываясь в тумане колеблющимися очертаниями, а сумрак полз и закрывал отчаянных удальцов от преследований врага...

Прошло несколько времени. Ветер совсем упал. Море ласково закачало бежавшую по зыби ладью. Кругом стало тихо и мглисто.

— Ну, друзья, теперь уже миновала опасность... Поблагодарим господа! Хай кроет его ласка от бед наших спасителей братьев! — перекрестился Богдан широким крестом, а за ним обнажились набожно головы всех козаков и послышался сочувственный вздох.

— Смотрите, братцы, вон! — засуетился один козак и привстал даже на гребке.

Все оглянулись и увидели далеко впереди дрожавшее и расплывающееся кровавым светом в тумане пятно.

— Зажгли, ей-богу, зажгли галеру! — хлопнул он энергично в ладони.— Молодцы! Лыцари!

— Славно! Вот так потеха! — заволновались кругом.

— Значит, детки мои пока еще живы! — заметил радостно дед.

— Слушайте, братцы,— поднял голос Богдан,— весла отставь! Теперь поночи черта пухлого нас найти, да никакой безмозглый не погонится... а нашим орлам нужно дать знать, где мы. Так запалите кто паклю и на весле поднимите повыше!

Подняли наскоро слепленный факел, через небольшой промежуток времени зажгли и другой... А пожар на галере не потухал, зарево становилось все ярче и ярче; мигающий, кровавый свет освещал уже почти полгоризонта и отражался зловещим трепетом в поднебесье.

Наконец послышались невдалеке тихие всплески, и на темно-красных, сверкающих алыми бликами волнах показался челнок с двумя фигурами.

— Наши, наши! — посыпались навстречу им радостные возгласы.— Все, слава богу, целы!

И добрые молодцы вскоре были пересажены из душегубки на чайку при восторженных криках и объятиях атамана и друзей...

Почти целую ночь без устали гнали чайку козаки; сначала они забирали все в сторону от пылавшей галеры, служившей им теперь маяком, а потом поворотили прямо на север к предполагаемому Буджацкому берегу. Когда перед светом маяк совершенно исчез или, быть может, погас, Богдан приказал отдохнуть козакам, не смыкавшим три ночи глаз, и, поднявши парус да поставивши по сменам вартовых, улегся сам на свернутых канатах, подложив лантух с сухарями под голову.

Прошла ночь совершенно спокойно. К рассвету опять посвежел ветер, и парус снова принял грациозные формы; чайка понеслась со среднею скоростью, разрезывая и опережая угрюмые волны. Наступил рассвет. Проснулись ободренные сном козаки, а еще раньше — Богдан; он уже на рассвете был у каюты, но панна спала, и он, умилившись издали ее чудной красой, на цыпочках отошел от заветной двери наверх.

— Диду, как вы миркуете относительно этой панны,— обратился как-то робко и тихо к старцу Богдан.— Ведь ей все-таки неудобно быть между нами ни в женской, ни в турецкой одеже... и как-то не личит, да и опасно — всякие встречи могут быть: еще пока бог донесет до берега, а там тоже по татарским степям пока доберемся до родной границы — всего может статься...

— А так, так, сынку, я и сам об этом подумывал,— уставился в помост дед,— перерядить бы ее в наше?

— Добре б, да где его на такую дытыну достанешь?

— Стой, сынку! — поднял голову дед, весело улыбнувшись.— Я между добычею галерною видел много детских уборов и турецких, и наших: должно быть, собачьи неверы для своих хлопцев везли.

— Расчудесно! — восторженно потер руки Богдан.— Вот так хлопец будет, просто чудо!

Вскоре было найдено между рухлядью несколько подходящих пар и обуви, и одежды, и даже шапок; все это взял с собою Богдан и, незаметно спустившись к каюте, передал в двери панне, сообщив ей, что для удобства в пути и для безопасности лучше нарядиться в мужской костюм, тогда он-де представит ее товарыству и поручит его защите.

Когда запорожцы сидели за утренним сниданком и уписывали сухари с салом, Рябошапка сделал батьку атаману знак, и Богдан, спустившись вниз, не замедлил ввести с собою молоденького джуру. Взглянули козаки на атамана-батька с этим хлопчиком и разинули рты от изумления: Марылька в новом наряде была обворожительно хороша и своим задорливым выражением вызывала даже на суровых лицах улыбку восторга.

— Панове товарыство,— выдвинул Богдан Марыльку немного вперед,— вот вам и дитя нашего дорогого...— оборвал он речь, спохватившись, и добавил, бро-

сивши на всех многозначительный взгляд,— родственница покровителя нашего, канцлера Оссолинского... Любите же ее и жалуйте: раз спасли от смерти, та́к и доставьте отцу либо дядьку в невредимости.

— Головы положим, пане атамане, а не дадим и волосинке пропасть! — зашумели козаки.

— Я, пышное лыцарство, и мой отец,— поклонилась низко Марылька и вспыхнула вся ярким полымем,— будем век помнить вашу ласку, а для меня это время, что бог мне судил провесть с вами, и эта славная одежа будут найлучшими воспоминаниями в жизни.

— Слава джуре! Слава пышной козачке! — замахали шапками запорожцы, приветствуя своего нового товарища гостя.

— Разумная головка, славная дытынка! — погладил дед по шелковистым кудрям Марыльку.— Садись вот сюда, возле меня,— моим внуком будешь,— усадил он возле себя счастливую от приема паненку,— и не побрезгай нашим хлебом-солью... А что, детки, хорошего внука придбал? — обратился он к товарыству, добродушно покачивая головой.

— Писаного, что и толковать! — отозвались одни.

— Такого бы и вспрыснуть не грех,— улыбнулись лукаво другие.

— А что ж, коли след, так и след,— весело промолвил Богдан, кивнув на кашевара; несмотря на все желание скрыть свою трепетавшую радость, она пробивалась у него и в движениях, и в очах, и в улыбке.— Намучила ведь нас минувшая беда до знемоги, так можно козаку и подкрепиться чарчиной-другой... да и нашим славным люлешникам, что посветили и голомозым, и нам, нужно тоже, братцы, воздать честь.

— Слава, слава атаману-батьку! — воскликнули все и загалдели, оживленно жестикулируя и смеясь.

Выпили козаки по ковшу, по другому, закусили таранью да и закурили свои походные люльки.

— А ну, на весла, братцы! — скомандовал Богдан, становясь возле рулевого.— По моему расчету, должен быть скоро и берег, так нельзя доверять чайку одному ветру, а то, при тумане, может так шарахнуть о скалы, что и зубов не соберешь.

— И по-моему, вот-вот должен быть берег,— всматривался во мглу дед,— так, на меня, и парус убрать бы...

Время шло. Парус убрали. Гребцы осторожно гребли. Рулевой и Богдан зорко смотрели вперед. Дед со своим новым внуком стоял на носу и следил за волной.

— Стой! Берег! — крикнул неожиданно дед.— Волна пошла назад! Поворачивай впоперек и осторожно рушай!

Предостережение деда было в пору: через полчаса тщательных исследований дна и местности чайка наконец пристала к пустынному берегу; линия его, иззубренная обвалами, краснела и терялась в тумане; невдалеке, на плоской возвышенности, было разбросано несколько татарских саклей; некоторые ютились у самого моря.

— Смотри, не Хаджибей [101] ли? — пристально рассматривал дед этот поселок.

— Он и есть,— подтвердил Богдан,— не сгинула доля козачья! Лучшего места и придумать нельзя: и Очаков, и Кимбург позади, а до Аккермана [102] далеко... По Каяльнику так вверх и двинем... Уж коли бог на море помиловал, то суходолом доведет нас и до кошевого.

— Отчего не довесть, доведет,— отозвался черномазый козак,— только коней чертма, вот что досадно.

— А собственные? — подмигнул дед.— «Пишкы немае замишкы».

— Да,— улыбнулся Богдан,— non habetur subaqua pichotarum debes! *

— А, вот только,— почесал дед затылок,— где мы поденем войсковую добычу? Не зарыть ли где тут?

— Нет, диду,— ответил Богдан,— возьмем лучше с собой: нужно в Хаджибее купить одну или две арбы и коней, сколько найдется... Ступай-ка ты, брат Черномазый, ты ведь по-татарски добре маракуешь, возьми с собой еще кого для помощи, да переоденьтесь в басурманское, а то, как увидят христианскую одежду, так всполошатся и знать дадут.

— Я мигом,— почесал усердно грудь и спину козак,— а ну-ка, Рябошапко,— обратился он к одному из товарищей,— отыщи нам важнецкую сбрую!

---

* Не имея подводы, нужно ногами.— В давнее время бурсаки, ради остроумия, переводили некоторые русские слова на латинский язык,— так sub — под, а aqua — вода, а потому подвода — subaqua. *(Прим. автора)*.

Переоделись Черномазый с Рябошапкой, при общих остротах и смехе, а через час, не больше, на берегу стояли уже две высокие двухконные арбы. В них были сложены наскоро припасы и захваченная добыча. Богдан предложил было и Марыльке сесть в арбу, но панянка решительно от этого отказалась и захотела, при общем одобрении, разделять с козаками все неудобства пути.

Окружив свои арбы, козаки под прикрытием тумана двинулись вверх, придерживаясь берегов длиннейшего озера Каяльника. Без всяких приключений, не замеченные никем, достигли они устья впадающей в озеро реки и сделали небольшой привал.

Сейчас были собраны из валежника костры, на них кашевары устроили на треножниках казаны, и вскоре в них закипел кулиш, разнося в чистом воздухе аппетитный запах подшкваренного сала. Живописными группами разлеглись на кереях козаки, смакуя и затягиваясь своими носогрейками.

Перед подвечерком козакам поднесено было по ковшу оковытой.

— Вспомянем, друзи,— сказал Богдан,— наших товарищей! Разметала их пригода и буря по морю... Уйдут ли от лиха? Так выпьем же за их долю да за то, чтобы послал бог нам, братьям, вместе собраться!

— Дай боже! — вздохнули все искренно и осушили ковши.

Усталые, голодные, подавленные роковою неизвестностью за судьбу своих собратьев, козаки принялись за кулиш и молча хлебали его своими ложками, поддерживая их куском хлеба.

— Кошевой, сдается, на Сарыколи,— не то спросил, не то заметил про себя среди общего молчания дед.

— Да мы туда и прямовать будем, обогнем Каяльник и туда,— ответил не глядя Богдан; он был погружен в глубокие думы и бросал исподлобья украдкой нежные взоры на восхитительное личико джуры, а тот уже успел завладеть общими симпатиями. Ловкое подыгривание и вместе с тем простота обращения со всеми красавца хлопца обнаруживали в нем тонкий житейский такт; бросаемые им Богдану изредка фразы дышали и теплотой, и кокетством, но не давали повода ни к какой подозрительности, тем более, что джура держался все время подле деда.

Улучив минуту после подвечерка, Марылька подошла тихо к Богдану и шепотом обратилась к нему:

— Исполнит ли тато мою просьбу?

— Все, что только в моей силе,— ответил горячо Богдан.

— Так вот что, мой дорогой спаситель: все может статься... на нас могут напасть... Так если это случится, то я умоляю пана: убей меня своею рукой, а не давай в полон; я не хочу больше... слышишь, не хочу больше переносить позора после встречи с моим татом... это невыносимо!

— О моя дорогая доня, дитятко милое! — произнес взволнованным голосом Богдан.— Но к чему такие мысли?

— Дело походное... Так убьешь меня, тато, если что?

— Никому не отдам тебя, верь! — промолвил торжественно Богдан и с чувством сжал нежную и тонкую руку.

К вечеру козаки подъехали к степному лесочку, гайку, за которым местность понижалась видимо к реке. Еще не доезжая до гайка, заметил Богдан движение каких-то точек вдали, а потому и решил укрыться в леску, покуда не будет сделана точная рекогносцировка. Дед взял Черномазого и отправился на опушку осмотреть долину, пока еще не зашло солнце. Вскоре он возвратился и сообщил, что в долине, у реки, кто-то стоит лагерем, по всей вероятности, татарский загон.

— Нужно в этом удостовериться,— сказал озабоченно Богдан.— Кто, панове, пойдет на разведку?

— Да я ж,— подхватился дед первый.— Биться не сдужаю, а разведать — разведаю: все ихние уловки знаю.

— Да вы ж, диду, недобачаете?

— Я с собою молодые очи возьму,— взглянул дед на Черномазого.

— Спасибо за ласку,— весело вскрикнул тот.— Я вас ни за что не покину.

Взяли козаки с собой по краюхе хлеба и отправились на разведки. За леском начинался покатый спуск к реке, усеянный мелким кустарником; ползти между ним было чрезвычайно удобно и при наступавших, все еще мглистых сумерках решительно безопасно; в десяти шагах наши разведчики не могли разглядеть друг дру-

га, и только легким свистом, напоминающим ночных птиц, удерживали между собой расстояние, а при малейшем подозрительном шуме заползали в кусты.

Ползут козаки, прислушиваясь да оглядываясь. Время тоже ползет; сумерки сменила темная ночь, а нет конца этой покатости; или истомились они, или сбились, не туда поползли? Но дед опытен и в этом случае маху не даст: он не раз прикладывает ухо к земле и слышит далеко, что на ней деется.

— Лагерь близко,— шепчет он подползшему к нему Черномазому.— Я уже слышу говор и топот.

— Так тут скоро и разъезды вартовых будут,— заметил Черномазый.

— Да, скоро, вот, кажись, сюда и приближается пара коней,— прислушивался к земле дед,— именно сюда... Отползи, на случай, и спрячься в кустах.

— Да их тут почти нет, там разве? — отползал торопливо Черномазый, присматриваясь напряженно кругом.

Между тем всадники приближались: уже ясно слышался в ночной тишине топот коней, а Черномазый искал торопливо куста и не находил.

«Черт их знает, куда провалились они! — мелькали у него в голове тревожные мысли.— В темноте прямо могут наехать, лежа и не уклонишься, а они вот-вот, близко»,— и Черномазый даже поднялся на ноги, уходя торопливыми шагами от приближающегося шума... Вдруг ему показалась впереди какая-то широкая тень, вроде куста, и он стремительно бросился в нее: но не успел Черномазый войти в этот куст, как раздался страшный трескучий шум со свистом... Молодой козак вскрикнул от неожиданности и присел. Только по прошествии нескольких мгновений он догадался, что это было огромное стадо куропаток, всполошенное им на ночлеге; но эта догадка не поправила уже дела: крик его был услышан, и вартовые рысью пустились к этому месту.

Пробежала тонкая струйка мороза по спине Черномазого, и он поспешил залезть в куст и затаить дыхание, а всадники уже кружились на месте, где притаились наши лазутчики.

— Тут ведь крикнул, чертяка,— отозвался один.

— Да, тут, чтоб его ведьма накрыла,— ответил другой.

Едва услыхал родную речь дед, как схватился и закричал радостно:

— Свои, свои, сынку, свои!..

— Где? Что? Кто такие? — подъехали изумленные всадники.

— Свои! Запорожцы из Хмеля батавы!

— Вот они кто! Кажись, дед Нетудыхата! — присматривался один, слезши с коня.

— Он самый. Почеломкаемся, сыну!

И козаки начали обниматься.

Прибежал и Черномазый, весело приветствуя своих друзей.

— Да вы-то кто такие? — спросил, наконец, дед.

— Мы из лагеря Пивторакожуха.

— Так это он тут стоит?

— Он самый.

— Вот привел господь! — перекрестился дед.—А мы-то вас по степи ищем!

— Только, братцы, беда,— сообщил один из вартовых,— умирает наш кошевой, лежит на смертной постели.

— Ох, горе! — встревожился дед.—Так поспешим же к наказному и сообщим ему все.

Вскоре козаки были разбужены радостным известием, что у реки желанный лагерь, а вместе и поражены были тем, что кошевой умирает. Не дожидая утра, все двинулись поскорей присоединиться к братьям, а Богдан, выпросивши у вартового коня, полетел туда первым.

Желтый, с обрюзглым лицом и воспаленными глазами, лежал распростертый на керее атаман; изголовьем ему, вместо подушки, служило небольшое барыльце, прикрытое красной китайкой; над ним возвышалось малиновое знамя; сбоку лежала булава, а в ногах скрещенные бунчуки. Несмотря на наступившую уже агонию, сознание еще не покидало кошевого, и он прощался мутным, тоскливым взором со стоявшею вокруг старшиной, склонившею в безотрадном молчании свои чубатые головы. Неожиданный приход Богдана встрепенул изумлением и старшину, и умирающего атамана; у последнего даже вспыхнули снова потухающие глаза и оживились мертвеющие черты. Богдан обнялся молча с старшиною и, устремив полные слез глаза на Пивторакожуха, сказал ему взволнованным голосом:

— Что это ты задумал, друже мой любый?

— Да вот не поладил с курносой... Доехала паниматка! — ответил тот глухим, хриплым голосом, произнося невнятно слова.— Ну, да начхать! А как ты справился?

— Да и нам, батьку, не поталанило,— вздохнул глубоко Богдан,— буря страшная, невиданная разметала чайки сейчас же за островом Тендером так, что нас собралась только меньшая половина, а остальные либо вернулись назад, либо на дне успокоились,— помяни, господи, души их! — перекрестился он набожно, а за ним и старшина.— Ну, мы, собравшись, таки сожгли две турецкие галеры, но при страшных туманах не могли держаться в море и подались от преследований к Буджацкому берегу... Я вот прибыл со своей чайкой, а завтра или послезавтра будут, верно, и все остальные.

— Ну, что ж,— задыхался и хрипел все больше и больше кошевой,— доля что баба: дурна и зрадлыва... И на том спасибо, когда б только остальные хлопцы вернулись... А король и за две галеры будет доволен, да, может, еще братчики пустили какую на дно... Спеши, Богдане, к нему... он в Каменце... Похлопочи... передай, что его волю чинили... на погибель шли... так пусть смилуется... сглянется... А ты, Кривоносе, заступишь меня... подождешь здесь остальных и отведешь войска в Сичь... Туда нужно все силы стянуть... Ярема ведь грозит.

Больной начал метаться с раскрытым ртом и выпученными глазами; он, видимо, старался вдохнуть воздух и не мог.

— Все исполним,— сказал давящимся голосом Богдан и отвернулся.

Кривонос стоял мрачной статуей, с лицом, перекошенным от злобы на невидимого врага, сжавши с угрозой кулаки.

— Гаразд, брате! — крикнул Кривонос и, вытянув саблю, добавил: — Она будет свидком.

Умирающий попробовал было улыбнуться, но страшная судорга искривила его лицо.

— Прощайте, не поминайте лихом! — едва слышным шепотом произнес он, закатывая под лоб глаза.

Потом вдруг неожиданно, с мгновенно воскресшею силою, он поднялся, сел и, устремивши вперед безумные очи, крикнул с пеной у рта:

— Что ж ты, безносая, думала испугать козака? Экая невидаль! Наплевать! — и он рухнулся навзничь.

Исполнили волю умершего товарищи-козаки, распили за упокой души его бочку горилки и похоронили в ней своего кошевого с песнями, сложенными товарищами-друзьями для этого печального случая.

Похоронивши кошевого атамана и разузнавши от прибывших в лагерь запорожцев, что все чайки благополучно спаслись от преследования, Богдан поручил дальнейшую судьбу своих товарищей Кривоносу, а сам, по настоянию старшины, поспешил в Каменец. Сопровождаемый несколькими проводниками, знавшими хорошо Буджацкую степь, Богдан с джурой Марылькой торопливо выехали из лагеря и направились прямо на северо-запад к воротам, образуемым истоком двух рек — Кадыми и Ягорлыка, за которыми уже расстилался родной край — Украйна. Мили две за Сарыколью еще тянулись легкие покатости, пересекаемые неглубокими балками, а дальше раскинулась бесконечная степь-равнина, принявшая наших путников в свои объятия. Прошлогодняя, некошенная и истоптанная трава, примятая только снегом, лежала теперь мягкими волнами и отливала всеми тонами старой бронзы и золота; между ней бодро пробивались вверх бархатные щетки свежей изумрудной зелени, игравшей в иных местах целыми пологами нежных цветов. Ласковый ветерок, напоенный их ароматом, освежал живительно грудь и пробегал легкой волной по этим живым роскошным коврам. Степь дышала и жила тысячью звуков; со всех сторон откликались перепела, деркачи, журавли, стрекотали стрекозы, а между махровыми будяками жужжали шмели, откуда-то издали доносился стон выпи... Жаворонки вылетали постоянно из-под ног коней и, стрелою поднявшись вверх, замирали с радостною трелью в лазури, а потом комочком падали и ныряли в зеленых волнах травы; высоко, едва заметными точками парили широкими кругами степные орлы. И майское утро, и необъятный простор, и прелесть блистательных красок не производили, впрочем, на наших путников чарующего впечатления; молча, погруженные в думы, ехали они крупною рысью по этому зеленому морю, не обращая внимания на развертывающиеся перед их глазами красоты; одни лишь проводники зорко следили по сторо-

нам; но никакой подозрительный след, никакой посторонний звук, кроме ликующей степи, не подымал в них тревоги.

. Сжав брови и уставившись глазами в шею коня, Богдан думал о предстоящем свидании с королем, и эти думы проходили легким трепетом по его смущенной душе: он знал, что Владислав IV был рыцарем по убеждениям, доблестным героем в битвах и относился всегда с большою любовью к храброму козацкому войску и ко всему украинскому народу, но он знал также и то, что власть короля падала в Польше с каждым годом, а вместо нее вырастало своеволие и распущенность магнатского сейма. Это бесправное положение давно уже тяготило короля: в своеволии шляхты, в бессердечном угнетении народа он усматривал гибель отчизны и всеми силами старался противиться ему. Но что мог он сделать один, без войска, без власти? «О, если бы он согласился опереться на нас,— думал Богдан,— сто тысяч, двести тысяч войска собрали б мы ему! Пускай бы тогда поспорило с королем можновладное панство! Все бы вместе с королем явились мы вооруженные в сейм. И он уравнял бы нас в правах с остальными детьми отчизны, облегчил бы наш несчастный народ, успокоил бы нашу святую веру, и благо и справедливость водворились бы в целой стране!» Даже жаркая краска бросилась в лицо Богдану при одной мысли о возможности такого счастья, дыханье сперлось в его груди. Он обмахнул свое пылавшее лицо, облегчил грудь вздохом и продолжал дальше свои размышления.

И все это так возможно, так вероятно, только больше веры, больше энергии, а силы найдутся: за одно слово короля все пойдут, как один... козаки, посполъство, да что козаки — бабы с рогачами, дети с палками — все подымется за ним, лишь бы избавиться от панской кормыги. Уж и накипела ж эта ненависть в груди у всех! Эх! Только захочет ли король стать в опасную борьбу с сеймом или побоится рискнуть последними остатками своей власти? Правда, от имени короля были поручения козакам, исполненные последними добросовестно; но признает ли их король за свои или отречется — вот вопрос, а если отречется, если это была лишь интрига его клевретов, то в каком фальшивом положении очутится перед его пресветлой особой сам Богдан? При

таком обороте дел его, конечно, не пощадит Конецпольский, а что тогда станется с семьей? Пока он был за нее совершенно спокоен: Ганна, преданная, редкой души Ганна, заменяла семье его и хозяйку, и мать, а покровительство Конецпольского защищало имущество его от панских наездов, но при неудаче все может рушиться... Да это еще полбеды, а что он скажет козакам и народу? Ведь он же, Богдан, и распинался за короля! Оттого-то в эту минуту не за себя болел душою атаман, а за свою несчастную родину. В лице короля она еще уповала найти себе покровителя; но если ее упования оказались бы ложными, то тогда последняя надежда рвалась и отчаянье водворилось бы в обездоленном крае.

Среди всех сомнений, терзавших Богдана, врезывались еще огненной ниткой в его сердце думы и про панну Марыльку. Богдан не хотел и боялся сознаться, что этот прелестный, полувзрослый ребенок произвел на него, закаленного в бою козака, неотразимое впечатление. И трогательная забота о судьбе этой панночки, и нежная привязанность к ней объяснялись и оправдывались им клятвою, данною умирающему товарищу,— заменить сиротке отца... Но тем не менее, все эти чувства мутили его ум трудным вопросом: пристроить ли ему Марыльку в какой-либо магнатской семье или взять ее к себе за родную дочь? Последнее положение льнуло к его сердцу отрадой, но было неудобоисполнимо: согласится ли панна променять блестящую долю магнатки на скромную роль козачки, да и допустят ли до этого паны, ее родичи? Нет, нужно выкинуть из головы весь этот чад,— и не пристал он козаку, и стыдно в такие тяжкие минуты о пустяках думать! Вот только клятва, да жаль сильно сиротку... тут нет ничего предосудительного... Что ж, он доложит и об этом королю или канцлеру, и если они поручат ему, Богдану, опекунство, то он исполнит любовно и щыро свой долг и заменит ей, бедной, и отца, и друга... А если король на себя возьмет покровительство, то тем самым разрешит его, Богдана, от клятвы... Вот о чем мучительно думал Богдан, забыв даже закурить свою походную люльку.

Марыльку также тревожила неизвестность и неопределенность ее дальнейшей судьбы. Найдет ли она своего отца, где он? Мучительно вставал перед нею этот вопрос, и, чем больше они приближались к родной гра-

нице, чем дальше оставляли за собою все опасности, тем он неотразимее вонзался в ее сердце и требовал ответа. Если найдется отец, тогда возвратятся для нее вновь светлые, теплые дни ее улетевшего детства, а если нет? Холод пробегал змейкой по спине. Неужели ее отдадут этому страшному дяде, этому зеленоглазому Чарнецкому? Или, быть может, Богдан возьмет ее к себе? Но кто он сам? Козацкий атаман. Козак — не шляхтич, почти что хлоп...— надувала она недовольно свои прелестные губки. Хотя он и одет богато и в обращении не похож на своих товарищей, а на настоящего уродзоного шляхтича, но все же — козак! Живет, верно, в хате, без роскоши, без почета, пожалуй, еще и без слуг! Неужели же она после блеска и поклоненья, к которым привыкла, должна будет жить как простая козачка? «О нет, нет, нет! — вспыхнула вся Марылька и подняла горделиво головку...— А между тем и расстаться с ним жалко... право»,— продолжала она свои размышления, бросая косые взгляды на прекрасное, мужественное лицо Богдана, погруженного в глубокую задумчивость; такой красивый, статный, отважный и сильный... подымает ее, как перышко... да и любит, и жалеет ее, как доню,— улыбнулась сама себе Марылька, чувствуя в глубине своей тщеславной души, что то чувство, которое она угадывала в душе козака, было для нее и горячее, и обаятельнее чувства отца... О, да один взгляд ее синих глаз заставлял меняться лицо этого отважного рыцаря... Марылька сознавала это, и это сознание доставляло ей огромное удовольствие. Да, хорошо бы иметь его всегда при себе, покорять одним взглядом, чувствовать, как вздрагивает его рука от прикосновенья ее руки, ласкать его... да, и ласкать... но хата... хата! — вспомнила опять Марылька и снова вспыхнула от оскорбленной гордости: она, Марылька, уродзоная шляхтянка... о, в таком случае, лучше уж было ей оставаться в Кафе, чем погубить свою жизнь в козацкой хате! Однако покуда он единственный ее покровитель, и лучше уж остаться до времени у него, чем попасть в руки Чарнецкого. Погруженные так каждый в свои сомненья, мысли и предположенья, Богдан и Марылька продолжали молчаливо свой путь.

Когда на другой день путники обогнули в истоках

Ягорлык-речку, то Богдан остановил коня, снял шапку и осенил себя широким крестом.

— Возблагодарим, братцы, бога,— произнес он торжественно,— что укрыл нас от напастей и сподобил невредимыми узреть родной край. Это уж наша христианская, святая земля! Витай же нас, своих деток, мать родная! Да пошлет нам господь в делах поспешение, а тебе, бесталанной, утеху!

Все сняли шапки и набожно перекрестились.

— Тато,— обратилась Марылька к Богдану спустя несколько времени,— вот теперь мы уже у себя дома, так ты, пане, не откажешься, как и обещал, отыскать мне моего отца? Ведь твое слово крепко?

— Я его никогда не ломал,— вздохнул Богдан и загадочно посмотрел на Марыльку,— но если, не взираючи на все усилия...

— Ай, и не говори, тато! — прервала его Марылька, всплеснув руками.— Ты найдешь, ты все для меня сделаешь, я тебе одному на всем свете, тебе только и верю...

— Родненькая моя, спасибо,— прошептал тронутый Богдан,— я докажу... Только видишь ли, нужно милосердного воле кориться...

Хотел он было сообщить ей о смерти отца, но, взглянув в эти чудные, переполненные слезами глаза, пожалел ее и замял речь.

— В чем кориться? — переспросила испуганная Марылька, широко раскрыв свои синие и глубокие, как лесные озера, глаза.

— Да во всяких бедах и невзгодах, какие нам господь посылает,— уклончиво ответил Богдан, смотря в сторону,— иное-то лихо сразу покажется неподужным, жестоким, а глянешь — и отошло, да еще за собою накликало счастье. Ничего-то мы не ведаем, что ждет нас завтра,— и это благо, а то отчаянье сокрушило бы нас... Вот и ты, кажись, уж была в омуте, а не повези тебя на продажу в Царьград,— никто бы к тебе не явился на помощь!

— Мой отец не забыл бы меня.

— Забыть бы не забыл, да что толку? Где искать? Свет ведь широкий! Только случай мог натолкнуть... Да и то ты едва не погибла.

— Ай,— закрыла Марылька глаза,— и не вспоминай, пане!.. Я не могу забыть этого ужаса.

— То-то, голубко моя, коли господь вырвал тебя из пекла, значит, над тобой его милость, значит, он бережет тебя для блага, для счастья...

— Господи! — вскрикнула искренно, радостно, совсем по-детски Марылька.— Не нужно мне никакого счастья, лишь бы при мне были оба мои татуни...

— Ну, один на лицо,— улыбнулся восхищенный Богдан,— а другого будем искать...

— А пока найдем, пан будет мне и за пана, и за тата,— сдвинула Марылька набекрень шапку.

— Эх, квиточко моя,— вздохнул незаметно Богдан,— это ты говоришь здесь, в степи, будучи еще чистой дытынкой, а когда вырастешь в блеске да неге, когда блеснешь царицей в салонах да наслушаешься сладких речей от вельмож, то и забудешь своего козака-тата, постыдишься даже и вспомнить о нем.

— Никогда, никогда, никогда!— запротестовала Марылька,— и в голосе ее послышалась обида, а на ресницах задрожала слеза.— Разве я такая? Ничего мне не нужно,— оборвала она горячую речь, а в голове ее, между тем, промелькнуло невольно: «А впрочем, салоны и магнаты — это тоже, должно быть, заманчиво».

— Дай бог,— сверкнул глазами Богдан,— а на щыром слове прости!

— Батьку атамане,— прервал их разговор неожиданно прискакавший козак,— проводники спрашивают, куда держать путь: на Бар или на Ушицу?

— На Бар бы хорошо,— протянул Богдан соображая,— Богуна увидеть, разузнать, что делается, как его справа? Да круг большой, короля упустить можно... Нет! Торопиться нужно,— сказал он решительно,— пусть на Каменец ведут кратчайшей дорогой...

За Ягорлыком сразу изменился характер степи. Равнина стала волнистой, начали попадаться широкие, отлогие котловины,— вдали на горизонте слева показалась синяя полоска приднестровских гор. Чем далее подвигались наши путники на северо-запад, тем чаще стали им перерезывать путь глубокие долины; эти долины с мягкими склонами, по мере приближения к Днестру, обращались в крутые овраги с ущельями, с каменными глыбами, с стремнинами, поросшими грабом и дубом,

с нагорными речонками, прыгающими глубоко внизу по каменным ступеням.

Иногда на самом дне оврага, за нависшими скалами, за группой густых тополей ютилась и пряталась уединенная хатка или небольшой хуторок; здесь наши путники и останавливались либо на попас, либо на короткий ночлег. Недружелюбно и подозрительно принимали сначала хозяева этих хаток гостей, прячась от них в соседних лесах; но, разведавши, что это свои козаки, а не панская дворня, возвращались охотно домой и радушно угощали путников всем, чем могли. Богдан расспрашивал их, конечно, про местное положение дел, про доходившие до них слухи относительно мероприятий панов,— и везде получал неутешительные известия. Все эти поселки в диких, незахваченных еще панскими руками местах были основаны беглецами от панской неволи, которая в больших слободах уже начала уничтожать все договорные льготы переселенцев и нагло обращать подсусидков в рабов; протесты последних подавлялись везде нахлынувшими жолнерами, а своих козаков для защиты уже не появлялось: так вот люди и разбежались — то основывать вольные хутора, то искать ватажков для вольного промысла, и только лишь многосемейные покорились до поры, до времени своей доле.

Поселившиеся в оврагах беглецы мало, впрочем, знали о позднейших событиях: они вели скрытую, отшельническую жизнь, проникая изредка, воровским способом, в местечка за необходимыми припасами, а потому ни про Богуна, ни про Нечая ничего не слыхали; одно только могли они сообщить, что люд вообще притих и замолк.

Богдан, впрочем, и не старался особенно выпытывать обо всем у хуторян-беглецов: он спешил в Каменец и весь был поглощен интересом предстоящего свиданья с королем. Путники, понукаемые им, ехали так торопливо, что на пятый день показалась уже на горизонте каменецкая крепостная скала.

Издали эта неприступная крепость казалась каким-то колоссальным поршнем, торчащим в черной дыре гигантской, широко раскинувшейся воронки; но, по мере приближения к ней, пологие края котловины сливались с дальними горизонтами, а скала вырастала и выраста-

ла, становясь господствующей над ближайшими окрестностями.

Когда путники подъехали к самому краю страшного обрыва, что окружал пропастью грозную скалу, они окаменели на месте, пораженные необычайным явлением.

Дикая, невиданная картина разила мрачной красотой ум и давила унынием сердце. Какие-то страшные геологические перевороты сыграли здесь грозную шутку, раскололи зияющей трещиной скалы и выдвинули из средины бездны колоссальную глыбу. Базальтовый утес цилиндрической формы с источенными и почерневшими от времени боками мрачно поднимался со дна глубокого оврага и возвышался усеченной вершиной сажен на пять над окружающими его противоположными берегами ущелья. Эта пропасть с совершенно отвесными ребрами, глубиной до сорока сажен и шириной почти столько же, правильным замкнутым кольцом окружала утес. Река Смотрич, ворвавшись в это глубокое круглое ущелье, билась бешено с пеной о нависшие над ней скалы и, обогнув их, неслась по мелко-каменистому дну, по рыни *, к Днестру. На плоской вершине этого утеса, имеющей в диаметре до трехсот саженей, сидела неприступная, грозная крепость [103].

Круглые башни, зубчатые муры висели над пропастью и мрачно глядели своими черными амбразурами на окрестность. Ни зелени, ни дерев на этом черном камне не было видно нигде; только сероватый мох старческими лишаями покрывал подножия скал да свешивался в иных местах беспорядочными прядями вниз. Из-за муров выглядывали красными пятнами черепичные кровли, а меж ними возвышались и ярко белели на чистой лазури стройные спицы минаретов [104] и готические стрелы костелов. В одном только месте, по дороге к Хотину, перекинут был через эту пропасть каменный мост; он лежал на каменных сводах, возвышавшихся со дна пропасти лишь до половины высоты окружающих скал, так что к нему нужно было сначала спускаться по крутой, узкой тропинке, высеченной зигзагами в скале, и подыматься по такой же скале вверх на противоположной стороне оврага. С внешней стороны у начала

---

* **Рынь** — гравій.

спуска к мосту возвышались две грозные сторожевые башни, окруженные мурами да рвами и соединенные тайником с главной крепостью; у самого моста при входе и при выходе стояло тоже по круглой башне, через которые и шел узкий проезд, замыкавшийся железными брамами.

С замиранием сердца подъехал Богдан к сторожевой башне и робко спросил у вартового, здесь ли еще пребывает его ясность король? А когда вартовой ответил ему утвердительно, то радости его не было границ: первая и весьма большая удача предвещала ему и остальные. Перекрестившись под плащом, он нырнул под темные своды крепостной башни и, переехав мост и въездную браму, остановился на небольшой тесной площадке в самой крепости [105], поджидая своих товарищей и вдыхая в облегченную грудь удушливый запах чеснока, смешанный с каким-то жирным угаром. Издали доносился к нему стук колес и копыт, глухой говор, смешанный с визгливым криком торговок, а вблизи звенели в кузницах удары молотов и шумели меха.

Не успел остановиться Богдан и подумать, куда бы направиться, как незаметно из соседних переулков его окружила толпа евреев в лапсердаках, ермолках, худых, босых и оборванных; они осадили его целым роем вопросов, просьб и предложений, пересыпая эту атаку боевыми схватками между собою.

— Ясновельможный пане, проше, я покажу отличную квартиру,— хватался один за стремя.

— Пане грабе *, сколько пану нужно покоев? Три, четыре, пять? У меня дешево, пышно! — останавливал другой коня за узду.

— Пане княже, я палац даю, палац! — кричал третий, отталкивая с бранью первого.— Что ты понимаешь! Ведь это ясноосвецоный, а ты — думкопф! **

— Не слушай его, пане: он зух!

— Ах ты, шельма! — схватывались они за пейсы, а четвертый, оттолкнувши бойцов, лез уже почти к карманам Богдана.— Пане, пане! Купи у меня шапку и бурку, сличные... даром отдам!

— У меня, у меня, ясный пане, и сбруя, и седла, и

---

* Пане грабе — пане граф (*польськ.*).
** Думкопф — дурна голова, дурень (*нім.*).

мушкеты, и кожи, и мыдла *, и полотна, и сливы... и такое, что пан только пальцы оближет.

— Геть! Набок! — крикнул наконец выведенный из терпенья Богдан, махнув нагайкой, и повернул со спутниками налево в переулок, решившись приютиться у своего приятеля, даже родича по жене, пана Случевского, который был в Каменце бургомистром. Недалеко, за переулком, стоял во дворе и каменный одноэтажный дом этого пана; туда и заехали всадники.

Хозяева были страшно изумлены приездом Богдана, которого считали уже, по слухам, погибшим, но вместе с тем и обрадовались ему искренно. Богдан представил своим свойкам джуру Марыльку, объяснив, что она дочь польского магната и спасена им из плена неверных. Интересная гостья была сейчас же заключена хозяйкой в объятия и отведена на женскую половину для перемены костюма и для приведения ее в свойственный ей, пышный, восхитительный вид; а Богдан пошел оправиться с дороги на половину Случевского; простые же козаки были помещены в офицынах **.

Через час или два, когда сумерки уже повисли над Каменцем дремотно-серым покрывалом, а в покоях пана Случевского зажглись в массивных шандалах восковые свечи, все общество собралось в обширной светлице, обставленной с некоторой претензией на моду, вторгавшуюся уже из чужеземщины и в захолустья: между старинной, массивной мебелью стоял случайно затесавшийся комод с бронзовыми украшениями и перламутровыми инкрустациями, между рядами икон поместилось внизу, поддерживаемое амурами и нимфами, зеркало; между рамами старинных портретов висела гравюра, изображавшая эпизод из игривых похождений Юпитера... [106]

Все уселись за дубовый, покрытый несколькими скатертями стол и принялись с аппетитом за обильную вечерю. Марылька сделалась сразу предметом общего восхищения. В девичьем роскошном польском наряде, с изящно убранной головкой. она теперь блистала новой, освеженной красой; ни в живых красках лица, ни в блеске глаз, ни в грации ее движений не сказывалось ника-

* Мыдло — мило *(польськ.)*.
** Офицына — прибудова, флігель.

кого утомления, а, напротив, играла и била ключом молодая, цветущая жизнь. Марылька сразу почувствовала в этом салоне свою силу и прикоснулась к яду наслаждения властвовать над сердцами. С детскою наивностью и врожденным кокетством она увлекательно рассказывала о своих приключениях, то трогая слушателей описанием трагических эпизодов и искренностью чувства к благородному рыцарскому подвигу ее спасителя, то смеша их до слез игривыми вставками разных случайностей. Почувствовав себя вне опасности и в родной обстановке, Марылька сразу приняла уверенный тон, даже с некоторым оттенком фамильярности, которая, впрочем, не только не производила неприятного впечатления, а даже поднимала ее в глазах семьи бургомистра как магнатку. Взрослая, молоденькая дочь их, нарядившая гостью, просто не могла оторвать от нее своих глаз.

Марылька платила ей за это милостивой улыбкой и посвящала, ради возникшей приязни, в какие-то интимные сообщения. К концу ужина между ними завязался долгий таинственный разговор.

Пан Случевский расспрашивал между тем Богдана об его похождениях, не скрывая отчасти своих шляхетских симпатий и удивляясь нелепым претензиям козаков, неуменью их ладить с мосцивыми панами, которые все-таки внесли свет в эти дикие края. Богдан, зная политические убеждения своего дальнего родича, не желал с ним вступать в бесполезный спор, а заметил лишь между прочим уклончиво:

— Эх, свате, свате! Не мы идем на погибель шляхетству, а вы!

— Как так? — вытаращил глаза Случевский.

— А так. Недомыслящее шляхетство и его однодумцы желают повернуть весь вольный народ в рабов, в свое быдло, а ведь этот народ есть споконвечный господарь и рабочая сила этой земли. Так как же ты думаешь, свате, если б нас с тобой выгоняли из нашей, кровью и потом орошенной земли, так мы бы ее добровольно уступили и поклонились бы любовно нашим грабителям? Нет! Трупы наши может выволокли б, но не нас... А если бы из нас какой-либо куроползох и остался живым, то шляхетский пан нашел бы себе в нем вечного, непримиримого врага... А ты прикинь-ка разумом,

сколько таких врагов пришлось бы на пана? Вот смотри,— Богдан взял в горсть поджаренного, смаженого гороху и несколько фасолин, положив последние сверху, он встряхнул горстью, и фасоли исчезли между горохом,— а ну, поди, поищи теперь твою фасоль!

— Ловко! — усмехнулся Случевский. Пани переглянулись, а Марылька с испугом остановила глаза на Богдане. Что старался доказать Богдан, она себе не уяснила, но из его слов она поняла две мысли, которые ее и испугали, и изумили: во-первых, то, что Богдан считает быдло властителями земли, а во-вторых, желает что-то весьма недоброе шляхетству.

— Видишь ли, свате,— продолжал между тем Богдан снисходительным тоном,— для того, чтобы шляхетство жило и пановало, нужно, чтобы оно было в дружбе с народом, чтоб оно ему было полезным просветителем и помощником, защитником даже его прав, тогда и шляхетство будет иметь от народа пользу, даже и маетности панские дадут больше прибыли... Верно! Ты вот, свате, заезжай, с ласки, в мой Субботов, так увидишь, какое это золотое дно, а у меня ни рабов, ни подневольного люду нет!

«Так и есть,— подумала про себя Марылька — ни рабов, ни подневольного люду, значит, простая козацкая хата; одначе говорит сам — золотое дно... ну, а все-таки...» — надула она губки и начала прислушиваться к дальнейшему разговору.

— Да ты, свате, голова, что и толковать,— подливал в кубки меду Случевский,— жалко, что ты с нашим канцлером не потолкуешь: он, говорят, тоже что-то против вольных сеймов, против магнатства.

— Разве ясноосвецоный пан Оссолинский здесь? — спросил Богдан и обменялся взглядом с Марылькой.

— Если сегодня не выехал, потому что завтра отъезжает и его ясность король.

— Завтра? Что ж это я? — поднялся со стула Богдан и стал тревожно прощаться с хозяевами,— простите, мне дорога минута... Я к Оссолинскому.

Марылька также приподнялась невольно со своего места и побледнела.

На дворе стояла ночь. По небу ползли прядями облака; кое-где между ними сверкали еще тусклые звезды.

Богдан шел торопливо по узкой кривой улице, пустынной и мрачной; сердце его сжималось непонятною тревогой: в первый раз ему придется поговорить с канцлером о делах лично,— оправдаются ли заветные ожидания, или рассеются последние надежды? А если даже не примет?.. Досада разбирала Богдана за убитое время у свата, и он поспешно шагал, нахлобучив сивую шапку и завернувшись в керею.

Вот и торговая площадь, обставленная высокими каменицами (каменными домами), с лавками и подвалами в первых этажах; теперь широкие кованые двери закрыты; под сводчатыми нишами лежали черными пятнами косматые тени, и площадь спала, окутанная сгущавшимся мраком. Было тихо и глухо; изредка нарушал тишину лишь далекий лай собак или с высокой замковой башни прорезывал сонный воздух окрик часового: «Вартуй», на который долетал из-за Турецкого моста едва слышный отклик:

«Вар-туй!»

Самая башня возвышалась над всеми строениями в углу площади; корона ее грозно чернела зубцами на небе; между ними светился теперь мигающим светом фонарь. У подножья башни зияло черной пастью отверстие, закрытое внутри железною брамой; справа и слева примыкал к башне высокий мур (каменная стена), прорезанный узкими бойницами; через известные промежутки высились на нем круглые башенки. Теперь в темноте все это укрепление, с одноглазым фонарем на вершине, казалось колоссальным сидящим циклопом. Богдан перерезал площадь и направился к башне; приблизившись, он схватил рукою висящий у входа молоток и несколько раз ударил им в железный щит на кованой браме. Небольшая форточка отворилась; в нее ворвался красноватый отблеск внутреннего фонаря, и показалось в шишаке * сердитое, с торчащими усами лицо.

— Кой там черт звякает? — зарычал низкий, бульдожий голос.

— Не черт, а хрещеный козак,— ответил спокойно Богдан.

---

* Шишак — головний убір з гребенем або хвостом, подібний до каски.

— А, сто сот дяблов! Какого беса нужно? — хрипел бас.

— Ясноосвецоного... пана канцлера...

За брамой послышался сдержанный шепот, к которому присоединились и другие голоса.

— А по какому праву и по какой потребе вацпан может в такой поздний час тревожить его княжью мосць? — спросил уже тенор.

— По неотложной,— ответил Богдан.

— А какие тому доказательства?

— Пусть доложит пан его княжеской милости, что чигиринский сотник Хмельницкий ждет его распоряжений, и если ясноосвецоный пан канцлер велит меня впустить, то это и будет лучшим доказательством.

Аргумент, очевидно, подействовал на стражников: после короткого совещания кто-то крикнул из-за брамы:

— Пусть пан ждет! — и вслед затем раздались удаляющиеся шаги.

Через несколько минут брама была открыта, и Богдан последовал за гайдуком, через узкий с полукруглым сводом проход, на замковый двор; последний освещался еще одним фонарем, висевшим на толстом шесте, усаженном вокруг железными кольцами. Прямо против брамы, внутри замкнутого круга крепостной стены, к грозному укреплению, нависшему бойницами над пропастью, примыкало неуклюжею черепахой здание, в котором помещались жилые покои для коменданта и крепостного старшины; справа и слева под мурами ютились конюшни, амбары, кладовые, погреба и жилья для гарнизона и дворни. Теперь комендантская квартира была занята королем и его свитой. Узкие решетчатые окна, закрытые внутренними ставнями, светились еще тонкими линиями через щели. Перед крыльцом и у самого входа стояли на варте тяжело вооруженные латники.

Богдан вошел по каменным, широким ступеням в просторные сени и, повернув за провожатым в дверь налево, остановился в небольшой комнате, освещенной висячею люстрой, с низенькими диванами у стен; там сидели два молоденьких козачка, вскочивших с мест при его входе. Провожатый проскользнул в боковую дверь, оставив Богдана одного, и через миг, отдернув занавес у главной двери, торжественно произнес:

— Его ясная мосць просит пана войти.

Богдан поспешно сбросил керею на руки козачка и, оправивши чуприну, вошел не без смущения в следующий обширный покой. Царственная роскошь ему бросилась сразу в глаза; окна и двери были задрапированы дорогим штофом *; во весь каменный пол лежал пушистый цареградский ковер; складная золоченая мебель была обита венецийским аксамитом и блаватасом **, масса инкрустированных табуретов и низких пуховых, покрытых златоглавом *** диванов стояла в искусственном беспорядке; на них лежали там и сям с драгоценными вышивками подушки; диковинной иноземной работы столы были завалены планами и бумагами; на столах сверкали множеством огней массивные серебряные канделябры; между ними искрились золотые жбаны, кубки, ковши; по углам светлицы возвышались высокие бронзовые консоли; на мраморных колонках курились восточные ароматы...

Богдан не успел оглянуться, как навстречу к нему с протянутыми приветливо руками вышел изысканно, по французской моде, хотя и несколько моложаво одетый магнат. С первого взгляда ему нельзя было дать и сорока пяти лет,— так молодили его косметические средства, особенно вечером. Приятные, немного расплывшиеся его черты оживлялись снисходительно приветливой улыбкой; но в несколько сжатых черных бровях таилась надменность и сознание своего величия. Белая, гладко бритая, выхоленная кожа лица отливала атласом; красиво отброшенные назад, завитые, подозрительно темные волосы придавали выпуклому лбу матовую бледность; в синих умных глазах, несколько прищуренных и обрамленных сетью морщин, видны были следы усталости и пресыщения, хотя под ленивым их взглядом вечно теплилась искра затаенной пытливости. Во всей его еще стройной фигуре было много живости и изысканной светской ловкости. На правой стороне груди у вельможи сверкала бриллиантовая звезда.

---

* Штоф — вид матерії.

** Блаватас — блакитна шовкова тканина (від польського «блават» — волошка).

*** Златоглав — дорога верхня одежа з парчі, вишитої або витканої золотом чи сріблом.

Оссолинский, сделавши жест, обозначавший готовность принять даже в объятия козака, тем не менее руки ему не подал, а выразил только гостеприимную радость.

— Весьма рад наконец видеть пана сотника... Его милость король тоже будет доволен...

— Да хранит господь найяснейшего нашего круля и вашу княжью мосць! — поклонился низко Богдан, прижав к груди правую руку.

— Спасибо, спасибо, пане! — вспыхнул канцлер. Его приятно пощекотало величанье княжеским титулом, приобретенным им в Италии, против которого поднимали целую бурю уродзоные княжеские роды.— Ну, что приятного нам скажет пан сотник? До короля доходили только смутные слухи.

— Его маестат нам святыня; наши деяния и надежды у пресветлых ног королевской мосци,— произнес с верноподданническим чувством Богдан.

— Такие мысли достойны великой похвалы,— пронизал козака взглядом вельможа,— и если бы все их питали, то крепость государства была бы незыблема.

— За себя и за своих собратьев я могу перед княжьей милостью поручиться,— взглянул смело Богдан в прищуренные глаза магната,— и если наше бытие угодно найяснейшей воле, то козакам остается только радоваться и благодарить вседержителя.

— Дай бог! — опустил глаза канцлер.— Но как только согласовать восстания ваши против закона и порядка, ergo и против источника их и главы?

— Клянусь богом,— горячо ответил Богдан,— мои собратья не обнажали против закона и порядка меча, а они защищали грудью закон и поднимали меч против его нарушителей, будучи убеждены, что таковые суть враги не только порядка и блага, но и зиждителя их, нашего верховного владыки и батька... Его пресветлым именем и за его великое право клали свои буйные головы козаки.

— Виват! — сделал одобрительный жест рукою вельможа.— Весьма остроумно; но какими же аргументами объяснит пан нападение козаков на границы союзных народов, через что нарушаются мирные договоры Пос-

политой Речи и накликают на отечество все ужасы и беды войны?

Богдан, в свою очередь, посмотрел пристально в глаза пану канцлеру; последний не выдержал козачьего взгляда и опустил глаза, вспыхнув едва заметным румянцем.

— С мирными соседями козаки никогда не нарушали своевольно панских трактатов,— после большой паузы заговорил убежденно Богдан,— но разве неверных разбойников-басурман и татар можно называть мирными соседями? Они не признают ни прав нашего государства, ни его границ; они постоянно врываются, как хижые волки, в пределы отечества... несут ему смерть и руину, забирают граждан в полон... Так мы защищаем только границы нашего государства и на свою грудь принимаем удары не мирного соседа, а врага, не допуская его до сердца великой Польши.

— За одну такую голову, как у пана,— развел руками в восторге вельможа,— можно многое его собратьям простить.

— Княжья мосць очень милостива,— смутился Богдан.

— Suum cuique *,— развел руками Оссолинский.— Одначе... пусть пан присядет и расскажет подробнее о всем случившемся в эти полгода.

Почтительно, но не подобострастно опустился Богдан на ближайший табурет, а канцлер полуразвалился на подушках дивана и приказал козачку подать венгржины.

Богдан рассказал о морском походе, вызванном якобы грозившим западной окраине со стороны Буджака нападением, которое парализовали козаки, рассказал о страшной буре, разметавшей чайки и воспрепятствовавшей предположенному набегу на берега Анатолии, рассказал о морских битвах и трофеях, между прочим, и о Марыльке.

Оссолинский все это слушал с нескрываемым удовольствием, не сводя проницательных глаз с Богдана и попивая небольшими глотками вино.

— Успех всякого дела в руце божией,— заметил, наконец, канцлер,— а ваши поступки освещаются мне те-

* Кожному своє *(лат.)*.

перь благонамеренными побуждениями, которые не идут вразрез ни с интересами Речи Посполитой, ни с высокими королевскими стремлениями; нужно только яснее поставить на вид движение Пивторакожуха, и его королевская мосць окажет тебе, пане, благоволение. Мы уже имеем и некоторые последствия ваших походов: получена в посольской нашей избе веская нота Высокой Порты [107] о козацких разбоях, требующая от Речи Посполитой крупных денежных выплат, оскорбительных для чести государства. Нужно и перед сеймом оправдать воинственные движения козаков, тогда требование Порты вырастет в casus belli *; вследствие чего нам необходимо быть настороже и заблаговременно готовиться к обороне.

— Мы все к обороне королевской чести и блага нашей ойчизны готовы! — воскликнул Богдан.— Пусть ясный князь скажет только слово, и несметные силы могут повстать на Украйне.

— На вашу верность и преданность король и его сподвижники надеются,— произнес Оссолинский,— но действительно ли такую чрезмерную поддержку может оказать отечеству Украйна?

— У нас, ясный княже, где крак **, там и козак, а где байрак, там сто козаков.

— Мне это весьма приятно знать,— потер себе руки вельможа,— это дает больше твердости и уверенности, а в панской преданности король, кажется, ошибаться не может.

— Свидетель тому всемогущий бог! — поднял два пальца Богдан, порываясь торжественно встать.

— Верно, верно! — дотронулся слегка Оссолинский до плеча Хмельницкого, удерживая его на месте.

— Всякое желание нашего милостивого короля,— продолжал пылко Богдан,— и ясноосвецоного князя, против кого бы оно направлено ни было, мы поддержим своими костьми.

— Спасибо, спасибо! — прервал бурный поток речи Богдана вельможа и, улыбнувшись, прибавил: — Пан юношески пылок...— А потом сразу переменил тему беседы, вспомнив о спасенной панянке.

---

* Причина війни (*лат.*).
** К р а к — кущ (*польськ.*).

— Эта Марылька меня очень заинтересовала,— начал он легким, игривым тоном,— она, быть может, даже дальняя родственница нам... по жене... Помнится, что у отца ее было громадное состояние и, за лишением прав этого баниты, кем-то похищено; но если прямая наследница есть, то eo ipso *, она может домогаться его возврата... Да, да! А за сироту я возьмусь хлопотать и даже доложу об этом королю... Во всяком случае панский поступок доблестен и благороден.

У Богдана при последних словах почему-то сжалось до боли сердце: ему было бы приятнее услышать от канцлера полное безучастие к судьбе Марыльки.

— Какого возраста она? — прищурил глаза вельможа и отпил лениво глоток дорогого вина.

— Лет пятнадцати... еще дитя,— старался равнодушно ответить Богдан, но голос ему изменял.

— И обещает быть дурнушкой или сносна личиком?

— Необычайно... изумительно! — невольно сорвалось с языка у Богдана, но он, желая замять проявление своего восторга, добавил небрежно: — Впрочем, мы, грубые воины, плохие знатоки красоты женской и ценить ее не умеем; вот если бы ваша княжья мосць показали мне какой-либо клинок, то в оценке его знатоком бы я был безошибочным.

— Так, так, пане,— улыбнулся лукаво канцлер и поправил рукою рассыпавшиеся на лбу кудри,— я эту панну приму в свою семью; она будет пригрета и воспитана согласно своему общественному положению... Я выхлопочу ее имущество, а жена устроит ее судьбу.

— Сиротка должна бога благодарить,— поперхнулся словом козак,— за такое счастье... почет.

— Дай бог! — загадочно заметил пан канцлер и после долгой паузы быстро спросил: — Она где теперь, эта панна?

— Здесь, в Каменце, у моего свата, бургомистра Случевского.

— А! Прекрасно! Я за ней пришлю повоз с моею дочерью.

У Богдана словно оборвалось что в груди. Оссолинский вынул золотую табакерку, украшенную портретом Жигмонта [108] и осыпанную алмазами, достал из нее ще-

---

* Само собою (*лат.*).

потку ароматического табаку и, медленно нюхая, наблюдал смущение козака и изучал вместе с тем его характер.

«Пылкость и искренность,— подчеркнул он в уме свои наблюдения и этим выводом остался доволен,— положиться на него, кажется, можно».

— Да, теперь вот о чем поговорить я хочу с паном сотником,— обмахнул канцлер платком нос и начал вертеть табакерку между пальцами.— Видишь ли, пане, установленные государством и утвержденные верховною властью законы и учреждения суть краеугольные камни, на которых зиждется общее благо... И король, помазанник божий, стоит стражем и охранителем их, но вместе с тем он блюдет, чтоб учреждения и законы не уклонялись от путей, указанных священною волей, и чинили бы в отечестве правду и благо... Это, так сказать, две силы, исходящие из одного источника, поддерживающие друг друга и возвращающиеся к исходному началу...— Оссолинский говорил изысканно, с ораторскими приемами, любуясь сам своим красноречием, а Хмельницкий, несколько нагнувшись вперед, ловил и взвешивал каждое слово, сознавая горько, что старая лисица только путает следы и, маня хвостом, заметает их.

— Но ведь всем известно,— продолжал канцлер, что errare humanum est и что общество, даже самое преданнейшее ойчизне, может в своих мыслях и поступках ошибаться и уклоняться от истины, как низшие сословия, так и высшие, как козаки, так и благородная шляхта, ибо человеческая природа несовершенна, и мы все бродим в темноте, обуреваемые страстями. Только поставленный превыше всех богом и нашими институциями, только тот может с высоты созерцать и истину, озаренную светом, и наши заблуждения, таящиеся во мраке,— Оссолинский заложил ногу на ногу и, поправив подушки, облокотился на них поудобнее,— а потому каждый гражданин, и в отдельности, и в громаде, должен свято чтить высокую личность миропомазанника, не только охраняя власть его от всяких на нее покушений, но и возвеличивая ее, памятуя твердо, что утверждение в силе этой власти укрепляет в правде и значении все институции нашей славной Речи Посполитой, а с умалением и уничтожением ее расшатываются скрепы

ойчизны... Своеволия и самоуправства не суть глашатаи свободы, а суть прорицатели ее падения и общей гибели!

Оратор остановился, следя за произведенным впечатлением, и потянулся освежить горло живительною влагой.

— Клянусь богом, святая правда в словах вашей мосци,— воспользовался паузой Богдан, желая подчеркнуть и вывести на свет мысль Оссолинского,— без пана не может нигде быть порядка, и над миром есть всеблагий и единосущный пан; одному пану как на небе, так и на земле должны мы кориться и слова его послуха́ть, и это послушание за честь и за благо; но иметь на спине, кроме пана, сотню пидпанков и всякому кланяться — заболит шея, да не будешь знать, кого и слушаться: один на другого натравлять станет. У нас и пословица есть: «Пана вважай а пидпанкив мынай», потому что «не так паны, як ти пидпанкы».

— Хотя не мой, но остроумный вывод,— засмеялся вельможа, сделав рукою одобрительный жест,— пан своеобразно развил мою мысль и подтвердил еще раз, что в выборе нужной для нас головы я не ошибся... Не смущайся, пане, не смущайся... Кому же лучше и знать жесткие рукавицы этих пидпанков, как не вам? Не безызвестно, конечно, пану, что для успешной борьбы со злом нужно, чтобы доброе начало имело перевес силы, равно и для отстояния закона и блага в отечестве нужно, чтобы мы, смирив свою гордыню... признали бы... королевскую власть священной... Во всех иноземных державах она утверждена на прочных началах и служит источником величия, силы и преуспеяния народов... Связь с этими моцарствами * не только полезна для нас, но и необходима... Вот, например, король и к вам, порицая ваши самоуправия,— быть может, и вызванные самоуправствами других и слабостью закона,— питает сердечные чувства, уважая в вас верных поборников его священных прав и целости государственной... но, тем не менее лично удовлетворить вашей челобитной не мог... Ведь король только в военное время имеет власть самолично распоряжаться,— подчеркнул Оссолинский, сделав небольшую паузу,— а в мирное время все вершит

* Моцарство — держава *(польськ.)*.

сейм... ну, а шляхетный сейм до такой степени подозрителен и придирчив, что даже кричит против институции орденов, учрежденных во всех иноземных державах, боясь, чтобы и эта награда не находилась в руках короля, чтобы он, как выражаются, не мог привлекать к себе цяцьками приверженцев...

— Да и у нас это понимают лучшие головы,— заметил Хмельницкий,— но трудно внушить простолюдину, чтобы король, коронованная, богом помазанная глава, не имел в руках власти обуздать насилие благородной шляхты; народ в этом видит потворство короля и отождествляет его волю с своеволием буйным...

— Это-то и есть во всей мистерии самое грустное,— искренно вздохнул канцлер,— здесь у нас нет опор, и мы ищем их за пределами отечества, т. е. ищем союзов к предстоящей войне,— поправился он, смутившись,— хотя война есть большое разорительное бедствие для страны и нежелательна ни королю, ни Речи Посполитой, но бывают неизбежные обстоятельства,— ведь вот и теперь идут враждебные набеги на наши окраины... Ну, так королю нужно заблаговременно думать и готовиться ко всему как внутри государства, так и вне его... тем более, что в военное время он становится единым диктатором,— протянул Оссолинский, — полновластным раздавателем всякого рода привилегий своим верным союзникам... Одним словом, как велики права, так велика и ответственность... почему его королевская мосць должен озаботиться... послать всюду преданных и верных людей...— поперхнулся от нервного волнения канцлер и, откашлявшись, понюхал еще табаку,— так вот для этих расследований и соисканий,— добавил он торопливо,— нам нужны умные, знакомые с придворными хитростями головы... Можно ли рассчитывать нам по чести на пана сотника?

Богдан стремительно поднялся со своего места, обнажил свою саблю и, положив ее на руки, произнес торжественно, дрогнувшим от волнения голосом:

— Клянусь этой святыней, врученною мне под Смоленском моим найизлюбленнейшим паном, найяснейшим теперешним королем, клянусь перед лицом всемогущего бога, что всю мою душу положу для блага короля, для осуществления его начертаний и для счастья моего народа, не щадя последней капли крови!

— Amen — произнес канцлер.— Благодарю и за короля, и за себя! — подошел он к Богдану и пожал ему искренно руку.— Так, значит, пан наш! — наполнил он из кувшина кубок Богдана, поднял свой и чокнулся с ним звонко.— Да поможет нам бог и да хранит от бед наше правое дело!

Богдан опорожнил, не переводя духу, свой кубок.

— Ну, а как пан...— подошел опять канцлер к Хмельницкому,— не связан ли он теперь? Можем ли мы распорядиться с места его услугами? Надобность ведь неотложна...

— Мои личные нужды, княжья милость, не могут идти в расчет с нуждами общественными, а кольми паче с потребами нашего батька короля, но я бы молил облегчить и теперь хоть немного участь козаков; они бы и в малой ласке увидели надежду... благодарности не было б и конца...

— По-рыцарски, дружелюбно, — улыбнулся пан канцлер,— все, что пока возможно, будет сделано... Король рад... Но... я употреблю все усилия, а пана мы заполоним сразу и сумеем оценить его преданность... Сегодня я отпускаю пана сотника, а на завтра прошу рано прибыть сюда и сопровождать короля до Хотина.

У Богдана мелькнула мысль, что канцлер хочет оставить его при себе; при этом почему-то бессознательно сверкнул пред ним образ Марыльки.

— До Хотина или немного дальше,— продолжал, что-то сообразивши, магнат,— там я вручу пану и письма, и полномочия, и инструкции, а король лично передаст свои желания и вверит грамоты... Пану предстоит большое путешествие: и к австрийскому родственному двору, и в Венецию к нунцию Тьеполо [109], и к герцогу Мазарини [110] в Париж... похлопотать там, заключить интимные союзы, принанять войска... Мы вверяем, пане, твоей рыцарской чести большую государственную тайну и полагаемся вполне на твой ум и на твое преданное, честное сердце,— протянул он руку Богдану.

Последний, ошеломленный неожиданным поручением, но вместе с тем и польщенный высоким доверием, прикоснулся губами к плечу канцлера и с низким поклоном вышел из комнаты.

Взволнованный наплывом неожиданных впечатле-

ний, остановился за брамой Богдан широко вдохнуть грудью струю свежего воздуха.

На западе стояла уже туча черной стеной; беспрестанные молнии бороздили ее и освещали на миг фосфорическим светом и высокие крыши спящего города, и грозные контуры надвигавшейся тучи... Небо словно мигало зловещим, чудовищным глазом...

«Да, туда, под эти грозы и блискавицы влечет тебя доля, козаче,— мелькали в горячей голове Богдана налетавшие бурею мысли,— и не будет тебе успокоения, пока не перестанет это сердце колотиться в груди... Что же сулишь ты мне, грозная туча,— или понесешь меня на крыльях бури возвестить моему краю надежду, или сразишь под перунами мою мятежную душу?»

Порывистый ветер пахнул Богдану в лицо, он снял ему шапку навстречу и торопливо пошел домой.

Итак выезжать, выезжать немедленно, не заехавши даже в Субботов, домой. «Эх, и где это у козака его дом? — вздохнул Богдан.— Чистое поле — его дворище, темный бор — хата». Но что же будет с его семьей? До сих пор он не получил о ней известий, что с ними?.. Не случилось ли чего? Зная, что его нет дома, разве трудно затеять наезд... Во все эти последние треволнения он даже забыл думать об этом: как и чем бы он мог помочь! Богдан провел досадливо рукой по волосам. «Эх, все мы в воле божьей! — вздохнул он, стараясь успокоить себя от тревожных мыслей.— Он, милосердный заступник, не оставит их». Да ведь нельзя и отказаться от порученья короля: не для себя ведь, для блага отчизны: в этой войне единое спасенье всего края... так можно ли даже ставить на весы с ним заботы о своей семье? Да и что же может им угрожать? Ганна, наверное, переехала к ним, а с нею и Золотаренко, опять же и Ганджа там вместе с ними. Даст бог, досмотрят. Да и он же не век там в чужих землях мытарствовать будет: устроит все, да и домой! — утешал себя Богдан, чувствуя, как в душе его, несмотря на все доказательства разума, несмотря на надежды, возникающие из его будущей поездки, не улегалась горечь от предстоящей разлуки... с кем? С семьей? С Ганной? С больной женой? Но ведь с ними он расстался давно, и чувство этой разлуки уже притупилось в его душе... С Марылькой? «Но что мне до нее! — перебил сам себя Богдан.— Сла-

ва богу, что удалось исполнить данное товарищу слово и пристроить у таких важных панов! Нет, вот домой, отдохнуть хотелось, повидаться со всеми»,— объяснил он себе свою непонятную тоску, вызывая в воображении мирные картины субботовской жизни, больную жену, детей, Ганну. Но образ Ганны являлся ему печальный и бледный, а большие серые глаза ее словно с немым укором смотрели в его глаза. «Эх, Ганно, золотая душа моя!» — вздохнул глубоко Богдан, почувствовав в своем сердце прилив нежной признательности к этой чудной девушке, так беззаветно преданной ему и его семье. И почему-то вдруг рядом с образом Ганны, печальным и бледным, встал яркий образ Марыльки с ее золотистыми волнами волос, с ее синими глубокими глазами, жарким румянцем на щеках, с ее сверкающей улыбкой и звонкой, серебристой речью.

— Эх, что это я в самом деле, с глузду ссунулся, что ли! — оборвал себя вслух Богдан, сердито взъерошивая волосы.— Надо домой написать, повестить обо всем,— продолжал он свои размышления,— только через кого передать? Эх, если б Морозенко был теперь со мною! Да где-то он, бедняга? Быть может, и на свете его нет, а может, взяли в неволю татары... Жалко, жалко хлопца, равно как сына родного! — Богдан глубоко задумался и не заметил, как дошел до дома своего родича.

Прошедши на конюшню, где стояли его лошади и спали прибывшие с ним козаки, он разбудил одного из них.

— Вставай, Рябошапко,— обратился он к нему, когда разбуженный козак был наконец в состоянии понять обращенные к нему слова,— готовься в дорогу: сейчас дам тебе листы, поедешь ко мне в Субботов. Я думаю, как ехать, ты знаешь?

— Знаю, знаю,— улыбнулся Рябошапка,— да тут еще и один человек есть знакомый из Чигирина, Чмырем зовут.

— Чмырем? А, знаю, знаю,— обрадовался Богдан,— так ты вот приведи его ко мне, а сам готовься. Утром рано поедешь.

Отдав приказания и другим козакам быть готовыми двинуться чуть свет в путь, Богдан отправился в дом и принялся торопливо писать Ганне и Гандже письма, а

потом пришел и Чмырь. Он передал Богдану, что в Субботове пока, насколько он мог знать, обстояло благополучно. В горячей беседе с ним Богдан не замечал ни раскатов грома, ни ослепительных молний, ни бури; впрочем, туча коснулась только крылом Каменца, и ее сменило свежее, доброе, ликующее утро.

Богдан вышел на крыльцо и совершил краткую молитву к востоку; козаки стояли уже на дворе с готовыми, оседланными конями, когда вышел сонный бургомистр, не могший сообразить, что все это значит? В коротких словах передал Богдан свату требование канцлера и поручил ему доглядеть сиротку Марыльку, пока не возьмет ее семья Оссолинского. Богдан все это передавал оторопевшему хозяину нервно, сбивчиво и не совсем понятно, спеша скрыть свое непослушное волнение и уйти от тяжелого прощания с Марылькой; но это ему не удалось: Марылька целую ночь не спала в непонятной тревоге и теперь уже стояла бледная, трепещущая в сенях, прислушиваясь к ужасной для нее вести. Так значит Богдан не хочет отыскать ее отца, или его вовсе нет на свете? Кому он отдает ее? Неизвестному ей канцлеру Оссолинскому? О господи, что-то будет с нею?

— Пане, пане! — рванулась она к Богдану.— Не бросай меня! Я не могу без тебя!..— хватала она его за руки, заливаясь слезами и прижимаясь к груди.— Мне страшно одной... все чужие... лучше умереть... я боюсь... Не кидай меня!

— Марылько... дытыно моя любая,— успокаивал ее рвущимся голосом Богдан, и в груди его что-то дрожало и билось,— успокойся... это на малое время... Я до Хотина только... провожу короля, а может быть, вместе и тебя повезут в Хотин.

— Нет, нет! — билась Марылька у него на груди.— Сердце мое чует обман... тоска давит... Опять чужие, недобрые люди: ни ласки, ни теплого слова... одна, на целом свете одна... ни матери, ни отца родного! — захлебнулась Марылька, и слезы покатились ручьями из ее синих, объятых страхом очей.

— Клянусь, что как дитя... тебя... до смерти... всех заменю! — путался Богдан в словах, лаская головку Марыльки.

— Пане, ты назвался мне вторым татом,— вздраги-

вала она всем телом по-детски,— зачем же отталкиваешь свою доню? Отчего не хочешь отыскать ей родного отца, отчего отдаешь чужим людям?! — В своем ужасе перед новой неизвестностью судьбы Марылька уже забывала и то, что жить у козака пришлось бы в простой хате без роскоши, без почета, без слуг, а у канцлера, у магната и, вероятно, родича... Но Богдан был у нее теперь единственным близким, искренно преданным ей человеком, и расстаться с ним, потерять свою последнюю опору казалось ей ужасным.— Нет же у меня никого, кроме тебя... никто меня так жалеть и любить не будет! — упала она к нему на грудь и обняла его руками за шею.

— Вот перед небом, не покину тебя! — бормотал Богдан, целуя ее шелковистые волосы.

— Так тато меня не бросит? — улыбнулась уже сквозь слезы панянка, отбросив назад головку.— А как я буду тата любить,— больше всего, всего на свете!

— Квиточко,— оборвался словом Богдан, чувствуя, что какая-то горячая струя зажгла ему грудь и подступила к горлу комком.— Сейчас нельзя... тебя, голубка, досмотрят здесь, как родную, а в Хотине вместе уже...

— Обман, обман! — завопила Марылька и побледнела смертельно.— Лучше убей меня! — вскрикнула она и упала без чувств на крепкие козачьи руки.

Богдан передал ее свату и, крикнувши: «Пригрейте сиротку!» — вскочил на коня и исчез за воротами...

XXIII

Четыре года пролетели над Субботовым, как четыре дня. С богомолья Ганна вернулась совсем другим, обновленным человеком.

Ни тени былых колебаний и тревожных сомнений не ощущала она в своей душе; она снова была сильна и крепка и горела по-прежнему одною страстною и чистою любовью к отчизне, как зажженная в грозу и ненастье страстная свеча.

Уговорив Ганну взять с собой его козаков, коротко простился с ней Богун и бросился в глубь Украйны да так и пропал без вести. Изредка доносились смутные

слухи о каких-то смелых набегах, причем упоминалось и его имя; но никто не знал наверное, в какую степь, в какой бор бросился развевать свое горе удалой козак.

Вскоре по возвращении Ганны в Субботов прискакал к ней гонец из Каменца с письмом от Богдана, в котором тот извещал ее о своем новом назначении от короля. Вместе с письмом к Ганне было письмо и к Золотаренке. Смутными и неясными выражениями намекал Богдан последнему о расположении короля к козакам, о желании его опереться на них, в случае какого-либо государственного переворота, сообщал о том, что ему предстоит какая-то важная и тайная поездка, и просил Золотаренка употребить все свое влияние на старшин, чтобы удержать козаков от восстания и подождать его возвращения, потому что с ним связаны великие, но скрытые дела. И действительно, слух ли о письме Богдана, или истощение, наступившее после бурного восстания и неудачного похода, или новые утиски панские, медленно надвигающиеся и охватывающие всю Украйну, так пригнетили народ, но только вся Украйна зловеще затихла и занемела в сдержанном молчании, как затихает все в природе в последнюю минуту перед ужасной грозой: какое-то томление, какое-то удушье чувствовалось всеми.

В письме к Ганне стояла еще приписка про Олексу Морозенка...

«Любый хлопец,— писал Богдан,— пропал без вести в Днепровском лимане; утонуть-то он не мог,— ему и весь лиман переплыть не в диковину,— а вероятно, взят татарами в плен... Так пусть твой брат или Ганджа пошлет разведчиков в татарские города и местечки: ничего не пожалею для выкупа... мне жаль хлопца, как сына родного».

Это известие повергло всю семью Богданову в тугу: все любили доброго, привязанного, даровитого хлопца, как члена семьи,— и паны, и дворня, и хуторяне, всякому он памятен был то услугой, то лаской, то веселым отзывчивым нравом. Пани Хмельницкая побивалась за ним, как бы за Тимком или за Андрийком; Ганна вместе с нею плакала безутешно. Дивчата за своим любимцем рыдали навзрыд, но особенно потрясена была глубоким, недетским горем Оксана: она ломала свои ручонки,

в исступлении билась о пол головой и, захлебываясь неудержимыми потоками слез, повторяла одну только фразу: «Никого у меня теперь нет, никого!» Кончилось тем, что девочка таки заболела от непосильной тоски. Много хлопот стоило и бабе, и Ганне, пока подняли ее с постели; два раза посылали в Чигирин даже по знахарку, так она была разнедужилась в огневице. Когда же Оксана наконец встала, то в бледном и печальном личике ее, с огромными черными глазами, никто не мог и узнать прежней румяной, как яблочко, вертлявой, как волчок, звенящей, как колокольчик, деточки... Оксана стала тиха и задумчива, мало принимала участия в детских играх, а больше всего или молча сидела за работой, или тихо разговаривала с Ганной про Олексу, или вместе с нею молилась о нем...

Ганджа и Золотаренко справлялись и на Запорожье, и в Очакове, и в Кафе, и в Бахчисарае, но нигде никаких известий о запропавшем Олексе не нашли,— словно о нем и след простыл, так что Ганна отслужила уже было тайно о погибшем панахиду.

Золотаренко часто наезжал в Субботов навещать семью Богдана, но, видя, что тот так долго не возвращается и известия о нем, изредка получаемые, носят самый неопределенный характер, переселился и совсем туда, посещая свое Золотарево только изредка. Заезжали иногда в Субботов и некоторые из старшин порасспросить, поразведать что-либо о Богдане или об общих интересах, да так и уезжали, не узнав ничего определенного. Иные, впрочем, как Нечай и Чарнота, потеряв терпение ждать чего-то необычайного, стремились с бурною решимостью начать хоть что-либо малое на свой страх; но трудно было поднять теперь уныло затихший народ...

Другие же, как Бурлий и Пешта, спешили алчно оклеветать Богдана, а самим подыграться к властно воцарявшейся в краю шляхте. Вообще же жизнь в Субботове шла тихо и мирно, не возмущаемая никакими внешними событиями. Ганна хлопотала с хуторянами, что заселили в последнее время весь левый берег Тясмина длинным поселком, а теперь уже в балке за лесом вырастали, как грибы, новые хатки и хутора. Девочки росли дружно. Катря и Оксана совсем сошлись и сделались закадычными приятельницами; одна только ма-

ленькая Оленка все еще держалась за Ганнину спидныцю.

К концу года поулеглось горе в юном сердце Оксаны — молодость взяла-таки свое: ее сердечную утрату смягчила несколько горячая привязанность к ней Катри, на которую она отозвалась всеми струнами своего сиротливого сердца. Каждый раз на лице Ганны появлялась теплая улыбка, когда вечером, проходя по светлице, она замечала молоденьких девочек, забившихся в угол. Они иногда о чем-то шептались с лукавыми личиками и загоравшимися глазками, обрывая при появлении Ганны речь, а иногда Катря нежно ласкала и утешала, розважала Оксану: в этих головках зарождались уже свои интересы, свои секреты, свои радости и печали... Звонкий смех Катри раздавался то здесь, то там и разгонял сумрачную тишину субботовского дома; на второй год стал к нему присоединяться хоть изредка и смех Оксаны.

Тимко быстро рос и крепчал. Он обещал быть коренастым и крепким козаком. Лицо его, слегка тронутое оспой, нельзя было назвать красивым, но с годами оно начинало принимать все более и более некоторую своеобразную прелесть дикого и необузданного характера. Он напоминал молоденького необъезженного коня с густою гривой, гордо поставленною шеей, коротким, немного тупым носом и глазами, вечно полными строптивого огня. Ученье его с «профессором» дьяком подвигалось весьма туго, зато за уроками Золотаренки и Ганджи Тимко забывал целый мир. Вскочивши на невыезженного жеребца, он мчался на нем, сломя голову, по степи и возвращался домой такой же неукротимый и горячий, как и дикий, взмыленный конь. Андрийко учился вместе с ним тоже всем военным экзерцициям *, один лишь больной и хиленький Юрась жался все около матери, выпрашивая у бабы гостинцы, или взбирался на колени к Ганне и просил ее рассказать ему гарную сказочку. Когда же светлая головка мальчика склонялась рассказчице на грудь и сказка тихо прерывалась, не дошедши до конца, перед глазами Ганны тихо всплывали какими-то смутными тягучими прядями отрывки старых воспоминаний, и казалось все это Ганне таким

---

* Экзерциции — вправи: музичні, військові і т. д. *(лат.)*.

чуждым и далеким, и каждый раз она застывала на одном и том же вопросе: неужели все это пережила и перечувствовала она?..

К концу второго года, осенью, в филипповку уже, был переполошен субботовский двор. Поздним вечером раздался сильный стук в браму, и воротарь не мог добиться от ломившегося в ворота, кто он? Это возбудило подозрение в деде; он послал за Ганджой и сообщил ему, что какой-то татарин,— хотя и темно, а он этих чертей узнает и поночи,— торгает и бьет рукояткой сабли в ворота.

— Да он один или за ним стая? — спросил, зевая и не совсем еще отрешившись от сладкого сна, Ганджа.

— А кто их разберет... может, за ним и зграя.

— Э, полно, дали бы знать огнищами по всей Украйне, коли б прорвался сюда какой-либо загон голомозых... Отворяйте браму смело, а я вот наготовлю для привета кривулю.

Звякнули болты, заскрипели ворота; какая-то стройная фигура ворвалась в отверстие и бросилась опрометью на деда, заключая его в крепкие, порывистые объятия.

— Что за сатана? Кто ты? — отбивался от татарина дед, желая заглянуть ему прямо в глаза. Но татарин увернулся и, оставивши деда, бросился с объятиями к Гандже.

— Силяй айлеким якши! — пробормотал оторопелый Ганджа.— Только как тебя величать, приятель, из какой ты орды?

— Да Олексой величать! Иль не узнали? — ответил наконец звонким, радостным голосом татарчук.

— Олексой! Морозенком? — вскрикнули изумленные до суеверного ужаса дед и Ганджа и в свою очередь бросились обнимать оплаканного было мертвеца.

Весть о воскресшем и прибывшем Олексе молнией облетела всю челядь: козаки, парубки, молодицы и старухи выскочили к браме и подняли восторженный гвалт. Разросшийся во дворе шум, перемешанный с криками изумления, радостными приветствиями, взрывами смеха, всполошил, наконец, и хозяек дома. Первая проснулась пани, страдавшая и без того бессонницей, разбудила бабу и послала за Ганной. Выскочила Ганна на ганок, увидела, что у ворот копошился народ, и замер-

ла, взволнованная радостным и тревожным предчувствием. «Не дядько ли? Не господарь ли наш?» — блеснуло в уме Ганны, и от одной этой мысли затрепетало так ее сердце, что она инстинктивно прижала руку к груди... Она, впрочем, не сразу могла узнать, кто приехал: Морозенко переходил из объятий в объятия и не мог протиснуться скоро к будынку.

Наконец Олекса вырвался из объятий и быстро взбежал на ганок. При свете вынесенных на крыльцо каганцев и свечей Ганна увидала какого-то молодого татарина, быстро бегущего к ней.

— Кто это, что такое? — вскрикнула она, невольно отступая.

— Я, я, Олекса, панно Ганно,— раздался знакомый голос, и Ганна не успела опомниться, как очутилась в крепких объятиях молодого хлопца.

— Ты, ты?.. Откуда, каким образом? — повторяла Ганна, всматриваясь в лицо Олексы.

— Все расскажу... Господь спас... А Оксана? — Но Олекса не докончил своего вопроса: двери в эту минуту распахнулись настежь и какая-то маленькая фигура, с босыми ногами и наскоро наброшенной юпчонкой, с громким криком: «Олекса!» — бросилась к нему на шею.

— Оксана, Оксаночка, дивчынко моя! Ты босая, раздетая,— повторял Олекса, целуя ее и прижимая к себе вздрагивающее от рыданий тельце девочки; но Оксана ничего не слыхала, охвативши его шею руками; она повторяла сквозь слезы только одно слово:

— Любый... любый... любый.. хороший мой... мой!

Все были тронуты этой радостной встречей сиротливых детей. Наконец Оксану удалось увести в комнату; за нею вошел Олекса и все остальные. До самого рассвета никто не ложился спать в субботовском доме. В печи развели огонь, принесли еду и питье; Оксана не отступала ни на одну минуту от Олексы; сжавши его руку в своей руке, она повторяла потихоньку с детской улыбкой:

— Ахметка, Ахметка; ты теперь настоящий Ахметка.

И Олекса ласково улыбался дивчынке, гладя ее по черной кудрявой головке. Действительно, в этом татарском наряде он был до того похож на татарчонка, что никто бы даже из своих не узнал в нем козака. Когда,

наконец, измученный и полузамерзший Олекса подкрепился и отогрелся, все окружили его и стали слушать его рассказ о том, как он спасся из турецкой неволи.

— Дело было вот как, панове,— говорил Олекса, подсовываясь к огню.— Когда гетман послал меня на разведки, я устал крепко, причалил човен да и заснул. Да так ведь крепко заснул, что и не слыхал, как лодку отчалило от берега, как растерялись мои весла... словом, сам виноват, но вышло так, что вместо осетра, я со своим челном попал в татарские сети.

— Ну, да и разумный же ты, хлопче, ей-богу,— улыбнулся широкой улыбкой Ганджа, похлопывая Морозенка ладонью по спине,— и как это только они из тебя, раба божьего, не наварили доброй юшки?

— То-то и дело, что едва господь спас! — усмехнулся и сам Олекса.— Рассердились они на меня здорово, сперва за то, что я им сети порвал, а потом, как увидали на мне крест да узнали, что козаки прорвались ночью в Черное море, так и совсем мне круто пришлось. Порешили все, что я шпиг и что меня надо повесить либо посадить на кол, да и баста. Уж я и божился, и уверял их в том, что я природный татарин, что меня насильно крестили, что я от козаков из неволи к ним и бежал — никто мне не верил; даром что я и по-татарски с ними говорил — не верят, повесить, да и конец! Наконец-таки сглянулся надо мной господь, нашелся один старый татарин, признался в том, что знал моего отца; тогда порешили оставить меня в живых; но так как мне никто не верил, то меня заковали по рукам и ногам да так и гоняли с другими пленниками на работы. Целый год старался я добиться у надсмотрщика ласки, работал за трех, с пленниками не говорил, держался природным татарином,— ну и стали ко мне мои хозяева поласковее, на другой год позволили руки расковать. Так прошло еще с полгода, а на седьмой месяц темной ночью распилил я свои кандалы, взял у хозяев за свою верную службу пояс с дукатами, хлеб, кожух, доброго коня, да и был таков!

— Эх, молодец, ей-богу, молодец! — вскрикнул шумно Ганджа.— Будут из тебя люди!

— Только не думайте, что мне это так легко удалось,— продолжал Олекса,— ге-ге! Сколько раз уже я думал богу душу отдавать! Зима, мороз лютый, волки,

зверье всякое, степь как море, а я весь тут, только и удалось один нож с собой захватить.

— Ну, ну, говори, все говори! — подхватили окружающие.

До самого света рассказывал Олекса о всех тех ужасных приключениях, которые ему пришлось перенести в пути. Несколько раз принималась всхлипывать Оксана, слушая о страшных случаях, что грозили смертью ее любому Олексе. Находчивость и смелость хлопца приводили всех окружающих в шумный восторг. Наконец, уже только светом все разошлись по своим углам.

Поздним утром вышли дивчатка в общую светлицу. На дворе стоял яркий зимний день; морозные окна сверкали; в печи трещал огонек; на столе уже был приготовлен сниданок. Оксана взглянула на Олексу и изумилась: перед ней был не оборванный, промерзлый татарчонок, а молодой статный козачок, с густым пухом над верхней губой. Олекса подошел и поцеловал Оксану, но сегодня Оксане сделалось почему-то неловко от этого поцелуя; костюм ли так изменил Олексу, или причиной этому был густой пушок над губой козака, который она только теперь заметила,— но Оксана вся вспыхнула и опустила глаза...

Так пролетел незаметно целый месяц, а за ним и другой. Олекса рассказывал постоянно Катре и Оксане о всем пережитом им в плену, об Оксанином отце, которого он нашел в Сечи, о том, как они приготовлялись к морскому походу... Дети были неразлучны, но, несмотря на всю их взаимную любовь и привязанность, между ними не было той безразличной детской откровенности, которая была в то время, когда Олекса возил Оксанке вкусные гостинцы в бедную хатку дьяка. Причиной всему был этот темный пушок над его губою, который смущал Оксану и делал Олексу похожим на взрослого козака.

Дни летели так незаметно, как только могут лететь самые счастливые, беззаботные юные дни. Однако к началу весны Олекса становился все озабоченнее и озабоченнее и, наконец, объявил Оксане, что, так как неизвестно, когда вернется батько Богдан, то Ганджа и Золотаренко советуют ему ехать на Запорожье и приписаться к какому-либо куреню, чтобы научиться козаковать. Оксана была страшно опечалена этим известием,

только постыдилась уже, как прежде, излить тут же сейчас при Олексе свое горе в слезах; она только заморгала усиленно веками и спросила Олексу дрожащим голосом:

— И ты поедешь?

— Что ж делать, Оксаночко, надо ехать! Не ходить же мне за плугом, ведь я козак,— ответил Олекса и хотел было поцеловать Оксану, но она вырвалась от него и юркнула из комнаты. Целый день искал Олекса встречи с Оксаной, но Оксана умышленно избегала его; только поздно вечером, встретивши Олексу в сенях, она быстро подбежала к хлопцу и, сунувши ему в руки какой-то предмет, прошептала:

— Не снимай никогда-никогда: если ты умрешь — я умру.

Олекса раскрыл свою руку: в ней лежала надетая на шнурочек ладанка *.

— Любая моя,— прошептал Олекса, подымая голову, и хотел было поцеловать Оксану, но дивчынки уже не было в сенях.

Через несколько дней Олекса уехал. Сборы были недолгие. Как ни крепилась Оксана, но при прощанье разразилась горькими слезами и снова повисла на шее у Олексы, как и в прежний раз. Олекса тоже готов был расплакаться, и, если бы при этом прощанье не случился Ганджа, перед которым Олекса хотел уже показать себя козаком, он не поручился бы за себя.

Олекса уехал; в субботовском доме стало снова тихо, девочки еще чаще стали забиваться в уголок и шептаться о чем-то между собой...

В начале третьего года вернулся в Субботов Богдан. Первые дни промчались в шумной радости и обоюдных расспросах. Богдан мало чем изменился, только движения его сделались элегантнее, сдержаннее, а выражение лица более замкнутым. Приехал он бодрый и энергичный, полный блестящих надежд. В разговорах с Золотаренком Богдан сообщил о своих успешных хлопотах при иностранных дворах, особенно при венецианском, о том, что многое поручено ему и что в будущем готовятся

* Ладанка — торбиночка чи зашитий згорточок з якою-небудь святинею (образком тощо), яку носили на шиї разом з хрестом.

великие события. Впрочем, все эти известия Богдан передал Золотаренке с глазу на глаз, обязав его хранить все в глубокой тайне. Весть о возвращении Богдана быстро облетела окрестность. Все наперерыв старались повидаться с паном сотником, так долго и безвестно пропадавшим. Начались пышные приемы, кутежи и попойки. Благодаря письмам Оссолинского, Богдан сейчас по возвращении получил снова в управление свою сотню, но дела службы мало занимали теперь пана сотника; с какою-то непонятною страстью предавался он всем развлечениям, стараясь прослыть непобедимым запиякой на пирах, словно желал своим новым поведением замаскировать старые связи и новую, скрытую роль. И действительно, вся окрестная шляхта, как русская, так и польская, наперерыв зазывала к себе симпатичного весельчака пана сотника, который сделался теперь самою популярною личностью. Дома же он бывал очень редко; с Ганной хотя и был ласков по-прежнему, однако, несмотря на это, она чутким женским сердцем замечала в Богдане непонятную еще ей самой перемену. Да, с нею он был ласков по-прежнему, но никогда уже не говорил он так тепло и открыто, как в старое доброе время; его разговор становился теперь и затемненным и уклончивым, да и вообще Ганна заметила, что он избегает разговоров с ней, касающихся его планов и положения страны. Иногда, впрочем, Богдана охватывала какая-то мучительная тревога. Простившись с Марылькою, он первое время часто вспоминал о ней с болью и тоской. Его мучила неизвестность судьбы маленькой красавицы, оставленной им чужим людям. Часто справлялся он о ней в своих письмах, но не получал на эти вопросы никакого ответа. Сначала эта неизвестность мучила его сердце, но вечные переезды, хлопоты, тонкие и опасные политические поручения, жизнь при иностранных дворах — все это невольно отвлекало его внимание. Наконец, заметивши, что Оссолинский умышленно в своих письмах избегает всяких частных вопросов, Богдан решил, что и ему неудобно справляться о судьбе Марыльки, и перестал упоминать о ней, и мало-помалу образ молодой красавицы как бы совсем исчезнул из сердца козака. Поджидая теперь гонца от Оссолинского, он и не вспоминал о ней: он весь был охвачен какими-то великими, но тайными надеждами и, желая убить томи-

тельное время ожиданья, искал все новых и новых знакомств, пируя целыми неделями, почти забывая о семье. Когда же он бывал в Субботове, то предавался больше интересам хозяйства; то сидел в млынах или устраивал сукновальни, то пропадал в лесу, наблюдая за новыми постройками, то вместе с майстром Шаповалом сооружал, на манер иноземных, диковинный витряк о четырех крыльях, то охотился со своим сыном Тимком, то по целым дням пропадал в пасеках.

В безоблачные, жаркие дни любил он лежать в тени на шелковистой траве или на мягком ковре, следя за певучим полетом пчел, попивая холодное пиво или наливку. Здесь он предавался своим думам, затевал новые планы, обдумывал прошлые предприятия.

— О чем все, пане господаре, думу гадаешь? — спросит, бывало, подсевши к нему, дед.

— Да не поймаешь, диду, и дум,— ответит словно разбуженный Богдан,— разлетелись по всем концам нашей Украйны...

— Ох, и широкие то концы,— закивает уныло седою головою дед,— да толку мало... Что наши-то поробляют?

— А что, гудут по ульям!

— Гудут! А роев не пускают,— буркнет с досадою дед, почесав свою седую голову.

— Еще не вызрели,— улыбается Богдан.— Придет час-пора, запоет, зазвонит крыльями матка, и вылетят с шумом на яркое солнце бесчисленные рои...

— Дай-то боже! — вздохнет дед.

Так прошел год.

Чем дальше тянулось время, тем все тревожнее поджидал Богдан каких-то гонцов из Варшавы. Каждое утро он встречал Ганну одним и тем же вопросом: «А что, не прибыл ли кто ночью?» Но вот уже год был на исходе с тех пор, как вернулся Богдан, а ни гонцы, ни вести из Варшавы не доходили до Субботова.

Шумное энергичное настроение начинало мало-помалу покидать Богдана, место его занимало молчаливое и сдержанное недовольство.

Так начался и второй год.

Стояло знойное, душное лето. Уже около месяца земля не получала дождя. Вялые, пыльные деревья опустили свои полумертвые листья. На полях почти сожженные солнцем хлеба не подымали своих колосков. Каж-

дый вечер на горизонте показывались смутные края отдаленных туч; но утром яркое и жаркое солнце снова подымалось на сухом, безоблачном небосклоне.

В небольшой верхней горенке субботовского дома сидели у раскрытого окна, склонившись над большою книгой, две женские фигуры. Одна из них была постарше и указывала той, которая была помоложе.

— Э, Оксано,— обратилась укоризненно старшая, покачивая головой,— ты сегодня разлодырничалась — и в книгу смотришь, и словно не видишь.

Смуглое личико молоденькой девочки покрылось густым румянцем.

— Душно, панна Ганна,— ответила она, не подымая глаз.

— Ах ты ж лодарка, а мне разве не душно? — ласково улыбнулась Ганна, дотрагиваясь до черных как смоль волос Оксаны.

— То панна, а то я.

— Ну, так что ж, что то я, а то ты?

Девочка хотела было что-то ответить, но вдруг схватилась с места и, обвивши шею Ганны руками, начала быстро шептать ей на ухо:

— Потому что панна добрая, хорошая, гарная, любая, а я лодарка поганая, неслухняная.

— Ну, ну, годи, дивчыно! — перебила ее с ласковою усмешкой Ганна, подымая с лица девочки сине-черные завитки волос, из-под которых на нее глянуло смуглое молоденькое личико с черными глазами на синих белках и белыми, блестящими зубками.— А может, ты и совсем не хочешь псалтыря читать? — заглянула она ей в глаза.

— Хочу, хочу! — вскрикнула молоденькая дивчынка, снова обвивая руками шею Ганны.— Это только что летом душно... а зимою, правда ж, панна Ганна, я лучше читала, правда ж, лучше?

— Правда, правда.

— С меня онде и все дивчата смеются,— продолжала Оксана, не подымая глаз,— говорят, что я для того учусь псалтырь читать, чтобы выйти замуж за старого пономаря и помогать ему на клиросе.

— А ты за старого пономаря не хочешь?

— Ну-у! — провела Оксана широким шитым рукавом сорочки по своему лицу.— За пономаря, да еще за

старого? — глянули лукаво из-за рукава ее глазенки.— Ни за что!

— А за кого ж ты хочешь?

Смуглое личико снова вспыхнуло.

— От еще выдумали... ни за кого! — послышалось смущенно из-за рукава.

— Ну, добре, добре! А может, покуда еще почитаем немножко, вот хоть до этой кафизмы? *

Оксана быстро вскочила на ноги и уселась снова за книгой. В комнате послышалось монотонное чтение славянских слов по слогам.

— А сегодня будет дождь... Вон какие на небе баранцы,— заметила вдруг Оксана, обрывая сразу чтение и высовываясь в окно.

— Дай господи! — Ганна взглянула в ту сторону, куда показывала Оксана и где действительно словно выплывали из-за горизонта волнистою грядой облака.

Двери скрипнули, и в комнату вбежала молоденькая девушка, по-видимому, годом или двумя старше Оксаны. У ней были мягкие русые волосы, карие глаза, и хотя она была одета так же, как Оксана, в плахту, в шитую сорочку и черевики с медными подковками, но тогда, как личико той носило какую-то своеобразную прелесть дикого полевого цветка, в наружности вошедшей был виден некоторый оттенок шляхетности.

— Ганно, Оксано! Годи вам читать! — крикнула она весело с порога.— Идите вниз, во двор, там тато с Тимком и с козаками герц устроили... Из сагайдака ** стреляют, бьются на шаблюках, скорей!

Не поджидая разрешения Ганны, быстро сорвалась Оксана с места и бросилась к вошедшей девушке. Вслед за ними спустилась и Ганна.

На широком дворище субботовского дома раздавались веселые возгласы и крики. Все мужское население хуторка столпилось вокруг небольшой группы, собравшейся в конце двора. Оксана и Катря протолпились в самый перед. Среди широкого круга расступившихся людей стоял с обнаженной саблей Ганджа, а рядом с ним и Золотаренко; оба тяжело дышали после молодецкой схватки на саблях.

* Кафизма — розділ.
** Сагайдак — шкіряні піхви для лука, для стріл; сам лук.

— Эх, были с нас люди,— махнул рукою Золотаренко,— а теперь от этой бабской жизни отпасся совсем.

— А я, батьку, так застоялся,— улыбнулся широкою улыбкой Ганджа, оскаливая свои белые волчьи зубы,— словно барский конь на конюшне, так скажу тебе, кабы мне теперь этих недолюдков штук пять-десять на руку — на локшину бы покрошил... А ну, Тимош, подымай саблю, выходи на ґерц! — подмигнул он головой молодому хлопчику.— Покажем батьку, что у нас и без него недаром время ушло!

Сжавши брови и едва преодолевая охватившее его смущение, выступил на средину круга в одежде для фехтованья Тимош.

— Да ну их к чертовому дядьку, эти панские тацицяци! — крикнул Ганджа, отстегивая ремни у лат и бросая их с силою наземь.— Только мешают доброму козаку вольною грудью вздохнуть! — Ганджа широко распахнул ворот своей сорочки и обнажил бронзовую мохнатую грудь.— Становись против меня, хлопче, да держись, не то разрублю!

А Тимко уже стоял с обнаженною саблей в руках, закусивши губу и сверкая темными глазами из-под черных бровей.

Сабля упала на саблю.

— Ой, Тимко, Тимко! — закричал со страхом Юрась, увидев, что сабля Ганджи засверкала над головой Тимка.

— Сором, Юрасю, разве ты не козак? — остановила его строго Ганна и взяла крепко за руку; мальчик замолчал, зажмуривая каждый раз глаза, когда сабля Ганджи подымалась над Тимком.

— Ловко, хлопче, ловко! — весело одобрил Тимка Ганджа, когда Тимку удалось дотронуться саблей до его руки.— Вот выучил себе на голову! Ну, подожди ж ты у нас! Мы тебе перцу, мы тебе с маком, мы тебе с хреном! — приговаривал он, нападая то с той, то с другой стороны на хлопца; но Тимко, чувствуя на себе всеобщие взгляды и взгляд отца, казалось, весь превратился во внимание и отбивал удачно все удары.

— Славно, сынку, славно! — поддерживал сына Богдан.— Нападай на него, на вражьего сына, смелей, смелей! Вот сюда, с левого бока, с левого!

Наконец, Ганджа нанес Тимку удар по шапке.

— Ну, будет с тебя! — остановился он, тяжело отдуваясь.— Заморил меня совсем: ишь вьется, как вьюн!

— Горазд, сынку, на первый раз совсем горазд! — вскрикнул весело Богдан.— Уж если ты с дядьком Ганджой рубился, так можешь смело против двух татар выступить!

Тимко весь вспыхнул от удовольствия и, проходя мимо девочек, бросил на них исподлобья гордый, презрительный взгляд.

— Ишь, чванится как,— шепнула Оксана Катре,— удивительное дело, что он может против двух татар выступить, я бы тоже смогла двум татарам без всякой сабли выцарапать глаза...

— Ой нет,— возразила Катря,— я их боюсь; ночью, когда приснятся, так даже кричу во сне...

— Ух, душно! — вскрикнул Ганджа, проводя по голове рукой, и поднял кверху глаза.— Ге-ге-ге! Да посмотрите, панове молодцы, дождем запахло, ей-богу.

Все подняли головы; с запада уже надвигалась медленно и плавно серая ровная пелена.

— Дождь, дождь бог послал! — сбросили все шапки и перекрестились на надвигающуюся тучу.

— А что, Ганджа, не хочешь ли со мной померяться? — обратился к черному козаку Богдан.— Может, ты и батьку в лоб попадешь?

— Что ж, коли и батька бить, так надо в лоб целить! — рассмеялся Ганджа.— Только ты вели того, горло промочить, пересохло, как Буджацкая степь!

— Ну, добре, добре! — рассмеялся и Богдан.

Гандже поднесли полный келех горилки. Не сморгнувши, осушил его одним залпом козак.

— Ну, теперь хоть и сначала начинать,— отер он рукавом губы.

Богдан расправился, махнул несколько раз саблею в воздухе, отчего раздался резкий свист, и, принявши твердую позу, поднял саблю навстречу Гандже.

Сабли встретились. Все затаили дыхание; слышны были только удары клинка о клинок. Бой продолжался уже несколько минут с равной силой со стороны обоих, как вдруг сабля Ганджи сверкнула, сделала крутой прыжок и, описав в воздухе большой полукруг, перелетела через его голову и, при общих восторженных криках, врезалась в землю.

Ганджа стоял оторопелый, словно не понимая, что случилось и каким образом удалось батьку выбить саблю из его крепкой руки.

— Ну, да и батько,— почесал он, наконец, в затылке, разводя руками,— первый раз в жизни случилась со мной такая вещь!

— То-то ж,— усмехнулся Богдан.

— Да как это ты умудрился? Рука у меня как железо...

— Штука, пане-брате! Мне ее в Волощине [111] один майстер за сто червонцев открыл. Видишь ли, сынку, на все наука!.. Всему наука научит, а ты вот до нее не очень припадаешь, а батьку это обида.

— Козаку науки не надо! — буркнул несмело Тимош.

— Как не надо? Да разве козак чем хуже другого умелого человека?

— То панское да монашеское дело,— поддержал хлопчика и Ганджа,— а козаку сабля да крепкая рука — вот и вся наука!

— С одною саблей да с кулаком далеко не уйдешь!—ответил с едва скрываемою досадой Богдан.— Медведь на что силен, а его вот такою штукой,— указал он на пистолет,— и дитя малое повалит. А до такой хитрости разум дошел. То-то вы все так размышляете, а пусти вас в панскую господу или в сейм, так ни бе ни ме... ни ступить, ни разумное слово сказать. А панство и радо скалить зубы да величать вас хлопским быдлом.

— Коли скалят зубы, так мы их им и посчитать сможем.

— Посчитать-то легко, Ганджа, да одним этим дела не выиграешь: коли неук, все равно обзовут хлопским быдлом.

— А начхать я хотел на ихние панские вытребеньки! — плюнул в сторону Ганджа.— Кто меня быдлом обзовет, тому я вьязы скручу, а танцевать, как цуцык, для их лядского сала не буду!

— Кто говорит тебе — танцевать! — вспыхнул Богдан.— Козаку ни перед кем танцевать не надобно, а надо так держаться, чтобы и самого уродзоного шляхтича за пояс заткнуть. Тогда только тебя все поважать будут и за равного сочтут. И прав своих сможешь разумом добиться, а что всё зубы считать да ребра ломать? Нуж-

но не одними руками, а и разумом бить, вот против такой силы не сможет никто!

Богдан повернулся и направился широкими шагами к крыльцу дома. Ганджа стоял в той же позе с лицом, выражавшим полное недоумение; Золотаренко задумчиво покручивал ус, а на лице Тимка со сжатыми плотно губами лежало выражение такого упрямого сопротивления, которое ясно показывало, что сын не согласится в этом с батьком никогда.

К вечеру все небо затянуло сплошной серой пеленой. Начали робко прорываться мелкие капли дождя, а потом он засеял смело, как из частого сита, теплый, ровный и благодатный. Воздух дохнул живительною прохладой и свежестью, навеял на хуторян и проснувшиеся надежды на урожай, и сладкий после утомительного зноя сон.

Несколько раз Оксане чудились ночью какие-то стуки в ворота, какие-то возгласы и топот чьего-то коня, а Катря и Оленка спали, как убитые, спокойно.

Утром, чуть солнце показалось над горизонтом, Оксана быстро вскочила на ноги и, опустивши кватырку, выглянула в окно. Утро стояло дивное, влажное, сверкающее. Омытые дождем деревья, цветы и кусты так и горели на солнце крупными каплями росы; трава, казалось, гнулась под этими тяжелыми, прозрачными каплями, унизавшими ее. Весело чиликали ободрившиеся птицы. Оксана снова оглянулась в комнату. Бабы уже не было, а Катря еще спала крепким сном.

— Катре, Катрусе, вставай! — бросилась она весело будить подругу.— Посмотри только, какое славное утро!

Катря приподнялась и села на лавке, протирая кулаками глаза.

— Что, что такое? — проговорила она сквозь сон, еще не понимая, в чем дело.

— Вставай, вставай же, Катрусе! — тормошила ее Оксана.— Ночью кто-то приехал к нам. Я слыхала, право! Вставай скоренько, побежим посмотрим!

— О? — отняла Катря от глаз руки, совершенно очнувшись уже от сна.— Кто ж бы это был?

— Не знаю, а может, Олекса...— шепнула она и прибавила торопливо: — Одевайся скорее, увидим.

В одно мгновение девочки сорвались и начали поспешно одеваться. Умывши лицо холодной водой из глиняного кувшина, они туго заплели свои косы; но, сколь-

ко ни мочила Оксана волос водою, непокорные завитки продолжали упрямо выбиваться и из-за ушей, и надо лбом. Туалет был скоро окончен. Оксана и Катря взглянули мельком в большое медное зеркальце, гладко отполированное, и выбежали во двор.

— Ой, боюсь росы! — вскрикнула Катря, ступая босою ногой на мокрую траву.

— А я так люблю! Ух, славно как! — бросилась Оксана нарочно по самой густой траве.— Побежим к гайку, может, бабу встретим, расспросим, а то к шелковице; еще рано: все спят.

Девушки побежали по утоптанной желтым песком дорожке. На душе их было так весело и светло, как и в этом раннем безоблачном небе. И свежее утро, и приехавший неизвестный пан — все это заставляло еще скорее биться их молоденькие, полные жизненной радости сердца. И потому все кругом казалось таким веселым, таким улыбающимся, таким смешным.

— А как ты думаешь, Катря, кто бы он был? — спрашивала Оксана, набивая себе полный рот шелковицей.

— Нет, не Олекса, верно, важный пан какой,— заметила серьезно Катря,— когда б только не старый...

— И гарный!.. Я терпеть не могу старых да еще поганых... Ты б, Катруся, хотела, чтоб он был билявый или чернявый?

— Билявый.

— А я б хотела, чтоб он был чернявый козак с черными вусами, с черными глазами, в аксамитном кунтуше,— щебетала Оксана.— Ох боже ж мой, что ты наденешь, Катря? Знаешь, я надену зеленый жупан и желтые черевики. Хорошо будет, да?

— Да, а я надену голубой и новые сережки, что мне подарил тато. Ну ж бо, Оксано, довольно шелковицы, бежим, бежим скорее!..

— Господи! Да что же это мы наделали? — всплеснула руками Оксана, смотря с ужасом на свои черные пальцы и на черные зубы Катруси.

— Да уж там отмоем как-нибудь!

Девушки взялись за руки и со звонким хохотом бросились по направлению к дому; как вдруг из-за поворота аллеи прямо выросла перед ними высокая мужская фигура.

— Ой! — вскрикнула Катря и бросилась в кусты, а Оксана так и замерла на месте.

Перед ней стоял не кто иной, как Олекса. Только ж, боже мой, разве это был ее прежний маленький Ахметка? Перед ней стоял высокий и статный молодой козак, не хлопчик, а настоящий козак, «высокый та стрункый, мов явор», с смуглым, мужественным лицом, с черными, еще небольшими усами и чуть-чуть приподнятыми бровями. На нем был красный жупан, дорогие пистоли и сабля.

Оксана стояла как вкопанная, не отводя от него глаз, будучи не в силах двинуться. И радость, и смущение, и неожиданность сдушили ее трепетавшее сердце.

— Оксана! — только и мог вскрикнуть от того же восторга Олекса, останавливаясь перед нею как вкопанный; он с изумлением загляделся на прелестную, раскрасневшуюся молодую девушку, так неожиданно появившуюся перед ним.

— Оксана, да неужели это ты?

Но этот знакомый голос в одно мгновение отрезвил Оксану. И ее босые ноги, и растрепанные кудри, и черные от шелковицы руки и зубы — все это в одно мгновение предстало с изумительною ясностью перед ней: господи, а она-то так мечтала, так долго думала об этой встрече! Пропало, пропало все!

— Ой! — вскрикнула Оксана, закрывая фартухом лицо, и бросилась опрометью по мокрой траве.

XXIV

Много перемен за эти четыре года произошло в Чигирине. Старостинский замок, угрюмо дремавший над тихим Тясмином, в последний год обновился, принарядился и, открыв свои сомкнутые веки, глянул на свет. От замка побежали вниз между волнами густой зелени золотистые сети дорожек; вокруг него разостлались роскошными плахтами клумбы цветов; с боков приютились красные черепичные крыши, рассыпавшиеся между садиками, вплоть до Старого места (городской площади). Коронный гетман, староста чигиринский, редко останавливался в чигиринском замке, а потому последний и был прежде запущен. Но два года назад приглянулась ста-

рому магнату молодая красавица, дочь краковского воеводы князя Любомирского, и влюбленный старец переселился поближе к своей желанной невесте, укрепив место чигиринского старосты за своим сыном Александром, к которому назначил подстаростой дозорца своих маетностей, пана Чаплинского. Последний успел заискать расположение у старого Конецпольского, а молодому сумел залезть в душу; он подметил у юноши дряблую, падкую ко всяким вожделениям натуришку и стал потакать ей тайно во всем. Сам вконец развращенный, он систематически развращал и гетманского сына, забирая в свои руки его тряпичную волю: охоты, азартные игры, кутежи, потехи, насилия, вальпургиевы ночи [112] опьяняли изнеженного магнатика чадом жизни и привязывали к виновнику этих наслаждений Чаплинскому. Когда же старый Конецпольский удалился на Подолию, оставив сына самостоятельно хозяйничать в старостве, то Чаплинский не стал уже стесняться в виртуозности своих измышлений и закружил голову своего владыки в бесконечных оргиях и пирах... И чигиринский замок, и двор, и сам город закипели небывалым оживлением, хотя это оживление принесло местным жителям много горя и слез.

Пониже старого замка, на круче, над самым Тясмином, в тени садов чернело высокою крышей довольно большое и неуклюжее здание; за ним золотистыми ромбами выглядывали новые гонтовые крыши других построек, над которыми, в виде каланчи, высилась круглая башня; это была усадьба чигиринского подстаросты Чаплинского.

Теперь под покровом мягкой украинской ночи и будынок, и сад Чаплинского светились огнями; на широком, мигавшем от двигавшихся факелов дворе стояла сутолока и гам: стучали колымаги и повозы, фыркали кони, перебранивались кучера, суетилась прислуга, сновала туда и сюда придворная шляхта. Овдовевший Чаплинский, по истечении шестимесячного траура, праздновал сегодня свое новое кавалерство, задавал холостую пирушку — хлопяшник...

За домом, в саду, под охраной ветвистых елей и сосен, пересаженных искусственно на песчаный холмик, стояло обширное гульбище (павильон), к нему вела змейкой дорожка, окаймленная вперемежку кустами па-

поротника и можжевельника. Самое гульбище внешним видом напоминало какое-то капище * с островерхою крышей; последняя заканчивалась расплывшимся куполом с длинным, торчащим шестом. Вокруг этого купола шла узенькая, огражденная балюстрадой площадка, к которой вела шаткая лестница. С этой площадки открывался чудный вид на разлившийся озером Тясмин, на тающие в сизой мгле контуры правого нагорного берега и на раскинутый гигантский ковер левого. Внутри это гульбище состояло из одной просторной светлицы, к которой примыкали с двух сторон уединенные беседочки, густо обвитые диким виноградом и плющом. Внутренность ее была искусно отделана березой: белые пластинки коры переплетались мозаикой с темными фарнерами корня в прихотливые узоры и словно коврами покрывали потолок и стены светлицы, придавая ей необычайно оригинальный и кокетливый вид. Незастекленные, без рам, высокие окна были полузавешаны извне бахромою ползучих растений, а внутри закрывались матками (циновками) из оситняга. При входе была во всю длину здания широкая терраса. Мебель в светлице состояла из светлых ясеневых столов и плетеных из красного шелюга (род лозы) кресел; но в беседках стояли еще и широкие канапы с изголовьями, обитые мягкими коврами.

Теперь все столы были накрыты белоснежными скатертями и гнулись под тяжестью канделябров, жбанов, кувшинов, кубков и всевозможнейших фляг. Матки на окнах и дверях были подвернуты; внутренность светлицы горела сотнями колеблющихся огней, а через темные отверстия окон врывались струи прохладного, напоенного смолистым запахом воздуха. В светлице и на террасе в дорогих и пестрых костюмах толпились группами гости; но у стола еще никто не сидел, видимо, ожидая прибытия какого-то важного лица. Сам хозяин то и дело выбегал на террасу и рассылал на разведки своих козачков — джур.

У одного из открытых окон стоял зять хозяина, Комаровский, молодой еще блондин, с светлыми бесцветными глазами, широким носом и толстыми, чувственными губами; он рассказывал собравшимся вокруг него

---

* Капище — язичеський храм.

вельможным панам игривые побрехеньки, заставлявшие всех покатываться со смеху; особенно громко и с засосом хохотал, поддерживая руками свою вместительную утробу, откормленный на славу, с бычачьей шеей, пан Цыбулевич, приехавший из Волыни по личным делам; за ним заливался звонким и частым смехом худощавый и длинный как жердь старший (на основании маслоставской ординации) над рейстровыми козаками, ополяченный немец Шемброк [113]; за этими фигурами то скрывался, то скромно выглядывал знакомый уже нам пан Ясинский, втершийся как-то на днях, при посредничестве Чаплинского, в свиту молодого старосты; он был одет просто, по-шляхетски, и подобострастно хихикал, прищуривая свои красные, подпухшие глаза и стараясь втянуть в себя округлившееся за четыре года брюшко; за ним толпилось еще несколько блестящих фигур молодой шляхты. У другого окна, якобы созерцая глубокое, усеянное звездами небо, стоял егомосць пан пробощ * и чутко следил за рассказами, смакуя каждым словом в тиши. Под елями прохаживались тоже нарядные группы.

— Фу, пане... дай пóкой... отпусти душу! — почти задыхался пан Цыбулевич.— Ведь лопну... як маму кóхам! И без того духота, а ты еще поддаешь пару...

— Пшепрáшам **, тут еще на духоту жаловаться нечего,— заметил худощавый Шемброк,— тут пышно, чудесно... ветерок, прохлада и этот бор,— сказал он, махнув к себе несколько раз рукою и стараясь вдохнуть благоухание ночи.

— Да, здесь восхитительно, очаровательно, ясное панство,— вмешался робко Ясинский,— я во многих богатейших палацах бывал, но такого привлекательного уголка не находил нигде.

Цыбулевич и Шемброк посмотрели небрежно на Ясинского.

— Ну, пане тесте, здесь хвалят все твое гульбище,— обратился ко входившему Чаплинскому Комаровский,— и постройку, и борик, и твою фантазию находит панство прекрасным...

— Очень рад, очень польщен, мои дорогие, пышные

* Пробощ — католицький, парафіяльний священик, ксьондз.
** Пшепрашам — перепрошую, даруйте *(польськ.)*.

гости,— подошел, самодовольно улыбаясь, хозяин,— для меня тоже здесь самый дорогой уголок в моих владениях: эти сосны и ели, этот песок и можжевельник, эта березовая отделка напоминают мне, хотя слабо, мою милую Литву, и я здесь отдыхаю от трудов душою и телом.

— И предаюсь, добавь, тато, за ковшем доброго литовского меду свободной неге, услаждаемой нимфами...

— Что ж, зять,— вздохнул невинно Чаплинский,— vita nostra brevis est *.

— Клянусь Бахусом и Венерою — правда! — воскликнул Комаровский.

— А пан поклоняется только двуипостасному богу? [114],— засмеялся октавою Цыбулевич.

— Иногда еще, пане, признаю и третьего — Меркурия...[115]

— Да... игра и всякие прибыли, гешефты...— опять вмешался Ясинский,— без них и первые два бога имеют мало значения... Есть вот баечка...

— А что же, пане,— прервал Ясинского Цыбулевич,— будем ли мы посвящены во все прелести неги литовской?

— Об этом егомосцъ будет судить лишь послезавтра,— развел руками Чаплинский и с загадочною улыбкой подошел под благословение пробоща.

На террасе стоял Хмельницкий с полковниками Барабашем и Ильяшем. Первый выглядел уже старикашкой, с отвислыми щеками и таким же брюшком; держался он несколько сутуловато и не совсем твердо в ногах; огромные седые усы его спадали длинными прядями на грудь, а узкие прорезанные глаза изобличали татарское происхождение. Второй же был более бодр и темным цветом лица да характерным носом напоминал армянина.

— За границу я ездил по королевским личным делам... с письмами к тестю [116],— говорил Богдан,— чего мне скрывать от своих? Мне шляхетное мое товарыство дороже, чем кто бы ни был: с панством шановным мне век и жить, и служить, а там,— махнул он рукою,— «с богом, цыгане, абы я дома...»

— Это ты горазд, пане сотнику,— буркнул Барабаш,

---

* Наше життя коротке (*лат.*).

мотнув усом,— кому-кому, а тебе с нами... и рука руку, знаешь...

— И моет, и бруднит (грязнит),— засмеялся Богдан.

— Хе! — клюнул носом Ильяш, набивая с длинным чубуком трубку.— Но любопытно знать... даже бы нужно... что стояло в тех письмах?

— Нельзя же было, пане полковнику, разламывать печатей,— ответил, пожавши плечами, Богдан,— хотя и кортело... Так, с углышка только мог догадаться, что дело шло о приданом... Грошей просил его королевская мосць,— добавил он шепотом.

— Ага, именно! — обрадовался догадке Барабаш.— Король ведь действительно бедняк — харпак... Где ему нам допомочь? Некоторые у нас надеются на короля... Пустое! Попыхач он у золотого ясновельможного панства...

— «Як нема тата, то шукай ласки у ката»,— улыбался Ильяш, раскуривая трубку.

— Так ли, сяк ли, а есть надо...— засмеялся и Барабаш, а потом заметил Богдану: — Скучали мы по тебе, что редко так жалуешь?

— Спасибо за ласку,— поклонился сотник,— боялся докучать, да и рои подоспели...

— Пышное панство, прошу в светлицу к столам! — крикнул на террасе Чаплинский.— Его ясновельможная мосць уже едет!

Длинною вереницей потянулись гости в светлицу. Хозяин торопливо начал представлять их друг другу.

Хмельницкий страшно был озадачен появлением своего врага, почти забытого им за пять лет. Сам Чаплинский, видимо, чувствовал себя крайне неловко при представлении своему свату Ясинского и пытался загладить эту неловкость их примирением.

— Пана страшно грызет совесть за прошлое,— умильно заглядывал свату хозяин в глаза,— он почти для того и приехал, чтобы выпросить у тебя, друже, забвение ошибкам горячей и нерассудливой юности.

Ясинский стоял во время этой тирады в смиренной позе, с опущенными долу глазами и поникшей головой.

— Что было, то минуло,— сказал небрежно Богдан и, взявши под руку свата, отвернулся от Ясинского, сказавши: — Я имею тебе, пане-брате, сообщить нечто важное.

Ясинский проводил его злобным зеленым взглядом щакала.

В это время распахнули двери два козачка, и в светлицу быстро вошел сам староста, молодой Александр Конецпольский, под руку с князем Заславским.

Несмотря на раннюю молодость, на лице Конецпольского лежали уже следы отравы и пресыщения, а вздернутый нос и прищуренные глаза придавали ему нахальное выражение. Заславский же был средних лет и среднего роста, но необыкновенно тучен; впрочем, лицо его дышало здоровьем и свежестью, а выражение его было крайне симпатично: и по одежде, и по манерам можно было сразу признать в нем магната.

В светлице послышалось шумное движение: Чаплинский бросился с подобострастным восторгом навстречу; панство тоже понадвинулось приветствовать именитых гостей.

— Вот я, пане,— обратился Конецпольский к хозяину,— привез к тебе моего дорогого гостя, ясновельможного каштеляна Дубенского, князя Доминика Заславского,— прошу ушановать егомосць.

— Падам до ног! — захлебывался изгибаясь Чаплинский.— За великую честь, за счастье! Челом бью ясноосвецоному панству, прошу на почетное место!

Поздоровавшись с некоторыми гостями и познакомив с ними Заславского, Конецпольский приветствовал остальных наклонением головы и занял первое место, усадив по правую руку Заславского.

Теперь уже хозяин обратился с приятным жестом ко всем:

— Прошу, пышное панство, занимайте места, кому где любо: сегодня мы празднуем вольное свято утех и радостей жизни, свободу нежных страстей, а перед ними — все равны. Не будем же тратить дорогого времени.

С одобрительным шумом разместилось многочисленное общество за столами.

— Для начала, панове,— произнес торжественно Чаплинский, наливая из объемистой фляги всем в кубки какую-то золотисто-зеленоватую жидкость,— прошу вас отведать этой литовской старки, настоянной на зверобое и можжевельнике.

— Недурно,— попробовал староста.— Ты ведь, пане подручный, обещал угостить нас сегодня всеми роско-

шами Литвы, начиная с яств и питей и кончая более сладкими прелестями?

— Темные леса и глубокие озера моей родины со всеми их обитателями, видимыми и таинственными, со всеми чарами неги будут у ног ясновельможного пана,— произнес с низким поклоном, разводя руками, Чаплинский.

— Это мы с паном пробощем оценим,— подмигнул Конецпольский.

— Non possumus *,— опустил глаза пробощ.

— Го-го! — засмеялся староста.— Potentia potentiorum! **

— А пока знайте, панове,— обратился он ко всем,— что мой помощник празднует сегодня свою холостую свободу и возобновленную молодость, так нужно нам поддержать его поддержанные силы.

— Edamus, bibamus, amemus! *** — воскликнул, поднимая кубок, Хмельницкий.

— Amen! — чокнулся с ним Барабаш.

— Виват! Слава! — подхватили гости шумно, одобрив литовскую старку. Судя по возросшему сразу шутливому говору и смеху, она действительно заслуживала большой похвалы.

Между тем, гайдуки втащили на столы в огромных полумисках медвежьи окорока, буженину из вепря, лосьи копченые языки, полотки из диких гусей, а к ним в вычурных мисах-вазах разнообразные соленья и приправы из лесных ягод и разного рода грибов, да всякие еще литовские сыры. Бесчисленное количество козачков засуетилось возле гостей, то подавая, то принимая посуду, то ожидая других приказаний.

С шумными одобрительными возгласами и жадностью накинулось панство на дары дремучей Литвы; цоканье ножей, усиленное сопение и жевание неоспоримо доказывали, что гости отдавали им полную честь. Чаплинский суетился, рекомендовал и сам подкладывал лучшие куски особенно почетным для него лицам. Молча, кивками голов да мычанием благодарила услужливого хлебосола почтенная шляхта и только лишь вы-

* Не можу *(лат.)*.
** Найвища влада *(лат.)*.
*** Їжмо, пиймо, кохаймо! *(Лат.)*

тирала платками, а то и бархатными велётами своих роскошных кунтушей обильно выступавший на подбритых лбах пот.

После первой смены хозяин наполнил кубки гостей новою мудреной настойкой. На вторую скатерть поставлены были другие полумиски и лохани с разною маринованною, вареною, жареною, фаршированною рыбой, и все из литовских озер, с литовскими же соусами и потравками.

Когда первый голод был утолен и с меньшею жадностью стало набрасываться панство на снеди, послышались за столами то там, то сям короткие фразы.

— Да, у нас новость, я и забыл сообщить ясновельможному панству,— говорил заметно уже подогретый старками пан Чаплинский,— у нас вот в Чигиринском лесу, за Вилами, в трущобе поселилась литовская ведьма, чаклунка, почище киевской... вот так ворожит — не цыганкам чета! Кому из вас, панове, желательно узнать свое будущее, так рекомендую: как на ладони увидите! А кроме того, у нее найдутся вернейшие привороты и отвороты...[117]

— Ну, этого нам не потребуется,— скромно заметил пан пробощ.

— Очень самонадеянно! — улыбнулся Заславский.

— Гм, гм,— погладил ус Барабаш,— а мы так должны смирить свою гордыню.

— Хе? Нам, подтоптанным, зело нужны привороты,— заметил Шемброк.

— А по-моему, пане добродзею, найлучший приворот — это дукаты! — пробасил князь.

— Святая истина! — пропел в тон Ясинский.

Все захохотали. Сдержанное, натянутое настроение пред лицом таких важных магнатов, ослабленное несколькими кубками доброй старки и других настоек, теперь сразу упало, всяк почувствовал себя развязным и смелым.

— В каких это Вилах,— спросил небрежно Богдан,— что на Татарском току или за Чертовым провальем?

— За Чертовым, за Чертовым, где крутится бесом бурчак,— ответил Чаплинский, наполняя свату вновь кубок,— а что, думаешь попытать свою долю?

— И спрашивать нечего: наша доля затылком стоит.

Совершили третье общее возлияние, подали новую перемену. На этот раз в глубоких вазах появились литовские колдуны.

— Пышное панство! — заявил торжественно хозяин.— И рыба, и колдуны любят плавать, так вот рекомендую легкие прохладительные — толстые фляги наливок, ратафий *, запеканок, мальвазий **. Черпайте из них обильно и спешно, ибо с появлением царя питей, нашего старого, седого меда, всякие пустяковины будут убраны.

— Добрая рада! — зашумели гости и потянулись все к флягам.

— Не буду времени тратить, ясновельможный пане! — крикнул уже смело Ясинский, опоражнивая кубок.

Начались меж соседями и вразбивку потчеванья и чоканья.

— Слыхали ли, панове,— заговорил один из молодых землевладельцев,— вновь начались хлопские бунты.

— Что? Где? — обратились многие к шляхтичу.

— Да вот, у моего брата за Киевом был случай: не захотели панщины отбывать хлопы, стали галдеть, что прежним владельцем им даны зазывные льготы ***.

— Ишь ты! — заволновались некоторые.— Послушай их, так и хозяйство все брось!

— Ну, и что же, пане добродзею? — заинтересовался Заславский, да и другие притихли.

— Брат-то, ясновельможный пане, расправился с ними по-шляхетски: написал им новые условия на спинах.

Взрыв хохота прервал рассказчика.

— Да, панове, а одно село, которому такое решение не понравилось, сжег он дотла.

— С хлопами? Так начадил сильно! — икнул Ясинский.

— И убытки понес,— добавил мрачно Богдан.

— Конечно,— загорячился пан с бычачьей шеей,— а что поделаешь? Вот и у меня в соседстве повесили эконома хлопы.

---

* Ратафия — наливка.

** Мальвазия — вино з білого винограду, однойменного сорту.

*** Зазывные льготы — пільги, які обіцяли пани переселенцям, закликаючи їх на свої землі.

— Плохое предзнаменование,— отозвался Заславский,— и многому виною мы сами.

— Конечно, ясноосвецоный княже,— подхватил развязно молодой шляхтич,— потворство, полумеры, паньканье...

— Жестокость,— подсказал Шемброк.

— Соблазняются такими мыслями многие,— промычал Комаровский.

— «Аще око тебя соблазняет, вырви его и верзи вон»,— с чувством сказал пробощ, поднявши набожно взор.

— Отвратительная слабость,— зарычал Цыбулевич,— не манерничать нужно с этим быдлом, а залить сала за шкуру...

— Как князь Ярема кричит: «Огнем и ме́чем!» — улыбнулся насмешливо Заславский,— только вот в чем беда: после огня и меча ничего не остается.

— Да, ясный княже, нам, властителям, это невыгодно,— сказал, покрасневши, Хмельницкий.

— Я вот потому и рекомендую лучшее правило — канчуком и лозой! — выпятил багровые глаза Цыбулевич.

— Виват, пане! — потянулись многие к толстяку с кубками.

— Виват! — поднял свой и Богдан.— Вы там канчуками разгоните, а народ и бросится к нам, вот тогда в поместьях вельможного нашего панства и будет сила рабочих.

— Слава нашему пану сотнику! — закричали одни, а другие расхохотались.

— Слава свату, слава! — чокнулся с Богданом Чаплинский.— Только и с нашим подлым народом нужно камень за пазухой держать. Предпочитая регламент пана Цыбулевича, я предлагаю в дополнение еще более остроумные меры, как например: жажду, голод, холод, зуд...

— Воистину, претерпевший на теле душу свою соблюдет,— вздохнул пробощ.

— Отец мой,— заметил иронически Конецпольский,— очень уж этому быдлу потворствовал: льготы давал, поборы брал ничтожные, а потому такие ж и доходы.

— Ну, мы их увеличим! — задорно крикнул Чаплинский.

— Я ведь, свате, тоже за доход: чем больше его в наших поместьях, тем лучше,— вмешался Хмельницкий якобы небрежным, веселым тоном, но заметно было, что в голосе его прорывалась сдерживаемая злобная хрипота, изобличавшая внутреннюю бурю. Только, по-моему, первая забота доброго хозяина, чтоб быдло его было в силе и в теле, а если его изнурить голодом, да холодом, да нужею, так работы с него не будет; значит, и выйдет: «Ни богови свичка, ни чертови кочерга!» А насчет дохода, так его можно увеличить, либо выдавливая сильнее из одной макухи (жом) олею, либо увеличивая число макух.

— Ловко, ловко, пане! Голова! — поддерживали Богдана местные шляхетные землевладельцы, а пьяненький Барабаш даже облобызал своего сотника.

— Теперь запугивание панства этим схизматским хлопством никчемно,— вмешался вдруг в разговор сильно охмелевший Ясинский.— У пана сотника все старое в голове: минуло, прошло! Теперь, если бы что, так только мокрое место,— нагло он опрокинул свой кубок и разлил по скатерти драгоценную влагу.

— Совершенно верно,— поддержал и Чаплинский.

— А если от пана Цыбулевича и его соседей перебегут к нам все хлопы,— добродушно засмеялся седенький старичок,— так чтобы не было волнения...

— У Речи Посполитой хватит на всех канчука! — крикнул заносчиво Комаровский.

— У меня-то волнений не будет, ручаюсь,— высокомерно сжал брови молодой староста,— хотя я и сокращаю, и уничтожаю эти глупые льготы... Я и с паном сотником не согласен: по-моему, и макух нужно больше завести, и выдавить каждую посильнее.

Богдан заскрежетал зубами и выпил залпом огромный кубок наливки.

Чаплинский, заметив желчное раздражение своего патрона, поторопился замять эту опасную тему, начав разливать в ковши новые хмельные дары своей родины. На столах появилась грудами жареная дичь — лебеди, тетерева, глухари, рябчики. Панство потянулось тащить на тарелки руками жирное, обложенное салом мясо, но ело уже более лениво, небрежно, как говорят, ялозило

им руки и губы. Лица у большинства гостей были сильно возбуждены, глаза горели, пот скатывался свободно ручейками по лоснящимся, красным щекам.

— Нет, что ни говорите, панство,— начал-таки снова, тяжело отдуваясь, Цыбулевич,— а единодушия у нас нет: если бы вся благородная шляхта постановила давить без потачек псю крев, так давно бы эта сволочь и пищать позабыла...

— Не пищат только мертвые,— заметил тихо Богдан.

— Ого! — подхватил нагло Ясинский,— значит, пан советует им всем снять capita? *

— Я советую пану,— улыбнулся презрительно тот,— просветлить себя больше наливкой.

— Цо-о? — хотел было подняться Ясинский, но не мог. Соседи хохотом и говором замяли эту неприличную выходку. Барабаша клонило ко сну, а другой седенький старичок часто клевал носом в тарелку. Шум все возрастал: панство принимало более непринужденные позы, распускало пояса...

Чаплинский, моргнувши соседям на Ясинского, начал поощрять всех к выпивке, угрожая, что при появлении на столах меду это все будет убрано.

— По-моему,— поднял авторитетно голос молодой Конецпольский,— дикую бестию сначала нужно заморить, усмирить, чтобы потом на ней ездить.

— Коня и быка, но не хлопа,— отозвался пробощ, открывая с усилием посоловевшие очи.— Вот мой коллега на Волыни вздумал было приучить хлопов возить себя в возке по парафии... ну, и возили... Только... что бы вы думали, пышное панство? Какой эти схизматы неверный народ! Возили, возили, а потом загрузили возок в болоте, в лесу, и разбежались... Бедный капелан так и остался на месте, в добычу комарам и мошке...

— Лайдаки! Шельмы! — закричали некоторые, но большинство покрыло их возгласы гомерическим смехом.

— Ха-ха-ха! — покатывался на стуле Заславский.— Воображаю капелана в болоте с целою тучей над ним всякой дряни...

— Забавно! — засмеялся Конецпольский.

---

* Голови (*лат.*).

— Да,— захихикал, подыгриваясь к патронам, Чаплинский,— вероятно, отмахивался и отчесывался долго...

— А и комары, верно, долго гулы,— вставил Хмельницкий,— полакомившись на белом да хорошо откормленном теле...

Новый взрыв хохота покрыл его слова.

Пробощ поднял с ужасом глаза вверх и сложил набожно руки...

В противоположном конце стола шел между двумя шляхтичами крупный спор о собаках и держали пари, кто больше в состоянии выпить. Ясинский брался быть медиатором...* Справа какой-то пидтоптанный пан доказывал Шемброку, что нигде нет такого материала для гарема, как в этих местах; но толстый, с бычачьею шеей пан все упорно стоял на своей теме:

— Нет, что ни толкуйте, панове, а единодушия у нас нема: один — сюда, другой — туда, а третий — черт знает куда!

— Это-то, пане добродзею, так! — отозвался Заславский, вздымая свое шарообразное чрево.— Сенаторы и благоразумная шляхта не блюдут у нас дружно Речь Посполиту ни в хатних интересах, ни в окольных... Замечается раскол, грозящий повалить и нашу золотую вольность.

— Как? Что такое? — встрепенулся Конецпольский, а за ним и другие насторожили уши.

— Да вот,— после долгой передышки начал Заславский,— был я у великого литовского канцлера Радзивилла [118], так до него дошли смутные слухи, будто бы некоторые наши магнаты — nomina odiosa sunt ** — затевают что-то с королем, вредное для нашей свободы.

Всех ошеломило это известие. Богдан побледнел: неужели так тщательно скрываемая тайна сделалась известной до осуществления?

— Сто дяблов! — ударил по столу кулаком Конецпольский.

— Мокрая ведьма им в глотку! — ругнул Цыбулевич.

— Sancta mater ***,— всплеснул руками пан пробощ.

---

* Медиатор — посередник.

** Не називаючи прізвищ (*лат.*).

*** Свята мати (*лат.*).

— Что ж это? Дурманом напоил кто-либо эти головы? — отнесся сочувственно и Чаплинский.

— Главное — король,— подчеркнул Заславский,—он, кажется, хлопочет об увеличении своей власти и ищет клевретов...*

— А в какой же хвост, ясный княже, смотрит сейм? — посинел даже пан Цыбулевич.

— Еще, пане добродзею, идет только смутный слух,— ответил Заславский,— а когда будет что-либо положительное в руках, то сейм, конечно, распорядится...

Богдан усиленно наливал себе кубок за кубком и пил, чтобы скрыть от других свое замешательство; ему казалось, что глаза всех устремлены на него и что вот-вот сейчас начнется допрос.

— Знаете... ясноосвецоное панство,— заговорил заплетающимся языком Ясинский.— Оссолинский... у! Это лис!.. Я только что из Варшавы... бывал там везде... у высшей знати... и слыхал... это изумительно... Як маму кохам, пекельная штука!

— Какая? — поинтересовался Заславский.

— Тонкая, ваша яснейшая мосць! — нахально улыбался Ясинский, бросая на Богдана вызывающий взгляд.— Я хорошо знаю Оссолинского... бывал у него...

— У ясноосвецоного пана канцлера? — воскликнул, пожавши плечами, Хмельницкий, желая осадить лжеца и подорвать к нему доверие.

— Для козака это может быть за диковинку,— прищурил презрительно тот глаза,— а для уродзоного шляхтича это фрашки (пустяки). А в доказательство... я могу сообщить... что вот на днях... у канцлера будут две свадьбы...

— У него одна только дочь,— возразил Заславский.

— Одна родная, ваша ясная мосць, а другая приемыш... да... просто пальцы оближешь!..

— Цяцюня? Хе-хе-хе! — засмеялся Барабаш, зажмурив глаза и покачиваясь из стороны в сторону.

Словно молот тяжелый упал Богдану на голову. «Это Марылька!» — сверкнуло у него молнией и молнией же ударило в дрогнувшее сердце. Не получая никаких известий о Марыльке во время пребывания своего

* Клеврет — ставленик, прибічник.

за границей, не получая от нее ответа на посланное ей письмо уже из Субботова, Богдан порешил, что панянка забыла его, поглощенная волнами новой, увлекательной жизни, и что ему, козаку, не к лицу носить какую-то болячку на сердце про несбыточное черт знает что... и вдруг при одном известии он почувствовал в сердце боль, и такую щемящую да досадную, что даже бросилась ему в лицо кровь и глаза сверкнули диким огнем.

— Ну, так что же разведал там вацпан? — с раздражением уставился староста на Ясинского.

— Что Оссолинский, ясноосвецоный, задабривает козачью старшину... О, это хитрая лисица... но и старшина тоже... ой, ой, ой! — не спускал он с Хмельницкого пьяных глаз.

— Это поклеп и на Оссолинского, и на старшину! — крикнул, вспыливши, Богдан и отвел смущенно глаза.

— Старшина верна Речи Посполитой! — добавил Ильяш.

— Предана как собака... как скаженая,— забормотал Барабаш, вытирая усами тарелку.

— Как один да один — два! — выпрямился Шемброк.

— Но, пан сотник,— подчеркнул Конецпольский,— ведь ты бывал у Оссолинского... и, кажется, канцлером взыскан?

— Да, ваша вельможная мосць, был раз,— ответил, несколько оправившись, Хмельницкий,— но никаких милостей не удостоился... Да и вероятно ли, чтоб государственный муж, вельможа и вдруг бы стал откровенничать с козаком, которого в первый раз видит? Другое дело — пан Ясинский, что с его ясною мосцью запанибрата.

— Да, да, запанибрата,— залепетал непослушным языком пан Ясинский,— потому что я крикну: «Не позвалям!» — и всех заставлю на сейме молчать, а с козаком не станет никто и говорить. Зась! — хотел он сделать рукою какое-то движение и покачнулся на стуле; Чаплинский бросился и помог Ясинскому дойти до открытого окна. Конецпольский только махнул рукою.

Подали на столы последнюю перемену: разные медовые сласти, пирожки, соты липового меду и фрукты.

— Панове! — торжественно возгласил Чаплинский.— Теперь начинается великий час вожделений.

— Кохаймося! — крикнул Комаровский.

— Виват! — подхватили другие.

— Так я предлагаю, панове,— кричал хозяин,— скинуть жупаны и расстегнуть пояса перед появлением нашего старого литовского меду!

— Дело! — подал первый пример Комаровский, а за ним и другие начали разоблачаться. Кто-то пошатнулся и упал, кто-то захрапел, с кем-то сделалось дурно...

— А где же твои литовские нимфы? — обратился к Чаплинскому захмелевший староста.

— Не нимфы, ваша мосць, а мавки!

— Один черт, лишь бы не духи, а осязаемые; но они, надеюсь, прелестны и без нарядов?

— Совершенно,— покровы красоту оскорбляют. Я полагал бы, чтобы эти мавки прислуживали нам теперь и наполняли нектаром кубки.

Одобрительное ржание поддержало это предложение.

Богдан, воспользовавшись общим возбуждением и суетой, незаметно вышел из светлицы.

— Но как пан пробощ? Благословит ли? — заметил Заславский.

— Невинные удовольствия освежают душу,— опустил тот смиренно глаза,— но, чтобы не смущать вас, братие, я удалюсь в беседку, а хозяин мне туда пришлет с нимфой кружечку меду.

Вся мужская прислуга была удалена; матки на окнах опущены. За дверью послышался хохот и визг девичьих молодых голосов, но среди них доносились и тихие всхлипывания да взрывы рыданий.

Началась безобразная оргия...

XXV

С большим трудом удалось Богдану отыскать своего коня. На конюшне и на дворе пана подстаросты шло такое же повальное пьянство, как и в покоях, только все здесь было еще проще. Выкаченная бочка водки была уже почти пуста, но два полупьяных конюха еще трудились над нею, вставляя неумело ливер в воронку; остальные по большей части уже храпели врастяжку на зеленой траве и под повозами своих господ. Из пе-

реполненной лошадьми конюшни слышались ржание, храп и стуки копыт о твердую землю. Лошади, не уместившиеся в конюшне, были просто привязаны у дышел или около высоких, вбитых в землю столбов. Полный месяц с самой вершины неба словно заливал всю эту пеструю картину ровным зеленоватым светом.

Наконец Богдан отыскал своего Белаша, сам оседлал его и, вскочивши в седло, поскакал быстрым галопом по сонным чигиринским улицам. Через несколько минут он был уже в ровной и безлюдной степи.

Конь Богдана, несдерживаемый рукой, летел вскачь; вид самого Богдана был так растерян и встревожен, что, казалось, сотник спешил скрыться от настигающего его врага. Весь хмель, какой был в голове козака, разом выскочил от последних слов Ясинского. О, этот Ясинский, опять он встретился на его пути и, как черный ворон, всегда каркает ему беду! Проклятая ящерица, раздавить бы тебя ногою, чтоб не паскудила белый свет! Но и молодой пан чигиринский староста слишком мало смотрит на старших людей... После того, как князь Ярема выгнал эту гадину из своих хоругвей и сам старый Конецпольский благодарил его за это, он смеет принимать к себе этого пса?.. О, это все штука пана свата! Это он выволок Ясинского на свет! И с какою радостью, с каким ехидством передавал этот выродок страшную весть! Вырвать бы ему эти подкрученные усики и лживый, облесливый язык... «Есть подозрение на короля и на Оссолинского,— вспоминал отрывочно Богдан,— думают и на козацких старшин. Да неужели же Фортуна захочет так зло подсмеяться над нами?.. Кто дознался, кто додумался, кто?.. А может, и ложь? — Богдан остановился.— Может, все выдумал он для того, чтобы прихвастнуть, чтобы уколоть меня? Ложь, ложь,— крикнул Богдан почти радостно.— Говорит, что бывал у Оссолинского... где ему у канцлера бывать? Однако, кто же мог ему сказать о свадьбе? — Богдан задумался.— Что ж дивного? Мог быть в Варшаве, искать места, просил у канцлера, ну, и услыхал... ведь говорит — приемыш, а приемыш у канцлера один...»

Богдан сбросил с головы шапку и придержал разгорячившегося коня. Потонувшая в лунном сиянии степь веяла какою-то тихою, элегическою задумчивостью.

— Марылька...— прошептал он тихо, опустив неза-

метно поводья, и глянул, прищуря глаза, в мглистую даль, словно хотел разглядеть там в туманном сиянии дивный образ, всплывавший перед ним.— Четыре года назад, четыре года,— проговорил он задумчиво, незаметно для самого себя погружаясь в волну какого-то сладкого воспоминания. Прошло несколько минут. Богдан очнулся.— Ясинский говорит, что замуж идет... Что ж, дай бог счастья! Лучшая доля! — Невольный вздох вырвался у него.— Эх, думаю, какой красуней стала! Верно, и глаз не оторвать! Тонкая да гнучкая, белая, как морская пена, а волнистые золотые волосы и тогда падали до колен... Что ж, и не написала про свою долю тату, ведь татом звала тогда,— усмехнулся едко Богдан.— Э, да что там разбирать! — Нагайка его резко свистнула в воздухе.— Тато ли, брат ли, а хотя б и муж,— женская память до завтрашнего дня.— У Богдана вдруг поднялась в душе глухая обида.— И за кого идет? Верно, за какого-либо магната! О, каждый из этих псов рад полакомиться таким ласым кусочком! Что ж, пусть идет, дай бог счастья! — повторил он сам себе несколько раз.— Только названному батьку не мешало бы хоть словечко написать! Ну, да вздор! — крикнул вдруг Богдан сердито.— Какое мне до того дело, кто за кого замуж идет? Пусть там хоть все черти с ведьмами в пекле переженятся — мне наплевать! Вот канцлер, канцлер! — сжал он в руке нагайку.— Да и что знают? Верно, только шальные слухи... А если доведаются о цели его поездки к чужеземным дворам?! Ух,— заскрипел Богдан зубами,— волки дикие, собаки несытые, наступили на горло, дохнуть не дают! Разведали уже и о королевских планах! Да если бы только узнать, кто выдал их, колесовать его, четвертовать его, ирода, мало, живьем смолою залить! А в случае открытия заговора, что спасет его, Богданову, голову? Уж не охранная ли грамота короля? — Взволнованное лицо Богдана искривила едкая, злая насмешка.— Нет, нет, вон те безглуздые, салом заплывшие, пьяные, жадные Чаплинские, Ясинские, Заславские,— перечислял он с мучительною радостью все знакомые шляхетские фамилии,— они паны, они короли! Кинут тебе кусок — ешь и лижи панскую руку, как Ильяш, как Барабаш, а толкнет пан сапогом — притихни, молчи, чтобы криком не разгневать господина... да еще слушай их речи!

Перед Богданом вдруг встала сразу вся сцена у Чаплинского и свой неудачный ответ и замешательство; поздняя, бессильная злоба охватила его... О, что бы он дал, чтобы вернуться теперь, сейчас туда, чтобы отречься тут же, при всех, от своих слов и бросить им всем в лицо настоящий ответ! Ах, эти речи!

Богдан скрутил в руках нагайку и, изломавши ее с сердцем на несколько кусков, швырнул далеко в степь.

«Слушают их, слушают козаки, а как сами заговорят, так попухнут чертовы панские уши от козацких речей! А все канцлер, канцлер! Лисица хитрая, сам не знает, на какую ногу ступить! И будто за короля горой, и сейма боится, и нам не хочет довериться и не открывает всего! Уж так тонок... Только забыл, вельможный пан, что где тонко, там и рвется. Ох, тяжело,— вздохнул глубоко Богдан, сбрасывая шапку,— тяжело так жить! Каждый день настороже — дурить шляхту, дурить своих, шляхты бояться, своих зрадцев остерегаться, да и от преданных таиться, и не знать ничего о том, что делается там! — Он пристально глянул в сторону Варшавы, точно хотел разглядеть там что-то за далеким горизонтом.— А что, если там все порвалось? — Богдан почувствовал, как кровь от его сердца отлила тихо, медленно и мучительно зазвенела в ушах.— Что-то готовится в будущем? Что-то ждет впереди?.. Тьма... неизвестность».

— Futurum incertum est *,— прошептал он тихо, опуская голову на грудь.

«О, если бы знать, что скрывается там за этим темным, непрозрачным покровом будущего: слава, свобода или позор и унижение?.. О, если бы хоть на одно мгновение приподнять этот темный покров? — Богдан перевел свои глаза на звездное небо.— Возможно ли узнать грядущее? Зачем судьба скрыла его от нас?.. зачем?.. С какою звездою связана его доля? С этою ли крупной, что так ярко сияет в самых лучах месяца, или с той, что робко мерцает в голубой глубине? Какие таинственные силы управляют их ходом? — Богдан оглянулся; но кругом на горизонте лежала только серебристая мгла.— Но есть же люди, которым известны и эти темные,

* Майбутнє невідоме (*лат.*).

неведомые силы, что управляют ими и влияют на долю людей...»

Сердце Богдана забилось сильней и сильнее. Давно уж, с самого возвращения из-за границы, все эти мысли глухо волновали его. Постоянное неопределенное положение вызывало страшную жажду знания исхода задуманных предприятий, а виденное им за границей всеобщее увлечение астрологией захватило и Богдана своею волной. Мысли о влиянии звезд, о таинственных темных силах, управляющих судьбою людей, с тех пор не покидали его. Смутная тревога охватила Богдана. «Так, так, для них нет тайны,— продолжал он размышлять, вспоминая знаменитых астрологов и предвещателей, виденных им в чужих краях,— пред ними все открыто как на ладони... они держат все эти нити, двигающие человеческую жизнь.— Вдруг в голове его ясно встали слова Чаплинского о ворожке, так изумительно предсказывавшей всем судьбу.— Она может и привороту, и отвороту дать,— повторил он почему-то его слова и тут же рассердился на самого себя.— Э, да что там приворот? Она может сказать ему, что его ждет впереди! Где же живет она?.. Говорили, на Чертовом Яру, в литовских Вилах? — вспоминал уже лихорадочно Богдан, собирая поводья и стискивая шенкелями коня. Час ночной... дремучий лес... может быть и нападение... кто знает?» — пролетали в его голове обрывки осторожных соображений, но желание узнать свое будущее сегодня же, сейчас же так сильно охватило Богдана, что он решительно повернул коня и поскакал по степи в том направлении, где должен был находиться огромный сосновый бор.

Быстрая скачка не освежила его,— наоборот, с каждым шагом коня сердце его стучало еще поспешнее и тревожнее. Кровь приливала к голове и оглушительно шумела в ушах. Вот вдалеке показалась темная полоса леса; вот она разрастается еще шире, заняла весь горизонт. Еще несколько минут — и перед Богданом ясно вырезались верхушки столетних сосен, поднявшихся над общею линией леса.

«Где же искать колдунью? — соображал торопливо Богдан.— Говорили, где-то недалеко от опушки, на старой мельнице, над глубоким бурчаком...»

Лошадь въехала под густую тень леса. Несмотря на

лунную ночь, здесь было почти темно. Черные мохнатые верхушки сосен медленно покачивались, издавая какой-то зловещий шум. Бледные пятна лунного света, падавшие то здесь, то там на обнаженные стволы, казались какими-то неопределенными, скользящими тенями, кивавшими из-за дерев. Конь ступал медленно, вздрагивая и настораживая уши при каждом треске ветки, попадавшейся под его ногу. Вскоре узенькая тропинка свернула налево, и Богдан очутился на краю глубокого песчаного обрыва, в глубине которого мчался мутный и быстрый ручей. Огромные сосны с обнажившимися корнями свешивались с берегов оврага, а некоторые, обвалившись, образовали висячие мосты. Уже спустившийся к горизонту месяц освещал таинственным, тусклым светом дикую, суровую местность.

Вскоре овраг немного понизился, и Богдан заметил невдалеке, на разлившемся небольшим прудом ручье ветхую, посеревшую от времени мельницу с полуизломанным колесом, торчавшим из воды, словно скорченные пальцы утопленника. В развалившейся крыше темнели там и сям огромные дыры. Пара огромных летучих мышей то и дело влетали и вылетали из этих черных отверстий. Ни малейшего признака присутствия живого человека нельзя было заметить в этой старой развалине. Богдан слез с коня и осторожно спустился с ним на развалившуюся плотину. Вода в запруде казалась черной, густой и глубокой; кругом все было тихо, мертво; черные сосны не шевелились, только тонкие струйки воды, капая с неподвижных лотоков, издавали таинственный, зловещий звук да иногда раздавался с соседней сосны мрачный крик пугача: «Поховав! Поховав!»

Богдан осмотрел свои пистолеты, ощупал кинжал, саблю, крест на шее и принялся стучать в окно. Долго стучал он безуспешно, наконец, внутри мельницы послышался тихий шорох,— дверь приотворилась, и на пороге показалось существо женского рода, но настолько отталкивающее и ужасное, что Богдан невольно попятился назад.

Это было что-то невообразимо худое и костлявое, одетое в рваные отрепья. Длинная птичья шея и руки старухи были обнажены; каждая кость, каждая жила выступали на них рельефно из-под коричневой сморщенной кожи. Голову старухи покрывали седые, всклоко-

ченные волосы, спускавшиеся такими же запутанными узлами до самого пояса. Одно веко ее было полуопущено, и из-под него глядел неподвижный зеленый глаз; другой же, открытый, так и впился в лицо Богдана.

— Ночь настала... Месяц спустился... Пугач проснулся... Леший не спит...— зашипела она, вытягивая длинные, костлявые руки с огромными черными ногтями.— Зачем ты ходишь, чего тебе нужно? Уходи, спеши!

Но Богдан уже овладел собою.

— Не трудись, старая ведьма, не испугаешь, не робкого десятка! — остановил он ее смелым голосом.— Погадать приехал; говорят, ты можешь каждому долю разведать.

Старуха, казалось, опешила сразу от такого смелого обращения.

— Пугач кричит... Леший близко... Страшно, страшно! — завопила она снова, вытягивая свои руки к Богдану и впиваясь в него зрячим глазом.

Богдану сделалось жутко.

— Что за вздор мелешь? — крикнул он на старуху.— Говори, можешь ли долю мою разгадать? Скажешь,— он выбросил на руку несколько червонцев,— твои будут, а будешь дурить, так и этим попотчую! — взялся он за приклад своего пистолета.

Колдунья бросила на него хищный взгляд.

— Иди, иди! — проговорила она нараспев, выходя из мельницы и затворяя за собой дверь.

Однако Богдан пропустил ее из предосторожности вперед, а сам последовал за нею. Ловко и легко, словно дикая кошка, начала она спускаться с плотины под лотоки. Здесь внизу было и темно, и сыро, а вода казалась еще чернее и глубже и словно притягивала к себе козака. Богдан едва поспевал за старухой, придерживаясь за выступы балок, покрытых сырою и холодною плесенью. Несколько раз ему показалось, что из-под руки его выскользнуло что-то скользкое и холодное, не то ящерица, не то змея. Несколько раз он останавливался, и тогда старуха поворачивалась к нему и, вытягивая костлявые руки, повторяла своим шипящим голосом: «Иди, иди, иди!» Так достигли они противоположного берега и пошли вдоль него, подымаясь вверх по течению потока. Бурчак, расширенный в этом месте плотиною, начинал кверху снова суживаться, теснимый под-

ступившими с обеих сторон крутыми и высокими берегами. Чем дальше подвигались они, тем выше подымались отвесные берега, а сдавленный поток ворчал все сердитей и грозней. Наконец старуха остановилась.

— Стой! — закричала она Богдану.

Богдан оглянулся кругом. Ручей в этом месте круто подрезывал берег, образуя нечто вроде пещеры; огромные корни вывороченной сосны, свесившиеся сверху, почти закрывали в нее вход, так что проскользнуть туда было довольно трудно. Сюда-то, в это темное логовище, и вошла старуха.

— Стой, не шевелись! — продолжала она шипеть, обводя Богдана таинственным кругом, начерченным на песке.— Дай саблю сюда!

Беспрекословно снял Богдан саблю и отдал ее старухе.

В темноте Богдан услыхал только шипящий голос колдуньи, произносивший какие-то непонятные заклинания. Вдруг раздался резкий свист стали: старуха вырвала саблю из ножен, воткнула ее в землю, а сама начала быстро кружиться вокруг нее, издавая дикие, неприятные звуки... Богдану сделалось жутко. Что это ему показалось?.. Но нет, нет... каждый крик старухи повторяли тысячи других голосов, то близких и резких, то отдаленных и глухих. Между тем старуха носилась вокруг сабли все быстрей; каждую минуту она взбрасывала вверх свои костлявые руки, и Богдан видел каждый раз ясно пятна какого-то страшного зеленоватого света, вспыхивавшие вдруг на руках старухи и освещавшие на мгновенье ее искаженное лицо, седые космы, летающие вокруг головы, и черные стены пещеры... Он чувствовал, как волосы начинали тихо подыматься у него на голове. Между тем крики и вопли старухи раздавались все громче и громче... Казалось, весь лес наполнился тысячью безумных голосов. Испуганный этим шумом, пугач разразился дьявольским хохотом и покрыл все безумные голоса. Наконец старуха остановилась,— она дышала тяжело и отрывисто. Привыкшими к темноте глазами Богдан заметил, как порывисто подымалась ее тощая грудь под грязными лохмотьями; зрячий зеленый глаз старухи казался каким-то горячим углем, воткнутым в глубокую впадину, а мертвый — так и не отры-

вался от Богда́на, тускло выглядывая из-под опустившегося века.

На месяц набежало облако, и в пещере стало совершенно темно. Старуха вырвала из земли саблю, провела по ней рукой, и вдруг вся сабля засветилась каким-то зеленым, белесоватым светом, словно какой-то белый дым заклубился над нею... С ужасом глядел Богдан, а странный клубящийся дым то совсем заволакивал саблю, то подымался над нею, и тогда узкий клинок блестел странным, невиданным светом.

— Вижу, вижу,— заговорила отрывисто старуха то нагибаясь над саблей, то вглядываясь в мужественные черты Богдана, то снова переводя свои глаза на дымящуюся стальную полосу.

— Кругом тебя туман, туман... ничего не видно... боишься чего-то... ждешь большой беды... Так ли я говорю?

— Коли назвалась колдуньей, тебе лучше знать,— ответил сдержанно Богдан; но в душе его мелькнуло невольно: «Правду, правду, говорит, туман кругом... ничего не видно, боюсь беды...»

— Знаю, знаю, все знаю! — крикнула старуха.— Семь сестер — семь звезд,— забормотала она тихо,— правая кривая, левая глухая, помоги, помоги!..

— Помоги! — раздалось глубоко в ущелье, и то же слово повторил далеко-далеко еще раз чей-то глухой, подземный голос. Богдан почувствовал, как неприятная дрожь пробежала у него по спине.

— На сердце у тебя рана; думаешь, заросла?.. Не заросла! Нет, нет, вижу, сочится из нее кровь тоненькою струей,— продолжала старуха, не отрывая глаз от Богдана.

«Марылька!» — мелькнуло вдруг у него в голове и какая-то горячая волна залила его лицо.

— Что ж дальше?! — крикнул он нетерпеливо.

— Тоскуешь, томишься,— продолжала старуха, вглядываясь в клубы зеленоватого дыма,— туман, туман, звезда твоя сияет далеко-далеко, кругом много звезд, и больших, и малых. Жди, жди! Скоро она скатится к тебе на стриху и зажжет все.

Последних слов Богдан не слыхал. «Марылька, Марылька, это она!» — мелькало в его голове.

— Туман разорвался! — продолжала лихорадочно

старуха, хватая Богдана за руку.— Я вижу, вижу — солнце всходит, блестит все кругом, загорается! — закричала она хриплым голосом. И весь лес огласился одушевленными криками: «Загорается, загорается!»

Богдан почувствовал, как горячая кровь хлынула в его лицо, уши и сердце. Оно билось так бурно, что, казалось, готово было лопнуть в груди; шум наполнял его уши, а в голове подымались каким-то смутным одуряющим чадом предсказания старухи.

А старуха продолжала дальше, почти задыхаясь сама:

— Все звезды тухнут перед солнцем, оно одно на ясном небе огнем горит высоко, высоко. Но вот, вот подымаются черные хмары, сюда, сюда плывут, хотят скрыть блестящее солнце. Нет, нет, не скроют! Ветер примчался. Буря, буря! Гром! Блискавица! — кричала она дико, подымая свои костлявые руки.— Море запенилось! Встает! Волны поднялись! Ужас!! Ужас!! — Старуха остановилась и отбросила с лица седые космы волос. Грудь ее высоко подымалась, на губах выступила белая пена, жилы на худой шее надулись, словно веревки.

— А дальше, дальше что? — крикнул нетерпеливо Богдан.

— Довольно, больше не спрашивай! — прохрипела уставшим голосом старуха.

— Все, все, до конца хочу знать!

— Месяц спустился, рассвет недалеко, мышь улетела, пугач скрылся... страшно, страшно! — прошептала старуха.

— Все говори, ведьма, все до конца! — схватился за пистолеты Богдан и бросил ей в руку два червонца.— Скажешь — еще дам, а не скажешь — убью!

Но старуха уже носилась вокруг обнаженной сабли в своей исступленной, безумной пляске. Снова громкие вопли и бессвязные слова огласили весь воздух. Наконец старуха нагнулась над саблей и вдруг с громким воплем отшатнулась назад.

— Кровь! — закричала она диким, нечеловеческим голосом.

— Кровь! — подхватил невидимый голос и раскатился по всему лесу один исступленный крик.— Кровь! Кровь! Кровь!

Схватил Богдан саблю и как безумный бросился из ущелья; как безумный мчался он вдоль берега, рискуя ежеминутно свалиться в воду, а дикий крик все гнался за ним.

Добравшись до Белаша, он вскочил в седло и, пустивши поводья, полетел напрямик. Вскоре деревья начали редеть, светлые полоски показались между них, и через несколько мгновений Богдан очутился уже на опушке леса. Степь дохнула ему в лицо свежею, живительною прохладой. Месяц уже совсем спустился над горизонтом и казался теперь каким-то красно-золотым и тусклым. На бледном небе потухали звезды; только одна горела над востоком ярко и чисто, словно гигантский изумруд. Веял прохладный предрассветный ветерок.

Проскакавши около версты, Богдан пришел наконец в себя и оглянулся назад. Лес уже виднелся на горизонте только темною полосой. Богдан бросил шапку, провел несколько раз рукой по голове и вздохнул широко, полною грудью.

— Ух! — вырвался у него облегченный, радостный вздох.

Сердце его стучало учащенно, бодро и сильно. «Что говорила, что обещала ему старуха?» — старался он вспомнить обрывки предвещаний колдуньи.

«Да, да, она, звезда моя, скатится ко мне, туман разорвется скоро, солнце засияет, разгонит тучи, бурю... А дальше что говорила она? Кровь! Так, война, война! Чего же бояться крови? Правда твоя, колдунья,— кровь впереди! Так, значит, все эти панские набрехи — ложь; ложь и о заговоре, и о ней! Колдунья знает, ей все известно, она не солжет! — Богдан сжал рукою сердце.— О, когда бы только поскорее, когда бы хоть одна радостная весть! Но тише, терпенье, терпенье... «Туман,— говорит она,— разорвется скоро, и солнце засияет, и погаснут все звезды перед ним!»

Богдан поднялся в стременах и глянул в ту сторону, где находился Чигирин; там уже опускалась за горизонт красная и круглая луна. Над Субботовым светлело небо. Что-то делает теперь пышное панство? Верно, лежат уже все покотом под лавами на коврах.

«Что же, пируйте, пируйте, ясновельможное панство,— улыбнулся смело Богдан,— тешьтесь заморскими

винами да сластями, издевайтесь над человеком, а мы — люди привычные, мы и ночь не поспим, а подумаем да потрудимся для вас».

Впереди уже виднелись неясные очертания Субботова.

Богдан потрепал Белаша по шее:

— Ну, сынку, собери силы, вот и дом! Мало ли исколесили за ночь!

Он пустил коню поводья, и Белаш, заметив издали хутор, весело заржал и пустился вскачь.

Смелые, бодрые мысли толпою осаждали голову Богдана, но среди них то и дело вырезывался дивный образ Марыльки, так неожиданно воскресший перед ним.

Вот и Субботов. Богдан остановился у ворот и начал стучать в них торопливо эфесом сабли.

Вскоре ворота отворились. Сопровождаемый радостным визгом собак, Богдан подскакал к крыльцу и, бросивши поводья сонному козачку, хотел было взойти на рундук и пройти на свою половину, как вдруг двери быстро распахнулись, и на пороге показалась Ганна в наброшенном наскоро байбараке.

— Что случилось, Ганно? — остановился в изумлении Богдан.

— Не идите туда, дядьку, нельзя: вам постлано на том рундуке,— заговорила она торопливым шепотом.— Какой-то пан приехал к дядьку из Варшавы. Мы постелили ему там...

— Ко мне! Из Варшавы? — только мог вскрикнуть Богдан, чувствуя, как от бурного прилива радостного волнения дыхание захватило ему в груди. «Туман разорвется скоро»,— вдруг вспомнились ему слова колдуньи,— а может быть, просто заехал по дороге знакомый, а у меня уже и радость затрепетала».

— Но откуда ты знаешь, что пан из Варшавы? Кто говорил тебе, кто?

— Слуги панские. Они сообщили, что пан их едет прямо из Варшавы.

— Господи! Не отринь! — перекрестился только Богдан.

Встало блестящее солнце, зажгло сверкающим огнем крест на субботовской церкви, позолотило верхушки ветвистых лип и стройных тополей в гайке за будынком,

окрасило ярким пурпуром белые трубы на хатах, рассыпалось лучами по скирдам и стожкам на гумне, заиграло весело в светлых струях Тясмина и заглянуло, наконец, через гай на широкий рундук, где на ковре в смелой позе спал непробудным сном сам господарь. Вчерашняя попойка, душевные потрясения, усилия воздержаться от вспышки, бешеная скачка и перечувствованный панический ужас гаданья до того утомили Богдана, что он, несмотря на приезд интересного гостя, свалился в одежде на кылым и сразу заснул мертвым сном.

Уже Ганна сделала все распоряжения по хозяйству, приготовила сниданок и второй раз подошла к рундуку узнать, не проснулся ли дядько? Но дядько, повернувшись прямо к солнцу лицом, все еще богатырски храпел. Пожалела будить его Ганна и пошла в пасеку принести от деда свежих сотов к сниданку.

А прибывший гость давно уже встал и гулял по гайку, наслаждаясь и прохладною тенью роскошных дерев, и ясностью безмятежного утра, и легкостью воздуха, напоенного ароматом свежего сена и меда.

Вышедши из гайка, остановился он на пригорке, откуда видна была светлая лента реки, укрытая поникшими ветвями серебристых верб, а дальше, за Тясмином, волновалось золотом море полей, обрамленное сизыми контурами дальних лесов.

«Какая роскошь, какая прелесть! — восторгался мысленно гость.— Да, этот край одарен всем от бога, потому-то насилие и алчность стремятся сюда с обагренными руками в крови, и не остановится это преступное стремление ни перед чем... Только могучая, вооруженная рука остановить его сможет!»

Незнакомец снял шапку с бобровой опушкой, провел рукою по шелковистым пепельным волосам и призадумался. На вид ему было лет сорок, не более. Смуглое, мужественное лицо, с выразительными голубыми глазами и смело очерченным носом, дышало искренностью и прямотой; стройный, гибкий стан и энергические движения изобличали силу и хорошо сохранившийся огонь юности.

Возвращаясь с пасеки, Ганна наскочила на приезжего пана и оторопела с огромною миской в руках.

— Ой, на бога! Вельможный пан уже встал... Может быть, была невыгода?

— Вояку-то, панно? Да наш брат и на гарматах спит всласть, а на перинах и подавно.

— Отчего же пан так рано? — замялась она.— Так я разбужу зараз дядька...

— Не тревожь его, пышная панна,— улыбнулся гость,— мы — старые знакомые... Я прошелся в проходку отлично. Здесь кругом такая утеха для глаза — смотрел бы и не насмотрелся.

— Да, места здесь приятные,— взглянула на свою ношу Ганна и вспыхнула,— а по тот бок Тясмина еще лучше.

— Рай, эдем,— улыбнулся гость,— и обитательницы его такие же.

Панна Ганна еще более вспыхнула и не нашлась что ответить.

— Немудрено, что он привлекает к себе все наше панство,— продолжал мягким, вкрадчивым голосом гость,— как обетованная евреям земля, сулит он и богатства, и радости.

— Если вельможному пану нравится,— несколько оправилась Ганна,— то как же этот край дорог нам!

— Понимаю и не удивляюсь, что ваши братья и отцы защищают, как львы, каждую пядь.

— Как же свое споконвечное да не защищать? — опустила Ганна ресницы, и стрельчатая тень побежала по ее побледневшим щекам.— Тут и родились, и крестились, и выросли... что былинка, что кустик — родные.

— Мне самому дороги эти чувства,— не сводил приезжий с Ганны очей,— и я презираю тех, кто посягает на чужое добро и покой.

— Как? Пан... католик, и такое?..— подняла она на него лучистые и светлые, как утро, глаза.

— К сожалению, этому панна имеет право не верить. Но между панами католиками есть все ж и такие, что, кроме себя, любят других и которым противно насилие.

Недоверчиво покачала головой Ганна:

— Я что-то не слыхала.

— Клянусь паном богом и карабелой! — воскликнул искренно гость.— Есть и такие, хотя их и мало.

[illegible] бы это было хорошо,— тихо про себя заметила Ганна.

— Да, перестала бы литься кровь, нам бы, жолнерам, был отдых, братьями бы стали...

— Ох, нет! Поляк не может признать нас за братьев,— грустно вздохнула Ганна.— Католик презирает и нашу веру, и нас... Разве пан не католик?

— Нет, панно, католик; но не презираю ни вашей веры, ни вас.

— Кто ж такой пан? — взглянула в глаза ему Ганна и зарделась ярким румянцем.

— Уродзоный шляхтич,— засмеялся приезжий,— полковник его королевской милости войск Радзиевский,— поклонился он, ловко брякнув длинными шпорами.

В это время показалась из-за густых кленов статная фигура Богдана; торопливо и сконфуженно подошел он к своему гостю, простирая издали руки.

— Простите, дорогой пане полковнику... Заспал, как дытына... Сроду со мной не бывало такого... Ну, привет же вам и мир! — приветствовал Богдан своего гостя.

Радзиевский обнял и поцеловал Богдана, подставляя, впрочем, большие свои щеки.

— Какие там извинения? Я соблазнился панским гаем и встал рано, вот и все,— отвечал он.

— Кого-кого, а найпаче вельможного пана не ожидал,— искренно радовался гостю Богдан.— Мне и говорила Ганна, что кто-то приехал, да я так был уставши, что мимо ушей пропустил. Просто и на думку не спадало, чтоб мне такая честь и радость... Так пойдем же до господы... Милости прошу... Я так рад.

— Спасибо, спасибо на ласковом слове,— пожал еще раз руку Богдану полковник,— но у пана и здесь такая роскошь, что не оторвался бы.

— Приятно мне это слышать... Нашему брату шатуну-заволоке нет ничего отраднее, как свое гнездо... Ведь все это дело вот этих лопат,— развернул Богдан свои мощные длани,— батько построил только будынок у этого гаю, а то все была пустошь... А я уже и самый будынок перестроил, а потом и все дворище, и все хозяйские постройки... Завел и садок, и млынок.

— Чудесно, пышно! — восторгался гость.— Просто такой уголок, что всяк позавидует.

— А поселок и другие еще хутора, если б пан видел! — не удержалась похвалиться и Ганна.

— То уже дело этой головки,— указал с радостною улыбкой на Ганну Богдан,— и этих дорогих рук.

— Дядьку, что вы так хвалите,— вспыхнула она заревом,— что́ при вашей голове все?

— Ишь,— дотронулся он ласково до ее плеча,— как она дядька расхваливает! — И потом, обратясь к Радзиевскому, с чувством сказал: — Золотое сердце! Всех это она, гонимых правды ради, здесь приютила, призрела, и на ее ласковый зазов стали расти хутора и поселки... А какой это славный народ мои подсоседки! Душа в душу живем! И господь милосердный не оставляет щедротами ни их, ни властителя.

Ганна вся зарделась от дядькиных речей и не могла произнести ни одного слова; грудь ее волновалась, трепетала, глаза были полны слез.

— Вот это бы и нашим в пример,— мотнул головой Радзиевский,— только у нас, бедных, нет таких золотых сердец, а через то нет ни такого тихого рая, ни такой душевной отрады.

— Эх, пане полковнику! — воскликнул тронутым голосом Богдан.— Если бы среди шляхты хоть сотая доля была такой думки...— и, взглянувши на Ганну, готовую расплакаться, весело изменил тон: — Э, да мы совсем застыдили мою доню... Знаете ли что? Уж коли пану так нравится мое логовище, то я покажу егомосци еще мою пасеку.

— Чудесно! — потер руки гость.— И утро, и воздух,— не надышался бы.

— Так знаешь что, Ганно? — положил ей на голову руку Богдан.— Тащи-ка нам весь сниданок на пасеку, да не забудь оковитой, наливок и холодного пива, а эту миску с сотами давай мне, чтобы два раза не таскать.

Ганна была рада скрыть захватившее ее волнение и почти бегом бросилась исполнять волю дядька; стройная фигура ее только мелькала между изумрудною листвой, пронизанною золотыми лучами.

В пасеке, в углу над кручей, под тенью разложистых лип, был разостлан ковер и положены мягкие сафьяновые подушки; тут же, на низких турецких столиках, расставили разные горячие и холодные кушанья да всевозможнейшие фляги и жбаны напитков. Отсюда вид был хотя и не такой широкий, но еще более прелестный в деталях. За кручей играл жемчужно-пенистою чешуей

Тясмин; на другой стороне через реку шумел колесами млын; вода с них спадала алмазным дождем и играла ломаною радугой в глубине речки. Влажная пыль, насыщая воздух прохладой, доносилась даже до выбранного для завтрака места; позади его тянулись под липами правильными рядами накрытые деревянными кружочками ульи; широко вокруг пестрели душистые медоносные травы...

Насытившись солидными и вкусными блюдами, сотрапезники перешли к легуминам (сластям) и к свежим сотам, запивая их чудными наливками и холодным пивом. Прислуга и Ганна оставили их одних. Игривый, полусветский разговор, пересыпанный восторгами, комплиментами гостя и радушными припрашиваньями господаря с Ганной, теперь сразу упал; чувствовалась необходимость перейти на более серьезные интимные темы, а Богдан не решался, боялся... А что, если Радзиевский просто заехал к нему по дороге, как давний знакомый, без всяких дел, без всяких от кого бы ни было поручений? И все эти радужные мечтания и наполнявшие его сердце волнения окажутся глупыми недоразумениями отуманенной ведьмовскими чарами головы? Что, если так? И Богдан с трепетом приступил, потолковав вообще о козачьих делах и о направлении панской политики, к некоторым близким его сердцу расспросам.

— Пан из Варшавы едет?

— Из Варшавы, из Варшавы,— ответил коротко гость, смакуя сливянку.

— Должно быть, переменилась, давно не был,— мялся Богдан, раскуривая люльку.— Пан был там у кого-нибудь или заезжал только?

— Да, был у Оссолинского; от него еду.

Стукнуло у Богдана сердце. Может быть, поручение какое-либо или важное известие? Но при этом блеснула в голову и мысль о Марыльке: пьяная болтовня Ясинского про канцлера и его семью хотя и не заслуживала доверия, а все-таки до сих пор сидела гвоздем в его сердце.

— Его княжья мосць один теперь в Варшаве или с семьей? — спросил он робко.

— Нет, со всею семьей

— Ах, да,— вздохнул невольно Богдан и почувство-

вал, что у него по спине поползли муравьи,— я слыхал, что канцлер будет две свадьбы играть — дочери и приемыша?..

— Ничего подобного не слыхал, а мне бы он сказал, да и пани канцлерова никогда бы не скрыла.

— Так это брехня? — чересчур радостно изумился Богдан и, чтобы замять эту прорвавшуюся неловкость, начал усердно угощать гостя ратафией.

— Конечно,— посмотрел на него пристально Радзиевский,— я сам их при отъезде видел... Одна из них, не помню уже которая, только удивительной красоты,— так даже просила передать пану поклон...

Богдану захватило дух от волнения; он ощутил глубоко в груди, в тайниках, где зарождаются чувства, какую-то клокочущую радость, которая огнем подымалась по жилам и зажигала его дыхание. «Правду, значит, говорила колдунья... Коли одно правда, то и все...»

Чтобы скрыть свое волнение, Богдан порывисто встал, прошелся немного, осмотрелся кругом и потом, подсевши к гостю поближе, решительно уже спросил:

— Что же нового привез нам дорогой гость и чем может пан полковник порадовать?

— Много и печального, и весьма утешительного,— оглянулся подозрительно Радзиевский.

— Здесь, пане полковнику, безопасней, чем в запертой на засов светлице,— заверил Богдан,— кроме глухого пасишника — вон в том курине,— нет ни духа, да и видно далеко кругом...

— Это отлично,— успокоился Радзиевский,— потому что я с паном хочу говорить откровенно, как воин с воином, по душе, и клянусь найсвентшим папежем, что в моих словах не будет ни лжи, ни лукавства...

— Этому и без клятвы я верю,— улыбнулся Хмельницкий,— стоит только взглянуть пану полковнику в очи, так по ним, что по книге, можно читать все думки и видеть всю душу.

— Я не знал, что у меня такие болтливые очи,— засмеялся полковник,— а то бы надел окуляры.

— Не болтливые, пане, а не лживые, не такие, как у его княжьей мосци, нашего канцлера,— откровенничал смело Богдан, зная, что Радзиевский не долюбливал Оссолинского за двуличность и стремился сам поближе стать к королю,— у тех-то ничего не прочтешь —

мутная слюда, и только! Да он и речью кудрявой завернет так свою думку, что и хвоста ее не поймаешь... Слушаешь, слушаешь, ловишь... вот, кажись, уж в руке... ан зырк — словно вьюн и выскользнул...

— Ха! Захотел пан кого ловить! Его не поймает и киевская ведьма и не разгадает литовский колдун! Я бы даже и не доверился этому хамелеону, да что делать: мало у нас искренно преданных королю и благу ойчизны людей, выбора нет. Я говорю о стоящих у кормила государственного корабля,— Конецпольский дряхлый, умирающий, Любомирский князь, молодой Остророг [119], ваш Кисель, Казановский [120], да и обчелся... Ну, из меньшей братии еще найдется.

— Эх,— вздохнул горько Богдан,— если б на эту меньшую братию да на простолюд искренно положились, то плюнь мне татарин в усы, коли б не имели такой опоры, такого мура, из-за которого не страшно бы было не то королят, а и самого беса с рогами.

— Я в этом глубоко убежден и стремлюсь убедить короля, чтобы он перестал колебаться и гнуться то туда, то сюда с Оссолинским, как в краковяке.

— Как в око влепил! — оживился Богдан и наполнил кубки.— Только теряется время и доверие преданных людей... Ведь привез же я тогда от иноземных дворов добрые вести [121]: Венеция готова была расстегнуть свои набитые дукатами саквы, лишь бы польский меч рассек чалму турку,— ведь ей без этого все снится кривой ятаган... При венском дворе мне передали, что для короля весьма отрадно усиление власти его зятя, а герцог Мазарини прямо-таки сказал, что деспотия одного человека может еще устроять государства, но деспотия одного сословия над всем ведет к неминуемой гибели... Ну, что ж? Король был бардзо доволен, Оссолинский наговорил с две фуры красных слов и велел быть наготове да ждать... Вот и ждем, почитай, третий год... да выходит на то, что «казав пан, кожух дам, та й слово його тепле!»

— Нет, уже, кажется, ждать придется недолго: король и прежде был персуадован *, а в последнее время переписка с Мазарини убедила его окончательно в двух вещах: первое, что усиление своеволия сейма и liberum

* Персуадован — впевнений (лат.).

veto * влекут государство к полной руине, а второе, что только война может взять своевольников в шоры и что к ней, к войне с неверными, доброжелательны почти все иноземные панства.

— Да ведь и я те же вести из-за границы привез, а король еще раньше жаждал войны с Турцией и насчет сеймового гвалту давно был в непокое,— заметил, раскуривая свою люльку, Богдан.

— Все это так, да теперь околичности подогнали бичом его осторожность,— сказал Радзиевский, хлебнув сливянки.— Ох, какая роскошь! Нектар!

— Это из угорок,— улыбнулся довольный Богдан,— а вот еще я налью дуливки, пусть пан полковник отведает.

— Не забудем и дуливки,— смаковал он сливянку, почмокивая губами и прищуривая глаза.— Да, так околичности и заставили короля перейти от думок к делу. Вот по этому-то поводу я и приехал.

— Слава тебе, боже, еже благовестителя нам послал! — произнес с набожным чувством Богдан.

— Прежде всего сообщу пану печальную весть,— снял шапку полковник,— королева наша волею божиею отошла в вечность.

— Эта ангельская душа? — поднялся Богдан, глубоко тронутый, и перекрестился.— О, какая потеря!

— Да, незаменимая,— вздохнул Радзиевский.— Она жаждала этой войны с неверными, как спасения своей души: все свое приданое, даже украшения и драгоценности, она пожертвовала королю на наем иноземных войск, она умоляла его поднять права козаков и на них опереться...

— Господи! Упокой ее душу в лоне праведных! — вздохнул глубоко Богдан, поднявши набожно взор.— Я ее два раза видел,— продолжал он растроганным голосом.— Ее королевская милость с такою кроткою доверчивостью спросила меня, будем ли мы защищать ее с королем от всех врагов? И я поклялся... Да,— опустился на ковер Хмельницкий,— видно, уже такова наша доля, что все нам доброе до неба прямует, а все лихое — из болота ползет.

— «Бог карае, бог и ласку дае»,— заметил Радзиев-

* Вільно забороняю *(лат.)*

ский и, присунувшись поближе к Хмельницкому, начал говорить ему тихо, оглядываясь по временам из предосторожности.— Король сам хочет и верные люди советуют ему вступить во второй брак: и наследника такому чудному человеку нужно иметь, и заключить новую связь... Намечена принцесса французская, дочь Людовика, а потому и готовится новое посольство в Париж... Может быть, и пан опять поедет — это первое...

— Лестно, но утешения в том немного,— прижал пальцем пепел в люльке Богдан и сплюнул осторожно на сторону.

— Погоди, козаче,— улыбнулся гость,— Тьеполо, нунций из Венеции, прибыл в Варшаву и привез королю благословение святейшего папы — поднять меч против неверных.

— За это и я готов поцеловать святейшего в черевик,— ободрился Хмельницкий,— ей-богу!

— Еще не все: Венеция не только советом, а и скарбом своим помогать обещается... Дает шестьсот тысяч дукатов и уже отпустила часть в задаток [122].

— На руках понесем дожей! * — воспламенялся Богдан.

— Еще не все: король решился уже не разведывать, а нанимать-таки у иноземцев войска, и для этого ездил в немецкие земли; добрые там пешие вояки, здоровые, ловкие и не заламывают цены, а на слове стойки и своему хозяину верны... Так вот несомненно поручено будет и пану сотнику навербовать в Париже конницу, а особенно артиллерию [124].

— На карачках туда полезу, коли так.

— А может быть, славного козака отправит король на Запорожье, потому что нужно там снаряжать чайки и готовиться уже не к набегу, а к настоящему морскому походу на общего врага.

— Так это значит до зброи! — схватился Богдан, весь объятый кипучим восторгом, с сверкающим отвагою взором.

— А может быть,— поднялся и Радзиевский,— пану вручена будет и булава, так как потребуется увеличить вчетверо лейстровиков, а такое войско без гетмана быть не может.

---

* Дож — титул державця у Венеціанській республіці.

— Булава? Это слишком... Чрезмерно... Не мне, не мне о ней мечтать! Это чад! Но войско... снова зашумит наше кармазинное знамя, заиграют вороные кони, загудут литавры, и люд подымет голову из ярма! А? — от волнения задыхался почти Богдан.— Дожить бы только до такой минуты и умереть у ног этого богом нам посланного короля, умереть! Дожить бы только! — У Богдана блестели на глазах слезы.— Ведь это не шутка, пане, не шутка? Нет, твое благородное сердце на то неспособно, ведь это бы значило засадить пальцы в рану и раздирать ее, рвать...

— Не поднялся бы у меня язык такие шутки шутить, мой дорогой по оружию товарищ,— положил на его плечо свою руку полковник,— клянусь моею незапятнанною честью, моею любовью к ойчизне, что сам король лично мне то передал и поручил доведаться от тебя, потому что твоему слову верит король и тебе, как верной персоне, вверяет свои заветные планы. Так его найяснейшая мосць поручил узнать, можно ли положиться, что по королевскому зову станет тысяч двадцать вооруженных козаков, а на море — с сотню чаек?

— Сто тысяч! — крикнул азартно Богдан.— Бей меня сила божья, коли лгу! Пусть мне только даст свое слово король, так я подыму ему сотню тысяч... и оружие найдем, раздобудем!.. Да я именем короля выверну всю Украйну... Верь мне, пане, верь!

— Верю,— обнял его горячо Радзиевский,— верю, что это может сделать Богдан...

— Есть у нас, пане-друже, и помимо меня горячие сердца и твердые души!

— Так благо вам, а может быть, через вас и угнетателям вашим! Да, я глубоко убежден, что разнузданные наши сеймики и вольные сеймы, словно взбесившиеся без узды кони, помчат нашу Речь Посполиту к обрыву и рухнут вместе с нею в провалье... Нашим ведь магнатикам что? Заботятся лишь о своей пресловутой золотой воле, а всех остальных готовы под ноги топтать. Только власть в сильной руке может смирить этих безумцев и удержать державную колесницу от падения... Но ведь пану известно, что у нашего короля нет ни власти, ни права. Езус-Мария!.. Ведь он не вправе иметь ни пяди земли, не может ее дать никому, кроме шляхты, ведь земля считается достоянием всего госу-

дарства! Как же ему, суди сам, пане, защищать ваши земли от захвата и грабежа, коли он бессилен, коли он не имеет права держать войск более двух тысяч... а кварцяные и надворные войска в руках ведь магнатов? Ты же знаешь, пане, что король не имеет права ни объявлять войны, ни вершить мира, ни заключать иноземных союзов... Так пойми же, пане, что все эти задуманные им вчинки составляют преступление против conventa pacta *, и король на себя поднимает страшный риск, может быть, даже расплату головой... Но для спасения от неминуемой гибели дорогой ему Польши он готов жертвовать жизнью. Ваша доля, ваши права и королевские тесно связаны: спасая его, вы спасаете и себя, поднимая выше его, вы добываете и себе счастье... Так скажи мне по чести, товарищ, готовы ли вы стоять за короля?

— Головы положим все до единого, а не выдадим нашего батька! — обнял с восторгом Богдан Радзиевского.— Да если бы среди поляков были такие головы и сердца, как у пана, так более преданных братьев, как мы, не найти вам нигде!.. Э, не стань между нами иезуиты да не отумань ваших голов гордыня, что бы это была за мощь! Да пусть мне вырвет чуприну самая последняя ведьма, коли б не повалили под ноги всей Турции, коли б не раскинулись от моря до моря и не расправили б крыл от Карпат до Урала.

— Пышная думка!.. Захватывает дух! — воскликнул полковник.— И легко бы справдиться могла, если бы на то ласка пана бога.

Когда пришла Ганна звать панство к обеду, то она была поражена переменой в дядьке: он словно выпрямился и помолодел, в каждой жилке его лица билась какая-то радость, глаза восторженно и бодро сверкали.

— Ганно,— обратился он к ней,— завтра попроси отца Михаила утром отслужить нам панихиду и благодарственный заздравный молебен... Загадай соседям, чтоб все были в церкви... Нужно молиться и благодарить вседержителя за несказанную к нам, грешным, ласку!

---

* Прийнятий договір (*лат.*).

XXVI

После многих скитаний и тщетных хлопот о службе Ясинский получил наконец у чигиринского старосты место дозорцы над частью его обширных маетностей. Дозорца находился всецело во власти и распоряжении подстаросты, от которого зависели и назначение, и смена такого рода должностных лиц, утверждаемая всегда старостой, а потому Ясинский, чувствуя бесконечную благодарность к Чаплинскому, клялся ему быть верным слугой и беспрекословным исполнителем всех его желаний.

Через несколько дней после громкого хлопяшника, не обошедшегося без человеческих жертв, подстароста выехал вместе с Ясинским осматривать чигиринские владения и сдавать в ведение дозорцы поместья. Ясинский сразу же постарался выказать перед патроном свои административно-экономические способности в изобретении новых доходных статей, применяясь к условиям каждой местности. С полей хлопских, за пользование ими, он предложил, кроме установленного отработка натурой, брать еще до скарбу известный процент с их урожая — сноповое, а с общественных выгонов и выпасов с каждой штуки скота — покопытное; право строить свои мельницы рекомендовал он отобрать у хлопов; рыбную ловлю и охоту обложить тоже своего рода податью — рыбное, пташиное и звериное; даровую же порубку запретить во всех лесах без исключения, такое же запрещение наложить и на рубку тростника по озерам. Базары и торги в местечках обложить особыми сборами, за весы установить тоже плату. Кроме того, все переправы на реках обложить новым побором: поронным, а проезжие дороги — шляховым. Некоторые из этих поборов, впрочем, уже существовали и здесь на практике, но они взимались посессорами случайно,— нападением, грабежом,— а в систему еще введены не были; Ясинский же предложил их регламентировать. Всю эту программу новых доходов вывез он из Подолии и Волыни, где она была уже введена и практиковалась успешно. Чаплинский одобрил ее с восторгом, но решил вводить исподволь, приучая к новым порядкам этих хлопов-баранов постепенно и незаметно; для более же успешного процветания новых экономических

начал положено было усилить в каждом селении надворные команды. За собирание этих мелких доходов взялись корчмари-евреи, которым они по мере водворения и сдавались на откуп.

Ясинский предложил еще Чаплинскому сдать и хлопские церкви да схизматские требы * в аренду, заверяя, что таковые, на основании его наблюдений, могут давать огромный доход; но Чаплинский, несмотря на алчность и на соблазн угодить этой мерой католическому духовенству, побоялся до поры, до времени вводить ее в этом гнезде бунтовщиков, а решил по осуществлении всех экономических преобразований приступить осторожно и к этому источнику доходов.

В одном из поднепровских селений Чаплинский и Ясинский встретились с Пештою, который спешил, по его словам, на Запорожье. За эти четыре года Пешта только полысел немного и как будто обрюзг. Тайным образом Пешта страшно заискивал у всей шляхты, а особенно у Чаплинского. Приезжая в Чигирин, он считал за величайшую честь посетить пана подстаросту, оказывая всегда ему глубочайшее почтение и неизменную преданность. Чаплинскому нравились и лесть Пешты, и его всегдашняя готовность поделиться с подстаростой новостями, добытыми среди мятежных козаков. Ясинский сразу узнал помилованного Яремой пленника и, на основании рекомендации своего патрона, дружески протянул ему руку. Чаплинский пригласил к себе Пешту на вечерю. После опрокинутых трех-четырех келехов оковитой да нескольких ковшей черного пива с поджаренными в сале сухарями Чаплинский обратился к Пеште с таким вопросом:

— Ну что, пане, какие мысли бродят в буйных головах этой рвани? Ты ведь там меж ними таскаешься, так не выудил ли чего нового, не поймал ли какой зубатой рыбыны?

— Поймать-то еще не поймал, а уж невод закинул,— сверкнул Пешта желтыми белками в сторону Ясинского.

— Смело при нем говори, пане,— ободрил Пешту Чаплинский.— Он мне верный и преданный слуга.

---

* Схизматские требы — тут: православні релігійні обряди.

— Могила! — воскликнул Ясинский, положив руку на сердце.

— Да, в важных справах такое убежище необходимо,— повел рукою Пешта по лысине, обнажавшей его сдавленную кверху голову.— Так вот что, вельможный пане: первое, что как ни кроются эти разжалованные лейстровики, а у них одно только в голове — бунт, месть и расправа.

— Еще не присмирели лотры? — ударил по столу кулаком Чаплинский.— Кишки вымотать!

— Где ж им присмиреть,— захихикал ехидно Пешта,— коли их постоянно дурманят всякими обещаниями и надеждами? Находятся и меж старшиною такие иуды, что в глаза удают святых, а за глаза чертовым ладаном кадят.

— Первый Хмельницкий,— не утерпел прошипеть новый дозорца.

— Мой сват? — якобы изумился подстароста.

— Простите, ясновельможный пане, на слове,— съежился униженно Ясинский.— Но я правды не могу скрыть от моего покровителя, хотя бы и подвергся за это мести сотника. Я для моего благодетеля готов кровь пролить!

— Спасибо, я правду тоже люблю, а еще более тех, кто для меня выискивает ее повсюду.

— Что правда, то правда, не скрою и я,— продолжал хриплым голосом Пешта.— Мутит-таки мой приятель довольно; только в последнее время ему, кажется, нитка урвалась, и вот это в моей речи второе.

— До правды? Это любопытно! — промычал, набивая себе трубку, Чаплинский, а Ясинский бросился за угольками.

— Подорвал, видимо, к себе доверие постоянною брехней,— кивнул головою Пешта.— Все сулил им, и запорожцам, и черни, какие-то близкие блага и льготы. Заставлял ждать да ждать. Ну, а они и надеялись, и ждали чего-то, как жиды Мессию [125], да вот уж, кажись, у всех жданки лопнули, того и гляди, что обманутые подымут на своего Мессию каменья.

— Что ж он такое обещал? На кого заставлял покладать надежды?

— У этой лисы добрый хвост! — сверкнул Пешта злобно зрачками.— Ловко заметает следы! Из сбивчивых

россказней я мог уловить только то, что Хмельницкий будто бы имеет какую-то высокую руку, что с нею он все может сделать.

— Это очень вяжется со словами Заславского,— подчеркнул дозорце Чаплинский.

— Иезус-Мария! — пропел тот.— Это подтверждает мои догадки. Но, пане,— обратился он к Пеште,— этот аспид дурит и ваших, и наших. Я не могу простить себе, что замедлил посадить его на кол через эту соблазнительную венгржину, а потом какой-то дьявол шепнул князю Яреме заступиться за этого пса; но будь я в зубах Цербера [126], коли эта голова не наделает бед.

— Верно,— прохрипел Пешта,— и чем скорее козаки изверятся в этой лисице, тем лучше будет и для них, и для шляхты, и все эти мятежные бредни живо бы исчезли, как роса на солнце, если бы среди этой оборванной голытьбы появилась разумная голова, которая сумела бы их забавить какими-либо цацками, примирить с судьбою и успокоить навеки.

— Да ведь я тебе, пане, давно предлагал видный пост,— заметил Чаплинский,— стоит сказать старосте слово, а тот через батька имеет богатые связи в Варшаве.

— Целую рончки,— поклонился Пешта,— но пока вам выгоднее держать меня, как верного человека, в тени, а когда опасность минет, тогда вельможный пан меня на свет выведет.

— Слово гонору! — протянул руку Чаплинский.

Пешта схватил ее и, дотронувшись до колена подстаросты, униженно поцеловал свои пальцы.

— А теперь, пане,— злорадно продолжал Ясинский,— ваш знаменитый сотник плюнул уже на козацтво и хлопство; он подыгрывался и лгал, пока не заселил своего Субботова и Тясмина.

— Да, именно, заселил, как никто! — прервал дозорцу Чаплинский, и в его зеленых зрачках блеснул завистливый огонек.

— Такого хутора нет теперь и у вельможных панов,— продолжал Ясинский,— так-то! А теперь вот вельможный мой покровитель может быть свидетелем,— у него на пиру Хмельницкий громогласно предлагал против всех козаков самые ужасные меры, не ограничиваясь даже их истреблением, потому что, по его словам,

они замолчат только мертвые, а за хлопов так рекомендовал шляхте давить с них побольше олеи и вообще брался за усмирение буйголов.

— Наконец-то показал зубы! — заскрежетал даже от радости Пешта. Он встал и в волнении прошелся несколько раз по покою.— Да, да... необходимо сообщить, обрадовать друзей,— говорил он отрывисто, потирая радостно руки.— Теперь я, ясный пане,— остановился он возле Чаплинского,— еду на Запорожье, и по дороге туда и обратно еще кое-куда заверну и, клянусь чертом кривым, что рыбына попадет теперь в мой невод, да, может быть, и не одна! За сомом последуют и щучки, а уж после хорошего улова, надеюсь, ясновельможный пан вспомнит...

— Я и без того пана не забываю,— снисходительно улыбнулся подстароста,— и всегда тебя считаю самым верным моим помощником.

— Пока только полезным по доставке сведений,— опустил скромно голову Пешта,— но, когда придет время и я заполучу крылья, тогда только вельможный пан уверится, насколько я смогу принести пользы и Речи Посполитой, и особенно егомосци...

— Так выпьем за крылья,— поднял кубок Чаплинский,— за широкие, за ястребиные!

— Мне бы и шуликовых было достаточно, если бы к ним...— искривил рот улыбкою Пешта.

— Добавить когти и клюв,— подсказал Ясинский.

Все расхохотались и осушили кубки.

А в Субботове жизнь текла тихо и мирно.

В первые же минуты приезда в Субботов Хмельницкий узнал, что Олекса спасся из плена и возвратился целехонек домой, а потом отправился на Запорожье; радости Богдана не было границ... А когда наконец увидел он живым своего дорогого любимца, да еще таким юнаком-низовцом,— так он чуть не задушил Олексу в своих мощных объятиях. Молодой запорожец от волнения и от восторженных слез тоже не мог произнести ни слова и на все расспросы своего батька только бросался к нему порывисто с новыми поцелуями и объятиями.

Дня два или три передавал Богдану Морозенко в

отрывочных рассказах о своих приключениях в плену, о ласковом приеме его сечовиками, о толках на Запорожье, пока, наконец, теплая волна жизни не сгладила нервного возбуждения и не затянула всех в прежнюю покойную, счастливую колею.

Имея в виду новые отлучки, Богдан занялся приведением в порядок своих дел и хозяйства.

Первые дни по приезде Морозенка Оксана страшно конфузилась и стеснялась его присутствием, а потом и привыкла, только по утрам она еще более мучилась со своими упрямыми завитками; но, несмотря на все старания, это удавалось ей плохо, и черные как смоль завитки задорно выбивались над лбом и около ушей. Баба журила часто Оксанку за проявившуюся вдруг небывалую рассеянность; иногда, возвращаясь с чем-нибудь из погреба, она незаметно для себя останавливалась с глечиком среди двора да так и стояла, пока веселый голос Катри или Олены не выводил ее из налетевшей вдруг задумчивости. Сидя с гаптованьем в руке, она часто роняла его на колени и устремляла поволокнувшиеся туманом глаза куда-то вдаль. Вечером, когда все ложились спать, Оксана опускала кватырку окна и, высунувши голову, долго не могла оторваться от усеянного звездами неба. «Чего ты не ложишься, дивчыно? — заворчит баба, подымая сонную голову.— Звезды считать грех!» Редко кто слыхал теперь беззаботный детский смех Оксаны; она не была ни грустна, ни печальна, она просто притихла и притаилась, словно обвернулась от всего мира тонкой пеленой, как обволакивается зеленой пленкой растение, тайно выращивая в своих недрах роскошный цветок.

Большую часть времени Олекса проводил с дивчатками. Он рассказывал им о том, что видел в басурманских землях, о тех стычках, в каких принимал участие на Запорожье, о морском походе, о буре и гибели чаек.

Оксана слушала его, затаив дыхание, а Олекса любовался невольно ее черноволосою головкой и зардевшимся личиком, и в эти минуты он чувствовал какую-то необычайную близость и нежность к этой молоденькой девушке, так робко льнувшей к нему.

Когда же на дворе устраивались герци, Морозенко с удовольствием показывал все те хитрые военные штуки, каким научился на Запорожье. Он умел на всем

скаку прятаться лошади под брюхо, подымать с земли самые мелкие предметы. И красив же был молодой козак, когда с диким гиком мчался мимо всех по полю, почти припавши к шее коня! Иногда же они с дядьком Богданом устраивали поединки на шпагах. Козаки это оружие употребляли редко, а потому и наблюдали такие поединки с большим интересом.

— Ну, да и славный же вышел из тебя, хлопче, козак,— говорил весело Богдан Морозенку, хлопая его по плечу, когда одобрительные крики зрителей прерывали поединок,— кто б это и сказал?

А Оксана замирала от восторга и, сжимая свое сердце руками, печально думала про себя: «Нет, что я против него! Черная, как чобит, растрепанная, как веник... ему королевну, магнатку нужно, а я... ни батька, ни хаты,— так себе сирота!»

У Оксаны навертывались на глаза слезы, она спешила скрыться незаметно из толпы, и, как ни допрашивала ее Катря, она никогда не могла добиться истинной причины ее слез.

Был жаркий летний день. Разостлавши под густыми яворами рядно, Оксана и Оленка набивали малиною большую сулею, приготовляясь наливать наливку. Олекса лежал тут же, пышно вытянувшись на зеленой траве и заложивши под голову руки. Девушки напевали звонкими молодыми голосами веселую песню. И песня вилась, трепетала, то подымаясь, то опускаясь вниз, словно блестящая бабочка в яркий солнечный день. Иногда Олекса смотрел в небо на плывущие облачка, но чаще взгляд его останавливался на стройной молоденькой девушке с черноволосою головкой...

— Эх, славно тут у вас в Субботове! — вздохнул наконец Морозенко.— Кажется, никогда бы не выехал отсюда никуда.

— А ты разве собираешься уехать? — спросила несмело Оксана, подымая на него испуганные глаза.

— А как же! Ведь я теперь, голубко, не вольный хлопец, а запорожский козак. Я и то боюсь, как бы куренной наш атаман [127] не сказал, что я обабился здесь совсем.

— И скоро ты думаешь ехать?

— Да в том и досада, что надо ехать как можно поскорее: здорово замешкался я у вас.

— А когда вернешься?

— Ну, это уж один бог знает когда,— махнул Олекса рукою.— Кошевой наш атаман строгий, баловства не любит, без особой потребы не пустит.

Губы Оксаны задрожали; она быстро поднялась с места.

— Куда ты, Оксано? — приподнялся и Олекса.

— Я за горилкой схожу.

— Да ты погоди, я помогу тебе.

— Нет, нет,— торопливо ответила Оксана, не поворачиваясь к нему лицом, и поспешными шагами пошла по направлению к дому; но, обогнувши аллею и очутившись в таком месте, где уже Олекса не мог ее видеть, Оксана круто изменила направление и бросилась бегом в темный гай...

В светлице, где спали дивчатка со старой бабой, было тихо и темно. У икон теплилась лампадка и освещала тусклым светом спящие фигуры, расположившиеся кто на лавке, а кто и на ряднах на полу. Тишина прерывалась только громким храпом старухи да ровным дыханием спящих дивчат. Однако, несмотря на позднюю ночь, одна из фигур беспокойно поворачивалась и шевелилась под легким рядном. Иногда оттуда слышалось сдержанное всхлипывание или тяжелый вздох. Наконец всклокоченная темноволосая головка осторожно приподнялась с подушки и осмотрела всю комнату, затем приподнялась и вся фигура и, поджавши ноги, села на своей постели.

— Катря, Катруся,— зашептала она тихим, прерывающимся голосом, склоняясь над лицом спящей невдалеке подруги,— я перейду к тебе.

— Что, что такое? — заговорила полусонным голосом Катря, приподымаясь с постели, но, увидевши заплаканное лицо Оксанки, на котором и теперь блестели слезы, она совершенно очнулась и спросила испуганным голосом, обнимая подругу: — Оксано, Оксаночко, что с тобой?

— Тише, тише, баба услышит,— зашептала сквозь слезы Оксанка.— Пусти меня, Катря, я лягу с тобой.

Обе подруги улеглись рядом. Катря обняла Оксану, а Оксана прижалась головой к ее груди.

— Ну, что ж такое, чего ты плачешь, голубко? —

говорила тихо Катруся, гладя Оксану по спутанным волосам.

— Катруся, серденько, ты знаешь,— с трудом ответила Оксана, запинаясь на каждом слове и пряча свое лицо на груди подруги,— Олекса уезжает на Запорожье опять.

— Так что же? — изумилась Катря.— Ведь он снова вернется.

— Когда вернется? — всхлипнула Оксана.— Говорит, что куренный атаман строгий,— сам не знает когда.

— Ну, а тебе же что? — спросила Катря и вдруг остановилась; все лицо ее внезапно осветилось какой-то неожиданно вспыхнувшей мыслью: она отодвинулась от Оксаны, взглянула ей в глаза и тихо прошептала с выражением какого-то испуга, смешанного с невольным уважением:

— Оксана, ты кохаешь его?

Ничего не ответила Оксана, а только заплакала еще громче и еще крепче прижалась к груди подруги.

На лице Катри так и застыло выражение изумления, смешанного с невольным уважением. Она ничего не сказала, объятая вдруг необычайным почтением и трепетом перед чувством, проснувшимся в ее подруге.

— Не плачь, не плачь, Оксаночко, все хорошо будет, голубка,— шептала она тихо, проводя рукой по голове подруги и еще не зная, что можно больше сказать.

Долго лежали так вспугнутые тихим появлением нового чувства дивчатка, но, наконец, сон усыпил их молодые головки, и они крепко заснули, тесно обнявшись вдвоем.

Рано утром все были изумлены вестью о неожиданном, негаданном приезде Богуна.

Он прискакал на рассвете один на взмыленном коне.

Еще все спали в будынке, а они уже сидели с Богданом, затворившись в светлице.

Три года мало чем изменили Богуна, только лицо его стало темнее да между бровей залегла резкая складка.

Теперь, когда лицо его было взволнованно и утомлено, она резко выступала между сжатых черных бровей.

Несмотря на радостную встречу, лицо Богуна было

мрачно. Перед козаком стоял жбан холодного пива, которым он утолял свою жажду.

Богдан настолько обрадовался приезду Богуна, что даже не обратил внимания на его необычное настроение духа, на скрытую и в торопливом приезде, и в полуфразах тревогу. Он бегло расспрашивал Богуна об его житье-бытье, об удачах и пригодах, не замечая, что побратым таит что-то недоброе на сердце.

— Ну, рад я тебя видеть, друже, так рад, что и сказать не могу,— говорил он радостно, всматриваясь в лицо Богуна.— Целых три года и не видал, и не слыхал! Да ты, верно, уже знаешь о моих странствованиях? Эх, постарел я, должно быть, как старый пес, а ты молодец молодцом, еще краще стал!

— Дело не во мне, друже,— ответил наконец угрюмо Богун,— а в том, что на Запорожье погано...

— Погано? А что же такое случилось? — спросил озабоченно Богдан, тщательно притворяя дверь.— Набег татарский? Ярема? Или что же?

— Нет, не то и не то, а пожалуй, хуже... Ополчилось на тебя все Запорожье, батьку... гудут все курени, словно вылетевшие на бой рои, не хотят больше ждать ни одной хвылыны. Кривонос уже бросился в Вышневеччину, не дожидаясь товарыства, курени готовятся к походу и не сегодня-завтра затопят всю Украйну.

— Как?! Что?! Кривонос бросился? Запорожцы готовятся к походу?! — вскрикнул бешено Богдан, схватываясь с места.— Остановить! Остановить во что бы то ни стало! Я скачу с тобою! Они сорвут всю справу, испортят все дело! — лицо Богдана покрылось багровою краской.— Своих, своих остерегаться пуще врагов! Ироды, душегубцы! В такую минуту! Да ведь одною своею безумною стычкой они наденут вековечные цепи на весь край! Э, да что там разговаривать! Едем сейчас, каждая минута — погибель.

— Постой! — остановил Богдана Богун, подымаясь с места.— Тебе теперь не годится туда ездить. Я повторяю: встали на тебя все запорожцы, обвиняют тебя в измене козачеству и вере... Голова твоя...

— Что-о!? — перебил его Богдан, отступая, и лицо его покрылось мертвой бледностью, а черные глаза загорелись диким огнем.— Меня обвиняют в измене козачеству и вере?.. Отшатнулись от меня запорож-

цы?.. Да кто же смеет? — крикнул он бешено.— Кто смеет это говорить, кто?

— Все!

Словно пораженный громом, молча опустился Богдан на лаву. А Богун продолжал:

— С тех пор, как ты перед своим отъездом прислал нам из Каменца гонца, все приостановили свои действия. У меня в Киевщине были собраны большие загоны, в Брацлавщине еще большие... Но мы бросили все и ждали тебя. Так прошло два года. Рейстровикам дали какую-то пустую поблажку... Когда ты вернулся из чужих земель и прислал к нам через Ганджу известие о тайном наказе его королевской мосци ждать инструкций тихо и смирно, пока ты не подашь гасла,— все ожили на Запорожье. Заворушилось товарыство, начались толки, приготовления, все прославляли тебя. Но время шло, а от тебя не было никаких вестей. Горячка охватила товарыство. С каждым гонцом ждали гасла! Так прошел и год, а от тебя все не было решительных известий, а слалось только надоевшее всем слово: «Сидите смирно!» Тем временем вороги твои приносили постоянно новые россказни о том, что ты братаешься со шляхтой, целые дни и ночи гуляешь на пирах, пьешь с нашими ворогами из одного ковша...

— Так, так... Я знал это... Своих остерегайся горше врагов,— проговорил беззвучно Богдан; на лице его появилась горькая улыбка, а на лбу и возле рта выступили словно врезанные морщины,— веры нет ни у кого...

— Нет, нет! — горячо закричал Богун.— Поверили этому не все; Нечай, Чарнота, Кривонос, Небаба и другие ребра обещали перетрощить тому, кто распустил такой слух! А несмотря на это, товарыство роптало все больше и больше. Уже четвертый год шел без всякого дела, для харчей надо было затевать наскоки и грабежи, а из Украйны с каждым днем прибывали новые и новые рейстровики, которых Маслоставская ординация повернула в посполитство; они говорили о новых утеснениях, волновали все Запорожье и требовали восстанья, а от тебя не слыхать было ничего. Трудно стало сдерживать товарыство, тогда я послал к тебе Морозенка сказать, чтобы ты торопился...

— Что я мог сделать тогда? — вырвалось у Богдана.

Оба помолчали.

— Передавать было нечего. Поквитоваться с надеждами нельзя было, а благословить на бой было рано,— сказал угрюмо Богдан, отошедши к окну.

— Ну, а тут примчался на Запорожье Пешта. Не сношу я этого хыжого волка,— сверкнул глазами Богун.— Он собрал раду и объявил на ней, что ты хочешь всех поймать в ловушку, что козаков ты усыпляешь обицянками, а сам в это время подсказываешь панам самые жестокие против них меры.

— Змея! — повернулся быстро Богдан, весь бледный, с налившимися кровью глазами.— Это плата за жизнь!

— Да,— продолжал Богун,— он говорил, что был с тобою на многих пирах, и всюду ты издевался над козаками, пел в одну дудку с панами, а на последней пирушке у Чаплинского,— он приводил в свидетели еще какого-то шляхтича,— ты сказал молодому Конецпольскому, что до тех пор, пока козаки будут живы, они все будут подымать головы, что только мертвые не пищат.

— А! — простонал Богдан, опускаясь на лаву.

— Кием хотел я расшибить ему голову! — продолжал еще более запальчиво Богун.— Но товарыство не допустило; тогда я головой своей поручился им, что все это ложь и клевета! Я просил их обождать еще хоть неделю и бросился сломя голову сюда.

— Голова твоя пропала,— произнес медленно Богдан, подымаясь с места.

Как окаменелый остановился перед ним Богун.

— Голова твоя пропала, говорю тебе,— повторил глухим голосом Богдан, с лицом бледным, как полотно,— я говорил это, да!

— Ложь! — крикнул Богун, отступая от него и хватаясь за эфес сабли.— Именем своим козацким поклялся я, что голову отсеку всякому, кто посмеет повторить на Богдана эту клевету...

— Ну, так вот она тебе, руби ее,— провел Богдан рукою по шее и гордо выпрямился перед Богуном,— потому что все это я говорил.

Сабля с громким стуком выпала из руки Богуна.

Пролетела минута молчания. Оба козака стояли один перед другим окаменевшие, неподвижные, словно готовились вступить в бой; только Богдан стоял те-

перь, смело выпрямившись, с глазами, горящими гордым огнем.

— Ты один мой помощник и покровитель,— произнес он наконец с чувством, подымая глаза на икону.— Один ты вложил мне теперь в руки возможность разбить эту черную клевету! Тебе, друже мой верный и коханый,— обратился он к Богуну, преодолевая подступившее волнение,— я скажу все, а перед другими, перед теми, что могли поверить этой черной клевете, не стану я говорить! Так, правда, я пил из одного ковша с панами, я бывал на их пирушках, я смеялся вместе с ними над козаками, спроси обо мне любого шляхтича, и он скажет тебе с верой, что Богдан Хмельницкий — свой человек! Все это делал я, принимал на себя всяческий позор, слушал панские шутки и, сдавивши сердце, вторил им на пирах,— все это делал я для того, чтобы заработать имя зрадцы козацкого, и я заработал его, но зрадой честного имени своего не покрыл! Вот,— проговорил он, отпирая в стене железную дверцу и вынимая оттуда сумку с золотыми и тайною инструкцией короля,— тут шесть тысяч талеров, это только задаток и приказание строить чайки для участия в предстоящей войне. Вот это,— вынул он дальше серебряную булаву, пернач и свернутое знамя [128],— передай от короля козакам и скажи им, что его найяснейшая мосць возвращает им этими регалиями прежнюю свободу и призывает их к участию в войне.

Богдан тряхнул рукою, и с шумом развернулось огромное малиновое знамя; знакомый шелест наполнил комнату и коснулся уха Богуна; перед глазами его мелькнул золотой козацкий крест...

— Так! — гордо произнес Богдан, высоко подымая козацкое знамя своею крепкою рукой.— Все это я добыл своим долгим старанием, свези же его на Запорожье и передай товарыству, что зрадник Богдан Хмельницкий шлет запорожцам эту благую весть!

— Друже, брате, батьку мой! — крикнул бешено Богун, заключая Богдана в свои крепкие объятия.— Голову положу за тебя!

После первого порыва бурного восторга Богдан усадил Богуна рядом с собою и начал передавать ему подробно весь свой разговор с полковником Радзиевским, инструкции и распоряжения последнего.

Между тем Ганна, изумленная и встревоженная неожиданным приездом Богуна, с нетерпением ожидала выхода дядька. В своей тревоге она даже ни разу не подумала о той неизбежной неловкости, которая ожидала ее при встрече с Богуном: она словно забыла все то, что произошло между ними, охваченная одним мучительным сознанием неизвестности.

«Зачем он приехал? Откуда приехал? — повторяла она сама себе, то подымаясь наверх, то отправляясь в пекарню, то в погреб, то снова возвращаясь в свою комнату.— Его загнанный конь, видно, без отдыху скакал... О чем говорят они там так таинственно и тихо?.. Ах, верно, новое горе,— сжимала она руки,— новые муки впереди!»

Оксана и Катря с изумлением следили за напряженным волнением Ганны. С самого приезда Богдана все в доме привыкли видеть ее такой замкнутой и тихой, словно ее уже не занимало ничто, а между тем она таила в себе глубокую душевную муку. Сознание полного равнодушия со стороны Богдана убило все терзания ее совести, но вместе с тем наложило глубокую и тяжелую печать на все ее молодое существо. К тому же резкая перемена в образе жизни Богдана не могла ускользнуть от внимательного взгляда Ганны. Сначала она еще не придавала этому большого значения; но чем больше предавался Богдан шляхетским пирам и забавам, чем меньше обращал он внимания на окружающую жизнь, тем тяжелее становилось у ней на сердце. Ее оскорбляло до глубины души, когда он возвращался с какой-нибудь пирушки на третий, на четвертый день с лицом раскрасневшимся, неестественно возбужденным, с веселыми песнями на устах, когда он по целым неделям пропадал из дому, не справляясь ни об ужасных слухах, доходящих отовсюду, ни о здоровье жены и детей; тяжело было ей выходить угощать надменную и пьяную шляхту, которая так часто наполняла теперь их молчаливый угрюмый дом, но всего ужаснее было слышать те оскорбительные шутки и разговоры, которые держал с шляхтою в своем доме Богдан. О, как невыразимо мучительно было ей видеть своего когда-то гордого и самолюбивого батька в такой унизительной, холопской роли. Казалось, за все эти издевательства и насмешки над народом он должен был бы раскроить

черепа этим наглым, пьяным панам, а между тем он, Богдан,— Ганна сама слыхала не раз,— он вторил им! И Ганна уходила наверх, запиралась в своей светлице, чтобы не слышать, чтобы не видеть этого ужаса; но пьяный хохот и крики достигали и туда.

— Боже мой, за что ты оставил нас? — шептала она, сжимая свою голову руками, и грудь ее надрывалась от горького, тяжелого рыданья, а голова с отчаяньем падала на подоконник. А снизу доносилась пьяная польская песня, в которой она ясно слышала могучий голос Богдана. Никто не знал, что переживала она в эти томительные ночи. Одни только звезды видели бедную, одинокую девушку, сгибающуюся от горького рыдания у темного окна. И когда она, измученная и истомленная, подымала к небу полные слез глаза, оно сияло над ее головою так величественно и безмятежно, словно говорило ей о мимолетности земных радостей и мук, и на душе ее становилось легче, светлее; звезды казались ей добрыми и ласковыми глазами каких-то неведомых друзей, глядящих на нее из той глубокой дали...

Между тем каждый день приносил все более грустные вести, а Богдан точно и не слыхал их, точно и забыл навсегда все то, чем жил до сих пор. Несколько раз в Ганне пробуждалась мысль отважиться поговорить с дядьком, но Богдан держал себя теперь так далеко от нее, что она никак не могла решиться на это. Ганна видела ясно, что дед хмурится, что брат ее угрюмо отстраняется от Богдана, что кругом против него растет недовольство, ропот и вражда, и она не могла сказать всем смело, что все это ложь и клевета. Иногда ей казалось снова, что все погибло, что спасения неоткуда и не от кого ждать, что они осуждены богом на вечное рабство; но сила несокрушимой веры в Богдана, а главное, в милосердие божие подымалась из глубины души и укрепляла ее. Тревожное ожидание дядьком посла из Варшавы зарождало в ней надежду на какие-то тайные планы, хранимые им.

Приезд пана Радзиевского сразу ободрил ее да встрепенул и Богдана. Он деятельно занялся распоряжениями по хозяйству, словно собирался в далекий путь; но никто не слыхал от него ни слова ни о том, зачем приезжал пан Радзиевский, ни о том, зачем это он старается так торопливо прикончить все свои дела.

Теперь этот неожиданный приезд Богуна как-то невольно сопоставлялся в ее воображении со всеми дурными вестями, передаваемыми ей братом, и томительное предчувствие чего-то недоброго сжимало ей сердце.

А время все шло, и дверь из комнаты Богдана не отворялась. Уже и солнце поднялось высоко на небесном своде, уже Ганна приготовила с дивчатами весь снидацок в леваде, а Богдан все еще не выходил из своей половины.

Наконец волнение Ганны дошло до такой степени, что она решилась войти сама.

Покончивши все разговоры с Богуном, Богдан собирался уже встать, как вдруг дверь тихо приотворилась и на пороге показалась Ганна.

— Можно, дядьку? — спросила она несмело, останавливаясь в дверях.

— Можно, можно, голубка! — ответил тот радостно, подымаясь с места и расправляя свои могучие плечи, словно желая стряхнуть с себя последние остатки тяжелого волнения, пережитого им в эти несколько часов.— А посмотри, какого нам гостя бог послал! Да что же это ты не витаешь пана? Или не рада ему совсем?

Уже по веселому тону Богдана Ганна поняла сразу, что свидание окончилось чем-то радостным.

— Рада,— ответила она просто, обдавая Богуна ласковым сиянием своих кротких лучистых глаз.

А Богун стоял молча, не говоря ни слова, не отводя от Ганны восхищенных очей.

Ганна потупилась.

— То-то ж! — улыбнулся Богдан.— Приготовь же нам чего доброго на зубы. Шутка сказать, прискакал ведь из самой Сечи, не отдыхая нигде.

— Я уж и то все приготовила,— ответила Ганна.

— Ну, и ладно, а я достану самого старого меду, да разопьем его гуртом за здоровье нашего славного гостя. Ты ж опоряди здесь пана с дороги.

Богдан направился уж к выходу, но остановился в дверях.

— Да приготовь еще мне с Морозенком в путь, что надо, а я пойду да распоряжусь заранее лошадьми.

— Как в путь? — отступила Ганна.— Надолго ли? Куда?

— Нам не надолго, на недельку-полторы, а ему,— указал он на Богуна,— аж до самой Сечи.

Дверь за Богданом затворилась.

Несколько минут Богун еще стоял перед Ганной молча, как бы не решаясь заговорить. Восторженное выражение, вспыхнувшее на его лице при виде Ганны, сменилось выражением какого-то грустного и глубокого участия. Наконец он подошел к Ганне, взял ее за руку и проговорил негромко:

— Какая ты стала тихая, Ганна!

— Тихая? — переспросила Ганна, стараясь улыбнуться, но улыбка у нее вышла болезненная и печальная.

— Тихая, тихая,— повторил настойчиво Богун, вглядываясь в ее бледные черты и большие глаза.

Ганна почувствовала вдруг, как от этого теплого, ласкового слова, давно не слышанного ею, какая-то бессильная слабость охватила ее. Ноги у нее задрожали; она оперлась рукою о стол.

— Скажи мне, отчего ты так змарнила вся? Что сделалось с тобой? — продолжал Богун, не выпуская ее руки.— Может, какое горе? Скажи мне, Ганна, скажи!

— Так,— опустила глаза Ганна; тихий вздох вырвался невольно из ее груди,— тяжко, козаче...— прошептала она.

— Может, тебя, зневажает кто? — крикнул запальчиво Богун.— Слово только скажи, и я ему, будь то мой наилучший приятель, голову кием рассажу!

— Нет, нет,— покачала головой Ганна.— Не то. Там у вас, на Запорожье, только слухи доходят, а здесь, когда сама своими глазами видишь все, что делается кругом,— говорила она тихо, останавливаясь за каждым словом,— и нет ниоткуда спасенья... то так станет тяжко, так тяжко, что не хотелось бы и жить.

Слова Ганны прервались, словно угасли.

Богун угрюмо опустил голову. Наступило короткое молчание.

— Да недолго ж, Ганно, будем мы такой сором терпеть,— вскрикнул он вдруг, взбрасывая голову с пробудившеюся энергией,— чтобы дивчата наши стыдились за нас! Клянусь тебе, Ганно, когда бы нас не уговаривал Богдан, не сидели бы мы так тихо на Запорожье, как бабы за веретеном. А теперь уже годи! Вот только что передал он мне счастливые вести...

— Боже мой! — захлебнулась от прихлынувшей радости Ганна, простирая к иконе руки.— Ты не оставляешь нас!

Все лицо ее осветилось таким вдохновенным, восторженным экстазом, что Богун невольно залюбовался ею.

— Ты говоришь, Ганна, что нам хорошо было на Запорожье, потому что к нам доходили только вести? — заговорил он взволнованным голосом.— Нет, нет! Не знаю, как другим, но той тяжести, которую я выносил за эти три года в сердце, не сносить никому! — Он помолчал, как бы желая совладеть с охватившим его волнением, и затем продолжал снова с возрастающею горячностью: — Я не знал, куда броситься, чтобы задавить свою грызоту-тоску. Очертя голову бросался я в самые опасные набеги, пускался на чайках в самую жестокую бурю, и видишь: ни хвыля, ни пуля не тронули меня! Слово козацкое тебе, Ганна, что если бы не думы о нашей бедной Украйне, давно бы насадил я эту постылую голову на татарский спыс! А вести из родины приходили и к нам одна другой грознее; каждая из них шматовала мое сердце, а Богдан все слал листы, умоляя нас ждать еще, обещая впереди большие льготы от короля. Но, если бы ты знала, Ганна, какая мука ждать бездейственно, когда вот тут, в груди, целое море кипит! Так шло время. Не слышно было ни слова о королевских льготах, а о насилиях и утисках панских слышали мы каждый день... Мало того, все беглецы, наполнявшие Запорожье, приносили с собой страшные слухи о Богдане, все называли его изменником, предателем, иудой!..

— Ах, нет, нет! — перебила его горячечно Ганна, хватая за руку.— Верь ему, верь хоть ты один! Он не изменник, не предатель! — Глаза ее наполнились слезами, голос задрожал, спазма сжала горло.— Он таит от нас что-то, прикидывается равнодушным; но я верю, верю, что он наш спаситель, что он спасет нас!

Последние слова вырвались у Ганны с таким страстным восторгом, что Богун бросил на нее изумленный взгляд.

— Дай бог! Только одному человеку не поднять такого великого дела. А россказням о Богдане я не поверил,— произнес он медленно, слово по слову, не спуская

с Ганны потемневших глаз,— я знал, что если ты здесь, Ганно, то все рассказы об измене — ложь и клевета.

Он помолчал с минуту и продолжал глухим голосом:

— Но другие думали не так. Запорожье присудило Богдана к смертной каре; но я головой своей поручился за него товарыству и бросился сломя голову сюда.

— Козаче, брате мой,— рванулась к нему Ганна,— да есть ли у кого в свете такое сердце? Есть ли кто в свете благороднее тебя? — И вся она была в эту минуту один восторг, один порыв.

Богун окинул ее всю восхищенным взглядом. Казалось, еще минуту он колебался, не решаясь заговорить, но было уже поздно.

— Ганно, я не хотел сюда ехать, я не мог сюда ехать,— заговорил он горячо и сильно,— для спасения Богдана, для спасения всего козачества надо было ехать — и я прискакал, но теперь уже не могу молчать! Что мне делать, Ганно, не придумаю, не знаю: приворожила ты до смерти меня!

Ганна вдруг вся побледнела и словно съежилась, голова ее опустилась низко, и, закрывши руками лицо, она проговорила тихо:

— Не надо, не надо... не говори!

Но Богун уже не слыхал ее слов.

— Три года не видел я тебя, Ганно, а не проходило и дня, чтобы я забыл о тебе! Горилкою думал я затопить свое сердце, да что горилка! Не зальешь его и пекельною смолой! Куда я ни бросался, везде ты была со мной. Среди рева бури, среди грома сечи, в дыму и пожаре — везде твой образ был со мною и не покидал меня ни на хвылыну, ни на миг! Что делать мне, Ганно, счастье мое? Люблю я тебя, кохаю, как божевильный, одну тебя,— одну на всем свете люблю!

Ганна стояла молча, еще ниже склонивши голову, не отымая рук от лица.

— Ты молчишь, Ганно! Так скажи ж мне хоть одно слово: чем я не люб тебе, за что ты не любишь меня? Да не сыщется никого в целом свете, чтоб кохал тебя так, как кохаю я! Слово скажи — на край света полечу для тебя, голову свою вот тут, не задумавшись, возле ног твоих положу! Скажи ж мне, Ганно, счастье,

жизнь моя, что мне сделать, что мне придумать, чтоб полюбила ты меня?

— Боже мой, боже мой! — вырвалось тихо у Ганны, и Богун заметил, как ее плечи начали тихо вздрагивать.

— Что ж, если речи мои простые не по сердцу тебе, Ганно, прости меня, грубого козака,— опустил голову Богун,— не скажу я тебе больше ни слова: видно, такая уж моя доля, таков мой талан! Только не отымай у меня последней надежды: я могу ждать, я буду ждать, пока прокинется твое сердце, и с радостью порыну я отсюда на Запорожье, первым порвусь на врага, первым на смерть пойду, только бы думка эта была у меня!..

Наступило тяжелое молчание. Видно было только, как плечи Ганны вздрагивали все сильней и сильней.

— Ганно, счастье мое, скажи ж мне хоть одно это слово! — подошел к ней Богун.— Не отнимай этой надежды у меня!

Ганна опустила руки; по лицу ее медленно одна за другой катились крупные слезы.

— Ох, козаче мой! — начала она с невыразимою тоской, заламывая свои тонкие руки.— Что же мне делать с собою, как принудить свое сердце? Де если бы сила моя была!.. Мертвое оно, мертвое! — И губы Ганны непослушно задрожали, она остановилась, потому что рыдание захватило ей дух.— Ох, нет, нет! — вскрикнула она, прижимая руки к груди.— Не в силах я дурить тебя! Люблю тебя, козаче, как велетня, как друга, а больше... больше... Бог видит — не могу!

На красивом лице козака не дрогнула ни одна черта, только черные брови его сжались сильнее.

— Что ж? — произнес он наконец гордым тоном, забрасывая голову назад, и горькая улыбка искривила его лицо.— Спасибо тебе, Ганна, хоть за правду. Не нам, козакам-нетягам, думать о счастье. Оно не для нас. Выняньчили нас метели да громы. Э,— перебил он сам себя,— да что уж там и говорить! Прощай, Ганно! Обо мне не думай! Дай бог тебе счастья!

— Ох козаче,— вырвалось горько у Ганны,— не смейся надо мной!

— Но если я узнаю, кто причиной твоему несчастью, если здесь кто хоть подумает скрывдить тебя,—

продолжал Богун, понижая голос,— слово скажи, с конца света примчусь, и пожалеет он, что на свет родился!

— Прости меня, прости меня! — зарыдала Ганна, протягивая к нему руки.

— За что прощать? — перебил ее горько Богун.— Разбила ты, бесталанная, без воли мое сердце! Да что о нем говорить! Носило оно много горя, так много, что уже и не под силу ему. Авось сжалится над ним наконец чья турецкая сабля,— вскрикнул он горько, направляясь к выходу,— избавит от мук навсегда!

— Нет! Стой! Ты этого не говори! — вскрикнула лихорадочно Ганна, хватая его за руку.— Будущее в руке божьей, твое сердце ведь не твое, а наше, и мы его не отдадим тебе — слышишь? — не отдадим никогда! — Голос ее звучал твердо и сильно, сухие глаза горели каким-то горячим, вдохновенным огнем.— Не нам судилось счастье, правду ты сказал, не нам! Но не для счастья мы живем! Разве ты не слышишь и днем и ночью, как звонят наши цепи? Разве ты не слышишь наших слез и стонов, которые вот тут, в этом сердце беспрерывно дрожат? А! Не говори о муках и горе! Что значат наши муки перед той вековечной зневагой, какая огнем зажигает всю нашу кровь?

И по мере того, как говорила Ганна, лицо Богуна озарялось другим, отважным, восторженным блеском. Грудь подымалась высоко и сильно, глаза вспыхивали огнем.

— Туда лети,— продолжала Ганна горячо, протягивая вперед руку,— неси братчикам счастливую весть. Подымайтесь бурею, хмарой... О, дайте ж нам сбросить это ярмо позора! Дайте нам стать рядом с другими людьми.

— Ганно, жизнь моя! — вскрикнул порывисто Богун, склоняясь перед ней.— Что ты делаешь со мной?..

Уже совсем вечерело, когда к крыльцу субботовского дома подвели лошадей путникам. Лошадь Богуна заменили другой, сильной и привычной к долгим переездам, к которой на длинном поводе была привязана и другая, для перемены. Небо все заволокло серыми тучами; склонившееся к западу солнце освещало все кровавым светом.

Все обитатели усадьбы собрались на крыльце. Прощанье было короткое и сухое.

Богун подошел к Ганне.

— Помилуй, боже,— сказала она, крестя его склоненную голову.

— Бувай здорова! — проговорил твердо козак и, не взглянув ни на кого, подошел к своему коню.

— Эй, не ехал бы ты на ночь, Иване, лучше б с утра! — заметил серьезно дед, поглядывая на затянувшееся небо.— Что-то погода нахмурилась... И не к часу, словно осенью завыла...

— Нельзя, диду. Да это не беда: мыли нас немало дожди! — ответил Богун, уже сидя на коне и собирая повода.

Богдан попрощался со всеми, перекрестил и поцеловал детей и, вскочивши в седло, крикнул громко, сбрасывая шапку и осеняя себя крестом:

— С богом рушай!

Лошади поднялись в галоп и понеслись со двора.

— Ты ж, друже, с нами до самого Чигирина? — спросил Богдан Богуна, когда они подъехали к гребле.

— Нет,— ответил коротко Богун, не подымая глаз,— я прямо на Золотарево, мне надо еще и Золотаренка повидать.

Богдан бросил на него долгий и внимательный взгляд: ни угрюмый, молчаливый вид козака, ни краткость его ответа, словно произнесенного с большим усилием над собой, не ускользнули от этого внимательного, как бы прозирающего насквозь взгляда. Какая-то смутная догадка шевельнулась в голове Богдана.

— Ну, что ж, так прощай! — произнес он громко, придерживая коня.— Так мы сейчас и попрощаемся: тут нам сейчас заворачивать: мне через греблю направо, а тебе все прямо на полдень.

Козаки остановились, сбросили шапки, перекрестились, поцеловались три раза и повернули в противоположные стороны лошадей.

Небо заволакивалось все сильнее; ветер крепчал и стлал перед собой волнами седой степной ковыль; осенний серый полумрак спускался над безбрежною степью; становилось холодно и темно.

Под нависшим серым небом мчались теперь по безлюдной степи кони Богуна. Встречный ветер подымал

их густые гривы и развевал по ветру длинные хвосты. Богун надвинул на голову шапку и набросил на плечи керею. Ветер свистел у него над ухом, но он не слыхал его. Казалось, он был настолько погружен в свои мысли, что не видал ничего перед собой. Каждый шаг коня уносил его все дальше и дальше от Субботова, от этого спокойного, уютного уголка, к которому он всегда стремился душой. Но сожаления уже не было в душе козака: он снова мчался туда, на юг, навстречу этому буйному ветру, под дождь и бурю, в темноту и неизвестность, навстречу опасностям и смерти. Там, за ним, в сомкнувшемся уже тумане, стояли две женщины; они указывали ему на Запорожье, они толкали его. И одна из них подымалась, величественная и прекрасная, словно мраморная богиня, в золотистой одежде, опоясанная синею лентой Днепра, но прекрасное лицо ее было строго и печально, а в глазах, синих и глубоких, как небесная лазурь, стояла горькая слеза. Другая казалась совсем маленькой рядом с величественной богиней, но тонкая рука ее указывала туда же, а серые лучистые глаза смотрели с восторгом на Богуна, и голос шептал, задыхаясь:

— О, дайте же нам сбросить это ярмо позора, дайте нам стать рядом с другими людьми!

Ночь наступала. Ветер свистел. Кони летели быстрей и быстрей. И вдруг навстречу бурному ветру раздалась среди наступавшего мрака громкая смелая песнь козака:

Ой любив козак та дівчиноньку, як той батько дитину,
А тепер так і покидає, як на морі хвилину!

XXVII

Тихо ехал Богдан на своем Белаше; невеселые думы роем гнались за ним и склоняли на грудь его буйную голову. «Отчего это таким сумрачным расстался Богун? — думал он.— Неужели и у него в груди зашевелилось недоверие ко мне? Такие неоспоримые доказательства моей правоты перед родиной, перед братством, и все-таки лучший мой друг, беззаветно преданное мне сердце, уезжает с отуманенным оком, со скрытою тоской!.. Что же тогда остальные? Эх... тяжело гнуться и

личину носить, а еще тяжелее, когда дорогие люди не верят, что это личина! Неужели же и ты, ненько моя Украина, не поверишь своему злополучному сыну и усумнишься в его любви? Так вот! Загляни сюда, в самое сердце!» — и Богдан машинально рванул за борт своего жупана и расстегнул сорочку. Пронзительный ветер прорвался с злорадством в прореху и начал охватывать резким холодом и спину, и грудь, но Богдан этого не чувствовал; его согревал внутренний жар, бурливший от обиды кровь... Никто ему не нанес ее явно, но он ощущал в себе ее острие, которое, с новым наплывом сомнений и дум, вонзалось своим жалом все глубже и больнее.

«Эх, а как это доверие нужно теперь, не для меня только, а и для дела! Все от него зависит: поверят — притаятся, притихнут и помогут мне до славной, желанной минуты усыпить врагов и накинуть на них, сонных, узду, не поверят — прорвутся в удалых выходках, разбудят собак и уничтожат в один миг так долго и с такими мучениями тканные мною сети! Вот хоть бы Кривонос... Не стерпел! Пошел ведь в дебри да болота разбивать свою тугу-тоску, тешить хотя чем-ничем свою месть, свою волю... А удержишь ли его? Навряд ли! Лют-то он на ляхов очень, да и терпение за это время ожиданий, пустых и бесплодных, давно лопнуло, и не только у него, а, почитай, и во всех, оттого-то и трудно будет поднять снова в них веру и вооружить их терпение уже явной надеждой».

— Однако, что же это мы, молоко или яйца на базар везем? — отозвался, наконец, к Олексе громко Богдан, трогая острогами коня.

Белаш вскинулся на дыбы и полетел ураганом, подымая облако пыли и закрывая ею едва поспевавшего за ним юного запорожца.

К полуночи они достигли Днепра и, переправившись через него ниже Крылова, заночевали в селе Власовке. Здесь Богдан порасспросил у местных поселян, где находятся жабовыны, и получил довольно неопределенный ответ, что многие непролазные места в плавнях, окруженные топью, называются жабовыною, и жабовынням, и жабыным сидалом.

— Вот теперь и ищи его между плавнями,— почесал себе затылок Богдан,— а их аж до самых порогов! За

десять лет всех не обшаришь, хоть возвращайся домой!

После многих досадливых и произвольных решений, куда направить путь,— вверх ли по Днепру или вниз,— Богдан остановился на последнем.

Его подвинуло на это такое соображение: Кривонос, очевидно, засел где-либо поближе к гнезду своего врага Иеремии Вишневецкого, но засел, вероятно, в совершенно недоступном и безопасном месте; вверх по реке — плавни неважные и сухие, а ниже Власовки начинаются топи... Значит, он в первой такой трущобе и сидит, значит, туда, т. е. вниз по Днепру, и путь им держать.

Поехали вниз по Днепру и свернули вправо на плавни. К вечеру заехали в такие трущобы, что не было возможности двинуться дальше без провожатого: тропинки, проложенные в густых зарослях человеком и зверем, пересекались, вились, спутывались и приводили то к озеру, то к болоту, то к ужасной трясине...

— Тут и заблудиться удобно,— заметил Богдан,— особенно под вечер. Держи-ка, Олексо, левее к степи, авось, на сухое выберемся...

— Да и налево топко,— пробовал прорваться прямо через камыши Олекса.

Богдан приподнялся на стременах и окинул взором темнеющую окрестность: кругом морем желтел и волновался высокий камыш; между верхушками его, украшенными золотыми метелочками, торчали на тонких стеблях бархатные темно-коричневые головки; под напором ветра все это колыхалось, гнулось и ходило широкими волнами; только вдали направо заметил Богдан между очеретом и зарослями верболоз.

— За мною! — крикнул он и, промучившись достаточно, доехал-таки уже почти в сумерки к верболозу, между которым неожиданно оказалась, на счастье, корчма, не корчма, а скорее землянка, запрятанная совершенно в густых ветвях, переплетенных с торчащими гривами камыша.

— Вот и добрались-таки до жилья! — вздохнул облегченно Богдан.— А стой, Олексо,— остановил он рукой козака,— да подержи-ка моего коня, а я загляну в эту халупку, а может, и передохнуть будет можно, и пронюхать кой-что, а то ведь дальше ни тпру ни ну!

— Не опасно ли одному, батько? — возразил с тревогой Олекса.

— Э, сынку, козаку не нужно бегать опасностей, а нужно лезть на них самому, тогда сатанинское порождение и хвост подожмет.

Осторожно, то изгибаясь, то приподнимая нависшие ветви, Богдан пробрался, наконец, по узкой и топкой тропинке к этой хатке на курьих ножках и, заглянув в окно, приложил ухо к дверям.

Вечер уже наступал темный, мглистый, ветер ворчливо шелестел камышами; но Богдан и при этом шуме уловил звуки какого-то разговора, происходившего между двумя-тремя лицами — не больше, и заметил через щель слабое мерцание потухающего огня.

Постоявши немного и не дождавшись чего-либо определенного, Богдан с нетерпением толкнул ногою дверь и, согнувшись почти вдвое, вошел в какую-то полутемную конуру. Сначала глаза его почти ничего не заметили, кроме красноватого светового пятна, мигавшего на низеньком очаге, а потом, привыкнув к темноте, различили в углу две фигуры, занемевшие при появлении козака в хатке. Одна сидела у окна, совершенно заслонивши его спиною, а другая — у стола, поближе к нему; третья же, которую он заметил после, лежала навзничь, раскинувшись перед очагом, и, слегка тронутая красноватыми отблесками огня, напоминала распростертый окровавленный труп.

— Помогай бог! — приподнял шапку Богдан и, не заметивши нигде образов, насунул ее снова на брови.

Фигуры как будто бы пошевелились немного, но не ответили ничего на приветствие.

— С понедилком! — повторил Богдан и получил в ответ такое же молчание.

«Эге,— подумал он,— что-то неладно, коли и на приветствие не отвечают... А может быть, это татары? — мелькнуло у него в голове.— Только вот этот, что лежит у ног, наверное козак,— разве... уж не зарезан ли он?» Богдан ощупал рукою пистолеты и произнес приветствие по-татарски: «Гош-гелды!»

Но и на это приветствие, вместо ответа, дальняя фигура лишь слегка свистнула. Это взорвало Богдана.

— У нас коли здороваются, то добрые люди благодарят и здороваются в свою очередь,— произнес он вес-

ко,— а свистят только болотяники. Ну, а на свист и мы можем свистнуть...— и Богдан действительно свистнул, да так пронзительно, что ближайший из молчаливых обитателей заткнул себе уши, а Морозенко, услыхав этот свист, опрометью бросился к хатке и оторопел у дверей, соображая, откуда бы могло так свистнуть?

Во время разговора Богдана сидевший у окна внимательно прислушивался к его голосу, стараясь разглядеть и лицо, и фигуру его; но это оказалось невозможным, так как полутьма в землянке настолько сгустилась, что совершенно скрыла Богдана; когда же раздался его пронзительный свист, молчаливый наблюдатель не выдержал.

— Ну тебя к бесу,— прохрипел он,— даже лящит и звенит в ушах.

— А было бы не затыкать их клейтухом на доброе слово,— ответил Богдан.— Вот ты теперь,— лысый тебя знает, как величать,— хоть и помянул своих родичей, а все же заговорил по-людски.

Опять наступило неловкое молчание.

«Что ж,— подумал Богдан,— не хотите говорить,— наплевать. А я погреюсь немного, перекушу с Олексой, а то и подночую, пока не взойдет месяц — козачье солнце; в темень-то можно угодить в такое багнище, что и дна не достанешь! Только где бы? Вот этот развернулся на весь пол и место занял. Мертвый он или пьяный?» — тронул его слегка ногою Богдан.

Лежавший захрапел.

— Э, посунься-ка, брате, немного! — отбросил тогда Богдан в сторону ноги лежавшего козака и, севши по-турецки перед очагом, начал набивать себе люльку.

— Вот это тоже по-людски,— заметил дальний.— Забрался в чужую хату и выпихает хозяев, точно свинья в чужом хлеву порается.

— А вот что я тебе на это, добрый человек, скажу,— чмокнул Богдан люлькой и выпустил клубы удушливого, едкого дыма, какого даже и черти боятся наравне с ладаном.— Не люблю я, когда мне не отвечают, но еще больше не люблю, когда языком ляпают, так вот у меня и чешутся руки укоротить язык.

— Овва! — протянул ближайший.

— Не дуже-то и овва! А коли хочешь, так можно испробовать, потому что со псами нужно по-песьи.

— А с волками как?

— Так само: добрая собака и волка повалит.

— А ты уже, знать, доброю собакою стал, что и на людей лаешь? Ой, хвост подожмут!

— Не родился еще на свете такой сатана, чтобы мне на хвост наступил! — сплюнул в сторону Богдан и прижал пальцем золу в люльке.

— Не из тех ли ты, что по камышам беглецов-втикачей ищут, чтобы в плуги запрягать? — заметил дальний с сарказмом.

— Эх вы, идолы с бабскими прычандалами,— мотнул головою Богдан.— В камышах сидят, а нюху чертма! Козака до такой, прости господи, погани равняют!

— Что ж ты, коли козаком назвался, козачьих обычаев не знаешь? — оживился сосед.

— Ага! Вот оно что! — усмехнулся в душе сотник и вдруг крикнул пугачем: — Пугу!

— Пугу! — ответили и собеседники.— А кто?

— Козак с Лугу!

— А куда путь держишь? — начал допрашивать дальний.

— В болота, в очерета да в непролазные кущи!

— Зачем?

— Комаров кормить белым телом козацким да искать темною ночью товарища.

— Не похоже,— буркнул себе под нос дальний.

— Так здоров будь, коли так! — крикнул ближний, и оба незнакомца сняли шапки.

— Будьте и вы здоровы! — поклонился Богдан.

— А кого ищешь? Не безносого ли беса? — спросил ближайший.

— Не безносого, а двуносого.

— Э, значит, до нашего батька? — обрадовался, видимо, собеседник.

— Молчи! — толкнул его сердито дальний.

Богдан не заметил этого движения.

— Может, и до вашего батька,— ответил он,— а до моего приятеля.

— А коня можешь поднять под брюхо? — смерил сидящего Богдана пристальным взглядом дальний.

— Какие кони, иных можно и двух! — крикнул Богдан и одним движением головы сдвинул набекрень черную бараныю шапку с красным донышком и золотой кистью.

— Гм, гм! — протянул дальний.

— Ладно,— похвалил ближний.— Знать, действительно приятель... только знаешь ли, на какой купине он сидит?

— Вот в том-то и беда, что не знаю! Может, проведешь?

— Провести-то можно,— ответил тот как-то угрюмо и неопределенно,— только хлопца твоего мы тут оставим, не взыщи: такой уже у нас закон.— Богдан промолчал: видимое дело — ему не доверяли. Но ка́к они не доверяли — вот что смутило Богдана: не доверяли ль они ему, как вообще всякому незнакомцу, или они узнали его, Богдана Хмельницкого, и все-таки не доверяют ему? Однако как ни обидно было для Богдана подобное отношение козаков, но ввиду слухов, переданных ему Богуном, он решил не открывать своего имени, а потому, помолчавши немного, Богдан снова обратился к незнакомцу, меняя тему разговора.

— А что, паны-браты, поделывает тут мой товарищ?

— Охотится! — ответил ближайший сосед, рубя огонь и осекая себя искрами. Богдан ловил мгновения, когда от огнива освещалось лицо соседа, но козак,— в этом уже нельзя было сомневаться,— был осторожен и, отворотившись к стене, закрыл себя еще видлогою, из-за которой только и вырезывались при блеске искр торчащими концами усы.

— А на что? На какого зверя?

— На жидов,— сопел и пыхтел, раскуривая люльку сосед,— на панов да на экономов, особенно на перевертней... а попадется и егомосць ксендз — за красную дичь станет.

«Эх, не выдержал,— подумал Богдан и ударил себя кулаком по колену,— и вот через такого палыводу встрепенутся паны и накроют нас до поры, до времени!» Но, чтобы скрыть свое внутреннее раздражение и разведать побольше, он воскликнул весело:

— Важно, добрая охота! Только это все игрушки! А чего-нибудь поважней не затевает?

— О том ему знать! — отозвался сидевший у окна, зажигая свой трут из люльки соседа.

— Само собой,— затянулся Богдан,— его дело... Мне только досадно бы было, коли б без меня прошло важное что-либо, а то давай бог!

— Ну, а ты сам будешь кто? — спросил насмешливо дальний.

— Да я тоже... из одной степи! — замялся Богдан. Собеседники многозначительно замолчали и только пыхтели люльками да по временам плевали под ноги. Олекса вышел к коням.

— Ну, а что тут слыхать вообще? Лютуют паны? — начал снова Богдан.

— А вот пойди, козаче, куда-либо в местечко или на ярмарку, так увидишь,— ответил после большой паузы сидевший у окна козак.

— А что?

— А то, что всюду ходят на костылях или ползают калеки,— заметил ближайший.— У всех у них отсечены правая рука и левая нога; это паны майструют так непокорных... Разве не знаешь?

— Дьяволы! — прошипел Богдан.

— То-то! И они, и их потатчики! — буркнул дальний.

— А туда, к Жукам,— вставил ближайший козак,— все церкви на костелы поперестроили, а благочестивым людям отводят для службы божьей хлевы.

— Господи! Да что же это? — всплеснул даже руками Богдан.— И люди им, каторжным, не свернут шеи?

— Ждут батька... видишь!

Богдан в это мгновенье, забывши о своем намерении, готов был, казалось, броситься с этими удальцами на мучителей; но, вспомнив цель своей поездки, затревожился еще более, сознавая, что при таких обстоятельствах Кривонос не ограничится легким полеваньем, а бросится в самое пекло и наделает бед.

— Эх, не сидится мне! — встал он и размял свои члены.— Так бы и летел к побратыму! Что ж, проводите, меня, друзи?

— Чего не провести,— отозвался дальний угрюмо,— провести можно, мне и самому туда путь; только еще глухая ночь, темно,— можно потрафить и к дидьку в гости... Тут ведь надо пробираться не конно, а пеше, а в иных местах и на брюхе; так оно ловче будет при месяце.

— Так я прилягу возле коней,— покорился со вздохом Богдан.— А когда посветлеет, то разбужу тебя, товарищ, не сердись.

Было уже за полночь, когда Богдана разбудил голос его странного знакомого:

— А что, козаче, пора и в дорогу рушать!

Богдан быстро схватился на ноги и с изумлением осмотрел своего провожатого: одет он был более чем легко, на нем были всего закоченные по колени штаны, сорочка и легкие постолы. Проводник приказал Богдану также снять лишнюю одежду и оружие и следовать за ним. Это приказание не понравилось сотнику, тем более что проводник старался все-таки не поворачиваться к нему лицом; но, заметивши, что и он не имеет на себе никакого оружия, Богдан решился исполнить его требование. Таким образом, сбросивши все лишнее и передавши его Олексе, Богдан отправился за своим проводником. На дворе царствовал какой-то серый полусвет; хотя луна уже было взошла, но сплошные облака заволакивали все небо; при этом смутном свете трудно было различать окрестные предметы, но проводник, видимо, знал отлично дорогу. Богдан старался не отставать от него, хотя это оказывалось чрезвычайно трудным.

Дорога шла, казалось, нарочно по самым непроходимым местам. Вся почва представляла из себя топкое болото; ежеминутно из-под ног Богдана выступала с тихим шипеньем вода; в некоторых же местах болото до того разжижалось, что идти по нем не было никакой возможности; тогда проводник начинал прыгать с кочки на кочку, покрикивая на Богдана:

— Гей, не отставай, не останавливайся, а то пойдешь к дидьку!

Такой способ передвижения страшно утомил Богдана, однако же остановиться действительно не было возможности; болото грозило ежеминутно засосать в свою тину всякого, вздумавшего бы отдохнуть хоть минутку на нем. В самых непроходимых местах, когда Богдан думал, что им придется уже расстаться с жизнью, проводник вдруг нырял неожиданно в камыши, Богдан следовал за ним и там находил к своему удивлению грубо намощенную из камыша и лозы гатку. Путешествие тянулось уже больше часу; Богдан чувствовал, что изнемогает. Иногда ему казалось, что проводник умышленно колесит и снова возвращается на старое место; наконец, после двух часов такого ужасного пути им удалось достичь небольшого островка.

— Ну, ты подожди здесь немножко,— обратился к Богдану проводник,— за тобой придут,— и, не оборачиваясь к Богдану, он скрылся в густом лозняке, покрывавшем весь остров.

Богдан ничего не возразил; дотащившись до сухого места, он повалился в изнеможении на землю. Усталость превозмогла все его чувства; с полчаса лежал он так без мысли, без движенья, без воли... так прошел еще час,— никто не появлялся. Богдан приподнялся и осмотрелся: кругом не было ни души. Остров окружало жидкое, топкое болото, терявшееся в море обступивших его со всех сторон камышей. Сердце у Богдана заныло. Что это? Куда завел его провожатый? Уж не обманул ли он его, не бросил ли здесь на съеденье мошке и комарам?

Вот до чего дожился он, Богдан, что и козаки сторонятся его и считают предателем!

Богдан сел, подпер голову руками и тяжело задумался. Он не замечал, что разорванные тучи давно уже сметены были с лазурного неба, что солнце уже стояло в зените, осыпая и его, и золотистый камыш, и сочную зелень травы ярким, любовным лучом; он не обращал внимания, что жизнь вокруг него проснулась и заиграла стрекотаньем, чириканьем, криком, что над его головой проносились со свистом стаи чирков, куликов и бекасов, что высоко плыли ключом журавли, а еще выше парил широкими кругами орел,— все это скользило мимо, не оставляя никакого впечатления на его мрачной душе. Сознание, что ему не доверяют товарищи, что от него прячутся, считают его, быть может, изменником, предателем, обрушилось такою тяжестью на Богдана, что он согнулся под ней и, сраженный обидой, тупо, без мысли лежал: все думы его, все тревоги, все интересы скомкались в хлам, и он чувствовал одну лишь неотвязную боль от незаслуженной обиды.

Время уже приближалось к полудню, когда за спиной Богдана послышались всплески воды и какая-то возня в тине, сопровождаемая гомоном людских голосов; Богдан инстинктивно повернулся и увидел подходящего к нему друга Чарноту. За ним шло еще два каких-то козака. При виде Чарноты у Богдана в груди вспыхнуло огнем чувство радости и заставило его сорваться с места; первое побуждение его было броситься к своему другу и обнять его горячо, но это движение

подрезала едкая мысль, что, быть может, друг оттолкнет его, как предателя Иуду... и Богдан остановился в мучительной нерешительности.

— Не узнаешь, что ли, меня, друже мой? — радостно отозвался Чарнота, широко раскрыв свои руки.

— Узнать-то узнал,— ответил Богдан с дрожью в голосе,— сердце подсказало, забилось, да на меня наплели враги таких подлых напраслин, что боялся к тебе подойти. Слушай, у Богуна...

— Стой, друже! — перебил его Чарнота.— И твоему сердцу, и твоему слову я, как себе, верю: скажи прямо — ты все тот же, как был?

— Все тот же и сдохну таким! — воскликнул Богдан.

— Так и начхай на все брехни и кривды,— обнял его Чарнота,— а кто писнет — голову тому размозжу. Наш ты — так и пропадай все ворожье на свете! А вот я тебе, друже, и горилку, и одежу сухую с собой захватил. Гей, Верныгоро! Вовгуро! — оборотился он.— Захватили ли все, что нужно, с собою?

— Все есть, батьку,— ответил один из них, подходя и подавая Чарноте сорочку, штаны и жупан.

При звуке его голоса Богдан вздрогнул и оглянулся: это был голос его таинственного проводника.

— Что это ты смотришь так, не признаешь ли или вовсе не знаешь? Вот это Лысенко, Вовгуря, а тот вон Верныгора.

— Да, если бы и знал их, друже, то трудно было признать; все прятались от меня,— ответил с саркастической улыбкой Богдан,— я уж думал, не шпиги ли это яремовские? А уж как оставили меня на этом острове, так и совсем в том уверился.

— Прости, батьку,— ответил в смущенье Вовгуря,— это для предосторожности: у нас каждого, кто к батьку Максиму идет, сначала здесь оставляют, чтоб не удрал и не сообщил гончим псам про тропу к нам, а потом уже, поразглядевши да порасспросивши его и других, одним словом, уверившись в нем, пускают к атаманскому куреню.

— Вы же меня, панове, с самого начала, видно, признали,— отозвался с горьким упреком Богдан.— А все-таки, значит, и я — каждый, и я мог бы утечь ко псам?

— Что ты, батьку атамане, да разве свет может перевернуться догоры, шут знает чем? — оправдывался

как-то взволнованно Вовгуря.— Правда, на тебя плели всякие пакости,— водятся ведь и такие поганые языки, как у баб, прости господи... Но главное, тебе нельзя было пройти двух проходов без маток, так я и замешкался, пока вывязали их четыре штуки, ей-богу!

— Что ж, правда! — подавил со вздохом чувство боли Богдан.— В военном деле — ни для друга, ни для брата, ни для отца нельзя отступить от правила.

— Ну, что там старое, друже, вспоминать,— ударил Богдана по плечу Чарнота,— предосторожностей у нас, правда, много, да иначе и нельзя, такая наша здесь доля: кругом ищут, рыщут везде Яремины слуги, только это болото и защищает нас, а узнай они здесь нашу потайную тропинку — живо бы накрыли! Потрудились, правда, братья занадто: видишь, они у нас,— указал он на Лысенка и Вовгурю,— на сторожевом посту там стоят. Ну, а в военном деле, сам знаешь, уже лучше пересолить, чем недосолить.

— Так, так,— согласился невольно Богдан.

— Ну, а теперь одевайся поскорее, друже, да выпей для подкрепленья сил немножко вот этой целющей водицы, да и гайда в дорогу. Брат Максим уже давно нас ждет.

Богдан оделся, согрелся несколькими глотками водки, и путники отправились наконец в путь; переправились по маткам, как по понтонам, на другую сторону, пошли зарослями, перебрались ползком через чагары, еще раз переправились по маткам и выбрались, наконец, на тот таинственный, затерявшийся между недоступными плавнями жабиный остров, где уселся своим вольным кошем Кривонос.

Весь остров был покрыт кудрявою зеленью приречных древесных пород, между которыми преобладала верба; седоватые, мягкие волны ее отливали серебром и придавали картине особенную прелесть. При входе в табор, для украшения и для эмблемы, сидели на кольях в виде сфинксов два ксендза; полусгнившие трупы их смотрели глазными ямами друг на друга, оскаливши обнаженные зубы. На привычных обитателей острова созерцание этих сфинксов не производило уже никакого впечатления, но каждое новое лицо, при виде их, содрогалось и невольно закрывало глаза. Богдан тоже отвернулся от них. «Боже, до какого зверства могут доводить

людей насилие и притесненье!» — пронеслась в его голове грустная мысль.

Дальше, по обеим сторонам тропинки, извивавшейся между густым, тенистым гайком, висели то там, то сям на ветвях польские паны и жиды. При проходе с этих придорожных вех срывались целые тучи воронья и с оглушительным карканьем укрывали, словно черным сукном, верхушки высоких ольх. У самой землянки атамана, что стояла впереди на челе, сидели на кольях опять-таки два ксендза — очевидно, Кривонос оказывал им наибольший почет.

По пути к этой землянке Чарнота отделился было куда-то в сторону и теперь вышел вместе с Кривоносом навстречу Богдану.

— Слыхом слыхать, видом видать! — протянул Кривонос еще издали руки.— Каким тебя ветром занесло в эти жабьи трущобы?

— Ветром добрым, хорошим — ответил взволнованно Богдан,— давно жданным и только теперь посланным нам господом богом.

— О?! — обнял его Кривонос.— Так это что же? Значит, и я дожился до такой радости? Только постой, постой, друже, какая весть? Или такая, чтобы, засучив рукава, выкупаться по горло во вражьей крови и упиться ею допьяна, или, может быть, вновь «обицянки-цяцянки, а дурневи радость»?..

— Нет, уже не обицянками пахнет,— возразил возбужденно Богдан,— а скоро начнется и пир, да такой, что враги наши запляшут на нем до упаду!

— Э, да на таких радостях нужно выкупать и душу в горилке,— вскрикнул Кривонос.— Гайда ж в мой курень! Милости прошу: почти и мой угол, и мою чарку!

Землянка была вырыта, очевидно, наскоро и не приспособлена для жилья; она представляла довольно большую и неглубокую яму, прикрытую сверху лозой и дерном, а внизу устланную соломой. Через солому просачивалась в иных местах грязная вода, а потому сверх соломы набросаны были воловьи да овечьи шкуры, а сверх них уже лежали плащи и полушубки. В углах валялось ценное оружие и разная утварь, между которой блистала и серебряная посуда. Хозяин и Богдан улеглись на шкурах, а Чарнота засуетился, и через минуту перед ними появился огромный окорок, половина

барана, хлеб и сулея доброй горилки. Выпили по ковшу, по другому и принялись за еду. Утоливши голод, Богдан рассказал подробно друзьям о речах короля, о разговорах с Оссолинским и Радзиевским, о планах этой кучки истинно преданных его величеству и благу отчизны людей, о желании их приборкать магнатов, поднявши власть короля, о стремлении привлечь на свою сторону козаков, единственных и вернейших в этом деле помощников, для чего и затевается ими война. Кривонос слушал эти доклады с мрачным вниманием, опоражнивая ковш за ковшом и приговаривая себе изредка в ус:

— Чулы, слыхали!..

Когда же Богдан прервал свой рассказ, потянувшись за сулеей и за кухлем, то Кривонос глубоко вздохнул и произнес разочарованным голосом:

— Стара байка!

— Да, ничего нового,— вздохнул и Чарнота.

— Постойте, панове,— улыбнулся Богдан,— дайте промочить глотку!

— А коли так, друже, то промочи,— подсунули сулею товарищи.

— Видите ли, братове,— крякнул Богдан и заметил вскользь Чарноте: — Добрая у тебя горилка, ровно кипит... Да, так видите ли, обо всем этом мне намекали и в письме на Масловом Ставу, да лично-то я убедился в правоте этих сообщений, только свидевшись с королем, после морского похода, когда он меня отправил за границу с поручениями нанимать войска и заключать союзы.

— Все это, друже, журавель в небе,— произнес нетерпеливо Чарнота, закашливаясь от сильной затяжки дымом.

— Есть и синица в руке,— поднял голос Богдан.— Вот сейчас получены мною через полковника Радзиевского уже прямые распоряжения готовить чайки к походу, получены на это и деньги; кроме того, присланы нам бунчук, булава и наше старое, повитое славою знамя, увеличено число рейстровиков, обещано возвратить права.

— Наше знамя,— вскрикнул Чарнота, не слушая уже остальных слов Богдана,— вернулось из плена? Опять услышим шелест его!? И булава засверкает перед войском? А с нею и боевые потехи... и бури... и грозы...

и стоны врагов, и козацкий покрик! Эх, друзи мои, браты родные! — обнял он порывисто Богдана.— Да ведь это такой пир, такой праздник, что сердце не выдержит сидеть в этой клетке,— ударил он себя кулаком в грудь,— а выскочит от радости! Наливай, наливай полные, Максиме, ковши, чтобы через край лилось, как у меня на душе!

— Это так, это взаправду,— потирал себе руки и Кривонос,— теперь уже держитесь... Настал слушный час, уже и задам же я моим благодетелям бенкет, такую пирушку, какой не было и в пекле на свадьбе сатаны с ведьмой! Купаться буду в крови! Выпьем же на погибель ворожью, на их стоны, на крики, на корчи от мук!

Все чокнулись и осушили переполненные ковши.

— Вы там пускайте на дно голомозого турка, а я тут позаймусь с мосцивыми ляшками... потешу душу свою!

— Нет, друже мой, рыцарю мой любый,— прервал Богдан, положа на плечо его руку,— так не выходит; уже коли король на нас опирается, то нужно его волю чинить и покоряться ей в боевой справе.

— Как же это? Оставить ляшков-панков в покое, чтобы жирели здесь от людской крови? — вытаращил налитые кровью глаза хмелевший уже Кривонос.

— До поры, до времени...— успокоил его Богдан.— Сначала королю нужно, чтобы мы нападением на неверных вызвали их на войну с Польшей, а потом уже он, для защиты ойчизны, поднимет посполитое рушенье, значит, и всех козаков, станет во главе войска, возьмет в руки полную власть, приборкает магнатов, поставит другие законы, восстановит наши права...

— Стой, стой! Я что-то в толк не возьму...— крикнул Кривонос,— словно вот путается в башке... Как же это? Даст права и все этакое... а когда же гнать из родных земель лютых ляхов?

— Да и согласятся ли еще паны с королем? Они такой гвалт поднимут на сейме, что и сюда долетит их veto! — добавил Чарнота.

— Вот тогда-то мы глотки им и заткнем,— закурил люльку Богдан,— для этого-то самого и будет король нас держать в полном комплекте; война ему только и нужна для предлога, чтоб поднять нас, а там уже

нашею оружною рукою он будет стричь своих королят, как баранов...

— А ежели проклятые ляхи не поднимут гвалта? — приподнялся Кривонос на локте, загораясь адским огнем.

— Так, значит, мы спокойно возьмем свои предковские права и запануем на родной Украйне...— поднял торжественно люльку Богдан.

— И не будем гнать и резать ляхов?

— Да на что же, коли дадут все нам без боя?

— Нет! Не бывать этому! — заревел Кривонос и ударил кулаком с такой силой о деревянный обрубок, что он подскочил, опрокинулся, разбив вдребезги сулею и раскидав ковши.

Разбитый каганец покатился на землю. В палатке водворился мрак... Молча встал Чарнота, вышел ощупью из землянки и возвратился с новым каганцем; он установил опрокинутый обрубок, поставил на него новую сулею, каганец и зажег его. Внутренность землянки снова осветилась тусклым красноватым светом.

Кривонос сидел, оперши свою голову на руки; у него из разбитого о сук кулака текла кровь, ложилась темными пятнами на лбу, на щеке, застывала каплями на усах... но он не замечал этого... Богдан и Чарнота мрачно молчали. Давило всех зловещее чувство.

— Слушай, Максиме! — прервал, наконец, молчание Богдан.— Не было и не будет довеку, до суду, чтобы ляхи-паны спокойно нам уступили права! Кинутся они на нас, как волки!

— Это верно! — кивнул головой и Чарнота.— Не уступят они нам наших земель, не уступят награбленного добра; зубами будут держаться, пока мы их не выбьем до последнего...

Кривонос облегченно вздохнул, провел рукою по лбу, покрытому крупными каплями пота, размазал по лицу кровь, поднял ковш и, наполнив его оковитой, кинул в рот молча.

— Не тревожься, брат! — ударил его дружески по колену Богдан.— Будет пир кровавый и пьяный, только нужно нам запастись пивом, а до того времени поуспокоить гостей: вот я и приехал просить тебя, от имени братьев, оставить здесь на время лыцарские потехи, а отправиться с нами на басурман.

— Так и знал! — ударил себя в грудь Кривонос.— Предчувствовало проклятое сердце!

— Друже мой! Усмири его! — промолвил с глубоким чувством Богдан.— Ты свое сердце потешишь, а Украйне, матери нашей несчастной, нанесешь ужасный удар...

Кривонос зарычал и заскрежетал зубами, как ущемленный в западне лев.

— Ведь пойми,— продолжал Богдан,— что сейчас, пока ни у короля, ни у нас ничего еще не готово; пока мы безоружны, бессильны, то своим полеваньем ты только раздразнишь панов, разбудишь их, всеоружных, усыпленных нашей мнимой покорностью, раньше времени и испортишь навеки всю справу...

— Проклятье! — вскочил Кривонос и, выпрямившись, ударился головой о потолок землянки; земля посыпалась градом, пламя в каганце заколебалось от движения воздуха удлиненными языками. Окровавленный, освещенный красноватыми пятнами мутного света, с сверкающим взором, с надвинутыми косматыми бровями, с посиневшим шрамом и обнаженной до пояса грудью — Кривонос был поистине ужасен и напоминал собою раненого, разъяренного зверя.

Тянулась немая минута.

— Что же делать, мой любый,— прервал ее наконец потрясенный Богдан,— больше ждали, меньше ждать... да и не ждать, а в другом только месте начать лыцарский герц.

— Эх, брате Богдане,— отозвался горячо Чарнота,— да разве нас только лыцарские герци манят. Ведь не дети мы, не безусые хлопьята!

— В том-то и горе,— продолжал он,— что надо бросить все на волю этих извергов панов! Что татары? С татарами можно жить по-приятельски, ей-богу! Да вот, посуди: ни они земель у нас не отымают, ни на свою веру не приневоливают, ни наших прав не касаются... вот что! Позволяют даже по-соседски пасть табуны на ихних степях, так же, как и мы им... Правда ведь? Так?

Богдан молча кивнул головою, а Кривонос остановил дикий блуждающий взор на Чарноте.

— Только что вот...— возражал сам себе Чарнота с паузами,— иногда налетами грабят, так и мы не дарим, а тешим также свою удаль. Да я скажу еще так, что

и добре, что грабят, ей-богу, добре! От их набегов нам даже польза... Раз,— они не дают нам спать, а будят... да, будят силу козачью, закаляют лыцарскую удаль, а два,— что шарпают и даже чаще наших лютых врагов, заставляют их искать у нас помощи, а стало быть, и нам прибавляют больше весу!

— Провались я на этом месте,— захрипел наконец Кривонос,— коли Чарнота не правду сказал! А что станется, пане-брате, если мы татар совсем повоюем? Ведь тогда они Польше не будут страшны, а без них мы не нужны. Тогда ляхи, мироеды-мучители, на нас и опрокинутся всею своею силой и задавят... вот оно что! Вот оно куда карлючка закандзюбылась! Задирать-то татар, чтобы они били ляхов,— добре, любо! А татар нам бить, так все равно, что свою голову под обух подставлять.

Задумался Богдан над этими речами. Такие мысли смущали иногда и его голову: «А что, взаправду, если это только интрига, если хотят соблазнить нас шаткими обещаниями, поднять всех на борьбу с бусурманом, и, опрокинувши его за Черное море, раздавить безбоязненно все козачество? Какую тогда роль сыграю я для своей Украйны? Положим, что этому королю нельзя не верить: он не лукав и чист сердцем, но он и не долговечен. Не воспользуется ли тот, кто его сменит, нашею кровью для нашей же погибели?»

— Правду сказали вы,— отозвался наконец громко Богдан,— и ты, Михайло, и ты, Максиме, сущую правду: все может статься, и верить ляхам нельзя, да опериться нам без этой войны невозможно; в том-то и сила, что нам нужно воспользоваться их думкой, чтобы збройно сесть на коня, а когда засурмят-затрубят наши трубы, да взовьется наше родное кармазинное знамя, да заалеют бесконечными рядами алые верхи шапок и жупаны,— тогда-то, братцы, и подумаем крепкую думу: на татар ли с ляхами ударить или с татарами на ляхов?

— Вот так дело! — расправил брови Кривонос.

— Любо! Оживем!.. Теперь уже и я выпью по самое... некуда! — потянулся Чарнота к бочонку.

— Так и помогите же мне, друзья,— убеждал Богдан,— докончить с ляхами игру... давно уж я ее веду... даже очертела.

— Поможем, поможем,— подхватил Чарнота.

— Мне только усыпить нужно панов, пока сядем на

коней да саблями брякнем. Так вот от имени всего козачества бью я челом, чтобы вы на малое время бросили ваши камышевские жарты.

— А! — застонал даже Кривонос и так сжал кулаки, что кости хрустнули.— Все-таки за старое! Да ведь это сверх человеческой силы! Да знаешь ли ты, что творят здесь эти идолы-аспиды?

— Все знаю, брате,— вздохнул глубоко Богдан,— и знаю, что нужно этих вылюдков карать; но для этой самой кары, для избавления народа от египетской неволи нужно пока воздержаться от кровавой мести.

— Да как же воздержаться? — вскрикнул Кривонос, потрясая руками.— Ну, пусть меня считают за простого камышника-разбойника... Сам я за себя и отвечу... Поймают — сдерут шкуру, на кол посадят, и баста... Эка невидаль!

— Эх, Максиме, Максиме! — покачал укоризненно головою Богдан.— Да кто же Кривоноса, лыцаря, равного Яреме, посчитает за простого камышника? Ты своими жестокими карами ожесточишь лишь врага. Клянусь тебе богом и нашим краем бессчастным, что ляхи взбудоражатся, заподозрят короля и размечут, как щепки, все наши хитрые планы.

— Слушай, мой друже,— почти упал возле Богдана Максим,— если б ты заглянул вот сюда,— распахнул он совсем свою грудь,— и увидел, какая там рана, окипевшая и гноем, и черною кровью, то ты бы отскочил в ужасе... Я сам туда боюсь заглянуть и прячу ее от людей... Ой, и жжет же она меня вечным огнем, неугасимым, пекельным!.. Ты говоришь, что я не могу от жестокостей отказаться... все меня зверем считают, но был же я когда-то не зверь! И это побитое сердце умело любить и знало ласку... Эх! — выпил он залпом ковш оковитой и прилег головой на поднятые на локтях руки. В горле у него что-то кипело и клокотало, плечи судорожно вздрагивали от страшной внутренней боли.

Богдан вздрогнул от этого страдания, которое повалило могучую силу к земле, и занемел.

— Что там вспоминать старое, Максиме! — положил ему руку на плечо Чарнота.— Когда б всякий из нас распахнул свое сердце — страшно было б и глянуть кругом! Много запало туда лядской ласки! Э, да что там! — вскрикнул он резко, выпивая залпом ковш

водки.— Не всем же выпадает счастье! Кому любовь, кому тихая радость, а кому горе да зрада,— все равно неси, только смотри, чтоб плечи не согнулись! И не согнутся! Не согнутся! — вскрикнул он, сверкнувши своими синими глазами.— В землю уйдут, а не поклонятся никому и не попросят никого тяжесть их разделить! — Чарнота охватил голову руками и устремил свой взор в мигающее пламя каганца... Казалось, перед ним всплывало что-то далекое, прекрасное, незабвенное... По лицу его разлилась глубокая печаль...— Эх, все вздор, все вздор на свете! — вскрикнул он с невыразимой горечью, словно хотел этим восклицанием оторвать свою мысль от мучительных воспоминаний.— Одна только горилка и может приголубить козака! — И с этими словами Чарнота налил себе полный ковш водки и, выпивши его залпом, повалился ничком на землю. Богдану почудились какие-то подавленные стоны. Но вот в землянке наступила полная тишина.

Упало тяжелое молчание. Каганец то вспыхивал, то примеркал, мигая по мрачной берлоге уродливыми тенями; черная ночь заглядывала в ее дверь, а издалека доносился надорванный умирающий стон. Богдан тяжело дышал и чувствовал, что его гнетет и давит тяжелая туга, словно жернов; будущее представлялось ему и загадочным, и мало отрадным; за туманами и мглою предвиделись страшные грозы; надежда усмирить хоть на время этих мощных, но искалеченных горем людей ускользала из рук...

— Ох, тяжело! — простонал наконец Кривонос и, проведши руками по лбу, заломил их на затылке.— Слушай, Богдане, друже, никому еще не говорил, не поверял я того, что тебе поверю... а ты выслушай и пойми, как я зверем стал, выслушай, хватит ли после всего человеческих сил, чтобы сдержать бушующую в душе лютость... Выслушай и рассуди меня, брате!

— Кого судить? Себя разве, а не другого! — махнул рукою Богдан.

— Нет, рассуди,— опрокинул ковш горилки Кривонос и отер рукавом сорочки свои окровавленные усы.— Эх, не берет! Не зальешь ничем: ни кипятком, ни горячей смолой... Да, был и я человеком когда-то, не пугалом с перерубленным надвое носом, годным лишь на баштаны, не чертом, не порождением пекла, которого

все живое страшится, а был козаком удалым, хорошей уроды, знавшим и светлые радости, и тихое семейное счастье! И незлоблив был сердцем. Улыбался не сатанинской оскалиной, а хорошей улыбкой, слезу чужую отзывчивым сердцем встречал, а вот теперь стал я зверь зверем: смеюсь на чужие муки, упиваюсь стоном врага, тешусь криком смертельным... Да, зверь! А кто меня им сделал, кто? Вот эти ляхи, да ксендзы, да жиды, да этот кровопийца, изверг человеческого рода, этот отступник от веры отцов, этот иуда Ярема! Дай мне только его одного, его, найстрашнейшего мучителя народа,— натешу я свою переполненную ядом печенку, напою свою месть и стану ягненком, овцой!

Он встал и, изгибаясь конвульсивно от боли, прошелся несколько раз по берлоге, потом сел на кожух и начал дико стонать, устремив в черную ночь пылавшие гневом глаза.

— Не помню я ни отца, ни матери,— начал он снова,— убиты, конечно, были или заведены в плен, вернее, что убиты, а меня взял в годованцы дядько Ткач, что оселся было в Жовнах, вот недалеко отсюда, у речки Сулы. Дядьком-то родным он мне не был, а я только величал его дядьком, а то и батьком. Хороший был человек, добрая душа, пером над ним земля! Жалел меня, как сына родного, не то что, и на разум наставлял, добру учил, не пожалел даже денег дьяку за науку, и радовался от души, когда я «Апостола» пискливо выкрикивал в церкви, бублики, пряники дарил, ох!.. А у него, у Ткача, еще дочечка своя была Орыся, меньше меня. Славненькая такая, вот как ангелок о шести крылах: личико белое, нежное, волосики кучерявые, словно светлый лен, шелком-серебром отдают, бровенята черные, шнурочком, а глазки как терен... Эх, что там и толковать! — отвернулся он от Богдана и долго молчал, потом вздохнул глубоко и заговорил изменившимся голосом: — Ну, и шло мое детство ясным, солнечным днем. Подружились мы с Орысей, а потом побратались, полюбились, а как уже до возраста дошли, так и покохались. Батько Ткач, царство ему небесное, радовался на нас и благословил, только требовал, чтобы сначала послужил я родной земле, добыл себе лыцарской славы, а потом бы уже и рассчитывал на семейную радость. Святое было слово батька, и я ему покорился. Уж как

я любил мою зорьку, господи! Все сердце, все думки в ней, и она тоже...— словно захлебнулся чем Кривонос и, протянувши руку к Богдану, произнес хрипло: — Налей ковш, не могу говорить, давит...

Богдан молча налил, Кривонос выпил оковитой, передохнул и продолжал сдавленным голосом:

— Вот я и отправился на Запорожье и нырнул в омут тамошней жизни, да ее только, Орысю мою, не забыл, запрятал ее образ под самое сердце и носил, как дорогую святыню, а она молилась все господу богу, чтобы он хранил, крыл ризою и мою душу, и тело от бед. И, должно быть, молитва ее, праведной, была богу угодна, потому что сколько раз я и в когтях, и в зубах у самой смерти бывал, а брать меня она не брала! И стал я над нею издеваться, и прозвали меня товарищи «характерныком». Пять лет я козаковал в Сичи: и в походах, и в набегах участвовал, и на чайках гойдался по Черному морю... за все это время два раза таки побывал я в Жовнах и виделся с моей любой зарей, гостинцев ей привозил из Синопа и из Кафы, а она становилась все краше да милей. Эх, провались эта земля в пекло, сгори она дотла в огне, если было когда на ней такое любое созданье, как Орыся! Изверги, сатанинские выплодки! — выкрикнул с воплем Максим и, схватившись своими железными руками за дубовый столб, подпиравший крышу землянки, потряс его с такой силой, что дерн во многих местах свалился наземь.

— Годи, Максиме, не надо,— остановил его Богдан,— тяжко тебе!

— Тяжко! — простонал Кривонос.— Но... слушай! Уж коли переживать муки, так до дна. Она меня любила, кохала, чахла по мне, а батько Ткач хирел и дряхлел... В последний мой приезд,— заговорил Кривонос торопливо,— подозвал он меня и говорит: «Недолго мне, мол, сынку, осталось жить: чую, зовет меня к себе моя стара, так хотелось бы за мою жизнь обвенчать вас... А то неровен час, может остаться Орыся, дитя мое дорогое, сироткой, без защитника... а времена подходят лихие... Выпишись ты из коша да и благословись у меня на тихую радость!» Я так и сделал. Кошевое товарыство хотя жалело меня, а удержать не удерживало. Приехал я отставленным в Переяслав и приписался в реестр, а оттуда уже домой в Жовны. Вылетела ко мне Орыся,

как ласточка сизокрылая, да с плачем и припала к груди. «Что такое? Что случилось?» — «Тато умирает!» — залилась она дробными слезами. Я с нею в светлицу к батьку. Смотрю, он лежит на лаве желтый-желтый, как воск, борода, как молоко, белая, и только очи блестят. Обрадовался он мне страшно, одну руку протягивает, а другою крестится, что господь услыхал его молитву. На другой день нас и обвенчали. Батюшка, спасибо ему, и правило церковное нарушил, чтобы угодить умирающему, а и вправду, как ни тешился наш покойный батько, что скрепил нам счастье навек, а через три дня и умер. Оплакали мы его с любой дружыною и похоронили возле церкви.

Кривонос тяжело дышал и судорожно тер рукою свою могучую обнаженную грудь; что-то жгло и душило его внутри, клокочущие звуки вырывались трудней, речь становилась отрывистей.

— Вот мы и зажили как голубки, тихо, да любо, да радостно, да счастливо! Уж такой рай господь мне послал, какого нет там, на небе, нет и не было от веку! В хате ли у меня, как в веночке — воркотанье, да ласка, да по сердцу розмова̀. В церковь ли пойдем — душа трепещет от радости, сама к богу просится, не знает, как и благодарить милосердного. Нет, хоть вымети рай, а такого счастья там не найдешь! — вскрикнул как-то болезненно Кривонос и ухватился руками за горло, а потом уже продолжал шепотом: — Так думалось... а бог послал мне еще большее счастье: нашлась у нас донечка Олеся, а потом, через два года, и сынок Стась... Какая же это утеха! Господи! Посмотришь на дружыну — солнце красное, взглянешь на деток — звездочки ясные... Ох, не могла выдержать земля такого счастья, не могла! — захлебнулся Кривонос и замолчал.

Богдан сидел все время, склонив голову и потупив очи в солому. Рассказ Кривоноса производил на него неотразимое впечатление, дрожью отзывался на сердце и туманил глаза, каждое его слово падало ему камнем на грудь. Вспомнилось Богдану и свое молодое счастье, мелькнувшее дальней зарницей, и в груди закипела жажда отведать радости жизни...

Когда Кривонос умолкнул, Богдан взглянул на него и ужаснулся: бледный, с сверкающими глазами, устремленными в темную даль, с отброшенною назад чуприной,

с судорожно сжатыми на коленях руками, он сидел камнем, словно пораженный каким-то виденьем; по его смуглым щекам катились медленно слезы и свешивались крупными каплями с поникших усов...

Богдан даже отшатнулся при виде этого страшного горя, что смогло и у такой мощи выдавить слезы, и понял, что за каждую эту слезу заплатят страшными муками враги.

— Будет, будет! — сжал он руку Кривоноса.— Через меру тяжело!

— Ох! — вздохнул глубоко Кривонос и, обведши землянку мутным взором, произнес порывисто: — Нет, стой, не уходи... дослушай, дослушай все до конца и тогда осуди... Жили мы как у Христа за пазухой: детки, как огурчики, росли, хозяйство отлично велось... жена за всем присматривала: мне приходилось почасту отлучаться к сотне. А тем временем всеми землями по Суле завладел князь Ярема... Сначала-то люди этого и не замечали: козаки владели своими грунтами невозбранно, продавали их, покупали, меняли; подсуседки жили при них ласково, услуживали за свои участки, а потом стали княжеские дозорцы брать ко двору небольшой чинш. Погудел, погудел народ да и решил, что о таких пустяках нечего спорить, что и князь им со своею дружиной пригодится, защитит по крайности от татар. Знал ведь народ, что Вишневецкие были греческого закона, значит, свои люди; но отступник Ярема скоро показал им себя!..

Кривонос продолжал, тяжело дыша и давясь словами:

— Появился в Жовнах лях, эконом от него с надворной командой, и начал заводить новые порядки: озера, ставки, переправы, леса и садки — все отдал в аренду жидам, чинш удесятерил, начал сеять на людских полях, нашими руками жать и косить... Люд, было, взбудоражился, повесил одного жида, отнял этот панский хлеб и прибил эконома... Но налетел тогда изменник Ярема и произвел страшное разорение: заграбил скот, пасеки, душ пятьдесят канчуками запорол, душ двадцать посадил на кол и прогуливался с экономом по этой страшной... улице. Я тогда был в Переяславе, а как вернулся, да услыхал по хатам этот плач и стон, да увидал мучеников несчастных, так не знаю, как и доскакал до своей

усадьбы; но, слава богу, у нас было благополучно: господь еще пока хранил. Но и эта божья ласка и пощаженное извергом родное гнездышко уже не дали душе моей покоя. Разве он был возможен среди пекла? Разве можно было тешиться счастьем среди общего стона и слез? Да, тогда в сердце моем закипела впервые злоба, и я поклялся стать борцом за несчастный народ и отомстить его кровопийцам! Пожил я дома недолго: как на грех, меня потянула войсковая потреба. А эконом, пес лютый, после княжьего разгрома пустился на все неистовства и бесчинства. Ни сестра, ни жена, ни малолетняя дочь не были защищены от зверюки. И увидь он как-то раз в этот год мою квиточку Орысю; ударила его в сердце краса, и загорелся он звериною страстью: стал лезть с любовью, оскорблять... Что было делать ей, горлинке, против коршуна? Бросилась она к ксендзу, чтобы усовестил аспида, так тот предложил ей принять унию или католичество, тогда, мол, только она может рассчитывать на защиту. «Пусть меня хоть замучат насмерть, а вере своих отцов не изменю!» — закричала жена и стала запираться на замок в хате; но это не помогло: кроме эконома, и ксендз стал к ней врываться да с волчьими ласками приставать еще к дытыне Олесе! Аспид, изувер! Служитель алтаря! — рванул себя за чуприну Максим и бросил клоки седых волос в сторону.— А! — заскрежетал он зубами.— Проклятая земля держит на себе таких тварей! Жена хотела убежать в лес, да слегла от мук и обид. Мне дали знать, я прискакал и хотел было сразу прикончить ксендза и эконома, но Орыся начала меня молить, чтоб себя пощадил, чтобы ради ее счастья простил их... Я бросился в Лубны, к князю Яреме, молил его, заклинал защитить неповинных. А он, исчадие ада, только смеялся на мои кровавые слезы и ледяным голосом объявил, что схизматы для него хуже псов и что каждый шляхтич может издеваться над ними, как над быдлом. Передернуло меня это презрение, и сказал я, что добрый хозяин и быдло жалеет. «Вот я тебя и пожалею,— отвечал мне на это Ярема,— вместо головы только шкуру сдеру! Взять его, пса!» Всыпали мне сотню горячих и отпустили... А дома уже пан эконом распорядился взять мою больную жену к себе на потеху, а дытынку Олесю отдать на воспитание ксендзу... Застонал я от боли, сердце сжалось в груди...

красные круги стали в очах... Задавил я вот этими руками эконома, так стиснул ему горлянку, что глаза его вылезли вон и вывалился язык...

Кривонос вскочил, глаза его свирепо вращались и сверкали белками, на искривленных губах белела пена...

— Слушай, слушай до конца,— сжал он Богдану до боли плечо,— меня таки схватили... десятки их попадали, как груши, но сила одолела... Повалили, связали... а через два дня налетел сюда сам кат — Ярема — творить суд и расправу... Привели меня, связанного, на майдан, смотрю, а там и жена моя, и детки... а кругом сторожа... а тут же и костер, и колья... Бросился я к князю в ноги, чтобы казнил меня, как хотел, а их бы отпустил неповинных... Но князь топнул ногою и крикнул: «Всех вас — óгнем и мéчем!» И, выхватив саблю, ударил меня по лицу и рассек его пополам... кровь залила мне глаза, но дьявол приказал засыпать мне порохом рану и привязать меня к столбу, чтоб я полюбовался пытками моей зироньки и детей... О! — застонал Кривонос ужасающим стоном и ударил себя кулаками в грудь с такой силой, что пошатнулся и упал бы сам, если б не поддержал его подскочивший Богдан.

— Не выдержит ни один зверь такой муки, соберись все пекло — и оно не выдумало б ее! — задыхался он, давясь подступившими к горлу слезами.— Жену сожгли живой... Я видел, как огонь побежал по волнам ее светлых волос... как они чернели и сбегались в комки... как лопнули ее чудные глаза... Ой, слушай, слушай до конца! — почти безумно шептал он.— Сына, дитя малое, раздели и посадили на кол... Как оно пронзительно кричало и корчилось от муки!.. Вот тут сейчас... стоит этот крик... звенит в ушах... а ее... ангела божьего... мою Олесю... предали зверскому поруганию до смерти,— выкрикнул с нечеловеческим усилием Кривонос, бросился с рыданием на землю и долго бился на ней в конвульсиях.

Богдан хотел было утешить своего друга, но слова застыли в его горле, он прижал только молча к своей груди козачью несчастную голову.

Кривонос осилил наконец муку и поднялся с хриплым диким рычанием:

— Меня собирался особенно замучить иуда, но я ушел... спас свою жизнь для того, чтобы мстить за на-

род... поклялся страшною клятвой отдать всю эту ненужную, подлую жизнь одной мести и истреблению врагов... И отдам... и поймаю, даст бог, Ярему с семьей! — захохотал он безумно и, вынув саблю, подал ее Богдану: — Вот, на! Если твоя просьба нужна для Украйны-неньки, если она необходима для блага кровного люду... так возьми этот клинок и всади его в мою грудь... иначе у меня не хватит силы исполнить ее!..

Богдан отклонил саблю движением руки и произнес дрогнувшим голосом:

— Твое горе так велико, что перед ним опускаются руки!

После долгого рабочего дня спустился над Субботовым тихий, мирный вечер. Покончены уже все дневные работы в панском дворе. Журавель у колодца не скрипит, а, поднявшись высоко в воздухе, замер, словно задремал перед наступающим сном. Из труб пекарни подымается прямыми струйками голубоватый дымок, готовится вечеря. На черном дворе, у повиток, толпится только что пригнанный с поля и напоенный у колодца табун, в соседней кошаре мычат коровы и блеют овцы. На завалинке, у пекарни, молча сидят утомленные поселяне, флегматично посасывая люльки и поглаживая оселедцы да чуприны. По улице возвращаются с поля запоздавшие косари и гребцы; слышатся шутки и взрывы задорного смеха. Пыль, поднимаемая ими, стоит в воздухе золотыми столбами. Молодой пастух, облокотясь на кол в перелазе, остановил какою-то ласковою шуткой мимо идущую стройную дивчыну с ведрами на коромысле; дивчына кокетливо усмехается, сверкая своими белыми зубами и придерживая коромысло рукой. Солнце только что спряталось за темным лесом, золотой ореол еще блещет над ним, а противоположная сторона неба уже медленно покрывается робким розовым сиянием. На крылечке сидит Ганна с двумя мальчиками и Оленкой. Андрийко поместился на ступеньке у ее ног с одной стороны, а Оленка с другой; Юрась, все еще бледный и хилый, лежит белокурою головкой у ней на коленях. В сторонке, на мураве, сидят Катря с Оксанкой и плетут себе венки из золотых гвоздик да синих волошек.

Ганна рассказывает детям о том, как томятся невольники на турецких галерах, в полону у татар, как их вызволяют оттуда козаки, как они сами спасаются бегством и сколько опасностей и случайностей встречается им в пути. И Оленка, и Андрийко слушают рассказ затаивши дыхание, сжимая свои черные брови, а Юрко уже задремал, убаюкиваемый ровным голосом Ганны. Но, несмотря на свой непрерываемый рассказ, Ганна не перестает думать все об одном: вот уже два дня, как дожидается дядька здесь в Субботове гонец из Варшавы с письмами от какого-то важного лица, а дядька все нет... Говорил, что вернется через неделю, вот уже десятый день в исходе, а их все нет. Каждый вечер поджидают их, а все понапрасну... Не случилось ли чего?..

Взгляд ее скользнул по черному двору, мимо собравшихся уже возле огромного козака косарей и остановился на молоденьких дивчатках. Сидя на зеленой траве с полными фартуками цветов, они сами казались двумя большими цветками, поднявшими свои головки из травы. Дивчатка о чем-то говорили; Ганна не слыхала их слов, но, глядя на их молоденькие, оживленные лица, ей почему-то вспомнилось свое безотрадное детство, подернутое туманом, а потом пришли на мысль и горячие слова Богуна, его молодое, воодушевленное лицо, и собственные муки, и слезы, и Ганне вдруг сделалось жаль чего-то: не то своей уплывающей молодости, не то своих развеявшихся грез... Тихая тоска охватила ее, и рука Ганны замерла неподвижно на белокурой головке Юрка.

В противоположной стороне неба вырезался и словно повис в сиреневато-розовой мгле полный красный месяц...

— О, уже повень! — заметила Катря, подымая к небу глаза.

— А когда они уехали, кончалась только первая квадра! — вздохнула Оксана.

— Значит, скоро приедут,— ответила тихо Катря, проникаясь необыкновенным почтением к грусти подруги, еще недоступной для нее.

— Ох, когда-то,— опустила печально голову Оксана,— а может быть, и случилось что... Ты разве не слыхала, какие только ужасы рассказывал тот безрукий, что пришел вчера на хутор?

— Ну, с батьком...— заметила уверенно Катря,—

с батьком не может ничего случиться, да и Олекса ж не кто-нибудь, а запорожский козак!

— А может, он не с паном дядьком, а прямо поехал на Запорожье,— вздохнула опять Оксанка.

— А, что ты верзешь! — вскрикнула даже сердито Катря.— Ну, как такое говорить?! И как бы это он поехал на Запорожье, не попрощавшись с тобой?

— А почему б же ему непременно прощаться со мной?

— Почему? — переспросила Катря, бросая на Оксану лукавый, выразительный взгляд.

— Ну да, почему? — повторила уже несмело Оксана, краснея и опуская глаза.

— Потому что он кохает тебя! — отрезала Катря, но Оксана не дала ей окончить.

— Катруся, голубочка, серденько мое, когда б же тому правда была! — обвивала она шею подруги руками, пряча у ней на плече свое вспыхнувшее лицо.

— Правда, правда! — повторяла настойчиво Катря, стараясь освободиться от рук подруги и заглянуть ей прямо в глаза.

— Откуда ты знаешь, откуда ты знаешь? — шептала Оксана, припадая еще крепче к плечу подруги.

— Потому что он всегда на тебя только и смотрит, с тобою всегда розмовляет, где ты, туда и он идет,— говорила торопливо Катря.— Потому что он тебе дарунки всегда привозит, потому что,— добавила она решительно,— он не хотел уезжать из Субботова на Запорожье, а что ж бы ему за утеха была без тебя на хуторе сидеть?

— Серденько, рыбонька моя,— прижималась к ней Оксана,— когда б ты знала, как мне сумно без него! А когда он уедет на Запорожье, Катруся, голубочка, я... я... умру без него!

— Ну, вот уж и умру! — развела руками Катруся.

— Да, да, умру,— продолжала горячо Оксана.— Я буду каждую минуту думать, что с ним случилось что-нибудь, что он забыл меня, покохал другую, что он... Ох, Катруся, ты не знаешь, как я люблю его!

Вдруг неожиданный резкий детский крик прервал слова Оксаны. Дивчатка оглянулись.

По направлению ворот бежали вперегонку Андрий и Оленка, отчаянно размахивая руками.

— Тато, тато едет и Олекса с ним! — кричали они что есть духу.

Действительно, за живою стеной зелени плавно опускались и подымались, приближаясь к воротам, две красные козацкие шапки и два дула рушниц. Слышался частый топот приближающихся коней.

— Они, они! — вскрикнула Оксана не то с радостью, не то с испугом.— Катруся, голубочка, уйдем отсюда: я не могу здесь... при всех... он увидит, что я плакала... Голубочка, уйдем скорее, скорее!

И дивчата, оставивши свои начатые венки, бросились поспешно к дому.

Топот коней раздался явственно, и в распахнутые настежь ворота влетел белый конь Богдана, а за ним и гнедой Морозенка. Кони лихо пронеслись по двору галопом и остановились как вкопанные перед крыльцом.

— Добрый вечер! — поклонилась радостная Ганна, спускаясь с крыльца.— Что так забарылись?

— Не по воле,— ответил угрюмо Богдан, соскакивая с коня и передавая повод Морозенку.

Дети бросились целовать его руку.

— Ну, ну, вы, дрибнота,— ласково отстранял их Богдан,— садитесь-ка лучше на коней да поезжайте с Морозенком в конюшню.

В одно мгновенье ока Андрийко очутился уже в седле отца, а Олекса подсадил Оленку на своего коня и торжественно повел их по направлению к конюшне.

— Что ж, дома все благополучно? — спросил Богдан, подымаясь вверх по ступеням.

— Слава богу,— ответила Ганна и, заметивши сумрачное выражение лица Богдана, поспешила добавить: — Без вас, дядьку, приехал гонец из Варшавы и привез от какого-то магната листы, а от кого, не сказал.

— Гонец из Варшавы? — вскрикнул Богдан, сразу меняясь в лице.— Где же эти пакеты? Скорее, скорее давай!

Ганна бросилась в будынок и возвратилась с двумя пакетами в руках. Один из них был большой и солидный, запечатанный восковою печатью, а другой небольшой, без всякой печати, туго перевязанный красною ленточкой. Богдан торопливо взломал печать. По мере чтения лицо его прояснялось все больше и больше,

сжатые брови расходились, морщины разглаживались на лбу...

Богдан просмотрел еще раз бумагу и, сложивши ее, обратился бодро к Ганне:

— Добрые вести, Ганнусю, посылает нам господь! — Затем он развязал с недоумением маленький пакет, глянул на подпись да так и замер весь. «Марылька? — чуть не вскрикнул он.— Боже мой, что ж это значит? Отчего?» — И, не давая себе ответа на тысячу разных вопросов, вихрем закружившихся в его голове, Богдан жадно принялся читать это письмо.

Сначала от волнения и неожиданности он мог только с трудом разобрать нестройные, кривые буквы, изукрашенные множеством завитушек, но дальше чтение пошло уже легче.

«Коханому, любому тату,— начиналось письмо,— нет, напрасно я называю своего названного отца любым, коханым: он недобрый, он не любит Марыльки, он совсем забыл свою доню; кинул ее и ни разу не приехал, не справился даже, как ей живется и какая она стала теперь!»

Невольная улыбка осветила лицо Богдана: из-за этих кривых нетвердых строчек выплыло перед ним прелестное, кокетливое личико Марыльки, с капризно надутыми губками.

«А я никогда не забываю тата, потому что люблю... Я всегда думаю о том, что он обещал приехать и забрать свою Марыльку»,— стояло в письме.

Дальше шли рассказы о своей жизни. Марылька жаловалась Богдану, что ей живется куда как плохо у Оссолинских, что ее держат не как равную, а как приймачку. У Оссолинских-де взрослая дочь, и они не хотят, чтобы она, Марылька, показывалась вместе с нею, потому что за Марылькой шляхетство больше упадает, чем за канцлеровой дочкой. А очень ей нужны эти шляхетские залеты! Они ее оскорбляют, и нет ни одного щырого человека, чтобы мог ее защитить. Она прячется от них, она все время вспоминает своего славного коханого тата. Вспоминает о том, как он ее спас от погибели на турецкой галере.

«Тато, конечно, смеяться будет и не поверит Марыльке, а она согласилась бы с радостью все те же ужасы перенести вновь, лишь бы снова встретиться с татом

и так провести остальное путешествие, как тогда провели они. Только... ах! Что ж бы из этого вышло? Недобрый тато опять бы оставил ее у чужих людей. А если так, то пусть тато никогда не ищет встречи с нею, потому что теперь она не перенесла бы этого...» Здесь слова обрывались и несколько слов расплылось в круглые пятнышки.

«Слезы! — резнуло молнией в голове Богдана.— Она плакала, она скучала обо мне! Бедняжка, бедняжка моя!» Дальше Марылька желала Богдану всего доброго да хорошего и просила вспомнить хоть разочек бедную маленькую Марыльку, у которой на всем широком свете остался один только «тато Богдан».

Окончив чтение, пан сотник просмотрел еще раз письмо и словно замер в каком-то очаровании. Это маленькое письмецо вызвало перед ним какими-то неведомыми чарами тысячи забытых образов и картин. Они нахлынули на него неожиданно неотразимой толпой. То он видел красавицу Марыльку на руках свирепого запорожца при пожаре турецкой галеры, то она выглядывала, прелестная и воздушная, как небесное виденье, из какой-то туманной дали и словно манила его к себе, то снова сидела она перед ним в роскошном наряде на ковре в каюте на атаманской чайке, обдавая его чарующим взглядом своих синих очей, то он держал ее у себя на руках, бледную, как водяная лилия, с закрытыми глазами и упавшею до земли роскошною, золотистой косой.

Письмо было пропитано душистым розовым маслом, и этот опьяняющий запах вызывал в его воображении еще живее, еще блистательнее ее чарующий образ. Неподвижный стоял Богдан, сжимая в руке маленький желтый листок; кровь приливала к его лицу, к вискам горячею, жгучей волной. Какое-то смутное, темное чувство захватывало его дыхание, теснило грудь. Среди всей его трудной, исполненной тревог и опасностей жизни снова появился перед ним так нежданно-негаданно этот дивный опьяняющий образ, словно светлый, манящий ручей перед истомленным в пустыне путником. О, припасть к его журчащим струям, утолить свою жгучую жажду и, забывши свой караван, свой долгий, утомительный путь, уснуть под нежный лепет его навек опьяняющим сном!

— Добрые вести, дядьку? — прервала, наконец, молчание Ганна.

— Счастливые, счастливые, Ганнусю! — вскрикнул порывисто Богдан и заключил неожиданно в объятия растерявшуюся и вспыхнувшую Ганну.

Весть о возвращении пана быстро облетела весь двор: все наперерыв спешили приветствовать его. Богдан словно помолодел и переродился: к каждому обращался он с ласковым словом или с веселою шуткой.

— Ну, панове господари! Что ж это вы нас все словами потчуете? — заявил наконец весело Богдан.— Пора бы и вечерять дать, ведь мы с Морозенком добре отощали, ровно собаки в пашенной яме... Ганнусю, а Ганно! — обернулся он, но Ганны уже не было на крыльце.

— По хозяйству пошла,— прошамкала баба,— вечерю сейчас дадим; а там пани дожидается, тоже хотела повидаться.

— Сейчас, сейчас,— согласился Богдан и вступил за старушкою в сени.

Распахнувши дубовую дверь, ведущую в большой покой, он остановился на пороге и, осенивши себя широким крестом, помолился на образа. Стол в светлице был уже накрыт к вечере, и свечи в высоких шандалах, парадно зажженные для приезда хозяина, освещали установленный оловянными мисками стол. Богдан оглянул комнату; но Ганны не было и здесь. Он прошел в открытую дверь и вошел в покои своей больной жены. Тонкий запах засушенных трав сразу пахнул на него и навеял какую-то тихую грусть. Здесь на простом ложе, среди высохших трав и цветов, лежала такая же высохшая и желтая, бедная преждевременная старуха.

— Ох, приехал ты, сокол мой... слава богу! Еще раз привел господь увидеть тебя! — заговорила с одышкой больная, приподнимаясь навстречу мужу.

— Ого! Еще и не раз увидимся! — постарался ободрить больную Богдан, здороваясь с ней.

— Нет, нет, теперь уж не то... тут она у меня,— указала больная рукою на сердце,— чувствую я ее день за день... Скоро уже развяжу тебе навсегда руки...

— Что ты, что ты? — остановил было больную Богдан, но она продолжала еще настойчивее, с силою, даже непонятною при такой слабости:

— Скоро, скоро... да и благодарю за то бога... повисла я тебе, как камень на шею... ты молодой да крепкий... тебе бы жить надо... а тут... только... Стой, стой!.. Я не нарекаю,— остановила она Богдана,— и тебе, и господу дякую... другой бы, может, и бил, а ты...

Здесь она остановилась и, взявши с усилием руку Богдана, поднесла ее к губам. Богдан хотел было вырвать свою руку, но больная прошептала тихо:

— Нет, не бери... так хорошо.

Богдан отвернулся в сторону и начал рассматривать концы своих сапог. Казалось, больная заметила тяжелое впечатление, производимое ее словами. Она печально улыбнулась и начала веселее, стараясь переменить разговор.

— А как ездилось, все ли благополучно?

— Слава богу милосердному, снова простер над нами десницу свою!

— Слава тебе, господи! — перекрестилась и пани.

— Только мне-то не удастся и отдохнуть,— продолжал Богдан, не поднимая глаз,— из седла в седло! Сегодня вот приехал, а завтра снова в Варшаву скачи!

— Завтра? В Варшаву? — вырвалось горько у больной.— Господи, господи, а я ж то думала хоть умереть при тебе.

— Да что ты? Бог с тобой! — повернулся к ней Богдан.— Отслужим завтра молебен, ворожку призовем, и легче будет.

— Поздно!..— махнула безнадежно рукою пани, и в этом слабом, надорванном голосе Богдан прослышал действительную правду ее слов.— Не поможет уже мне ни молебен, ни ворожка... Силы моей нету жить... Уходит она с каждым днем, да и лучше,— вздохнула она, утирая слезу,— и вам легче будет, и мне покой... Не застанешь ты меня...— продолжала она после минутной паузы, снова прижимая Богданову руку к своим губам,— жалко только... с тобой жила... при тебе бы хотелось и умереть... легче было б... да что ж, коли справа...— больная остановилась.

— Ты беспокоишь себя понапрасну...— постарался успокоить ее Богдан.

— Я не плачу, нет,— отерла она глаза,— спасибо тебе за все, за все... Знаю я, что тебе нельзя без жинки, без хозяйки жить, только как будешь выбирать,— голос

ее задрожал, и на глазах показались слезы,— выбирай такую, чтобы деток моих бедных...— больная остановилась, стараясь побороть подступающие слезы,— жаловала и любила, а я уже буду для вас там, у господа, долю просить...

К вечере в комнату вошла и Ганна. Она была бледнее и сдержаннее обыкновенного; по сомкнутым губам, по строго сжатым бровям видно было, что она только что поборола в себе какое-то сильное душевное волнение.

Народу вокруг стола собралось немного. За отсутствием хозяина, гости все почти разъехались, остались только постоянные обитатели хутора. Пришел Ганджа с Тимком, пришел дед, Морозенко и еще несколько козаков, проживавших почти постоянно в Субботове. Оксана и Катря вошли в комнату, когда все уже шумно разместились вокруг стола... Поцеловавши чинно Богдана в руку, они поклонились всем и молча заняли свои места; поймавши на себе взгляд Морозенка, Оксана вспыхнула до корня волос и поспешила нагнуться, чтобы скрыть свое пылающее лицо.

За столом установилось самое веселое настроение. Богдан был так искренно весел и оживлен, как это бывало многие годы тому назад; это состояние духа хозяина электрическим током передавалось всем присутствующим. Дымящиеся кушанья исчезали с поразительной быстротой, кубки то и дело наполнялись заново.

— А что, батьку, верно, добрые вести получил? — осклабился широко Ганджа.

— Добрые, добрые, дети!

— Да и пора уже,— заметил Ганджа, опрокидывая кубок.

— Ох, пора, пора! — согласились и другие.

— В Варшаву зовут... завтра ехать надо,— заявил загадочно Богдан, обводя всех таким орлиным взором, что все поняли сразу, что звать-то не зовут, а запрошуют.— То-то, Олекса,— продолжал он весело, отодвигая от себя порожнюю миску,— нет нам с тобою отдыха: из седла в седло. Сегодня приехали, а завтра опять. Тебе, сынку, завтра же на Запорожье скакать... я лысты важные дам.

— На Запорожье так на Запорожье,— вскинул удало головою Олекса,— лишь бы дело, батьку, то и на

край света можно лететь! Эх, обрадуются братчики! — продолжал он радостно, оживляясь с каждым словом.— Давай лысты, батьку, стрелою татарскою полечу.

Казалось, восторженное оживление козака не произвело ни на кого особенного впечатления; однако при первых словах его Оксана вся вспыхнула вдруг, а потом так же быстро побледнела как полотно.

«На Запорожье завтра едет... и рад... и ждет только, как бы скорее, а я, дурная, думала, что он, что он...— Оксана вдруг с ужасом почувствовала, как верхняя губа ее задрожала, веки захлопали и к горлу подкатило что-то давящее, неотразимое.— Господи, господи! — зашептала она поспешно.— Только бы не при всех: какой сором, какой позор!»

Но горло ей сдавливало еще сильнее, губы непослушно дрожали, а выйти из-за стола не было никакой возможности. Катря бросила взгляд на расстроенное лицо своей подруги и обмерла вся.

Между тем разговор за столом продолжался еще веселее.

— Батьку, пусти меня с Морозенком на Запорожье,— заметил несмело Тимко,— обабился я здесь совсем.

— Обабился? — покатился со смеху Богдан, а за ним и остальные.— Рано, сынку, рано! А может, и ты, Морозенку, обабился у нас на хуторе?

— Э, нет, батьку! На хуторе хорошо, а если на Запорожье — хоть сейчас понесусь!

Оксана с отчаяньем закусила губу.

— Молодец ты у меня, знаю; затем-то и выбираю тебя. Да и без того пора уже до коша. А ты, сынку, еще погоди,— обратился он к Тимошу,— тебе еще на Запорожье рано, а даст бог, побываем там с тобою вместе.

— Эх, кабы привел господь! — вырвалось у Ганджи и у нескольких козаков.

— У бога милости много! — кивнул дед седой головой.— А что, пане господарю, не слыхал ли где чего? Тут к нам один безрукий приходил, говорит, что это его так Ярема покарал: такое рассказывал, чего и мои старые уши отродясь не слыхали.

— Правда, диду, слышал и я... ну, да не век же королятам и своевольничать: урвется когда-нибудь им нитка.

Все эти недоговариваемые намеки интриговали еще больше слушателей.

— Да что ж это у нас порожние кубки? Гей, Ганно, прикажи-ка меду внести!

Ганна поднялась было с места, но Оксана сорвалась раньше ее.

— Я схожу, панно Ганно,— шепнула она и, не дождавшись даже согласия, опрометью бросилась за дверь.

И было как раз впору, потому что слезы висели уже у ней на ресницах. Очутившись в сквозных сенях, она бросилась прямо в сад, не подумавши даже отдать распоряжение насчет меда. Одно желание — скрыться от всех, убежать в такую гущину, где бы никто не отыскал, толкало ее, и она бежала через сад так поспешно, словно ее догонял кто-нибудь.

Ночь стояла теплая, лунная, чарующая... Стройная тень девушки быстро мелькала мимо кустов и деревьев и, наконец, остановилась на самом краю левады, там, где она уже примыкала к открытой степи... И хороша же была степь в эту летнюю лунную ночь!

Полный месяц с самой вершины неба усыпал ее всю мелким, ажурным серебром. Трещание цикад и кузнечиков наполняло воздух какой-то нежной, усыпляющей мелодией. Запах свежих трав и диких цветов разливался над всей поверхностью теплой волной. Но ничего этого не заметила Оксана. Как подстреленная птичка, упала она ничком в землю и залилась слезами. Они давно текли уже по ее щекам, а теперь хлынули неудержимо с громким всхлипыванием. Оксана плакала, припавши головою к коленям; иногда она раскачивалась, как бы желая сбросить с себя часть тягости, душившей ее.

— Не любит, не любит, не любит! — повторяла она сама себе.— А я-то, я-то, дурная, поверила тому, что он любит меня! На Запорожье собирается, с радостью полетит... Когда бы хоть трошечки любил, зажурился б, а то... Ох боже ж мой! Боже ж мой! — закачалась снова Оксана, прижимая руки к лицу.— Да и за что ему любить меня? Что я такое? Он козак, а я... так себе, бедная дивчына... ни батька, ни матери... сирота, приймачка... Он, верно, шляхтянку какую возьмет, а я... Ох, какая ж я несчастная, какая я несчастная! Нет у меня ни одной своей души на целом свете! — и слезы

из глаз Оксаны полились еще сильнее, и чем больше она плакала, тем все жальче становилось ей самое себя, тем горьче лились ее слезы. Вдруг не в далеком от нее расстоянии раздались чьи-то поспешные шаги.

— Оксано, где ты? — послышался негромкий оклик, но Оксана не слыхала его.

— Боже мой, боже! — шептала она, покачиваясь всем туловищем.— Да лучше ж мне умереть, чем так жить.

Темная фигура козака уловила направление, по которому неслись громкие всхлипывания, раздвинула кусты и вынырнула на освещенную месяцем площадку. Девушка сидела на траве и так жалобно всхлипывала, что у молодого козака сжалось сердце.

— Оксанко! — произнес он негромко, подходя к ней и дотрагиваясь до ее плеча.

— Ой! — вскрикнула не своим голосом Оксана, подымая голову, и, заметивши Морозенка, в одно мгновение закрыла ее снова и фартуком, и руками.

Олекса заметил только большие, черные, полные слез глаза и распухшее от рыдания личико девочки.

— Оксано, голубочко! — опустился он рядом с ней на траву.— Я уже давно ищу тебя. Скажи мне, может, тебя обидел кто?

Прошло несколько секунд, но Олекса не получил никакого ответа. Наконец, из-под фартука раздался голос, прерываемый непослушным всхлипываньем:

— Это я... руку... ударила.

— Руку? — переспросил Олекса, и по лицу его пробежала лукавая усмешка.— Покажи-ка мне где? — Но так как Оксана руки не давала, то он взял ее силою; но, осмотревши всю смуглую ручку, не нашел на ней никакого знака.— Оксано, неправда твоя!..— произнес он с укором.— Скажи ж мне, чего ты плакала, а?

Оксана попробовала было вырвать свою руку, но Олекса держал ее крепко и сильно.

— Пусти меня! — рванулась она, чувствуя, как на глаза ее навертываются слезы.— Никому до меня дела нет!

— Нет, не пущу, покуда ты не скажешь!

— Пусти! Баба сердиться будет!

— Я ведь завтра на Запорожье уезжаю!

При последних словах Олексы плечи Оксаны задрожали снова.

— Слушай, Оксано,— заговорил он мягко, охватывая ее плечи рукою,— или тебя кто обидел, или у тебя на сердце есть какое-то горе... Отчего же не хочешь ты со мной поделиться? Разве я чужим тебе стал? Разве ты от меня отцуралась?

— Не я, не я! — вскрикнула, захлебываясь слезами, Оксана.

— Так кто же тебя против меня наставил?

— Ой боже мой, боже мой! Не могу я, не могу! — всхлипывала и ломала руки Оксана.

— Видишь ли, какая правда,— произнес Олекса с горьким укором,— я все тот же, а ты... вот не можешь и правды в глаза мне сказать... забыла, верно, то время, когда жили вы еще с батьком в Золотареве.

Сердце Оксаны забилось быстро и тревожно, как у испуганной птички. «Господи, да неужели, неужели?»— пронеслось в ее голове.

Олекса сам помолчал, как бы желая преодолеть охватившую его вдруг робость. И затем продолжал снова:

— Я завтра еду на Запорожье; кто знает, когда и вернусь теперь... хотел спытать тебя, помнишь ли ты то, о чем обещались мы друг другу, когда еще были детьми?

И какой-то непонятный ужас, и нежданная радость оледенили вдруг все члены Оксаны; только в голове ее быстро-быстро, как блуждающие огоньки, замелькали пылающие слова: «Господи! Счастье, жизнь моя, радость моя!»

— Оксано, что ж ты молчишь или забыла совсем? — продолжал Олекса, стараясь заглянуть ей в лицо; но смуглые ручонки прижались к лицу так судорожно, что он оставил свою попытку.

— Помню! — раздалось, наконец, едва слышно из-за сцепленных пальцев.

— Так скажи ж мне,— продолжал он смелее,— повторишь ли ты теперь то, что сказала тогда? — и в голосе Морозенка послышалось подступившее волнение.

Оксана молчала.

— Скажи же мне,— продолжал он уже смелее,— согласна ли ты ждать меня, пока я вернусь из Сечи значным козаком? Ну, а если... все мы под богом ходим, на войне...

— Умру! — вскрикнула Оксана и судорожно, громко зарыдала, припавши к его груди.

— Оксано, голубочко, так ты любишь меня? — вскрикнул Олекса, горячо обнимая ее и хватая за руки. Упрямые руки уже не сопротивлялись, и перед Морозенком предстало заплаканное личико с растрепанными локонами волос.— Так ты любишь, ты любишь меня?

Вместо всякого ответа личико спряталось у него на груди.

— Скажи ж мне, ты любишь, кохаешь меня? — продолжал пылко козак.

— У меня нет никого на свете, кроме тебя,— раздалось едва слышно, и головка прижалась к нему еще беззащитней, еще горячей.

— Дивчыно моя! Радость моя! Счастье мое! — прижал ее к себе Олекса.— Так ты будешь ждать меня и год, и два, и три?

— Целый век! — ответила Оксана, отымая голову.

— И никого, кроме меня, не полюбишь, если б даже я...

— Не говори так, Олексо,— вскрикнула Оксана, обвивая его шею руками,— никого, никого всю жизнь, кроме тебя!..

Олекса порывисто прижал к себе дивчыну и покрыл горячими поцелуями ее смущенное личико.

XXVIII

Между сбившеюся толпой на понтонном мосту через Вислу тихо пробирался на взмыленном Белаше Богдан [129]; за ним следовали гуськом четыре козака, взятые им из Субботова.

Мост гнулся и погружался в воду; можно было ожидать ежеминутно, что он разорвется и сбросит с себя в мутные, беловатые волны реки и всадников, и пеших, и сидящих в рыдванах пышных панов, и разряженных паней. Понуканья, визги, крики, проклятия и брань висели в воздухе и, перекрещиваясь, сливались в какой-то беспорядочный гул.

— Сто дяблов им рогами в печенку! — кричал посиневший от ярости упитанный пан, стоя в колымаге и грозя кулаками в пространство.— Гоните лайдаков

канчуками, бросайте моею рукой к дидьку их в Вислу!

— Набок! Набок! — орали усердные панские слуги, расталкивая и награждая тумаками прохожих.— Дорогу ясновельможному пану Зарембе!

— Езус-Мария! На бога! Давят! — визжали женские голоса.

— Гевулт! Проше пана! — заглушал их резкий жидовский акцент.

— Да что вы, псы, прете? Тут вам не село, не фольварок, не дикие поля! — возрастал грозно впереди ропот.— Оттирай их, оттирай!

Толпа колыхнулась назад. Началась драка. Движение совсем приостановилось. Мост, напором столпившихся в одном месте панских слуг и прохожих, начал судорожно вздрагивать и трещать. Послышались отчаянные вопли.

Богдан прижал шенкелями коня и продвинулся к панской колымаге.

— Остановите, вельможный пане, ваших дворян,— поднял он с достоинством край своей шапки,— иначе они развалят мост и вашу мосць потопят.

— Но какой подлый народ,— отозвался пан, тревожно оглядываясь,— и впрямь потопят... Гей, тише там, Перун [130] вас убей! — замахал он шапкой.

— За позволеньем пана, я проеду вперед и очищу дорогу,— тронул Хмельницкий острогами коня и прорезался им к самой сутолоке.— Остановитесь! — крикнул он повелительно.— Всяк иди своим чередом, не опережая и не давя друг друга!

Голос Богдана заставил всех вздрогнуть и остановиться. Вид и фигура его импонировали на толпу; она с уважением расступилась и двинулась, не спеша и не нарушая порядка, вперед. Послышались одобрительные отзывы:

— Вот это правильно! Видно сейчас вельможного пана! Не то, что панские подножки... в затылок! Нет, шалишь, и у нас кулаки есть! Мы тебе не хлопы!

Подъехавший пан Заремба поблагодарил Богдана хриплым баском:

— Благодарю за услугу от щырого сердца, панский должник! Прошу на келех венгржины, улица Длуга, камяница Вацлава Зарембы.

— И я прошу благородного рыцаря,— прозвучало

вслед за басом пискливое сопрано, и Богдан заметил высунувшуюся из-за тучного пана тощую фигуру подруги его жизни.— Вельможный пан не откажет, надеюсь.

— Благодарю, пышное панство,— изысканно поклонился Богдан, осаживая коня.

Раздалось щелканье бича. Колымага двинулась вприпрыжку с моста в гору. Богдан остановился подождать затерявшихся в толпе козаков.

После целой недели резкого, почти осеннего холода и надоевших в дороге дождей погода вдруг изменилась; при въезде в предместье города — Прагу — небо прояснилось, живительные лучи солнца согрели летним теплом воздух и просушили наших путников. Теперь сверкающее солнце обливало ярким светом замок, высившийся на нагорном берегу вправо, лучилось на свинцовых крышах дворца, искрилось на золотых крестах готических храмов, подымавших из-за крыш свои высокие шпицы, и мягко скользило по пестрой веренице разнообразнейших домов, тянувшихся влево по берегу Вислы и громоздившихся по горе вверх.

«Да,— думалось Богдану,— вот оно, это место гордыни, этот Вавилон панский [131], где для прихоти одного человека бросают под ноги пот и кровь десятка тысяч людей, где утопает обезумевшее от своеволия и грабежа панство в чудовищной роскоши и разврате, где собратья мои считаются за псов,— что псов! Хуже, считаются за последних зверей... и там-то, в мрачных палацах, закована наша доля в цепях... Что-то сулит нам грядущее: освобождение или смерть? Все у подножия престола всевышнего... Но солнце нам улыбнулось навстречу... Не ласка ли это милосердного бога?»

Богдан снял набожно шапку и перекрестился широким крестом.

Целый почти день ездил Богдан по мрачным, извилистым улицам, обставленным стеною узких и высоких домов, с выступившими вперед этажами. Но нигде в старом месте не находил для себя он угла; все гостиницы и заезжие дома были переполнены наехавшим панством с многочисленной челядью и надворной шляхтой. Пришлось переехать в Краковское предместье; но и там, к несчастью, ни одной свободной светлички не оказалось. На всех улицах, куда ни стучался Богдан, получал он один и тот же ответ: «Пшепрашам пана — все занято!»

Только к вечеру уже удалось Богдану отыскать возле Залезной Брамы себе местечко, и то в грязной халупе какого-то котляра-жида. Отведенный для вельможного пана покой скорее напоминал собою хлев, нежели жилье человека; крохотное окно, заклеенное пузырем, почти не пропускало света; подгнивший сволок (балка) лежал одним концом прямо на печке, треснувшей, обвалившейся и пестревшей обнаженными кирпичами; два колченогих деревянных стула и на каких-то обрубках канапа да стол составляли всю меблировку этого помещения. Воздух в нем был насыщен едким запахом чеснока и специальных зловоний, к нему примешивался из соседней конурки угар от уголья и минеральных кислот, ко всему еще стояла здесь адская духота... и за это убийственное помещение жид заломил десять злотых в сутки.

— С ума ты спятил, что ли? — накинулся на него Богдан.— Да у меня свиньи имеют лучший приют.

— Чем зе я виноват, ясный грабя,— кланялся учащенно жидок.— Лучшего помешканья у меня нет, да и нигде теперь пан не найдет... так почему не заработать?

— Да что это у вас, ярмарка, похороны чи сейм?

— Нет, ясный грабя, не ярмарка, не похороны,— не дай бог! Похороны яснейшей крулевы уже отбыли... Ай вей, какие похороны! Чудо! — улыбнулся жид, усердно скребя под ермолкой низко остриженную голову, так что даже пейсы тряслись.— А приехал теперечки сюда его княжья мосць Криштоф Радзивилл, и великий канцлер литовский князь Альбрехт Радзивилл, и великий маршалок литовский Александр Радзивилл... одним словом, алес — все Радзивиллы и Сапеги, и ясновельможный Ян Кишка [132], и всякое другое вельможное панство: ждут из Ясс польного гетмана, ясноосвецоного князя Януша Радзивилла.

— А чего он там?

— Женился на дочке молдавского господаря [133].

— А! Вон оно что! — протянул Богдан. «Ишь, куда залез,— промелькнуло у него в голове.— Примащивается bona fide * к короне... Что ж? Ловко!»

— А про другие свадьбы не слыхал? — обратился он к жиду.

— Почему нет? — характерно скривился тот.— Мно-

---

* По чистій совісті *(лат.)*.

го пышного панства женится. Чего им? Ой вей, вей! Едят, пьют, жвиняйте, и женятся. Коли б мне столько добра, ясный грабя, то и я раз у раз женился бы!

В это время из соседней конуры долетел вопль жиденка, сопровождаемый энергичной бранью балабусты (жены) и хлесткими звуками.

— Как же ты, шельма, женился бы, когда у тебя есть балабуста? — засмеялся Богдан.— Да она бы тебе повырывала все пейсы!

— Ой, ой пане! — закрутил головой жидок.— Дайте только мне дукаты... Ну, так как, ясный грабя не обидит бедного жидка, даст заработок?

— Да бес уже с тобой, коли другого выхода нет, давись ты десятизлоткой! Только вот этот пузырь вон,— проткнул он окно кулаком,— а то дышать нечем.

— Цто ясной мосци угодно, все к панской услуге,— радостно потирал руки жид и сметал полой своего лапсердака со стола и жалкой мебели пыль, которая на всем лежала толстым слоем.

Распорядившись насчет помещения коней и их корму, Богдан заказал себе у жида фаршированную щуку, добавил к ней добрый окорок ветчины. Повечерявши и выпивши домашней горилки и меду, он разостлал на полу две попоны, положил под голову седло и, несмотря на нападение всякой погани, несмотря на крик жиденят, на стук молота, на звяк меди, заснул богатырским сном.

Уже солнце ярко играло на черепицах высокой крыши соседнего дома, когда на другой день проснулся Богдан. Потянувшись в сладкой истоме, он хотел было перевернуться на другой бок и доспать не доспанное в дороге, но тут только и вспомнил, что он в Варшаве и что приехал сюда по чрезвычайно важным делам. Это сознание побежало едкой тревогой по успокоенному было мозгу и заставило Богдана вскочить на ноги. Было уже относительно поздно, и его яйцевидные нюрнбергские дзыгари [134] показывали девятый час.

— Фу-ты, стонадцать чертей, как по-пански заспал! — вскрикнул Богдан и начал торопливо одеваться.

Несмотря на господствовавшее у козаков в том веке презрение к наряду, Богдан на этот раз изменил общему принципу и отнесся к своему туалету внимательно: умывшись и обливши из ведра водой себе голову и шею,

Богдан тщательно подголил свою чуприну и щеки, глядясь лишь в миску с водой. Потом, переменивши белье, облекся в щегольский костюм, мало чем разнившийся от польского. Обул он сафьянные чеботы с серебряными каблуками и такими же, прикрепленными к ним, острогами (шпорами); облекся в широчайшие шаровары шарлатного (пунсового) цвета; надел жупан белого фряжского сукна, отороченный золотым галуном, усаженный в два ряда золотыми же гудзями (пуговицами) с аграфами и украшенный на правом плече такою же на шнурке кистью (знак сотницкого достоинства); накинул сверх жупана пышный кунтуш с вылетами (откидными рукавами) из темно-зеленого венецийского бархата — аксамиту, преоздобленный дорогим гафтом (шитьем); опоясал его роскошным пестрым шелковым поясом, полученным от побратыма, перекопского хана Тугай-бея [135]; заткнул за пояс пару турецких пистолетов, а к левому боку пристегнул драгоценную саблю — почетный дар нынешнего короля Владислава IV — и насунул еще набекрень высокую баранью черную шапку, с выпускной красной верхушкой, украшенной золотою кистью, да и преобразился в такого молодца-рыцаря, что жид только кланялся, да чмокал, да разводил от изумления руками.

И правда, хотя Богдану и перевалило уже за сорок лет, но статная его фигура хранила еще молодую, бодрую силу, мужественное лицо играло заманчивою свежестью, а глаза горели пылким огнем; в этом блестящем наряде он положительно был красавцем и являл в себе такую неотразимую мощь, перед которой всякая панна опускала глаза, а пани вспыхивала ярким полымем.

Богдан сел на коня и в сопровождении козака из своей сотни отправился на замчище, где в одном из зданий жил государственный канцлер Александр Оссолинский.

Узкие кривые улицы Варшавы были полны уже народом, заставившим Богдана пробираться медленно, с остановками. Солнце уже порядочно жгло и играло яркими пятнами на пестрой толпе. Время приближалось ко второму сниданку, и с каждым шагом коня возрастало у нашего путника нетерпение поскорее добраться до покоев его княжьей мосци; но ускорить аллюр коня

было невозможно. Склонив голову, ехал Богдан, не обращая внимания ни на суету нарядной толпы, ни на красоту зданий, ни на богатства, выставленные напоказ у дверей склепов, ни на лестные на его счет замечания встречных; он весь погружен был в себя и чувствовал, как непокорная тревога заполняла его все сильней и сильней...

И в его жизни, и в общественных интересах минута была серьезна; вершилась судьба горячо любимой им родины... Он напрягал все свои думы, чтобы разрешить предстоящие задачи, выбрать вернейший путь, предугадать будущее, но своевольные думы мятежно рвались и уносили его из тернистого пути в сказочные убежища неги и райских утех... Дивный образ, мимолетно сверкнувший в прошедшем, вставал перед ним, облекался в чудные краски, жгучей волной наполнял его трепетавшее сердце: и надежда, и мука, и жажда встречи бурлили в тайниках его души и горели в глазах неспокойным огнем.

Хотя из письма Марыльки и видно было, что ей не сладко живется у Оссолинского, что она тоскует по своем тате, хотя ни единым словом не заикнулась она о возможности предстоящего брака, но кто знает? Девичье сердце изменчиво, девичьи слезы — роса, а разве в Вавилоне этом мало искушений? Неопытная дытынка может и мишуру, и блестящую цацку принять за щырое золото. Уж из-за одного желания вырваться из тюрьмы на широкую волю может она решиться на рискованный шаг, а то и Оссолинский может принудить,— иначе откуда бы мог пойти такой слух?.. Нет, это соврал Ясинский. Две свадьбы? Ну, вот дочь свою выдает, да еще этот Радзивилл Януш. Нет, быть не может! А если правда? И в жаркий июльский день, под палящими лучами солнца пробежала по спине Богдана холодная дрожь, а сердце сжалось до боли...

Он сдавил шенкелями коня, но благородное животное только поднялось на дыбы, а давить людей отказалось. «Эх, скорее бы, скорее,— стучало в висках у Богдана,— узнать все, разрешить это мучительное сомнение; но кривым улицам конца, кажется, нет! Да что это я, словно закоханный юнак, дрожу от жгучего нетерпения? — мелькало в голове Богдана.— Пристало ли мне, да и к чему? Ведь разве я ей, молоденькой, пышной

панне, пара?.. Эх, ты пропасть! Ровно ведьма кочергой толкает в сердце, да пропади ты пропадом!»

И Богдан начал торопить коня, глазеть по сторонам, желая развлечься и перестать думать о чертовщине; закурил даже для острастки козацкую люльку. Но, несмотря на все усилия, чертовщина все лезла в голову и ведьма сладкими чарами, что пеленой, обвила его одурманенный мозг.

«А должно быть, хороша, ох хороша, как рассвет майского утра! И тогда еще, дитятком, была обворожительной и прекрасной, а что же теперь? И глядеть, верно, на нее страшно — молнией обожжет! Что это, в самом деле, раскис я, как пьяная баба?— дернул Богдан себя больно за ус.— Не хочу о пустяковине думать! Что-то вот запоет мне про наши справы пан канцлер? Оправдает ли слова Радзиевского? Или вот сам король... Его-то яснейшую мосць мне нужно увидеть... А очи-то у нее синие-синие, как в Черном море под прямым лучом солнца волна, а кудри... Фу-ты, навождение!» — даже плюнул Богдан и выругал себя энергической бранью.

Только к полудню добрался наш путник до замчища; поручив своего Белаша козаку, он поспешно миновал браму и вошел в двухэтажный палац налево, что стоял прямо против королевского дворца. Оссолинский, будучи сравнительно с другими крезами-сенаторами бедным, помещался не в собственном доме, а в казенном.

И у внешнего входа, и у внутренних дверей стояли там гайдуки, статные и рослые телохранители княжьей мосци, в своеобразных пышных нарядах, представлявших смесь французской моды (штиблеты и башмаки) со шведской (кафтан); комнатные козачки-джуры толпились во внутренних покоях.

Богдан остановился в какой-то круглой приемной, пока побежали доложить о нем княжьей мосци. Комната не имела обыкновенных окон, а освещалась только овальными отверстиями, помещенными в самой вершине купола; в простенках между пятью или шестью дверями стояли большие портреты. Богдан не обратил, впрочем, внимания на оригинальный покой, а почувствовал, что его вновь охватил непрошенный лихорадочный озноб...

«Здесь, под этою кровлей, быть может, за одной из дверей... а может, и нет ее? Кто знает?»

Козачок в это время отворил дверь направо и повел Богдана узким, полутемным коридором до другой, распахнув которую, он почтительно остановился и пропустил пана сотника вперед. Богдан переступил через порог и очутился в обширном, роскошном кабинете; трое длинных, хотя и узких окон пропускали в него через многочисленные круглые, разноцветные стеклышки массу калейдоскопных световых пятен; они то мягко терялись на пушистом ковре, покрывавшем весь пол, то отражались радугами от блестящих, изразцовых стен, на которых изображены были целые картины исторических событий; у стен стояли громадные застекленные шкафы; посреди комнат возвышался с двумя пирамидами письменный стол.

Богдан только скользнул по всему тревожным, рассеянным взглядом... Из-за пирамид-этажерок, полных книг, поднялась к нему навстречу знакомая фигура магната и заставила Богдана сосредоточить на себе все его внимание.

— Здравствуй, с миром пришедший,— радостно приветствовал Богдана вельможа.

— Благодарю, много благодарю, ясный княже,— прошептал смущенно Богдан, низко склоняя голову и бережно дотрагиваясь до протянутой вельможной руки.— Будьте здравы к вящей божьей славе.

— Где уж нам,— улыбался похудевший и постаревший канцлер,— а вот я всегда рад видеть пана сотника в добром здоровье и бодрым. Теперь-то энергия панская нам и будет нужна: приспе убо час — advenit tempus *... Однако прошу, присядь, пане,— указал он на кресло с высокою прямою спинкой.— Ну, как же там, спокойно все, благополучно?

— Бог милосердный хранит,— ответил Богдан,— а ласка ясного князя защищает животы наши от напастей.

— Кабы-то моя была воля, разве ласка была бы такой мизерной? — опустил канцлер смиренно глаза.— Тут более орудуют Казановские.

— Мы не избалованы, княже, судьба у нас мачехой

---

* Настав час (*старослов. і лат.*).

была; но от всех козаков и от себя я приношу благодарность ясноосвецоному пану канцлеру и найяснейшему королю,— встал Богдан и торжественно поклонился, прижимая руки к груди,— глубочайшую благодарность за возвращенную нам хоругвь: эта святыня, это дорогое нам знамя, тронуло нас до слез и окрылило наши надежды.

— Оно ваше и по праву, и по славе, какой вы его покрыли,— произнес с чувством пан канцлер.— Так козаки, стало быть, довольны?

— Ожили и молятся за долголетие найяснейшего нашего батька и за упокой души святой нашей неньки.

— Да, богу угодно было осиротить нас и принять в свои селения благороднейшее и преданнейшее благу отчизны любвеобильное сердце,— вздохнул Оссолинский,— но судьбы его милосердия неисповедимы, и, может быть, то, что нам, темным, кажется горем, предусмотрено им во спасение... Да, так, так,— вертел он в руках табакерку,— значит, довольны... Прекрасно... И пан полагает, что наши друзья доверяют теперь репрезентанту власти от бога!

— Ждут и не дождутся ее проявления,— улыбнулся Богдан.

— Так что, если бы пришлось вам опять отправиться иа чайках в поход, в настоящий уже грозный поход, встряхнуть, например, самый Цареград? — прищурился Оссолинский.

— Костьми легли бы за своего батька короля и за веру! — воскликнул с чувством Богдан.

— Да, мы на вас, храбрецов-рыцарей, полагаемся,— закашлялся слегка Оссолинский,— пан сотник пусть обнадежит их смело.

— Возвещу к великой радости; только ясный князь знает,— начал Богдан вкрадчиво,— что прошлый раз нам фортуна изменила на море и много козачьих душ поглотил Pontus Euxinus...* и не было чем утешить нашей туги великой; обещаниями одними ведь не согреешь, многие стали нетерпеливы.

— Да, да, это совершенно верно,— бормотал канцлер.

---

* Чорне море *(лат.)*.

— У нас даже, княже, на этот счет сложилась пословица: «Казав пан, кожух дам, та й слово его тепле!»

— Хе-хе-хе! — рассмеялся пан канцлер. — Очень остроумно! Но кожух таки будет, хотя и короткий пока, а все-таки кожух.

— Да, если бы хоть что-либо, если бы дети увидели хоть малую ласку от своего найяснейшего батька.

— Будет, будет,— ободрил канцлер и понюхал слегка табаку,— я хлопотал, настаивал даже, и король принимает это к сердцу; но ведь он, бедный, только отвечает, пане, за все, даже государственные расходы покрывает из своих коронных, обрезываемых ежегодно владений, а распорядиться самостоятельно не может ничем; над ним, как пану известно, четыре опеки: первая — сенаторы, без совета которых он не властен сделать ни шагу, вторая — великие коронные и литовские сановники,— хотя они без короля и не уполномочены вчинять что-либо, но зато имеют право отказать ему в повиновении; третья опека — сейм, всесильный отменить все распоряжения яснейшей воли, и, наконец, четвертая опека — каждый шляхтич, ибо он может своим безумным, бессмысленным «не позвалям» сорвать всякий сейм и уничтожить одним криком многотрудную работу для общественного блага.

Канцлер, вздохнув глубоко, обмахнул ароматным платком верхнюю бритую губу.

— Да, эти опеки и у нас за шкурой сидят,— сверкнул глазами Богдан,— и когда только бог их ослабит?

— Будем вместе молиться,— улыбнулся канцлер.— Благоденствие народа в бозе, а милости его нет предела,— поднял набожно он глаза.— Завтра или послезавтра я выхлопочу пану сотнику аудиенцию у короля, и там пан убедится, что мои хлопоты относительно его собратий не остались втуне; Rex Poloniae * согласился дать привилегии на увеличение числа рейстровиков и их прав. Только вот осталось приложить большую печать,— она у Радзивилла.

— Боже, услышь мою молитву за благоденствие найяснейшего нашего батька! — с глубоким чувством

* Король Польщі *(лат.)*.

произнес Богдан.—Да исполнятся его дни светлой радости, и да сбудутся все его августейшие желания!

— Amen! — подтвердил молитву и канцлер.— Но и твоя панская мосць не забыта, и, быть может, верного слугу короля ждет булава.

— Куда мне! И думать не смею! — смутился, испугался даже Богдан и почувствовал, как кровь прилила к его сердцу.

— Чего смущаешься, пане? Я примером могу служить: из малых, бессильных я шел отважно вперед, неусыпно трудился, боролся, бился с врагами и со всякими напастями, а сколько их было, сколько их есть и сколько еще будет до гробовой доски! Но я не изнемог, духом не пал и вот-таки стою у руля, хотя кругом и подымаются волны.— В словах Оссолинского звучало искреннее увлечение, вызвавшее краску на его бледных щеках.— Да, смелым бог владеет,— закончил он уверенно.

— В вашей княжьей мосци,— воскликнул с чувством Богдан,— избыток божьих щедрот: и мудрость, и сила, и краса добродетели! Да разве я смею дерзать? Если почтена доблесть, вам открыт доступ в небо.

— Слишком... слишком...— сконфуженно улыбался от похвал канцлер.

— Да и наконец,— продолжал Богдан,— связала бы меня эта великая власть, мне же нужно быть вольным, чтобы лучше послужить своему королю.

— Новое доказательство доблести,— прикоснулся к колену Богдана рукой Оссолинский,— но во всяком случае пан не будет забыт.

Богдан только прижал руки к груди.

Наступило молчание. Оссолинский медленно покачивал головой, задумчиво, даже грустно уставившись в какую-то точку, словно всмотреться хотел он в туманную даль или разгадать немую загадку. Хмельницкий поражен был выражением этого бледного старческого лица, хранившего под маской светского безразличия много пережитых страданий, и не решался прервать молчание.

Наконец Оссолинский потер рукою свой выпуклый, словно из слоновой кости выточенный лоб и, как бы очнувшись от забывчивости, торопливо спросил у Хмельницкого:

— А как пан по щырости думает, на кого больше можно положиться — на Ильяша или на Барабаша?

— По щырости...— замялся Богдан и после небольшой паузы сказал:— Думаю, на Барабаша: он хоть немного и староват, и медлителен, но прост душой, не сумеет кривить, а прямо какая у него думка сидит, ту и пустит в люди.

— Мне он и самому показался таким,— кивнул головой канцлер.

В это время из-за соседней двери донеслись женские голоса, и один из них пронизал своим певучим звуком сердце Богдана; горячая волна прихлынула к его горлу и залила краской лицо.

— Я хотел бы, ясный княже...— начал было он непослушным голосом, но канцлер перебил ему речь.

— Да, расскажите, расскажите, пане, что вообще творится в ваших благодатных краях?

С плохо скрываемой досадой начал сообщать Богдан канцлеру о перемене политики молодого старосты, руководимого Чаплинским, об усиливающейся алчности магнатов к наживе, о возрастающих притеснениях народа, о насилиях унии...

Оссолинский только грустно качал головою и произносил со вздохом:

— Сами себе роют могилу!

Когда же Богдан передал канцлеру о циркулирующих между магнатами слухах про затеваемую королем войну и сопряженное якобы с ней обуздание золотой свободы, то Оссолинский был так потрясен этим известием, что даже изменился в лице.

— Male, male...* отвратительно,— шептал он побледневшими заметно губами,— какая неосторожность и как худо хранятся у нас государственные тайны! У этой шляхты тысяча ушей!.. Да и какая клевета, даже гнусная клевета...— понюхал он какую-то скляночку и, переменив тон, заговорил раздражительно, возмущенно:— Кто посягает на свободу? Король желает только ее упорядочить... Наши государственные учреждения так высоки, что никто не дорос еще до них в целой Европе... да, чрезвычайно высоки, их только упорядочить...

* Погано *(лат.)*.

а воля народа священна... Vox populi — vox dei*. И сенат, и сейм — все это ненарушимо,— торопливо сыпал пан канцлер, бросая тревожные взгляды на улыбавшегося Богдана,— а война? Мы хотим обеспечить прочно наши южные и западные границы, сломить силу разбойничьего гнезда и даже покорить его; без этого Польша будет вечно в тисках. Наконец, без согласия сейма никто войны не начнет. Мы ничего не предпринимаем без советов и указаний. Король глубоко чтит все конституции,— закашлялся он сильно и схватился обеими руками за грудь; на лбу и на висках у него надулись синие жилы.— Эх, этот Смоленск не забудется мне до смерти,— задыхался он,— как угостили там камнем в грудь, так вот при малейшем волнении и давит колом. Вместе с паном и с королевичем еще тогда Владиславом подвизались там... давно было...— вытер он платком выступивший на лбу пот и, глубоко вздохнувши, добавил: — Теперь при такой болтовне неудобно будет просить у Радзивилла для ваших привилегий большой печати — подымет гвалт. Ну, что ж? Обойдемся и хранящейся у меня малой... Хоть это маленькое нарушение... но ведь тут не ломка закона... а privata levatio (частное облегчение).

Отворилась дверь, и джура, возвестивши о приходе его светлости венецийского посла, тотчас скрылся.

— А! Тьеполо! — засуетился и встал Оссолинский.— Я прошу извинения у пана. Это из Венеции чрезвычайный посол... личность значительная и высокая. Завтра мы увидимся, и, быть может, завтра же устрою я пану аудиенцию у его королевской мосци. Только помни, пане,— протянул он с улыбкою руку,— что я держусь такого незыблемого правила: согласием возвышаются и малые дела, а несогласием разрушаются и большие.

— Молчание — лучшее благо, — пожал протянутую руку Богдан, почтительно склонивши чело.

— Хе-хе-хе! — засмеялся добродушно канцлер, провожая сотника до другой двери.

Затворили дверь, и Богдан очутился в полутемном коридорчике. Не успел еще сделать он двух шагов и приноровить свое зрение, как послышался вблизи

---

* Голос народу — голос божий *(лат.)*.

шелест и что-то легкое, гибкое, благоухающее бросилось стремительно к нему на грудь и обвило шею нежными, атласными ручками.

Вздрогнул Богдан, словно пронизанный гальваническим током, и, не помня себя, прошептал одно только слово:

— Марылька!

— Тату! Любый, коханый!— обожгла она его поцелуем и скрылась, как сверкнувший во тьме метеор.

Несмотря на раннее утро, в главном королевском дворце кипела уже жизнь. В аванзале, отделанной во вкусе ренессанс, с сквозным светом, напоминавшей скорее картинную галерею, стояли уже и прибывали новые нарядные гости, жаждавшие с подобострастием приема. Между группами их можно было видеть пышные того времени итальянские костюмы, пестревшие атласом, бархатом и шитьем, и изящные парижские наряды, и роскошно-красивые польские, и строгие шведские темных цветов, и черные сутаны, и блестящие латы.

Выделялся между всеми оригинальным длинным покроем, и богатой парчой, и высокой собольей шапкой наряд московского посла Алексея Григорьевича Львова[136]; важный гость высокомерно смотрел на суетившихся расписных посетителей дворца и держался в стороне.

В зале стоял легкий сдержанный шепот; в нем слышалась и польская, и латинская, и французская речь, но преобладала итальянская. У дверей в королевский кабинет стояло два парадных гайдука; по зале шныряли и торопливо перебегали в другие апартаменты королевские джуры (пажи).

Раскрылась боковая дверь, и в нее вошел тучный и важный коронный надворный маршалок Адам Казановский, один из высших сановников и фаворитов короля. Маршалка особенно старила полуседая клочковатая борода и почти белые волосы, не подбритые, а зачесанные космами назад; только бегающие глаза изобличали в нем еще жизненную силу и юркость. Егомосць вошел шумно, в накинутой на плечи бархатной мантии, отороченной соболями, с таким же воротником, и окинул

собравшихся презрительным взглядом. Все мертво притихли и занемели в почтительно наклоненных позах.

Сделавши общий, едва заметный поклон, Казановский величественно направился к дверям кабинета, стуча своим маршальским жезлом; но, заметив в стороне московского посла, сразу изменил надменное выражение своего лица на необычайно приветливое и, подошедши к нему, протянул ласково руку:

— Какая приятная неожиданность,— заговорил он заискивающим тоном,— ясновельможные бояре его царского величества самые желательные и самые почетные гости у нас.

— Спасибо на слове, ясный пан,— ответил просто и искренно Львов, поглаживая рукой свою русую бороду,— милости просим и к нам: Москва для врагов страховата, а для друзей таровата.

— Рад, рад,— улыбнулся как-то двусмысленно Казановский,— с добрыми, надеюсь, вестями?

— Да как пану сказать? Всякие есть... и добрые, и худые,— подозрительно оглянулся Львов на посетителей, с любопытством останавливавших на нем взоры.

— О? — изумился сконфуженно Казановский.— Это прискорбно: всякая неприятность для его царского величества причиняет еще большее огорчение нашему найяснейшему королю. Ведь он питает братскую привязанность к пресветлому московскому государю... А как, кстати, его здоровье?

— Наш пресветлый царь и великий князь всея Руси зело немощен,— вздохнул глубоко Львов,— и дни царевы, и сердце его в руце божией, но недуг еще отягчается кручиной, что дружелюбная держава, с которой закреплен прочный мир, воспитывает и таит для крамол в своих недрах...— здесь Львов понизил голос и начал шепотом вести беседу с паном маршалком; последний, встревоженный передаваемым известием, видимо, старался и жестами, и тоном успокоить возмущенного московского посла.

Из внутренних покоев выбежал с визгом королевский дурнык; на нем был надет особенный шутовской костюм, представлявший смесь из облачений католических, протестантских, униатских и греческих, а на голове надета была иезуитская шапочка с прикрепленною

к ней болтавшеюся змеей; в одной руке он держал нож, а в другой факел и, звеня бубенчиками, кричал: «Угода, угода! Тарновское примирение!» Все улыбались, отворачиваясь из вежливости в сторону. А дурнык, расхохотавшись и показавши язык, крикнул всем: «Ждите, ждите, и вам будет такая угода!» — да и направился, прихрамывая, вприпрыжку, к кабинету...

Казановский, поклонившись почтительно Львову, поспешил к шуту и остановил его у дверей в кабинете.

— Ты уже слишком, вацпане, смотри, чтобы не досталось... ведь король в жало́бе (трауре).

— Мы уже не в жалобе, пане маршалку,— скривился шут,— мы уже выгнали ее из сердца... ха... ха... ха! Зачем там долго трупу стоять? Мы уже думаем... э-го-го!

— Но ты уж чересчур, пане дурню.

— Не мы чересчур, пане маршалку, мы ничего не можем,— сгорбился он,— мы боимся... И кусались бы, да зубов нет, а вот кругом так зубатые звери, а над ними еще позубастее. Займите, пане маршалку, подскарбию хоть два злота, а он нам займет,— протянул шут руку.

— Досыть! Довольно! — грозно произнес Казановский, взбешенный оскорбительною выходкой шута.— Или я тебя вздую!.. Что, его королевская мосць почивает?

— Потягивается и трет себе руками найяснейший живот,— опустил шут глаза.— Мы вчера катались в Виляново, пробовали каплунов, а потом охотились немного и пробовали копченые полендвицы, а потом слушали итальянских певиц и пробовали винцо Лакрима Кристи, ну, так вот как будто и вздулись.

— Эх, не бережется он! — вздохнул Казановский.

— Да, нужно всем беречься,— подчеркнул шут, пристально глянувши в глаза пану маршалку.— Ой, угода, угода!

— Не дури, дурню,— заметил сурово маршалок,— а ступай сейчас к его королевской милости и доложи, что много народу ждет аудиенции и что прибыли чрезвычайные послы из соседних держав.

Дурнык, крикнувши еще раз: «Угода, угода!» — скрылся за небольшою, спрятанною за портьерами дверью.

Казановский проводил его злобным взглядом и стал

перебирать бумаги, лежавшие в большом беспорядке на круглом, роскошно инкрустированном столе.

Кабинет короля бросался в глаза кичливою роскошью и богатством; он был убран и обставлен страшно пестро; все в нем было полно непримиримых противоречий и не выдерживало никакого стиля. На плафоне *, в раме из лепных, кружевных арабесков, изображены были кистью итальянских художников купающиеся и резвящиеся с сатирами [137] нимфы и там же из медальонов в углах смотрели угрюмые католические святые на шаловливых красоток. Стены кабинета были покрыты изящнейшими гобеленами, составлявшими тогда невиданную редкость, а между этими тончайшими произведениями искусства грубо и резко возвышались целые арматуры из всевозможнейшего оружия. С высоких разноцветных окон и дубовых дверей спадали мягкими широкими складками бархатные портьеры, и эти же роскошные ткани поддерживались простыми стальными подковами и стременами. В углах и простенках, между мраморными и бронзовыми статуями соблазнительно-прекрасных богинь, торчали неуклюжие чучела медведей и вепрей, трофеи его королевской мосци. Среди массы золоченой и инкрустированной мебели, покрытой штофом и тисненым сафьяном, неприятно резали глаза грубые табуреты из спаянных ядер.

Меж серебряных и золотых канделябр и консолей нежной работы грубо возвышались треножники из стрельб и пищалей, на которых водружены были уродливые светильни. На столах между группами многоценных золотых сосудов, фарфоровых фигур и изящных безделиц валялись клыки, отделанные копыта, турьи рога. В довершение всего, посреди кабинета стояла какая-то новоизобретенная небольшая пушка, а у нее ютились различные музыкальные инструменты: цитры, торбаны, флейты. Вообще в этом королевском покое не видно было ни комфорта, ни красоты, а сквозила во всем и расточительность куртизанки и суровость солдата.

Два джуры распахнули дверь, и в нее вошел Rex Poloniae Владислав IV. Королю было уже под пятьдесят лет, но на вид ему можно было дать еще больше. Лицо

---

* Плафон — стеля, прикрашена живописом, часто з ліпленням.

его, чрезвычайно приятное и симпатичное в молодости, теперь выглядело обрюзглым, желто-серым и пестрело морщинами; длинные, полуседые волосы, подстриженные спереди, закинуты были назад и беспорядочными прядями спадали на плечи и спину; бородка, по шведской моде, была подстрижена треугольничком, а усы зачесаны вверх. Отяжелевшая фигура, при среднем росте, казалась мешковатой и толстой. В подагрической походке и в движениях короля замечалась болезненная вялость, а заполученная им в последние годы одышка заставляла его часто вздыхать. Одни лишь темные и живые глаза его, обрамленные ресницами и бровями, горели еще и до сих пор огнем и изобличали неумершую энергию; но выражение их было большею частью грустным; при возбуждении или какой-либо радости лицо короля сразу преображалось, щеки покрывались румянцем, глаза загорались, в движениях появлялась бодрость и живость; но это поднятие сил погасало так же скоро, как и вспыхивало. Одет был король, по случаю траура, в черный кунтуш, с серебряными аграфами и подпоясан черным же шелковым поясом с белою бахромой.

Не успел войти король, как из-за него выскочил дурнык и, гремя бубенцами, начал кружиться по кабинету и кричать, помахивая факелом и ножом: «Угода, угода — вот что для народа!»

— Тише, дурню! — топнул ногою король, притворно сердясь.— Ты мне еще все перепортишь, переломаешь!

— Не бойся, Владю, друзья вот эти,— замахал он иезуитской шапочкой,— все тебе здесь поправят, все склеят.

— Да ты, ясный круль, хлыстом потяни этого дурня,— заметил маршалок,— чтобы язык привязал, а то он уж чересчур... или мне дозволь попотчевать его этим жезликом.

— Стоило бы,— улыбнулся король,— да подкупил он меня своею шапочкой, а особенно ее кетягом: эмблема-то вышла верна... Ну, однако, гайда с покоя!— ударил он слегка ногой дурныка, и тот, завизжав по-собачьи, выполз на карачках из кабинета.

— Ну, что там, пане Адаме? — протянул король теперь небрежно руку маршалку.— Если твои собеседники интересны, то я готов им уделить часть своего време-

ни, а если скучны, то избавь: я сегодня чувствую себя скверно, male...

— Твоя королевская мосць,— заметил несколько фамильярным тоном Адам,— не совсем внимателен к своей священной особе, что печалит до слез твоих щырых друзей... Что же касается просящих аудиенции, то есть между ними важные послы, например, от герцога Мазарини...

— От герцога... ах, догадываюсь,— прервал его с усталой улыбкой король,— он предлагает мне то, что рекомендовал еще Ришелье...[138]

— О, было бы великолепно, мой ясный крулю!.. Мария де Невер [139] обладает и красотой, и добродетелями, и огромными богатствами.

— Последнее самое важное...— вздохнул король,— и для меня, и для тебя, пане...

— Да, мое счастье, король, связано с твоим, верно,— ответил приподнятым тоном маршалок,—при твоей ласке я не буду убогим, а без нее я не хочу быть богатым.

— Спасибо, друг,— протянул ему руку король,— но без пенензов это самое счастье невозможно... Я вот,— заговорил он вдруг по-латыни, так как языком этим владел лучше польского,— прошу денег и у тебя, и у подскарбия и слышу один и тот же ответ: «Чересчур поистратились на похороны...» Но ведь я же король? Не могу же я стать ниже Радзивиллов, Сапег, Вишневецких? На меня смотрит весь свет... да и любил я мою бедную Цецилию, подарившую мне Сигизмунда...— прервал он речь несколькими тяжелыми вздохами,— да! А вот через то, говорят, денег нет... А они нужны, боже, как нужны!— опустился он тяжело в кресло.— И на мои предприятия, и на... вооружение... и на... Нужно же хоть как-нибудь развлечься, а то кисну и подпускаю к себе неотвязного врага своего — болезнь... Меня только и поддерживает кипучая деятельность. Вот бы устроить турнир...* Пригласить рыцарей, дам... Торжественные шествия, состязания, награды, пиры!— оживился он и даже вспыхнул слабым румянцем.— Да, хорошо бы... А знаешь,— встал он живо и положил маршалку на плечо руку,— какого я вчера слушал итальянского соловья, какие глаза-а!.. Нет, видно, в силу

* Турнир — рицарські змагання у бойовій вправності й силі.

государственных соображений, придется мне принять невесту Мазарини...

— Да благословит твою королевскую мосць всевышний, а нам ниспошлет радость!.. Уныние воистину грызет душу и тело... да и печалиться об усопших... значит роптать на волю господню...

— Да, это грех...— произнес раздумчиво Владислав.— А кто там еще?

— Чрезвычайный посол от его царского величества московского государя.

— А что? Может, умер уже? — оживился король.

— На одре смерти...

— Ах, этот московский престол! — потер себе досадливо лоб Владислав и прошелся несколько раз по комнате.— Целую жизнь манил меня и до сих пор жжет... хоть и отказались мы от него по Поляновскому миру[140], но сердце мое отказаться не может! Эх, если бы не отец! Я был бы царем, достойным Москвы: меня бы там полюбили... Я бы не навез туда противных иезуитов, как этот путанник Димитрий [141]; фанатиков я сам терпеть не могу и чту толеранцию* да свободу совести... А какой там славный, преданный царю своему народ! Ах, что бы я с тамошними войсками да с козаками наделал! Езус-Мария! Да я бы разгромил эту татарву, слил бы с Москвой Речь Посполитую, уничтожил бы произволы, бесправья, насадил бы везде законную, разумную свободу, науки, художества, а потом с этакою мощною державой покорил бы весь свет... не для того, как Александр Македонский[142], не для ярма, не для рабства, а для широкого блага!

Речь короля звучала теперь бодро и страстно, глаза сверкали огнем; облокотившись одною рукой на пушку, простерши другую вперед, он был похож в этот миг на какого-то мощного гения, несущего миру новую счастливую весть.

— О мой найяснейший витязь, непобедимый герой,— произнес увлеченный Адам,— сколько доблестей в твоей великой душе! Но разве окружающие тебя вороны и коршуны могут подняться до высокого полета орла?

— Да, они меня не могут и не желают понять,— пе-

---

* **Толеранция** — поважання чужих думок, вірувань; віротерпимість.

чально склонил король голову,— они знают только самих себя и о своих животах лишь пекутся. Что им грядущее, что им отчизна? Бился я сколько лет, чтобы поднять ее, и чужие знали мой меч, но свои опекуны и советчики обрезывали постоянно мне крылья, и вот так прошла жизнь. Одну корону отклонил от меня мой отец, от другой, наследственной, шведской, я сам отказался, третья, теперешняя, оказалась шутовским колпаком, а сын мой, очевидно, останется уже с непокрытой головой.

— Не отчаивайся, король,— возразил с неподдельным чувством маршалок,— у бога все готово, лишь бы тебе только побольше здоровья и сил, а истинных друзей хотя пока и немного, но они верны. Пороху бы только да пенензов. А когда вооружишься, то и о престолах можно будет размыслить. В Москве царь умирает, подготовляется новая смута, так тебе нужно быть наготове.

— Это превосходно, отлично,— снова заходил быстро король по кабинету, потирая руки,— да, нужно спешить, жизнь уходит, нельзя терять ни минуты,— говорил он словно сам себе,— нужно решиться на брак, совершить его поскорее. Кинуть все колебания и броситься на борьбу со слепою фортуной... Кто там еще ждет? — остановился он быстро перед Казановским, дыша порывисто и не замечая своей одышки.

— Там еще дожидается Боплан, инженер, какой-то изобретатель нового ружья, профессор иностранного университета, два итальянца-художника и венецийский певец...

— Все это милые и дорогие мне гости,— пощипывал себя за бородку король,— но попроси их лучше навестить меня вечером... пригласи на келех мальвазии... а сейчас я займусь серьезными государственными делами... Может, еще кто ждет?

— Вероятно, канцлер приведет еще своих посетителей, но он от меня ведь скрывает...

— Не сердись, друже,— высшие интересы требуют тайны, а тайна между тремя — уже не тайна.

В это время отворилась из аванзалы дверь и в кабинет вошел без доклада великий коронный канцлер князь Оссолинский. Пан маршалок поздоровался с ним вежливо, но сухо и, поклонившись почтительно королю, поспешно вышел другою дверью во внутренние покои.

— Ну, с какими вестями?— протянул Оссолинскому обе руки король.— С добрыми ведь, с добрыми? Я сегодня особенно бодро настроен, я жду только хорощего.

— Нам только и нужно бодрости да здоровья твоей королевской милости, а при них все остальное у яснейших стоп,— поклонился изысканно канцлер и, оглянувшись по привычке кругом, сообщил пониженным голосом:— Прибыли из Украйны от козачества вызванные мною сотник Хмельницкий и есаул Барабаш; их нужно бы сегодня принять.

— Весьма, весьма рад... Этот Хмельницкий — умная голова и отличный воин,— оживился король,— но не знаю, как это сделать. Тут ждут другие аудиенции — послы иностранных дворов московского, французского.

— Еще прибыл с чрезвычайными полномочиями и посол из Венеции Тьеполо... привез отраднейшие постановления совета десяти.

— Нет, что ни говори,— воскликнул король,— а ты у меня наилучший друг, наиприятнейший!.. Я просто помолодел от твоих сообщений! — И король в порыве радости обнял неожиданно Оссолинского.

— Дал бы только милосердный бог,— поцеловал в плечо короля тронутый лаской канцлер,— сжалился бы над нашею несчастною отчизной... О, смирились бы все твои враги, а народ... не шляхта, что одна присваивала себе имя народа, а все козаки и все посполъство благословляли бы имя отца своего Владислава... И не в одних костелах бы молились за продление твоих дней, а и в церквях, и в кирхах, и в хатах при свете лучины... Но пока еще предстоит борьба с врагами порядка и закона, с врагами величия нашей злосчастной державы, с врагами народного счастья... и они, враги эти, без борьбы не уступят ни своего золотого разгула, ни своей хищнической неправды... Но если только ты, король, колебаться не будешь и поддержишь своею бодростью и отвагой твоих непреложных друзей, то все кичливое, безличное упадет перед твоим светочем правды. За правого и за смелого бог!

— Клянусь,— сказал торжественно король,— лишь бы мои друзья меня поддержали...

— Жизнь наша за короля и за благо отчизны! — воскликнул с достоинством канцлер.

— Верю! — приложил руку к сердцу король и прибавил: — Однако пора начать прием... Присылай первого московского посла Львова.

Оссолинский вышел и через минуту ввел в кабинет Львова.

— Всемилостивейший мой государь, царь и великий князь всея Руси и самодержец,— поклонился в пояс Львов,— желает твоему королевскому величеству здравия и преуспеяния в державных заботах.

Львов говорил по-русски, так как Владислав IV еще в молодости, готовясь быть московским царем, изучал русскую речь.

— Благодарю от души венценосного брата по трону за его внимание,— ответил тем не менее по-польски король.— Пусть пан посол передаст его царской милости, великому московскому государю, что мы молим всевышнего о ниспослании ему исцеления от недугов и даровании всяких благ, что мы будем счастливы, если сможем чем доказать наши дружественные чувства к царственному соседу.

— Пресветлый мой царь-государь, с своей стороны, питает к тебе, наияснейший король, в душе своей чувства великого доверия и приязни и просит тебя, государь, изловить некоего предерзостного шляхтенка, именующего себя якобы сыном Димитрия, бывшего вора и похитителя трона Гришку Отрепьева [143], каковой воренок и подписуется царским именем.

И Львов рассказал подробно, как киевский поп достал такое крамольное письмо, переслал его в Москву и как оно там произвело смуту и соблазн, а в конце посол бил челом от имени московского царя, чтобы выдал король его царскому величеству этого подлого воренка для розыска над ним и для торжественной казни.

— Я позволю себе заметить,— отозвался канцлер,— что это событие casus fatalis *, или, лучше сказать, шутка, совершенно неверно истолкована его царской милости: такой шляхтич действительно существует из фамилии Лубов и живет на Подлясьи [144], но совершенно невинен — никаких мечтаний не имел и не имеет, просто совершенный дурак.

* Нещасний випадок *(лат.)*.

— Но, однако же, письмо и титулованье? — прервал его недоумевающий и возмущенный король.

— Это вот что, — продолжал канцлер,— еще при войнах с Московиею покойного приснопамятного родителя твоей королевской милости Жигмонта великий литовский канцлер Сапега, для устрашения воюющей стороны, придумал назвать одного молоденького хлопчика, вот этого Луба, сыном умерщвленного Димитрия, что на час в Москве был царем, да не только назвал, а и приказал хлопчику, глупенышу еще, подписываться царем... Так вот, вероятно, это одно из тех детских писем; хлопец же знает только свой огород и понятия не имеет о царствах. Так грех же, не годится своего невинного гражданина отдать на мучения.

— Я вполне убежден,— заключил после некоторой паузы король,— что и царственный брат мой, узнавши об этой пустой, хотя, быть может, и грубой шутке сошедших уже с сего мира лиц, не будет настаивать на казни невинной жертвы... Но для рассеяния сомнений и успокоения его царского величества я могу согласиться на следующее: отправить с моими послами в Москву этого шляхтича как неприкосновенное лицо,— пусть он там принесет свои оправдания.

Король наклонил слегка голову, и посол с низким поклоном удалился; Оссолинский проводил его до дверей, пригласив к себе для дальнейших распоряжений и разъяснений.

Вслед за Львовым представился королю посол кардинала Мазарини. В изящной, несколько напыщенной речи приветствовал он на французском языке короля от имени его эминенции *, передал всякие благопожелания и дружеский совет не питать скорбь свою долгим трауром, а вступить во второй брак; что Мария де Невер, исполненная всяких телесных и душевных красот, уже десять лет мечтает быть подругой первого рыцаря и коронованного героя; что этот брак, принося королю много материальных выгод, скрепил бы союз двух держав, а дружба Франции будет искреннее и полезнее дружбы алчных соседей, так как она будет бескорыстной.

---

* Эминенция — титул католицьких єпіскопів та кардиналів.

Плохо владея французским языком, король ему отвечал по-латыни:

— Я тронут до глубины души благосклонным вниманием ко мне его яснопревелебной мосци и благодарю за добрые пожелания и советы. Известие, переданное мне ясным паном, что ее светлость готова меня наделить новым счастьем и уврачевать мои сердечные раны, до того восторгает меня, что я готов молиться за нее, как за ниспосланную мне богом отраду. С неописанною радостью я принимаю совет его эминенции, а осуществление его почту за великое счастие... Передай, ваша мосць, яснопревелебнейшему кардиналу, что я немедленно шлю в Париж почетнейшее посольство, которое засвидетельствует ее светлости, что она уже владеет моим сердцем вполне и что я жду ее с трепетом нетерпения в пределы моей державы, чтобы торжественно назвать своею супругой и королевой... А шановному вестнику такого счастливейшего для меня известия я предложу на добрую обо мне память вот это...— и король, снявши с пальца драгоценный перстень с огромным рубином, вручил его изумленному от неожиданности послу.

Француз принял его, поцеловал край королевской одежды и рассыпался в нескончаемых благодарностях.

— Я ошеломлен от восторга и радости,— произнес, наконец, Оссолинский, не ожидавший такого скорого и благодетельного решения со стороны короля.— Нет, небо за нас, коли оно внедряет в твое сердце, король, такие счастливые для всех и благие чувства... Приношу искреннейшее поздравление его королевской милости с ожидаемым счастьем и предсказываю, что это счастье будет счастьем его народа.

— Дай бог! — пожал ему руку король и отпустил милостиво посла.

В это время вошел джура и возвестил, что в аванзалу пришел венецийский посол.

— Проси! — весело крикнул король, а Оссолинский бросился к двери, ему навстречу.

В кабинет вошел красивый и изящно одетый итальянец. Черные вьющиеся волосы и такая же бородка рельефно оттеняли белизну его лица, а черные, большие глаза, что маслины, то щурились хитро, то вспыхивали огнем. На венецианце надет был бархатный черный камзол с серебряными аграфами, из прорезных рукавов

которого проглядывали фиолетовые атласные полосы; на открытой груди и на шее снегом сверкали роскошные, тончайшие кружева; черные бархатные шаровары покрывали ноги лишь до колен, а от колен шли шелковые пунцовые чулки; ноги были обуты в пунцовые же элегантные башмаки; у левого бока висела шпага, а на плечи накинута была мантия фиолетового цвета с серебром.

— Добро пожаловать,— приветствовал его король по-итальянски,— сыны царицы морей нам особенно дороги.

— Несчастная царица, осажденная дикими варварами [145], протягивает к тебе, найяснейший король, свои руки и уповает, что благороднейший витязь поднимет непобедимый свой меч на защиту сестры своей, на защиту святого креста, на погибель ислама!

— Пока бьется в груди этой сердце,— ответил торжественно король,— пока рука владеет мечом, я весь отдаю себя угнетенным. Но для исполнения желания нужно иметь возможность, а возможность не всегда зависит от нас.

— Для облегчения этой возможности,— опустил глаза Тьеполо,— я привез решение совета десяти — отпустить вашей королевской милости на военные издержки шестьсот тысяч флоринов.

— Это действительно развязывает нам руки, светлый пане,— поторопился заметить канцлер.

— Да,— добавил король,— и чем поспешнее осуществится это благое решение, тем скорее и мы можем начать действовать.

— Я привез вашему королевскому маестату часть этой суммы с собою,— посмотрел пристально в глаза королю Тьеполо,— и если морская диверсия, о которой мы говорили, отвлечет турок от Кандии [146], то немедленно будет выплачена и остальная сумма...

— Все это так,— замялся король,— но набег козаков может вызвать немедленное нападение на наши границы татар, а потому нам крайне необходимо быть во всеоружии.

— Можно и это уладить,— улыбнулся лукаво посол,— республика желает быть только уверенной, что войска готовятся для войны с неверными, а не с какой-либо другой державой.

— Полагаю, что для этой уверенности достаточно одного моего слова! — гордо ответил король.

— Совершенно достаточно,— нагнул голову посол,— святейший папа шлет свое архипастырское благословение и разрешает силой, данною ему свыше, все прегрешения тому, кто подъемлет брань на врагов Христовых. Его эминенция нунций вручит вашему маестату папскую буллу.

— С смирением лобзаю стопы его святейшества,— сложил набожно руки король и наклонил голову.

— А и время теперь самое удобное,— продолжал вкрадчивым голосом Тьеполо,— силы турок разбросаны. Один отважный удар — и поднятые рога месяца будут сбиты; перед мечом короля-героя и мощные силы склонялись, а орда будет разметана, как листья в бурную осень, и Крым со всеми своими богатствами и роскошами ляжет у ног победителя... Тогда-то исполнится вековечное стремление Речи Посполитой развернуться от моря до моря, тогда-то она только и станет несокрушимою державой.

— И развернемся,— вскрикнул восторженно Владислав,— если только господь не отвратит десницы своей... Завтра,— добавил он после небольшой паузы,— мы обо всем переговорим поподробнее... Я жду светлого пана к себе на обед и на келех нашего доброго старого меда...

По уходе Тьеполо король опустился от усталости в кресло и, закрыв рукою глаза, долго дышал тяжело: возбужденное состояние уступило теперь место болезненной истоме.

Оссолинский смотрел на него с тревогой и с глубоким сочувствием; глаза канцлера, блестевшие сейчас радостью и надеждой, отуманились вдруг печалью.

«Эх, горе,— думалось ему,— куда твои силы ушли, мой одинокий в своих благородных порывах король? Подсекла их непосильная борьба с себялюбивым зверьем, подгрызли разочарования и обиды! И вот теперь, когда колесо фортуны повернулось к нам благосклонно, когда именно нужна твоя мощь и энергия, тебя валит с ног даже радость!»

— Устал я,— вздохнул глубоко король, словно отвечая Оссолинскому на его мысли,— всякое волнение, даже отрадное, отнимает у меня силы...

— Побереги их, ясный король,— произнес тронутым голосом канцлер,— в них все упование, все спасение горячо любимой тобою страны... Я знаю искусных докторов...

— Эх, что в них! «Цо докторове, як смерць на глове?..» Но я поберегусь, да и вся эта суета и предстоящая кипучая деятельность поднимут мои жизненные силы... Но на сегодня, полагаю, довольно... Дай бог, чтобы такие счастливые дни повторялись почаще!

— Еще нужно принять одних...— начал несмело канцлер.

Король поморщился.

— Приехала ведь козачья старшина...[147]— таинственно продолжал канцлер.— Барабаш и Хмельницкий, о которых я докладывал твоей королевской мосци... Дело минуты: обогреть их ласковым словом, вручить клейноды... А о делах уже я буду говорить с ними отдельно.

— А! — встал король и потер рукой крестец.— Зови их; я этих удальцов люблю, а особенно старого знакомого сотника.

— Вот подписанные твоей власной рукой привилеи,— подал Оссолинский сверток,— я приложил к ним малую печать, не желая возбуждать у Радзивиллов подозрений.

Король засмеялся беззвучно и уныло покачал головой.

В боковую дверь вошли Барабаш с Хмельницким и молча наклонили свои головы.

— Я рад вас видеть, друзья мои,— подошел к ним с приветливою улыбкой король,— к вашей доблести, преданности и чести я питаю большое доверие и убежден, что вы его оправдаете. В доказательство же нашего монаршего благоволения мы возводим тебя, Барабаш, в полковничье достоинство,— подал ему он пернач,— а тебя, Хмельницкий, жалуем вновь прежнею должностью,— вручил он ему привесную к груди чернильницу.

— Да хранит бог нашего найяснейшего короля, нашего коханого батька,— восторженно воскликнул Богдан, так как Барабаш, смущенный неожиданною радостью, что-то невнятно мямлил,— и да пошлет нам быть достойными его державной ласки...

— Не сомневаюсь,— оживился снова король,— верю, храбрый мой рыцарь! Помнишь ли, под Смоленском вместе мы бились... прорезались, загоревшись отвагой, впереди всех и очутились в самом пекле... Перуны гремели кругом... Смерть бушевала... А ты с улыбкой рубился и защищал меня своею грудью. Эх, славное было время! Помнишь ли?

— Я бы вышиб из этого черепка мозг,— дотронулся до своей головы энергично Хмельницкий,— если бы он забыл эти счастливейшие для меня дни! Да вот еще свидетель — эта драгоценнейшая для меня сабля, эта святыня, дарованная мне вашею королевскою милостью,—и Богдан обнажил саблю и поцеловал ее клинок.

— Ах, да, да! Помню,— волновался воспоминаниями король,— может быть, еще приведет бог... Передайте и козакам мой привет и эти привилеи,— вручил он Барабашу пергамент [148].— Егомосць канцлер сообщит вам инструкции... Я надеюсь, что найду в моих удальцах избыток отваги и преданности, и когда я кликну им клич, то они слетятся орлами.

— Умрем за короля! — крикнул Барабаш.

— Рабами, псами верными будем! — добавил Богдан дрогнувшим от волнения голосом.— Наша жизнь, и жизнь наших жен и детей, и все наше добро у ног твоего величия! Слово скажи — и трупом все ляжем... и нет высшей радости, как умереть за такого, богом данного, батька!

— Спасибо, товарищ! — протянул король руку, и в глазах его остановилась слеза.

Богдан наклонился к протянутой руке и поцеловал ее, как святыню.

Из-под тонких пальцев Марыльки медленно выплывали по зеленому бархату золотые цветы. Иногда она склонялась задумчиво над пяльцами, иногда устремляла пристальный взор в глубину комнаты, и тогда иголка с золотою ниткой застывала неподвижно в ее белой и тонкой, словно изваянной из мрамора, руке. Скучная работа подвигалась медленно, а взволнованные мысли кружились в красивой головке с неудержимой быстротой. Снова он, так неожиданно, нежданно! Правда, она пересылала ему письмо, но никогда, никогда не

надеялась, чтобы это исполнилось так скоро. Быть может, дела призвали его в Варшаву, а может... У Марыльки сердце замерло на мгновенье. Раз уже он явился на ее пути, раз вырвал ее из опасности. И вот он снова перед нею и во второй раз! Ах, не указание ли это божие? Не послан ли он и в этот раз вынести ее на своих плечах из этой гадкой тьмы?

Марылька отбросила с досадой иголку и откинулась на деревянную, обитую кожей спинку кресла. Длинные собольи ресницы полузакрыли ее синие глаза, на нежных щеках вспыхнул яркий румянец и разлился вплоть до маленьких ушек, а шелковистая, золотая коса спустилась до самой земли.

— Да, из тьмы, из гадкой, ненавистной, постылой тьмы,— прошептала она тихо, полуоткрыв свои небольшие, но резко очерченные губы.

Вот уже четыре года, как она здесь, в этом роскошном доме, но легче ли ей от этого? О нет, нет! Правда, она не знает нужды, она не терпит особого унижения, ее даже дарят Урсула и пани канцлерова своими обносками,— по лицу Марыльки пробежала презрительная улыбка,— но разве эта жизнь для нее? Стройная фигура ее гордо выпрямилась, и в широко открытых синих глазах блеснул холодный, надменный огонек. А сначала, когда ее взяли и думали возвратить от Чарнецкого все ее имения, с нею обращались не так. Ею все тешились и любовались, слушали ее рассказы и показывали ее знатным панам, а когда с Чарнецким не удалось дело и особенно когда она стала взрослой панной, а Урсула — невестой, о, как ловко по-магнатски оттерли они ее на задворки и показали, что ее место, как бедной приймачки, здесь, у этих пялец, или в покоях Урсулы, смотреть за пышными уборами панны или тешить ее, когда на панну нападает капризная тоска. О, эта Урсула!

Марылька закусила губу и сжала свои соболиные брови; ее тонкие выточенные ноздри гневно вздрогнули, а в синих глазах блеснул снова холодный и злой огонек. Все ее муки, все унижения через нее! «Бледная, худая, со своими выпуклыми, бесцветными глазами, с волосами ровными и желтыми, как и длинное лицо,— перечисляла она с ожесточением все достоинства дочери коронного канцлера,— со своею маленькою головкой

и постоянными думками о том, что можно, а чего нельзя да о чем говорил пан пробощ. И эта мертвая, бездушная кукла попирает ее, заступает ей дорогу к жизни, к свету, к красе!

Марылька с ожесточением оттолкнула от себя пяльцы и поднялась во весь рост.

Да, именно она! С тех пор, как эта краля стала невестой и занялась полеваньем на женихов, затворничество приймачки стало еще строже: им страшно выпускать ее в свет рядом с Урсулой... У Урсулы приданого-то немного, и она должна поймать себе мужа своею красой,— даже фыркнула Марылька,— и канцлеровскою печатью... Вот и ловят дурня!

Уж, конечно, не что иное, как эта печать, привлекает к себе длинноногую цаплю, этого Самуила Калиновского...[149] Отец его мечтает стать при помощи тестя коронным гетманом... Ну, и пусть себе! Цапля цапле пара! А мне то за что эти вечные будни?»

Марылька прошлась по светлице.

О, эта серая, скучная жизнь! Ей... ей, Марыльке, которая рождена для роскоши, для красы! Да лучше б отпустили ее на волю! Она сумела б сама найти себе дорогу, при красе своей она не побоялась бы отправиться и с пустыми руками в путь! Так нет же, нет! Они оберегают ее, они не выпускают ее никуда, дальше этих скучных покоев. Жалко им, верно, расстаться с мыслью о ее наследстве, держат ее на всякий случай.

И зачем ее спас Богдан на турецкой галере? Попала бы она в гарем к султану, утопала бы в неге, в роскоши, в бриллиантах, в парче! Тысячи рабов были бы к ее услугам... Одного движения ее белой руки довольно бы было, чтоб осчастливить покорных и покарать врагов! «Ах, — задохнулась она от горячего прилива крови.— Голова кружится при мысли о той роскоши, славе и поклонении, которые разливались бы у моих ног!..»

Марылька глубоко вздохнула. Грудь ее вздымалась высоко, на щеках горел лихорадочный румянец, и маленькие прозрачные ушки пылали, словно в огне. Она снова прошлась по комнате и остановилась у большого венецианского зеркала, которое висело на темной, обитой коврами стене.

В глубоком стекле отразилась перед ней стройная молодая красавица.

Пушистые золотые волосы стояли вокруг лба ее, словно какое-то царственное сияние; синие глаза глядели смело и уверенно; из-за полуоткрытого розового рта выглядывали зубы, ровные и белые, как жемчужины. Шелковый кунтуш ложился вдоль ее стройной фигуры красивыми складками, плотно охватывая тонкий стан и высокую, пышную грудь.

Несколько мгновений Марылька стояла перед зеркалом молча, не отрывая от своего изображения гордого, самодовольного взгляда. Но вдруг складка между бровей ее расправилась, взгляд синих глаз сделался мягче и нежнее, и пленительная, огненная улыбка осветила все лицо молодой красавицы. «Нет,— прошептала она тихо,— куда им всем до меня!» Последние следы неудовольствия слетели с ее белого лба, в глазах заиграл кокетливый огонек, и все ее личико сделалось неотразимо обольстительным в это мгновение.

«Найдется ли во всем королевстве хоть один рыцарь, который бы устоял перед этой улыбкой? — Марылька повела лукаво бровью и усмехнулась своему изображенью.— О нет! Никто! Однако,— остановилась она и сдвинула свои соболиные брови, из-под которых сверкнули злым огоньком ее потемневшие, как сапфир, глаза,— и для этой красы нужна оправа. А без оправы,— усмехнулась она ядовитою улыбкой,— это мишурное, изношенное рыцарство не обратит и внимания. О бездушные твари,— топнула она ногою,— я испытала на себе ваше оскорбительное отношение, ваше надутое чванство, вашу мизерию! Как презираю я вас! Как бы я хотела теперь иметь силу и власть, унизить вас и наступить на вас своим башмаком! Да, все они продажны, все ничтожны, все!

А Богдан?»

Марылька отбросила головку и, зажмуривши глаза, постаралась вызвать в своем воображенье статный и величественный образ козака.

Высокий, дужий, с гордой панской осанкой и пылкой душой!.. На него б опереться не страшно! Правда, он из козаков. Но что до того? Гетман, настоящий гетман! Орлиный нос, усы черные, а глаза?.. О, она помнит, каким темным огнем загорались они, когда он глядел с восторгом на нее! Сердце замирало, разум

туманился от того горячего взгляда, который пронзал ее сердце острою стрелой насквозь. А как подымал он ее на своих дужих руках, словно легкое перышко...

Мысли Марыльки оборвались, и она вся застыла в каком-то сладком, смутном воспоминании.

Но вдруг головка ее сделала резкое движение, как бы желая стряхнуть с себя обвеявший ее сладкий туман.

Только ведь это было прежде, а как он взглянет на нее теперь?

Синие глаза Марыльки открылись снова и взглянули с улыбкой в зеркало.

Положим, что дела призвали его в Варшаву... но отчего они совпали как раз с ее письмом? А зачем он так вспыхнул, так изменился в лице, когда услыхал ее голос за дверью. Она ведь вскрикнула тогда нарочно и не отрывала от скважины глаз. А отчего он весь растерялся, он, такой уверенный и сильный, когда она бросилась к нему на шею? Отчего он прижал ее так горячо, слишком горячо для батька,— лукаво усмехнулась Марылька,— так, что она едва выскользнула из его рук? По лицу Марыльки скользнула снова самоуверенная улыбка.

«Да, он бы мог и умел бы любить. Но и тут... Ох, какая ж моя горькая доля! Между нами — несокрушимая стена! У него жена... семья. Э, да что тут рассуждать!» Нужно ввериться пресвятой деве, которая посылает его ей на помощь, и пользоваться случаем, чтобы вырваться из этой темноты!

Все же она ему дорога... У него отзывчивое сердце, да и будущее еще никому неизвестно, а под козацким широким и мощным крылом жить ей будет привольней и веселей! Не раз слыхала она среди магнатов его фамилию. Сам канцлер несколько раз упоминал о нем — говорил, что его ждет высокая доля... сам король интересуется им. «А! Да что там раздумывать! Хуже здешнего не будет! Лишь бы увидеться с ним, упросить, чтоб вырвал меня отсюда. О! — взглянула она с гордой улыбкой в зеркало,— татко Богдан не откажется быть моим опекуном!»

Двери тихонько скрипнули, и в комнату вошла молоденькая служанка с хорошенькою мордочкой плутоватого котенка.

Сделавши несколько шагов, она остановилась перед Марылькой и как бы замерла в немом восхищении.

— Ой панно, какая пышная, гордая краля! — вскрикнула она, всплескивая руками.— Когда бы мне хоть половина вашей красы, я б не служницей, а пышной панной была!

— А вот видишь, Зося,— вздохнула Марылька,— никто и не видит моей красы, так и увяну я в этих скучных мурах...

— Нет, кое-кто ее заметил,— усмехнулась лукаво Зося и приблизилась к Марыльке.

— Кто? Кто?..

— Тот красивый козацкий пан, что был у ясного князя пана канцлера.

— Ну, и что же? — перебила ее с нетерпением Марылька.

— Встретил меня у ворот и расспрашивал о панне.

— Ой, Зося, ласточка моя! — вскрикнула резво Марылька, охватывая ее шею руками.— Да если бы только удалось то, о чем моя думка, я бы взяла тебя с собою, зажили б мы не как приймачки, а как вельможные панны!.. Ну, и что ж?.. Что ты сказала ему?

— Говорила, что панна скучает, томится, ни с кем не хочет видеться.

— Зося! Разумница ты моя! — охватила Марылька снова ее шею руками.— Ну, и что ж?.. Что он на это?..

— Червонец мне дал... и велел передать панне поклон.

— Ой! Радость моя! Счастье мое,— вспыхнула вся Марылька и зашептала горячим шепотом, оглядываясь поминутно на двери: — Когда бы мне только увидеться с ним хоть на один часок... только, чтобы не знал об этом никто, кроме тебя! Ты не знаешь, Зося, какой он пан важный! Я верю, Зося, что у него высокий талан!.. А если бы мне только увидеться с ним, он взял бы меня с собой, а я бы упросила панну канцлерову взять с собой и тебя... Там у него заживем как вельможные панны,— золото у него сыплется из рук, как дождь с неба... Только бы мне удалось увидеться с ним!

Плутоватая рожица служанки приняла серьезное выражение. Ей самой уже надоело жить в строгом и скупом доме пана коронного канцлера, где и веселья никто не видал, где и пиры редко бывали.



М. П. Старицький. *Фото середини 70-х рр.*

Здесь же, у щедрой и не чванной Марыльки да у такого вельможного пана, который дарит за два слова червонцем, ей чуялось и привольное житье, и немалая добыча, а потому-то она и ответила, раздумывая:

— Оно бы хорошо и увидеться... пан не устоит против красы панянки... только где же и как?

— А, любая моя, подумай... ты все можешь устроить,— обняла ее снова Марылька и, снявши со своей шеи намисто, поспешно обвила им шею Зоси.

— Это намисто тебе... Нет, нет, не отговаривайся... тебе, тебе! А какая ты в нем лялечка, посмотрись в зеркало, Иосек с ума сойдет, как увидит тебя! Да что я, бедная, не могу теперь ничего больше дать тебе, а если ты мне это устроишь, вельможный пан озолотит тебя!

— Вот что,— заговорила боязливым шепотом Зося, оглядываясь на дверь,— сегодня вечером вельможное панство будет гулять на пиру у короля. Если б пан пришел вечером сюда, в замчище, через браму, как будто по требованию князя, я бы ему сунула в руки ключ от потайной калитки, что ведет к старой часовне.

— Отлично, отлично, Зося,— едва не захлопала руками Марылька,— только как же пересказать ему?

— Да, как? — повторила в свою очередь и Зося.

С минуту обе девушки напряженно молчали, но вдруг Марылька вскрикнула радостным голосом:

— Вспомнила, вспомнила, Зося,— сегодня он будет на приеме у короля, пан канцлер отправляется тоже туда с ним. Если бы ты, Зося, могла поболтать с Иосеком у брамы, пока пан рыцарь будет выходить со дворца?

— Я с Иосеком,— надула капризно губки Зося,— в ссоре, о чем с ним говорить?.. Он такой скучный, ревнивый.

— А ты помирись, так он и растает, тогда тебе удобно будет увидеть пана и шепнуть ему обо всем.

— Да уж разве только для панны,— улыбнулась лукаво Зося.

— Ой, Зося! Так устроишь, устроишь, моя лялечка? И если мне только удастся вырваться, вот тебе мое слово гонору... я возьму с собой и тебя!

Еще несколько мгновений лукавая рожица служанки оставалась в нерешительном замешательстве; оче-

видно, рискованность предприятия смущала ее, наконец заманчивая перспектива выгоды взяла верх, и, тряхнувши головкою, Зося шепнула решительно:

— Ну, постараюсь, и если пресвятая дева поможет, козацкий пан будет сегодня у ваших ног.

День тянулся для Марыльки невыразимо долго. Казалось, сборам и приборам панны Урсулы не будет конца. Все у ней не клеилось сегодня. И косы не укладывались вокруг головы, и сукня висела на худой и плоской фигуре, словно тряпка на палке, и, главное, видя рядом с собою в зеркале прелестное личико Марыльки, бледная, бесцветная Урсула приходила еще в большее раздражение. Наконец-то все было готово, и вельможное панство двинулось на пышный пир короля.

Запершись в своей светличке, Марылька занялась наконец и своим туалетом.

Распустивши пышные золотые волосы, она надушила их дорогими восточными духами и, свернувши в небрежный узел, приколола их слегка золотою шпилькой. Затем она набросила торопливо прозрачную турецкую ткань, взглянула в зеркало и осталась довольна собой.

Волнение придало ей еще какую-то особую прелесть: щеки ее побледнели, а расширившиеся зрачки делали глаза глубокими и блестящими, почти черными.

Часы глухо пробили на башне королевского замка. Марылька закрыла поспешно лицо прозрачной фанзой и неслышно скользнула из комнаты в коридор.

В темном повороте коридора чья-то маленькая ручка сунула ей большой ключ, и голос Зоси шепнул на ухо: «Идите смело, ни Иосека, ни стражи не будет у входа... Только не очень долго, а то ведь мне и надоест болтать с ними в сторожке до петухов... Пану я устроила проход. Только ж, на бога, возвращайтесь скорее... А то если панство узнает...»

Но Марылька уже не слыхала последних слов; сжавши в похолодевшей руке большой ключ, она поспешно двинулась дальше, затаив дыхание, словно беззвучная тень.

При входе сторожи не оказалось, и она проскользнула беспрепятственно в королевский сад.

Часть его, которая примыкала к дому, занимаемому паном канцлером, была совершенно дика и заброшена.

Марылька шла легко и быстро, подвигаясь к самому

концу его, где внизу, у замковой ограды, в зарослях сиреневых кустов находилась и маленькая забытая часовня.

Ночь стояла тихая, звездная, теплая.

Все было спокойно в переполненном ароматами воздухе, город спал в темноте. Только с замковых стен доносилось протяжно и глухо: «Вар-туй!.. вар-туй!..» — да издали, со стороны королевского замка, доносились временами волны веселой музыки. Стоя на некоторой возвышенности, он казался теперь Марыльке каким-то волшебным замком. Он весь горел огнями, и от этого остроконечные башни и спицы его казались еще темнее.

Марылька бросила в его сторону полный ненависти и зависти взгляд, стиснула крепко свои хорошенькие губки и быстро двинулась вперед.

В глубине сада, у самой замковой стены, она заметила маленькую часовенку. Сердце ее забилось усиленно, когда она вложила большой ключ в замочную щель; с трудом повернула она его и, толкнувши с силою дверь, очутилась в небольшой часовне.

Две большие иконы во весь рост человека поднимались прямо против дверей. У распятия горела большая красная лампада и освещала всю внутренность часовни таинственным и нежным полумраком. В глубине ее стоял черный бархатный аналой. Большая подъемная плита с железным кольцом образовывала пол.

В доме носился относительно этой часовни какой-то таинственный, романтический рассказ. Но Марылька теперь не думала о нем.

«Придет или не придет? — вот что волновало ее и заставляло биться тревожно ее неробкое сердце.— Зося говорила, что устроила ему проход сквозь потайную калитку, а что, как его заметили вартовые, а что, как его задержит что-либо, а что, как он не захочет прийти?» Это последнее предположение возмущало всю душу Марыльки.

— Нет, нет,— шептала она,— он не забыл своей Марыльки, он придет ко мне, как и примчался по моему письму.

Так прошло полчаса в тишине и молчании, прерываемых только иногда веселым взрывом скрипок,

который доносился слабым отголоском из королевского замка в эту уединенную тишину.

Богдана не было.

В высокие, стрельчатые окна часовни смотрело звездное небо, а сквозь полуоткрытые двери вливался душистый летний воздух. Волшебный замок сиял издали всеми своими блистающими огнями...

Слух Марыльки до того обострился, что, казалось ей, слышен был треск самой отдаленной ветки, падающей в саду.

— О боже, боже... неужели не придет? Неужели забыл? — шептала она, опускаясь на колени перед темным распятием.— В нем все мое спасение; он один только может вырвать отсюда меня!

Но потемневшее распятие глядело, казалось, с холодною суровостью на молодую красавицу, расточавшую суетные молитвы у его ног.

Вдруг до слуха Марыльки явственно долетел шелест раздвигаемых ветвей... так, так... еще и еще... шаги! Шаги!

Чуть не вскрикнула Марылька, чувствуя, как сердце ее замерло на мгновение, а потом снова забилось горячо и поспешно с неудержимою быстротой.

Одним движением руки она сбросила с плеч свое белое покрывало, заломивши руки, сложила их на аналое и опустила на них свою золотистую головку.

Шаги приближались. Теперь она могла уже явственно различать их. Вот кто-то остановился в дверях.

«Любуется, любуется...» — пронеслось в голове Марыльки, и она застыла еще неподвижнее в позе молящегося ангела.

А в дверях уже действительно стояла высокая и статная фигура Богдана.

Заступивши собою весь свет, проникавший в двери, он казался каким-то могучим, темным силуэтом, и только драгоценное оружие, парча и камни тускло блистали на нем при слабом свете лампады.

Перед ним, в глубине часовни, стояла на коленях Марылька, склонившись на аналой своей усталой головкой. Во всей ее позе было столько трогательной простоты и грусти, что Богдан почувствовал снова прилив необычайной нежности к этому слабому одинокому существу.

«Голубка моя! Дожидалась меня!.. Забылась... или заснула в молитве... не слышит, что я уже тут»,— пронеслось у него в голове. Вдруг он услышал тихий стон Марыльки, вырвавшийся с глубокой болью из ее груди.

— Марылька! — вскрикнул Богдан и бросился вперед. В одно мгновение поднялась Марылька с места.

Сначала лицо ее изобразило ужас, а потом все вспыхнуло искреннею детскою радостью и с подавленным возгласом: «Тату!» — бросилась она к Богдану.

Не успел опомниться Богдан, как две гибкие, полуобнаженные руки крепко обвились вокруг его шеи и что-то нежное, молодое, благоухающее прижалось к его груди.

— Дытыно моя, зирочка моя, рыбка моя,— шептал он порывисто, проводя ласковою рукой по ее плечам и спине.— Да посмотри ж на меня, или ты не хочешь и видеть своего татуся?

Но Марылька ничего не отвечала, а только еще горячее прижалась к Богдану, и вдруг он почувствовал, как все ее стройное тело начало нервно вздрагивать у него на груди.

— Марылька, Марысю, ты плачешь? — вскрикнул он, отрывая ее от себя и стараясь заглянуть ей в лицо; но Марылька поспешно закрыла его вуалем и, опустившись на скамью, прошептала тихо:

— Нет, я не плачу, не плачу, я такая дурная, глупая, я так обрадовалась татусю,— добавила она совсем тихо, улыбаясь виновато из-под легкой фанзы.

— Рада, рада? Так ты не забыла своего тата? Скучала?

— Ах, к чему спрашивать,— опустила печально головку Марылька,— ведь тату это все равно: четыре года я не получала от него ни весточки, четыре года встречала день божий слезой, а ночь — обманутой горькой надеждою.

— Дытятко мое! — сжал ее тонкую и нежную руку Богдан.— Неужели я тебя мог опечалить? Ведь я же тебе писал не раз и отдельно, и в листах к Оссолинскому.

Марылька слегка покраснела.

— Ничего, ничего не получала,— заговорила она

поспешно, закрывая лицо руками, и замотала головкой,— раз только передал мне князь от пана сухой поклон.

— Не понимаю, почему это и как,— развел руками Богдан,— а я сам оскорблен был твоим равнодушием, твоим молчанием. Думки были, что посланная богом мне донька, попавши в магнатскую семью, опьянела от роскоши и утех да сразу и выкинула из головки какого-то козака.

— Ах, тато, тато! Как тебе не грех так обо мне думать? — всплеснула руками Марылька.— Мне только и радости было, чтобы быть с татом, сжиться с ним, делить вместе и радости, и горе. Ведь мою семью господь смел, ведь сирота я на белом свете, а меня тато вырвал у смерти и бросил на чужие, холодные руки.

— Бросил? Я думал, что тебе здесь лучше будет, чем со мной... что пан канцлер выхлопочет у Чарнецкого твои маетки...

— Может, пану тату маетки — высшее счастье в мире, а Марыльке...— Марылька остановилась, губы ее задрожали, и она окончила со слезами: — Если бы ее любил хоть кто-нибудь на земле...

— Бедная, бедная моя,— проговорил с чувством Богдан,— так тебе нехорошо живется у пана канцлера?

— О тату, тату! — вскрикнула с горечью Марылька.— Лучше б мне было в турецкой неволе, чем здесь!

Марылька начала рассказывать Богдану о том, как она мучилась, сколько она выстрадала за эти четыре года, как она молила бога, чтобы господь взял ее, одинокую, забытую, к себе. Голос ее звучал то печально и тихо, когда она говорила о своих долгих страданиях, то проникался необычайною нежностью, когда она вспоминала о том, как в долгие, бессонные ночи думала о своем любом тате Богдане и о тех недолгих, счастливых днях, которые она провела вместе с ним. Глаза ее то вспыхивали огнем, то снова глядели на него грустно и печально. Она придвинулась к нему так близко, что ее горячее, порывистое дыхание обдавало все его лицо... И от этой близости прелестного, молодого создания, и от этого нежного полумрака, наполнявшего часовню, и от певучих отголосков музыки, долетавших тихою волной, и от чарующего аромата, наполнявшего все существо Марыльки, — Богдан чувствовал, как кровь приливала к его сердцу, к вискам, как тумани-

лось сознание, как все выскальзывало из его памяти, кроме этого дивного существа, так доверчиво льнущего к нему. Сегодняшний прием у короля придал ему еще больше силы и отваги; гордость и уверенность переполняли его сердце... Жажда жизни заставляла его биться энергичнее и сильнее. И ко всему — Марылька... Марылька, являвшаяся ему только во сне, только в мечтах, как мимолетное видение... здесь... близко, рядом с ним... шепчущая ему нежные слова... склоняющаяся своею душистою головкой к нему на плечо. Все это опьяняло Богдана и вызывало горячую краску на его красивое, гордое лицо. От взгляда Марыльки не ускользало волнение козака.

— Ах, тату мой, тату мой!— продолжала она еще мягче, еще нежнее.— Все они на меня... и все из-за панны Урсулы... говорят, что меня нельзя выпускать вместе с нею, потому что все панство засматривается на мою красу... Ах, на что мне, на что мне эта краса, и любоваться ею некому, и одно горе мне от нее! Ой тату, тату, как надоело мне все это чванное панство, все вельможи, все пиры! Ничего б я больше и не хотела, как жить в маленькой хаточке в вишневом садике, в далеком хуторке... Замучилась я тут, затосковалась... Нет, тату, у этого вельможного панства ни сердца, ни души.

— Радость моя, горличка! А я думал про тебя совсем иное! — вскрикнул горячо Богдан.

— Что же? Тато меня не знает, а здесь, ох, как тяжело, невымовно,— вздохнула Марылька и уронила руки на колени.— Я хотела просить тата вырвать меня отсюда, взять к себе, если... нет, не ждать уж мне счастья, лучше умереть!

— Зирочко моя! Бог с тобою, какие думки! — прижал ее головку Богдан к своей широкой груди и поцеловал золотистые пряди.— Да если моей дытыночке не скучно ехать к нам на тихие хутора, так это же счастье для меня, великое счастье!..

А Марылька продолжала еще более тихо и мягко, прижимаясь к его груди головою, словно искала у него оплота и защиты.

— Каждая птичка имеет своего защитника, каждый цветочек растет на родном стебельке, одна я не имею ни воли, ни доли, сохну и вяну в этих мурах. Ох, на

что спасал меня тато на турецкой галере? Лучше бы мне умереть тогда сразу с думкой о нем... Только ведь мне все равно не жить долго, если останусь я здесь еще — руки наложу на себя!

— Не останешься ты больше,— перебил ее Богдан,— я возьму тебя с собою, я попрошу пана канцлера, короля попрошу, они мне теперь не откажут,— в голосе Богдана послышалась уверенность и гордость.— Не будешь ты больше знать ни слез, ни горя, как дитя родное прийму я тебя. Только как покажется тебе после вельможнопанских покоев мой простой козацкий дом?

— Раем! — вскрикнула восторженно Марылька, а потом вдруг прибавила печально.— Только что же это я, а как еще вельможная пани примет меня, может, и не захочет? Я, глупенькая, о себе только и думала, а ведь в семье главное пани господыня...

— Ты про жену, Марылько? Квиточко,— начал смущенно и как-то неловко Богдан,— она бы рада была, она бы полюбила тебя, если бы была жива...

— Пани умерла? — вскрикнула Марылька, едва сдерживая захватывающий дыхание восторг, и, спохватившись, притихла, постаралась придать и лицу, и голосу выражение страшного горя.

— Еще не умерла,— поник печально головою Богдан,— но уже совершенный труп. Она десять лет не вставала с постели, а теперь уже не знаю, застану ли я ее? Страдалица, она, впрочем, только и молилась богу, чтоб поскорее принял ее к себе. Мы все привыкли уже к этому горю и не смеем на бога роптать.

— Ах, бедный, бедный тато! — заломила руки Марылька.— Мне теперь еще больше... Впрочем, что же могу я, бедная?.. Ох, как бы я желала утешить пана, помочь несчастной пани! — вскрикнула она, и в ее голосе прозвучали искренние, теплые ноты, подогретые такой неожиданной для нее радостью.

— Ангел небесный! — прижал ее к сердцу Богдан.— Так и лети ж к нам на утешение, а мы защитим тебя щырым сердцем.

Наступило молчание. Марылька, словно потрясенная горем, сидела грустно, склонивши головку. Богдан молча любовался ею.

— Ну, открой же свои ясные оченьки, дай мне по-

смотреть на тебя,— обратился он наконец к ней ласково.

Марылька молчала, опустивши глаза. Стрельчатые ресницы бросали вокруг них темную тень; казалось, несколько мгновений она еще не решалась поднять на Богдана очей. Но вдруг длинные ресницы ее тихо вздрогнули, медленно поднялись, и Богдана обдало целым морем синих теплых лучей.

— Ах, какая ты стала, Марылька! — невольно отшатнулся он, не отрывая от нее восхищенных глаз.

— Какая же? — усмехнулась Марылька по-детски, кладя свои руки сверх Богдановых рук.

— Пышная, гарная краля, королева! — вырвалось у Богдана слишком пылко.

Марылька почувствовала, как сердце ее забилось горячей и сильней, а на душе стало ясно и покойно.

— Тату до вподобы, и Марылька рада,— проговорила она игривым детским голосом; в глазах ее вспыхнул лукавый, кокетливый огонек, углы рта задрожали, и все лицо осветилось вдруг сверкающею, обворожительною улыбкой. Марылька преобразилась. В одно мгновение грусть и раздумье слетели с ее дивного личика: перед Богданом сидела молодая прелестная кокетка, чувствующая и сознающая силу своей красоты...

— Зиронька ясная! — прошептал Богдан, сжимая ее руки в своих.— Ну, скажи ж мне еще раз, скучала ль ты за татом, вспоминала ль его хоть разок?

Марылька нагнула голову и, бросивши на Богдана лукавый взгляд из-под соболиных бровей, проговорила с расстановкой:

— А тато думает как?

И от этого лукавого взгляда, и от ее звонкого, детского голоска Богдану сделалось вдруг так легко и весело, словно с плеч его свалилось двадцать лет.

— Не знаю,— усмехнулся он ей также молодцевато,— кто может поручиться за девичью головку?

— А я ж тату уже раз сказала.

— Мало, мало, моя ласточка!

— Ну, так вот же,— вскрикнула Марылька, обвивая его шею руками,— скучала, скучала, скучала, таточку мой, любый, коханый, о тебе одном только и думала, тебя только и ждала!..

XXIX

Уже с час добрый сидит Богдан в кабинете великого коронного канцлера и ведет с ним беседу. Оссолинский широковещательно, хотя и осторожно, рисует Хмельницкому будущие планы войны, расспрашивает о возможных путях движения татар, советуется об укреплении некоторых пунктов, а главным образом, выведывает искусными затемнениями речи, неожиданными обращениями, ловкими сопоставлениями про настроение козачьих умов, а найпаче шляхетских: Оссолинскому, видимо, хочется, между прочим, выпытать незаметно и про себя, не подозревает ли его в кознях шляхетство и не задумывает ли чем вредить?

Богдан слушает плавно льющуюся речь Оссолинского, отвечает ему машинально, а мысли его не здесь: они разметались по неизвестным ему покоям вельможи, и ищут дорогого образа, и льнут к нему, как бабочки к солнечному лучу. Прислушивается Богдан, не долетит ли сюда знакомый мелодический голос, не скрипнет ли дверь, не зашелестит ли глазетный* кунтуш, но везде тихо, методически лишь звучит мерная речь, словно переливается по камням ручей.

Богдан ощущает, как горячая волна то поднимется к вискам и зажжет его щеки румянцем, то прихлынет к груди и разольется по ней майским теплом, то защекочет сладостно в сердце; он чувствует, что каждый фибр в нем дрожит и звучит под дыханием радости, как звучит Эолова арфа под дыханием ветра, и не может он заставить себя оторваться от этих сладостных впечатлений: они опьянили его со вчерашнего свидания с Марылькой, отогнали от глаз его сон, затуманили высокое чувство, навеянное ему королем, и теперь не дают собрать рассеянных мыслей.

А Оссолинский ведет речь об осторожностях, какими нужно окружить это великое дело; он советует даже не объявлять козакам привилегий до разрешения предстоящего сейма, так как слух о них может взбудоражить шляхетство и повредить в вопросах вооружения, собирания войск и войны.

— А после, когда вопросы эти будут утверждены,—

---

* Глазет — парча з шовковою основою і золотим або срібним пітканням.

забарабанил он пальцами по столу,— тогда не только оглашайте козакам эти привилеи, а говорите смело, что при верной их службе своему королю они заполучат еще гораздо большие...

— О ясный княже,— заметил Богдан,— да с нами вы всех сокрушите и создадите единую власть, а она одна лишь сможет поднять и правду, и силу, и славу... Но вот относительно привилеев, так тяжело скрывать от обиженных такую милость и радость, но если это необходимо pro bono publico (для общественного блага),— остановился он, подавленный назойливой мыслью. «Нужно переговорить непременно с ним про Марыльку, она так просила... Я поклялся отцу ее... ей... Нужно прямо сказать, только бы улучить минуту... а время идет...» — Да, так, если это необходимо,— спохватился он,— то все же следует сообщить хотя вернейшим из старшины: они не выдадут тайны, а ободрятся и ободрят других...

— Да, пожалуй, — протянул неуверенно Оссолинский.— Но во всяком случае... Сейм будет через три-четыре месяца... при том же тут взаимные интересы... Хотя все-таки скрытое дело — половина победы... Придется много поднять... нужно усилий и твердости, зоркого глаза,— как бы про себя произносил он отрывочно, жмуря глаза.

А Богдан в это время решал мучительный, неотвязный вопрос: отпустит ли к нему в семью Оссолинский Марыльку или удержит ее как corpus delicti (факт преступления) Чарнецкого для новых попыток возвратить похищенное им наследство? Марылька ведь говорила, что он эту мысль бросил, что оказалось ему не под силу тягаться с Чарнецким... «Ну, и слава богу,— это мое счастье... У меня спрятана записочка батька ее про клад, быть может, когда и найдем... Э, да что это все перед Марылькой? Она сама дороже всех сокровищ на свете: как расцвела, какая невиданная краса!.. Просилась, говорит, что тосковала по мне. Господи! Да неужели же? Нет, не то, не то!.. Она любит меня, как отца, как покровителя, а я ее?.. Ох, избави нас от лукавого и омой мою душу исопом...* и я ее, как отец...

* Ісоп — юзефок, зілля, котре використовують як кропило при виконанні певних іудейських релігійних обрядів.

да и как не любить этого ангела?.. Покойнику ведь поклялся и любить, и лелеять, и защищать ее от напастей... А если не отпустит и снова придется расстаться, и расстаться, быть может, навеки?.. Так что же?» — попробовал было возразить себе Богдан, но сердце его сжалось томительной тоской.

— Да,— произнес решительно Оссолинский, ударивши рукою по столу,— нужно будет съездить самому и к императорам, переговорить и с Мазарини, да и Швецию как-нибудь успокоить. Знаешь что, пане писаре генеральный, не поедем ли мы вместе в чужие края? Ты ведь там бывал и мне можешь быть в помощь.

Богдан вздрогнул с головы до ног и не нашелся сразу, что ответить: словно гром, поразили его эти слова; они безжалостно, сразу обрезывали ему все надежды вырвать отсюда Марыльку, увезти в свою семью, видеть ее ежедневно, слышать ее серебристый смех и обаятельно ласковый голос, ловить улыбку. Да, со вчерашнего дня он уже свыкся с этою мечтой, пригрел ее у самого сердца — и вдруг в далекие страны, за моря, за горы и на какое время? А что станется без него здесь? «Нет, это возмутительное предложение, непомерная жертва и для чего? Для прихоти вельможной, чтоб его бес на рога поднял!» — мелькало у него раскаленными иглами в голове.

— Простите, ясный княже,— овладел наконец собой Богдан,— я так взволнован этим лестным для меня предложением, что не нахожу слов благодарности... ехать с княжьей милостью... быть полезным... да от этакой чести голова кружится...

— Спасибо, пане писарь,— оживился и повеселел Оссолинский,— так у меня, выходит, будет в дороге отменный товарищ... Мы, значит, так и распорядимся.

— Только вот кому бы поручить понаблюсти за козаками в Украйне,— раздумчиво заметил Богдан,— время-то опасное... чтобы перед сеймом не выкинули штуки?

— Неужели же их не образумит Барабаш?

— Э, княже, куда ему! Он в общих войсковых справах прекрасно распорядится и порох нюхал не раз... но с палыводами он не знается... а они-то, при скуке, и первые зачинщики жартов...

— Досадно,— пробурчал Оссолинский, заходив по

кабинету,— а может быть, пан знает кого, кто имел бы там влияние?

— Знаю то я много и разумных голов, и рыцарей удалых,— улыбнулся Богдан,— да все-то они чертовски завзяты, именно те палыводы, что в самое пекло полезут и беса за хвост вытащат... А чтоб они смирно сели, как бабы за прялку, то вряд ли!.. Меня-то до поры, до времени кое-как слушали... а вот только что выехал — и догнал меня слух в дороге, будто кто-то затевает новый бунт.

— Ой, ой! — даже закрыл уши канцлер.— Да ведь это поднимается целая буря!

— Знаю, ясный княже,— оттого-то меня так это все и тревожит... Положим, не без того, что и прибрехали,— успокоил немного Хмельницкий,— а все-таки какая-либо пакость да есть...

— Так тебе, пане, никак нельзя ехать со мной... тебе нужно там быть и употребить все усилия, чтобы воздержать их от бесчинств; это особенно важно перед сеймом... Боже, как важно! — заволновался пан канцлер.— Если будет хоть какой-либо повод от них к негодованию, подозрение падет на нас, что мы потворствуем, и провалятся все наши начинания... И будет ли через выходки этих нетерпеливых безумцев желанный исход? Ведь только конец дело венчает!

— О, как справедливы слова вашей княжьей милости,— отозвался сочувственно Богдан,— как ни жестока ко мне судьба относительно почестей, как ни наделяет она взамен большой радости тревогами, опасностями, борьбой, но перед долгом я не смею роптать,— вздохнул глубоко Богдан, боясь, чтобы не выдала его дрожавшая внутри радость...

— Нет, нет... что делать,— тревожился более и более канцлер,— нужно возвращаться домой и найскорее... необходимо употребить все усилия, чтобы козаки притихли, притаились, умерли, чтобы можно было приписать их полное смирение нашей маленькой ласке... А если случилась какая пакость, то отнести ее к прежним порядкам... Да! Нужно поспешить дать мне обо всем знать, а то я и сам приеду, отбывши сейм, непременно приеду.

— Осчастливит ясный князь всех и меня в особенности, а если его княжья мосць посетит еще мою скром-

ную хату, то эта честь будет для меня найвысшей наградой...

— Непременно, непременно,— улыбнулся приветливо канцлер,— я прямо к пану, в твой знаменитый, слыхали, Субботов.

— Немею от восторга,— прижал к груди руку Богдан,— вот и награда за огорчение, а я еще роптал на судьбу! Значит, только молиться господу сил о ниспослании нам святой ласки.

— Его панская воля! — поднял набожно глаза Оссолинский.

«Фу, гора с плеч! — вздохнул облегченно Богдан.— А то чуть было все не пропало,— думал он,— теперь, кажись, стрела пролетела мимо. Можно и про Марыльку спросить».

— А что, ясный княже,— начал неуверенно Хмельницкий,— как поживает спасенная мною панна? — Богдан усиливался придать равнодушный, небрежный тон голосу, но это не выходило.— Я вот за хлопотами всякими забыл осведомиться... а лет пять, почитай, не видел...

— Пан про Марыльку спрашивает?—словно очнулся канцлер.— Что ж ничего... поживает... выросла, похорошела, всех пленяет... Но ее красота идет, кажется, в разрез с качествами души, отуманивает ее... все чем-то недовольна панна... работать совсем не желает... хочется ей из Варшавы... Полагаю, что ее гложет зависть к положению других... жажда к пышному малжонству*, чтобы splendere et imperare (блистать и повелевать), а такого-то бедной девушке не найти — вот и раздражение и недовольство...

— Неужели эту юную головку обуял змей честолюбия? — усомнился в обидных предположениях княжьих Богдан.— Быть может, сиротливое сердце ищет просто щирой любви?

— Возможно... Только в нашем доме она была, как равная, как шляхтянка... Правда, ей, бедняжке, все неудачи... Да, к сведению, и наследство ее совершенно ускользнуло — и вследствие лишения всех прав и защиты законов баниты, и вследствие права первого захвата, и, наконец, вследствие того, что этого волка Чарнецкого

---

* **Малжонство** — одруження (*польськ.*).

можно заставить возвратить заграбленное лишь силой... вооруженной рукой... Таковы-то порядки в этой пресловутой Речи Посполитой!

— Я так и думал,— печально заметил Богдан.

— Ну, так вот и это обстоятельство ее гнетет,— продолжал канцлер, высморкавшись с достоинством громко и напоив воздух ароматом своего платка,— одним словом, она куда-то стремится... вспоминает пана...

— Бедняжка,— вспыхнул Богдан,— я дал клятву умирающему отцу, что приму и воспитаю его дочь, как родное свое дитя, сделаю сонаследницей моего скромного состояния... Оттого, быть может, она...

— Это с панской стороны высокий, шляхетный поступок... и если эта сиротка семьи его не стеснит...

— Никогда на свете!

— Да? — протянул канцлер, пристально взглянув на Богдана.— Это, значит, может уладить некоторое...— канцлер подыскивал слово,— некоторое недоразумение... Видишь ли, пане, Урсула, моя дочь, недавно просватана за сына гетмана Калиновского Самуила...

— Приветствую вашу княжью милость,— поторопился встать и низко поклониться Богдан,— с этою семейною радостью. Дай бог, чтоб им сияло вечное солнце без туч и без бурь.

— Спасибо, пане писаре,— протянул руку канцлер,— так вот, когда господь благословит и исполнится этот союз, то Марылька, действительно, останется здесь одна еще на большую тоску и уныние...

Каждое слово Оссолинского ложилось благовонным елеем на душу Богдана; в порывах сердечных восторгов он мысленно шептал какие-то отрывочные фразы молитв, ровно бы в давние юные годы, стоя на экзамене перед строгими патерами. «Господи, помоги!.. Внуши ему... не отринь от меня этого счастья!»

— Не отпустит ли князь Марыльку ко мне? — дрогнувшим голосом спросил Богдан.— Клянусь, что она займет в моем сердце место наравне с моими детьми, что вся семья моя почтет за соизволение бога...

— Я вполне пану верю,— прервал его, видимо, довольный этим предложением канцлер, хотя и постарался придать своим словам более небрежный тон. Панна теперь стесняла его и служила часто предметом укоров со стороны пани канцлеровой.— И отец ее, поручив

дочь свою пану, так сказать, указал единственно в тебе ей покровителя, да и веселее ей там будет... Но мы так привыкли, так привязались к этому милому дитятку, особенно жена и Урсула... просто души в ней не чаят... нам тяжело будет с нею расстаться; но если она сама пожелает к пану, то мы, конечно, ео ipso...* должны поступиться своими утехами ради ее счастья... Во всяком случае решение этого вопроса принадлежит исключительно ей.

— Желательно бы знать,— нерешительно заявил Богдан, чувствуя, что у него хочет выпрыгнуть из груди, от охватившей его радости, сердце,— так как его княжья мосць торопит меня выездом...

— Да, да,— засуетился Оссолинский,— так это можно сейчас,— встал он и остановился против Богдана.— Пан еще не видел своего приемыша?

— Нет,— ответил было Богдан, но, вспомнив, что мог кто-либо видеть его здесь или в саду, вместе с Марылькой, а то и она сама могла сознаться, смутился и начал неловко поправляться,— т. е. видел случайно, вскользь, выходя из дворца.

— Так вот лучше что,— потер руки канцлер,— пан не откажется поснидать вместе с моею семьей, выпить келех бургундского, присланного мне в подарок от его эминенции Мазарини. Семья моя будет только одна. Пан там увидится с своею названною дочкой,— там и столкуемся.

— Много чести,— поклонился Богдан,— не знаю, как и благодарить.

— Пойдем, пойдем, любый пане,— взял слегка под руку Богдана Оссолинский и отворил боковую дверь.

Пройдя через анфиладу роскошных покоев, ввел Оссолинский Богдана в столовую, отделанную орехом и дубом и увешанную кабаньими, турьими и оленьими головами; направо от входных дверей громоздился до самого потолка чудовищный изразцовый камин, украшенный вверху рядом синих фарфоровых фигур, а налево, напротив, стоял огромнейший красного дерева буфет, изукрашенный резными барельефами и наполненный золотою и серебряною посудой.

В столовой сидели уже за столом ясноосвецоная

* Внаслідок цього, на підставі цього (*лат.*).

жена канцлера, княгиня Каролина, ее дочь, бесцветная блондинка Урсула, и Марылька; последняя, заметив входящего Хмельницкого, вспыхнула до корня волос и быстро подошла к буфету, словно желая отыскать что-то, да и прикрылась дверкой, как щитом...

Оссолинский представил жене своей Богдана; та свысока поклонилась и произнесла сквозь зубы:

— Приветствую пана.

— Падаю до ног ясноосвецоной княгини,— отвесил Богдан глубокий, почтительный поклон.

Урсула окинула козака высокомерным взглядом, наклонила завитую, с претензией зачесанную голову и процедила:

— Пусть пан сядет.

— Ваше милостивое внимание, ясная княжна, вызывает в моем козачьем сердце порывы благодарности: в прекрасном теле душа всегда прекрасна.

Марылька быстро оглянулась на Богдана и снова закрылась дверкой буфета.

— Пан слишком щедр на похвалы,— ответила с кислою улыбкой Урсула,— но я их не могу принять на свой счет.

— Однако я не знала, что козацкие рыцари так же хорошо владеют словом, как и мечом,— снисходительно удивилась княгиня.

— Красота, ваша княжья мосць,— ответил элегантно Богдан,— делает чудеса: и Марс слагал гимны Киприде.

И мать, и дочь переглянулись, наградив козака одобрительною теплою улыбкой.

— Да он всех здешних рыцарей за пояс заткнет... Как величествен, элегантен... Гетман, гетман... король! — шептала Марылька, смотря украдкой через щель дверки на Хмельницкого.

— Виват!—воскликнул Оссолинский.—Егомосць, выходит, так же опасен в салоне, как и на поле битвы... А где же Марылька? — взглянул он вокруг.— А, вон где!

Девушка опустила голову еще ниже, и у нее от смущения блеснули на длинных ресницах две непослушных слезинки.

— Полно, ясочка, не смущайся,— взял ее за подбородок канцлер,— подойди к егомосци, поздоровайся

с ним родственно, как со своим покровителем, ведь он и до сих пор о тебе, сиротке, заботится, как о родной дочке,— и, взяв ее за руку, канцлер подвел к Хмельницкому, что стоял словно на раскаленном полу.

Марылька остановилась перед ним смущенная, с потупленными очами, осененными стрелами влажных ресниц.

— Здравствуй, ясная панна, вверенная мне богом! — промолвил Богдан радостно и приветливо.— Как ся маешь, как поживаешь?

Марылька взглянула на него темною лазурью своих чарующих глаз, а в них сверкнула и теплая признательность, и бесконечная нега; Богдан, чтобы скрыть искрившийся в его глазах восторг, опустил теперь тоже ресницы.

— Приветствую посланного мне богом спасителя,— пропела наконец вкрадчивым мелодическим голосом панночка,— я счастлива, что привел господь мне снова увидеть моего покровителя, которому покойный отец поручил свою сироту...— опустила она снова глаза, блеснувшие влагой.

— Да разве так спасителя и благодетеля приветствуют! — отозвалась, хотя и мягко, но с оттенком насмешливой надменности, княгиня.— К отцу подходят к руке.

Марылька сделала движение, но Богдан предупредил ее:

— Нет, нет, дитя мое... я, по праву моих родственных чувств, поздороваюсь лучше так...—и он, обнявши своими мощными дланями ее головку, поцеловал ее отечески в лоб.

Натянутая сцена якобы первой встречи была наконец прервана приходом слуг и размещением снедей. За завтраком завязался общий разговор о предстоящих торжествах и пирах в Варшаве, о Радзивилле, что своей царской роскошью и великолепием сводит с ума столицу и разорит многих, о том, что к предстоящим празднествам тратятся на наряды чудовищные суммы, что паненки и пани не хотят ударить лицом в грязь перед волошками *, славящимися своим богатством.

Богдан по этому поводу рассказал много интересного

* Волохами називали румунів.

и поучительного про нравы и обычаи молдаван, про их семейную жизнь, представляющую смесь таинственного востока с вольным западом, про роскошь пиров, про увлекательную игривость волошек-красавиц, про их соблазнительные наряды. Богдану приходилось не раз там бывать, и он изучил прекрасно страну. Рассказы Богдана заняли и оживили всех собеседников; даже чопорная княгиня с дочкой спустились с высоты своего величия и начали восторгаться остроумием и светскою веселостью своего гостя. Марылька же хотя и молчала, но глаза ее так радостно, так победно сверкали, что нельзя было и сомневаться в ее восторге. Когда же Богдан перенес свои рассказы из Болгарии в рыцарские замки над Рейном и начал описывать пышные турниры, блеск оружия, трубы герольдов, роскошные выезды, ложи очаровательных дам, награждающих победителей и розами, и улыбками, и любовью, то у Марыльки закружилось все в голове какими-то радужными цветами, словно в блестящем калейдоскопе, сердце забилось и больно, и сладко, а в груди поднялись волны, напоившие ее жаждой изведать этот мир блеска, радости и несущихся навстречу восторгов и поклонений... в наклоненной головке ее что-то смутно стучало: «Ах, какой он интересный, эдукованный, все видал, все знает, с ним не стыдно нигде!»

— Пан до того увлекательно говорит, что его заслушаешься,— заметила наконец грациозно княгиня.

— Да, очень занимательно...— прожурчала княжна,— пан так много выездил.

— Не в том дело,— наполнил канцлер себе и Богдану кубки бургундским,— иной исколесит весь свет, а вернется еще глупее домой... Тому, кого бог отметил талантом, тому только и чужое все впрок, и он собранными сокровищами знания поделится с другими и принесет их на пользу своей отчизны... так вот...— подлил он жене и паннам мальвазии,— выпьем за то, чтобы наш шановный гость положил свои таланты у ног нуждающейся в них Речи Посполитой...

Дамы охотно поддержали предложенный тост. Богдан был тронут таким почетным вниманием и в изысканных, искренних выражениях благодарил яснейших вельмож. Княгиня, подогретая еще мальвазией, до того оживилась, что сообщила даже несколько городских

сплетен и анекдот про княгиню Любомирскую, сказочную якобы невесту старого гетмана.

— А его ясновельможная мосць в Варшаве? — осведомился Хмельницкий.

— Нет, пане,— ответила с насмешкой княгиня,— поплелся с Любомирскими в Львов встречать молодых... В подагре, а туда ж! Ногу левую волочит, а правой притопывает в полонезе — умора!

— У всякого из нас есть свои слабости,— заметил князь строго,— а человеческие слабости требуют снисхождения... тем более если они покрываются с избытком доблестями ума и сердца и обильною любовью к отчизне...

— Но согласись, княже, что в его лета ухаживанья и затеи женитьбы смешны,— возразила княгиня.

— Ведь это все преувеличено,— пожал плечами пан канцлер,— и наконец,— обратился он с улыбкой к Богдану,— красота для всех возрастов всемогуща...

Последний почему-то смутился и ответил не совсем впопад:

— Да, такого великого гетмана, как его ясная мосць Конецпольский, с таким прозорливым взглядом на государственные задачи не было еще у нас, да и не будет, пожалуй...

Княгиня закусила губу, а княжна перевела сейчас разговор на другую тему.

— А какая, говорят, красавица эта господаревна Елена, дочка Лупула,— заявила она,— так просто сказка! Князь Януш, говорят, чуть ли не сошел с ума, да и все, вероятно, вельможное рыцарство наше ошалеет.

— Ты уже сделай маленькое, единичное исключение хотя для одного,— подчеркнул Оссолинский игриво Урсуле.

Княжна вспыхнула пятнистым румянцем и закрылась салфеткой.

— Да, красавица у Лупула не эта Елена, а меньшая, девочка еще, Розанда,— промолвила княгиня.

— Не Розанда, мамо, а Розоланда,— возразила Урсула.

— Все равно, милая,— вставил князь,— и Розанда [150], и Розоланда, и Роксанда: это их волошские ласкательные от Александра, а что она отличается необычною красотой, так это правда, все кричат...

— Но ведь ей еще только двенадцать лет,— заметила княжна,— а с этого возраста лица изменяются очень, да и странно, что о таком ребенке кричат.

— Ничего нет странного,— взглянул на нее отец,— все выдающееся, необычайное поражает всякого с раннего возраста... Вот, если б у меня был сын теперь восемнадцати лет, и я бы мог помечтать о такой невестке...

«Тимко»,— почему-то мелькнуло в голове Богдана, но он сам рассмеялся в душе этому сопоставлению.

А Марылька все время сидела несколько в стороне и не вмешивалась в разговоры: или она взволнована была присутствием тата, или по привычке держалась указанной роли.

Когда яства все были убраны, а на столе остались лишь кувшины, да пузатые фляги, да кубки, а затем и прислуга ушла, тогда Оссолинский повел, наконец, беседу про жгучий для Богдана вопрос.

— Вот что, княгине,— обратился он серьезным тоном к жене,— пан писарь его королевской мосци, наш дорогой гость, просит, чтобы мы отпустили сиротку Марыльку к нему, в его семью, так как он принимает ее за дочь, да и предсмертная воля покойного отца ее выразилась в том же, и пан Хмельницкий дал клятвенное обещание ее исполнить... Так как ты думаешь, кохана Карольцю?

— Да, я прошу об этом душевно вашу княжью мосць,— встал и поклонился Богдан.

Эта неожиданная просьба обрадовала и мать, и дочь, а наиболее, конечно, Марыльку.

— Если так, то мы не имеем права удерживать панны, хотя бы это было для нас и больно,— ответила с худо скрываемой радостью княгиня.

Марылька взглянула на Богдана таким взглядом, от которого затрепетало у него все: в нем была и благодарность, и нега, и залог неисчерпаемого блаженства.

— Да, и я говорю,— добавил канцлер,— что с Марылькой расстаться нам больно: мы так привязались к ней... но для ее счастья мы должны себя забыть... Здесь решающий голос принадлежит ей... Ergo, согласна ли ты, Марылька, уехать с паном Хмельницким и войти, так сказать, в его семью?

Все обратили взоры на Марыльку. Богдан хотя и знал возможный ее ответ, но тем не менее сидел как на углях.

Марылька подняла наконец глаза и взволнованным, но решительным голосом заявила:

— Да, я согласна, потому что я верю в искреннее, бескорыстное расположение ко мне вельможного пана, порукой этому его доблестное, благородное сердце... да и, наконец, отец мой, страдалец, ему меня поручил. Великодушный рыцарь спас мне жизнь, обласкал меня, он и его семья единственные мне близкие люди на всем белом свете. Мне только остается вместе с моим покойным отцом молиться за них... и бла...— но голос ее оборвался, и из ее прекрасных очей вдруг покатились жемчужные слезы.

Богдан до того был растроган, что чуть не бросился осушать поцелуями ее слезы.

— Вот как! — протянула недовольно княгиня.

— Да ей, мамо, действительно там будет удобнее, проще и... более подходяще,— добавила язвительно княжна.

— Ну, значит, благодаря богу, устроилось,— произнес сухим тоном и канцлер.— Так собирайся же поскорее, моя панно: егомосць спешит, ему и одного дня нельзя больше остаться в Варшаве. А как же она, мой пане, поедет? — обратился он к Хмельницкому.

— Пусть ясное вельможество не беспокоится: я достану удобный повоз, колымагу, что нужно, обставлю удобствами, почетом,— дрожал Богдан, словно в лихорадке.

— Но удобно ли, что одна? — покосилась на мужа княгиня.

— Я Зосю подарила Марыльке,— торопливо сообщила княжна, боясь, чтобы мать в сердцах не затеяла расстроить этой поездки.— Она так ей предана и досмотрит отлично в дороге, право, мамо! — бросила она в ее сторону выразительный взгляд.

— А коли так,— кивнула незаметно головою княгиня,— то дело устраивается, и мы можем только сказать нашей бывшей временной гостье: с богом!

Марылька побледнела на миг, глаза ее вспыхнули гневом, выражение лица осветилось презрением.

А Богдан стоял словно очарованный и не слышал,

и не понимал, что вокруг него происходило; в голове у него стоял чад, в груди звучала песнь жизни, а в сердце трепетало молодое, неизведанное им счастье.

XXX

На высоком берегу Сулы расположился грозным венцом гордый и неприступный замок князя Иеремии. Уже издали виднеется он острыми шпицами своих башен и зубцами красных стен.

Вокруг замка идет широкий и глубокий ров, наполненный до краев водою; над въездом три башни, а под ними на цепях тяжелый и крепкий подъемный мост. Стены тянутся острыми выступами, и на каждом из них грозно уселась тяжелая, круглая башня; осматривает она черными щелями своих амбразур всю окрестность, растянувшуюся у подошвы горы. Из узких отверстий выглядывают длинные жерла гаковниц.

А за зубцами стен подымаются еще более высокие башни самого княжьего замка, заключенного в замковом дворе. По стенам медленно ходят стражники; караул стоит у ворот.

За замком приютился вдоль по горе и у подножья ее княжий город Лубны. Высокие крыши тесно-тесно сплотились и прижались друг к другу, стремясь укрыться от диких нападений татар под охрану грозного замка. Вокруг города тянутся также и ров, и деревянные стены, набитые между двух рядов колоссальных бревен глиной и землей.

С правой стороны замка, саженей двести, не дальше, тянется бесконечный девственный лес. Он спускается до самого дна обрыва, отделяющего от замка густою, непроходимою стеной, а слева и прямо обогнула подножье горы тихая Сула. За Сулой, сколько око хватит, протянулись ровною зеленою пеленой топкие болота и заливные луга. К берегу Сулы ведет из замка тайник, а на случай, если бы враги даже и отвели реку, выкопан в замке глубокий колодезь. Правда, трудно было копать его на такой высоте, да у князя Яремы есть на всякую его прихоть тысячи даровых, послушных рук.

И гордо смотрит замок со своей высоты на распро-

стершуюся у его ног окрестность, потому что нет и не было еще такой силы, которая могла бы сломить его.

В замчище шум, суматоха, движение...

Из множества конюшен, устроенных под замковыми стенами, слышится храп, ржанье и фырканье лошадей. По двору снуют толпы разнородных слуг и надворной команды, одетых в самые пестрые цвета, с расшитыми гербами своих господ. Кое-где под навесами, у деревянных, грубых столов, собрались за кружкой доброго пива старые рубаки. Они вспоминают пережитые битвы, и каждый превозносит своих вождей. В иных местах играют в кости и в чет и нечет; любопытные окружают стеной играющих, принимая живое участие в ходе игры и подзадоривая то ту, то другую сторону. Перед самою выездною брамой группы подвыпивших слуг забавляются чехардой; взрывы дружного хохота сопровождают каждый неудачный скачок. И сторожа при башне, и воротарь, и мостовничий * не отводят глаз от играющих.

Между тем со стороны въездной брамы раздался звук трубы, но за шумом и гамом никто его не расслышал. Спустя немного времени затрубили опять. Действительно, к противоположной стороне замкового рва подъехал чей-то пышный поезд. Впереди всех подскакал на горячем коне окруженный небольшою свитой статный молодой шляхтич в роскошной шляпе, с развевающимся длинным пером. За ним подъехало десять высоко нагруженных возов, окруженных слугами и погоничами.

— Ну, что ж вы, поснули там, что ли? — крикнул по-польски громко и нетерпеливо молодой шляхтич, когда и после третьего сигнала не появился на башне никто.

Как бы в ответ на его гневное восклицание, показалась наконец в окне над воротами тощая фигура вахмистра, и крикливый голос спросил:

— Кто идет и откуда?

— Пан Адамович-Шпорицкий, посол от князя Конецпольского.

— Откуда и куда? — раздался снова тот же крикливый вопрос.

В ответ на него молодой шляхтич разразился такою энергичною бранью, что тощий вахмистр, убедившись теперь вполне в высоком назначении пана, кубарем спу-

* Мостовничий — доглядач підйомного моста.

стился с башни и поспешил отдать надлежащий приказ.

Через несколько минут тяжелые железные цепи жалобно заскрипели, и огромный мост начал медленно опускаться; наконец, чудище с грохотом упало, и всадники въехали на него попарно.

Молодой шляхтич приблизился к самому его краю и измерил глазами ширину рва, наполненного почти до краев темнеющею водой.

— Ишь ты, бесова копанка,— проговорил он вполголоса,— пожалуй, и не переплывешь!

— В зброе и думать нечего,— ответил ему ближайший из сопровождавших его пяти слуг; четыре остальные ехали за огромным возом, напакованным грузными мешками, в которых, очевидно, заключались вещи богатого шляхтича. Шляхтич бросил на него многозначительный взгляд и молча стал рассматривать грозную крепость.

«Да, это чертовое гнездо почище Кодака будет,— мелькали у него мысли,— ее простыми зубьями не угрызешь... этакую твердыню можно добыть лишь подкопом... да голодом... Не пустое ли дело задумал Максим? Впрочем, чем черт не шутит! Попался в руки Адамович-Шпорицкий — так и воспользуемся его бумагами... Они думали нас изловить и живьем зажарить, а мы попробуем их... Лишь бы князя выманить да завесть к дидьку в болото... Верно: «Утик — не втик, а побигты можна!» — и он двинулся решительно в браму...

В самом замке, освещенном сверху донизу тысячью сияющих огней, собралось самое пышное панство. Идут шумные толки, споры, дебаты,— перед большим варшавским сеймом панство устраивает свой маленький, приватный сеймик.

Большой двухсветный зал князя Яремы, напоминающий скорее внутренность какого-то гигантского храма, освещен весь бесчисленным множеством восковых свечей. С высокого потолка, разрисованного наподобие неба и украшенного месяцем и золотыми звездами, спускаются на длинных цепях три круглые люстры, усаженные восковыми свечами; свечи горят по стенам в серебряных свечницах, горят и в тяжелых шандалах, расставленных на длинных столах. Зала полна света и блеска и пышностью не уступает королевскому дворцу. На стенах прибиты щиты, ключи и знамена добытых

князем и его предками замков и городов. Золоченые, штофные стулья и лавки тянутся рядами вдоль стен и столов. Пир уже окончен, но драгоценные кувшины и кубки покрывают еще все столы. Неслышно скользят по мраморному полу разодетые слуги и доливают их мальвазией, венгерским и старым медом.

Панство группируется кружками и вокруг столов. Молодые шляхтичи увиваются подле прелестных паненок княгини Гризельды. Сдержанный гул стоит в зале от множества голосов. За главным столом, в сторону которого устремляются то и дело глаза собравшегося панства, раздаются громкие и властные голоса.

Во главе стола, рядом с князем Яремой, сидит прелестная молодая женщина. Волнистые вороньего крыла волосы обрамляют ее белый небольшой лоб. Черные брови лежат на нем бархатными шнурками, а глаза, темные и блестящие, кажутся еще темнее и больше от матовой белизны лица. Все в ней дышит необычайною тонкостью и изяществом, но сжатые тонкие губы показывают и силу, и страстность характера. По левую руку княгини сидит молодая пани, жена старого магната Корецкого, давняя подруга Гризельды.

Нельзя было назвать пышную пани красавицей, но в ее наружности было что-то обольстительное. Роскошные волосы были взбиты в высокую прическу над гордо посаженною головой; густые черные брови почти сходились над переносицей, а темные с поволокой глаза то потухали в истоме, то искрились дерзким огнем. На припухлых, чувственных розовых губках бродила насмешливая улыбка.

Под прозрачной, как алебастр, кожей разливался нежный румянец, касаясь открытой шеи и розовых ушей, а на левой щеке выделялась темным пятнышком маленькая бархатистая родинка. По правую руку княгини расположился пан ксендз, в одежде иезуитского ордена. Он зорко следит за разговором, незаметно направляя его туда, куда хочется ему самому. За паном ксендзом, молча и пыхтя, тянет венгржину необъятный князь Заславский; за ним вытянулся неподвижно, словно проглотил железный аршин, высокий и тонкий пан Остророг. Несмотря на свое знатное имя и известную всей Речи Посполитой ученость, он кажется среди собравшегося кичливого панства человеком, попавшим не в свое об-

щество. Голубые близорукие глаза его растерянно переходят с одного магната на другого; движения неловки и неуверенны, и только по высокому умному лбу, окруженному светлыми волосами, можно заметить, что это не загнанный бедный шляхтич, попавший неожиданно в роскошную среду, а кабинетный ученый, очутившийся вдруг в непривычном для него обществе женщин, воинов и кичливых, кричащих вельмож. Вокруг стола тесною стеной сплотились менее важные паны. Все слушают разговоры с живым интересом, но между тем в голове каждого мелькают быстрые соображения, на чью сторону выгоднее стать и что с какой стороны можно заполучить?

— Так,— говорит резко и отрывисто князь Ярема, подкручивая ежеминутно свои тонкие черные усы,— до нас доходят смутные слухи... говорят о каком-то заговоре... упоминают об Оссолинском и короле; набираются-де войска... артиллерия. Козачья сволочь снова подымает голову, и я мечом моим клянусь, что между этими новыми повстанцами и тайными замыслами короля есть какая-то скрытая связь. Нет! — ударил он по столу кулаком.— Мы не можем теперь быть покойными даже за свою вольность! И это будет так вечно, говорю я вам, пока Речь Посполитая будет обирать на трон свой чужих, чуждых ей королей. Разве среди нас мало князей, ведущих род от Витовта, Ольгерда? Шляхте угодно обирать чужеземца, так не к чему и ждать от него любви к нашей отчизне... Нас предают... И кто предает? Сам король! Что ему Речь Посполитая? Она не была и не будет ему никогда отчизной! Не так ли домогался он и московской короны?!. А сколько пролил шляхетской крови за шведский престол? Но досыць, досыць! — говорю я... Речь Посполитая не подножье королевского трона и хлопских затей!

— Совершенно верно, ясный княже! — прогудела в ответ ближайшая шляхта.

— Князь Вишневецкий — уродзоный круль,— выкрикнул кто-то в задних рядах после горячей речи князя Яремы.

— Этот закон, панове,— отдуваясь, сообщил Заславский,— постановлен в ограждение нашей золотой вольности, чтобы короли не имели в Речи Посполитой ни собственности, ни родственных связей.

— Однако тем не менее,— возразил горячо Вишневецкий,— и от чужеземца идут подкопы под нас, а поддержку находит он тоже.

— Да, да,— сверкнул зелеными глазами Чарнецкий,— все эти приготовления к войне недаром... уже что-то они наверно задумали с этой лисой, купившей себе княжье достоинство в Риме [151], с этим нашим великим канцлером!

— Беса кривого мне в его войнах! — воскликнул пышный пан Заславский, отставляя свой келех.— Ему хочется войсковой славы, а я за нее своими боками плати? Не будет! Подати снова, мыта, поборы, татары, грабеж, разоренье. Не позвалям, да и только! Хочешь воевать — в пограничное войско иди!

В группах, окруживших стол, раздались одобрительные возгласы.

— После последнего повстанья мои украинные маентки до сих пор облогом лежат, хлопство разбежалось, рук нет,— продолжал он с отдышкой.— На милость короля не надейся! И каштелянство и староства он раздает своей новой шляхте, Оссолинским, Казановским, а старой самой за плугом, что ли, идти! — и тучный пан Заславский весь побагровел от благородного гнева и шумно отодвинулся от стола.

— Не в хлопах дело! — возразил раздражительно Иеремия.— Это наше быдло, и с ним мы расправимся сами... позорно для шляхты обращаться к королевской ласке в этом деле, а вот обуздать этого чужеземца следует. Об этом нужно подумать.

— Обуздать, обуздать! — загалдели кругом.

— Да,— продолжал Вишневецкий,— если мы — правящий класс в Речи Посполитой, так нам и должно принадлежать исключительное право входить в договоры с иностранными державами, собирать войска, объявлять войну, заключать мир, назначать подати и поборы, а этой коронованной иноземной кукле для почета достаточно и тысячу душ стражи да доходу с коронных имений.

— Ха-ха-ха! — закачался от смеху князь Заславский.— Коронованной кукле! Виват!

— Виват, ясноосвецоному князю! — подхватила и стоявшая шляхта, опорожняя келехи и наполняя их вновь старым медом.

— Отчего ты, Виктория, сегодня скучна? — обратилась к своей подруге между тем княгиня Гризельда.— Глаза твои так вяло, так безжизненно скользят по нашему пышному рыцарству?

— Не люблю я, признаться,— улыбнулась та,— этих разговоров про королей да про хлопов... тоска! А рыцарство твое совсем не интересно!

— Как?! — изумилась Гризельда.— А присмотрись к пану Раймунду да к пану Яну.

— Эк, невидаль! — сделала презрительную гримасу подруга.

— Ты уж очень разборчива,— пожала плечами Гризельда,— никто тебе у нас не нравится... Или заполонил твое сердце малжонок,— бросила она насмешливый взгляд,— или...

— Или что? — вспыхнула полымем пани.

— Или оно всецело принадлежит кому-нибудь другому.

— Гризельда! — вскрикнула, как бы прося пощады, Виктория.— На бога!

— Или,— продолжала лукаво Гризельда,— оно совсем не способно к любви.

— Последнее самое верное,— улыбнулась, подавивши вздох, подруга, и темный взор ее ушел сам в себя.

А за столом между шляхтой опять поднялся оживленный разговор. Вопрос зашел о религии, и Гризельда вся обратилась в слух, а пани Виктория, воспользовавшись минутой, встала от стола и подошла к паненкам.

— Да и здесь его королевская мосць оказал нам услугу,— выкрикивал неприятным и резким голосом князь Вишневецкий.

— Кто как не он хлопотал о греческой схизме, кто отдал им епархии? Мало того, хотел посадить схизматского митрополита с нами в сенат.

— О tempora, о mores! * — промолвил иезуит.— Схизма на верной земле, посвященной папскому престолу и пресвятой деве!

— Король хотел примирить вероисповедания во имя мира и спокойствия в панстве,— вставил негромко Остророг.

— Только тот мир и прочен, который предписан ме-

---

* О часи, о звичаї! *(Лат.)*

чом,— произнес гордо Иеремия, бросая в сторону Остророга полный презрения взгляд.

— Ха-ха-ха, мир с хлопами! — разразился диким смехом Чарнецкий.— Так можно рассмешить и мертвого: мирить меня с тем, кто сам с головой и с ногами в моих руках? Да после этого мне могут предложить помириться и с моим надворным псом!

— Однако,— поднял Остророг свои голубые глаза,— пан забывает...

Но слова его перебил резкий и надменный голос Иеремии.

— Но не бывать тому, панове! — крикнул он запальчиво.— Я не допущу этого, и если панство не пойдет за мной, сам сорву сейм!

— Да и к чему вмешательство короля в наши религиозные дела? — просопел багровый Заславский.— Мы сами над собою паны, а в помощь еще нам могут стать святые отцы.

— И они бы давно сделали свое дело, если бы его милость король не был так ослеплен склонностью к схизме,— вздохнул смиренно патер.— При покойном короле Жигмонде, пока не вмешивалась светская власть в дела церкви, наш орден не подвергался гонению, и заблудшие в схизме овцы мирно возвращались в лоно святой церкви, а ныне разогнаны слуги святейшего отца, в небрежении дело веры, но...— иезуит поднял глаза к потолку и произнес совсем тихо и смиренно: — Пока живу, надеюсь, а надежда — в бозе!

При последних словах патера на бледном лице княгини вспыхнул горячечный румянец, черные глаза загорелись затаенным огнем, и, обращаясь к мужу, она заметила дрожащим от волнения голосом:

— Неужели князь допустит и дальше такое насилие над верными служителями веры наших отцов! Неужели позволит схизме множиться и распространяться на нашей земле?

— О пресвятая дева! — воскликнул с пафосом иезуит.— Ты избираешь себе достойных служительниц на этой грешной земле.

Иеремия взглянул на княгиню... и вдруг все лицо его, надменное, кичливое и холодное, преобразилось от несвойственного ему выражения нежности и любви, оно сделалось даже почти красивым.

— Нет, княгиня, клянусь,— воскликнул он гордо и уверенно,— покуда я жив, в моих, по крайней мере, владениях измене и схизме не удастся свить своего гнезда!.. Размечу, с лица земли сотру все их селения, но водворю тишину, и спокойствие, и истинную веру вот этим мечом!..

— И прославится имя твое от века до века, и народы преклонятся перед ним,— заключил торжественно патер.

Князь Остророг хотел было что-то сказать, но голос его покрыли громкие и дикие крики окружающего панства: «Vivat! Vivat! Vivat!»

— Ба! Кого я вижу, пан ротмистр? — воскликнул громко молодой уланский поручик, сталкиваясь в дверях с седым офицером в форме коронных гусар.

— Он самый,— ответил тот с радостною улыбкой, осветившею сразу его угрюмое на вид лицо.

— Откуда? Как? Каким образом здесь?

Встретившиеся знакомцы отошли в амбразуру окна.

— Я-то с письмом от великого польского гетмана, а ты, пан-товарищ, каким образом здесь?

— А разве пан не слыхал, что я перешел в войска князя Иеремии?.. Надоело стоять там, на кресах (границах). Здесь, по крайней мере, жизнь, пышность, веселье, да и опаски нет никакой, а там что за радость? Каждую минуту подставляй свою голову...— и он добавил, взявши пана ротмистра за руку: — Ну, а как пану нравится замок?

— Крепость неприступна. Гарнизон на местах, порядок везде беспримерный... Больше нечего и желать.

— Нет, я не о том! — усмехнулся снова пан-товарищ.— Как пану нравится сам замок, приемы, двор? Ведь по-крулевски? В Варшаве не встретишь такой красоты.

— Об этом не знаю, в королевском дворце не бывал, а что шуму много, то правда.

— Ха-ха,— перебил его пан-товарищ,— впрочем, пан ротмистр самой красы еще не видал. Я могу показать ему настоящий цветник; но если пан к женщинам относится так же сурово, то, быть может, не стоит и огорчать наших дам.

— О нет! — усмехнулся добродушно пан ротмистр под своими гигантскими усами и подмигнул молодцевато бровью,— панны никогда не могли пожаловаться на мое равнодушие.

— В таком случае прошу пана следовать за мной,— сказал пан-товарищ, пробираясь осторожно сквозь снующее беспрестанно панство к концу залы, где в полукруглом выступе, образовывавшем род гостиной с гигантскими окнами, протянувшимися почти от самого потолка до самого пола, разместились на шелковых табуретах знатные панны, проживавшие в замке князя Иеремии и составлявшие нечто вроде свиты княгини Гризельды; между ними сидела теперь и пани Виктория. Пушистый турецкий ковер покрывал весь пол гостиной. Свечи в высоких консолях горели по углам, а в открытые окна вливался летний воздух, такой душистый, теплый да неподвижный, что даже не колебал ни одного пламени свечи. Вокруг вельможных паненок суетились молодые магнаты, офицеры из княжьих, коронных и других хоругвей. Слышался сдержанный говор и веселый смех.

— Ну, а что, как пану ротмистру это понравится? — остановился пан-товарищ, любуясь издали блестящим видом залитых золотом и каменьями красавиц; но пан ротмистр почему-то сурово молчал, не сочувствуя, очевидно, похвалам, расточаемым его юным собеседником.

— А вот эта пани,— видит пан ротмистр? — вон та, с рыжеватыми волосами,— указал он на одну из дам, сидевшую у раскрытого окна, возле которой увивалась целая толпа.— Это пани Виктория, красавица, малжонка старого-престарого деда Корецкого, ищущая утешителя... По ней сходит с ума весь замок, даже, говорят, вельможный пан Остророг забывает свою латынь, глядя на нее.

Ну, что же, хороша? — спросил замирающим от восторга голосом пан-товарищ.

— К сухому пороху такую не подпускай,— усмехнулся ротмистр, подмигивая бровью.

— А пан?

— Отсырел, пане-брате, отсырел... теперь беспечно хоть в самую печь положи — не вспыхну! А ведь в былое время трепетала меня всякая панна на Литве,— закрутил ротмистр свой богатырский ус, сверкнув из-под нависших бровей глазом, и хотел было уже рассказать

пану-товарищу какую-то молодцеватую историю, но последний перебил его:

— Однако же иди, пане, я тебя представлю панству.

Пан ротмистр последовал за своим юным проводником и остановился перед очаровательною Викторией, окруженною целою толпой пышных панов.

— За позволеньем ясноосвецоной пани,— склонил изящно товарищ перед красавицей голову,— я представляю: вот мой приятель! Пан ротмистр стоит с коронными войсками на кресах; но и туда, в такую глушь, достигла слава о красе пани, и вот пан ротмистр просил меня представить его...

— Для того чтобы убедиться в том, как все люди лгут? — спросила насмешливо пани Виктория.— Не правда ли?

— Я не могу, пани, на людей взвести такую напраслину,— ответил пан ротмистр и звякнул шпорами.

— Пан очень снисходителен к людям,— улыбнулась обворожительная Виктория...— Да, кстати,— переменила она вдруг разговор,— пан ротмистр стоит на кресах, он может разрешить нам спор.

— Да, да,— зашумели кругом и паны, и пышные панны.

— В чем дело? — спросил пан-товарищ.

— Пани уверяет,— заговорило в один голос несколько молодых панов,— что эта дикая козацкая сволочь умеет любить.

— Да, да,— подхватили паны, пересмеиваясь между собой,— грязные, пьяные, дикие звери — и вдруг любить!..

— А я говорю, что умеют, и так горячо, как не сумеет никто из наших пресыщенных панов,— произнесла пани Виктория необычайно твердым тоном, бросая в сторону панства вызывающий взгляд своих темных глаз.

— Пани говорит это так уверенно,— усмехнулся почтительно один из разряженных магнатов,— что, можно думать, она изведала это на опыте. Впрочем, я сам готов честью своей поклясться, что не только козак, но и дикий буй-тур не останется равнодушным под взглядом глаз пани, но как он об этом скажет ей,— развел вельможный руками,— да каким образом сделает, так сказать, декларацию любви?

— Ха-ха-ха! — разразились веселым смехом вельможные панны.— Хлопское быдло и — декларация любви!

Пани Виктория закусила губу и, нахмуривши свои густые брови, обратилась нетерпеливо к ротмистру:

— Что ж это пан ротмистр не скажет ничего?

— К большому моему сожалению, дела любви не находятся теперь в моей компетенции, но что касается того, что панство называет козаков хлопским быдлом и буйною сволочью, то смею заверить, что это такие храбрые воины, с какими не стыдно стать в ряду.

Несколько паненок хихикнуло, закрывшись веерами, вельможи бросили полный изумления взгляд на дикого чудака.

— Удивляюсь, почему же пан ротмистр не перешел в их шайки, там бы он сразу гетманом стал? — вставил насмешливо один из драгунов Иеремии.

— Благодарю сердечно пана ротмистра,— протянула Виктория руку,— за правдивое слово и предлагаю за это свою дружбу.

— Падаю к ногам пани,— поцеловал ротмистр протянутую руку,— головой лягу за ее ласковое слово.

— Конечно,— подхватил поспешно важный магнат, увивавшийся подле пани Виктории,— и остервенившийся зверь защищается храбро; но что же это? Все-таки табун каких-то диких коней.

— Дикий конь горячей объезженного! — бросила небрежно с вызывающим взглядом пани Виктория.

— Но он не понесет так покорно пани, как выезженный, кровный конь! — усмехнулся изысканно магнат.

— Ну что ж? — окинула его дерзким взглядом пани Виктория.— Умчит бурей, а там пусть и затопчет навек.

— А, вот как думает пани!

— Вино с водою мешать не люблю!

— Браво, браво! — захлопали кругом магнаты.— Слова пани метки, как стрелы татарина.

— Бьюсь об заклад на двадцать арабских коней,— продолжал магнат,— что в пани был влюблен какой-нибудь из этих дикарей, быть может, и сам Гуня или Павлюк. Если бы пани была добра, она бы рассказала нам этот интересный случай; я уверен, что это было бы нечто вроде Геркулеса, прядущего по приказанию нимфы [152].

Пани Виктория небрежно улыбнулась, хотя по лицу ее разлился нежный румянец.

— Почему пан так думает? — спросила она игриво, склоняясь головой на руку.— Но хорошо, что пан вспомнил о приключениях. Я попрошу пана рассказать что-нибудь; рассказы его так остроумны и забавны, а я устала. Ну, я жду! — окончила она нетерпеливо.

Пан начал рассказывать какое-то бесконечное приключение.

Пани Виктория слушала рассеянно и небрежно. Тихая ли ночь, обнявшая сквозь открытое окно ее пылающую головку, или какое-то сладкое давнее воспоминание, выплывшее вдруг неожиданно среди этой роскоши, пышности и суеты, навеяли на нее нежную мечту,— только ресницы ее опустились; по лицу разлился тихий покой, а полуоткрытые уста так и застыли в нежной задумчивой улыбке.

Между тем разговор у княжьего стола принимал все более и более горячий характер.

— Не надо войны, никакой войны ни с каким бесовым батьком, не надо, да и баста! — кричал уже подвыпивший князь Заславский, стуча своим келехом по столу.— Все войны к бесу, они нам в убыток!

— Но государство имеет свои интересы, которые стоят выше интересов частных людей,— заявил негромко пан Остророг.— Политика требует...

— Какого мне беса в их политике! — перебил его князь Заславский.— Мало ли чего они там с этою тонкою лисой понакрутят! Долой войну!

— Так, так! Згода, згода, не надо войны! — зашумели кругом магнаты.

— Однако, панство, позвольте! — поднял надменно голову князь Иеремия, и при звуке его холодного голоса умолкли все взбушевавшиеся возгласы.

— Война есть рыцарская потеха, и наши славные предки не прятали своего меча и не уклонялись от чужого. Война войне рознь. Если она принимается за расширение границ государства, за усиление его, я первый предложу меч свой. Но если это подвох, так я подниму меч на изменников.

— Правда, правда! — зашумело панство.

— Если бы король поднял меч для завоевания Кры-

ма, чтобы Речь Посполитая уперлась ногами в Черное море, я бы благословил его.

— А к чему нам этот Крым? Что в нем? — допытывался совсем захмелевший Заславский.

— Ко всему! В нем наше спасенье! — запальчиво ответил Иеремия.— Если Крым ляжет у наших ног, тогда эти подлые стражи козаки нам не нужны. Мы их сметем. А когда их не станет, тогда и ваши хлопы умолкнут навеки и смирно будут вам землю пахать.

— По-моему, проще,— заявил с конца стола толстый пан,— вырезать козаков, выпороть хлопов, и баста!

— Да, да! — подхватили не совсем, впрочем, дружно некоторые голоса.

— Да благословит господь благие намерения, освещающие головы панства! — провозгласил торжественно иезуит.

На лице пана Остророга отразилось не то смущение, не то страдание.

— Осмелюсь обратить внимание вельможного панства,— начал он своим тихим голосом, опуская глаза,— что такими жестокими мерами наша междоусобная война, так сказать bellum civile *, не прекратится, а возгорится еще сильнее. Козаки, терпящие и так немалые утеснения, восстанут с еще большею горячностью и соединятся с народом. Жестокость выкует им меч.

При первых словах Остророга панство оглянулось в его сторону с едва скрываемым недоброжелательством и нетерпением. Казалось, у каждого в голове промелькнула одна и та же мысль: «И какие еще там добродетельные сентенции начнет распускать эта латинская машина?» — но при последней его фразе шум негодования поднялся кругом.

— O dei! ** — воскликнул патер.— Кто станет слушать жалобы Гракхов? [153]

— Но Гракхи, велебный ксенже, подымали возмущение из-за хлеба,— возвысил уже голос пан Остророг, подымая свои голубые глаза, загоревшиеся теперь возмущением,— в делах, касающихся целых народов, нужно рассуждать спокойно, так сказать aequo animo ***.

* Громадянська війна *(лат.)*.
** О боги! *(Лат.)*
*** Врівноважено *(лат.)*.

— Не aequo animo, a forti animo *. Это единственный способ, достойный рыцарей и вельмож! — перебил его громко князь Иеремия.

— Правда, правда! — загремело кругом панство.

Пан Остророг окинул всех своими светлыми вдумчивыми глазами и молча опустил голову.

— Посол от старосты чигиринского, ясновельможного пана на Конецполье, Конецпольского, пан Адамович-Шпорицкий! — провозгласил в это время громко слуга, распахивая широкие дубовые двери.

Все заинтересовались, притихли.

— Отлично! — буркнул пану-товарищу ротмистр.

— А что? — не понял тот.

— Да вот, прибывший гость — мой земляк, литвак, я всю фамилию Адамовичей-Шпорицких знаю.

— А! — протянул товарищ и бросился к какой-то панне поднять упавший платок.

В большой зал князя Иеремии вошел стройный молодой шляхтич. Драгоценная, залитая каменьями одежда лежала на его высокой стройной фигуре свободно и изящно; красивая светловолосая голова была гордо отброшена назад, а синие глаза глядели уверенно и смело. При входе молодой магнат слегка остановился и окинул весь зал пристальным взором; казалось, одно мгновение он взвешивал что-то. Одобрительный шепот пробежал по зале при входе молодого красавца. Гость сделал несколько шагов и, заметивши князя, приложил правую руку к груди, а левую опустил со шляпой почти до самой земли, отвесив полный достоинства и изящества поклон.

— Добро пожаловать! — приветствовал его князь Ярема, вставая с места и опираясь рукой на высокую спинку кресла.— Надеюсь, пан привез нам добрую весть?

— Князю Иеремии не страшны и злые вести! — ответил звонким, молодым голосом шляхтич и, вынувши толстый пакет бумаги, двинулся вперед.

— Ах, кто это? Кто? — раздался громко встревоженный голос панны Виктории, когда молодой шляхтич поравнялся с круглою нишей, занятой паннами.

При звуках этого голоса молодой шляхтич вдруг

* Не врівноважено, а сміливо (*лат.*).

вздрогнул и остановился; по лицу его пробежало какое-то мучительное выражение; он быстро оглянулся в ту сторону, откуда донесся знакомый голос,— смертельная бледность покрыла его молодое лицо. Перед ним в глубине амбразуры окна стояла, приподнявшись со своего стула, блестящая пани Виктория. На одно мгновение глаза их встретились, пани тихо вскрикнула и, закрывши глаза рукою, опустилась в изнеможении на стул. От присутствующих не ускользнула эта непонятная сцена.

— Что ж это пан остановился? — обратился нетерпеливо Иеремия.

— Засмотрелся на наших красавиц,— усмехнулся князь Заславский.

Молодой шляхтич сделал над собой невероятное усилие.

— Прошу прощения у ясноосвецоного князя и вельможного панства,— отвечал он по-видимому спокойным голосом, подходя к столу,— после нашей тьмы пышность и блеск княжьего двора ослепляют непривычное око.

— Однако что с княгиней? — засуетился подле Виктории молодой магнат.— Бьюсь об заклад, что это какой-нибудь старый знакомец.

— Он так и замер на месте при виде ее ясной мосци,— вставил другой.

— Удивительно было бы, если бы прошел равнодушно мимо,— вскрикнул горячо пан-товарищ.

— Панство шутит все,— улыбнулась принужденно Виктория, отымая от глаз руку; на лице ее еще видны были следы неулегшегося волнения.— Просто напомнил мне пан одного старого приятеля,— заговорила она нервно, стараясь придать своему голосу самый небрежный тон,— да, приятеля, которого уже нет, который умер давно.

— Тысячу перунов! — вскрикнул резко Иеремия, бросая распечатанный пакет на стол.— Не моя ли правда была, когда я панству толковал, что война с татарами необходима уже потому, чтобы уничтожить эту буйную орду дотла!.. Пан Конецпольский пишет мне в этом листе,— протянул он величаво руку, указывая на брошенный пакет,— что хлопство снова бунтует, шайки Кривоноса, этого беглого хлопа, рассеялись в моих владениях, а сам он засел в моих плавнях.

— Мало того, осмелюсь доложить ясноосвецоному князю,— вставил громко молодой шляхтич,— подлый хлоп поклялся и распускает повсюду слухи, что до тех пор, пока он не добудет головы князя Иеремии и не сошьет себе из его благородной кожи сапог, он не остановит своего буйного движения и обречет смерти всех и каждого, попавшегося на его пути.

Княгиня Гризельда вскрикнула и почти упала на стул.

— Пан мог бы оставить и про себя эту гнусную новость,— метнул взбешенный Иеремия в сторону шляхтича стальной взгляд.

— Прости, ясноосвецоный княже, за передачу предерзостных слов подлого хлопа,— поклонился посол,— но они показывают только, до чего возросла дерзость разбойника,— дерзость, требующая немедленной поимки этого зверя и примерной кары над ним.

— Неслыханная дерзость! На палю быдло! — зашумела кругом разгоряченная толпа.

— На меня, на Иеремию, осмелился подняться дерзкий хлоп,— продолжал князь, выкрикивая слова,— на Иеремию, от имени которого дрожит Турция, Московия и Бахчисарай! Что ж ожидает все ваши маетки? Если они еще не лежат пепелищем, то будут сожжены завтра, сегодня. Ваши жены будут проданы в Крым. Вы сами попадете к быдлу на пали!..

— In nomen patri et fili et spiriti sancti *, да охранит нас святая дева от вторжения исчадий ада! — побледнел патер.

— Быть может, разбойник уже близко,— пропыхтел растерянно князь Заславский, оглядываясь по сторонам.

— Проклятие всякому, кто еще заступается за эту шайку, из-за которой никто не может быть уверен в завтрашнем дне. Целуйтесь теперь с Кривоносом! — стукнул рукой по столу пан Чарнецкий.

Бомба, упавшая среди залы, не произвела бы большего смятения, чем это слово «Кривонос», раздавшееся теперь в тысяче местах. Панны, молодые магнаты — все столпились вокруг стола.

— Прошу панство не тревожиться,— остановил всех гордо и пренебрежительно князь Иеремия,— замок не-

---

* Во ім'я отця, і сина, і святого духа *(лат.)*.

приступен, жизнь моих гостей под моим кровом неприкосновенна. В обороне замка пятьсот моих непобедимых драгун, столько же возвратится из Жовнов завтра,— по лицу молодого шляхтича пробежала какая-то темная тень,— все они останутся в замке. На это быдло я выезжаю с псарями и хлыстом!

— Князь слишком уверен,— вставил гордо молодой шляхтич, едва сдерживая какое-то непонятное волнение,— не советовал бы я выезжать на шайку Кривоноса с псарями и хлыстами — они многочисленны.

Иеремия прищурил глаза и смерил своим надменным взглядом с ног до головы молодого шляхтича.

— Пан или слишком боится Кривоноса,— произнес он медленно, отчеканивая каждое слово,— или преклоняется перед ним.

— Ни то ни другое,— ответил тот спокойно,— я слишком хорошо знаю эти буйные головы, так как часто дрался с ними, да и задача князя требует многочисленного войска: нужно ведь окружить огромное пространство плавней и не дать уйти зверю!

— Да, да, упаси господи! — раздались тревожные голоса.

— Пан с ними дрался, но и князь Иеремия бил их нередко,— подчеркнул Вишневецкий,— однако если пан знает их так близко, то, я надеюсь, он не откажет мне принять участие в облаве, которую я объявляю на завтра.

На лице молодого шляхтича отразилось невольное смущение.

— За честь для себя почту выступить с княжьими войсками,— произнес он с легкою запинкой,— но я тороплюсь поскорее в Чигирин: пан староста наказал мне возвратиться к нему завтра обратно... Если ясный князь примет на себя ослушание мое перед паном старостой, то я могу указать княжьим войскам, где скрывается этот пес.

— Хорошо! — кивнул головой Иеремия, давая тем понять, что аудиенция окончена.

Шляхтич отошел к группе молодежи.

— Не узнает меня пан, что ли? — протянул к нему широкую руку пан ротмистр.

— Кажется,— смешался шляхтич,— где-то встречались,— «Маслов Став»,— мелькнуло у него молнией в

мозгу.— А может быть, я похож на кого-либо из панских знакомых?

— Да, как же, как же... знакомое лицо... земляки ведь,— тряс руку шляхтичу длинноусый пан ротмистр.— Пан ведь из Литвы?

— Из Литвы,— как-то тихо и робко ответил посол.

— Из моей родины... Я панский род весь знаю... со многими друг и приятель, пан, вероятно, сын Януария?

— Гм... вероятно,— процедил сквозь зубы посол... «А, чтоб тебя ведьма подрала с твоим знакомством... и прицепился же чертовый литвин!» — ругал он его мысленно, не зная, как отойти, улизнуть.

— Да? — обрадовался ротмистр.— А как же поживает панна Ядвига?

— Ничего себе,— осматривался по сторонам молодой шляхтич, подыскивая предлог отойти дальше. «Да помоги же, святой Юр! — напрягал он мозг свой с мольбой,— вывези: свечку поставлю! Э, впрочем, была не была!» — повернулся он решительно к пану ротмистру.— Прости, пане, тут какое-то недоразумение; я сейчас немного рассеян, думаю все про этого пса Кривоноса, а пан мне повторяет незнакомые имена.

— Пан каких Адамовичей знает? Из каких мест? Из Боровки, Сосницы, что на Вилейке, недалеко от Вильны, фамилии — пана Януария, пана Антося, пана Эдуарда, кажется, все?

— Э, пан ошибается,— засмеялся небрежно шляхтич,— я не из тех, слышал про вилейских тоже, но они даже не родственники, а только одного герба.

— Странно,— пожал плечами пан ротмистр,— а мне Антось божился, что во всей Речи Посполитой только и есть единственная ветвь фамилии Адамовичей-Шпорицких — это их... а вот, выходит, и другая нашлась, а где же панская сидит? — любопытствовал-таки пан ротмистр.

— Моя... далеко, пане, за Могилевом...

— А где же именно? Тамошние места мне тоже знакомы.

«Провались ты в тартары, литовская бочка! — ругнул почти вслух нового, нежданного приятеля шляхтич.— Что б ему выдумать?»

— Из Рудни! — выпалил наконец он отчаянно.

— Из Рудни? — вытаращил глаза ротмистр.— Из Рудни? Из моего родного села?

— Не из Рудни, а из Рудниц,— поправился нагло шляхтич и потом, не давши прийти в себя ротмистру, пожал ему руку, пробормотав, отходя: — Во всяком случае, рад, весьма рад... А вот еще мой знакомый,— показал он неопределенно головою в противоположный конец залы и скрылся между толпой.

Пан ротмистр так и остался, застывший от изумления, с расставленными руками:

— Эй, что-то, голубчик, хвостом ты вертишь и улизываешь, как вьюн! Адамович ли ты? Вот что!

К пану ротмистру подошли некоторые из шляхты.

А молодой шляхтич пробирался бесцельно вперед и очутился незаметно возле амбразуры окна, у которого стояла пани Виктория, как окаменелая статуя; грудь ее вздымалась высоко и медленно, глаза не отрывались от молодого шляхтича, рука судорожно теребила платок... глубокое, необоримое волнение охватывало всю ее властно.

Когда молодой шляхтич, потупив голову, подошел к ней близко, она не удержалась и порывистым шепотом бросила к нему слово: «Михасю!»

Это милое, давно забытое слово ударило шляхтича, как стрела, и заставило обернуться и вздрогнуть всем телом.

— Ты! Ты! Узнала! — прошептала Виктория, и на ее красивом лице вспыхнул такой огонь радости и восторга, что у молодого шляхтича что-то дрогнуло в груди и разлилось горячею волной по всем жилам.

— Я пани не знаю! — пересилил он все-таки свое волнение и ответил холодно и небрежно.

— На бога! Пан по лезвию ходит,— шептала, смотря по сторонам, Виктория,— я... я... не враг...

— А, пани друг? — улыбнулся презрительно шляхтич, но в это время обратился к нему резким голосом князь Ярема:

— Проше, пане посол! — махнул он рукою.

Молодой шляхтич подошел беспечно и элегантно.

Пани Виктория двинулась тоже и остановилась за князем Вишневецким, между толпой молодежи.

— Пан давно из Чигирина? — спросил, прищурив глаза, князь Ярема.

— Третьего дня выехал, ваша княжья мосць,— ответил бойко шляхтич.

— И пан Конецпольский был дома? — улыбнулся князь.

— Куда-то собирался... мне неизвестно,— замялся шляхтич.

— Странно, что он послу своему не сообщил, где будет находиться... Мне могла прийти мысль наведаться к нему...

— Да, вероятно, дома, ясный княже! — снова ободрился шляхтич.

— Еще страннее! — нахмурил брови Иеремия.— Разве пану не известно, что чигиринский староста выехал в Варшаву на свадьбу Радзивилла, и, кажется, не три дня назад... а более?

Одно мгновение шляхтич почувствовал, как сердце его перестало биться, а кровь замерла в жилах, но это было лишь мгновение.

— Пан староста не считает нужным сообщать подчиненным о своих намерениях...— отвечал он с некоторою наглостью.— Быть может, потому пан староста и потребовал моего немедленного возвращения, чтобы в его отсутствие было верное лицо у подстаросты.

— Возможно...— протянул князь Иеремия, пронизывая шляхтича насквозь серыми, своими злыми глазами.— Хорошо, увидим!.. Во всяком случае пан у меня останется гостем,— подчеркнул князь тоном, не допускающим возражений.

Потом, поднявшись со стула, громко заявил всем:

— Панове! На утро поход! Кто желает принять участие в нашей облаве, прошу всех под мою хоругвь!

Громкие бурные возгласы покрыли оглушительным шумом его слова.

Гости двинулись за князем в другие покои.

Бледная, с искаженными от ужаса чертами лица, с блуждающими глазами, стояла в стороне пани Виктория, готовая крикнуть кому-либо: «На помощь! Во имя бога!» Она чувствовала, как все кружилось в ее голове, как внутри ее жгло, и, ломая себе бессознательно руки, шептала только: «Что делать? Что делать? Погиб!» Вдруг глаза ее заметили седого ротмистра, остановившегося невдалеке.

— На бога! — рванулась она к нему и заговорила

прерывистым шепотом: — Вам я могу довериться, как новому другу, от вас зависит спасение моего доброго имени... Но моя честь... моя жизнь...

Пан ротмистр взглянул на бледное, взволнованное лицо пани и не заставил повторить просьбы.

— Положитесь на меня,— шепнул он,— головы лишусь, а не выдам!

— Спасибо! — произнесла она, сдавив ему руку.— Остановите поскорее... вон того нового посла... во имя матки найсвентшей, остановите!.. Пусть он пойдет ко мне только на два слова... от этого зависит... да, моя жизнь!

— Все будет сделано! — уверенно сказал ротмистр и скрылся в толпе. «Однако,— кружились у него в голове мысли,— посол-то этот, видно, штучка: и относительно деревни врет, и такую сличную пани пугает до смерти... Нет, брат, я тебя не спущу с глаз!»

Через несколько минут стоял перед смертельно взволнованною паней Викторией молодой шляхтич в почтительно-насмешливой позе, а в глубине залы за колоннами виднелась на стене безобразно длинная колеблющаяся тень пана ротмистра.

— Чем могу служить пани? — спросил холодно и церемонно молодой шляхтич.

— Вот ключ,— протянула она судорожно руку,— во имя всего святого, Михась, будь в северной башне... через годыну... я буду там.

— Таинственное свидание! — захохотал беззвучно посол.

— Не оскорбляй! — с мольбой протянула Виктория руки.

— А! Испугалась за свое имя? — оледенил он ее презрительным взглядом.

— Не обо мне речь, но о тебе,— задыхаясь от волнения, но гордо ответила пани,— о твоем спасении... жизнь твоя на волоске! Завтра будет поздно!..

Как окаменелый, стоял Чарнота посреди отведенной ему комнаты, не зная, что делать, на что решиться, что предпринять? Мысли у него мешались: тысячи различных планов и предположений росли, подымались в мозгу, словно волны прибоя, но, как волны прибоя, они и

разбивались о скалы при одном воспоминании о несомненной западне, в которую он попал. Одно было, как божий день, ясно, что нападение на замок при наличном числе гарнизона и прибывших команд было невозможно, безумно! Мысль о бегстве из замка сегодня же, ночью, приходила ему несколько раз, но как ни изощрял Чарнота своего остроумия, а должен был наконец согласиться, что сделать это при всей предосторожности, при самой отчаянной храбрости было немыслимо. Оставалась одна только надежда на завтра: и то, если возьмет с собою в поход князь,— тогда бы можно было завести куда-нибудь панство в непролазную пущу или в такое болото... А батька Максима натравить на застрявшего в болоте Ярему... «Вот была б потеха — уж на что лучше! Конечно, меня бы он велел искромсать, да за такое дело — любо! А то еще, чего доброго, в суматохе и улизнуть бы было возможно... Да, да,— оживился Чарнота,— птицу на воле, а козака в поле кто поймает? Но возьмет ли Ярема с собой? Вот в чем речь! Да, эта речь с гвоздем!.. А теперь как дать знать товарищам, чтобы сидели тихо, чтобы ни словом, ни звуком не выдали себя варте... Им-то наказал я строго, чтобы до выстрела не смели и писнуть, а поили бы домертва варту, а главное, воротаря, чтоб после сигнала могли сами спустить мост и отворить браму... А тем, тем, в мешках, как сказать... задохнутся, пожалуй.... Нет, выдержат, не в таких переделках бывали... Но век же сидеть нельзя... Нападение ночное невозможно... Кривонос стоит под замком... ему нужно дать знать... иначе завтра его могут обойти... я-то могу и остаться; раз ведь умирать, а не двичи, а товарищам нужно дать знать... Ах, господи, что делать?.. Только бы передать... шепнуть два слова, но как? На дверях стража... В окно! — почти вскрикнул он.— Высоко... ничего... ночь темная... можно связать пояс...» Чарнота начал поспешно разматывать огромный шелковый пояс, обвивавший несколько раз его фигуру.

«Хватит, хватит...— шептал он тихо, лихорадочно,— а там и спрыгнуть можно... треснут немножко кости,— не беда!» Чарнота подошел к окну, распахнул осторожно раму, перегнулся, чтобы измерить расстояние, отделявшее его от земли, и отскочил с проклятием назад: под окном, при слабом мерцании одиноких звезд, он заметил тяжелую и неподвижную фигуру латника с длин-

ным копьем. Сердце замерло у Чарноты, и мороз пробежал по спине до самых пят... Западня!.. Западня.

Прошло несколько минут мучительного, бессильного оцепенения.

— А, проклятье! — воскликнул он наконец, сжимая рукоятку своей сабли.— Что ж теперь делать? Что предпринять?..

«Положим, он приказал Верныгоре не начинать ничего до его появления... Но кто может поручиться за их буйные, неудержимые натуры? А Кривонос?.. О, тысячи тысяч чертей и столько же лысых ведьм!.. Как их уведомить?.. Как дать им знать? — Несколько раз прошелся он в волнении по комнате...— А пани Виктория?.. Как расцвела, похорошела, как пышный мак! Узнала... и побледнела... У! Панская лядская душа!.. Что ж, тешится теперь с своим старым чертом! Ха-ха-ха! И он мог когда-то кохать ее?.. Думал назвать своею дружиной?.. Ух!.. Гадина... с горящими глазами: за почт, за роскошь продала и сердце, и красу!»

Чарнота снова обвязался поясом, засунул за него дорогой пистолет и остановился у окна. Тихий ветер пахнул ему прохладой в разгоряченное, взволнованное лицо и приподнял взъерошенную чуприну. Несколько минут козак стоял молча, закусивши губу и скрестивши на груди руки... На лице его, всегда беспечном и удалом, отразилось теперь выражение глубокой и тяжелой муки. Казалось, какие-то давние, забытые воспоминания нахлынули бурею на молодое сердце козачье... Наконец глубокий вздох вырвался из его груди...

— Минуло! — произнес он подавленным голосом.— Одна ты теперь у меня и дружина, и порадница! — опустил он руку на эфес своей сабли.— Ты не изменишь, не променяешь на пана щырого коханца!..— Чарнота снова прошелся по комнате и снова остановился у окна.— Однако просила прийти, молила, говорила, что должна сказать что-то. Что это, неужели новая слабость? — отступил он.

«Нет, нет! — сказал козак, усмехнувшись горькою улыбкой.— Что раз похоронено, того не воскресить никогда! Только ж тут больно как,— сжал он свое сердце руками,— ох, обида, обида!.. Да что там вспоминать?» Чарнота безнадежно махнул рукой и устремил глаза в темную даль сада; на конце его мрачным силуэтом вы-

резывалась круглая замковая башня с острым высоким шпилем, на котором светлою красноватою точкой виднелся фонарь.

— Ах, там они! — сказал, подойдя к окну ближе, Чарнота.— И ничего не знают, над ними меч, а я тут бессильно злобствую и ничего этой башкой не придумаю. Стой! — ударил он себя рукой по лбу.— Она говорила что-то о спасении, быть может, знает лех, тайный ход, пойти спросить, не для себя,— вскинул он гордо голову,— для них, для товарищей. Да, пойти, пойти! — сверкнули глаза Чарноты в темноте.— И сказать ей, панской продажнице, как он, козак-нетяга, ненавидит ее, презирает.

Чарнота быстро повернулся и распахнул тяжелую дверь. В замке все спало. Утомленное криком и пьянством, вельможное панство храпело беспечно под охраной башен, рвов и гармат. Затаив прерывистое непослушное дыхание, двинулся Чарнота по коридору, вспоминая дорогу, указанную ему Викторией. В одном месте ему показалось, что на высоких сводах коридора заволновалась какая-то посторонняя тень, но, оглянувшись пристально, он решил, что это лишь глупая игра воображения. По мере приближения к северной башне волнение поднималось в нем все сильнее и сильнее. Он чувствовал, что, несмотря на все его усилия, сердце в его груди бьется все тревожнее, неудержимее, горячее...

— Да цыть ты, подлая ганчирка! — сказал, сцепивши зубы, козак и ударил себя со всей силы в грудь кулаком.— Или я пройму тебя тут же своей карабелой. Слышишь, подлое? Цыть!

Но не слушалось молодое сердце.

Вот он остановился у маленьких низких дверей. Слабый свет фонаря вырывался из замочной скважины тонкою предательскою полоской. «Здесь!» — пронеслось в голове козака. На минуту он еще остановился и распахнул наконец настежь дверь.

Небольшой потайной фонарик тускло освещал маленькую, сводчатую комнату. В глубине ее, прижавшись горячим лбом к холодному стеклу окна, стояла пани Виктория.

При первом стуке она вздрогнула и быстро повернулась. Чарнота притворил дверь и остановился при входе. Несколько минут они молча стояли, не отрывая глаз

друг от друга. Наконец Чарнота отвесил низкий и церемонный поклон и, смеривши Викторию холодным, презрительным взглядом, спросил насмешливо:

— Ну? Что ж вельможной пани угодно было сказать мне?.. Я жду.

Виктория побледнела.

— Оставь!.. Не будем играть друг с другом! — проговорила она прерывисто, едва держась за подоконник окна.— Михайло, я узнала тебя!..

— Нет ничего мудреного, я все тот же, лядские прикрасы не изменят меня,— усмехнулся Чарнота.

— Стой! Не язви! Время идет... Скажи, зачем ты здесь? — продолжала Виктория с возрастающим волнением.— Я знаю твою безумную голову: твой приезд... твой убор — все это недаром... ты рискуешь жизнью...

Чарнота смерил ее взглядом и, забросивши гордо голову, произнес холодно и надменно:

— А что ж до этого вельможной пани?

— Пресвятая дева! — прошептала Виктория, сжимая с мольбой руки.— Я слыхала, как Иеремия отдал распоряжение не спускать тебя с глаз,— продолжала она снова задыхающимся шепотом.— Знаешь ли ты, что это значит? Знаешь ли ты князя Иеремию? Жизнь твоя на волоске!

На лице козака не дрогнул ни один мускул.

— Ну что ж, посадят на палю!.. Уж не пани ли будет печалиться обо мне?

— Михайло,— вырвалось у Виктории с горечью,— не говори так, я от муки умру!

— Ха-ха! — усмехнулся козак и насмешливо, и горько.— Что ж это вельможная пани так поздно стала жалеть обо мне? Или вельможный пан уже приелся, или слишком стар?

Виктория взглянула на него своими расширившимися от волнения и ужаса глазами и отступила назад. Плечи ее задрожали: из груди вырвалось судорожное рыдание.

— За что?.. За что?.. За что? — прошептала она надорванным, бессильным голосом, прислоняясь к стене.

Несколько мгновений длилось тяжелое молчание, нарушаемое лишь порывистым дыханием козака.

Наконец Чарнота заговорил глухим, взволнованным голосом, стараясь превозмочь охватившую его дрожь:

— За что? Ты еще спрашиваешь, за что? А за что ты играла со мной? За что ты дурила меня? За что ты зневажыла мою первую и последнюю любовь?

— Я любила тебя... тебя одного,— прошептала тихо Виктория, отнимая руки от лица.

— Любила? Ха-ха-ха! — рассмеялся горько козак.— Любила и отдалась за гроши другому.

— Михайло, ты знаешь... бог видит, не я... принудили...

— А, лядская верность,— продолжал горячо козак,— любила и не посмела ослушаться батька? Побоялась уйти со мной и довериться мне? Жартуешь ты, вельможная пани... Тебе ли кого-нибудь кохать? Да знаешь ли ты,— продолжал он с загорающейся страстью,— знаешь ли ты, бедная, в самоцветы закутанная кукла, что если бы ты мне сказала тогда только: «Михайло, люблю тебя, бери меня с собой!» — из пекла бы вырвал, со дна моря бы вынес, у бога в раю, слышишь, пани, нашел бы я тебя, и не разлучил бы меня с тобой никто ни на жизнь, ни на смерть.

— Михайло! — рванулась к нему Виктория.

— Годи! — отступил Чарнота, тяжело дыша и отстраняя ее рукой.— То было, пани, было, но прошло.

Лицо Виктории сначала вспыхнуло горячим румянцем, затем побледнело, как полотно. Мгновение она боролась с собой, но, наконец, заговорила снова глубоким и печальным тоном:

— Ох, поверь же мне, поверь мне хоть в этом слове,— забросила она свои белые руки и сжала ими пылавшую голову.— Какую муку вынесла я, когда узнала, что ты на Запорожье ушел! Слов нет рассказать тебе, сколько тяжких слез пролила я!.. Я думками за тобой всюду летала, я от тоски извелась... Ох, Михасю, Михасю! Когда бы не люди, которых ко мне приставил батько, я бы давно нашла свою смерть!

— И нашла вместо нее мужа! Ха-ха-ха! — разразился глухим смехом Чарнота.— Что ж это, пани, от слез или от тоски?

— Не своей волей, что ж было делать мне? Меня принудил батько.

— Покорная, слухьяная дочка. Коханца утеряла и замуж за старого магната пошла для батька! — крикнул Чарнота яростно.— А знаешь ли ты,— заговорил он

вдруг задыхающимся, безумным шепотом, хватая ее руку и сжимая до боли.— Знаешь ли ты, что делают наши дивчата, когда их против воли тянут в панский покой? Знаешь ли ты, что делают они потом с собой? Под лозы в тихий омут, аркан на шею. А ты? — оттолкнул он ее с силою.— Ну, что ж не спешишь к старому мужу?

Виктория гордо выпрямилась, в глазах ее блеснул оскорбленный огонь и, отступивши назад, она заговорила твердо и смело:

— Что ж, и вышла. Да, своею волей пошла! Когда у человека отнимут любовь, остается еще одна страсть, сильная и могучая, как и она! Жажда власти! Тебе ли не знать ее? Да, я вышла за старого магната, вышла для того, чтобы иметь власть и силу, чтобы отомстить им всем за то унижение и бессилие, которое я несла до сих пор! — и на щеках Виктории вспыхнул горячий румянец.— Теперь я сильна и свободна! Жизнь свою продала я мужу, но сердце не продам никому!

Чарнота молчал, не отрывая глаз от Виктории. Два разнородные чувства боролись мучительно в нем: презрение, ненависть и непобедимый восторг перед этою смелою, дерзкою красотой. Несколько раз он бросал беглый взгляд в высокое окно, из которого видно было въездную башню и красный фонарь, но что-то могучее и бурное уже овладевало безраздельно его мыслями, отуманивая и память, и мозг.

— Не бойся, Михайло! Любви твоей я не требую! — продолжала еще горячее Виктория.— Одно только говорю тебе: я любила тебя, люблю и не перестану любить!

— Втайне от магната, чтоб не узнали паны? — стиснул зубы Чарнота.

— Что муж? Что панство? Да я не боюсь всему миру сказать... Тебя люблю, тебя одного,— почти шептала она, протягивая к нему руки.

— Годи, пани! — отступил еще раз Чарнота, чувствуя, что теряет волю над собой, но было уже поздно.

Охватило козака полуденным зноем, обвились вокруг его шеи руки Виктории.

— Желанный мой, коханый мой, не мучь, не мучь меня больше,— шептала она, прижимаясь к его лицу пылающими щеками.— Ты любишь, ты любишь меня! Ведь любивши так, невозможно забыть. О нет, довольно, не отстраняй меня, не хмурь бровей, зачем отталки-

вать свое счастье? Сегодня наш рай, а кто знает, что принесет нам завтрашний день?

— Оставь, пусти! — слабо уже вырывался Чарнота, но белые цепкие руки охватили его шею еще страстнее, и гибкое тело Виктории прильнуло еще горячее к его груди.

— Забудь, забудь все на свете,— продолжал молодой опьяняющий голос.— Ты первый, ты и последний. В моем сердце не было и не будет другой любви. Смотри, вот уходит тихая ночь, там настанет шумное утро... Ах, день несет с собою так много зол и хлопот! Михасю, быть может, это единая мыть счастья, которая блеснула нам за всю нашу жизнь? О милый, ненаглядный, коханый мой! — закинула она свою огненную головку.— Хоть взгляни ж на меня ласковым оком. Неужели в твоем сердце нет ни жалости, ни ласки? — и на глазах ее блеснули слезы.— Смотри, я люблю тебя, я умираю от любви!

— Виктория,— произнес страстно Чарнота,— да пропадай же пропадом все! — и он покрыл ее всю порывистыми, жгучими поцелуями...— Ах, что я? Пусти! — рванулся Чарнота, приходя наконец в себя, но безумные объятия Виктории гипнотизировали его волю.

— Ты опять? — отстранила она головку от его груди и, глянувши ему в глаза, с бесконечно нежною улыбкой прошептала тихо: — Да разве ты не видишь, жизнь моя, счастье, что теперь ты моя жизнь... один, один... в тебе мое дыханье!

— А муж?

— О нет!.. Ты — мой муж, ты — мой коханый! — воскликнула горячо Виктория, изгибаясь, как кошка, и ища жадными устами лобзаний.

Несколько минут козак молчал, тяжело дыша; грудь высоко подымалась, казалось, что в нем происходила последняя мучительная борьба. Наконец он заговорил клокочущим, рвущимся голосом:

— Виктория, Виктория! Я все забываю... я верю тебе... Что обманывать? Люблю тебя без ума, без души. Но если ты меня любишь, уйдем отсюда... от мужа, от панства навсегда, навсегда... Ты знаешь какой-то лаз, уйдем со мной... вверься мне! Я буду любить тебя, как только возможно любить человеку. Я окружу тебя роскошью, негой, я ветру на тебя дохнуть не дам... От

огня солнца укрою. Уйдем, Виктория, скорее! — сжимал он ее порывисто в своих объятиях.— Будь мне верной и честной дружиной на всю жизнь, на всю жизнь!

— Бог мой! Счастье мое! Утеха моя! — охватила его голову Виктория и прижалась к его горячим устам.

Чарнота покрыл безумными поцелуями ее лицо, ее плечи, ее грудь...

— Идем, идем скорее! — шептал он, бросая тревожные взгляды на башенный фонарь.— Оставь это подлое панство, будь моею безраздельно и перед богом, и перед людьми! Мы уйдем так далеко, где никто нас не догонит и не отыщет... Расстанься с своим панством, доверься мне!..

— Зачем уходить? — прильнула к нему еще страстнее Виктория.— Милый мой, коханый, хороший! Я тебя выгорожу и так. Ты знаешь, что князь обожает Гризельду. Гризельда — моя подруга: два слова скажу, и ты будешь свободен.

Чарнота вздрогнул, отшатнулся и пристально взглянул на Викторию, но она не заметила его взгляда и продолжала еще нежнее, ласкаясь и прижимаясь к нему:

— Милый мой, ненаглядный, ты поступишь в наши хоругви. Теперь сеймы, потом усмирения хлопов. Муж мой редко бывает дома, да и кто знает, что нам готовит на дальше судьба?

— Что-о? — прошептал, задыхаясь, Чарнота, и лицо его страшно побледнело, а синие глаза сделались почти черными.— Опять предлагаешь обман и шельмовство? Мало, осмелилась предложить зраду? А, теперь-то я тебя вижу! Но ты промахнулась, вельможная пани, не на такого напала! Геть от меня,— оттолкнул он ее гадливо и с такою силой, что Виктория пошатнулась и едва удержалась за подоконник окна.— Геть! — крикнул он яростно.— Лядская у тебя кровь и лядская душа!

— Михайло! — рванулась было Виктория.

— Ни слова! Гадина! — перебил ее бешено Чарнота.— Я ненавижу, я презираю тебя!

— А, так-так? Постой, Михайло, не торопись на зневагу, на унижение,— заговорила она медленно глухим, дрожащим голосом, выпрямляясь во весь свой рост, бледная, с горящими глазами, с оскорбленным, дышащим гневом лицом.— Не торопись, говорю тебе, подумай. Знаешь ли ты месть отвергнутой женщины? — впи-

лась она в него глазами.— Знаешь ли ты, что жизнь твоя в моих руках?

— Угроза? — улыбнулся, прищурив презрительно глаза, Чарнота.

— Нет, не угроза, а правда... я не пощажу, коли так, и себя. Уж коли такая обида, коли мое сердце разбито, так что мне жизнь? — И она быстрым, неожиданным движением выхватила у него из-за пояса пистолет и, выставивши в незастекленную железную раму, выстрелила на воздух.— Пусть накроют меня с тобой!

— Проклятье! — вскрикнул Чарнота, бросаясь к окну.— Что ты наделала?

Он быстро взглянул в окно, и снова крик ужаса вырвался у него из груди: фонарь, висевший на вершине башни, судорожно заколебался и полетел с высоты вниз, и в то же время донесся до него поднявшийся у брамы крик и звук сабель.

— Они погибнут! — вырвался у него вопль из груди.

— Ага, изменник! — вскрикнула бешено Виктория, хватая его за руку.— Теперь ты не уйдешь от меня!

— Мало! — отступил от нее гордо Чарнота и произнес громко и смело: — Я Чарнота, разбойник, товарищ Кривоноса. Ну, спеши же теперь к своему князю и скажи ему, что мы прибыли сюда для того, чтобы выжечь весь замок и истребить всех вас до единого.

— Ай, матка свента! — воскликнула с невыразимым ужасом Виктория, как подстреленная птица, зашаталась и, хватаясь за стену, опустилась на пол.

Окна башни начали мигать огнями. Послышалась тревога.

— Проклятье! — шептал Чарнота, задыхаясь и потрясая с усилием решетчатое окно.— Все погибло! Смерть, ужас, бесчестье! А!..— тряс он с остервенением железную раму. Лицо его покрылось багровым румянцем, на лбу надулись жилы.— Проклятье! Пекло! — кричал он бешено, но рама не поддавалась. Крик и шум в замчище принимали все более угрожающие размеры. Вот по двору замелькали фонарики.

— Куда ты? Я не пущу тебя! — вскрикнула Виктория, приходя в себя и заметив, что Чарнота стоит на окне.— На бога! Там верная смерть, я спасу, я спрячу тебя! — поползла она к нему.

— Не подходи, змея! — оглянулся на нее исступлен-

ный Чарнота, потрясая с нечеловеческим усилием раму.— Позор! Предательство!

— На бога, на панну! — захлебывалась с рыданьем Виктория, ломая руки и ползая у ног Чарноты.— Я спасу тебя, я спрячу! Князь — кат, пекельные муки!

— Пусти! Я товарищей не брошу! — вырвался от нее Чарнота, но цепкие руки судорожно охватывали его, мешая свободе движений.

— Ай! Не удержу тебя! Ты уйдешь, ах, смотри, то князь Иеремия! — вскрикнула обезумевшим голосом Виктория, увидевши князя во главе своих латников, быстро мчавшегося к воротам.— Смерть, смерть, смерть! — закричала она, цепляясь в беспамятстве за одежду Чарноты.

— Прочь, или я убью тебя! — оттолкнул ее Чарнота с такою силой, что она плашмя упала на пол.

— Езус-Мария! Ратуйте! — взвизгнула Виктория с последнею отчаянною надеждой, протягивая руки к Чарноте, но он уже был на окне. Рама наконец распахнулась и сорвалась со звоном. Освещенный огненным заревом, козак готов был ринуться вниз, как вдруг чьи-то сильные, тяжелые руки схватили его сзади за плечи, и он, потеряв равновесие, грохнулся замертво со всей высоты головою об пол.

XXXI

Две недели прошло с тех пор, как Богдан вернулся домой и Марылька водворилась в семье. За это время уже к ней попривыкли немного, а сначала приезд польской панны поразил было всех и послужил на целую неделю материалом для всевозможных хуторских толков. Хотя Богдан и объяснил с первых слов, что великий канцлер и найяснейший круль принимают в этой сиротке большое участие, даже просили его, Богдана, взять ее под свое покровительство, как спасенную им же от смерти, но всем казалось странным, во-первых, то, что дочь польского можновладца поручается в опеку козаку, а во-вторых, что об этом спасении до сих пор никому не было известно.

Жена Богдана встретила Марыльку приветливою улыбкой, довольная тем, что ее муж почтен доверием и

лаской наияснейших особ, а главное, что он вернулся, что царица небесная сжалилась над ее мольбами, послала ей в последние минуты скорбной жизни отраду увидеть дорогого Богдана, сказать ему прощальное слово и сомкнуть при нем навеки глаза.

Положение больной было уже смертельно. Удушье не давало ей ни сна, ни минутного даже покоя; высохшее до ужасающей худобы желтое лицо ее почти утопало в высоко взбитых подушках, руки неподвижно лежали, как тонкие плети, на ковдре; под складками ее обрисовывался вспухнувший непомерно живот и протянутые бревнами ноги, только теплящийся огонь блуждающих очей, глубоко запавших в орбиты, да судорожно подымавшаяся грудь обнаруживали в этом немощном теле последнюю борьбу угасающей жизни.

Марылька подошла благоговейно к страдалице, опустилась на колени и поцеловала ей почтительно руку; больная с страшным усилием положила обе руки на голову панночки и прошептала слабо:

— Спасибо, панно... они тебя полюбят... У него,— повела она на Богдана глазами,— золотое сердце.

— А я-то,— закрыла руками свои очи Марылька,— уже всем сердцем люблю вас и всех... всех... Ведь я сирота, никого нет у меня... и ласки я не видала. Да наградит вас бог за нее...

Голос ее порвался, и она, вздрагивая и всхлипывая, отошла к окну.

Все были тронуты. Неласково и недоброжелательно устремленные на Марыльку взоры засветились более теперь теплым чувством. Ее вкрадчивый, чарующий голос и прорвавшееся горе подкупили всех сразу, а Марылька, расспросивши потом про болезнь своей новой мамы, заявила, что она сможет, при помощи божией, облегчить ей страдания, что такою же болезнью была больна и теща Оссолинского, при которой она состояла неотлучной сиделкой, и что она припрятала многие травы и лики, привезенные чужеземными знахарями для ее княжьей мосци.

Баба воспротивилась было вмешательству в сферу ее деятельности, протестуя, что всякое чужеземное зелье, собранное без надлежащей молитвы, не чисто; но утопающий хватается ведь за соломинку, да и Богдан притопнул на бабу.

Марылька сварила траву и дала выпить больной раза три этой настойки, подсунувши маму, при помощи Богдана, повыше; и полусидячее, более удобное положение, и новое снадобье облегчили, видимо, страдания умирающей: она вскоре затихла и заснула спокойно.

Баба, глядя на это, только качала головой да бросала исподлобья сердитые взгляды на эту новую ляшскую знахарку, а Марылька торжествовала, да и Богдан вместе с ней,— он был умилен ее горячею заботливостью и смотрел на нее, как на ниспосланного ему ангела-утешителя; про больную и говорить нечего: она сразу привязалась к Марыльке, как к спасительнице, не находя слов, как и благодарить ее...

Проходили дни. Больная привыкала и привязывалась все больше к Марыльке; последняя высказывала с каждым днем и уменье ухаживать за больной, и свою беззаветную преданность, и свой откровенный, простой, веселый характер. В минуты облегчения страданий она развлекала свою маму интересными рассказами из своих приключений и умела иногда разными прибаутками вызвать даже улыбку на безжизненно-бледном лице.

Оленка и Катря, смотревшие сначала исподлобья на новую, навязанную им сестру, начинали мало-помалу любить ее и сходились в светлицу матери слушать рассказы панночки. У одной только Оксаны крепко росло недружелюбное чувство к Марыльке, и она все избегала ее да отводила с бабой накипавшую злость: Оксана видела, что так или иначе, а Марылька оттерла незаметно от больной пани и Ганну, и бабу. Хотя Ганна не показывала и вида, что чем-либо огорчена, но Оксана замечала, что она стала молчаливой и печальной, а баба, так та втихомолку и плакала, да жаловалась Оксане,— до чего дожила: целый век-де упадала за паней, как за родною дытыной, а вот прибилась какая-то ляховка-причепа да и завладела и сердцем ее, и насиженным в этой хате хозяйством.

И действительно, Марылька становилась полною госпожой в этой светлице, пропитанной запахом ладана, васильков да оливы, горевшей в неугасаемой лампаде перед ликом матери всех скорбящих. Все здесь делалось только ею или по ее приказанию; никто уже не мог угодить больной: и подушки не так перебьют, и не подвер-

нут без боли ноги, и не так подадут кухоль, только Марылька умела во всем угодить, и умирающая не могла даже дохнуть без Марыльки.

С приездом этой панночки она не только чувствовала себя физически лучше, но и душой была бесконечно счастливее. Богдан теперь почти не отходил от жены и был безгранично к ней нежен.

Ему только тяжело было носить личину печали и удерживать рвущуюся из груди радость; но и тут облегчение страданий больной давало приличный мотив. Особенный такт Марыльки и уменье ее себя поставить и очаровать всех простотой и сердечностью своего нрава вывели Богдана из ложного положения и возвратили ему прежнюю уверенность и спокойствие.

В эти две недели Богдан почти никуда не выезжал и не давал знать никому о своем приезде; ему хотелось хотя на время укрыться в своем хуторе и пожить личными радостями; он дорожил этим кратковременным покоем, предчувствуя, что за пределами хутора опять поднимутся бури и человеческие стенания.

Ганна неоднократно сообщала Богдану про наплыв новых поселенцев, про то, что они поселены временно в куренях, но что нужно им приискать новые места для поселков; но он долго отказывался выехать на осмотр, ссылаясь на больную жену.

Ганна была поражена таким необычайным горем, охватившим Богдана до оцепенения, до полного даже равнодушия к наступающим со всех сторон бедам. Этот взрыв чувства к отходящей в вечность страдалице глубоко бы тронул отзывчивое сердце Ганны, если бы ее не смущала игравшая в глазах дядька радость.

Одно только известие потрясло Богдана, известие, переданное дедом, про гибель Чарноты.

— Эх, не выдержал! — рванул себя Богдан за чуприну.— А как я просил, как молил! Прямо на погибель пошел, тяжело, видно, было носить свою голову... Чарнота, голубь мой сизый! А какой рыцарь был из тебя славный! — утер Богдан набежавшую слезу.

— Да, пером над ним земля! — покачал сивою головой дед.

— Ну, а как там, что доброго? — спросил подошедший с Золотаренком Ганджа.

— Да что, братцы, все слава богу... Может, и увидим

ласку господню, вот скоро, скоро услышите про королевские милости,— хотел отделаться общими фразами Богдан.

— Да какие же милости? — допытывался Золотаренко.— Все про эти милости гудут, а их и не видно. По-моему, лучше синица в жмене, чем журавель в небе.

— А может быть, уже и журавель в жмене, мои друзья... Я не имею права оповестить вас раньше уряда, а говорю только, как близким своим, что журавель есть.

— Ну, слава богу,— мотнул головой дед,— а вот что еще, пане господарю, хотелось бы мне да вот и добрым людям знать, что это ты за ляховку к нам привез? Положим, дело хозяйское, а все-таки откуда она и на что?

Золотаренко и Ганджа присоединились тоже к просьбе деда.

И Богдан вынужден был для успокоения умов рассказать про батька Марыльки, про этого можновладца-баниту, ставшего потом завзятым запорожцем, его побратымом, принявшего наконец во спасение товарыства добровольную смерть и завещавшего на освобождение Украйны половину закопанных скарбов. Рассказ этот очень тронул слушателей и сразу же изменил их расположение к новой субботовской гостье.

— Так ты, пане господарю, с того бы и начал, что она дочь товарища,— заметил дед, кивая головою,— а кем был этот товарищ раньше,— нам байдуже.

— А и вправду так,— подхватил и Ганджа,— на Запорожье ведь к славному товарыству доступ всем волен,— лях ли ты, татарин ли, турок — приди, прочитай «Верую» да «Отче наш» да перекрестись... вот и все!

— На том и стоит Запорожье,— заметил Золотаренко,— оттого-то и переводу нет нашим орлам, что оберегают родной край и от татарина, и от лихого пана, непрошенного гостя, так вот и эта панна Марылька, выходит, уже не панна и не Марылька, а вольная козачка, дочь нашего товарища, значит, должна носить христианское имя, Марина, что ли,— баста!

— Я ей пока не сообщал истины про ее отца,— замялся как-то Богдан,— ведь она была пленницей у татар и про своего батька, про смерть его не знает. Я скрыл от малой еще дытыны, натерпевшейся и без того лиха в неволе, это тяжкое горе; потом ее приютил у себя Оссолинский, а я отправился, как вам известно, по коро-

левским справам в чужие края... Так она, значит, и думает до сих пор, что батько ее только запропастился куда-то, что его можно и разыскать... Вот почему я вас, панове, и прошу не разглашать этой истории, пока я не приготовлю Марыльку к смерти батька.

Все согласились с Богданом и отнеслись с теплою похвалой к его сердцу, откликнувшемуся с бескорыстным участием на предсмертный завет побратыма.

— Что и толковать,— заключил дед,— божье дело! И спасена душа та, что осушит сиротские слезы!

Хотя Богдан и видел разрушительное шествие болезни своей жены, хотя и сознавал, что приближаются уже последние мгновения ее страданий, но все-таки его радовали и тешили эти временные облегчения, дававшие жене и забытье, и покой.

Заснет, под влиянием наркотического питья, больная, и Марылька позволит себе выйти в большую светлицу, а Богдан уже сидит там и передает своей детворе какой-либо случай из его боевых пригод или рассказывает про чужие страны, про цветущие города, про высокие горы, прячущие в облаках свои белые вершины, про широкие моря, играющие нежною лазурью...

А молодые хлопцы и подлетки-доньки по-прежнему льнут к своему тату и просят все рассказывать побольше да подлиннее; Марылька тоже присядет, бывало, скромно к этой группе, целует и ласкает своих новоприобретенных сестер, расчесывает им головки по варшавской моде и не сводит очей с своего любого тата. Одна только Ганна не принимала живого участия в этих беседах; она вся отдалась делам благотворительности: устраивала приюты беглецам, калекам, ухаживала за больными и по целым дням не бывала дома, а если случайно и заставала иногда в светлице такую нежную семейную сцену, то с опущенными глазами уходила назад. Богдан ловил иногда грустный серьезный взгляд ее лучистых очей, и ему становилось жутко и непокойно на сердце, он читал в них какой-то немой, но заслуженный им укор. А то, бывало, пригласит Богдан и детей своих, и Марыльку на свою половину, чтобы не беспокоить уснувшей жены. Дети были в восторге от такой редкой для них ласки и с веселым шумом бежали через широкие сени в батьковские покои: хлопцам была великая радость полюбоваться дорогим отцовским оружием и другими

диковинками, развешанными по стенам, расставленными по полицам, а дивчат особенно привлекала бандура. Здесь уже можно было попросить батька ударить по струнам, а как он играл! Мертвый, кажись бы, встал из могилы послушать его шумки и думки.

Теперь Богдан не заставлял себя и просить; только придут к нему, сейчас он снимет со стены розважницу туги, и запоют, заговорят струны, да так заговорят выразительно, что Марылька вся вспыхнет румянцем и опустит на нежные щеки тонкие стрелы темных ресниц.

Иногда Богдан заставлял Катрю спеть песню под переливы тихого звона бандуры. Голос ее, не совсем еще окрепший, звучал тем не менее серебром, задушевная, безыскусственная мелодия лилась прямо каждому в сердце, заставляя отзывчиво звучать его струны.

— Ах, какие ваши песни! — всплеснет, бывало, руками Марылька.— В них и слезы, и ласка, и бесконечная жалость, словно матери передает кто свое горе! Катруся, милая, дорогая моя, научи меня этим песням, научи,— покроет ее поцелуями панна,— а я тебя научу своим песенкам.

— Вот и отлично,— отзовется трепещущий от восторга Богдан,— учитесь, доньки, одна у другой, перенимайте лучшее, всякого ведь бог наделил особым добром, так нужно им и делиться. Да полюбите, мои любые, дружка дружку, без хитрости и щыро. По воле божьей Марылька в нашей семье, а она тебе, Катрусю, и тебе, Оленко, может быть, господи, как полезна! Марылька видела большой свет, магнатские звычаи и обычаи, а вы, хуторянки, кроме Субботова, ничего не видали.

— Я всему, всему, что знаю, буду учить тебя, Катрусю, и тебя, Оленко,— обнимала сестер своих Марылька,— через год увидите, и в королевский дворец можно будет выехать смело.

Катря обняла Марыльку, а Оленка надула губы и, отвернувшись, проговорила:

— На черта нам дворец, мне лучше на скобзалку.

— Вот тебе и на! — засмеялся Богдан.— И давай ей эдукацию! Ты бы променяла на дворец и коровник.

— А что же, тату,— посмотрела исподлобья Оленка,— и в коровнике весело, особенно когда придут Марта, Ликера, Явдоха и Явтух.

Марылька бросила в ее сторону презрительный взгляд, но, спохватившись, сменила его снисходительною улыбкой.

— Нельзя так, Оленка, судить,— погладила она ее по головке,— кто знает, а может, придется и тебе быть во дворце,— и она бросила украдкой на Богдана пламенный, вызывающий взгляд.

— Куда им! — засмеялся Богдан и взял несколько аккордов.— Ану, Марылько,— поднял он на нее восхищенные очи,— а ну, моя квиточко, пропой какую-либо песенку, а я подберу приґравання.

Марылька начала напевать веселенькую мазурéчку; вскоре под звон бандуры раздалось увлекательное пение. Зажигательный мотив, исполненный сильным, сочным голосом, производил неотразимое впечатление, наполнял серебром руллад светлицу, а глаза Марыльки искрились таким зноем страсти, что Богдан в порыве восторга взял так сильно аккорд, что струны взвизгнули и лопнули.

Дверь тихо отворилась, и на пороге стала незаметно Ганна. Звуки бандуры и пение давно привлекли ее внимание и изумили несказанно; в то время, когда над этим будынком веяло черное крыло смерти, они казались ей святотатством. Ганна бросила строгий взгляд на застывшую в увлекательной позе Марыльку, перевела его на опьяненного восторгом Богдана, на озаренные живою радостью лица детей и занемела, глубоко потрясенная и возмущенная сценой.

— Титочка стонут и плачут,— сказала она тихо, хотя в ее голосе послышалась непослушная дрожь горькой укоризны.

— Боже! Неужели мы ее разбудили? — всполошился Богдан.

— Пение и бандура долетали и туда,— еще тише проговорила Ганна.

— Но не через нее же, надеюсь, она плачет,— с досадой и тревогой возразил Богдан.

Вообще появление и сообщение Ганны неприятно задело его; он увидел в нем какой-то ригоризм, накидывающий узду на его волю.

— Нет, не через пение,— уже уверенно заявил он.— Кого может оскорбить песня и дума? Никого и никогда. Маме, может быть, хуже, так пойдем, детки, к ней!

— Я даже думаю, тато,— отозвалась скромно Марылька,— что музыка на такую больную должна действовать успокоительно и для больной бы следовало, в минуты облегчения, нарочито сыграть или спеть что-либо; это б, кроме всего, подняло у нее бодрость духа, а значит, и силы... Больной именно нужно показать, что близкие не убиты тоской, что, значит, положение ее улучшилось, а показное горе,— подчеркнула Марылька,— убило бы ее сразу.

— Правдивое твое слово, моя дытыно,— поцеловал Богдан в лоб Марыльку и отправился в сени.

Ганна побледнела заметно, и ее расширившиеся глаза потемнели.

В сенях Богдан остановил ее ласковым словом:

— Голубко, Ганнуся, упаднице моя любая!

Марылька, услыхавши эту фразу, остановилась было на пороге и в свою очередь побледнела, но Катря увлекла ее к матери.

Ганна задрожала, и если бы сени были светлее, то можно бы было заметить, как говорящие глаза ее переполнились слезами.

— Вот еще к тебе моя просьба,— наклонившись к ней, продолжал тихо Богдан.— Не можешь ли ты приютить у себя эту Марыльку, а то в большой светлице с дивчатами ей неудобно, да и больная постоянно то тем, то другим тревожит... панночка видимо побледнела... да и ее покоевка валяется по кухням... Они ведь обе привыкли к роскоши, к неге, не то, что мы, грубые... Да и то еще нехорошо, что Марылька, по своей ангельской доброте, приняла на себя роль сиделки возле больной, а мы словно обрадовались этому, напосели... совсем змарнила и извелась бедная деточка...

— Я уж думала, дядьку, об этом,— ответила взволнованным голосом Ганна,— я совсем уступлю этой панночке с ее покоевкой свою верхнюю горенку, а сама помещусь с детьми: мне тесно с ними не будет, а если придется услужить чем моей второй матери, так я всякий труд посчитаю за радость, за счастье.

— Святая душа у тебя... вот что! — промолвил с чувством Богдан.— Вся-то ты для других, вся в людском горе, а про себя и не думаешь... Эх, даже жутко нам, грешным, стоять рядом с тобой!

— Дядьку, за что вы смеетесь?

— Провались я на этом месте, коли слово мое не идет от щырого сердца! — воскликнул Богдан.— Чиста ты сердцем, а мы духом буяем...— вздохнул он,— однако твоим предложением воспользоваться — это уж было бы для тебя обидно... Ты так привыкла к своему гнездышку... и уступить его.... Я полагал, что вдвоем вы могли бы поместиться... там ведь просторно...

— Нет, дядьку, не турбуйтесь... мне будет с детьми удобнее и ближе к больной, а вдвоем мы могли бы стеснить друг друга.

— Ну, быть по-твоему... Спасибо, моя порадо! — и Богдан поцеловал Ганну в высокий, словно выточенный из слоновой кости, лоб.

Вечером покоевка варшавская Зося уже суетилась в новом, отведенном для ее панны, покое; взбила ей пуховики на кровати, закрыла ее шелковым одеялом, убрала столик вывезенными из Варшавы игрушками, установила посредине поддерживаемое амурами зеркало, поставила на окна роскошные букеты цветов, а у изголовья кровати прибила небольшой образок остробрамской божией матери. Для себя же устроила постель на канапке, стоявшей у дверей.

Чистенькая комнатка, убранная цветами и изящными безделушками, выглядывала уже не строгою кельей затворницы, а кокетливым гнездышком птички.

В отворенные окна смотрела теперь с неба блистательная южная ночь; под ее волшебным сиянием открывалась серебристым пологом даль; темные линии и пятна дремучих лесов пестрили ее причудливыми арабесками. Прохладный воздух, напоенный ароматом цветущих гречих, вливался тихою струей в эту горенку... Даже Зося, несклонная вовсе к поэзии, залюбовалась и этой ночью, и этою чарующею картиной.

— Панночко, любая, милая! — не удержалась она вскрикнуть навстречу входившей Марыльке.— Посмотрите, как здесь хорошо, как здесь пышно!

— Да,— обвела усталыми глазами светлицу Марылька.— Хоть и медвежий, а все-таки уголок. Уйти хоть есть куда отдохнуть...

— Уж именно, насилу добились какого-нибудь угла,— проворчала Зося, вынимая из скрыньки для панны

белье.— Мне и не доводилось отроду валяться по таким хлевам, как тут отвели, с быдлом в одной хате.

— Ничего, потерпим немного,— улыбнулась Марылька.— Это бывшая келья той... как ее... чернички, что ли?

— Чернички! — засмеялась Зося.— Этой преподобницы схизматской, Ганны.

— Как же это выгнали хлопскую святошу и ради кого? Ради шляхетной католички!

— Значит, наши святые посильнее! — подмигнула бровью Зося.— Пан господарь приказал мне вынесть просто Ганнины вещи, а светлицу приготовить для панны со мной.

— То-то она сегодня зелена, как жаба, а ехидна, то как уж! Вздумала было пустить яду Богдану... Меня укорить! Ну, нет! — гордо подняла голову Марылька, сверкнув надменно очами.— Меня-то легко не повалишь!

— О, с ними нужно, моя паняночка, строго, а то народ здесь такой,— осмотрелась Зося осторожно кругом.— Езус-Мария! Такой грубый да дикий, не быдлом, а зверем глядит, ласкового слова ни от кого не услышишь, ругают в глаза ляхами, католиками... Ненавистники этакие! — докладывала обиженно Зося.

— Здесь их, кажется, притесняют можновладцы поляки,— промолвила Марылька, сбросивши кунтуш и спенсер *, и начала выпутывать из волос перед зеркалом нити мелкого жемчугу.— Сам канцлер говорил, но вообще они...

— Ненавидят всех нас,— перебила Зося.— И вас, и меня, а за что? За то, что католики.

— Да,— задумалась Марылька, глядя куда-то вдаль.— Распусти мне косу,— оттянула она голову.— Да,— повторила она медленно,— разная вера — это порог, через который легко не переступишь.

— Да и не перескочишь, а голову разобьешь,— сдвинула плечами Зося.— Я не знаю, как вам это не пришло в голову там еще, в Варшаве.

— Ты насчет чего? — повернулась к ней быстро панянка и, сдвинув брови, добавила: — Марылька раз что задумала — назад не отступит, и если порога нельзя переступить, так разрубить его будет можно...

— Да,— не поняла Зося своей паняночки,— а вот

---

* Спенсер — жіночий одяг, подібний до коротенького пальта.

только та черничка не допустит распоряжаться в доме, не позволит порогов рубить.

— Как не допустит? — встрепенулась Марылька.

— Да вот я сама слыхала, что она говорила и этой цыганке Оксане, и бабе, что, говорит, верить, мол, этой ляховке нельзя... як бога кохам! Напоказ то она с раскрытою пазухой, а в глазах дяблы играют, а баба и пошла ругаться ругательски...

— Ах, эта тощая святоша! — вскочила Марылька и притопнула ногою.— Неужели она осмелится стать мне на дороге?

— Но, моя цяцяна панно, здесь Ганна все — и хозяйка, и советница, и мать; ее и дети считают за родную мать, а дворня гомонит, что по смерти старой пани она займет ее место.

После минутной вспышки Марылька, уже саркастически улыбаясь, слушала доклад своей наперсницы: отраженное изображение в зеркале видимо успокаивало ее тревогу и разливало по лицу выражение торжества и победы.

— Посмотрим,— процедила она с улыбкой сквозь зубы и, потянувшись, как кошечка, томно добавила: — Устала я за эти дни; вечная осторожность и внимание к каждому шагу — все меня стесняет,— сбросила она с стройных, словно выточенных ножек шитые туфельки.

Зося расплела ей косу и отбросила на спинку кресла роскошные волны золотистых волос.

Теперь Марылька осталась лишь в легкой сорочке из турецкой тафты, сквозившей на нежном алебастровом теле чарующими округлостями линий и таинственными полутенями.

— Ну что ж,— любовалась собой Марылька, спуская небрежно с обольстительного плечика прозрачную ткань.— Думаешь, что я перед этой святошей бессильна?

— Ай-ай! — всплеснула руками Зося.— Мне даже больно смотреть, а что ж то хлопцам?

— Будто? — вспыхнула Марылька и, поправив шаловливо свою воздушную одежду, заговорила игриво, подетски: — Вот перевели нас уже из быдлятника в хатку, а из хатки переведут в светлицу, а из светлицы — в палац.

— Когда то еще будет, а пока солнце взойдет — роса очи выест,— махнула Зося рукой.

— Но, но! — вскрикнула капризно Марылька.— Не смей мне противоречить! — и, вставши, она подошла к раскрытому окну, перед которым расстилался прилегавший к будынку гаек, окутанный таинственными тенями и облитый фосфорическим блеском.— Ах, как хорошо там, в лесу, и вон на той светлой опушке, где сверкает серебром речка! — заломила Марылька за голову руки и стала медленно вдыхать ароматный прохладно-живительный воздух.

— А вы осторожнее, моя яскулечка, там какая-то тень двигалась в гайку.

— Нет, все глухо и мертво,— пододвинулась еще ближе к окну Марылька.— А какие еще новости? — спросила она, не поворачиваясь лицом и впиваясь глазами в тени гайка.

— Старший паныч сегодня приехал,— сообщила Зося.

— О! Тимко? Какой же он?

— Ничего себе, только рябоватый... все лицо будто мелким просом подзюбано, а сам из себя статный, здоровый, молодой, только еще хлопец и меня испугался даже,— расхохоталась Зося,— вытаращил глаза, покраснел как рак, словно девица... Такие здесь глупые хлопцы! У нас бы не пропустил не обнявши, а тут — стыдятся...

— А вот ты позаймись эдукацией,— перегнулась даже в окно Марылька,— так выйдут из них пылкие рыцари.

— Стоит возиться,— надула презрительно губки Зося,— разве уж с большой тоски да с дьявольской скуки.

— Терпение, терпение, моя Зосюня, скука не вечна, тоску может сменить и веселье, и радость, и блеск.

— Да, ждите! Старуха-то еще, может, и другой десяток протянет, и для чего только панна старалась помочь? — укоризненно покачала она головой.— Уже этого я и в толк не возьму.

— Глупенькая ты, чем же я ей помочь могла,— потянулась сладко Марылька,— насчет старухи, я тебе скажу, будь покойна,— ее дни сочтены: от такой ведь болезни умерла и мать Оссолинской, я знаю. Опухоль у нее с каждым днем подымается и как только дойдет под ложечку, так и задушит.

— Дай-то бог,— вздохнула наивно Зося,— а вот что до пана,— улыбнулась она лукаво,— так уж и видно, что совсем очумел, глаз не сводит.

— Ну, полно,— остановила ее Марылька,— ты чересчур болтлива.

Освещенная с одной стороны светом восковой свечи, а с другой — красным отблеском лампады, фигура ее роскошно обрисовывалась на темном фоне окна. Даже Зося залюбовалась своею панночкой, стоя у другого окна, но, взглянувши случайно в гаек, она заметила под тенью липы неподвижно стоящую, словно в оцепенении, высокую, статную фигуру.

— Панночка! Отойдите! — вскрикнула она.— Ведь я говорила, кто-то смотрит из сада, не пан ли господарь?

— Где, где? — не доверяла Марылька, перегибаясь из окна и присматриваясь.

— Да вон, посмотрите, под липой!..

Марылька вскрикнула и бросилась на кровать, зарывши свое лицо в подушки.

Ночь. Луна высоко стоит в небе и задумчиво смотрит с зеленовато-прозрачной выси на Субботов, на Тясмин, на гаек, на будынок... Везде тихо; в чутком воздухе слышен даже отдаленный шум падающей с лотоков воды... Сонный ветерок вздрогнет, зашелестит нежно в листве и замрет... Все оковал сон: иных, утомленных дневною работой, он обнял по-дружески, крепко, других, удрученных болезнью, успокоил хоть мимолетною лаской, третьих, смущенных страстями и счастьем, обвил прозрачною сетью чарующих грез... только не мог он дать забвенья наболевшему сердцу, не мог утолить его жгучих страданий...

В нижней светлице, где спят Катря и Оленка с Ганной, таинственный полусвет. Через небольшие два окна, приподнятые вверх на подставках, лунное бледное сияние падает серебристыми столбами вниз и ложится яркими квадратами на глиняном желтом полу; в противоположном углу, увешанном иконами киевского и переяславского письма [154], перед образом матери всех скорбящих теплится кротко лампадка; ее нежный, красноватый отблеск, обливая лики угодников, смешивается дальше с лунным светом, производя эффектные сочетания тонов.

На кроватке, уступленной Катрею, сидит Ганна; она

обняла колени руками, поникнув в безысходной тоске головой; распущенные волосы ее, тронутые слегка теплыми световыми пятнами, падают на плечи, на спину черною волной, свешиваются шелковистыми прядями наперед, закрывая отчасти лицо.

Ганна сидит неподвижно, уставившись в какую-то яркую точку на полу, и не сознает даже, где она,— так задумалась, так глубоко ушла в самое себя; она только чувствует тупую, зудящую боль в стороне сердца и необозримую тугу.

«Откуда взял он эту ляховку? Зачем привел сюда, что будет она здесь делать?..— кружатся в ее голове едкие, болезненные вопросы.— Оссолинский поручил ее ему. Но почему же он поручил ее не какому-нибудь шляхтичу, а Богдану, войсковому писарю, схизмату? Разве могла прийти ему самому такая думка? Нет, нет! Значит, Богдан просил его. О да, не иначе! Да и сама Марылька, как могла б она без особого желания променять пышную магнатскую жизнь на такую жизнь в безвестном козацком хуторе? Она такая бессердечная, пустая ляховка!»

— Да, бессердечная, лукавая,— даже прошептала настойчиво Ганна,— я это вижу по ее кошачьим глазам... Она никогда прямо в очи не глянет, все у нее притворство... Чужая она нам, чужая!.. Разве ее панское сердце отзовется на людские слезы? Разве ей может быть дорог этот тихий край? Она воспитана в роскоши, в магнатском чаду, так ее туда и тянет... Я не раз подмечала в глазах ее презрение и скуку... О, когти ее, как она их ни прячет, видны!

И, несмотря на летнюю, душную ночь, Ганна дрожит, словно ей сыпет мелким снежком за спину...

«Но что-нибудь привлекало же ее, если она согласилась приехать сюда? Что же, что?! Зачем она приехала? Что будет здесь делать, холодная, пустая, злая? — И словно боясь дать ответ на эти мучительные вопросы, Ганна не останавливается на них и идет дальше и дальше.— А он ей верит, он тешится ею, дытыной зовет, ловит каждый ее взгляд, улыбается каждому слову. Все с нею да с нею! Все забыл для нее. Как хлопец, как мальчишка, готов угождать ей, сегодня даже комнату отнял у нее для Марыльки! Ту комнату, в которой она провела столько лет! — На губах Ганны появилась горь-

кая улыбка.— Ах, нет сомненья, сердце не обманывает ее: оно видит, оно чует, он любит, любит ее!..— чуть не вскрикнула Ганна и ухватилась рукой за сердце; мысли ее понеслись горячечно, возбужденно.— Он, Богдан, первый лыцарь, первый орел Украйны, опора, надежда всего края, и закохался, как нерассудливый хлопец, в пустую, глупую, надменную ляховку! О боже, кто б мог думать это? Кому ж после этого можно верить? Никому, никому! Все на один лад, и он не лучше других! — повторяла с горечью, с болью Ганна.— Герой, спаситель отчизны, и первая смазливая ляховка заставляет его забывать о всем. Ха-ха! А она еще так верила ему, так надеялась на него. Но что это? — Поднялась сразу с места Ганна и остановилась как вкопанная.— Она, кажется, готова в своей злобе и ярости осудить его, Богдана?! Что же побуждает в ней эту ярость? Что?»

— Что? О господи, спаси меня, спаси его, спаси всех нас! — вскрикнула Ганна, падая на колени перед иконой спасителя в терновом венце.— За что попустил ты, милосердный, такое поругание над душой твоего раба! О, спаси его, отврати его душу, ведь тебе все возможно, все, все! — Ганна склала на груди свои руки и вся застыла в немой молитве, и кажется ей, что кроткие глаза спасителя вспыхивают немым укором.— Нет, нет, не могу я молиться! — сорвалась она с колен и закрыла рукою глаза.— Душа моя смятена... Ослеплены очи мои лукавым... Нет, не могу я молиться... В сердце нет чистоты, нет смирения!.. Оно кипит завистью и хулой... Ах, что со мной!.. Обида жжет, обида!..— замолчала она и провела рукой по холодному лбу; мысли ее приняли более покойное течение. «А может быть, это мне только кажется? — мелькнул у нее вопрос.— Ведь она против него дитя, да и католичка... уж одно это... свет бы перевернулся!» — улыбнулась даже Ганна и, отбросив назад волосы, повела вокруг светлицы глазами и остановила их на открытом окне. За грядами чернобривцев она заметила на зеленой поляне под липой высокую и статную фигуру.

«Богдан? Он!» — сверкнуло у нее молнией в голове и молнией же ударило в сердце; она схватилась за него обеими руками и слабо вскрикнула, скорей застонала. Первым порывом ее было броситься к окну, рассмотреть, он ли? А если нельзя, если ночью трудно заметить,

одеться и самой выйти... но потом она устыдилась этого шпионства и осталась пригвожденной к своей кровати.

— Он, он! Кому бы по ночам там стоять? С ее окна глаз не сводит... Так, значит, правда, правда все! Это она, ляховка, околдовала его какими-то чарами, приворот-зелье дала, чаровница, чаклунка литовская. Отобрала, украла у нас наше лучшее сердце. Ох, проклятая, ненавистная! — вскрикнула Ганна и вдруг замерла.— Ненавистная...— словно прислушалась она к звуку этого слова...— Что ж это говорит во мне — ревность? Ревность,— повторила она с ужасом и, выпрямившись гордо, вскрикнула: — Нет! Мне стыдно, мне больно за него, за нашу несчастную родину, за его бедную умирающую жену!

Ганна упала на колени перед образом и, заломивши руки, зашептала горячо и страстно слова молитвы.

Час уплывает за часом. Не отводит глаз от лика пречистого Ганна, слезы струятся по ее бледным щекам.

— Уйти, уйти отсюда,— мелькает смутно в ее голове,— уйти и от них, и от людей, далеко в келью, в Киев. Там хорошо, тихо, монашки поют, колокол звучит. Там только и можно вылить слезами тоску. Но как бросить бедную титочку? Ох, силы, силы мне дай, матерь скорбящих! — страстно шепчет Ганна, сжимая молитвенно руки, а слезы, капля за каплей, бегут, беззвучно падая на пол, и голубой рассвет ложится нежно и мягко на складках ее белой сорочки...

А Марылька спит в своей горенке, на новой, мягкой постели, спит долго и сладко. Уже солнце давно заглянуло к ней в окна и наполнило светличку золотыми и радужными лучами; но паненка, разметавшись в истоме, не может открыть своих глаз; над ними еще реют дивные образы и чарующие картины: грезятся ей райские сады, разубранные невиданными цветами; между изумрудною зеленью сверкают прозрачные голубые озера с дном, усыпанным золотом; в глубине их тихо плавают рыбы, а между ними одна в серебряной чешуе, большая, пышная... Марылька раздевается, обаятельная нагота ее отражается и дрожит в прозрачной воде, даже рыбы все замерли и остановились, но это не смущает Марыльку; она бросается к серебряной большой рыбе, схватывает ее за жабры и вытаскивает огромную, серую,

с выпученными глазами жабу. Марылька хочет вскрикнуть, бросить жабу, но ни того, ни другого не может.

На лестнице послышались торопливые шаги; вбежала Катря в светличку, всплеснула руками и бросилась тормошить Марыльку:

— Марылько, бога бойся! До сих пор спать! Да уже снидапок второй подали... И Зося спит? — оглянулась она.— Ото!

— Ах, это ты, Катрусю? — проснулась Марылька и обняла Катрю.— Как я рада, что ты меня разбудила: мне такое страшное снилось...

— Вставай, вставай! — торопила Катря.— И ты, Зосю, го-го! И мама ждет не дождется своей знахарки,— поцеловала она звонко в щеку новую сестру,— и приехал к тату подстароста наш, пан Чаплинский. Хочет видеть варшавское диво... Ей-богу, так и сказал...

— Ой, ой,— схватилась Марылька с постели,— правда, как мы заспались, Зосю! Прендзей * одеваться!.. А что он, какой из себя, этот подстароста, гарный, молодой? — спросила она Катрю небрежно.

— Фе! Какой там гарный? — скривилась Катря.— По-моему, так поганый, толстый, все отдувается и глазами мигает...

— Ну, ну! — засмеялась Марылька,— так скажи, моя ясочка, маме, что я сейчас.

Катря спустилась вниз, а Марылька принялась тщательно за свой туалет. Взбила свои пепельно-золотистые волосы каким-то ореолом вокруг белоснежного лба, заплела их в две роскошных косы, обула краковские высокие башмачки, надела адамашковую бронзового цвета спідницу, а сверх нее синий бархатный кунтуш, отороченный соболем, и вышла в нижнюю светлицу, блистая неотразимым обаянием дивной красы.

Встретившись с Богданом, Марылька зарделась алой розой, ожгла его кокетливым взглядом и стыдливо опустила глаза, а он и сам вспыхнул огнем до самой чуприны. Какой-то сладостный яд, одуряющий, опьяняющий чарами, проник во все его существо, и Богдан, чувствуя себя в его власти, сознавал смутно, что эта отрава коснулась и его дочки Марыльки и что эта болезнь сближает их еще больше...

---

* Прендзей — швидше *(польськ.)*.

Когда увидел Чаплинский Марыльку, то не донес до рта даже чарки, уронил ее на пол и, расставивши руки да вытаращив глаза, изобразил довольно смешную фигуру.

Марылька взглянула на него и чуть не прыснула со смеху; но салонный такт заставил ее сдержаться, и она только улыбнулась очаровательно вельможному пану на его любезное изумление.

— Езус-Мария! — вскрикнул, наконец, в порыве восторга Чаплинский.— Где я? В чистилище или в самом раю? На земле такой красоты быть не может!

— Пан насмехается...— ответила, покраснев от удовольствия, Марылька.

— Клянусь рыцарскою доблестью, клянусь моею властью и славой! — подкрутил он вверх свои подбритые усы.

— Пан слишком расточителен на клятвы,— взглянула на него игриво Марылька,— так можно и сбанкротовать.

— Что удивительного? — приложил к сердцу руку Чаплинский.— Перед паненкой все сбанкрутует.

— Я даю своей красоте слишком малую цену,— скромно ответила Марылька,— да и что вообще она перед красой сердца и разума? — сверкнула она молнией своих глаз на стоявшего тут же в немом восторге Богдана.

— О sancta mater! — воскликнул Чаплинский.— Панна похитила у неба все сокровища!

— Тато! — подбежала Марылька к Богдану в обворожительном смущении.— Пан обвиняет меня в ужасном преступлении, неужели за бедную Марыльку никто не заступится?

— И эта грудь, и эта сабля тебе, моя зорька, защитой,— ответил с нежной улыбкой Богдан и обратился к Чаплинскому: — Она сама не похитила, а небо ее всем наделило...

— Нам на погибель! — вздохнул Чаплинский.

— О, если бы все это было правдой, то я была бы самой несчастной,— вздохнула печально Марылька,— но панство шутит, а шутка сестра веселью... Так и мне остается только поблагодарить пышное панство,— поклонилась она изысканно.

— Да скажи мне, сват,— подошел к Богдану Чап-

линский,— чем ты угодил богу, что он тебе послал такую дочку?

— Долготерпением,— улыбнулся Богдан,— это награда свыше за все ваши утиски...

— О, так ради бога обдери меня до костей! — с напускным пафосом крикнул Чаплинский.

— Пусть пан не рискует,— погрозила кокетливо пальцем Марылька,— можно и обмануться в награде.

Катря вбежала в светлицу и, сконфузившись, сообщила, что мама просит заглянуть к ней.

Все двинулись к спальне больной, а Марылька побежала первая.

— Нет, без шуток,— шептал на ходу Богдану Чаплинский,— эта паненка — восторг, очарование! Пану можно позавидовать.

Богдан, будучи опьянен сам прелестью своей дорогой дочки, тем не менее был раздражен уже чрезмерными нахальными похвалами Чаплинского, а потому и постарался изменить тему беседы, заговорив с ним о серьезных деловых справах.

Сначала Чаплинский рассчитывал быть в Субботове одну лишь минуту, так что с трудом удалось оставить его на сниданок; теперь же он, очевидно, забыл о своем намерении; разговорился с Богданом о местных событиях, передал несколько тревожных слухов про князя Ярему, про Ясинского, упрекал козаков в разбойничьих выходках, но вместе с тем не одобрял заносчивой политики можновладцев, возбуждавших народные страсти и бессильных подавить их вконец; уверял, что в его старостве никогда ничего подобного быть не может. Между своими сообщениями он выпытывал у Богдана про Марыльку: откуда она родом, как попала сюда, по чьей прихоти?

Эти допросы бросали Богдана в жар, и он отвечал на них односложно, не скрывая даже неудовольствия. А Чаплинский, заметив его смущение, перескакивал неожиданно от Марыльки к политике, ошарашивая расспросами про Варшаву, про короля, про канцлера, про Радзивиллов. Богдан, однако, был настороже и не дал себя ни разу поймать; сообщал с подробностями о столичных новостях, о ходячих того времени сплетнях, но о политике — ни слова: не было-де с кем поговорить о ней по-братерски, интимно.

Марылька появлялась еще раза два в светлице, но мимолетно: блеснет метеором, ожжет пламенным лучом своих сапфировых глазок, подарит улыбкой, кокетливым словом и исчезнет. Чаплинского все это приводило в больший и больший экстаз, и Богдан для усмирения этих порывов отвел гостя на свою половину, потребовал меду и занялся серьезными делами с подстаростой.

Время шло. Наступила обеденная пора, и хозяин должен был предложить гостю отведать борщу и каши; тот не заставил себя дважды просить, а охотно остался потрапезовать у пана генерального писаря.

К обеду Ганна не явилась,— она сказалась больной, Андрий, Юрась и Оленка тоже остались при матери; сели за стол только Богдан, Чаплинский, Марылька да Тимко. Последнего привел насильно Богдан и заставил витать дорогого гостя и названную сестру.

Тимко, красный как рак, вспотевший даже от смущения, стоял букой, словно приросший к месту.

— Эх ты, дикий, дикий! — укоризненно качал головою Богдан.— Сколько еще тебе эдукации нужно!.. Подойди же, привитай вельможного пана...

Тимко наконец промычал что-то вроде: «Здоров будь, пане дядьку»,— и мотнул, как степной конь, головою.

— А я и сама привитаюсь с своим братом,— подбежала Марылька.— Ну, здравствуй, Тимко, взгляни-ка на свою сестричку, полюби ее...

Тимко взглянул исподлобья и так растерялся, что хотел было удрать, но Богдан взял его за руку и внушительно сказал:

— Поцелуй же, увалень, ручку у вельможной паненки, у своей сестрицы!

— Не хочу,— буркнул Тимко, утирая рукавом пот, выступивший у него на лбу крупными каплями.

— Ах ты, неук! — притопнул Богдан ногою.— Да ты бы почитать должен за счастье.

— Я бедного хлопца выручу, заменю,— двинулся было к Марыльке Чаплинский, но последняя остановила его грациозным жестом и промолвила нежным голосом:

— Я сама, как сестра, выручу Тимка — и, подбежав к нему, неожиданно поцеловала его в щеку.

Тимко побагровел, смешался вконец и, не сознавая даже, что ему делать, бросился к Чаплинскому и поцеловал его в усы. Поднялся страшный хохот, заставив-

ший Тимка опрометью удрать и запрятаться в бурьянах, где никакие розыски не открыли его убежище; так он и остался там без обеда и без вечери.

За обедом Чаплинский, несмотря на принуку, ел мало, а утолял все внутренний жар запеканками, да наливками, да мальвазиями, да старым венгерским. Марылька, по просьбе Богдана, разыгрывала роль хозяйки и угощала гостя с обворожительною любезностью и изысканным кокетством. Чаплинский пил и все рассыпался в комплиментах, хотя тяжеловесных, литовских, но вырывавшихся бурно из его воспаленного сердца.

Марылька, заметив с восторгом, что они будили у Богдана вспышки ревности, умела тонко отпарировать их, накинуть узду на опьяненного и охмелевшего пана подстаросту. Фигура и наружность пана подстаросты не могли назваться красивыми, особенно же они теряли при сравнении с Богданом. Но бурные восторги шляхетного пана, вызываемые ее красотой, льстили самолюбию женщины и подкупали ее сердце невольно: она смягчала свой приговор и находила под конец пана старосту даже видным и ловким.

— Нет,— возмущался Чаплинский,— это ужасная жертва, моя пышная панна! Ее мосць не взвесила еще, как, привыкши к роскоши, к неге... воспитавшись, так сказать, как лучший райский квятек * в теплице, и вдруг из эдема — в глушь, в дикий гай, в хуторскую трущобу!

— Напрасно пан тревожится обо мне,— ответила, взглянув на Богдана любовно, Марылька,— та теплица, где я росла, была для меня лишь тюрьмой, а эта, как пан выражается, глушь и трущоба для меня рай... всякому дорого то, что говорит его сердцу, что греет лаской.

— Что ни слово у панны, то новый перл! — пожирал ее маслеными, слипающимися глазками Чаплинский.— Як маму кохам, это неисчерпаемый клад сокровищ,— икнул он.— Но неужели паненке не жаль роскошных варшавских пиров, где блеск, великолепие, пышное рыцарство? — подкручивал он свои подбритые усы.

— Моя красота не имеет на панском рынке цены,— улыбнулась нежно Марылька,— а все эти пиры, весь

* К в я т е к — квіточка *(польськ.)*.

этот блеск — одна лишь лукавая суета; голова только кружится от чада, а на сердце пустота и тоска. Поверь, пане, что в безыскусной природе больше красы, что в неизнеженном сердце больше любви и правды.

— Так, панна моя кохана, так! — ухватился Чаплинский за сердце и покачнулся.— Здесь больше ласки, а если панна любит природу, так вот у меня она в моих маетностях, бесконечных в Литве, кроме староства.

— Ого! — взглянул Богдан насмешливо на подстаросту.— У свата такие страшные маетки, а он бросил свое добро и заехал сюда искать счастья?

— Так, заехал,— кивнул усиленно головою Чаплинский.— Заехал потому, что мне все мало... Дай мне полсвета, так я и за другою половиной протяну руки, далибуг!

— Ой свате,— засмеялся Богдан,— не зазихай на весь свет!

— Какой же пан ненасытный! — укоризненно взглянула на него Марылька.— Разве его маетки литовские мизерны?

— Мизерны, матка найсвентша! Они богаты, восхитительны, как сказка! — воскликнул пан подстароста.— Бор, сосны, ели одна на другую насели, и под ними вода, а на зеленых ветках качаются зеленые русалки — мавки.

— Ой, я бы ни за что туда не пошла! — закрыла глаза руками Марылька.— Я их боюсь: они залоскочут, да и в воде жабы...

— Панна, не бойсь! Вот этою рукой тридцать рыцарей косил,— так мы и жаб и мавок канчуками к панским ножкам...

— Ха-ха-ха! — рассмеялся Богдан.— Неужели косил? Я не подозревал в свате такого Самсона.

— Я скрываю силу... пане... чтобы не пугать, не полохать... Но для паненки...

— Пан разгонит весь свет? Ой, страшно! — залилась серебристым смехом Марылька.— Да и тоскливо бы было...

— И разгоню... и сгоню к панне... арканом...— целуе ручки! — потянулся было Чаплинский, но опять сел.

Марылька, заметив, что поведение Чаплинского начинало уже коробить Богдана, поспешила незаметно уйти, не попрощавшись даже с подстаростой.

А Богдан было предложил ему отдохнуть на своей половине, но тот уперся ехать.

Когда колымага Чаплинского была подана и Богдан вывел под руки своего гостя, то последний начал обнимать его и изъясняться в любви:

— Я тебя, свате, так люблю... так, что теперь мне этот Субботов стал самым дорогим местом... Я это и самому старосте скажу... Ей-богу, скажу. А эта твоя дочка... эта крулевна... просто... околдовала меня!..

— Больше наливка да ратафия,— заметил Богдан,— а к паненке я бы просил пана относиться скромней: она терпеть не может комплиментов и обижается... Для сироты всякое залицанье обидно. Я ей поставлен богом за отца,— сверкнул он невольно глазами,— так клянусь, что в обиду ее не дам никому.

— Убей меня гром, коли я что, свате... ведь пойми ты, друже мой...— возразил слезливым голосом Чаплинский, целуя Богдана,— я вдов... одинок... так отчего же мне нельзя помечтать о счастье?

— Стары уж мы для него.

— Не говори, сват, про старость...— замахал Чаплинский руками, усевшись в свой повоз,— цур ей!.. А я у тебя теперь вечный гость... рад ли, не рад... а гость...

— Много чести,— нахмурил брови Богдан,— так много, что вряд ли и поднять мне на плечи... Ну, с богом! — махнул он рукой кучеру, и колымага с пьяным и влюбленным Чаплинским, громыхая, покатилась за браму.

А Марылька давно уже сидела на скамеечке в самом уютном месте гайка, где сплетались вверху зыбким куполом изумрудные, широкие ветви и откуда виднелась дуга ясной реки.

Обед утомил панночку, и она села там отдохнуть и задумалась,— не о Чаплинском, конечно,— а о себе, о своем положении... Богдан ей нравился и лицом, и своим увлечением, и своею мощью: эта сила, что вскоре должна была открыть ему всюду широкие двери, особенно была привлекательна для панечки. Честолюбивая с детства, имеющая все данные для власти, она до сих пор играла в жизни самую ничтожную роль; это терзало ее и раздражало еще больше; и вот появляется на ее горизонте Богдан, которому все предсказывали такое высокое будущее. Марылька страстно ухватилась за этот

способ возвышения. Но... любила ли она Богдана? Об этом она и не думала да и сама не могла разобраться: так как до сих пор сердце ее не знало пылкой любви, то она искренно поклялась бы, что одного Богдана лишь любит, что он для нее — все! Особенно теперь, при напряженной борьбе за него с Ганной, Марылька ощущала едкое раздражение, поднимавшее теплоту ее чувства.

Уже были сумерки, когда Зося, бегая по гайку, наткнулась на Марыльку.

— Вот где моя кохана паненка, а я по всей леваде ищу!

— А что такое, Зося? — вздрогнула та,— верно, к больной? Это становится скучно.

— Нет, я не оттуда...— с трудом переводила дух запыхавшаяся Зося,— а от пасеки... думала, что там паныч, хотела позабавиться да и наткнулась на разговор деда с Ганджой.

— На какой? — заинтересовалась Марылька.

— Да вот речь у них шла про паненку.

— Ну, ну! — даже привстала Марылька и с тревогой оглянулась кругом.

— Они говорили про то, что панне не подобает быть католичкой, что козачка повинна быть греческого закона, а то ляховку в семье козачьей держать грех... что они об этом сказывали и больной пани и что та встревожена, хотела просить Богдана, так Ганна заступилась: «Зачем, мол, принуждать? Ведь нам же, говорит, больно, если ляхи нас заставляют приставать к унии... так и им. Да и на что это нам? Она чужая... и никогда с нами не побратается... вот, мол, как оливы с водой не соединишь, так и ее с нами. Так пусть-де она и остается чужой».

— А, ехидна! — побледнела и прикусила себе губу Марылька.— Прямо ставит порог... накидает на горло аркан. Значит, медлить нельзя: там целая стая волков, а я одна... Ах, как тяжело быть одной на свете! — вздохнула она и, опустившись на скамью, прислонила свою голову к липе.

В это время вблизи раздались торопливые шаги, и Зося, вскрикнувши: «Пан господарь!» — убежала в глубь рощи; Марылька же встрепенулась было, как вспугнутая газель, но не убежала, а снова уселась на скамью, приняв еще более грустную позу.

— Так и думал, что здесь мою доньку найду... сердце подсказало,— подошел торопливо Богдан и вдруг остановился: — Но что с тобой, моя любая квиточка? Ты грустна... ты плачешь... Уж не обидел ли тебя кто?

— Ах тато, тато! — вздохнула глубоко Марылька и отвела руку от влажных, повитых тоскою очей.— Как мне не грустить? Ведь одна я на этом холодном свете... Одна сирота!.. Нет у меня близких... всем я чужая!

— Как? И мне? — опустился даже от волнения на скамью Богдан.— Тебя обидел, верно, этот литовский пьяница?

— Нет, нет, тато,— перебила его грустно Марылька,— все мне эти можновладцы противны... я презираю их пьяную дерзость... а ты, тато мой любый... ты один у меня на всем свете, один, один! — залилась она вдруг слезами и припала к нему на грудь.

— И ты у меня одна,— вскрикнул Богдан, опьяненный и близостью дорогого существа, и созвучием охватившего их чувства,— одна, одна!.. Весь мир... все... только бы тебя оградить... только бы осушить эти слезы... дать счастье,— шептал он бессвязно, осыпая и душистые ее волосы, и дрожащие руки ее не отцовскими поцелуями...

— Тато! — выскользнув из его объятий, сказала Марылька и посмотрела на него пристальным, печальным до бесконечности взглядом.— У меня такая тоска на душе, а неизвестность еще больше гнетет. Я слыхала про смерть отца... он завещал меня тебе; но я не знаю его последних минут, его последних желаний... Расскажи мне, дорогой, все про него, все, без утайки.

— Не растравляй своей тоски,— погладил ее нежно по головке Богдан,— ты и без того сегодня расстроена...

— Нет, нет, тато, расскажи, на бога! — сложила накрест руки Марылька.— Дай мне с ним побыть хоть немного мгновений; это меня успокоит.

— Ой, смотри, моя квиточка,— хотел было еще уклониться Богдан, но не мог устоять перед ее неотразимым, молящим взором. И начал рассказывать про отца, про его удаль и отвагу, про его самоотвержение за товарищей, про его последнюю волю...

Марылька слушала Богдана с трогательным вниманием; хотя слезы и набегали крупными каплями на ее собольи ресницы, но в глазах ее отражалась не скорбь,

а скорее горделивая признательность за доблести отца и благоговейная к нему любовь.

— Ах, спасибо, спасибо,— шептала Марылька, сжимая свои тонкие пальцы.— Тато мой! Если ты видишь свою доню с высокого неба, то благослови ее, сироту! Любила я тебя вечно, а теперь боготворю тебя... Значит, тато мой был козак? — обратилась она оживленно к Богдану.— Удалой запорожец, щырый товарищ?.. Значит, и я козачка, а не ляховка?.. Да, не ляховка, как меня дразнят... только вот что, зачем же мне быть католичкой?

— Как, Марылька?.. Ты сама хочешь стать...— развел руками Богдан, устремив на свою дочку изумленные глаза.

— Не только хочу, но даже требую,— сказала серьезно и твердо Марылька.— Это оскорбление, что дочь со своим отцом разного закона. Я не хочу быть католичкой, я хочу быть одного с вами обряда.

— Господи! Святая ты моя, хорошая!.. Козачка щырая! — целовал Богдан ее руки, и Марылька теперь их не отнимала.— Сам бог тебе вдохнул такую думку. Вот радость мне, так уже такая, что сказиться можно... Ну, теперь утнем всем языки... Ах ты, бей его сила божия!...

— Тато! Скорей меня окрести,— прижималась к нему Марылька,— скорей успокой мою душу!.. Ты мне будешь и крестным батьком, еще больше породнишься...

— Нет,— перебил ее Богдан,— крестным батьком тебе я ни за что не буду, да и не нужно,— ты не еврейка...

— А отчего же ты, тато, не хочешь? — вздохнула печально Марылька.

— Оттого...— посмотрел на нее Богдан пристально,— сама догадайся...

Марылька взглянула на него лукавым, кокетливым взглядом и вдруг вся залилась ярким румянцем.

Желание Марыльки присоединиться к греческой церкви наделало много шуму; все обитатели двора и будынка были рады этой новости и ободряли Марыльку; одна только Ганна не верила искренности ее желания и подозревала в этом новый подвох, но она никому не

высказала своих тайных мыслей, а замкнула их в самой себе.

Отец Михаил, обрадованный приобретением новой овцы в свое духовное стадо, стал ежедневно приходить к Марыльке и наставлять ее в правилах греческого закона.

Долетела об этом весть и до Чигирина; Чаплинский возмутился страшно, предполагая здесь насилие со стороны Богдана, и прилетел в Субботов.

Богдан встретил его церемонно, но холодно, и на его расспросы сухо ответил, что это желание самой Марыльки, а так как она полноправна, то никто и не может теснить ее воли. Марылька на этот раз обошлась с Чаплинским в высшей степени сдержанно и заявила ему, что она сама пламенно желает присоединиться к греческому обряду, к которому под конец жизни принадлежал и ее отец, и что всякие увещевания и советы здесь бесполезны. Чаплинский пригрозил было старостой, но на эту угрозу Марылька ответила гордою, презрительною улыбкой. Так он и уехал, не солоно хлебавши, затаив в своей душе на Богдана страшную злобу.

Прошло несколько дней. Марылька, присоединенная уже торжественно к греческой церкви и нареченная Еленой, неотлучно сидела у изголовья своей умирающей матери, силы которой угасали с каждым днем... Все окружающие, а особенно больная, относились теперь к новой единоверке Елене чрезвычайно тепло и любовно, словно желали загладить бывшие недружелюбные о ней отзывы.

— Ох, как я рада, что ты теперь совсем наша, моя донечка! — шептала, задыхаясь, пани Хмельницкая.— Хотелось бы тебя пристроить, деток довесть до ума... да уже и думки мои оборвались... Чую, что смерть за плечами.

— Что вы, мама? — встревожилась Елена.— Господь милостив. Выпейте вот зелья, усните... силы наберетесь,— подала она приготовленный в горшочке напиток.

— Нет уж, пора...— хлебнула все-таки лекарства больная,— и то всем надокучила. Ох, худо мне!.. Моченьки нет! Поклич, родненькая, скорее Богдана,— упиралась она костлявыми руками в подушки, желая присесть.

Елена побежала в тревоге за Богданом, но его на

этот момент не было дома; пока побежали звать пана, она вернулась к больной и заметила, что та начинала дремать под влиянием наркоза. Измученная пережитыми за последние дни волнениями, тревогами и физическою усталостью, Елена воспользовалась тоже минутным успокоением больной и сама прикурнула за пологом кровати на каких-то мешках с сушеными яблоками.

Надолго ли забылась Елена или нет — она не помнила, но ее разбудил стук тяжелых сапог и сдержанный говор. В комнате было уже совершенно темно, и Елена по голосу только узнала, что говорил с умирающей женой ее муж Богдан.

— Дружино моя любая,— шептала едва слышно, рвущимся голосом умирающая,— отпустило мне немного... так я хочу тебе... сказать мое последнее желание... Спасибо тебе, сокол мой... за счастье, что дал мне... за все!.. Там я за тебя и за деток буду бога молить. Десять лет уже я тебе не жена... а калека, нахаба... Прости, что так долго мучила... не моя на то воля...

— Голубка моя, что ты? — промолвил растроганным голосом Богдан.— Да мне и думка такая не приходила!

— Борони, боже!.. Разве я на тебя нарекаю?.. Только постой...— с страшным усилием старалась она вдохнуть широко раскрытым ртом воздух,— дай мне договорить... а то дух забивает... Ты еще молод... силен... тебе нужно жить в паре... да и сиротам моим нужна мать... Так я прошу тебя... благаю: женись после моей смерти... и женись на Ганне: она тебя любит... она для моих деток будет наилучшею матерью... Я тогда буду покойна... за них...

Богдан молчал, но по нервному, порывистому дыханию можно было судить, что он сильно взволнован.

— Так ты исполнишь мою просьбу? — допытывалась, дыша тяжело, с хрипом, пани.

— Моя люба,— после долгой паузы ответил, наконец, Богдан,— мне больно слушать... и думка про это — кощунство! Может, господь еще исцелит тебя... ведь всякое чудо в руце божьей...

— Нет... годи: я молюсь, чтоб прибрал,— закашлялась пани, судорожно хватаясь руками за грудь.— Воды... Воды! — прохрипела она, опрокидываясь на подушки.

Богдан бросился за кухлем в светлицу, а Елена, вос-

пользовавшись его отсутствием, проскользнула незаметно в дверь, убежала в свою горенку и упала со слезами в подушки.

Припадок больной, впрочем, прошел, и она, напившись зелья, снова успокоилась и заснула. Богдан вышел на цыпочках из ее комнаты в светлицу, заглянул в панянскую и, не нашедши в ней Елены, пошел искать ее в сад. Но, несмотря на усердные поиски и окликания, не нашел ее ни в саду, ни в гайку; в волнении и тревоге он отправился в ее горенку. Елена услыхала приближающиеся к ней тяжелые, хотя и сдержанные шаги и затрепетала, как в лихорадке, забившись в угол кровати.

— Оленочко, зирочко, ты здесь? — спросил шепотом Богдан, подвигаясь в темноте ощупью.

— Здесь, одна...— едва слышно, дрожащим голосом отозвалась Елена.

— Где же ты? — подходил осторожно к кровати Богдан.

— Ах, не подходи, тато! — всхлипнула она, ломая руки, так что пальцы ее захрустели.— Я такая несчастная, я не могу этого перенесть! Увези меня отсюда, забрось куда-нибудь далеко, не то я руки на себя наложу!

— Дитятко мое, что с тобой? — стремительно подошел к ней Богдан.— Ты плачешь? Ты вся дрожишь? — обнял он ее и осыпал поцелуями ее голову и руки.

— Не могу, не могу я здесь оставаться,— билась она у него на груди, как подстреленная птица.— Я была в мамином покое, я слыхала ее просьбу.

— А, вот что! — задрожал в свою очередь Богдан: лихорадочный жар заражал и его.— Я не дал слова, а тебе же, мое дитятко, что? — прижимал он ее головку к своей груди, нагнувшись к ней так близко, что ощущал даже зной ее порывистого дыхания.

— Как что? — затрепетала Елена и вдруг, приподнявшись на кровати, вскрикнула страстно: — Прости мне, боже, не властна я над сердцем! Ведь я люблю тебя! — и, обвивши его шею руками, она упала к нему на грудь и примкнула своим разгоряченным лицом к его лицу.

— Ты? Меня? — даже задохнулся от прилива страсти Богдан.— Какое счастье!.. Я только мечтал о нем, только и думал! Не перенесть такой утехи: она жжет меня полымем... Да ведь и я тебя, моя ненаглядная

зирочко, моя рыбонько, безумно, шалено люблю, кохаю тебя одну, как никого еще не любил, до потери разума, до потери жизни! — обнимал он ее порывисто и страстно, обнимал и целовал всю, забывая все окружающее, забывая весь мир.

— Да, да, сокол мой, радость моя! — прижималась к нему все ближе и горячее Елена.— Так пропадай все! Нет для меня больше блаженства, как быть твоею...

— Так и будь же моею навеки! — прошептал обезумевший от страсти Богдан.

Мрачно в субботовском доме; словно черным саваном покрыла его налетевшая туча.

С печальными лицами, с влажными глазами, на цыпочках, осторожно все ходят и прислушиваются к шороху, к малейшему шуму; встретятся два лица, вопросительно, тревожно взглянут друг на друга и молча разойдутся в разные стороны, иногда только тупое безмолвие нарушится слабым стоном, заставив всех вздрогнуть.

Уже третий день, как приобщилась святых тайн пани Хмельницкая и почти третий день, как лежит она в бессознательном состоянии; придет немного в себя, застонет от невыносимой боли, поманит умоляющими жестами, чтоб ей дали успокоительного питья, и снова впадет в предсмертный, изнурительный сон. Ей уже и не отказывали в этом напитке, видя неотразимую, безысходную развязку ее страданий и желая хоть этим облегчить агонию.

Елена тоже третий день не сходит со своей горенки вниз, сказавшись больной. Приходила навестить ее Катря, но Елена, бледная и смущенная, уклонилась от всяких разговоров о своей болезни, от всяких ухаживаний за ней и от лекарств, прося лишь, чтобы ее оставили в покое. Катря ушла от нее, обиженная этим приемом. Вообще болезнь и поведение Елены возбудили бы в иное время много недоразумений и пересудов, если бы все не были пришиблены висящим над головой горем.

Зося, придя утром к своей коханой панянке, была поражена ее видом.

— Ой панно, цо то есть? — не удержалась она от восклицания.

— То, что и должно было быть,— ответила сквозь зубы, не глядя на Зосю, Елена.

— То скутки (последствия) греческого обряда?

— То скутки, глупая, моей воли,— прищурила презрительно глаза Елена.— То порог к моей власти и силе, то цена падения Ганны.

— А! Так значит...— хотела было пояснить Зося.

— Так, значит,— перебила ее с раздражением панна,— что тебе нечего совать свой нос, коли ни дябла не понимаешь, значит, что я теперь госпожа и приказываю тебе молчать и не рассуждать.

Зося закусила язык и с рабской покорностью начала убирать постель и комнату панны.

Богдан, волнуемый тревогой, укором совести и страстью, был почти неузнаваем; внутренний огонь словно пепелил его и подрезывал силу, благо агония больной давала приличное этому объяснение; Ганна даже останавливала на нем умиленный, лучистый свой взор; но Богдану казалось, что глаза всех устремлены на него с страшным укором и пронизывают его сердце насквозь.

Богдан приходил к умирающей и чувствовал, что в душе у него росло, как прибой, обвинение, что он перед ней виноват, что даже стыдно высказывать здесь свое горе, так как все это будет притворством, святотатством... и от непослушной внутренней боли он сжимал до хруста пальцев свои сильные руки и уходил... уходил в гай, разобраться наедине с своим сердцем. Но и тихий, задумчивый гай не мог усмирить бушевавшей в нем бури.

«Да, и дети тоже,— ходил он по извилистым, узким дорожкам, заложив за спину руки, и думал, склонив чубатую голову,— смотрят так трогательно на убитого горем отца, а он...— язвительно усмехнулся Богдан и опустился на скамейку.— Но что же дети? — поднял он голову.— Да разве я обязался быть чернецом? Разве я перестал их любить? Да и перед кем я поклялся отречься от счастья? Я и без того десять лет волочусь бобылем. Меня не упрекнула бы и жена,— успокаивал он себя,— не упрекнула бы эта кроткая голубица»,— и обвинения, и оправдания, и лукавые афоризмы, и искренние угрызения совести кружились ураганом в его голове, давили его сердце тоскою, а образы, бледные, изнуренные трудом, искалеченные насилием, стояли перед ним неотступно.

— Да что это! — произнес наконец вслух раздраженный Богдан.— С ума схожу я, что ли? Разве я забыл свой народ? Откуда ж этот вздор, кто укорять меня смеет? Вот перед кем,— встал он в приливе страшного возбуждения,— вот перед кем я единственно виноват, перед горлинкой, перед этим ангелом небесным! — ударил он себя кулаком в грудь.— Как вор, я подкрался к ней, беззащитной, как коршун заклевал доверчиво прильнувшего ко мне птенчика!.. Одна она только жертва, и ей в искупление — вся моя жизнь!

Он направился к своей любимой липе и взглянул пристально в окна мезонина; но они были закрыты, и сквозь их стекла белелись спущенные занавески.

— Что-то с ней, моей радостью, моим солнышком? Не выходила... Здорова ли? Хоть бы взглянуть, замолить... Но сейчас все следят, пойдут сплетни, люди ведь так злы!

И он отправляется снова в светлицу, заходит к умирающей, молча терпит тайную муку и ждет не дождется удобного момента.

Елена целый день провела в страшном волнении и неумолкаемой тревоге; она поставила теперь на карту все и с томительным нетерпением ждала, куда падет выигрыш? И стыд, и проблески зарождавшейся страсти, и неведомый страх за исход, и даже мимолетные порывы отчаяния заставляли ее сердце трепетать тоской, кипятили кровь до головной боли.

«Отчего не приходит до сих пор Богдан? Неужели он так покоен? Неужели не может для меня хоть на миг оставить этот труп?» — задавала она себе сто раз эти вопросы, прислушивалась к шуму, стояла у входных дверей и ждала.

Но внизу было тихо, безмолвно; никто не приходил к ней, и Елена в нервном раздражении плакала, проклинала себя, проклинала весь мир.

К вечеру только, в сумерки, услыхала она знакомые, крадущиеся шаги по своей лестнице.

Елену забила лихорадка: она схватилась и села у окна, неподвижно склонив свою голову и прикрывши ресницами лазурь своих глаз.

Богдан взглянул на нее и в порыве терзаний, разивших его мощную грудь, бросился перед ней на колени и осыпал поцелуями.

Вздрогнула Елена, оглянулась и зарделась вся до тонких ушей густым румянцем.

— Прости, прости меня, ангел небесный, ненаглядная моя, счастье мое, рай мой! — шептал Богдан дрожащим от страсти голосом.— Потерял я разум и волю, ты все сожгла!.. Ах, как безумно люблю я тебя!

— Так за что же ты просишь прощения, мой любый, мой коханый? — провела она нежной рукой по его львиной чуприне и прильнула губами к его губам.— Ведь ты любишь меня? Так какого мне еще блаженства желать? Ты меня не обманешь...

— Клянусь всем,— прервал ее и поднял порывисто руку Богдан,— честью моей, жизнью, благом моей родины; только лишь минет время, и я тебя перед лицом церкви и света назову своею дружиной.

— Я тебе верю... доказала, что верю...— обвила она горячо его шею руками и прильнула к нему упругою, трепещущею грудью.— И я тебе клянусь,— добавила она после паузы с приподнятым чувством,— быть верною, нежною и пылкою женой до самой, до самой смерти...

— О моя радость!..— ласкал и прижимал ее опьяневший снова Богдан.— Посланная мне богом подруга!.. Ах, какое счастье! Умереть бы в такую минуту.

— Тс-с,— отстранилась в испуге Марылька,— под лестницей шаги... Нехорошо... Нехорошо, если тебя застанут здесь... поспеши туда. Что же делать?.. Потерпим недолго,— прошептала она, и глаза ее вспыхнули зноем.

— Ах... вот она, жизнь...— простонал даже Богдан,— кричит, требует... хоть один еще торопливый поцелуй на прощанье!

— На, вот какой! — впилась она в его губы и страстно прижалась к нему всем телом.— Ну, пока будет!..— отшатнулась она и, взглянувши кокетливо на Богдана, взяла его слегка за ухо и пропела: — У, тато! Хорош тато! — а потом, опустивши стыдливо глаза, вырвалась из его объятий и убежала. Что-то неприятное полоснуло по сердцу Богдана при этой шутке, но, опьяненный восторгом, он почти не заметил ее.

Точно очумевший от чада, сошел он с лестницы, бессильный даже скрыть игравшую во всем его существе радость.

На счастье его, раздавшиеся внизу шаги оказались принадлежащими Морозенку, приехавшему из Сечи с за-

просами и поручениями от Нечая; Богдан бросился с таким увлечением обнимать его, что удивил своим восторгом не только Олексу, но даже и бывших при свидании свидетелей, особенно Ганну; последняя взглянула на него пристально и изумилась: ни тени бывшей тоски на лице, ни капли печали, а одна лишь утеха да сладость.

Ганна вспыхнула сначала огнем, а потом побледнела. «Нет, не обманешь,— пронеслось стрелой в ее голове,— не Морозенку рад ты, а не можешь скрыть своей радости. Раз и меня ты обнял»,— резнуло ее страшной болью это воспоминание, и она, прошептав неслышно: «Ой, украли у нас солнце красное»,— схватилась за притолку двери, чтоб не упасть.

Богдан поспешил увесть Морозенка на свою половину, чтобы самому поскорей уйти от непрошенных наблюдений.

Выскочила в сени вся раскрасневшаяся, взволнованная Оксанка и чуть не расплакалась, что не застала Олексы. Потом, обведя глазами, она увидала свою любую Ганночку с искаженным от страданий лицом, едва державшуюся на ногах, увидала и подбежала к ней с непритворным участием.

— Что с вами, родненькая? — взяла она ее за холодные руки и прижала их к своим губам.— Вы нездоровы?

— Проведи меня... в детскую...— простонала слабо Ганна,— прилягу... пройдет.

Оксана едва ее довела, так она шаталась из стороны в сторону, и почти уронила ее на постель... Ганна упала и разразилась истерическими рыданиями.

Когда Морозенко встретился с Оксанкой, то, после пламенных поцелуев, после нежных ласк и объятий, после бессвязных, бессмысленных, но счастливых обрывков речей, прерываемых шепотом, вздохами и немыми моментами непереживаемого дважды блаженства,— после всего этого начал он, наконец, расспрашивать Оксану про причину какой-то придавленности всех в Субботове, про значение скрываемой радости и нескрываемых слез.

— Разве ты не знаешь? Титочка, мама наша... вот-вот умрет...— простонала Оксана.

— Слыхал, слыхал,— сочувственно вздохнул и Олекса,— но что ж? Давно ведь все это знают... тут благодарить нужно бога, что берет ее к себе, прекращает

муки... Но только помечаю я,— качнул он головою,— что, помимо пани господарки, что-то затуманило, замутило всех здесь.

— Да! Ты не знаешь разве? Правда, правда, без тебя возвратился сюда пан господарь из Варшавы с какою-то панянкой...

— С Марылькой? — вспыхнул Олекса.

— А ты почем знаешь? — всполошилась Оксана.

— Как же не знать? Вместе с батьком выратовали ее, вместе гойдались на море, вместе ехали верхом аж до Каменца... Она такая ласковая, славная, красавица писаная!

— И тебя околдовала? — устремила Оксана с ужасом на Олексу свои большие, черные, готовые брызнуть слезами глаза.— Ты закохался? Ох, пропал же ты, пропала и я! — всплеснула она в отчаянии руками.

— Господь с тобой! — перекрестил ее Олекса, отступив на шаг.— Что тебе в думку пришло?

— Да, да...— оглянулась она трусливо и, нагнувшись к его уху, прошептала с глубоким убеждением: — Она ведьма, она знахарка, чаклунка... Она испортила своим колдовством нашего батька, она ускорила своим зельем смерть пани титочки, она обидела кровно голубку Ганнусю... и та через нее сколько раз плакала, а теперь и совсем уезжает отсюда... Я ее не люблю... и баба не любит... Хоть она и приняла нашу веру, а я хоть и грех, а не поверю ей ни в чем, ни в чем!

— Так она уже и веру переменила? — задумался Олекса.

— Переменила, переменила, а после этого,— добавила серьезным шепотом Оксана,— у нас еще хуже стало...

Оксанку позвали к умирающей; последняя просила к себе Елену, но Богдан остановил Оксанку и сказал, что панна больна от бессонных ночей и что ей нужно дать еще отдых. Ночь прошла каким-то кошмаром: умирающая то металась на постели в тоске, то лежала неподвижно, без памяти.

Богдан, узнавши, что Ганна захворала, зашел с тревогою к ней.

— Что с тобой, моя ясочко? — присел он на ее кровати, положив ласково на ее голову руку.— Ты истомилась, извелась возле несчастной больной, давно замечаю, как ты бледнеешь.

Ганна ничего не ответила, а только задрожала вся, как в ознобе, и заплакала тихо, беззвучно.

— Ты за титочкой побиваешься,— смутился ее слезами Богдан. Они зажгли его где-то далеко в тайниках сердца, всполохнули трепетавшую там радость и холодом побежали к чупрыне.— Ах, какое у тебя сердце золотое, святое! — вздохнул он и поцеловал ее в голову.

Вздрогнула от этого поцелуя Ганна и встала порывисто с кровати; встала и отошла в угол, устремив на Богдана такой всепрощающий, такой печальный взгляд, что тот не выдержал этого кроткого укора и отвернулся в смущении.

— Отпустите меня, дядьку,— едва слышно прошептала она, хватаясь рукой за стену,— тяжело, тяжело мне, невыносимо. Вот это святое сердце,— улыбнулась она грустно,— видите, как извело меня, и что его золото,— подчеркнула она,— стоит?.. Одни бесполезные муки.

— Что ты? О чем ты? — обернулся взволнованный, потрясенный ее словами Богдан.

— К брату хочу... в Золотарево.

— В такую минуту нас хочешь кинуть?

— Ах правда! — заломила она руки.— Хоть титочка, мама моя, порадница моя, уже почти на божьих руках, но уйти от нее...

— А от меня, от детей-сирот ушла бы? — промолвил огорченным голосом Богдан.

— Ай, дядьку мой, батько наш единый! — всплеснула она руками и скрестила пальцы.— Не спрашивайте... не нужно. И вам, и всем тяжело, больно!

Она, шатаясь, ушла к титочке и опустилась перед ней на колени.

К вечеру больной сделалось видимо лучше; она открыла глаза и поманила Ганну рукой.

— Всех хочу видеть, всех, проститься,— беззвучно прошептала она, но Ганна, по движению губ, поняла ее желание.

Тихо, торжественно, с благоговейною печалью начали входить все ближайшие члены семьи в комнату умирающей; вошла теперь в нее и Елена.

Вошла она с поникшею головой, тихая, робкая, умиленная общею печалью; вошла и окаменела.

Перед страшным таинством смерти и гордые духом

смиряются, а слабые трепещут и падают ниц; вид человека, стоящего на рубеже вечности, поражает все наше чувство и смущает слабый ум роковым вопросом: что он, догорающий наш собрат, за этим мрачным пологом через мгновение увидит? И этот безответный, неразрешимый вопрос наполняет холодом наше сердце, робостью — душу, ничтожеством — мозг.

Такие же, быть может, мысли осветили ледяным блеском головку Елены и заставили ее затрепетать; она подняла глаза на умирающую, и ей показалось, что это лежит перед ней не названная мать ее, а грозный судья, и что чрез миг этот судья бросит к подножию бога свои чувства, оскорбленные беспощадной рукой, не пощадившей даже последних страданий.

Елена нервно вскрикнула и упала к ногам умирающей. Богдан оцепенел от ужаса. Катря, Оленка и Андрийко опустились на колени перед матерью... Это смягчило несколько и сгладило отчаяние Елены, поразившее всех своим непонятным порывом; Богдан тоже подошел к изголовью своей жены.

Последняя лежала неподвижным пластом, без дыханья, грудь ее почти не шевелилась, глаза были полузакрыты, по коченевшим мускулам пробегала изредка холодная дрожь.

Крик Елены вызвал ее на мгновение из летаргии; она с страшным усилием открыла глаза и обвела всех сознательным взглядом.

Как догоревшая лампада вспыхивает в последний раз ярким огнем, так и в этом, почти безжизненном трупе вспыхнула на миг жизненная энергия и осветила неописанною радостью лицо, зажгла светильники глаз, подняла голос...

— Какое счастье господь мне, грешной, послал,— прошептала умирающая медленно, но довольно внятно; казалось только, что голос у нее не вылетал изо рта, а оставался внутри и оттуда глухо звучал.— Какая ласка, что я вас всех вижу... все дорогие мне лица,— всматривалась она пристально,— вокруг меня... Вот я всех и запомню и возьму вместе с собой эту память и запрячу ее у бога... Простите же меня,— повела она вокруг напряженным взором.— Если я кого обидела, пробачте мне, грешной... ты первый,— положила она на голову Богдана дрожащую руку,— прости меня...

— Меня, меня прости! — захлебнулся слезами Богдан и припал к ее холодной руке.

— Молиться буду...— все тише и труднее произносила она слова.— И вы, детки, благословляю вас...— старалась она коснуться рукой каждой головки.— Доглядайте их, моих зирок... Господь вам за это... Ганна!.. Замени им...— деревенел звук ее голоса, совершенно теряясь.— И ты, Елена,— снова поднялся он до ясности,— не обижай их и его, его...— перевела она глаза на Богдана.— Берегите, шануйте... Его сердце всем несчастным нужно, а я за вас... век... Ведь ласка его без конца... Устала... про...— замер вдруг звук, занемело в последнем напряжении тело, и остановились расширенные глаза, стекло их помутилось, померкло.

Все вздрогнули, почуяв веянье крыла смерти, и опустились с смирением на колени... Сдерживаемые рыданья прорвались наконец и понеслись волной из покоя усопшей в светлицу, из светлицы во двор, из двора разлились по Субботову, по поселкам, смешавшись с волнами заупокойного, печального звона...

Как во сне промелькнула тяжелая церемония похорон. Все ходили, все двигались, хлопотали, но как-то машинально, не давая себе отчета, зачем и к чему исполняют они все эти обряды, обычаи, помня только одно, что все это нужно, что всегда это бывает так.

Ганна даже рада была этим хлопотам, она вся отдалась им: ходила, обмывала покойницу, не приседала ни на мгновенье, даже читала над ней по целым ночам,— казалось, что физическое утомление давало ей какое-то успокоение души: она забывалась, она отвлекалась механически от своих дум. Когда же ночью она оставалась одна у изголовья покойницы и все засыпали кругом, а в открытые окна заглядывала только звездная ночь, Ганна тихо и долго плакала, не спуская глаз с застывшего измученного лица. Она смутно чувствовала, что со смертью этого существа все порвалось, все изменилось в Субботове. И в самом деле, больное, измученное создание, неспособное принять никакого участия в жизни, служило здесь все-таки крепким, связывающим звеном, а теперь все были свободны. Еще и не схоронили покойницу, а следы ее смерти уже сделались заметны всем. Правда, Елена видимо разделяла общую скорбь, но прежней покорной, услужливой и любезной девочки не

было и следа. Обращение ее сделалось сдержанным и надменным, и Ганна ловила на себе не раз презрительный взгляд ее холодных синих очей.

— Титочко, титочко,— шептала она, прижимаясь головой к холодным, скрещенным на груди рукам покойницы, и слезы тихо сплывали одна за другой из глаз Ганны на эти окаменевшие руки, и Ганна чувствовала, что больше уже не нужно титочке ни ее заботы, ни услуги, да и вообще, что она, Ганна, не нужна больше в Субботове никому. Дети выросли... один только Юрась, да и тот льнет охотно к Елене... титочка умерла, а Богдан... Ох, ему теперь утехи довольно! И где то былое время, когда он хлопотал вместе с нею над хуторами, над приемом беглецов, когда делился с нею каждою думой, каждою мыслью своей? Минуло, прошло! Все, все прошло безвозвратно, как осенний туман над водой. Картины прошлой жизни проходили, как живые перед ее глазами, и Ганна невольно прерывала свое чтение, так как слезы застилали ей глаза. Одна мысль стояла перед ней ясно и неоспоримо: Субботов умер для нее, а вместе с ним умерла и ее жизнь!

Богдан сносил свое горе сдержанно и спокойно, но видимо какая-то другая мысль угнетала его; он избегал встречи с Ганной, избегал ее взгляда, грустного и тихого, словно подавленного безысходною тоской.

В доме было мрачно и тихо. То и дело прибывали толпы крестьян и соседней шляхты поклониться покойнице. Все входили бесшумно, прикладывались к мертвой руке и, расспросивши шепотом о подробностях смерти, грустно покачивали головами и отходили к стороне. Два раза в день служились панихиды. Запах ладана проникал в самые отдаленные уголки. Наконец настал и третий день; схоронили покойницу и возвратились домой.

Опустела маленькая комнатка, где за столько лет все привыкли видеть неизменно больное, но доброе лицо хозяйки и слышать ее слабый, прерывающийся голос. Теперь можно было и ходить, и говорить громко, но, несмотря на это, все двигались бесшумно, и вырвавшийся нечаянно громкий возглас пугал всех, словно смерть еще не покинула этот дом. Так настал и девятый день.

С самого раннего утра и даже с вечера начал прибывать в Субботов народ из окрестных сел и деревень.

Весть о смерти жены пана генерального писаря и о том, что он дает на девятый день большой поминальный обед, успела уже облететь всех близких и дальних соседей. Хлопоты и заготовления к обеду начались еще за три дня. Между прибывающими толпами виднелось множество нищих, калек, слепцов и бандуристов. В ожидании панихиды и обеда люди группировались кружками, то сообщая о своем житье-бытье, то расспрашивая о новостях у захожих бандуристов и слепцов.

Оксана, Катря, Олекса и дворовые дивчата суетились во дворе, устанавливая на столах огромные полумиски с нарезанными ломтями хлеба, оловянные стаканы, ложки, солонки и все, что нужно было для обеда.

Среди собравшихся нищих один только не принимал участия во всеобщих разговорах. Судя по внимательным взорам, которые он бросал по сторонам, можно было бы заподозрить его в каком-нибудь злом умысле, кстати, и гигантская фигура незнакомца, почти закрытая всклокоченною бородой, с надвинутою на самые глаза шапкой, могла внушать большие опасения, но гигантский нищий, казалось, не имел никаких злостных намерений,— он держал себя весьма странно и несколько раз, отвернувшись от всех, утирал глаза рукавом.

— Дивчыно, как звать тебя? — обратился он, наконец, к Оксане, останавливаясь перед нею и опираясь руками на палку.

— Оксаной,— ответила та, смотря с изумлением на нищего и вслушиваясь в его глухой и неестественный голос.

Странный нищий давно уже обратил на себя ее внимание, тем более что Морозенко, она заметила это, видимо обрадовался его приходу и несколько раз шептался и переговаривался с ним.

— Так, так,— проговорил задумчиво нищий, покачивая грустно головой.— А выросла ты, дивчыно, и расцвела, как пышный мак!

— Разве вы знали меня? — изумилась Оксана.

— Мне ли не знать? Знал, знал.

— А я вас, дядьку, не помню.

— Да куда ж тебе,— маленькой была... А что, хорошо ли тебе здесь, у пана писаря?

— Хорошо, слава богу,— ответила Оксана, смотря с еще большим изумлением на странного нищего.— Лю-

бят, титочка любила, Ганна, ну, и другие там,— опустила она глаза и снова подняла.

— Ты, дивчыно, не дивись,— поспешил он успокоить ее.— Ведь я тебе почитай что родной, ведь я товарищ твоего батька.

— Батька? Так вы, быть может, знаете что-нибудь о нем? — вскрикнула Оксана и хотела было расспросить неизвестного товарища, но голос бабы призвал ее.

Дивчына побежала поспешно, а нищий бросил в сторону ее удаляющейся стройной фигурки долгий и любовный взгляд.

Более знатные гости из старшины или вельможных соседей подъезжали на колымагах к рундуку * будынка.

В отделении господаря, в средней светлице и в свободной теперь комнате покойницы толпились именитые гости. Среди них в отдельной кучке таинственно беседовал о чем-то пан Чаплинский со своим зятем Комаровским; все окружающие, очевидно, близкие люди, поляки, наклоняли и вытягивали головы, чтобы услышать интересные сообщения пана подстаросты, но среди шепота и недомолвок долетали до задних рядов только отрывочные фразы.

— Клянусь вам, панове,— только тихо, и лисица будет в капкане. Уже следы открыты. Гончих и доезжачих у нашего вельможного панства — не счесть... хвостом долго не поманешь... и цап-царап!.. Ха-ха-ха! Только дождемся сейма, а тогда... але тихо!

В господарском отделении Золотаренко вел между тем интимную беседу с Ганджой.

— Что-то у вас тут деется? — говорил угрюмо Золотаренко, глядя в сторону.

— Да что, как видишь. Хозяйку похоронили... Обед справляем.

— Смерть, это что! Самый верный друг: не обманет. А вот сумно тут стало.

— Да чудной ты! Оттого-то и сумно. Что ж, на похоронах плясать, что ли? Вот ты и ушкварь!

— Да я не о том,— тряхнул раздражительно головой Золотаренко,— а о новых порядках... ляхи какие-то завелись... Богдан что-то как будто...

— Стой! Что ты? — отступил Ганджа.— Никакого

* Рундук — тут: ганок, присінок.

ляха, а батько, как есть батько. Ну, и какие ж теперь порядки? Известно какие, по завету, как след.

— Э, да что с тобой толковать! — махнул Золотаренко рукою с досадой и потом добавил торопливо: — Ну, а что про дела? Я ведь в отлучке был, доходила глухая чутка, а доподлинно не знаю, что нового, хорошего, да такого, чтобы чувствовала ладонь?

— А вот обещал, что торжественно объявит, може, сегодня,— улыбнулся Ганджа своею широкою, волчьей улыбкой.

В просторной девичьей светлице хлопотали уже с самого утра Ганна с бабой и другими помощницами; она резала хлеб, укладывала в миски пироги, разливала наливку и водку.

Елена, войдя в светлицу, слегка прищурила глаза, обвела всю комнату беглым взглядом и остановила их на Ганне. Ух, до чего опротивела ей эта тощая святоша! И почему это она до сих пор распоряжается здесь всем?

— Столы для старшины, панно Ганно, где расставлять? — спросила торопливо Оксана, вбегая в комнату.

— А где ж, голубка? Там вместе на ганке и возле дома в тени,— ответила Ганна, стоя на коленях возле большой сулеи наливки, которую она разливала в кувшины.

— Как это, и старшину, и вельможную шляхту посадить вместе с нищими и калеками? — спросила Елена, и в голосе ее послышался какой-то насмешливый и пренебрежительный тон.

Ганна подняла голову и ответила сдержанно, хотя краска залила ей все лицо до самых ушей.

— У нас всегда так бывало.

— Мало ли чего ни бывало, да миновало, панно,— подчеркнула едва заметно Елена.

— Еще при жизни титочки я привыкла здесь всем распоряжаться сама,— ответила гордо Ганна,— и дядько доверялся мне во всем.

— Но ведь титочка,— Елена усмехнулась при этом слове,— умерла, а дядько,— подчеркнула она опять,— просил и меня показывать все звычаи, так как я выросла при варшавском дворе.

Ганна встала:

— Панна хочет сказать этим,— произнесла она глу-

хим голосом, бледнея, как полотно,— что я здесь лишняя теперь, что она может распорядиться всем и сама.

— О нет! Ха-ха-ха!.. Сохрани, пресвятая дева! Бог с тобой, панно,— рассмеялась Елена своим звонким, серебристым смехом,— я не ищу отнять твою власть от лехов и коров!

— Не для коров и лехов прибыла я в Субботов,— заговорила Ганна прерывающимся голосом, отступая назад и обдавая Елену гордым взглядом своих расширившихся глаз.— Не расчет и не коварство привели меня сюда! Я бросила для семьи дядька единственного брата; я была матерью детям Богдана; я была дядьку другом щырым и верным...

— А я...— усмехнулась едко Елена,— стала татку коханою дочкой! — и, смерив Ганну холодным, торжествующим взглядом своих синих глаз, она гордо повернулась к дверям.

Во время разговора Ганны с Еленой Оксана едва удерживала свое негодование, но когда она заметила, что Елена, вся сияющая довольством, вышла горделиво из комнаты, а панна Ганна, бледная, едва сдерживающая слезы, направилась, шатаясь, к дверям сеней, она бросилась и сама опрометью из дома во двор, чтобы отыскать Морозенка и передать ему весь слышанный ею разговор.

— Олексо,— защептала Оксана, найдя молодого козака у бокового крыльца, выходящего в сад, где не было видно никого.

— Что, моя любая,— протянул к ней козак обе руки.— Что с тобою? — произнес он с тревогой, заметив, что лицо молодой девушки было сильно взволнованно.

— Там панна Елена,— заговорила Оксана, моргая усиленно ресницами,— так обижает панну Ганну. Говорит, что ей пора уже выезжать отсюда... смеется над ней.

— Голубко моя,— поцеловал Олекса поспешно черноволосую головку, заметивши, что никто не видит их в этом уголке.— Что ж, правда, нечего панне Ганне оставаться здесь больше.

— Ну, так и я не останусь здесь без нее ни за что!— вскрикнула Оксана.— Лучше наймычкой наймусь!

— Ты и так не останешься здесь больше,— шепнул

ей Олекса на ухо, притягивая девушку к себе и покрывая ее голову поцелуями.— И наймычкой не наймешься никуда.

Оксана вспыхнула и прижалась головкой к его груди.

— Однако подожди меня здесь,— отстранился он быстро, заметив, что к ним подходит гигантский нищий.— Я только оповещу пана Золотаренка да сейчас и прибегу сюда.

Оксана вытерла лицо фартуком и присела на ступеньки крыльца.

— А что, славный козак, дивчыно? — обратился к ней нищий, останавливаясь у крылечка.— Давно ты, дивчыно, его знаешь?

— Давно, еще как батько мой был со мной.

— А где же твой батько?

— Ушел на Запорожье.

— А хотела бы ты увидеть его?

На глазах Оксаны показались слезы.

— Олекса говорит, что он жив, да что ему нельзя никогда возвращаться сюда... Если бы я знала, где могу увидеть его, я бы сама пошла туда.

— Тебе это не треба, дытыно моя! — вскрикнул вдруг нищий, срывая свою косматую бороду.

— Батько! — вскрикнула в свою очередь Оксана, не веря своим глазам.

— Батько, батько,— повторил нищий, прижимая к себе девушку и целуя ее в щеки, и в лоб, и в глаза.

— Так это ты тато, тато мой? — шептала со слезами Оксана, обвивая вокруг его шеи руки и целуя щетинистые рыжие усы отца. Несколько минут они не могли произнести ни единого слова.

— Дытыно моя,— заговорил он, наконец, с трудом,— ты простила ль меня за то, что я оставил тебя тогда?

— Батьку, батьку! — вскрикнула она с укором, прижимаясь губами к его жилистой грубой руке.

— Что это значит? — изумился притворно вернувшийся Морозенко.

— Ты знал, знал,— подняла голову Оксана и взглянула на него с укором счастливыми, еще влажными от радостных слез глазами,— недобрый, знал и не сказал.

— Ну, а теперь, не гаючи часу, так как батько с на-

ми,— заговорил Олекса, беря Оксанину руку в свою,— признаемся мы ему, что покохали друг друга щыро и верно и что просим батька благословить нас.

Оксана вся вспыхнула и закрылась фартуком, а старый звонарь растрогался вконец.

— Истинно глаголю,— заговорил он, овладевая собою,— господь печется о едином от малых сих. Любитеся, дети, будьте счастливыми да не забывайте горемычного батька. Тебе, Оксано, Олекса измалу был за батька, ему и отдаю я тебя, он тебе будет и чоловиком, и другом, и батьком... Золотое у него сердце и честная душа,— говорил звонарь уже дрожащим голосом, чувствуя приближение позорной слабости.— Это тебе счастье от бога: верно, его вымолила там покойная твоя мать...

Сыч остановился. Оксана стояла, опустивши голову низко-низко... Олекса сжимал тихо ей руку...

— Ну, теперь поцелуйтесь же, дети мои, по христианскому закону,— произнес уже совершенно растроганным голосом Сыч.

Олекса горячо обнял смущенную дивчыну, а дьяк возложил на их головы руки и заключил торжественным тоном, утирая глаза:

— Будьте счастливы, дети мои, много, много лет!..

Между тем Золотаренко, оповещенный Морозенком, отправился торопливо отыскивать Ганну. Ему уже давно чуялось что-то недоброе в доме, но последнее известие Морозенка взорвало его вконец. В своем горячем волнении он и не заметил приезда какого-то знатного козака, прибытие которого встретил радостными криками весь народ.

Пройдя весь дом, Золотаренко нашел Ганну в самой последней светлице. Она стояла, отвернувшись лицом к окну.

— Ганно! — окликнул ее ласково Золотаренко.

Ганна вздрогнула и обернулась к нему. На лице ее не видно было и следа слез; казалось, она похудела и постарела за эти несколько минут. На бледном, как полотно, лице ее глаза горели сухим, горячечным огнем.

— Ганно,— подошел к ней Золотаренко,— я знаю все... Я знаю больше, чем ты думаешь. Тебе дольше не годится оставаться здесь.

— Брате мой! — словно всхлипнула тихо Ганна,

склонясь к нему головой на грудь, и в звуке ее голоса послышалась такая наболевшая горечь, что сердце у Золотаренка сжалось от обиды, от жалости к своей единой сестре.

— Замучили они тебя,— произнес он глухо, сквозь зубы, нахмурив сумрачно брови.

— Замучила себя я сама,— прошептала она, подымая на брата свои лучистые, бесконечно печальные очи.

Несколько минут они стояли молча, не говоря ни слова, но чувствуя, как горе одного покоряло в свою власть и другого... Наконец Золотаренко произнес угрюмо:

— Завтра же уедем отсюда, и нога моя здесь не будет.

— О нет, нет! — встрепенулась Ганна.— Боже храни тебя подумать что злое на дядька... Дядько здесь ни при чем!

— Может быть... может статься,— заговорил отрывисто, ворчливо Золотаренко, шагая по комнате,— только ты... и я... мы теперь лишние здесь... и оставаться нечего...

Снова наступило молчание, прерываемое только тяжелым дыханием Золотаренка; видно было, что ему стоило большого труда удерживать свое волнение.

— Брате мой,— заговорила, наконец, с трудом Ганна; Золотаренко остановился перед ней.— Я хочу просить тебя об одном... Я знаю, что тебе это будет тяжко, так тяжело, как и мне... Только я много думала об этом и решилась уже навсегда...

— Ганно! — произнес с тревогою Золотаренко, беря ее за руку.— Что ты задумала?

— Брате,— проговорила она тихим и молящим голосом, не поднимая головы,— отпусти меня в монастырь...

— Что ты, что ты? — произнес он, отступая, словно не в силах будучи понять ее слов.

— Друже мой,— продолжала Ганна,— я знаю, что тебе это тяжко, но иначе не можно, не можно...

Наступило тяжелое молчание.

— Ганно,— подошел к ней Золотаренко и заговорил глухим, рвущимся голосом,— я знаю, что ничего не говоришь ты на ветер и ничего не делаешь наобум, но подумала ли ты о том, что нет у меня ни матери, ни

жены, ни детей, что всего роду у меня — одна ты, на всю жизнь одна ты — и утеха, и гордость...

— Родный мой, любимый, коханый,— склонилась к нему на плечо головой Ганна,— думала я обо всем... нас с тобой монастырь не разлучит...— добавила она, беря его ласково за руку.

— Э, что уж там говорить,— махнул безнадежно рукой Золотаренко, отворачиваясь в сторону,— монастырь — это смерть!

Ганна молчала и только тихо прижимала к своей груди его руку. Молчал и Золотаренко.

— А думала ли ты о том,— проговорил он наконец после долгой паузы, не поворачивая к ней лица,— что мне лишиться тебя — все равно что лишиться полжизни?

— Думала, думала, коханый мой, любый мой!..

— И горе твое перемогает тебя?

— Брате,— почти простонала шепотом Ганна,— оно хуже смерти во сто крат...

— Иди! — произнес с усилием Золотаренко, не поворачивая головы.

Ганна прижала к губам его руку крепко-крепко, и на нее упала с ресниц тяжелая слеза...

Вдруг двери неожиданно распахнулись, и на пороге появился Богун. Последняя сцена не ускользнула от его внимания.

— Бувай здоров, друже! Будь здорова, Ганно! — остановился он у дверей, сбрасывая шапку и оглядывая их взволнованным взглядом. Ганна и Золотаренко поклонились ему.

— А каким родом прибыл ты сюда? — спросил Золотаренко, все еще не выпуская руки сестры.

— Услыхал о смерти господыни... да, видно, тут есть что-то хужее, чем смерть.— Богун провел рукою по волосам.— Встретила меня какая-то ляховка... ляхов полон будынок... Ты, Ганно, одна и в слезах... Скажи мне, что сделалось здесь, скажи мне, кто здесь обидел тебя? Будь то мой первый друг и приятель — я клялся и клянусь, что голову размозжу!

Золотаренко махнул рукою и проговорил, отворачиваясь в сторону:

— Эх, я б и сам размозжил, да что уж теперь толковать! Умерла она, друже, для нас!

— Ганно, Ганно... Как? Что случилось? Что сталось? — вскрикнул Богун, подходя к ним.

— В монастырь идет,— произнес Золотаренко тихо.

— Что? — отступил Богун.— Ты? Ганно? Ты? В монастырь? Нет, нет, не может быть! — заговорил он горячо.— Ты не захочешь осиротить нас... Ганно, Ганно! Ты наша порадница, сестра наша, гордость наша... Ох Ганно!.. Ганно!..

— Друже мой,— перебила его Ганна,— сестрой вашей я останусь и там... Если б могла я сделать для вас что-либо здесь, я б не ушла, я б осталась... но что я? К чему мои ничтожные силы? А молитвы мои будут и там, как и здесь,— о вас и за вас...

— Нет, Ганно, нет! — возразил горячо Богун.— Молиться ты можешь везде, и широка для твоей молитвы дорога... Но уйти от мира, от его горя и слез за муры, отречься от борьбы за долю своей поруганной родины— это значит снять с нищего последнюю рубаху,— прости на слове: оно вот отсюда, из самой глубины,— ударил он себя кулаком в грудь.— Ты помнишь, когда я с раздавленным сердцем хотел пронзить себя турецким клинком,— ты удержала меня, ты крикнула мне: «Стой! Сердце твое принадлежит не тебе,— оно должно служить и родине, и богу!» И я его ношу, с пекельной мукой, а ношу и терплю... Так если мне — а таких ведь, как я, у нас, хвала богу, без счету... так вот, если мне нужно для Украйны носиться с этим глупым, стучащим в груди молотком, то как же тебе ховать его в власяницу, тебе — единой, единой на всей нашей широкой земле?!

Ганна, смятенная бурей его пылких речей, стояла, опустивши голову, и едва заметно дрожала; по выступавшим алым пятнам на ее нежных щеках и по сменявшей их смертельной бледности можно было видеть, какая в глубине ее души происходила борьба: Ганна порывисто, тяжело дышала и хранила молчание. Несколько минут и Богун смотрел молча на Ганну; наконец он снова заговорил клокотавшим от волнения голосом, обращаясь к Золотаренку и Ганне:

— Друже мой, от тебя мне нечего крыться: люблю я, кохаю твою сестру, больше всего на этом свете... Не поталанило мне... Что ж, такая уж щербатая доля! Да и стою ли я кохання? Я уже давно о своем счастье

и гадку закинул... Эх, я был бы и тем счастлив без меры, если бы Ганна дозволила мне хоть защитником ее стать по праву: воля ее была бы для меня волей бога, каждое слово ее, взгляд — райской утехой, всякая за нее мука — блаженством... Батьком, братом, рабом бы я стал ей, верной незрадной собакой... и за право стеречь лишь ее перевернул бы весь свет!

Ганна молчала; но становилась бледней и бледней...

— Ганно! — дрожащим голосом прошептал Богун, и ему показалось, что перед ним стоит три Ганны и что все они словно колеблются на высоких крестах.— Ты ведь говорила, что не пришло только время... что твое сердце пока мертвое...

Ганна подняла руку, словно желая остановить Богуна, и что-то прошептала, но губы ее пошевелились беззвучно...

— Я лукавила,— произнесла она наконец с страшным усилием.— Да, лукавила,— продолжала она, овладевши собою.— У меня было свое горе, тяжкое, невыносимое, которое пригнетало меня до самой земли... оно меня и теперь гонит в келью. Но ты, Богун,— лыцарь наш первый... тебя я, как брата Ивана, люблю... перед богом говорю... и ты прав...— она задохнулась и прижала обе руки к бьющемуся приметно сердцу.

Богун впился в нее глазами, и в них вспыхнуло пламя надежды; а Золотаренко, следя за каждым словом сестры, не мог удержаться, чтоб не подтвердить:

— Да, лучшего лыцаря нет во всей Украйне! Спасибо тебе, друже... я б отдал с радостью сестру, если б она... Господи, сколько б счастья!

Ганна сделала над собой последнее усилие:

— Друзья, братья! — зашептала она прерывисто.— Не говорите про это: мне больно... Взгляните на меня, какая я невеста! Но ты, Богун, прав... и если мой голос ничтожный и эти дрожащие руки нужны будут для моей родины, то я не спрячу их за мурами,— подняла она голос,— я понесу ей, Украйне моей, на послугу!

— Если выпустят,— заметил угрюмо Богун.

— Я послушницей буду... права не потеряю,— добавила поспешно Ганна,— меня никто не удержит! — подняла она высоко руку.— Но теперь, если любите меня, братья, дайте исполнить мне то, к чему меня тянет душа: я хочу забыться от боли... на самоте, в молитве...

под тихое пенье сестриц... Козаче мой, орле сизый! — обратилась она, вся потрясенная, к Богуну.— Я без вины, без воли моей розшарпала твое юнацкое сердце... прости же мне, пробач! И ты, брате родный,— давилась она подступившими к горлу слезами,— прости, что причиняю и тебе горе... Но несила моя, несила!.. Не так думала... простите же меня, простите,— и она с рыданьем поклонилась до земли...

— Ганно, сестра! В чем прощать? Ты — святая! — вскрикнули горячо Богун и Золотаренко, бросившись к ней помочь встать.

Но в это время двери раскрылись, и появившаяся в них Катря объявила торжественно, что батюшки приехали, началась панихида и батько просили, чтобы зараз после панихиды все шли к столу.

Все двинулись на террасу, где торжественно была отслужена панихида.

После нее общество разделилось: некоторые из значных козаков, как, например, Золотаренко с сестрой, Богун, дети Богдана, остались трапезовать вместе, по старому обычаю, с темным народом, а самое избранное общество, преимущественно именитая шляхта, поместилось в светлице Богдана. Мрачная обстановка ее, завешенные черным сукном окна, двери, иконы, горящие лампадки, восковые зеленые свечи, смирна и ладан, печальные речи, тяжелые воспоминания, и не заздравицы с веселыми криками, а заупокоицы с щемящим припевом «вечная память»,— все это давило сотрапезников, навевало на всех тоску и уныние... Даже поляки сочувствовали горю Богдана, считая писаря совершенно своим... Помянули тихо за трапезой и погибшего безвременно Чарноту...

Когда, после трапезы, разъехались все именитые гости, Богдан, усталый и разбитый, отправился наконец в свою комнату отдохнуть и освежить люлькой отуманенную голову. Во всей этой суете и сутолоке он заметил, однако, как Елена держала себя и царицей, и приветливейшею хозяйкою, как умела она сказать каждому ласковое слово и возбудить в каждом восторг. Воспоминание это приятно щекотало самолюбие Богдана. Вот такую-то, такую жинку и надо было ему давно!

Мало-помалу в комнате собрались все товарищи, желавшие попрощаться перед отъездом с хозяином,

пришла с братом и Ганна. Елена только удалилась к себе.

— Ну, кажись, свои тут,— окинул Богдан зорким глазом светлицу,— чужого чертма! Так гукни ж, Олексо, чтоб нам подали сюда доброго меду батьковского: выпьем на прощание уже за живое и за живых.

— Да там еще в погребе и дедовский найдется,— заметил дед, улыбаясь и тряся головой,— а сошлись-то еще не все, не все: там еще у меня на пасике сидит мацапура.

— Кто ж бы это? — изумился Богдан, да и все переглянулись между собой.

— А вот кто! — словно вынырнула с этими словами из сенных дверей колоссальная фигура и почти уперлась чубатою головой в сволок.— Вот кто! — отбросил вошедший все завертывавшие его платки и тряпки.

— Кривонос! — вскрикнули все и радостно, и словно растерянно.

— Друже мой! — бросился к нему Богдан и обнял щыро, по-братски.

Послышались расспросы и рассказы, прерываемые шумными изъявлениями радости и восторга.

Морозенко вбежал в светлицу и сообщил, что к батьку приехал какой-то бей.

— Не Тугай ли, мой побратым? — схватился Богдан.

Все всполошились.

В это мгновение в двери вошел богато одетый турок. Роскошная чалма была надвинута почти на глаза, а расшитым зеленым плащом он закрывал нижнюю часть лица.

— Селим-айлеким! — приветствовал всех новоприбывший, приложив правую руку к сердцу и к челу.

— Гом-гелды! — ответил Богдан и почувствовал, что в его сердце что-то екнуло.

Таинственный гость обвел из-под чалмы всех присутствующих внимательным взглядом и, отбросивши в сторону и плащ, и чалму, крикнул восторженным голосом, распростерши руки:

— Да здоровы же будьте, друзья-товарищи! Не узнали, что ли, Чарноты?

— Чарноты? — вздрогнули все и отшатнулись невольно. Один только Кривонос при этом имени покач-

нулся было, как оглушенный громом, а затем бросился стремительно к этому выходцу с того света.

— Чур меня, кто бы ты ни был, хоть сатана из пекла, но если ты взял на себя облик моего лучшего друга, то я обниму тебя! Сожги меня на уголь пекельный, а обниму! — и он охватил Чарноту за плечи и начал пристально вглядываться ему в лицо.

— Он, друзи, он самый, вражий сын! — крикнул Кривонос и начал душить Чарноту в своих объятиях.

Все, подавленные сначала невольным трепетом при виде сверхъестественного появления мнимого мертвеца, теперь вдруг ожили и радостно зашумели:

— Чарнота! Голубе! Вот так радость!

— Да хоть перекрестись же ты, сатано! — то всматривался, то снова обнимал его Кривонос.— Може, с чертями уже накладаешь, шельма, проклятый пес, каторжный? Чтоб тебе ведьма с помелом въехала в глотку... Сколько муки из-за него, аспида! — улыбался Кривонос, сиял счастьем, и по рытвинам его щек катились заметные слезы.

— Да стой же, Максиме, дай и мне привитаться,— отнимал Богдан от Кривоноса Чарноту, заключая его в свои объятия,— и последний, награждаемый трогательной бранью, стал переходить из одних объятий в другие.

— Горилки! — крикнул наконец Кривонос.— Тащи ее, Олексо, скорее! Да и кухли тащи с твою голову! У меня от радости кипит все, так заливать нужно пожар.

Когда голод Чарноты и жажда Кривоноса были удовлетворены, Богдан предложил своим гостям по кубку старого меду.

— За нашу дорогую справу и за живых друзей-борцов! — поднял высоко кубок Богдан и опорожнил его при общих криках: «Хай жиють!»

— А что, есть ли синица в жмене или только все обицянки? — спросил Кривонос, закуривая люльку.

— Есть, друже мой, есть, братцы! Король нам дал привилеи и возвращает нам все наши старые права: рейстровиков двадцать тысяч, свое атаманье, земли, запорожцам новые вольности и непорушность веры.

— О, вот так радость! Вот так король! За его здоровье!

— Отчего ж привилеев этих не оповещают так долго? — спросил скептическим тоном Золотаренко.

— Хе! Тут-то и ковинька,— подморгнул Богдан.— Его королевская мосць вручил эти привилеи нашему полковнику Барабашу, схожему во всем больше на бабу, чем на лыцаря. Так вот этот храбрец, напуганный ляхами, все выжидает какого-то сейма и припрятывает королевские милости [155].

— Гай-гай! — махнул Золотаренко рукой.— Так поминай эти привилеи, как звали!

— Он перевертень, изменник, Иуда! — закричали грозно со всех сторон.

— Успокойтесь, панове,— поднял руку Богдан,— клянусь, что не пропадет ни одного слова и что я вырву эти привилеи.

— Эх, все это басни,— отозвался со стоном молчавший до того времени мрачно Богун,— для детей они забавки, а вот для тех, чьи плечи не выходят из ран, что изнывают в панской неволе,— для тех они плохое утешенье! Ведь чем дальше, тем больше затягивается узел! А эти привилеи? Да разве сейм их допустит? Барабаш и прав, что их прячет.

— Не быть добру,— прорычал глухо и Кривонос,— пока хоть один жид или лях будет топтать нашу землю.

Слова Богуна и Кривоноса произвели на всех удручающее впечатление.

— Нет, братья мои и друзи, не будемте бога гневить! — поднял голос Богдан, и в нем зазвучала прежняя мощь.— Разве можно сравнить наше теперешнее положение с прежним? Вспомните ужасный разгром наших последних изнеможенных сил под Старицей. Лучшие атаманы или убиты, или казнены, или пропали без вести; ни людей, ни оружия не осталось; села разграблены, народ на колах, на виселицах или зверем в трущобе. О сопротивлении врагу можно было только мечтать с отчаяния. Наконец, нас созывают, как быдло, на Маслов Став и объявляют баницию, лишение всех стародревних вольностей, лишение всех человеческих прав!..

Тяжелый вздох вырвался из широких грудей и пронесся тихим стоном по светлице.

— Да, то была могила, широкая и глубокая для всех нас могила,— продолжал Богдан, переводя дух,—

но ласка господня блюла нас, милосердие его не истощилось. Он внушил королю мысль не дать нас на истребление, и король хоть слабым голосом, а сдерживал буйство панов, ободрял нас надеждой, соединял нас воедино, и вот прошло семь лет медленной, незаметной работы[156], и скажите же по совести, братья, разве мы такие же бессильные, как тогда? Нет, тысячу раз нет! — поднял руку Богдан.— Запорожье наше укреплено, до четырех тысяч лыцарей по камышам, по островам, по затонам; двести чаек гойдается на Днепре, тут у каждого из нас,— только свистни,— так слетится немало орлят! Не забывайте, что с нами теперь наше знамя и клейноды, а будут с нами и привилеи, и охрана, и воля найяснейшего!

По мере того, как говорил Богдан, смутившиеся было лица начали проясняться снова, глаза зажигались огнем, и бодрая радость овладевала всеми. Даже Ганна, забыв свое горе, улыбнулась восторженно этой вести.

— Так с такими силами да клейнодами,— звучал между тем победоносно его голос,— коли ежели что... так мы такую кашу заварим, что зашатается и Речь Посполитая!

— Слава, слава Богдану! — закричали все возбужденно и весело, потянувшись к кубкам.

— На погибель врагам, а нам и люду на счастье!

И полился темною ароматною струей в кубки старый мед, и усилил, и усладил еще больше это радостное настроение, окрыленное радугой пышных надежд.

Все верили в эту минуту, что уже налетело желанное всеми затишье, что оно открыло уже свои убежища... многие мечтали о личном счастье, многие мирились с неизбежной судьбой, многим рисовалась картина народного благополучия...

— Браты мои и друзи!— наполнил Богдан снова все кубки.— Много пережили мы вместе и горестей, и бурь, и несчастий; но во всех наших злыгоднях поддерживала нас до сих пор та крепкая любовь и згода, которая соединяла нас против врагов и давала нам, слабым, силу и мощь. Теперь мы расстанемся, всякий пойдет своею дорогой, и кто знает, когда и при каких обстоятельствах сведет нас снова господь? Выпьем же на прощанье, друзи мои, за нашу братскую любовь, за

нашу веру друг к другу и згоду, чтобы она вечно между нами жила, чтобы мы стояли все один за одного и каждый за всех!

— Будем, будем! — раздались отовсюду восторженные крики.

— Ганно, прощаешь? — притянул к себе за руки ожившую девушку Богдан и заглянул ей в глаза.

— Дядьку,— вспыхнула она вся,— вам до веку... защитнику нашему...

Объятия, поцелуи и клятвы смешались с радостными слезами.

И никто из присутствующих не мог и подумать в это мгновение о той страшной буре, которая уже подымалась над их головой...

Примітки

Серед приблизно семи десятків оповідань, повістей і романів, написаних і опублікованих М. П. Старицьким, трилогії про Богдана Хмельницького належить визначне місце.

Створенню трилогії передувала велика праця автора над драмою «Богдан Хмельницький». У своїх спогадах про М. Старицького К. М. Мельник-Антонович розповідає: «Працюючи коло п'єси, Михайло Петрович, не обмежуючись існуючою літературою, часто радився з Антоновичем, обговорював, які виникали при тому сумніви й питання, брав історичні джерела та матеріали, знайомився з побутовою та юридично-дипломатичною мовою XVII ст. з актів та літописів того часу. Радився теж з Ор. Левицьким, великим знавцем тої епохи, який і сам написав монографію про Хмельницького». Але матеріал, зібраний М. Старицьким, не міг бути повністю використаний у драмі, яку він закінчив 1887 року. Мабуть, уже тоді в письменника виник задум написати роман про небачений героїзм українського народу в боротьбі за своє визволення з-під гніту польської шляхти, про величну постать Богдана Хмельницького. Підготовчу працю над романом М. Старицький розпочав кількома роками пізніше, коли після закінчення літнього сезону 1891 р. він, відійшовши від керівництва трупою, залишився у Москві і прожив там до весни 1892 р.

В записній книжці письменника за 1891 р. знаходимо ряд планів-сцен до роману про Богдана Хмельницького. Плани ці записані без будь-якої системи, без дотримання послідовності розвитку сюжету чи хронології подій. Тут знаходимо також списки літератури з історії України, Польщі, Литви, Криму й Росії, пізніше доповнені рядом праць і джерел, та різні виписки з прочитаних книжок. Серед чорнеткових нотаток збереглася ще на двох аркушах добірка джерел російською, польською, французькою та німецькою мовами, складена, мабуть, уже пізніше. В усіх цих списках бачимо різні збірники документів, козацькі літописи Грабянки і Самовидця, мемуари сучасників подій 1648—1654 рр., історичні праці Костомарова, Антоновича, О. Левицького, Каманіна, Куліша, Дашкевича, Кояловича, Іванішева, Самаріна, Багалія, Владимирського-Буданова, Лазаревського, Новицького, Яворницького, Хартахая, Брандтке, Лелевеля, Грондського, Добржанського, Кохановського, Видавського, Квятковського, Палищева, та ряду інших авторів, навіть роман «Огнем і мечем» польського письменника Г. Сенкевича.

Захопившись буремними подіями героїчної минувшини, М. Старицький написав тоді російською мовою повість «Осада Буши (Эпизод из времен Хмельнищины)» і зразу ж опублікував її в газеті «Московский листок» (1891). А роман розпочав лише в серпні 1894 р., як це видно з помітки на одному з чорнових автографів. Працюючи над твором, автор продовжував поглиблено вивчати різні джерела та історичні розвідки.

Велика кількість матеріалу і широта охоплення історичних подій швидко показали письменникові, що в одній книзі цього задуму не втілити. Поступово роман розрісся у трилогію — «Богдан Хмельницкий», «Буря», «У пристани»,— яка завдяки попередній підготовці та дивовижній працьовитості автора була створена за досить короткий час і опублікована 1895—1897 рр. у газеті «Московский листок». Написані розділи роману М. Старицький одразу ж надсилав до редакції газети, де вони друкувались.

Своїй трилогії про Богдана Хмельницького М. Старицький надавав великого значення і дуже жалкував, що не може видати її українською мовою. «Бере мене превеликий жаль,— писав він Ц. Білиловському 30 січня 1898 р.,— що й Хмельницький (роман у 3-х част., або 3 романи на 120 арк. друку) — виходить тільки по-російськи, бо там платять гроші, на які я тільки й живу,— а по-українському — нема спромоги такого роману видати... Так би хотілося завершити будови нашої літературної мови таким романом, та ба! «вже до снаги, бач, розплатився...»

Перша частина трилогії — «Богдан Хмельницкий. Исторический роман» — опублікована 1895 р. в газеті «Московский листок» (№№ 3—362). Двома роками пізніше, 1897 р., М. Старицький опублікував цей роман вдруге, теж російською мовою, але вже на Україні, в журналі «Киевская старина», під назвою: «Перед бурей. Исторический роман из времен Хмельнищины». Готуючи роман для журналу, М. Старицький дещо переробив початок і виправив окремі помилки й недогляди газетного варіанта.

По закінченні друкування в журналі роман мав вийти відразу ж і окремим виданням, але під час пожежі в друкарні весь тираж книги згорів. Окреме видання з'явилося лише 1899 р. у Києві під назвою «Перед бурей». Очевидно, зміна назви «Богдан Хмельницкий» на «Перед бурей» було зроблено з огляду на зміст трилогії в цілому. Усі три романи пов'язані між собою хронологією подій, сюжетом і дійовими особами. Хоч вони друкувались як окремі твори, проте в центрі кожного стояла особа Богдана, отже, назва «Богдан Хмельницкий» могла (і, треба думати, мала) бути назвою усієї трилогії, а не окремого роману.

1903 р. у Києві вийшло друге видання твору під іншою назвою: «Сотник Богдан Хмельницкий (Перед бурей). Исторический роман». Після смерті М. Старицького його дочка Людмила Михайлівна переробила першу частину трилогії на повість і надрукувала у Львові, в журналі «Світ» (1907, №№ 1—10), під назвою: «Богдан Хмельницький (Перед бурею). Історична повість». Того ж року під такою ж назвою повість вийшла у Львові окремим виданням. Ця повість є, по суті, скороченим переказом роману «Перед бурей», причому скорочення зроблене більше, ніж на дві третини. Наступне видання, теж українською мовою, вийшло 1930 р. у видавництві «Книгоспілка» під назвою: «Богдан Хмельницький (Перед бурею).

Історичний роман». У цьому виданні твір скорочено майже наполовину. Того ж таки року вийшов у Львові у видавництві «Для школи і дому» повний переклад роману українською мовою у двох томах під назвою: «Богдан Хмельницький». З того часу на Україні роман не виходив аж до 1960 року, коли видавництво «Молодь» видало його російською мовою під назвою: «Перед бурей. Исторический роман». 1963 року в цьому ж видавництві роман вийшов повторно.

У нашому виданні роман виходить у такому вигляді, як він був надрукований в журналі «Киевская старина» за життя автора. Нинішнє видання різниться від журнального варіанта лише тим, що при українських словах лапки випущені, а уривки народних дум і пісень подаються в українській транскрипції.

Широтою зображення історичних подій і художнім рівнем трилогія М. Старицького — найвизначніший в дожовтневій літературі твір про визвольну війну українського народу 1648—1654 рр. У творі правдиво зображені передумови цієї війни: безправне становище селян, жорстокий визиск з боку панства, утиски, що їх зазнавало козацтво. Показуючи селянство як вирішальну силу у визвольному русі, М. Старицький підкреслює не тільки його національно-визвольний, але й соціально-класовий характер.

Через увесь твір проходить ідея спільності інтересів українського і російського народів, ідея возз'єднання України з Росією.

Трилогія М. Старицького — твір монументальний і багатоплановий — засвідчує величезну і копітку працю автора над історичною літературою і джерелами. Ця історична література і джерела мали поряд з вірними відомостями чимало фактичних помилок, тенденційних тверджень. У висвітленні складної епохи, у художньому тлумаченні історичних подій М. Старицький стоїть на послідовно демократичних позиціях. Проте роман не позбавлений і окремих недоліків, які великою мірою пояснюються станом тогочасної історичної науки. Цілком вірно зображено у творі Богдана Хмельницького як мудрого державного діяча, талановитого полководця і відданого оборонця інтересів народу. Але автор перебільшив роль шляхтянки Олени в особистому житті Богдана, а також його прихильність до короля Владислава IV, який вийшов у трилогії явно ідеалізованим. Елементи ідеалізації помітні і в образах коронного гетьмана Конецпольського та канцлера Оссолінського. Є у творі ряд неточностей фактичних. Поза всім цим трилогія М. Старицького і донині не втратила свого значення як високохудожній історично правдивий твір.

1 *...под Старицею...* — Старець, не існуюча тепер ліва притока Дніпра, впадала в нього поблизу гирла Сули. У червні — липні 1638 р. тут відбувалися бої між українськими повстанцями, очолюваними Д. Гунею, і шляхетським військом під командуванням коронного польного гетьмана М. Потоцького. Після кількох невдалих штурмів Потоцький перейшов до облоги козацького табору, під час якої зазнав великих втрат. Витримавши довготривалу облогу, повстанці через відсутність провіанту змушені були припинити опір. Керівники повстання Гуня і Філоненко вночі разом із загоном козаків покинули табір і повернулися на Запорожжя.

2 *Гуня Дмитро Тимофійович* — один з керівників повстання на Україні у 1637—1638 рр. (див. прим. 1). Після поразки під Жовни-

ном козацько-селянського війська на чолі з Острянином (червень 1638 р.) повстанці обрали гетьманом Д. Гуню.

[3] *...под Бужиным.*— Бужин — село в 20 *км* на північ від Чигирина, тут був перевіз через Дніпро. Весною 1638 р. цей, а також деякі інші перевози захопили повстанці під керівництвом Д. Гуні, щоб відрізати відхід з Лівобережжя війська Станіслава Потоцького.

[4] *Хмельницький Богдан-Зіновій Михайлович* (нар. біля 1595 р.— пом. 1657 р.) — видатний державний діяч і полководець, керівник війни українського народу за визволення з-під гніту шляхетської Польщі, за возз'єднання з братнім російським народом; гетьман України (1648—1657). Народився в сім'ї чигиринського підстарости Михайла Хмельницького, вчився спочатку в українській школі, а потім у Львівському єзуїтському колегіумі. 1620 р. разом з батьком брав участь у поході польського гетьмана Жолкевського на Молдавію, тоді ж потрапив у турецький полон. «Лютої неволі два роки зазнав»,— говорив про себе Хмельницький. За деякими відомостями, з неволі його викупила мати, за іншими — запорожці обміняли на турецьких бранців. Повернувшись з полону, деякий час був на Запорожжі, а потім служив у чигиринському полку реєстрових козаків, спочатку писарем, а згодом сотником, деякий час був писарем Запорозького війська. Взагалі відомостей про життя і діяльність Богдана Хмельницького до 1648 р. дуже мало. Ще до війни 1648—1654 рр. брав участь у селянсько-козацьких повстаннях 30-х рр.

[5] *Бурляй (Бурлій) Кіндрат Дмитрович* — козацький старшина, учасник багатьох морських походів на Туреччину. Перед повстанням 1648 року був одним із сотників чигиринського полку. В 1648—1649 рр.— гадяцький полковник, учасник козацьких посольств до Росії.

[6] *Пешта Роман* — реєстровий старшина, потім чигиринський полковий осавул, учасник повстання 1637—1638 рр. під проводом Острянина і Гуні. Він, Іван Боярин та Василь Сакун вели переговори з Потоцьким про умови капітуляції повстанців, обложених під Старцем. Пізніше брав участь у визвольній війні 1648—1654 рр., виконував ряд важливих доручень Б. Хмельницького, хоч між ними й були до 1648 року якісь розходження, причини і характер яких досі не з'ясовані.

[7] *Вишневецький-Корибут Ієремія-Михайло* (1612—1651) — польський магнат. Був православним, 1631 р. прийняв католицтво і став лютим гонителем православ'я, жорстоко придушував повстання українського народу. Вишневецькому належали на Україні величезні маєтки: на Волині замок Вишневець з навколишніми селами, а на Лівобережній Україні — десятки міст і містечок (Лубни, Прилуки, Ромни, Золотоноша, Лохвиця, Жовнин, Голтва та ін.).

[8] *Посольська ізба.*— На той час у Польщі було дві палати: сенат і посольська ізба (палата депутатів), або вальний сейм, який збирався кожні два роки.

[9] *Кодак* — фортеця на правому березі Дніпра, поблизу Кодацького порога, збудована Г. Бопланом (див. прим. 36) в липні 1635 р. за рішенням польського сейму, щоб перешкодити зв'язкам Запорозької Січі з Україною, а головне — ловити селян-кріпаків, які втікали на Січ. У Кодаку стояла військова залога — 200 жовнірів.

У серпні 1635 р. запорозькі козаки на чолі з Іваном Сулимою захопили Кодак, знищили залогу і зруйнували укріплення. 1639 р. польський уряд відбудував Кодак, значно розширивши його.

[10] *Острянин (Остряниця) Яків* — учасник повстань під проводом Трясила (1630), а також Павлюка і Скидана (1637). На початку 1638 р. козаки на Запорожжі обрали Острянина гетьманом, і він розпочав нове повстання, вирушивши в похід у другій половині березня. Повстанці поділились на три частини, якими керували Острянин, Д. Гуня і Карпо Скидан. Після ряду боїв — біля Голтви, Лубен, Сліпорода — в червні 1638 р. був розбитий Станіславом Потоцьким під Жовнином і перейшов у Росію з частиною козаків.

[11] *Філоненко* — козацький полковник, учасник повстання 1637—1638 рр. Влітку 1638 р. очолив двохтисячний загін повстанців і після жорстокого бою прорвався з кількома сотнями чоловік на допомогу військам Гуні, обложеним під Старцем (див. прим. 1).

[12] *Богун Іван* — козацький старшина, пізніше (з 1650 року) кальницький (вінницький) полковник, видатний воєначальник часів визвольної війни 1648—1654 рр., легендарний герой народних пісень та дум. Страчений шляхтою 1664 р.

[13] *Кривоніс Максим* — козацький ватажок, пізніше черкаський полковник, видатний організатор повстанських загонів. На початку визвольної війни 1648—1654 рр. Кривоніс проводив сміливі бойові операції, які вирішували долю битв під Корсунем, Пилявцями, Львовом та ін. Помер в кінці 1648 р. від чуми.

[14] *Наливайко Северин* — родом з Поділля, спочатку був сотником надвірного війська кн. Костянтина Острозького. 1594 р. організував повстання проти польських і українських магнатів на Правобережній Україні. Восени 1595 р. перейшов зі своїм загоном у Білорусію, де захопив багато міст і очолив повстання білоруського народу проти литовських магнатів. У травні — червні 1596 р. військо С. Наливайка і Г. Лободи, в якому було багато жінок, дітей і старих, на Солониці, поблизу Лубен, зазнало поразки від війська коронного гетьмана С. Жолкевського. Наливайко був схоплений і страчений у Варшаві в квітні 1597 р.

[15] *Косинський Криштоф* — гетьман реєстрових козаків, керівник селянсько-козацького повстання проти польської шляхти на Правобережній Україні 1591—1593 рр. Повстанський загін К. Косинського був розбитий влітку 1593 р. під Черкасами, сам Косинський загинув у бою.

[16] *Тарас Федорович (Трясило)* — козацький отаман, один з керівників селянсько-козацького повстання 1630—1631 рр. на Лівобережжі. У березні 1630 р. виступив з Січі майже з десятитисячним військом і підняв повстання на Україні. Шляхта зазнала великих втрат. Повстання закінчилося т. зв. Переяславською угодою, за якою козацький реєстр збільшено до 8 тисяч чоловік замість 6. Трясило із запорожцями повернувся на Січ, звідки 1631 р. знову робив похід на Україну. Одному з епізодів цього повстання Т. Г. Шевченко присвятив поему «Тарасова ніч».

[17] *Потоцький Микола Якубович* — польський магнат, коронний польний гетьман, а з 1646 р.— великий коронний гетьман, жорстоко придушував народні повстання на Україні. Після придушення повстання в грудні 1637 р. на Черкащині М. Потоцький перейшов на

Лівобережжя, чинячи люту розправу над населенням. Особливо багато скарано було в Ніжині, а потім у Києві. Шляхи війська М. Потоцького були обставлені палями і шибеницями. Помер 1651 р.

Після Люблінської унії Польща і Литва мали окреме військо: коронне (польське) і литовське. На чолі польського війська стояв великий коронний гетьман, він же був і військовим міністром; на чолі литовського — великий литовський гетьман. Польний гетьман — заступник великого гетьмана. Польних гетьманів також було два: польний коронний (тобто польський) і польний литовський.

[18] *Павлюк (Бут) Павло Міхнович* — гетьман нереєстрових запорозьких козаків, керівник селянсько-козацького повстання 1637 р. У грудні 1637 р. між повстанцями і військом на чолі з гетьманом М. Потоцьким під Кумейками на Черкащині відбувся бій. Повстанці, незважаючи на мужність і героїзм, зазнали поразки і відступили за Черкаси, до Боровиці, де капітулювали. Павлюк був схоплений шляхтою і страчений у Варшаві 1638 р. (див. прим. 75). У цьому повстанні брав участь і Богдан Хмельницький.

[19] *Скидан Карпо Павлович* — полковник нереєстрових запорозьких козаків («випищиків», тобто виписаних з реєстру), один з керівників селянсько-козацького повстання 1637 р. Після поразки під Кумейками і Боровицею разом з Д. Гунею повернувся на Запорожжя. 1638 р. був активним учасником повстання під проводом гетьмана Острянина. Поранений у битві під Черкасами, потрапив у полон, де був страчений.

[20] *Томиленко Василь* — старшина реєстрових козаків. Сподвижник Павлюка у селянсько-козацькому повстанні 1637 р. Пізніше брав активну участь у визвольній війні 1648—1654 рр.

[21] *Лобода Григорій* — отаман запорозьких козаків. 1594 р. із загоном козаків приєднався до повстання С. Наливайка. 1595 р. Лобода, очоливши частину повстанців на Правобережжі, діяв досить нерішуче, схиляючись до згоди з панами. За таємні зносини з шляхтою був скараний козаками влітку 1596 р. у таборі на Солониці.

[22] *Конецпольський Станіслав* (1591—1646) — коронний гетьман польського війська (1632—1646), жорстоко придушував селянсько-козацькі повстання на Україні в 20—30 рр. XVII ст. С. Конецпольському належали на Україні великі маєтки: 170 міст і 740 сіл у Барському, Ковельському, Бузькому та інших староствах.

[23] *Золотаренко Василь Никифорович* — козацький старшина, пізніше полковник, відомий діяч часів визвольної війни під проводом Б. Хмельницького.

[24] *Суботів* — хутір (тепер село) біля. Чигирина. Цей хутір успадкував Богдан Хмельницький від батька.

[25] *Сангушко* — князь, за твердженням автора «Истории Русов», хрещений батько Б. Хмельницького.

[26] *Лянцкоронський Предислав* (кінець XV — поч. XVI ст.) — литовський магнат, родич короля.

[27] *Дашкевич (Дашкович) Остап (Остафій)* — український феодал, черкаський староста (1514—1535). Всіляко пригнічував козаків, придушував повстання у Каневі і Черкасах, спираючись при тому на заможну козацьку верхівку. Помер 1535 р.

[28] *Вишневецький Дмитро* — литовський князь, черкаський і канівський староста середини XVI ст. Г. Грабянка та автор «Истории Русов» називають Д. Вишневецького одним з перших козацьких гетьманів. 1556 р. він побудував фортецю на острові Мала Хортиця, у 60 *км* вище Запорозької Січі. Скараний наприкінці 1563 р. турками у Стамбулі.

[29] *Нечай Данило* — один з видатних козацьких воєначальників часів визвольної війни під проводом Б. Хмельницького, брацлавський полковник, легендарний герой українських народних історичних пісень і дум. Загинув у бою з польським військом в м. Красному на Поділлі 1651 р.

[30] *Самара* — ліва притока Дніпра.

[31] *...под Цецорою...* — Цецора — село в Молдавії, під Яссами. Влітку 1620 р. польське військо зазнало тут великої поразки від об'єднаного турецько-татарського війська. У битві під Цецорою загинув і батько Богдана Хмельницького, а сам він потрапив у полон (див. прим. 4).

[32] *Сначала в Скутари, а потом в Карасубазаре.* — Скутарі — передмістя турецької столиці Стамбула (Царгорода); Карасубазар — місто в Криму, між сучасними Феодосією і Сімферополем. За деякими відомостями, Б. Хмельницький перебував у полоні спочатку в Туреччині, а потім у Криму.

[33] *...канцлер коронный Оссолинский...* — Оссолінський Юрій (Єжій) (1595—1651), відомий політичний діяч. У 40-х роках XVII ст. підтримував план війни європейських християнських держав проти Туреччини і в зв'язку з цим намагався помирити Польщу з українськими козаками, які, за його розрахунком, мали відіграти значну роль у майбутній війні. Підтримував також короля Владислава у його боротьбі проти магнатів за зміцнення королівської влади. Тут анахронізм: Оссолінський був великим коронним канцлером лише з 1643 р.

[34] *Владислав IV* (1595—1648) — король польський (1632—1648). Після смерті короля Сігізмунда III (1632) обрання його на королівство підтримувала православна шляхта і козацька старшина, оскільки він робив деякі поступки православним, намагаючись прихилити їх на свій бік. Це Владиславу потрібно було для боротьби проти шведського короля Густава-Адольфа, який хотів стати польським королем, а також у підготовці війни проти Московської держави і в боротьбі за зміцнення королівської влади. У 40-х рр. намагався розпочати війну проти Туреччини, в якій українському козацтву відводилась значна роль. Цим і було викликане його нібито прихильне ставлення до козаків. Король Владислав IV у романі М. Старицького явно ідеалізований, і прихильність до нього Хмельницького нічим не обгрунтована. Повагу до короля Хмельницький виявляв з чисто дипломатичних міркувань.

[35] *...боевые заслуги* [Хмельницького] *под Смоленском и под Москвою.* — Похід королевича Владислава під Москву відбувався 1617—1618 рр. Смоленська війна — з літа 1633 до лютого 1634 р. Про участь Б. Хмельницького у цих походах нема вірогідних даних.

[36] *Боплан* — талановитий французький інженер Гійом Левассер

де Боплан (1600(?) — 1673). 1630—1648 рр. перебував на службі у польського уряду, побудував фортеці у Бродах, Барі, Підгірцях та ін., а також 1635 р. першу фортецю Кодак, Склав цінні карти і «Опис України», виданий у Франції 1650 р.

Богдан Хмельницький не міг бачити Боплана в Кодаку, оскільки фортеця відбудовувалась іншим французьким інженером — Ф. Тектантом.

[37] *Путивлець (Мурка)* — козацький отаман, учасник повстання Острянина. Очолював полк запорожців і донських козаків, яких у його загоні було 500 чол. Був узятий в полон під Лубнами і в серпні 1638 р. разом із Скиданом та іншими полоненими (70 чол.) вбитий у польському таборі над Старцем.

[38] *Сокирявий* — козацький отаман, учасник повстання Острянина. Жовнин — місто на Лубенщині. Тут помилка М. Старицького: Сокирявий схоплений реєстровиками біля Сліпороду (урочище на р. Сулі), куди він прийшов із своїм загоном після відходу Острянина, і відданий до рук Яреми Вишневецького.

[39] *Бахус* — у римській міфології бог плодючості, вина й веселощів.

[40] *Чаплинський (Чаплицький) Данило* — виходець з Литви, людина жорстока і гоноровита, появився на Чигиринщині десь в кінці 1639 р. Був чигиринським підстаростою.

[41] *Фортуна* — богиня щастя, за римською міфологією.

[42] *Вікторія* — богиня перемоги, за римською міфологією.

[43] *Наказний гетьман* — особа, яка тимчасово виконувала обов'язки гетьмана під час його відсутності.

[44] *Ганна* — Золотаренко Ганна, сестра Василя та Івана Золотаренків, була замужем за полковником Пилипом (прізвище невідоме). Залишившись удовою, вийшла заміж за Богдана Хмельницького. У 1671 р. постриглася в черниці під іменем Анастасії. Про життя Ганни в сім'ї Б. Хмельницького до її одруження з ним нема історичних відомостей.

[45] *...сады Семирамиды.* — Семіраміда — легендарна ассірійська цариця. Сади Семіраміди — висячі сади, які нібито посадила у Вавілоні Семіраміда.

[46] *Данилович Ян* — родич польських магнатів Жолкевських, спочатку корсунський, а потім чигиринський староста. 1636 р. жорстоко приводив у «послушенство» не тільки селян і міщан, але й реєстрових козаків.

[47] *Катерина* — старша дочка Б. Хмельницького, дружина Данила Виговського, а пізніше — Павла Тетері.

[48] *Юрій* — син Б. Хмельницького (1640(?)—1681). За бажанням батька у квітні 1657 р. козацька старшина обрала його гетьманом-спадкоємцем, але гетьманом він не став.

[49] *Олена* — друга дочка Б. Хмельницького (в деяких джерелах — Степанида), була одружена з Іваном Нечаєм, братом відомого народного героя Данила Нечая. Крім цих дочок — Катерини і Степаниди,— у Богдана було ще дві дочки, імена їх досі не відомі.

[50] *Андрій* — син Б. Хмельницького. Точно ім'я цього сина невідоме. Є деякі дані, що він називався Остапом. За деякими відомостями, цей син помер, побитий слугами Чаплинського, але сам

Хмельницький у листі (березень 1648 р.) не згадує про смерть сина, а пише тільки, що його «ледве живого залишено». Є також відомості, що побито було не цього сина, а Тимоша, старшого сина Богданового.

[51] *Тиміш* — старший син Богдана (1632—1653). Брав участь у визвольній війні 1648—1654 рр., помер 5 вересня 1653 р. після поранення в боях під Сучавою (місто в північній Молдавії).

[52] *...больную жену Богдана...* — Ганна, перша дружина Богдана Хмельницького, сестра Якима Сомка, переяславського міщанина (чи козака), пізніше переяславського полковника, наказного гетьмана Лівобережної України (1660—1663). Померла 1646 чи 1647 р.

[53] *Ганджа Іван* — козак, учасник ряду походів на Чорне море, близький товариш і соратник Павлюка. Пізніше — один із сподвижників Богдана Хмельницького у визвольній війні, очолював повстання на Уманщині, був уманським полковником. Загинув у бою 1648 р.

[54] *Любомирський Юрій-Себастян* (1616—1667) — князь, великий польський магнат, краківський староста, великий коронний маршалок. (Маршалок — голова сейму у Польщі й Литві з XIV ст).

[55] *Корецький Самуїл-Кароль* — польський магнат, князь. Помер 1651 р.

[56] *Комаровський Петро.* — За «Ординацією війська Запорозького реєстрового», ухваленою сеймом (березень — квітень 1638 р.), замість виборного гетьмана реєстровим козакам призначався від польського уряду комісар. Першим комісаром був шляхтич Петро Комаровський.

[57] *Калиновський Мартин* (пом. 1652 р.) — чернігівський воєвода, з 1646 р. коронний польний гетьман. Великий польський магнат. На Україні Калиновському належали Брацлавське, Літинське, Лоєвське, Любецьке, Черняхівське, Янівське й Перемишльське староства. Жорстоко придушував селянсько-козацькі повстання у 20—30-х рр. XVII ст.

[58] *Кисіль Адам* (1600—1653) — український православний магнат, з 1646 р. був брацлавським воєводою. Прихильник шляхетської Польщі, не раз зраджував інтереси українського народу, брав участь у придушенні повстань. Про нього козаки говорили, що його руські кістки обросли лядським м'ясом.

[59] *Чарнецький Степан* (1599—1655) — сандомирський хорунжий, пізніше коронний обозний, київський воєвода, коронний гетьман.

[60] *Радзієвський Ієронім* — староста ломжинський, пізніше — підканцлер коронний, мав маєтки на Україні, був довіреним короля Владислава IV. На початку 1646 р. приїжджав на Україну як таємний посланець короля для перемов з козаками про збільшення кількості реєстровців до десяти тисяч для боротьби проти Туреччини.

[61] *Марс* — бог війни, за римською міфологією.

[62] *Венера* — богиня кохання і краси, за римською міфологією.

[63] *Буджацькі степи (Буджак)* — приморська частина Бессарабії, територія між нижньою течією Південного Бугу і гирлом Дунаю.

[64] *Лойола Ігнацій (1491—1556)* — католицький чернець, 1534 р. заснував католицький чернечий орден єзуїтів, очолював папську інквізицію, жорстоко переслідував найменші прояви вільної думки.

[65] *Кіпріда* — одно з імен богині Афродіти (богиня кохання і краси, за грецькою міфологією), походить від назви острова Кіпр.

[66] *Ерот* — за грецькою міфологією, бог кохання; його малювали у вигляді вродливого хлопчика із золотими крилами і луком з сагайдаком, повним стріл.

[67] *Демосфен* (384—322 до н. е.) — славетний грецький промовець.

[68] *Заславський Домінік* (пом. 1656 р.) — польський князь, займав ряд високих посад у Польщі.

[69] *Старий Дід* — інша назва Ненаситця, найнебезпечнішого порога на Дніпрі.

[70] *Кінські Води, Базавлук, Чортомлик* — назви річок на Запорожжі.

[71] *Німфи* — за грецькою міфологією, другорядні богині, що уособлюють сили природи.

[72] *...битву под Хотином...* — Хотин — місто й фортеця на правому березі Дністра (тепер місто Чернівецької області). У вересні — жовтні 1621 р. тут відбувалися великі бої між військами турецького султана Османа II і польським військом, разом з яким виступали козацькі полки на чолі з гетьманом Петром Сагайдачним. Незважаючи на переваги в людях і гарматах, Осман II зазнав величезних втрат. У боях під Хотином особливим героїзмом відзначилися українські козаки.

[73] *Люблінська унія* — угора, прийнята на спільному польсько-литовському сеймі в Любліні (1569), за якою Литва об'єднувалась з Польщею у федеративну польсько-литовську державу — Річ Посполиту (республіку). Литва зберігала певну автономію, але українські землі — Волинь, Брацлавщина (Східне Поділля), Київщина, частина Лівобережжя та частина Білорусії — були загарбані польськими магнатами, де вони мали величезні маєтки і жорстоко визискували населення.

[74] *Половець Роман* — старшина реєстрового козацького війська. Після придушення селянсько-козацького повстання 1638 р. у Києві відбулася призначена М. Потоцьким козацька рада. На раді було обрано посольство до короля в складі Романа Половця, Богдана Хмельницького, Івана Боярина та Івана Вовченка.

[75] *...под Боровицею...* — Боровиця — місто на північний захід від Чигирина. У грудні 1637 р. тут був оточений Павлюк з двома тисячами козаків. На пропозицію коронного польного гетьмана М. Потоцького розпочати переговори в польський табір пішли Павлюк, Томиленко та кілька інших старшин. Після того, як повстанці вийшли з міста, їх оточило польське військо. Павлюк та кілька козацьких ватажків були схоплені і відправлені до Варшави. Потоцький призначив нову старшину реєстровцям.

[76] *«Куруківські пункти».* — У кінці жовтня 1625 р. в урочищі Медвежі Лози за Куруковим озером (проти Кременчука, на місці пізнішого Крюкова) шляхетське військо в бою з козаками зазнало величезних втрат. Між польськими комісарами і козацькою старшиною 5 листопада 1625 р. підписано т. зв. куруківську угоду, за якою всі учасники повстання мали бути амністовані, козацький реєстр визначався в 6000 чол., реєстрові козаки зобов'язалися не робити походів на Крим і Туреччину. Всі козаки, не вписані до реєстру (біля 40 000), повинні були повернутись у підданство до своїх панів.

[77] *Трахтемирівська рада* (реєстрових козаків) — відбулася у лютому 1638 р. Скликав її польський уряд, щоб скласти новий реєстр козацького війська. На місце 1200 реєстровців, які загинули під час повстання 1637 р., нікого не було вписано, отже, реєстр фактично був скорочений приблизно до 5000 чол. Реєстр складено під наглядом Адама Киселя.

[78] *Давид і Голіаф.*— Давид — цар древнього Ізраїлю, Голіаф — легендарний філістимлянський велетень. За легендою, Давид убив у поєдинку Голіафа.

[79] *Юдіф* — героїня стародавніх євреїв, яка впоїла ворога єврейського народу Олоферна і відрубала йому голову.

[80] *...вывел из египетской неволи израильский народ.*— За біблійною легендою. єврейський пророк Мойсей вивів свій народ з єгипетської неволі.

[81] *Маслів Став* — урочище на Правобережній Україні, на південний захід від Канева. 4 грудня 1638 р. тут відбулася «заключна комісія з козаками». Згідно з «Ординацією» 1638 р. козацький реєстр скорочено, комісаром реєстровиків і полковниками призначено шляхтичів. Богдана Хмельницького з військового писаря понижено на чигиринського сотника.

[82] *Караїмович Ілляш* — генеральний осавул реєстрового козацького війська Під час повстань 1637—1638 рр. участі в них не брав, вірно служив польському урядові, за що в грудні 1637 р. М. Потоцький призначив його старшим реєстру, а при оголошенні «Ординації» на Масловому Ставу Ілляш Караїмович призначений військовим осавулом. Дотримувався угодовської політики щодо польського уряду і панства, зраджував інтереси українського народу. Забитий козаками 1648 р.

[83] *...Вам назначены полковники из шляхетского звания...*— М. Старицький подав довільний, не зовсім точний виклад «Ординації» 1638 р. Полковники названі також не зовсім точно; були призначені: черкаським — Я. Гижицький, переяславським — С. Олдаковський, канівським — А. Сікержинський, корсунським — К. Чиж, білоцерківським — С. Калевський, чигиринським — Я. Закржевський. Кількість реєстрових козаків визначалась не в 4, а в 6 тисяч.

[84] *Барабаш Богуш* — за «Ординацією» був призначений одним з сотників черкаського полку. М. Старицький помилково ототожнив його зі зрадником Іваном Барабашем, про якого далі йде мова в романі.

[85] *...поцелует папежа в пятку.*— Іронічний натяк на звичай католиків цілувати папу римського в пантофлю.

[86] *Кафа* (тепер Феодосія) — місто в Криму, тут був великий невільничий ринок.

[87] *Дорошенко Михайло* — полковник (а з 1625 р.— гетьман) реєстрового козацького війська. Належав до старшинської козацької верхівки, яка прагнула до угоди з шляхетською Польщею. Загинув 1628 р.

[88] *...надворных войск з посполитым рушеньем...*— На відміну від кварцяного війська, що утримувалося з «кварти» — четвертої частини прибутків з королівських маєтків,— надвірним називали військо, що було на утриманні окремих феодалів: Вишневецького, Потоцького, Лянцкоронського та інших. Комплектувалось воно переважно з панських підданих, які під час народних повстань часто

переходили на бік повстанців. Посполите рушення — шляхетське ополчення, що скликалось по всій країні або в окремих воєводствах і землях, коли всі шляхтичі, крім старих і калік, мусили ставати до лав діючої армії і озброювати своїм коштом селянство.

[89] *Говорил я это и Тарасу, и Павлюку, и Степану...* — Тарас Трясило — один із керівників повстання 1630—1631 рр. (див. прим. 16), Павлюк — керівник повстання 1637 р. (див. прим. 18), що ж до імені *Степан,* то тут, очевидно, помилка автора: йдеться, напевно, про Скидана (див. прим. 19).

[90] *Небаба Мартин* — герой визвольної війни 1648—1654 рр. Під кінець життя був чернігівським полковником. Загинув у бою 1651 р.

[91] *Передсіччя* — слобода перед січовими укріпленнями. Тут були різні ремісничі майстерні, комори, шинки тощо.

[92] *...тростниковые крылья...* — снопы очерету, якими обшивали чайки, щоб вони мали більшу стійкість на воді.

[93] *Очаків* — місто на правому березі Дніпровсько-Бузького лиману. Очаків, або Кара-Кермен (Чорне місто), збудований 1492 р. за хана Менглі-Гірея. При турках Очаків був опорою їх володіння на північному побережжі Чорного моря.

[94] *Бахчисарай* — місто в Криму, до кінця XVIII ст. столиця Кримського ханства.

[95] *Зайшлый гетман наш Конашевич-Сагайдачный вписался со всем Запорожьем в наш святой братский «Упис»...* — «Зайшлый» — померлий, покійний. Петро Конашевич-Сагайдачний — гетьман реєстрових запорозьких козаків (пом. 1622 р.), активно підтримував православну церкву, разом з усім Запорозьким військом вступив до Київського братства, що виникло 1615 р. при Богоявленській церкві. Це братство, як і інші, відіграло велику роль у боротьбі проти національно-релігійного гноблення на Україні і в Білорусії.

[96] *Кінський рукав* — річка Кінська, притока Дніпра.

[97] *Острів Тендер* — Тендерівська коса у Чорному морі перед входом у Дніпровсько-Бузький лиман.

[98] *Кімбурзька коса.* — Тут була турецька фортеця, що мала на меті перешкоджати виходові козаків у море.

[99] *Херсонес* — стародавнє грецьке місто біля сучасного Севастополя, а також назва Криму.

[100] *Марилька* — особа історична, але відомостей про неї дуже мало. Відомо, що називалась вона Оленою (за іншими даними — Мотроною), виховувалась деякий час у сім'ї Богдана Хмельницького, де її побачив чигиринський підстароста Данило Чаплинський. Під час нападу на хутір Суботів Чаплинський забрав її з собою і одружився з нею. У листопаді 1648 р. вона була в Чигирині, стала дружиною Богдана Хмельницького. В кінці квітня чи на початку травня 1651 р. страчена Тимошем, сином Богдана, разом з кількома іншими особами за зраду.

[101] *Хаджибей* — колишнє поселення на побережжі Чорного моря, де тепер Одеса.

[102] *Аккерман* — Ак-Кермен (Біла фортеця) — місто в Молдавії на Дністровському лимані, сучасний Білгород-Дністровський.

[103] *...неприступная, грозная крепость.* — Кам'янецька фортеця (у нинішньому Кам'янці-Подільському), споруджена на протязі XIV—XVII ст. ст. руками місцевого населення, поневоленого литовськими, польськими і турецькими феодалами. Спочатку стіни й башти

були, в основному, дерев'яні, частково кам'яні, у середині XVI ст. дерев'яні укріплення замінено кам'яними. Стара фортеця має форму витягненого багатокутника, обнесеного високими кам'яними стінами з десятьма баштами. На початку XVII ст. до Старої фортеці прибудовано ще Новий замок, що складається з ровів, валів та ряду підземних приміщень, збудованих з каменю і перекритих склепінням. Крім того, навколо самого міста, розташованого на високому острові, було ще ряд башт і кам'яних стін, що перетворювали місто на фортецю. 1672 р. Кам'янецька фортеця і м. Кам'янець-Подільський були захоплені військами турецького султана Магомета IV і перебували у володінні Туреччини до 1699 р.

[104] *Мінарет* — вежа на мечеті (молитовний дім магометан, магометанська церква), з якої муедзин (магометанська духовна особа) сповіщає про час молитви. У Кам'янці-Подільському й досі стоїть мінарет, збудований турками між 1672—1699 рр. Але згадка в романі про мінарети – анахронізм: Б. Хмельницький не міг їх бачити.

[105] *...в самой крепости...* — Топографічна помилка: з тексту видно, що Б. Хмельницький зупинився не у фортеці, а в самому місті, яке відокремлене від неї глибоким проваллям.

[106] *Юпітер* — головний бог, за римською міфологією.

[107] *Висока Порта* — офіційна назва турецького уряду в літературі і в європейських дипломатичних документах XVI — поч. XX ст. Іноді словом Порта визначали Турецьку (Оттоманську, чи Османську) імперію. Вживалися також терміни: Порта, Оттоманська Порта, Блискуча Порта.

[108] *Жигмонт* — Сігізмунд III Ваза (1566—1632), король польський (1587—1632), а також шведський (1592—1599).

[109] *...нунций Тьеполо...* — Нунцій — папський посол. М. Тьєполо був венеціійським послом у Польщі.

[110] *Мазаріні Джулліо* (1602—1661) — сіцілійський дворянин, видатний дипломат. 1634—1636 рр. був папським нунцієм у Франції, французький підданий з 1639 р., кардинал з 1641 р., перший міністр Франції з 1643 р.

[111] *Волощина (Валахія)* — князівство. Тепер південно-західна частина Народної Республіки Румунії.

[112] *Вальпургієва ніч* — ніч перед першим травня, коли, за віруваннями стародавніх німців, на гору Брокен збираються відьми на бенкет.

[113] *Шемброк (Шемберг) Яцек* — польський комісар реєстрового козацького війська.

[114] *...двуипостасому богу...* — Іпостась — особа. Тут натяк на те, що Комаровський поклоняється двом богам: Бахусу й Венері.

[115] *Меркурій* — за римською міфологією, бог — покровитель торгівлі, подорожніх, навіть злодіїв.

[116] *— За границу я ездил по королевским личным делам... с письмами к тестю...* — Тут М. Старицький не досить точно говорить про історичні факти. Французький посол у Речі Посполитій граф де Брежі у жовтні 1644 р. вів переговори з Хмельницьким про службу запорозьких козаків у французькій армії. Переговори закінчились у березні 1645 р., і Хмельницький та козацькі старшини Сірко і Солтенко поїхали до Франції. Внаслідок остаточної домовленості

з французьким командуванням у жовтні 1645 р., приблизно 2000—2500 запорозьких козаків прибули через Гданськ до Кале. Козаки брали участь у війні проти Іспанії та в облозі Дюнкерка (1646). Невідомо, чи сам Хмельницький і його полк брали участь в цьому штурмі,— французькі джерела називають лише полк Сірка. Про все це повинні були знати Барабаш та Караїмович, отже Хмельницькому нічого тут було приховувати.

117 *...привороты и отвороты...*— В давнину вірили, що чарами, певним зіллям можна привернути бажану особу до кохання і відвернути кохання небажаної.

118 *Литовский канцлер Радзивилл.*— Альбрехт Радзівілл. В Речі Посполитій вищі урядовці були окремо для Польщі та окремо для Литви. А. Радзівілл вів історичні записки, які закінчуються 1655 роком.

119 *Остророг Микола* — коронний підчаший, тобто заступник чашника в час відсутності останнього. До обов'язку чашника входило, на випадок приїзду короля, потурбуватися про його зустріч і т. д.

120 *Казановський.*— Мабуть, мова йде про Адама Казановського, великого коронного маршалка. Магнати Казановські займали ряд вищих посад у Речі Посполитій.

121 *...ведь привез же я тогда от иноземных дворов добрые вести...*— Про перебування Б. Хмельницького як посланця короля Владислава IV у Венеції та Австрії історичних відомостей нема. Про перебування його у Франції див. прим. 117.

122 *Венеция... дает шестьсот тысяч дукатов и уже отпустила часть в задаток.*— За військову допомогу Венеції польський уряд зажадав від неї субсидію в один мільйон скуді (срібна монета вартістю в 1,5—2 крб. золотом).

123 *...королева наша волею божиею отошла в вечность...*— Цецилія Рената, дочка австрійського імператора Фердінанда II, з якою одружився 1637 р. Владислав IV, померла 1644 р.

124 *...поручено будет и пану сотнику навербовать в Париже конницу, а особенно артиллерию.*— Для війни проти Туреччини Владислав набирав іноземне військо. Б. Хмельницький у цьому участі не брав.

125 *Месія* — спаситель.

126 *Цербер* — за грецькою міфологією, триголовий змій-собака, що охороняє вихід з пекла, нікого звідти не випускає.

127 *Курінний отаман* — начальник куреня, тобто військової одиниці (загону) на Січі. Кошовий отаман — старший над усіма козаками на Січі.

128 *...вынул он дальше серебряную булаву, пернач и свернутое знамя...*— Виходить, що булаву, пернач і прапор Б. Хмельницькому передав Радзієвський. В дійсності цього не було. М. Старицький дотримується тут, очевидно, тверджень польського мемуариста Грондського, який говорить, що Оссолінський під час подорожі на Україну передав Б. Хмельницькому булаву і пернач.

129 *...через Вислу тихо пробирался на взмыленном Белаше Богдан.*— Після приїзду на Україну Ієроніма Радзієвського весною 1646 р. до Варшави в квітні того ж року для переговорів з королем приїхали військові осавули Іван Барабаш, Ілляш Караїмович, полкові осавули Роман Пешта, Яцько Клиша, Іван Нестеренко і

чигиринський сотник Богдан Хмельницький. Розмови відбувалися таємно, вночі, за участю кількох осіб, довірених короля. Домовлено було, що козаки організують морський похід на Туреччину, збудувавши для того 60 чайок. На це старшині передано було 6000 талярів. Старшина також одержала листи за підписом короля і його особистою печаткою, якими дозволялося будувати човни. Король обіцяв збільшити козацький реєстр до 12 тис. чоловік. Далі ці королівські листи називаються привілеями.

130 *Перун* — бог грому і блискавки у давніх східних слов'ян.

131 *...Вавилон панский.*— Вавілон — столиця давнього вавілонського царства; означає також назву розпусного місця чи міста, символ безладдя.

132 *...Криштоф Радзивилл, и великий канцлер литовский Альбрехт Радзивилл, и великий маршалок литовский Александр Радзивилл... одним словом, алес — все Радзивиллы, и Сапега, и ясновельможный Ян Кишка...*— Радзівілли — литовський князівський рід, представники якого займали ряд вищих посад у Литві; Сапіги — литовський князівський рід; Ян Кішка — воєвода, в 50-х рр. XVII ст. був великим литовським гетьманом.

133 *...молдавского господаря...*— Василя Лупула.

134 *Дзигар* — годинник; вперше кишенькові годинники почали виробляти в німецькому місті Нюрнберзі на початку XVI ст.; вони мали яйцевидну форму.

135 *...от перекопского хана Тугай-бея.*— Кримським ханом з 1644 року був Іслам-Гірей. Тугай-бей був перекопським мурзою (мурза — татарський князь).

136 *...московского посла Алексея Григорьевича Львова.*— Тут помилка: посол Львов називався Олексієм Михайловичем, а не Григоровичем.

137 *Сатир* — за грецькою міфологією, лісовик; лісовий напівбог, з цапиними рогами, ногами і хвостом; відзначався надзвичайною похітливістю.

138 *Рішельє Арман-Жан дю Плессі* (1585—1642) — герцог, французький державний діяч, кардинал (з 1622 р.). З 1624 до 1642 р. був першим міністром Людовіка XIII і фактичним правителем Франції.

139 *Марія де Невер* — Марія Людовіка Гонзага мала ще титул герцогині Неверської.

140 *Поляновський мир.*— Війна Польщі з Московською державою (1632—1634) закінчилася Поляновським миром, за яким Владислав IV назавжди відмовився від претензій на московський престол, а під владою Польщі залишилися Новгород-Сіверська, Чернігівська і Смоленська землі, що раніше входили до складу Московської держави і були захоплені Польщею під час інтервенції 1609—1612 рр.

141 *Я бы не навез туда* [в Москву] *противных иезуитов, как этот путанник Димитрий...*— Мова йде про Лжедмитрія, який при підтримці Польщі й Ватікану захопив Москву і біля року був московським царем (1605—1606).

142 *Олександр Македонський* (356—323 рр. до н. е.) — видатний полководець і завойовник, з 336 р. до н. е.— цар македонський, підкорив багато народів. Царство після його смерті розпалось.

143 *...изловить некоего предерзостного шляхтенка, именующего*

себя якобы сыном Дмитрия, бывшего вора и похитителя трона Гришки Отрепьева.— Посольство боярина князя Олексія Михайловича Львова в справі шляхтича Луби, нібито сина самозванця Лжедмитрія I і Марини Мнішек, відбулося 1643 р. Переговори велись спочатку в Кракові, а потім у Варшаві, куди переїхав польський король Владислав IV. В листопаді 1644 р. польський посол брацлавський каштелян Стемпковський привіз Лубу до Москви, звідки він був повернений 1645 р.

144 *Підляшшя* — частина Польщі, нинішні Білистоцьке і Люблінське воєводства.

145 *...осажденная дикими варварами.*— Війна між Туреччиною і Венецією розпочалась весною 1645 р. Венеція зазнавала поразок і звернулася до європейських держав по допомогу. В другій половині 1645 р. до Варшави приїхав венеційський посол Тьєполо, щоб домовитись про виступ Польщі проти Туреччини. Тут М. Старицький припускається анахронізму, показуючи одночасне прибуття послів Львова і Тьєполо, які приїжджали в різні роки.

146 *Кандія* (сучасна назва — Кріт) — найбільший з грецьких островів у східній частині Середземного моря, належав Венеції. 1645 року Туреччина розпочала проти Венеції за Кандію війну, що тривала 24 роки — до 1669 р., коли турки остаточно завоювали острів.

147 *Приехала ведь казачья старшина... Барабаш и Хмельницкий...*— Анахронізм,— див. прим. 129.

148 *— Передайте козакам мой привет и эти привилеи,— вручил он Барабашу пергамент.*— Мова йде про листи з дозволом на будівництво чайок для морського походу. Див. прим. 129.

149 *Калиновський Самуїл* — польський магнат, брат польного гетьмана Мартина Калиновського, коронний обозний (начальник артилерії та постачання). Під час визвольної війни українського народу 1648—1654 рр. люто розправлявся з повстанцями.

150 *Розанда* — дочка молдавського воєводи Василя Лупула; Тиміш, старший син Богдана Хмельницького, 1652 р. одружився з нею.

151 *...с этой лисой, купившей себе княжье достоинство в Риме.*— Тут мова йде про Ю. Оссолінського. 1633 р. він був посланий у Рим до папи Урбана VIII. Звідти заїхав до Відня для складання торговельного договору і переговорів про боротьбу проти Туреччини. Австрійський імператор Фердінанд II надав Оссолінському князівський титул. Польська шляхта не любила Оссолінського, і сейм 1638 р. заборонив йому носити князівський титул, як одержаний за кордоном.

152 *...вроде Геркулеса, прядущего по приказанию нимфы.*— Геркулес — герой грецької міфології, син бога Зевса і Алкмени, жінки царя Амфітріона. Після звершення 12-ти подвигів дістав безсмертя від богів. За вбивство брата своєї дружини, за наказом оракула, три роки пряв вовну, переодягнений у жіночу одежу.

153 *Гракхи* — два брати, Кай і Тіберій, герої стародавнього Риму (II ст. до н. е.), політичні діячі, закликали до об'єднання бідноти для боротьби проти аристократії.

154 *..киевского и переяславского письма...*— тобто мальованими у Києві й Переяславі, де були свої стилі в живопису.

155 *...вручил эти привилеи нашему полковнику Барабашу...* [он] *все выжидает какого-то сейма и припрятывает королевские ми-*

лости.— Про привілеї див прим. 129. Король польський за конституцією не мав права сам розпочати війну. Сейм, що зібрався у листопаді 1646 року, не підтримав планів Владислава IV розпочати війну проти Туреччини, і король змушений був розпустити найманe військо. Владислав покладав тепер усі надії на збільшення козацького війська та на морський похід козаків, але Барабаш та Ілляш Караїмович, довідавшись про ухвалу сейму, відмовились розпочати набір війська. Ці королівські привілеї Б. Хмельницькому пізніше вдалось забрати у Барабаша (про це розповідається в романі «Буря»).

156 *...прошло семь лет медленной, незаметной работы...*— Богдан рахує час від «Ординації» на Масловому Ставу, що була наприкінці 1638 р. Отже, минуло вісім років, оскільки події відносяться до 1646 р.

СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ

ЗМІСТ

МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ СТАРИЦКИЙ
Сочинения
Том 5, книга 1
(На русском языке)

Видавництво художньої літератури
«Дніпро»,
Київ, Володимирська, 42.

Редактор *И. И. Брояк*
Художник *В. І. Смородський*
Художній редактор *М. П. Вуек*
Технічний редактор *Є. А. Зіскіндер*
Коректори *С. Л. Коба, Н. Н. Падалка*

Виготовлено в Київській книжковій друкарні № 4
Державного комітету Ради Мі істрів УРСР по пресі,
Київ, пл. Калініна, 2.

Лінотипісти *Поляков В. А., Морозова О. Т.*
Верстальник *Баласова 1 И.*
Друкарі *Сенькович С. Н., Яценко Л. П.*
Керівник палітурно-брошурувальних процесів *Волкова Є. А.*

Здано на виробництво 28/IV 1964 р.
Підписано до друку 23/X 1964 р.
Формат паперу 84×108 1/32. Фізичн. друк. арк. 22,625.
Умовн. друк. арк. 37,105+4 вкл. Обліково-видавн. арк. 39,219.
Ціна 1 крб. 40 коп. Замовлення 540. Тираж 19 000.
Т.П.— 1965 — поз. 3.